

Серия
«РУССКИЙ ПУТЬ»

В. В. РОЗАНОВ: PRO ET CONTRA

*Личность и творчество Василия Розанова
в оценке русских мыслителей и исследователей*

Антология
Книга I

Издательство
Русского Христианского гуманитарного института
Санкт-Петербург
1995



Памяти
Владимира Юрьевича Гришина

В. А. ФАТЕЕВ

Публицист с душой метафизика и мистика

В статье «Две философии» (1897) Розанов писал: «Мы, русские, имеем две формы выражения философских интересов: официальную, по службе, т. е. должностную. Это — “философия” наших университетских кафедр. И мы имеем как бы философское сектантство: темные, бродящие философские искания... Одна, заимствовав форму старости, не рождает нового содержания. Напротив, вторая ветвь нашей “философии”, не имея научного декорума и даже часто плана, в высшей степени полна “жизненного пороха”, этой взрывчатости, самогорения, порыва мысли, и всегда возле действительности, около *naturam rerum*». Статья посвящена далекой от официальной философии, рано оборвавшейся творческой деятельности малоизвестного, но высоко ценимого Розановым — больше по «залогам души», нежели по реальным свершениям, — Ф. Э. Шперка, его младшего друга. Однако характеристика неофициальной ветви русской философии как нельзя лучше подходит для сочинений самого Розанова, не имеющих «научного декорума и даже часто плана», но полных «жизненного пороха».

И действительно, даже среди яркого разнообразия русской религиозно-философской мысли конца XIX — начала XX веков произведения Розанова заметно выделяются своей «взрывчатостью», не ослабевающей с годами актуальностью и оригинальностью. Розанов чрезвычайно самобытен, изменчив, парадоксален и почти бесформен. Его острая, живо пульсирующая, антиномичная мысль, проявившаяся в бесконечном многоголосии книг, журнальных статей, газетных фельетонов, выступлений на религиозно-философских собраниях, частных писем, с трудом поддается систематизации — не только из-за хаотичности розановского наследия, но и из-за того, что ее невозможно выразить в категориях логики без утраты очень существенного: авторской инто-

нации, ощущения индивидуальности. У Розанова, в отличие от большинства пишущих, нет расстояния между душевным переживанием и словесным воплощением. «Сердечная мысль» Розанова неотделима от спонтанной, часто почти художественной формы выражения.

Розанов известен сегодня главным образом как уникальный в XX веке проповедник культа рождения и пола; как религиозный реформатор, выступивший за обновление церковной действительности и религиозное оправдание семьи; как бунтарь, восставший против византийско-монашеского толкования Евангелия, а затем и против самого христианства, во имя Живой Жизни; как мыслитель, не побоявшийся бросить вызов даже Христу. Никто с такой смелостью и настойчивостью не разоблачал лицемерную, нигилистическую сущность русского интеллигентского либерализма, заведомо обрекая себя на презрение «прогрессивной общественности». Мало того, Розанов демонстративно выступал как имморалист, нарушающий общепринятые этические нормы и шокирующий читателя предельной обнаженностью своего внутреннего мира. Наконец, как разрушитель традиционных литературных форм, «завершитель» литературы, он воспринимается сегодня и как предтеча модернизма. Этот мистик-иррационалист, анархист по складу своей духовной личности, отрицавший европейскую цивилизацию и мечтавший о возрождении радостного мира райской невинности, действительно был прежде всего бунтарем, боровшимся со всем шаблонным, отвлеченным, холодным, самодовольным.

Но признание Розанова связано не только и не столько с его смелыми отрицаниями, сколько с тем, что ему удалось приоткрыть завесу над самыми тайными и темными уголками природного человеческого бытия. Розанов прежде всего — метафизик и мистик, которого интересует по преимуществу «незаметное, бесцветное, безвидное, без-документальное», то, что нельзя пощупать или измерить. И пристальное внимание Розанова к «миру неясного и нерешенного» позволило ему найти новую точку зрения на самые обыденные вещи, обрести видение, в котором вся жизнь, вся история цивилизации предстали в совершенно необычном свете. Розанов выступил как острейший критик современной цивилизации с ее чрезмерным рационализмом, отрывом от природы и утратой религиозного начала.

Говорить о философии Розанова как о стройном и последовательном учении, конечно, не приходится, но при всей бессистемности и разнородности его философских высказываний, все же можно выделить опорные точки его мирозерцания в наибо-

лее характерный для него период. В розановской философии, в основе которой — Бог и пол, мир воспринимается как некая тайна, как Космос — созданное Богом единое целое, обладающее душой и находящееся в вечном движении. Одушевленность мира Богом связана для Розанова с полом, который космичен — сочтения полов прослеживаются по всему мирозданию. Касание «миров иных», по мнению Розанова, проходит именно через пол. Истина существует, но она сокрыта от нас, иррациональна, и возможно лишь постепенное приближение к ней через интуитивное постижение. Розанов черпает вдохновение для своих религиозно-философских интуиций из страстного желания раскрыть эту тайну мира. Постоянно стремясь к тому, чтобы его мысль была онтологична миру, он не выводил онтологизма из своих гносеологических рассуждений, — наоборот, его теория познания опирается на бытие. Поэтому у Розанова высшие начала духа не отрываются от тварной природы, от плоти мира. Он не раз подчеркивал, что хотел «не дать хвалу плоти», а «ввести душу в плоть». Розанов утверждал пол именно как соединение плоти и духа: «Расторжение духа и плоти есть болезнь... Все живое хочет жить, т. е. удерживает дух и плоть в соединении». Пол для Розанова является воплощением природного начала, неотрывно связанного с религией: «Любить природу — значит любить Бога», «Образы Божии — вот что такое природа».

Рождение младенца с душой Розанов воспринимает как религиозное чудо — в этом акте, являющемся проявлением природного естества, характерном и для всего окружающего мира, созданного по Божьему замыслу, он видит проявление диалектической цельности бытия. Бог и пол у Розанова неразрывны. Утверждая святость семьи, Розанов отстаивает брак как реальное, а не формальное таинство, с признанием лежащего в его основе пола. Идеалу брака и семьи Розанов противопоставляет идеал монашеского аскетизма и как крайность той же тенденции — скопчество. В современном мире, считает Розанов, гармоническое единство плоти и духа, Бога и мира нарушено, прежде всего из-за позитивистски-пренебрежительного отношения к полу как природному началу. В результате семья разваливается, а пол становится воплощением скверны, греха, разврата. Но зарождение жизни, освященное Богом (младенец с душой), настаивает Розанов, не может быть греховным, порочным: «Нет собственно грязных предметов, а есть способ грязного воззрения на них...» На этом утверждении зиждется вся «философия пола» Розанова. По его мнению, разврат, проституция, убийство «незаконнорожденных» детей являются как раз следствием «грязного» взгляда

на пол, обездушивания пола из-за расторжения его связи с Богом. Раскрыть религиозную сущность пола, освятить рождение, считал Розанов, — это значит очистить от скверны основы жизни, «согреть» лишенный души мир.

Вполне естественно, что культ семьи, плодородия и деторождения приводит Розанова к увлечению древними религиями жизнетворчества — Ассирии, Вавилона, Древнего Египта и, в первую очередь, ветхозаветного Израиля. Европейская цивилизация, по мнению Розанова, загнивает — он повторяет это общеизвестное утверждение славянофильства, но для него деградация связана прежде всего с упадком семьи, чисто физиологическим восприятием пола, разделением духа и плоти. К тому же он, вопреки славянофилам, включает в европейскую цивилизацию и Россию.

Религиозный натурализм Розанова вытекает из его опоры на органическое начало, из отказа от рационалистического механицизма, как и у всех мыслителей славянофильской ориентации. Но если у Данилевского и Леонтьева это привело к распространению биологических принципов на развитие общества, то у Розанова биологизм приобретает всеобъемлющий характер своеобразной реставрации архаического, почти первобытного религиозного натурализма. Проследивая таинственное взаимодействие духа и плоти, Розанов делает ряд интересных открытий в неизученных прежде областях, в частности, раскрывает важную роль в истории духовной культуры так называемых «людей лунного света». Но в то же время, по мере его погружения в эту иррациональную область, темная стихия пола незаметно вытесняет духовное начало и виталистический психологизм Розанова сужается до поэтизации собственно сексуальности, до культа «фаллоса». Именно тогда в его философии особенно ощутимо проявляются те демонические черты, о которых подробно и убедительно, хотя и не без аффектации, писал Волжский. Однако взятые в целом, а не только в крайностях полемического отрицания, его сочинения не столь уж «демоничны» — в живой конкретности его искренних, трагических вопрошаний, несомненно, содержится мощный творческий, положительный заряд.

В своей хаотической, личностно-интимной, подлинно экзистенциальной «натурфилософии», где стержнем является метафизика пола, а человек и природа соотносятся как микрокосм и Космос, Розанов с огромной силой выразил неизбывную боль разделения плоти и духа в современном мире как объективную драму человеческого существования.

* * *

Метафизические искания в сфере пола не могли не привести Розанова к конфликту с христианством. На первых порах, придя к выводу о губительности для жизни пренебрежительного отношения к браку, семье, полу, Розанов пытался, вместе с Мережковским, проводить идею о необходимости существования в христианстве, наряду с религией страдания, религией Голгофы, — и жизнеутверждающей религии Вифлеема, напоминал о «теплой» народной вере с присущими ей языческими чертами, отстаивал плодотворность сочетания аскетического христианства с мирскими, прежде всего семейными радостями. В 1901 году, например, он участвовал в дискуссии с М. О. Меншиковым об эллинизме на страницах «Нового времени», доказывая, что в греческой культуре преобладают благородные черты. Однако, встретив ожесточенное сопротивление своему расширительному толкованию евангельских истин, Розанов постепенно укрепился в мысли, что христианский аскетизм несовместим ни с какими формами жизнеутверждения и, утратив веру в возможности «светлого» христианства Достоевского («розового» в скептической трактовке Леонтьева), охватывающего семейный быт, Розанов, у которого сложилась детально разработанная концепция христианства как аскетической религии, враждебной жизни, как религии смерти, отверг учение Бога-Слова, противопоставив ему опоэтизированный древний языческий и ветхозаветный мир, где пол и бог были неразрывны. Именно контрастное сопоставление Ветхого и Нового Заветов, язычества и христианства и принесло Розанову известность в период Религиозно-философских собраний 1901—1903 гг. «Душа человека есть по природе своей язычица», — дерзко утверждал он, опровергая известное высказывание христианского апологета Тертуллиана. Розанов демонстрировал поразительную остроту ума в нахождении все новых и новых аргументов в защиту своих антихристианских тезисов. Критика Розановым христианства, по оценке исследователей, была очень сильной, убедительной, как ни у кого, прежде всего из-за искренности его личных разочарований и из-за того, что вместо обычных рассудочных доводов атеизма он прибег к глубочайшим религиозно-философским аргументам, утверждая единство мира и Бога, плоти и духа.

В своей критике Розанов чутко улавливает реальные недостатки христианского «номинализма», и если бы он знал меру в своих «иеремиадах», то с ним часто можно было бы согласиться. Но Розанов — человек крайностей, доводящий каждую иссле-

дуюмую проблему до логического конца (тут проявляется своеобразный рационализм метафизики Розанова). Предельная заостренность им «больных вопросов», выражение их в ярких, контрастных образах придает особую убедительность его доводам, оказывает буквально завораживающее действие. Сами метафизические антихристианские постулаты Розанова, в воззрениях которого душевное слишком явно преобладает над духовным, не так уж трудно опровергнуть. Розановым совершенно игнорируется идея Воскресения, как и тема божественного преображения, «обожения» плоти, освящаемой им во всей ее тварной греховности. Но его особая сила — в конкретно-чувственной форме выражения, в интенсивности авторских переживаний, которые невольно передаются читателю.

Еще одна важнейшая особенность Розанова заключается в том, что он явно не до конца изжил в себе любовь к христианству и Церкви: до последних дней он мучительно решал больной вопрос об отношении христианства к миру, так и не отойдя окончательно от «церковных стен». «Вся моя жизнь прошла на тему о христианстве», — писал он. Религиозное бунтарство причудливо сочеталось у Розанова с политическим консерватизмом, борьба против косности и омертвения — с любовью к традиционным формам русской жизни и церковному укладу. Розанов многими чертами был укоренен в русской действительности с ее идеалом соборности, в онтологизме отечественной философской традиции — в его творчестве отчетливо прослеживается, несмотря на все мировоззренческие разногласия, отступления и демонстративные отречения, преемственность по отношению к славянофильству или, точнее, к «почвенничеству», а также менее выраженная, внутренняя связь с русским космизмом и софиологией. Розанов, сам будучи носителем мощных разрушительных идей, тем не менее постоянно выступал под знаком борьбы против нигилистических тенденций жизни, и даже «христорчество» было мотивировано им как стремление спасти человека и природу от рационалистического по своей сути, «обескровливающего» омертвляющего жизнь спиритуализма, культа небытия, «акосмизма», как желание восстановить органическую связь с «мирами иными», с Богом. Очень важной особенностью мировосприятия Розанова является то, что он остро чувствует ноуменальное, религиозное начало всех вещей, а свое переживание Бога передает как не покидающее его живое ощущение, почти экстатическое состояние непосредственного, личного общения. Отношение Розанова к христианству и Христу было сложным, противоречивым, как, впрочем, и все в его творчестве и жизни.

* * *

Розанов пережил несколько идейных поворотов, и без учета различия его взглядов в тот или иной период невозможно дать объективную картину его мировоззрения, тем более, что эти изменения не раз носили самый радикальный характер — как, например, его быстрый переход от «савонароловского» ультраконсерватизма начала 1890-х годов к увлечению язычеством и иудаизмом в конце десятилетия, или неожиданный, после нескольких лет возврата к православию и Церкви, новый виток антихристианских настроений под влиянием революции в «Апокалипсисе нашего времени». Однако нередко Розанов высказывал взаимоисключающие вещи и чуть ли не одновременно. Кроме того, изменения во взглядах Розанова настолько непостижимы, алогичны, что их почти невозможно предвидеть и тем более все-сторонне объяснить, осудить или оправдать. Казалось бы, правы те, кто утверждает, что впечатлительный, безвольный, «женственный» Розанов очень подвержен воздействию обстоятельств. Но никак не скажешь, что в его поступках или идеях преобладают соображения целесообразности или выгоды — в них больше безрассудства, чем логики, вызова, чем боязни, упрямства, чем соглашательства. При внешней податливости обстоятельствам, он «внутренне несклоняем» и не раз демонстрировал смелость, идя поперек общего движения, выступая против всесильного общественного мнения. Не слишком симпатизировавший Розанову Буренин писал в 1903 году, что Розанов «не боится думать по-своему». Розанов заставлял принимать его со всеми его парадоксальными гипотезами, изменами самому себе, «арлекинадами» (выражение В. А. Тернавцева) и недостатками.

Вопиющие противоречия, совмещение несовместимого сопровождали Розанова всю жизнь. Он поражал окружающих и читателей отсутствием в его поведении и творчестве четкой мировоззренческой позиции, нравственного стержня, последовательности. Например, примкнув в конце 1890-х годов к представителям «нового религиозного сознания» и начав сотрудничать вместе с «декадентами» в западническом, эстетском «Мире искусства» А. Н. Бенуа и С. П. Дягилева, он одновременно стал и членом редакции газеты А. С. Суворина «Новое время», видевшей свою главную задачу в отстаивании русских национальных интересов и третировавшей тех же «богоискателей-декадентов» как выразителей пагубного нигилистического индивидуализма.

Конечно, не последнюю роль здесь играла материальная сторона — ведь только работа у Суворина позволила Розанову, на-

конец, обрести достаток после долгих лет тягостной нужды и поденщины. Но, вопреки бытующему мнению, Розанов оставался сотрудником газеты до ее закрытия в 1917 году не только из-за денег — не говоря уже о том, что национальная направленность «Нового времени» была ему не чужда, главное: благодаря Суворину он обрел искомую творческую свободу — возможность писать в популярной, расходящейся по всей России газете практически на любую тему. Пренебрежительное и даже часто брезгливое отношение либеральной интеллигенции к «чего изволите», как они называли «Новое время» за «верноподданничество» и беспринципное потакание вкусам обывателя, конечно, сказывалось на отношении к Розанову и его творчеству, да и сам он относился к большинству своих коллег по редакции весьма скептически. Но именно на страницах этой весьма консервативной, одиозной в глазах интеллигенции газеты он печатал свои статьи на темы связи религии и пола, церковного и школьного формализма, вел полемику по поводу церковного законодательства о браке и «незаконнорожденных» детях, пропагандировал идеи Религиозно-философских собраний, писал об интересовавших его мыслителях и многое другое из того, что противоречило основному курсу редакции, тон в которой задавали Буренин и Меньшиков, едва терпевшие Розанова. Имея в виду опору Суворина в газете на ярких писателей, независимо от того, о чем они пишут, и особенно участие в «Новом времени» Розанова (а прежде, напомним, и Чехова), теперь, спустя десятилетия, можно скорее согласиться с принадлежавшей Меньшикову оценкой этой интересной, разнообразной газеты как «парламента мнений», чем со слишком тенденциозным ее определением либералами как «чего изволите».

Розанов стоял в «Новом времени» особняком (об этом убедительно писал, в частности, Н. Я. Абрамович); впрочем, он всегда и везде оставался самим собой — чуждым большинству, только терпимым из-за талантливости, непредсказуемым чудаком. Так было в 1890-е годы в «Русском вестнике», где сотрудники выразили решительное недовольство его подрывающими авторитет журнала неистовыми обличениями Толстого за неверие и обращением к живому классическому на «ты». Так было даже в благожелательно к нему настроенном журнале религиозно-свободомыслящих литераторов «Новый путь», где Розанову была выделена особая рубрика «В своем углу» для высказывания своих «крамольных» мыслей, которые Гиппиус, по ее признанию, не особенно церемонясь, правила и сокращала во избежание цензурных неприятностей, не спасая этим, однако журнал от преследований, а Религиозно-философские собрания — от закрытия.

Вряд ли найдется еще такой противоречивый писатель с такими же резкими, неожиданными изменениями во взглядах. В 1906—1911 гг. он печатался под псевдонимом в либеральной московской газете «Русское слово», не прекращая в то же время сотрудничества в «Новом времени», и заметки на схожие темы нередко были чуть ли не противоположны по настроению. Когда после периода жесткой православной ортодоксальности у Розанова началось не менее пылкое увлечение Египтом и Израилем, то даже друживший с ним Мережковский журил его за иудейский прозелитизм. А в 1914 году он же добивался исключения своего бывшего друга, впавшего теперь в юдофобство, из Религиозно-философского общества. Наконец, естественен вопрос: стоило ли Розанову переезжать перед революцией в Сергиев Посад, к святыням православия, чтобы написать там свой крайне антихристианский «Апокалипсис», за который, как он сетует в одном из писем, с ним перестали здороваться все славянофилы, кроме Флоренского и Дурылина?..

* * *

Однако при всей внешней изменчивости, «протеизме», как пишет Г. Штаммлер, обращает на себя внимание постоянная приверженность Розанова одним и тем же главным темам. Подобно «двуликому Янусу» (этот образ тоже не раз использовался в литературе о Розанове), он все время колеблется между двумя противоположными, взаимоисключающими точками зрения на особенно интересовавшие его явления — христианство, иудаизм, Россию. Сам Розанов предпочитает не ставить точек над «i»; он «двусмыслен» (Бердяев), так как знает, что нет рационально выводимой «окончательной истины». Эти два полюса, две крайности в трактовке темы постоянно сосуществуют в его душе, и от того, какое настроение преобладает в этот период или даже момент, берет верх та или иная точка зрения. Такой доведенный до предела релятивизм составляет одну из главных отличительных черт Розанова: увлечение язычеством неотделимо у него от приверженности православию и Церкви, уничижительные замечки о России и русских — от доходящих до национальной гордыни восхвалений всего русского, антисемитские политические выступления — от восхищения иудаизмом и любви к еврейскому семейному быту.

Загадочный феномен Розанова пытались разъяснить многие. Рассуждения о юродивости стали общим местом в литературе о нем. Высказывались мнения, что, может быть, Розанов, пишу-

щий так поразительно легко и произвольно, выплескивающий в своем прихотливом импрессионизме поток субъективных мыслей и чувств, как происходят выделения организма, — и не человек вовсе, а явление природы, и, как природному феномену, ему просто чужды какие бы то ни было этические принципы. Например, Струве, воздержавшись от участия в кампании по исключению Розанова из Религиозно-философского общества, назвал одним из доводов его органическую «моральную невменяемость». В чем-то схожее суждение высказал и о. Павел Флоренский в своей суровой оценке личности Розанова и мотивов его поведения после появления антихристианского «Апокалипсиса». Не раз высказывались мнения, что Розанов был на грани сумасшествия (Победоносцев в 1895 году, Измайлов о последнем периоде жизни Розанова и др.).

Как бы там ни было, бесспорно одно: Розанову с его «множеством сердец» всегда было мало единственной точки зрения на предмет. Андрей Белый справедливо отметил, что одной из главных особенностей Розанова как мыслителя и писателя является его поразительное умение варьировать свои душевные впечатления, находить в каждом бытовом факте отражения вневременного, вечного, открывать все новые и новые оттенки в тривиальном и общеизвестном. Розанов полагал, что только с 1000 точек зрения можно воссоздать объективную картину реальности. Каждая из этих отдельных «координат действительности» дает лишь некоторое приближение к истине.

Понятно, что для Розанова было неприемлемо партийное политиканство с его идейной категоричностью и догматизмом. Не удивительно и то, что его противоречащие друг другу политические высказывания показались ряду публицистов (Струве, Чуковский, Пешехонов) проявлением нравственной безответственности, вопиющего цинизма по отношению к печатному слову. Но для Розанова точками отсчета были не расхожая мораль либерального общества, не «прогресс» и не «польза», а — «душа», «Бог», «одинокость», «боль», «кротость», больше подходившие для художника, чем для публициста. Любая тема в интерпретации Розанова так или иначе приобретала метафизическое, экзистенциальное звучание. Умение возвести обыденный жизненный эпизод к вечности, выразительная, полная жизненных деталей образность — это также черты художника. О врожденном символизме Розанова, его мышлении не логическими понятиями, а символическими образами высказывались многие — например, С. Н. Трубецкой, с упреком отметивший, что Розанов ввел символизм в публицистику.

И вполне закономерно, что Розанов в конце концов нашел себя в своеобразном, созданном им самим полухудожественном жанре интимной афористической прозы. В этом жанре «опавших листьев» ему удалось, благодаря особой впечатлительности души и яркому писательскому таланту (по мнению Бердяева, «самый большой дар в русской прозе»), достичь небывалого синтеза мысли, факта и образа, найти через субъективное, фрагментарное воспроизведение действительности новый способ ее отражения во всем динамизме и многообразии, — способ, позволяющий схватывать тончайшие движения души, неуловимые рациональным сознанием оттенки истины. Кроме того, через безудержное самообнажение, разговорность стиля, доверительность тона он добился особой близости с читателем, что считал как писатель своей главной задачей. Здесь особенно пригодились его умение варьировать одни и те же мотивы, сталкивать парадоксальные высказывания, переходить от возвышенно-лирических отрывков, напоминающих стихотворения в прозе, к нарочито приземленным, публицистическим заметкам. Именно такие книги, как «Уединенное» и «Опавшие листья», и создали Розанову в первую очередь репутацию замечательного стилиста с неповторимой, сразу узнаваемой манерой письма. Однако и в философском отношении эти глубоко личные произведения добавляют очень многое к характеристике Розанова. Написанные в период относительного примирения с христианством, они далеко не так тенденциозны, как его главные «идейные» книги — «Темный Лик» и «Люди лунного света». Но зато в них с гораздо большей глубиной выразилось все богатство души Розанова, ярко раскрылись экзистенциальные мотивы его религиозной философии.

Хаотичность, фрагментарность, крайняя амбивалентность творчества Розанова, отсутствие у него философского систематизма, который он отвергал принципиально, не позволяют однозначно отнести его ни к одному из известных направлений философской мысли. При всей своей несомненной перекличке с философами-современниками, Розанов все же всегда и во всем — сам по себе. Он, собственно, и не был «философом» в обычном смысле слова (за исключением первой книги «О понимании» и примыкающих к ней статей), как не был и чистым «писателем» — формально его с гораздо большим основанием можно было бы отнести к публицистам — все-таки основную часть своих идей он выразил через газету. Но то, что для любого другого мыслителя стало бы недостатком, Розанов сумел обратить во благо. Рассчитанная на обычного образованного читателя, лишенная всякого формализма и схоластики, тесно связанная с насущны-

ми повседневными запросами и в то же время неизменно касающаяся «ноуменального», розановская эссеистика выгодно отличается конкретной образностью, живостью восприятия, злободневностью и остротой постановки проблем.

Когда идет речь о Розанове, рушатся любые профессиональные или жанровые рамки. Этот единственный в своем роде философ-журналист, мыслитель-художник, увлекающий нас динамизмом непредсказуемых поворотов фантазии, бурных всплесков непрерывно кипящей субъективной мысли, оказался чрезвычайно созвучным нашему веку с его усилившимся интересом к философии, не стесненной догматическими узами жесткой системы или шорами равнодушного объективизма. Розанов, с его ярко индивидуальным, страстным — и даже пристрастным — видением мира стал одним из наиболее читаемых сейчас мыслителей. Сочинения Розанова привлекают читателей с самыми разными, часто противоположными взглядами — «каждому здесь довольно предметов для мысли», как писал философ в предисловии к одной из книг, — каждый находит у него то, что ему особенно близко. Это говорит о том, что розановское творчество, как и всякая настоящая классика, отличается богатством и многозначностью содержания. Идеи Розанова, несмотря на категорическую неприемлемость для многих тех или иных сторон его воззрений, имеют ту особенность, что они оказывают мощное стимулирующее воздействие на мышление самих читателей, «наэлектризовывают» их, как пишет пронизательная Л. А. Мурахина. Высокое место Розанова в отечественной литературе и философии ныне не оспаривается практически уже никем.

* * *

Но так было далеко не всегда — читатель может в этом убедиться, перелистав страницы этой антологии: «contra» явно преобладало над «pro» в оценках его творчества при жизни, и только после его кончины к нему постепенно пришло признание. Можно сказать, что современники, за исключением глубоких, творческих натур да небольшого круга единомышленников, не поняли и не приняли Розанова. И началось это уже с самой первой, чисто философской книги «О понимании», отрицательные рецензии на которую Л. З. Слонимского в «Вестнике Европы» и анонимного критика в «Русской мысли» начисто отбили у читательской публики интерес к огромному трактату молодого мыслителя. Конечно, это еще был не настоящий «Розанов», но книга и не является тем курьезом одинокой мысли, оторванной от

центров науки, каким ее представили авторы рецензий. В этой книге, при всей ее тяжеловесности и схематизме, есть множество интересных мест, заслуживающих внимания исследователей, — сам Розанов указывал, что книга является почти открытой полемикой против позитивизма профессоров Московского университета. Несмотря на внешнее гегельянство, Розанов трактовал проблему познания не логически, а космологически. Органический взгляд на мир, идея потенциальности, космологизм розановских воззрений, получивших развитие в его последующих работах, наметились уже в этой наивной и самобытной книге, где нет ни одной ссылки на философские авторитеты. Книга «О понимании» еще ждет глубокого исследователя в контексте всего розановского творчества. Можно сказать, что она в каком-то смысле и существует для того, чтобы показать, что Розанов — действительно «философ», умеющий мыслить и писать в строгой академической манере. Наконец, этот фундаментальный труд, требовавший огромных знаний и многолетней подспудной работы ума, опровергает расхожее мнение критиков о необразованности Розанова и о его неспособности к серьезной, методичной работе, сложившееся не без влияния своеобразной самоуничижительной бравады самого Розанова.

Неуспех книги «О понимании», на которую возлагалось столько надежд, совпал с личной трагедией — Розанова оставила жена, А. П. Суслова, на которой, как Розанов сам признавался, он женился не в последнюю очередь потому, что она была когда-то в близких отношениях с Достоевским, его любимым писателем. Этот странный союз (Суслова была к тому же на семнадцать лет его старше), имевший для Розанова столь печальные последствия из-за нежелания Сусловой дать ему развод, стал первым заметным свидетельством того душевного излома, который обнаруживается критиками и в его личности, и в творчестве. Исходя из розановских слов, что «между женой и мужем не было надлежащего целомудрия», и других его подобных намеков, можно предположить о влиянии «инфернальной» Сусловой с ее холодной чувственностью на проявившийся позже особый интерес Розанова к сфере пола. Поразительно, однако, огромное сходство Розанова с не менее изломанными героями Достоевского, от Карамазовых до «подпольного человека», которое отмечают многие критики (например, Закржевский).

Нравственное исцеление после трагического и унижительного разрыва с Сусловой принесло Розанову знакомство с В. Д. Бутягиной — скромной, не слишком образованной вдовой из бедного, но благородного елецкого семейства с давними церковными

традициями: из этой семьи происходили такие выдающиеся деятели Церкви, как Иннокентий Борисов, архиепископ Херсонский и Таврический, и Ионафан, архиепископ Ярославский. Роль В. Д. Бутягиной-Розановой, человека наследственной, глубокой религиозной веры, в духовной жизни мыслителя очень велика. При всех его бесконечных жизненных колебаниях она твердо стояла на православных позициях, удерживая философа от отпадения от Церкви. Без понимания атмосферы семьи Розановых, основанной на незыблемых христианских началах, невозможно понять неизменное возвращение «блудного сына» к православию и Церкви, в том числе и последний, очень важный его шаг — предсмертное причастие по православному обряду, вызвавшее столько кривотолков и споров.

Философский склад личности Розанова ярко проявился уже в том, что в Ельце, едва преодолев духовный кризис, он принял вместе с другим учителем, П. Д. Первовым, ярко описавшим этот период в жизни Розанова, за перевод «Метафизики» Аристотеля — занятие для учителей провинциальной школы весьма неординарное.

В годы учительства Розанову неожиданно легко и быстро удалось обрести и искомую связь с основной русской литературной традицией — он вступил в переписку сразу с тремя видными представителями русского консерватизма, Н. Н. Страховым, К. Н. Леонтьевым и С. А. Рачинским, сыгравшими важнейшую роль в его становлении как мыслителя и писателя. Это были действительно заметные, интересные люди: Страхов тесно сотрудничал с Достоевским, дружил с Толстым; Леонтьев писал ему не откуда-нибудь, а из Оптиной пустыни, где находился под духовным водительством знаменитого, очень уважаемого Розановым старца Амвросия; Рачинский, хотя и жил в деревне, преподавая крестьянским детям в собственной церковной школе, но эта школа бывшего университетского профессора была известна всей России. К тому же Рачинский вел обширную переписку, в том числе и с самим Победоносцевым, с которым дружил со времени профессорства.

Само это сближение Розанова с известными людьми достаточно поразительно: ведь, кроме книги «О понимании», которой никто не читал, никаких особых заслуг или приметных достоинств, способных привлечь внимание именитых «собеседников», за Розановым не числилось. Но это было время торжества позитивизма, когда все настоящие мыслители, буквально задыхаясь в душной атмосфере усредненного сциентизма и либеральной риторики, чувствовали себя «литературными изгнанниками» и

были рады каждому молодому приверженцу дорогих им православно-славянофильских идей. Живая впечатлительность, отзывчивость молодого провинциального мыслителя, горячая поддержка им консерватизма и глубокое понимание трагического одиночества своих корреспондентов позволили ему за короткое время стать близким для каждого из них человеком, не в последнюю очередь из-за того, что они остро нуждались в молодых единомышленниках. Розанову это общение дало очень много. Но и он сполна отблагодарил старших друзей, расширивших его жизненные горизонты и помогавших преодолевать тяготы провинциальной рутины, а потом и перебраться в столицу — он стал впоследствии ревностным популяризатором и глубоким истолкователем их творческой деятельности, причем каждый раз подкрепляя свои суждения личными впечатлениями.

Важнейшую роль в становлении Розанова сыграл, конечно, Н. Н. Страхов. На долю этого большого ученого, философа и критика выпала участь литературной «няньки» непрактичного молодого писателя. Его поддержка позволила Розанову вновь обрести себя после неудачи с первой книгой, о которой, кстати, Страхов, хотя и с запозданием, написал положительную рецензию. Не без его участия, с подачи члена страховского кружка П. А. Кускова, о книге дал хороший отзыв в читаемом всей Россией «Новом времени» Буренин. Страхов пристраивал в столичный журнал и перевод «Метафизики», помогал философу-учителю публиковать его первые статьи. Страхов терпеливо, со свойственной ему методичностью истинного педагога (увы, без кафедры, о чем не раз сетовал Розанов) наставлял непоседливого, порывистого Розанова, безуспешно пытаясь привить ему необходимую для привлечения широкой читательской аудитории «школу», навык культурной работы. Он действительно был «крестным отцом» Розанова в литературе, как тот позже оценил его роль в своей творческой биографии. Страхов стал к тому же для Розанова олицетворением живой связи с основным течением русской литературы и мысли, которой он давно искал и безуспешным, даже болезненным проявлением которой стала его женитьба на бывшей любовнице Достоевского. При огромной образованности и редких аналитических способностях, как отмечал Розанов, Страхов обладал умением говорить просто о самых сложных вещах. Сочинения Страхова, не имеющие внешней яркости, таят в себе множество глубоких, самостоятельных мыслей. Однако, как печалился Розанов, этот вдумчивый ученый, по глубине ума чуть ли не превосходивший Соловьева, обладал исключительно критическим, но не творческим складом

ума — всю жизнь он высказывался только по поводу чужих сочинений. Как консерватор-«почвенник», Страхов был Розанову очень близок, однако несовпадение их натур было разительным. При всей своей «борьбе с Западом» аккуратный, уравновешенный, лишенный темперамента Страхов по всему складу личности, по уровню образования и культуры и, наконец, по исповедуемому им в философии гегельянству был скорее «европейцем». Ему были совершенно чужды такие характерно русские качества, как страстность, безудержный иррационализм, стихийность и хаотичность, едва ли не самым ярким воплощением которых, по иронии судьбы, после страховского учителя Аполлона Григорьева станет именно Розанов, его ученик.

Розанов, написавший не одну блестящую статью о недооцененном философе, «изменил» Страхову только раз в жизни, но это была очень важная, принципиальная измена — о сухости, эгоистичности и завистливости Страхова он писал в 1891 году своему новому «кумиру», мало тогда кому известному К. Н. Леонтьеву, отношения которого со Страховым, несмотря на консервативные взгляды обоих, были далеко не дружескими. Леонтьев по своему темпераменту, по направлению идей и складу личности оказался несравненно ближе эмоциональному, противоречивому Розанову.

Заочная дружба с Леонтьевым, продолжавшаяся менее года, оставила заметный след не только в жизни уездного учителя — их переписка, оказавшая на Розанова существенное влияние, стала явлением всей истории русской философии. При публикации писем Леонтьева в 1903 году Розанов дал блестящую и самую глубокую характеристику своего старшего современника, хотя и до этого, и потом писал о нем много раз. В этой статье, известной по переизданию под названием «Неузнанный феномен», Розанов не только указал на сближавшие его с Леонтьевым черты, главной из которых было сходство темпераментов, а в идейном отношении — ненависть к либералам-позитивистам, но и на особенности Леонтьева как человека и мыслителя. Розанов находил особую привлекательность в отличавшем Леонтьева причудливом соединении эллинского эстетизма и крайнего, «черного» монашества, хотя понимал, что приверженность этого «турецкого игумена» христианству основывалась не на глубокой вере, а на эстетическом страхе «разрушительного уравнительного процесса», опору против которого Леонтьев нашел в суровом, непримиримом к миру византийском варианте православия. Розанов подчеркивает, что Леонтьев в своем эстетическом консерватизме был аристократом, отвергавшим сострадание и кротость, в

том время как он сам, выходец из бедной семьи, «органически» не мог отказаться от сострадания и воспринимал христианство как религию утешения, в отличие от леонтьевского квиетизма. Розанов прямо проводит аналогию между Ницше и Леонтьевым, указывая прежде всего на сближающий их решительный отказ от христианского смирения, несмотря на леонтьевское монашеское «православие». Будущее покажет, однако, что религиозный эстетизм Леонтьева оказался для Розанова даже более заразительным, чем думал он сам. Обнаружившееся впоследствии частичное сходство Розанова с Ницше, от которого сам Розанов упорно отказывался именно из-за отрицания ницшеанским «Сверхчеловеком» близкого ему духа кротости, шло у него в значительной степени от влияния леонтьевского эстетизма. Поразительно только, что Розанов, обратившись через некоторое время, после увлечения темами связи религии и пола, к критике христианства, воспринимал его в монашески-византийской, непримиримой к миру «леонтьевской» трактовке, хотя всегда вполне осознавал, что Леонтьев — настоящий «русский Ницше» — был, по меньшей мере, «немножко еретиком».

Рачинский как мыслитель практически неизвестен, хотя Розанов часто упоминает автора «Сельской школы» среди наиболее ярких православно мыслящих деятелей нашей культуры. Рачинский был не только выдающимся педагогом-подвижником, но и человеком интереснейшей судьбы и разнообразных талантов. Уже в молодом возрасте он перевел на немецкий язык «Семейную хронику» Аксакова, был утонченным знатоком музыки, написал гимн в честь Франциска Ассизского, который был положен на музыку Листом, великолепно проявил себя как ботаник, занимаясь в Германии у знаменитого М. Я. Шлейдена, а известный историк философии К. Фишер рекомендовал ему отдать предпочтение по складу ума именно философским наукам. Но Рачинский избрал ботанику и стал профессором Московского университета. Некоторое время выступал и редактором катковского «Русского вестника». Словом, это был человек большой европейской культуры, глубоко верующий христианин, консерватор-славянофил по убеждениям, не чуждый философских интересов. Общение и переписка Розанова со знаменитым педагогом дали ему очень много. Кстати, исследователями недооценивается роль Рачинского в устройстве дел Розанова в связи с его переводом в Петербург. Известный сановный «славянофил»-меценат Т. И. Филиппов, обратив по публикациям в консервативных изданиях внимание на Розанова, пытался именно через Рачинского встретиться с ним. Однако Розанов, после неблаго-

приятной оценки Филиппова Рачинским, уклонялся от этой встречи, пока сельский педагог предпринимал усилия, чтобы устроить его в помощники к К. П. Победоносцеву. Можно себе представить, насколько иначе могла сложиться в этом случае судьба Розанова. И только когда выяснилось, что у «всемогущего» главы Св. Синода вакансий нет и не предвидится, Розанов обратился к Филиппову и вскоре был переведен в Петербург.

Дружеская переписка Розанова с Рачинским продолжалась почти десять лет и прервалась незадолго до кончины татевского педагога из-за неистового увлечения Розанова темой связи религии и пола. Розанов буквально забросал сельского отшельника-аскета своими длинными, эмоциональными письмами-трактатами о целиком поглотивших его внимание неизученных вопросах. И хотя Рачинский, сначала сдержанно, а потом и раздраженно, отговаривал Розанова от «психо-физиологических копаний», Розанов, не способный сдержаться, атаковал Рачинского все новыми и новыми соображениями, отражавшими процесс возникновения его «фаллической» философии. Рачинский, человек твердых христианских убеждений, сразу увидел опасность новых увлечений Розанова (приведших их в конце концов к ссоре), и, как показал дальнейший ход событий, его опасения оказались не безосновательными. Переписка Розанова с Рачинским, интересная и сама по себе, показывает, насколько стремительно шел процесс изменения взглядов Розанова во второй половине 1890-х годов. Показательно, что в письмах Розанова этих лет сложился почти весь комплекс тех новых идей, которые получили выражение в книгах «Религия и культура», «Семейный вопрос в России» и «В мире неясного и нерешенного», а окончательно оформились в «Метафизике христианства».

* * *

В 1891 году Розанов привлек к себе внимание, опубликовав в «Московских ведомостях» четыре ярких фельетона, направленных против позитивистского «наследия 70-х годов». Консервативную направленность этих живо, заинтересованно написанных очерков отметил вступивший в спор с Розановым законодатель вкусов либеральной интеллигенции Н. К. Михайловский, который станет одним из основных оппонентов Розанова в критике, создавших ему репутацию одиозного публициста-реакционера. С другой стороны, консервативные статьи Розанова привлекали к нему и внимание редких единомышленников. Так, в период работы в провинциальных гимназиях Розанов вступил в пере-

писку еще с одним незаурядным консервативным публицистом — И. Ф. Романовым, писавшим обычно под псевдонимом «Рцы». Романов-Рцы раскрыл наивному Розанову глаза на аморальную сущность некоторых деятелей русского консерватизма (в частности, В. П. Мещерского), во многом избавив его от провинциальных иллюзий. Когда Розанов получил вслед за Романовым-Рцы от меценатствующего Государственного контролера Филиппова предложение переехать в Петербург, он поселился с Романовым в одном доме и сразу попал в средоточие собранного Филипповым в столице кружка писателей на церковные темы. Однако общение Розанова с этим кружком петербургских «славянофилов» — а точнее, эпигонов славянофильства, — было для него крайне разочаровывающим и вызвало со временем реакцию отторжения, сыграв не последнюю роль в его отходе от консерватизма. Розанов, которого отсутствие всякого понимания и материальной поддержки со стороны Филиппова привело к длительному периоду крайней нужды, написал немало резких слов об этих «славянофилах» и особенно Филиппове и Васильеве, от которых он зависел по службе. Из всего кружка только с Романовым-Рцы он сохранил дружеские отношения и испытывал интерес настоящего общения (хотя и не раз ссорился). И не случайно он назовет позже этого «гениального тунеядца», так и не сумевшего заметно проявить себя в творчестве, одним из трех людей, которых считал талантливее себя. Если бы не Розанов, имя И. Ф. Романова давно бы кануло в лету. Романов-Рцы, которого называли «маленьким Розановым», часто писал с ним на сходные темы и в чем-то похожей свободной, хаотической манере. Шкловский прав, отмечая, что идея «Опавших листьев» возникла не без влияния романовского «Листопада».

Другим таким никому не известным мыслителем, которого очень высоко оценивал Розанов, был рано умерший философ и критик Ф. Э. Шперк. В дружеском общении с этим молодым поклонником его творчества Розанов впервые, как утверждает Перцов, почувствовал себя самым собой — тем самым «Розановым» с характерным кругом идей, с которыми сегодня обычно ассоциируется его имя. Шперк поддерживал увлечение Розанова темой пола, и эта идейная поддержка со стороны младшего друга и послужила, видимо, основной причиной того, что Розанов так высоко оценил его как мыслителя, поставив, например, в письме Голлербаху даже выше В. С. Соловьева. Конечно, склонному к парадоксам Розанову были свойственны такие неожиданные оценки, к которым он часто прибегал, чтобы ярче оттенить свое суждение, но здесь в большей степени отразилась близость

идей Розанова и Шперка, чем реальная оценка Розановым Соловьева.

Отношения Розанова и Соловьева — этих едва ли не самых значительных философов рубежа веков, представляющих во многих отношениях противоположные полюсы отечественной религиозной мысли, — отдельная, очень большая тема. К середине 1890-х годов у Розанова уже была прочная репутация крайнего реакционера и юродивого, и эта репутация елейного, фари-сействующего обскуранта возникла не без активного участия Владимира Соловьева, после эффектного фельетона которого за Розановым закрепилось прозвище «Иудушка Головлев». Но несмотря на их резкую полемику о свободе и вере, Соловьев через год сам приехал знакомиться с Розановым, ибо, как он объяснял, Розанов — один из тех немногих людей, с которыми можно обсуждать религиозные вопросы, например, тему об антихристе. Долгое время отношения Розанова и Соловьева были вполне дружескими, однако затем они снова вступили в резкую полемику. В конце 1890-х годов взгляды философов претерпели стремительные изменения, причем они словно менялись местами: Розанов шел к допущению большей религиозной и идейной свободы, критикуя христианство, в то время как Соловьев двигался в обратную сторону. В 1899 году Соловьев еще раз кольнул Розанова за не слишком соответствующую юбилею статью о Пушкине, видимо, «отплатив» за предыдущую розановскую критику. Розанов также не остался в долгу: он громко, как-то демонстративно рухнул с креслом на предельно мистической лекции Соловьева об антихристе, а потом объяснил печатно, что заснул, так как лекция была нестерпимо скучна.

Розанов и Соловьев много спорили при жизни, еще больше Розанов спорил с Соловьевым после смерти знаменитого философа. При том, что их объединяла религиозно-философская тематика, подходы Розанова и Соловьева были совершенно разными. Достаточно сказать, что Розанов крайне скептически относился к богословским сочинениям Соловьева, считая их «эклектическими»; неизменно высоко он оценивал только его стихи. К тому же их союз не сложился и из-за того, что Соловьев как-то сочетал религиозность с либеральными политическими взглядами и печатался во враждебном Розанову «Вестнике Европы». Розанов написал о Соловьеве множество статей, и хотя некоторые из них несправедливы к создателю философии «всеединства», лучшие прекрасно воссоздают личность этого большого мыслителя. По замечанию А. Ф. Лосева, «мало кто говорил о Вл. Соловьеве так метко и так проникновенно» — «настолько же ясно и просто,

насколько и гениально». Соловьев и Розанов очень непохожи, во многом противоположны — и прежде всего по политическим позициям и взглядам на национальный вопрос. Однако их сближает глубоко религиозный, мистический подход к философским проблемам, неприятие позитивизма, исключительная творческая одаренность. Обоих их отличает и характерная для переломной эпохи внутренняя раздвоенность. Поразительно то, что у обоих религиозных мыслителей находили не только несомненные черты гениальности, но и отмечали явное присутствие демонизма — и того, и другого не раз называли «антихристом» (в отношении Соловьева это делал и Розанов в «Литературных изгнанниках»).

В споре Розанова с Соловьевым по поводу свободы и веры даже Буренин вступился за Соловьева — настолько неприлично резкими показались ему выпады Розанова против философа. Через год Буренин снова напал на Розанова из-за статьи о Толстом, критикуя его за «семинарское лицемерие, юродство и кликушество». Любопытно, что рядом с Розановым ни во что не верящий Буренин ставит и других ведущих консервативных критиков-публицистов — Ю. Н. Говоруху-Отрока и Л. А. Тихомирова. Еще более характерно, что в том же фельетоне, после «разгрома» религиозных «юродивых», Буренин высмеивает «юродивые произведения» двух поэтов-декадентов — В. Я. Брюсова и А. М. Добролюбова. Все это очень показательно и свидетельствует как об отсутствии в консерватизме идейного единства (Буренин смыкался в своей критике Розанова и «декадентов» с Михайловским), так и об определенной прозорливости нововременского «Терсита»: хотя Розанов в то время еще не только не помышлял о союзе с символистами, но и сам громил их в печати, предпосылки их грядущего сближения были явно налицо.

В эти годы Розанов очень много печатается в консервативных журналах и газетах, но непопулярность самих этих изданий и общая деградация консерватизма не позволяли Розанову надеяться на широкий успех его сочинений. По мере увлечения Розанова темой «святого пола» слабеют его связи с консервативной печатью, хотя и не прерываются окончательно. Во второй половине 1890-х годов Розанов печатается в изданиях разных направлений, прежде всего потому, что к этому его побуждала острая материальная нужда, а также из желания провести в печать связанные с новой темой материалы, независимо от того, где они будут опубликованы. Розанов в эти годы печатался в «Новом времени», «Санкт-Петербургских ведомостях», «Русском слове», «Гражданине» и даже в «Торгово-промышленной газе-

те». Но все же главным местом в 1898—1899 годах, видимо, следует считать «Русский труд» С. Ф. Шарапова, хотя бы потому, что в нем он опубликовал свою программную статью «Брак и христианство», а также потому, что с идеями Розанова были связаны многие публиковавшиеся там материалы. Один из номеров Шарапов фактически посвятил Розанову, опубликовав в нем его автобиографию, свой очерк о мыслителе и поместив на титуле еженедельника его фотопортрет с факсимильно воспроизведенным автографом. В своей статье Шарапов назвал Розанова одним из современных гениев, наряду с Толстым и Соловьевым. Это было уже какое-то признание, хотя «Русский труд» Шарапова мало кто читал, да и «прославлял» он философа с оговорками — ему не нравилось увлечение Розанова новыми идеями, которое он находил болезненным.

Подружившись в этот период с молодым издателем и критиком П. П. Перцовым, сочетавшим «соловьевство» с умеренным славянофильством, Розанов через него сближается с кружком символистов-«богоискателей» во главе с Мережковским, которые проявляют большой интерес к необычному философу, чьи смелые мысли о взаимоотношении религии и пола были подхвачены и по-своему интерпретированы этими деятелями «нового религиозного сознания». Именно в среде «декадентов», которых еще совсем недавно критиковал Розанов на страницах консервативных журналов, он нашел понимание и интерес к своим новым теориям. Особенно привлекло Розанова то, что «декадентство» оказалось более действенным способом борьбы с позитивизмом, чем лишенный общественной поддержки консерватизм. Идеи необходимости религиозного обновления набирали силу одновременно с ростом популярности новой литературы, нового искусства, которые сначала воспринимались лишь как «декадентщина» и индивидуалистический эпатаж общественного мнения. Смелые, шокирующие религиозно-сексуальные идеи Розанова пришлись как нельзя кстати и были использованы Мережковским в собственных, основанных на антитезе духа и плоти построениях о грядущем Третьем Завете. Вдохновляясь идеей духовного обновления общества, приближения Церкви к жизни, Розанов вместе с Мережковским и другими представителями «нового религиозного сознания» принял активное участие в организованных ими Религиозно-философских собраниях. Мережковский и Розанов хорошо дополняли друг друга: Розанов был неистощим в разработке новых идей, а Мережковский с его огромной эрудицией и темпераментом общественного деятеля играл роль внешнего лидера-организатора. Выделяя Розанова и Мережков-

ского, естественно, не следует недооценивать и участие в этой деятельности Философова, Минского, Карташева и особенно Зинаиды Гиппиус.

В этот период количество критических отзывов о Розанове заметно увеличилось. Популярность Розанова выросла уже после издания Перцовым с небольшим перерывом сразу четырех сборников ранних статей, как бы подводившим итог первому периоду его творчества. На эти сборники было опубликовано немало рецензий, среди которых следует выделить статью П. Б. Струве о «Сумерках просвещения» — едва ли не впервые в либеральной печати появился серьезный, положительный по тону отзыв о писателе, о котором прежде публиковались лишь разгромные, издевательские или насмешливые фельетоны. Сотрудничество Розанова в газете «Новое время», которое с 1899 года стало постоянным, сделало его известным публицистом, а участие в Религиозно-философских собраниях закрепило его уже очевидную, хотя и во многом скандальную известность.

Своеобразие положения Розанова было в том, что он настроил против себя все основные категории потенциальных читателей — либеральная часть интеллигенции сохранила к нему предубеждение из-за былой репутации одиозного фарисействующего реакционера, подкреплявшейся его поступлением в «Новое время», да и его искания в сфере религии и пола многими рассматривались как декадентский интерес к «клубничке». Оттолкнул от себя Розанов и значительную консервативную аудиторию, особенно представителей духовенства, энергично опровергавших в церковной печати его рассуждения по поводу христианского брака. Что же касается консервативной печати, то, например, по части брани в адрес «утонувшего в микве» Розанова Н. Я. Стечкин-«Стародум», критик «Русского вестника», где еще недавно печатался философ, не уступал громившим «реакционера» многочисленным фельетонистам левых газет и журналов, вроде Н. П. Ашешова или С. Б. Любошица.

Единственной «аудиторией», где Розанов получил несомненное признание, были «декаденты». Именно Мережковский первым во всеуслышание заявил о «гениальности» Розанова, назвав его в своей работе «Л. Толстой и Достоевский», напечатанной в «Мире искусства», «русским «Ницше». Очень тесным было сотрудничество Мережковского и Розанова и в журнале «Новый путь». Однако в результате первой русской революции взгляды Мережковского и его окружения резко «полевели», и под влиянием этой группы, после ее возвращения в 1908 году из Парижа, совсем иной, явно политизированный характер стала приобре-

тать и деятельность возобновленного Религиозно-философского общества. Идеи «религиозной общественности», которые утверждал теперь Мережковский, все больше сближали его с радикальной частью интеллигенции. Розанов же, наоборот, разочарованный итогами революции и «самодовольством» либеральной оппозиции, в 1909 году начал выступать против революционеров с резкими статьями, возмущавшими Мережковских и примыкавших к ним публицистов. Идеино Розанов снова сблизился с консервативным лагерем, хотя, по существу, работая в «Новом времени», он его никогда и не покидал. Это не помешало Розанову выпустить в 1910 году книгу написанных прежде, восхвалявших революцию статей и продолжать сотрудничать в либеральном «Русском слове», откуда его попросили в 1911 году после ультиматума Мережковского и Философова. Выход сборника «Вехи» подтвердил размежевание Розанова с Мережковским и его кругом, а полемика после убийства Столыпина окончательно развела их по разные стороны баррикад. Итогом этой вражды стало требование в 1914 году со стороны Мережковского и других бывших друзей Розанова его исключения из Религиозно-философского общества.

Надо отдать должное Мережковскому, который задолго до разрыва провидчески указал, что они с Розановым — две противоположности, на время сошедшиеся в одной точке. Парадоксальность ситуации состояла в том, что Розанов, выступавший с резкими выпадами против христианства, выражал свои *жизненные* переживания и оставался все-таки реально связанным с православием, с Церковью, в то время как без меры пользовавшийся христианской терминологией Мережковский всегда оставался лишь *литератором*, а создававшаяся им и его окружением «новая церковь», напоминавшая сектантский «корабль», была, может быть, еще большим еретичеством, чем розановская антихристианская хула. Как ни странно, сближало Розанова и Мережковского на рубеже веков именно антихристианство, хотя скрыто-рационалистичный Мережковский этого никогда не признавал. Постоянно упрекая Розанова в лукавстве его бунта, он требовал, чтобы тот яснее высказался, решив для себя: «за» Христа — или «против». Но для Розанова разрыв с христианством, несмотря на все обличения, был невозможен по сути: язычество и христианство были двумя полюсами его души. Розанова можно было увлечь «декадентским» причащением кровью, но его нельзя себе представить в сектантской «новой церкви» дома Мурузи. Отход Мережковского от прежних религиозно-метафизических тем представлялся Розанову откровенной изменой —

«Мережковский потерял личность, из Павла обратился в Савла». Попытка соединения религии и революции, вылившаяся на практике в борьбу Мережковского с Церковью как оплотом реакционного самодержавия и всяческую поддержку политической оппозиции, в творческом отношении свелась, по мнению Розанова, несмотря на декларируемую религиозность, к обыкновенной либеральной риторике. Об этом же убедительно писал, в частности, Вяч. Иванов.

Выпуск Розановым в 1911 году написанной гораздо ранее «Метафизики христианства» («Темный Лик» и «Люди лунного света»), особенно примечательной силой выражения антихристианских идей, никак не согласовывался с его возвратом к консервативно-православным позициям. Не менее шокирующее впечатление, хотя и другими качествами — своей демонстративной обнаженностью и вызовом «прогрессистам», — произвела и вышедшая в 1912 году книга «Уединенное». Но к этому времени, как справедливо замечает Измайлов, Розанов уже пробил себе дорогу — его читали независимо от взглядов, и хотя большинство рецензий на эту необычную книгу было отрицательными или даже издевательскими по тону, пройти мимо этого незаурядного явления в литературе не могла себе позволить уже и диктующая моду либеральная «общественность». К этому времени стало понятным: Розанов настолько самобытен и неуправляем, что его нельзя оценивать с обычных партийных или иных догматических позиций, а можно только принимать таким, какой он есть, ценя за выдающийся талант и собственное видение мира. Круг почитателей Розанова все время расширялся, и хотя в прессе преобладали ругательные отзывы «справа» и особенно «слева», теперь мы знаем, что Розанова ценили многие видные представители русской культуры — и среди них даже Горький, состоявший с Розановым в переписке. За шумными выступлениями «левой» прессы не было сразу заметно, что среди молодежи появилось уже немало почитателей Розанова — Н. Н. Русов (посвятивший ему в 1910 году свою первую книгу), В. Р. Ховин, Э. Ф. Голлербах, С. Н. Дурылин... В том, что их голоса, кроме, разве что, Голлербаха, не зазвучали в 1920-е годы на полную мощь, нет их вины. Но уже сам факт, что творчество Розанова становилось не только объектом критического анализа, говорит о многом.

Среди религиозных мыслителей этого периода Розанов пользовался безусловным признанием как подлинный талант, хотя его «пансексуализм» и подвергался ими порой сокрушительной критике. Типичным примером может служить большая статья А. С. Глинки-Волжского, который ярко раскрыл демоническую

сущность «фаллической» философии Розанова и который, тем не менее, состоял с Розановым в дружеской переписке. О Розанове интересно писали Бердяев, Тареев, Булгаков, Шестов. С большинством из религиозных философов Розанов был хорошо знаком, и почти с каждым его связывали не только личные встречи, но и творческие отношения. Следует подчеркнуть, что даже в газетной публицистике Розанова собственно литературно-философская проблематика занимает ведущее место. Розанов создал огромное количество блестящих, рельефных психологических портретов, отличающихся, как и все у него, нестандартностью оценок, меткостью наблюдений и глубоким постижением творческой индивидуальности. У Розанова можно найти интереснейшие, подчас абсолютно противоречащие друг другу статьи, заметки, сопоставления, отдельные высказывания почти о всех крупных деятелях русской культуры. О ком он только не писал! Ему принадлежит множество ярких статей о каждом из классиков отечественной литературы, эссе о славянофилах и Чаадаеве, Страхове и Рачинском, Леонтьеве и Соловьеве, Победоносцеве и Каткове, Шестове и Бердяеве, Флоренском и Булгакове... Статьи Розанова о творческих личностях — это чаще всего своего рода аксиологические этюды. Выстроив в начале ту или иную исходную теорию ценностей в зависимости от намерения и преобладающего у него настроения, он проводил бесконечные сопоставления различных писателей или мыслителей, делая на основе этих историко-культурных параллелей немало тонких и порой неожиданных, парадоксальных выводов. Большинство его статей о современниках имеет особую ценность из-за редкостного умения Розанова привнести живую, личную ноту, использовать важные детали, зорко подмеченные при знакомстве. Розанов, обладая чуткой, отзывчивой душой, умением поразительно быстро и адекватно запечатлеть на бумаге свои мысли и переживания, является одним из самых значительных, может быть, до сих пор недостаточно оцененных, историков русской культуры рубежа веков. Он отличался, как мы уже отмечали, уникальной способностью бесконечно варьировать свои заметки, и при редкой легкости пера в его многочисленных статьях на сходные темы, как правило, нет однообразия. Так, например, в одном 1916 году он опубликовал более десятка статей о философском творчестве Бердяева, и это не проходные газетные фельетоны, а большие эссе, заслуживающие внимания емкостью, осязательностью характеристик и оригинальностью подхода.

Во второй половине 1910-х годов, утратив духовную связь с петербургской интеллигенцией, Розанов все чаще обращает свое

внимание на «молодых московских славянофилов» — В. А. Кожевникова, С. Н. Булгакова, о. Павла Флоренского, В. Ф. Эрн, С. А. Цветкова, Ф. К. Андреева и др. Он выражает желание сотрудничать с московским религиозно-философским издательством «Путь», активно переписывается с москвичами. Особенно выделял он в московском кружке о. Павла Флоренского, отношения с которым, несмотря на все их кричащие мировоззренческие разногласия, можно назвать дружескими. Примечательно, что Зинаида Гиппиус даже усиление националистических и антисемитских настроений у Розанова приписывает влиянию о. Павла, хотя это, конечно, преувеличение. Большая, полная восхищения статья Розанова «Густая книга», посвященная фундаментальному труду Флоренского «Столп и утверждение истины», так не похожему на его собственные сочинения, как и многочисленные восхищенные отзывы о Флоренском в письмах, говорит о том, что они были друг другу интересны прежде всего ярким своеобразием, глубокой самостоятельностью творчества. Но помимо взаимного интереса двух больших мыслителей, были и менее явные, внутренние мотивы. Конечно, их сближало религиозное, мистическое видение мира. Кроме того, Флоренскому также не был чужд идеал «живого» христианства, более тесно связанного с повседневной жизнью, — утверждение единства духа и плоти в развитие традиции, родоначальником которой был малоизвестный мыслитель архим. Феодор (А. М. Бухарев). Розанов не раз писал о нем, а Флоренский, будучи редактором «Богословского вестника», опубликовал множество важных материалов об этом ярком стороннике привнесения христианства в мирскую среду. Более того, известно, что после революции Флоренский работал над исследованием об А. М. Бухарева, считая, что «только теперь приходит время его настоящей оценки». Розанова, как и Флоренского, отличает глубокая связь с онтологической традицией — как справедливо отмечает прот. В. Зеньковский, Розанов, даже как проповедник язычества и Ветхого Завета, «весь пронизан лучами Христовой победы» — он был бы невозможен без Христа и уже неотрывен от христианства. Наконец, еще одна очень важная черта, общая у Розанова и Флоренского — их любовь к России, к русскому, общее «костромское» начало. Они и не помышляли о возможности отъезда из России в смутные времена, и это их очень сближает. Схожими были, вероятно, и их взгляды по еврейскому вопросу, но эта до сих пор болезненная тема не может быть объективно раскрыта из-за недоступности их переписки.

Перебираясь с семьей в 1917 году, еще до Октябрьской революции, в Сергиев Посад, Розанов, конечно, думал не только о том, чтобы скрыться «с глаз долой», хотя он и понимал, что могло ждать его, известного «реакционера-нововременца». Но решающее значение имело, видимо, намерение обрести к старости духовное успокоение среди все-таки наиболее близких ему церковно-мыслящих людей, у стен главной святыни православия. Однако катастрофическое развитие событий привело к непредвиденному сдвигу в его душе — новой бурной вспышке языческих, антихристианских настроений. Бердяев, Гершензон, С. И. Фудель и другие очевидцы московских поездок Розанова лета 1918 года свидетельствуют о его крайней враждебности к христианству в это время, да это и так ясно из каждой строчки потрясающего «Апокалипсиса нашего времени». Между тем, окружение Розанова в Сергиевом Посаде было совершенно православным — помимо о. Павла Флоренского и глубоко религиозной семьи Олсуфьевых, с которыми Розанов особенно много общался в этот период, он был знаком (а, как пишет Т. В. Розанова, и даже дружил) с замечательным деятелем Церкви, архим. Иларионом Троицким и другими представителями духовенства. Близким к семье Розановых человеком был опекавший философа во время его поездок в Москву молодой религиозный мыслитель С. Н. Дурылин, ставший в эти страшные годы священником и служивший в приходе выдающегося московского «старца в миру» о. Алексея Мечева (после ареста и ссылки Дурылин сложил с себя сан и занялся историей литературы и театром). Воспоминания этого искреннего почитателя розановского таланта принадлежат к числу самых значимых мемуарных свидетельств о последнем этапе жизни философа. Христианская кончина Розанова, несмотря на выразившуюся в этом поступке очередную логическую непоследовательность религиозного анархиста, имела обоснование в той православной среде, в которой завершилась его жизнь. Предсмертные письма Розанова, полные духа примирения, да и сама его кончина, заставили всех снова обратить на него пристальное внимание.

* * *

Вообще, когда Розанов приближался к своей последней черте, и особенно после его полуголодной смерти, осознание значительности роли этого бунтаря и мечтателя в отечественной культуре, несмотря на всю сложность и извилистость его творческого пути, пришло ко многим. Нельзя, правда, сказать, что и в доре-

волюционной критике не было глубоких, серьезных исследований творчества Розанова — достаточно назвать основательные очерки Волжского, Грифцова, Закржевского, пронизательные обобщения Бердяева и Тареева, меткие наблюдения раннего Мережковского, Философова, Перцова, объективные, взвешенные характеристики Измайлова. Однако большинство статей о Розанове носило тогда частный, обычно полемический характер. И только в 1918 году, в брошюре Э. Ф. Голлербаха, много общавшегося с Розановым до его отъезда из Петрограда, впервые получили отражение все основные грани противоречивой личности Розанова и были освещены, хотя и бегло, главные этапы его творческой биографии.

Последние статьи Голлербаха, как и письма Розанова к нему, появились уже на Западе — в советской России имя Розанова было вытеснено сначала из печати, а потом и из памяти. И это не удивительно: едва ли какой другой мыслитель мог вызвать большее озлобление идеологов большевизма, чем этот непредсказуемый мистик и монархист, посвятивший немало страниц своих книг разоблачению лживой сути революционного движения. Отношение властей к Розанову вполне выразилось в предельно неприязненной заметке о нем Л. Д. Троцкого. Она делает понятным, почему не получили воплощения многочисленные планы, связанные с изданием книг, в том числе и собрания сочинений Розанова, и увековечение его памяти. Что касается русской либеральной интеллигенции, оказавшейся в большинстве своем в эмиграции, то ее отношение к Розанову заметно смягчилось. После революции выглядевшие прежде кощунственными выступления Розанова на политические темы предстали во многом как пророческие.

Самые яркие работы о Розанове появились уже не в России, а в эмигрантской прессе. Зинаида Гиппиус, которая многие годы враждовала с Розановым, не могла, конечно, стать полностью беспристрастной. Но она в своем очерке «Задумчивый странник» предельно сгладила разделявшие их с Розановым огромные идейные расхождения и, надо отдать ей должное, прекрасно воссоздала психологический портрет этой многосложной, трудной для истолкования личности. Не менее блистательно справился с этой трудной задачей и А. М. Ремизов в своей полухудожественной книге «Кукха. Розановы письма». В свойственном ему утонченно-причудливом стиле он сообщает множество интереснейших фактических сведений о Розанове, в том числе и интимного свойства, используя свою переписку с философом. Ремизов подробно останавливается на малоизвестных сторонах жизни создателя

«фаллической» философии. И несмотря на шуточный тон и мастерскую подачу рискованного материала, ясно, что «эротические опыты» Розанова не всегда были невинными и что в своем почти болезненном смаковании сексуальной темы он вел себя как типичный представитель «декадентской» литературно-художественной элиты Петербурга «серебряного века». Представляет значительный интерес и небольшой очерк Ремизова «Встреча» в созданном им своеобразном «поминальном» жанре обращения к давно ушедшим из жизни современникам.

В предреволюционные годы религиозная философия находилась в процессе столь бурного развития, что до серьезных обзорных работ еще просто не дошло дело. Но Н. Н. Русов, например, рассказывает, с каким энтузиазмом отнесся Розанов к идее создания словаря русских мыслителей. Эту идею тогда осуществить не удалось. Время подведения итогов наступило позже. Работы эмигрантских религиозных мыслителей прот. Г. Флоровского, прот. В. Зеньковского, Н. О. Лосского, Н. А. Бердяева восполнили этот существенный пробел, показав огромное богатство отечественной философии, само существование которой даже В. С. Соловьевым еще недавно ставилось под сомнение. Во всех этих очерках истории русской мысли Розанову отводится видное место, хотя он обычно рассматривается только как выразитель религии пола. Не удивительно поэтому, что отзыв о нем строгого православного богослова о. Георгия Флоровского носит резко отрицательный характер. Совершенно не останавливаясь на достоинствах Розанова, словно их и не существовало, Флоровский, тем не менее, пользуется выразительными цитатами из его сочинений для характеристики других мыслителей.

Более справедливой и разносторонней является оценка прот. В. Зеньковского, который, не проходя мимо недостатков розановской философии, верно подмечает ее космологические элементы и внутреннюю близость к идеям софиологов.

В целом о Розанове в эмиграции было написано немало. Интересные суждения о нем содержатся в статьях Л. И. Шестова, К. В. Мочульского, Г. П. Федотова, В. Н. Ильина. Однако многие статьи носят уже поверхностный, ознакомительный характер — новое поколение эмиграции уже не было так близко знакомо с этим оригинальнейшим мыслителем и писателем, как его современники. Среди эмигрантов младшего поколения самые значительные работы о Розанове принадлежат Ю. Иваску. Плоды деятельности этого крупнейшего на Западе специалиста по творчеству Розанова могут по достоинству быть оценены в России только теперь, когда стали общедоступными эмигрант-

ские издания и, в частности, парижский «Вестник русского христианского движения» и нью-йоркский «Новый журнал», где особенно много печатался Иваск.

В конце 1920-х годов сочинения Розанова были переведены на основные европейские языки. Связующим звеном в приобщении Запада к русской культуре были работы эмигрантских исследователей и критиков на иностранных языках. Что касается Розанова, то это прежде всего вышедшая на английском языке замечательная «История русской литературы» Д. П. Святополк-Мирского, который считал Розанова самым большим русским писателем XX века, книга В. С. Познера «Панорама русской литературы», написанная по-французски, статьи в парижской периодике Б. Ф. Шлецера и др. Первым из больших западных писателей на Розанова обратил внимание английский романист Д. Г. Лоуренс, «фаллические» мотивы в произведениях которого перекликаются с «сексуальным пантеизмом» русского мыслителя. Чуть позже начали появляться исследования западных литераторов и историков философии, посвященные Розанову. Среди них заметно выделяется глубиной освоения материала и количеством публикаций западногерманский исследователь Г. Штаммлер.

Книга эмигранта «третьей волны» А. Д. Синявского, вышедшая в 1982 году и содержащая ряд тонких стилистических наблюдений и интересных обобщений, представляет взгляд на Розанова уже того современного русского поколения, которое сейчас заново открывает этого мыслителя и писателя. После долгого перерыва книги Розанова снова пришли к русскому читателю. И что характерно: за это время насильственного забвения авторитет Розанова даже вырос — сегодня он один из самых влиятельных и читаемых отечественных религиозных философов. Наше время отмечено не только большим количеством изданий сочинений самого Розанова, но и проявлением растущего исследовательского интереса к еще во многом неизученному творческому наследию философа. Последние годы ушли у специалистов в основном на изучение огромной дореволюционной литературы, на освоение работ, появившихся в эмиграции, где изучение Розанова не прерывалось, на публикацию малоизвестных или не издававшихся прежде сочинений Розанова. Обнаружилось немало и отечественных неопубликованных материалов, имеющих отношение к Розанову. Так, в «Дневниках» Пришвина сохранилось большое количество размышлений о философе, которые дают, быть может, самую глубокую и верную оценку его творчества. С помощью архивов расширяется и круг лиц,

писавших о Розанове: здесь имена Д. С. Дарского, С. П. Каблукова, С. И. Фуделя, С. Н. Дурылина, А. А. Золотарева... В биографии Розанова остаются еще «белые пятна» — например, все ли бесценные короба «опавших листьев», переданные в опасное время на хранение искусствоведу А. А. Сидорову, попали в известные розановские архивы?..

Думается, пришла пора создания полной, научно выверенной биографии Розанова и обобщающих, фундаментальных исследований его огромного творческого наследия. Хотелось бы надеяться, что наша антология, в которой собраны основные критические материалы прошлого, поможет ускорить этот процесс освоения творчества одного из самых оригинальных русских религиозных мыслителей и писателей.





РОЗАНОВ О СЕБЕ

Ответы на анкету Нижегородской губернской ученой архивной комиссии

ФАМИЛИЯ:	<i>Розанов</i>
ИМЯ:	<i>Василий</i>
ОТЧЕСТВО:	<i>Васильевич</i>
ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО РОЖДЕНИЯ:	<i>1856 год, апрель¹</i>
МЕСТО РОЖДЕНИЯ:	<i>Ветлуга, Костромской губ.</i>
ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ:	<i>Православное</i>
КТО БЫЛИ РОДИТЕЛИ:	<i>Отец мелкий чиновник лесного ведомства², мать дворянка, урожденная Шишкина³</i>
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РОДА (ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ БЫЛИ ЛИ В РОДУ ВЫДАЮЩИЕСЯ В КАКОМ-ЛИБО ОТНО- ШЕНИИ ЛЮДИ?):	<i>Не знаю дальше родителей, но дед был священником.</i>

Отца потерял 3-х лет (в Ветлуге или Варнавине), — и одновременно мать с 7-ю детьми переехала в Кострому ради воспитания детей. Здесь купила деревянный домик у Боровкова пруда. Только старшая сестра Вера⁴ и старший брат Николай († директором Вяземской гимназии)⁵ учились отлично; прочие — плохо или скверно. Также и я учился очень плохо. Не было ни учебников и никаких условий для учения. Мать два последних года жизни не вставала с постели, братья и другая сестра были «не работоспособны», и дом наш и вся семья разваливалась. Мать умерла, когда я был (оставшись на 2-й год) учеником 2-го класса. Нет сомнения, что я совершенно погиб бы, не «подбери» меня старший брат Николай, к этому времени как раз кончивший

Казанский университет. Он дал мне все средства образования и, словом, был отцом. Он был учителем и потом директором гимназии (в Симбирске, Нижнем, в Белом Смоленск<ой> губ<ернии>, в Вязьме). Он рано женился на пансионерке Нижегородского института благородных девиц, времени директрисы Остафьевой — Александре Степановне Троицкой, дочери нижегородского учителя. Эта замечательная по кротости и мягкости женщина была мне сущей матерью. От нее я не слышал не только грубого, но и жесткого слова. С братом же я ссорился, начиная с 5–6 класса гимназии: он был умеренный, ценил Н. Я. Данилевского и Каткова, уважал государство, любил свою нацию; в то же время зачитывался Маколеем, Гизо⁶, из наших — Грановским. Я же был «нигилист» во всех отношениях, и когда он раз сказал, что «и Бокль с Дрэпером⁷ могут ошибаться», то я до того нагрубил ему, что был отделен в столе: мне выносили обед в мою комнату. Словом, все «обычно русское».

Учился я все время плоховато, запоем читая и скучая гимназией. Гимназия была отвратительна, «толстовская». Директор — знаменитый К. И. Садоков⁸, умница и отличный, в сущности, директор: но я безотчетно или, вернее, «бездоказательно» чувствовал его двуличие, всячески избегал — почему-то ненавидел, хотя он ничего вредного мне не сделал, ни же неприятного. Кончил я «едва-едва», — атеистом, (в душе) социалистом, и со страшным отвращением, кажется, ко всей действительности. Из всей действительности любил только книги. В университете (историческо-филологический факультет)⁹ я беспричинно изменился: именно, я стал испытывать постоянную внутреннюю *скуку*, совершенно беспричинную и, позволю себе выразиться, — «скука родила во мне мудрость». Все рациональное, отчетливое, явное, позитивное стало мне скучно «Бог весть почему»: профессора, студенты, сам я, «свое все» (миросозерцание) — скучно и скучно. И книги уже я не так охотно и жадно читал, не «с такою надеждою». Учился тоже «так себе». Вообще, как и всегда потом, я почти не замечал «текущего» и «окружающего», из него лишь «поражаясь» чем-нибудь: а главное была... не то чтобы «энергичная внутренняя работа», для таковой не было матерьяла, вещества, а — вечная задумчивость, мечта, переходившая в безотчетное «внутреннее счастье» или обратно — в тоску.

Кончив — поступил учителем и к учительству относился, как ко всему: «Что-то течет вокруг меня: и все мне мешает думать». Уже с 1-го курса университета я перестал быть безбожником. И не преувеличивая скажу: Бог поселился во мне. С того времени и до этого, каковы бы ни были мои отношения к церкви

(изменившиеся совершенно с 1896–97 г.), что бы я ни делал, что бы ни говорил и ни писал, прямо или *в особенности косвенно*, я говорил и думал, собственно, только о Боге: так что Он занял всего меня, без какого-либо остатка, в то же время как-то оставив мысль свободною и энергичною в отношении других тем. Бог меня не теснил и не связывал: *я стыдился Его* (поступая или думая дурно), но никогда *не боялся, не пугался* (ада никогда не боялся). Я с величайшей любовью приносил Ему все, всякую мысль (да только о Нем и думал): как дитя, пошедшее в сад, приносит оттуда цветы, или фрукты, или дрова «в дом свой», отцу, матери, жене, детям: Бог был «дом» мой (исключительно меня одного, — хотя бы в то же время и для других «Бог», но это меня не интересовало и в это я не вдумывался), «все» мое, «родное мое». Так как в этом чувстве, что «Он — мой», я никогда не изменился (как грешен ни бывал), то и обратно во мне утвердилась вера, что «Бог меня никогда не оставит». Кажется, этому способствовало одно мое чувство, или особенность, какой в равной степени я ни у кого не встречал: скромность, как бы вытекавшая у меня из совершенной потери *своей личности*. Уже много лет я не помню, чтобы когда-нибудь обижался на личную обиду: и когда от людей грубых (напр<имер>, романист Всеволод Соловьев¹⁰) мне приходилось испытывать чрезвычайные обиды, я не мог сердиться даже и в самую минуту обиды и потом долее 3-х дней не помнил, что *она была*. Это глубокое умаление своей личности у меня вытекало из тесноты отношения к Богу: «уничуждения» (деланного) во мне тоже нет; а я просто ничего не думал о себе, «сам» — просто неинтересная для меня вещь (как, впрочем, и весь мир), сравнительно с «родное—Бог—мой дом», «мой угол». С этим умалением своей личности (и личности целого мира) связаны (как я думаю и уверен) моя свобода и даже (может показаться) бесстыдство в литературе. Я «тоже ничего не думаю» и о писаниях своих, не ставлю их ни в какой особый «плюс», а главное — что бы ни случилось написать и что бы ни заговорили о написанном — с меня «как с гуся вода»: просто я ничего не чувствую. Я как бы заснул со своим «Богом» и сплю непробудным счастливым сном.

«Чувство Бога» продолжается у меня (без перерывов) с 1-го курса университета: но *характер чувства*, и, следов<ательно>, постижение Бога изменилось в 1896–97 г. в связи с переменою взглядов на: 1) пол, 2) брак, 3) семью, 4) отношение Нового и Ветхого Завета между собою. Но рубрики 1), 2) и 4) были в зависимости от крепчайшего *утверждения в семье*. Разные семейные коллизии сделали, что мне надо съехать с *почвы семьи, с камня*

семьи. Но тут уперлась вся моя личность, не гордым в себе, а именно *смиранным, простым, кротким*: это что-то «смирненное, простое и кроткое» и взбунтовалось во мне и побудило меня, такого «тихонького», восстать против самых великих и давних авторитетов. Если бы я боролся против них «гордостью ума» — я был бы давно побежден, разбит. Но «кротости» ничего нет сильнее в мире, кротость — непобедима: и как я-то *про себя знаю*, что во мне бунтует «тихий», «незаметный», «ничто»: то я и чувствую себя совершенно непобедимым, теперь и даже никогда.

Вообще, если разобраться во всех этих коллизиях подробно — и развернуть бы их в том, это была бы величайшая по интересу история, вовсе не биографического значения, а, так сказать, цивилизационного, историко-культурного. По разным причинам я думаю, что это «единственный раз» в истории случилось, и я не могу отделаться от чувства, что это — провиденциально.

Все время с 1-го курса университета я «думал», solo — «думал»: кончив курс, сел сейчас же за книгу «О понимании» (700 страниц) и написал ее в 4 года совершенно легко, ничего подготовительного не читавши и ни с кем о теме ее не говоривши. Я думаю, что такого «расцвета ума», как во время писания этой книги, — у меня уже никогда не повторялось. Сплошное рассуждение на 40 печатных листов — летящее, легкое, воздушное, счастливое для меня, сам сознаю — умное: это, я думаю, вообще нечасто в России. Встретить книга хоть какой-нибудь привет, — я бы на всю жизнь остался «философом». Но книга ничего не вызвала (она, однако, написана легко). Тогда я перешел к критике, публицистике: но все это было «не то». Это не настоящее мое: когда я в философии никогда не позволил бы себе «дурачиться», «шалить», в других областях это делаю; при постоянной, непрерывной серьезности, во мне есть много резвости и до известной степени во мне *застыл* мальчик и никогда не переходил в зрелый возраст. «Зрелых людей», «больших» — я и не люблю; они меня стесняют, и я просто ухожу в сторону. Никакого интереса с ними и от них не чувствую и не ожидаю. Любил я только стариков-старух и детей-юношей, не старше 26 лет. С прочими — «внешние отношения», квартира, стол, деньги, никакой умственной или сердечной связи (с «большими»).

Сотрудничал я в очень многих журналах и газетах¹¹, — всегда без малейшего внимания к тому, какого они направления и кто их издает. Всегда относились ко мне хорошо. Только консерваторы не платили гонорара или задерживали его на долгие месяцы (Берг, Александров). Сотрудничая, я чуть-чуть прино-

ровлял статьи к журналу, единственно, чтобы «проходили» они: но существенно вообще никогда не поддавался в себе. Но от этого я любил одновременно во многих органах сотрудничать: «Одна часть души пройдет у Берга...». Мне ужасно надо было, существенно надо, протиснуть «часть души» в журналах радикальных: и в консервативнейший свой период, когда, оказывается, все либералы были возмущены мною, я попросил у Михайловского участия в «Русск<ом> богатстве»¹². Я бы им написал действительно отличнейшие статьи о бюрократии и пролетариях (сам пролетарий — я их всегда любил). Михайловский отказал, сославшись: «Читатели бы очень удивились, увидав меня вместе с Вами в журнале». Мне же этого ничего не приходило в голову. Матерьяльно я чрезвычайно многим обязан Суворину¹³: *ни разу* он не навязал мне ни одной, ни разу не внушил ни одной статьи, не делал и попытки к этому, ни шага. С другой стороны, я никогда в жизни не брал авансов, — даже испытывая страшную нужду. Суворин (сколько понимаю), тоже ценит во мне нежадность: и как-то взаимно уважая и, кажется, любя друг друга (я его определенно люблю), — но и от него, кроме непрерывной ласки, ничего не видел за 10 лет), — хорошо устроились. Без его помощи, т. е. без сотрудничества в «Н<овом> вр<емени>», я вот теперь не мог бы даже отдать детей в школы: раньше хватало только на пропитание и квартиру, и жена в страшную петербургскую зиму ходила в меховой кофте, не имея пальто. Но моя прекрасная жена никогда ни на что не жаловалась, в горе — молчала, делилась только «хорошим»: и вообще должен заметить, что «путеводной звездой» моей жизни служила всегда эта 2-ая жена, женщина удивительного спокойствия и ясности души, соединенной с тихой и чисто русской экзальтацией. «Великое в молчании».

Статьи мои собраны в книгах¹⁴:

- 1) «Сумерки просвещения», 1899 г.
- 2) «Природа и история», 1899 г.
- 3) «Литературные очерки», 1900 г.
- 4) «Религия и культура» (два издания), 1900 г.
- 5) «Легенда о Великом Инквизиторе» Достоевского». Три издания.
- 6) «В мире неясного и нерешенного» (главная идейная книга). Два издания, 1904 г.
- 7) «Семейный вопрос в России», 2 тома, 1905 г.
- 8) «Около церковных стен», 2 тома, 1907 г.

- 9) «Ослабнувший фетиш», 1907 г.
- 10) «Место христианства в истории», 1901 г., брошюра.
- 11) «О декадентах», 1907 г., брошюра.
- 12) «Метафизика Аристотеля». Книги I–V. Перевод и комментарии в сотрудничестве с П. Д. Первовым (учитель гимназии в Ельце).

Служил сперва учителем истории и географии (Брянск, Елец, Белый), потом в Государственном контроле, потом — нигде. Служба была так же отвратительна для меня, как и гимназия. «Не ко двору корова» или «двор не по корове» — что-то из двух.

В. Розанов





**МЕМОУАРЫ И ДНЕВНИКИ.
ШТРИХИ ВОСПОМИНАНИЙ**



Т. В. РОЗАНОВА

Воспоминания об отце — Василии Васильевиче Розанове и всей семье

Глава 1

Свое детство я плохо помню.

Вспоминаются какие-то отдельные отрывки из нашей семейной жизни, но один вечер я живо помню. Горит электрический свет, мы все сидим в столовой за общим столом. На темно-коричневых обоях, на бордовых шнурах, в черных рамах, спускаются картины античного мира. Здесь и «Афинская школа» Рафаэля, и «Аполлон», и «Венера Милосская», и «Гермес». Куда девались потом эти картины — я не знаю, но я очень хорошо их помню. Где-то внизу, сбоку, висит и портрет Н. Н. Страхова¹. Папа рассказывает о нем, о его тяжелой болезни (он умер от рака десен), и с каким терпением и мужеством он уходил из жизни. Какой это был, вообще, замечательный человек! Отец очень грустен и сидит понуро, опустив голову.

Первый раз я слышу слово «смерть». Я теряюсь, и сердце мое сжимается пронзительной жалостью к моему умершему крестному отцу.

Что это? То ли отец вспоминает день смерти Страхова, то ли это был самый день смерти, — не знаю! Если день смерти, то это значит, мне — один год, так как Н. Н. Страхов был моим крестным отцом, а я родилась в 1895 году², а через год Страхов умер. Это очень удивительно, этот случай я помню очень ярко, как будто это было на днях.

Нет, наверное, это было позже, скорее всего в 1904 году, когда мы уже жили на Шпалерной ул<ице>³, но точно не уверена, а может, оба случая соединились в одно и оставили острую память о себе, — тем более, что отец часто вспоминал Страхова с любовью, нежностью и глубоким уважением.

Вспоминается из раннего детства наша поездка в Аренсбург⁴, на дачу. Мы ехали на пароходе по Балтийскому морю, помню бурю на море, серо-зеленые волны, ударяющиеся в окна каюты, мне страшно, и я молюсь в душе Богу, чтобы миновала опасность.

В Риге помню благотворительный базар, помню немецких надменных баронесс, которые все явились в ситцевых платьях, а папа говорил: «Посмотрите, как они бедно оделись, это они выражают презрение к русским». Нас было тогда у родителей трое детей⁵ и ездили мы с бонной Эммочкой, которую мои родители очень почитали и которая вскоре по приезде в Петербург заболела сыпным тифом, была увезена в Обуховскую больницу и там скончалась. Ее милый портрет многие годы висел у нас в детской, в плюшевой рамочке. В настоящее время он куда-то затерялся.

Эта поездка мне очень запомнилась, так как мама там впервые серьезно заболела сердцем. И был это 1900 год, который удалось мне восстановить по папиной записи.

Затем помню себя маленькой в детской, стою около корзины с игрушками и что-то мне очень тоскливо, капризничаю, вдали сидит мама, кто-то стоит, но все это в тумане. Потом вспоминаю, как мы в Петербурге переезжали на другую квартиру, должно быть, на Звенигородскую улицу⁶, — тянется шесть или семь подвод, на одной из них восседает торжественно толстая няня Паша; уже должна родиться третья сестренка Варя.

Еще помню, как мы сидим с мамой в детской, на низеньких стульчиках, а мама показывает занимательные картинки из Библии (иллюстрации Доре, как я теперь понимаю) и рассказывает нам чудесные библейские истории (все картины были в черном цвете). — Вот «Изгнание Адама и Евы из рая», «Авель и Каин», «Приношение Авраамом в жертву своего сына Исаака». Мой ужас. Мама чуть не плача признается: «Бога я очень люблю, но вас, моих маленьких деток я не могла бы принести в жертву». И как я маме за это благодарна, как я ее люблю, и как она нас любит!

Помню картину: «Бегство из Содома семьи Лота», его жену, превратившуюся в соляной столб, «Дочь фараона, склонившуюся над младенцем Моисеем», «Пустыню», «Медного змея» и толпу евреев около него.

Эти картины на всю жизнь запечатлелись в моей памяти и жалостные, горячие рассказы моей матери.

В каком году — не помню, кажется, в 1903⁷ — мы ездили летом в Саров. За год до нашей поездки были открыты мощи преподобного Серафима Саровского; еще стояли деревянная по-

золоченная арка, воздвигнутая в честь приезда государя с семьей на открытие мощей.

Мама задумала эту поездку, тревожась за мое слабое здоровье и крайнюю нервность. Мы поехали вчетвером: папа, мама, я и брат Вася. Ехали до Тамбова поездом, а оттуда до Сарова — лошадьми. Перед этим был дождь, дорога была размыта, лошади с трудом шли, кругом стояли чудесные сосновые леса. Приехав в Саров и остановившись в гостинице, мы пошли в храм, где стояли мощи преподобного Серафима Саровского и шли молебны. Мама повела меня в исповедальню к старенькому священнику-монаху и сказала мне, что я должна на все перечисленные грехи говорить — грешна. Так как перечисление грехов было страшное, и я многих слов совсем не понимала, монах взглянул на меня недоуменно, но потом, видно, понял, что мать моя, желая, чтобы я искренне исповедалась и не пропустила греха, так меня научила. После исповеди священник меня ласково погладил по головке и отпустил. Мы пошли в церковь. Она была богато обставленная и блестела позолотой и чистотой. Шла всенощная. Все помню ясно. Это была моя первая исповедь в жизни. На другой день мы ходили за три версты в пустыньку Серафима Саровского, где был источник и где Серафим Саровский, по преданию, провел 1000 дней и ночей на камне в молитве, видели и камень, весь источенный болящими богомольцами. По преданию, Серафим Саровский вырыл сам этот колодец, в этот колодец вела лесенка, и по ней мы спустились и купались. Вода была студеная и животворная.

Ездили из Сарова в Понетаевский монастырь, который был основан учеником Серафима Саровского — Тихоном, и который как-то отделился от Сарова. Об этом папа рассказывал мне. Храм был очень обширный, богатый, монахини пели прекрасно. На обратном пути мы остановились в деревне, нам вынесли большую кринку чудесного молока, и женщина певучим голосом рассказывала о многочисленных исцелениях у раки преподобного. Особенно много слепых исцелилось, по ее рассказам.

Так закончилась наша поездка в Саров, которую папа описал в своих работах.

* * *

<...> Мама мне помнится еще молодой, красивой, статной, с прекрасной каштановой косой вокруг головы. Помню, как она собирается с папой и старшей моей сестрой Алей в театр на «Рус-

лана и Людмилу». Я спрашиваю, что такое театр? А папа говорит, что будут показывать большую голову, мертвую, которая потом заговорит. Я думаю, что же они такие веселые, нарядные, а это так страшно! Мама в сером костюме, в шелковой белой блузке — такая красивая. Сестра в белом нарядном платье с искусственной розой, приколотой у пояса. А папа в сюртуке и очень важен и серьезен.

Мама озабочена, оставляет нас на няню Пашу, велит нам не шалить. Но как только родители уехали, все двери в квартире настежь и начинается игра «в разбойники». Паша должна изображать разбойника, а мы убегаем, прячемся и кричим. Она нас ловит и должна нас туго вязать веревкой, в этом вся соль игры. Стулья все повалены, в комнатах полный беспорядок, няня замучилась с нами. Когда родители приезжают, видят в ужасе эту картину, и нам, конечно, попадает. <...>

Квартиры в Петербурге у нас были большие, часто менялись, так как отец не переносил ремонтов в квартире, и поэтому, когда вставал вопрос о необходимости ремонта, — подыскивалась новая квартира, и мы вновь переезжали⁸. Так с 1899–1904 мы жили на Шпалерной улице, с 1905–1910 в Казачьем переулке. с 1910–1912 — на Звенигородской улице. с 1912–1916 на Коломенской улице. Тут на Кабинетной улице была гимназия Стоюниной, куда отдали остальных сестер, и где я потом кончила гимназию; с 1916–1917 мы жили на Шпалерной улице, д. 44, кв. 22, отсюда мы совсем покинули Петербург (в то время он именовался Петроградом) и переехали в Троице-Сергиев Посад, где уже началась совсем другая жизнь и где окончились дни отца, но об этом расскажу дальше...

У нас, как я говорила, в Петербурге было сначала 6 комнат, а затем 7. Домашней прислуги было трое: кухарка, няня и горничная; дрова носил на 5-й этаж дворник, белье большое приходила стирать прачка раз в месяц, маленькие стирки лежали на обязанности горничной. Горничная должна была по утрам чистить всем обувь и пальто, открывать парадную дверь на звонок, подавать к столу кушанья, мыть с кухаркой посуду; по утрам мести и вытирать пыль в комнатах; раз в месяц приходил полотно и натирал полы (папа этот день очень не любил и уходил из дому куда-нибудь); глаженье всего белья лежало на горничной. Когда мы подросли, няня Паша вышла замуж и ушла от нас; к нам приставили немок-бонн, но мы с ними не ладили, а потом, когда мама заболела в 1910 году, взяли тихую женщину, которая нас обшивала, разливала чай в столовой, гуляла с детьми, делала покупки и была в доме очень необходима. Ее звали Дом-

на Васильевна, фамилию не помню⁹. Она жила у нас вплоть до отъезда в Троице-Сергиев Посад.

Мама была очень хорошей хозяйкой и за здоровьем детей очень наблюдала. День был строго распределен. Нас, детей, будили в восемь часов утра, мы умывались, одевались и, прочитав «Отче наш» и «Богородицу», шли здороваться с папой и мамой в спальню. Это время мы очень любили. Мы целовали у папы и мамы руку. Потом шли завтракать. В это время привозилось 4 бутылки молока из Царского Села, считалось, что там лучше молоко. Мы ели манную кашу, пили кофе с молоком и ели булку с маслом. Через полчаса вставали папа и мама со старшей сестрой Алей. Отец просматривал за кофеем газеты. Газеты выписывались «Новое время», «Русское слово» и «Колокол»¹⁰. Когда мы стали взрослыми, отец все равно не разрешал нам читать газеты. Говорил, что нам они не нужны, а что он как писатель обязан читать их, но что и ему они надоели. Любил читать на последней странице газеты — всякие страшные приключения, а полностью ни одной газеты не прочитывал. Мама газеты никогда не читала, кроме папиных статей, а сестра Аля любила читать журналы: «Русское богатство», а больше всего кадетский журнал «Русскую мысль»¹¹. За столом мы должны были сидеть тихо, перед едой креститься, съесть все, что поставлено на стол. Если мы капризничали за обедом и не ели что-нибудь, папа рассказывал о своей бедности в детстве и вспоминал, сколько есть на свете бедных детей, которые даже черный хлеб едят не досыта. Нам становилось стыдно, и мы принимались за еду. После завтрака мы шли в детскую играть, а мама лежала в спальне на кушетке, Аля тоже, у нее был порок сердца, и она была очень больная; последние годы она у нас не жила, а жила с подругой Натальей Аркадьевной Вальман¹² на отдельной квартире, на Песках. Обыкновенно, в час дня, подавался завтрак — котлеты или что-нибудь легкое. После завтрака отец ложился в кабинете спать на кушетку, мама накрывала его меховой шубой, и в квартире водворялась полная тишина. Нас, детей, спешно одевали и отправляли гулять во всякую погоду: будь то снег или дождь. Гуляли мы большей частью в Таврическом саду. Помню там хромую, некрасивую девочку Асю, старше меня, которая меня полюбила и все за мной ходила, а мне она не нравилась, и я обращалась с ней холодно и пренебрежительно, и даже до сих пор в этом упрекаю я себя. Очень хорошо все это помню.

Летом мы часто гуляли в Летнем саду. Мама, не доверяя ни няне, ни бонне, часто приезжала на извозчике и украдкой смотрела, как мы играем.

Я очень не любила эти прогулки, — особенно зимой: мерзли руки и ноги, особенно, когда заставляли кататься на коньках. Но в наше старое время ослушаться не приходило и в голову.

В четыре часа папа просыпался, вставал, одевался и ехал в Эртелев переулок, в редакцию «Нового времени»¹³. Потолковать о новостях, узнать, как идут его статьи в газете, поболтать с сотрудниками. Близких друзей у него в редакции не было. Главного сотрудника газеты — Меньшикова — он недолюбливал и посмеивался над ним — за зонтик и галоши в любое время года, а также за статьи Меньшикова об аскетизме, считая их фальшивыми¹⁴. У Меньшикова был свой кабинет, у отца никогда не было. В редакцию отец всегда ездил на извозчике, для вида всегда торговался, — 15 или 20 копеек дать? Поговорит, посмеется и всегда даст больше. Отец очень любил шутить, болтать всякие пустяки, особенно с домашней прислугой, с извозчиками. Всегда расспросит: женат ли, сколько детей, отчего умерли родители, выслушает с интересом и прибавит от себя какое-нибудь утешительное наблюдение нравоучительного характера. Домашняя прислуга его очень любила и говорила: «Барин — добрый, а барыня — строгая».

Если папа не уезжал в редакцию, то в четыре часа пили чай, а если уезжал — то в шесть часов подавался обед, а чаю уже не пили. Отец не смел опоздать на обед. Мама очень сердилась, говорила, что труд прислуги надо беречь и приходиться вовремя. Папе очень попадало за опоздание к обеду. Когда мы были совсем маленькие, обед был в два часа дня, а в шесть часов — ужин. Помню, в зимние дни ждем мы папу из редакции. Звонок; горничная идет открывать парадную дверь, мы, дети, гурьбой бежим к отцу навстречу. Мы рады, что он пришел. Он пыхтит, шуба на нем тяжелая, на меху, барашковый воротник, руки у него покрасневшие от мороза, перчаток он не признает. «Это не дело, — говорил он, — ходить мужчине в перчатках». На ногах у него штиблеты и мелкие калоши. Лестница высокая, — 5 этаж, лифт когда работает, когда нет. Отец улыбается, целует нас, детей, идет в столовую, подают миску со щами или супом, валит пар, и счастливая семья, перекрестясь, дружно усаживается за стол. Как я любила эти моменты — так уютно, тепло было в столовой после мороза, папа за столом рассказывает всегда что-нибудь интересное. Обед состоял из трех блюд. Щи или суп с вареным, черкасским мясом (часть мяса 1-го сорта). Мясо из супа обыкновенно ел только отец, и обязательно с горчицей, и очень любил первое блюдо. На второе подавалось: или курица, или кусок жареной телятины, котлеты с гарниром, изредка гусь,

утка или рябчики, судак с отварными яйцами; на третье или компот, или бже, или шарлотка; редко клюквенный кисель. После обеда мы должны были играть в детской, а отец шел заниматься в кабинет, разбирать монеты или читать. Читал он в конце жизни мало, больше до середины книги, или с конца, — уставал. Много прочитал серьезных книг смолоду. В кабинете у отца стояла большая вертящаяся полка с книгами по богословию, сектантству, а на высоком стеллаже стояли старинные фолианты книг на латинском и других языках, энциклопедисты XVIII века. Он хотел после своей смерти пожертвовать в Костромскую городскую библиотеку, откуда был родом, но разруха в революцию не дала осуществить эту мечту, да, он с грустью говаривал: «Кто будет там читать, а я эти книги собирал, будучи бедным студентом, покупая на последние деньги у московских букинистов»¹⁵.

В трудное время сестра Надя продала их, не знаю, кому, потом я очень об этом сокрушалась. Была еще полка с русскими, старинными книгами: Херасковым, Сумароковым, Ломоносовым и Карамзиным, все в старинных, красивых переплетах. В кабинете у отца, на круглом столе красного дерева лежали хорошие книги по искусству. Были на полке у нас и чудесный журнал «Старые годы», и журнал «Столица и усадьба», «Русские Пропилеи», много книг с автографами Гершензона, Мережковского и других писателей. Библиотека не сохранилась. В голодные годы отец их продал в Троице-Сергиевом Посаде в книжный магазин Елова, и сестры во время голода потом тоже продавали книги. Последние, хорошие книги я продала в Государственный Литературный музей, там были и Гершензон, и с интересным автографом, — Вл. Соловьев: «Оправдание добра». Был у нас и весь Леонтьев, стоял на полке с книгами русских писателей-классиков: Достоевским, Толстым, Пушкиным, Лермонтовым, Гончаровым. Тургенев весь стоял в шкафу у сестры Али. В молодости я им зачитывалась.

Как я уже сказала, отца мы видели в основном только за столом. Он любил рассказывать всякие случаи из жизни, о бедствиях своего детства, страшной нищете и болезни бедной своей матери. Это он говорил, чтобы мы не капризничали и ценили нашу жизнь. Любил рассказывать страшные рассказы, читать Гоголя: «Страшную месть», «Вия», «Тараса Бульбу», читал Пушкина стихи и Лермонтова: «Анчар», «Три пальмы», «Выхожу один я на дорогу», а особенно «Ангела» Лермонтова. Мама его часто останавливала, говорила, что дети и без того очень нервные, — плохо спят. В беседах во взрослых отец часто критико-

вал школьное образование, а также либеральные статьи в газетах; приводил рассказы о простых, добрых людях, живущих просто и нравственно. Я очень любила эти папины беседы за столом, они были фундаментом, заложившим нравственную основу во мне на всю жизнь.

На Шпалерной улице, вечерами, мы сидели на подоконниках в столовой и смотрели в окна на Петропавловскую крепость, на Неву, на пароходики с зелеными и красными огоньками. Мы загадывали, какой из-за угла дома покажется пароходик — с зеленым или красным огоньком? И это нас очень увлекало. Об этом пишет в своих воспоминаниях и моя младшая сестренка Надя. Днем к нам редко приходили гости. Делалось исключение для Нестерова, Мережковских. Помню Зинаиду Гиппиус, жену Мережковского, всегда и зимой в белом платье и с рыжими распущенными волосами. Мама ее терпеть не могла, а мы, дети, посмеивались и считали сумасшедшей. Раза два бывала у нас жена Достоевского, Анна Григорьевна¹⁶, в черном шелковом платье, с наколкой на голове и лиловым цветком. Представительная, красивая, просила написать рецензию на роман дочери «Больная девушка»¹⁷. Но папа нашел роман бледным сколком с Достоевского и бездарным, и не написал рецензии. Жена Достоевского волновалась за дочь, жаловалась, что она ее замучила, и она хочет уйти в богадельню. Я тогда очень удивлялась этому.

Днем приходил Евгений Павлович Иванов, изредка бывала моя крестная мать — Ольга Ивановна Романова со своей дочерью Софьей, — папиной крестницей. По зимам, с мамой и со старшими детьми отец изредка ездил к ним в гости на Васильевский остров¹⁸. Зимой на санках проезжали через Неву, красиво горели фонари на оснеженной, замерзшей Неве. Мы любили эти поездки. Старик Иван Федорович Романов, довольный, выходил к отцу навстречу, и лилась у них мирная и интересная беседа, а мы, женщины, говорили про свое житейское, обыденное.

Обыкновенно дети ложились спать в 9 часов вечера. Папа всегда приходил их крестить на ночь. Мама с сестрой ложились часов в 12, я же потихоньку зачитывалась допоздна.

Ночью папа обыкновенно или писал, или определял свои древние монеты, или же ходил по кабинету по диагонали и о чем-нибудь размышлял. Писем он писал мало и по крайней необходимости. Много курил. Папиросы он набивал сам табаком и клал в хорошенькую бордовую коробочку с монограммой «В. Р.», подаренную моему отцу падчерицей А. М. Бутягиной. Коробочка эта сохранилась и передана мною в Государственный литературный музей в Москве. Если в воскресенье, когда магазины табач-

ные закрыты, у отца не было папирос, то он был совершенно растерян и не мог работать.

Сын художника Н. Н. Ге¹⁹ бывал у нас днем. Помню, приходил всегда часа в четыре дня, очень молчаливый, небольшого роста, сидел за чайным столом, посидит и уйдет. Почему он к нам приходил — не знаю, что его связывало с отцом, так как папа никогда не любил художника Ге. В конце жизни в Петербурге к нам стал ездить Тигранов²⁰ с женой, чиновник какого-то министерства, любитель Вагнера, написавший книгу о Вагнере, кажется, интересную; бывал В. В. Андреев — балалаечник-музыкант²¹, с пожилой артисткой Мариинского театра. Она пела старинные романсы, которые папе нравились, а мы, дети, подсмеивались над стариками. Но все же это папу развлекало. После дела Бейлиса и исключения папы из Религиозно-философского общества²² у нас почти никто не бывал, и воскресные вечера как-то сами собой прекратились. А бывало, раньше, до 1910 года, в воскресенье собиралось у нас гостей человек до тридцати еженедельно, а особенно много было в мамины именины и в новый год в папины именины. Их справляли торжественно, с портвейном, вкусными закусками, дорогими шоколадными конфетами и тортами. Шампанское в нашей семье пили только в 12 часов под новый год. Помню, на этих вечерах бывал Валентин Александрович Тернавцев^{23*}, Иван Павлович Щербов^{24**} со своей красивейшей женой, священник Акимов²⁵, философ Столпнер²⁶, для которого специально ставился графин водки; из Москвы изредка наезжал Михаил Васильевич Нестеров²⁷, всегда в строгом черном сюртуке, молчаливый и спокойный, а мы как-то его все чтили и радовались ему. Незабвенный Евгений Павлович Иванов, друг Блока, — и много случайного народа всех толков и мастей; от монархистов до анархистов и богоискателей включительно. Говорили о литературе, живописи, текущих событиях, поднимались горячие споры. Мне было интересно. Младших сес-

* Тернавцев — чиновник Синода и член Религиозно-философского общества, очень умный человек, крестный моей младшей сестры Нади. После революции был выслан из Петрограда, жил в одном из провинциальных городов России, преподавал математику в школе. Умер в 1940 году. Написал толкование на Апокалипсис, подлинник которого не сохранился, но копия была сдана дочерью его в Ленинскую библиотеку (*Здесь и далее примечания, помещаемые внизу под текстом, принадлежат авторам публикуемых материалов*).

** Щербов — преподаватель Духовной Академии²⁸ Александро-Невской Лавры. О нем папа в книге своей писал: «Иван Павлович Щербов — всегда сонный, вялый, а жена у него красавица» (приблизительно тот смысл). Кажется, об этом есть в «Опавших листьях».

тер и братьев укладывали спать, иной раз, до прихода гостей, они выбегали в рубашонках в столовую, чтобы украдкой полакомиться вкусными вещами, за что им попадало.

Помню на этих вечерах Бердяева, а также архитектора, старичка Суслова²⁹. Он подарил папе интересную книгу по древнему зодчеству Севера. По рассказам папы, у него была молодая жена и много детей. Бывал он потом и со своей молодой хорошенькой женой. На этих вечерах у нас помню Петра Петровича Перцова — глуховатого, верного друга отца, образованнейшего человека своей эпохи, переведшего Тэна на русский язык³⁰ и написавшего много хороших критических статей по русской литературе; бывал и Сологуб³¹ со своей женой Чеботаревской, в черном кружевном платье; я ее помню. Она, бедная, в 1918 году покончила с собой, бросившись в Неву³², тело ее нашли весной и узнали только по кольцу на руке. Это мне рассказала жена писателя, — Надежда Григорьевна Чулкова³³.

В 1904 году, когда мы жили на Шпалерной улице, изредка бывала у нас чета Чулковых. Началась Японская война. Помню, у нас, детей, было два альбома и мы наклеивали туда вырезки из газет с изображением боев, Цусимской битвы, крепостей, генералов. Эти альбомы мы бережно сохраняли в нашей семье долгое время. В 1905 году меня отдали в пансион в Царском Селе, чтобы укрепить мое слабое здоровье, а также чтобы закалить меня, так как я росла любимицей в семье, и мама боялась, что выйду в жизнь слишком избалованным созданием.

Я просила мать отдать меня на воспитание крестной матери Романовой, но та отказалась, и меня отдали в пансион. Этот пансион был только что открыт по образцу английской школы и принадлежал некоей даме по фамилии Левицкая³⁴.

В этом пансионе девочки учились вместе с мальчиками. Он помещался в Царском Селе. Прекрасный воздух, парки, строгий режим — все это должно было укрепить мое здоровье. Программа была мужской гимназии с латинским языком. Меня туда привезли и оставили, я долго горько плакала и всех боялась, особенно мальчиков. Мальчики меня звали «мокрой курицей», и я этим очень огорчалась. Через две недели меня стали пускать домой на воскресенье, а если в чем-нибудь провинилась, то оставляли на воскресенье в школе. Но я обыкновенно ездила домой.

Папа и мама мои очень не любили лгать, особенно мама, поэтому она была очень привязана ко мне, потому что я тоже не могла сказать неправду.

Сестры же были большие фантазерки, и никогда нельзя было узнать, правду они говорят или придумывают. Мама с папой

очень верили мне и очень держались меня. Папа говорил: «Таня нас не бросит в старости», и случилось так, что оба умерли при мне; с папой еще очень, очень помогла Надюша, а мама умерла при мне, и до последней минуты я была с ней в больнице.

Вспоминаю свои приезды домой в зимние дни с субботы на воскресенье. Как я любила субботы! Бывало, мама лежит на кушетке, а я сзади нее, за ее спиной, и слушаю ее неторопливые рассказы об Ельце, о бабушке, о первом мамином муже. Милая мама, — больше всех в жизни ее любила, и она тем же отвечала мне. — К моему приезду всегда в вазочке стояли розы, было в комнате моей тщательно все убрано, и я весело проводила эти дни, а вечером, в воскресенье, возвращалась в школу Левицкой. Комнату мою мама запирала на ключ, чтобы сестры там не напроказили, и я была спокойна. Но вот, помнится, в марте месяце 1905 года вдруг перестали доходить письма от родителей, они тоже не приезжали ко мне, и нас не пускали домой. Поезда из Царского Села одно время в Петербург не ходили. Шепотом говорили, что революция в России...

В один из приездов, весной, я видела, как полиция с нагайками разгоняла толпу народа около Зимнего Дворца, и мы с няней убежали; затем волнения улеглись, но долго у нас дома были разговоры. Я напрягала свой детский ум, чтобы понять, что же произошло?

В 1905 году, летом, мы поехали за границу по окружному билету: Берлин, Дрезден, Мюнхен, затем Швейцария и обратно через Вену. Но отцу очень хотелось посмотреть Нюрнберг, и мы сделали отклонение от маршрута и поехали в Нюрнберг. Он красочен и интересен. Ходили в костел, слушали орган. За границу ездили: отец, мать, сестра Аля, Вера, Варя и я. А Васю и Надю оставили у знакомых Гофштетеров³⁵.

Берлин мне очень не понравился, — прямые скучные улицы, масса жандармов, очень везде строго и как-то скучно. Но когда мы приехали в Дрезден и Мюнхен — там меня все очаровало. Красивые парки, сады, яркое солнце, замечательные музеи. Помню Дрезденскую Сикстинскую Мадонну. Мы не выходили из музея допоздна, с утра до вечера посещая галереи, картины меня очень интересовали, и я со вниманием их рассматривала и многие из них до сих пор помню, хотя мне тогда было только десять лет.

Из Германии мы поехали в Швейцарию, сначала жили в Женеве, в гостинице, напротив был разбит сквер. Помню один случай, — и серьезный и комичный: сестры Вера и Варя устали от путешествий, им все надоело. Они решили сами прогуляться и

убежали из гостиницы. Мы очень испугались, что они потеряются, не зная языка, такие маленькие дети. Отец их догнал в саду и крайне рассерженный запер их в платяной шкаф. Слышу, Вера, встревоженная, шепчет, задыхаясь: «Вот скоро умру», а Варя ее утешает: «Не бойся, папа пожалеет и выпустит нас, он не даст нам задохнуться». Вспоминается и второй случай, когда я в сумерках, в горах убежала от родителей. Я обиделась на сестру Алю, что она не обращает на меня внимания и разговаривает с нашим знакомым Швидченко, который в Швейцарии сопровождал нас, любезно показывая разные достопримечательности.

Один раз в жизни испытала я жгучую ревность к сестре и убежала в горы, не помня себя. Были сумерки, родители сильно напугались, — я бы легко могла сорваться в пропасть. Это произвел столь сильное впечатление на Швидченко, что он много лет посылал мне открытки, уговаривая, чтобы я не была столь отчаянно-сумасбродной.

В Женеве мама сильно заболела, и мы перебрались в местечко Бе, в горах. Там мы прожили в пансионе три недели, ходили в горы, а мама лежала в гостинице. Из местечка Бе мы через Вену вернулись в Россию. Видели собор Св. Стефана, были в костеле, слушали поразительный орган, но сама Вена нам не понравилась, очень шумная, беспокойная и дорогая. Васе и Наде привезли много подарков, все были очень довольны, мама очень беспокоилась за младших детей, первый раз оставленных на чужие руки.

Поездку за границу я запомнила, привезла оттуда много открыток в видах Швейцарии, очень их берегла, но в 1943 году, при несчастном случае, их у меня выкрали.

В 1906 году мы ездили летом в Гатчину. Смутно запомнились дворец и зелень садов.

В 1907 году мы ездили летом всей семьей в Кисловодск. Мама болела, и врачи посоветовали лечение нарзаном.

Помню, как я смотрела из окна вагона на цепь невысоких гор. Я видела их впервые.

Отец нашел, по совету художника Нестерова, дачу, расположенную близ дачи художника Ярошенко³⁶.

Из Кисловодска мы ездили в Пятигорск: отец, сестра Аля (Александра Михайловна), Вера и я. Ходили смотреть место дуэли Лермонтова. Рассказ старожила Пятигорска о смерти Лермонтова казался сомнительным, о чем сказала моя сестра Аля. Если бы дуэль была на том месте, где указывали, то Лермонтов должен был упасть в пропасть и разбиться насмерть, так как пло-

щадь была небольшая, а он жил (по свидетельству биографов) еще некоторое время, хотя был без сознания.

Памятник же Лермонтову находился совсем в другом месте и был очень неудачный — в виде ограды из алебастра или мрамора.

Потом мы пошли смотреть домик Лермонтова, в котором он провел последние дни своей жизни. Одноэтажный домик стоял в саду, густо заросшем, тенистом. В самый домик нас не пустили, как я хорошо помню, а какой-то старичок повел нас в сад — уютный, где было много яблонь.

Я была очень печальна, мне было до слез жаль Лермонтова. Я сорвала несколько листков с яблони на память о нем, засушила их, и они долго хранились у меня.

Старичок этот что-то умиленно и долго рассказывал о Лермонтове моему отцу... Оттуда мы вышли очень грустными с мыслями о том, что память о Лермонтове плохо сохраняется в Пятигорске, и что рассказ о последних его днях неясен. Отец выразил желание написать о домике Лермонтова и просить его сохранить для потомства, что он и сделал, написав статью в «Новом времени» в 1908 году об этом³⁷. На статью обратили внимание Академия Наук, а затем и общественность, и спустя некоторое время домик был передан в ведение города.

Я очень любила Лермонтова. Первый классический стих, который я услышала от отца, был «Ангел» Лермонтова: «По небу полуночи Ангел летел и тихую песню он пел». Часто впоследствии отец мне читал наизусть стихи Лермонтова.

Помню, как отец подарил мне собрание сочинений Лермонтова в одном томе, в красном переплете. Первый рассказ попался мне «Тамань». Я прочла его, не отрывая глаз от страниц. С рассказа «Тамань» началось мое запойное чтение книг, особенно Лермонтова, а затем в юности Достоевского.

Отец ставил Лермонтова выше Пушкина, учитывая, что Лермонтов ушел из жизни совсем молодым.

Из кавказских впечатлений помню нашу поездку к подошве горы Эльбрус. В жизни впервые я увидела восход солнца, видела, как брызнули кровавые лучи солнца на белые снега Эльбруса. Зрелище это было незабываемое по своей красоте и значительности.

К концу лета приехала старшая дочь художника Нестерова — Ольга Михайловна. Портрет, написанный ее отцом, точен: стройная, красивая девушка с печальными глазами. Я любовалась ею, всюду следовала за ней по горам и не могла оторвать от нее влюбленных глаз. Осенью мы уехали из Кисловодска, а она еще там оставалась. Вот все, что я помню о Кавказе... да еще вспоминает-

ся один эпизод: как-то мои младшие сестры и братишка собрали исписанные открытки и решили их продать, а на вырученные деньги убежать из дому в горы. Отец их поймал и пребольно высек, пощадив лишь младшую сестренку Надю.

* * *

Поступив в школу Левицкой в 1904 году в приготовительный класс, я там проучилась до 5-го класса включительно, а затем держала экзамен в 6-й класс гимназии Стоюниной, выдержала и перешла туда учиться. В то время уже в гимназии Стоюниной училась моя вторая сестра Вера и младшая сестренка Надюша (по прозвищу «Пучок»).

Причина моего перехода в гимназию Стоюниной была та, что я не выдержала сурового режима школы и стала сильно болеть. В школе было очень холодно, здание школы было деревянное и плохое, во все щели дул ветер, временами зимой в дортуарах и классах было 5–7 градусов тепла. Мы мерзли, несмотря на теплую шерстяную одежду.

Учиться мне было трудно, так как я плохо усваивала задачи по арифметике с бассейнами и встречными поездами, а также трудно давался устный счет. Мучило меня и французское произношение, оно мне не давалось, и учитель дико на меня кричал.

Распорядок дня в школе Левицкой был следующий: будили нас в 7 ч. 30 м. утра, обливали в ванной комнате холодной водой, а меня, как нервную, обтирали губкой (врач запретил обливать меня холодной водой). Затем нас гнали гулять бегом, зимой и летом по улицам Царского Села полчаса, затем мы в столовой слушали общую молитву и садились завтракать. <...>

* * *

В 1908 году мы жили в Финляндии в местечке Лепенено, а в 1909 году в Луге³⁹.

Помню суровую природу Финляндии.

Уезжали мы всегда сразу после экзаменов с мамой, сестрой Алей и бонной Домной Васильевной. Летом у меня всегда были переэкзаменовки по арифметике, и это меня угнетало, но все же опять запоем читала, гуляла мало. Отец жил на нашей квартире в Петербурге, в Казачьем переулке, так как ему нужно было бывать в редакции, и он приезжал к нам в конце недели на воскресенье, всегда с какими-нибудь подарками. Мы очень ра-

довались его приезду. В воскресенье, ближе к осени, всегда ходили за грибами в лес. (Ранней весной иногда на дачу уезжала Домна Васильевна с Васей и Надей, младшими детьми, у которых еще не было экзаменов.)

Папа и я очень любили эти прогулки в лесу и собирание грибов и кричали: «Вот белый гриб, вот белый гриб», а брат Вася всегда набирал червивых грибов, над ним посмеивались сестры и безжалостно выбрасывали их из корзинки, чем он очень огорчался.

Дома тщательно разбирали, сортировали и жарили или мариновали грибы.

В конце лета обыкновенно набиралось больших стеклянных банок 12, их заливали воском и убирали на зиму.

* * *

Вспоминаю свою жизнь с родителями в Петербурге. Помню свою комнату, у меня была всегда отдельная комната, даже когда я училась в школе Левицкой, как я уже об этом говорила. В комнате стояла детская кровать, которая и до сих пор у меня — старинная с завитками на спинке кровати, каких теперь не делают, диван, шифоньерка с любимыми книгами и бельем, письменный дамский столик, зеркальный платяной шкаф, на стенах картины Беклина⁴⁰.

Сестра Вера имела тоже свою комнату, а Вася, Варя и Надя жили в детской с бонной.

Семья делилась на две половины. Я была ближе с отцом и матерью, а с сестрами и братом далека, любила только младшую сестренку Надю, но она меня не любила. Так было в течение первого периода нашей жизни, а затем, перед смертью отца, года за три, отец очень сдружился с Надей, которая увлекалась античными мифами, даже экзаменовала его; а ко мне становился все дальше и дальше, потому что я интересовалась православием и аскезой. Как жалею теперь я об этом. В старости захватил меня древний мир, особенно Ассирия и Египет, о многом я сейчас бы расспросила отца, ближе и дороже становится он мне.

Теперь вернусь к рассказу о семье. Старшая же, сводная наша сестра Аля — А. М. Бутягина — нас всех объединяла своей любовью, заменяя нам больную мать. По вечерам мы приходили к ней, и она рассказывала нам чудесные сказки Андерсена, особенно мы любили «Дюймовочку» и сказку про «Снежную королеву», а также сказку народную про Иванушку-дурачка. Мы заслушивались и сказкой о Золушке. С нами Аля иногда ходила

гулять, много нам интересного рассказывала и была нам родной и близкой. Помню, как однажды пошли мы с ней на Марсово поле смотреть военный парад, было очень интересно и красиво. Но вдруг в конце парада один всадник упал с лошади, и мы видели, как вся остальная конница проехала по нему. Это было ужасно! Мы вне себя пришли домой и больше на парад никогда не ходили.

Вспоминаю своих родителей, вижу, насколько они были разные люди, несмотря на то, что они очень любили друг друга.

Мама была очень молчаливая, сдержанная и с оттенком некоторой суровости. Свои чувства она не любила выражать внешне, но любила отца самоотверженно, горячо, до самозабвения. Из детей она страстно любила меня, прямо боготворила и баловала очень сильно, а младшую мою сестру Надю полюбила тогда, когда последняя вышла замуж и уехала в Ленинград с мужем. Тут Надя была очень ей близка. Мама писала ей трогательные письма. Вспоминала с ней свою молодость и трудную необеспеченную жизнь с отцом в первые годы замужества, писала, что все образуется. Надя вышла замуж за студента⁴¹. С ними в Ленинграде жили свекр и младшая сестренка мужа. Было материально очень трудно, квартира была большая, дров не было, но сестра все скрыла от меня, чтобы не расстраивать меня. В то время я лежала в больнице в Ховрино с осложнившимся ревматизмом.

Когда сестра Надя умерла в 1956 году, я из писем к ней матери только и узнала о настоящем положении дела.

В молодости сестры Вера и Варя своей анархичностью причиняли маме большие заботы и огорчения, она их совсем не понимала и была далека от них. <...>

Сестра Вера обожала отца, день и ночь думала о его сочинениях, ночью писала ему любящие письма и оставляла у него на столе. К матери же она была очень холодна.

Брат Вася помогал маме, бегал постоянно в аптеку за лекарствами — у нее часто бывали тяжелые сердечные приступы — и причинял мало забот, кроме того, что плохо учился, — писал с ошибками; был очень мягкий, добрый и тихий, а ученье ему не давалось. Поэтому его отдали в Тенишевское училище⁴² — реальное, чтобы только ему не изучать в гимназии древних языков. Вася и Варя плохо учились. Вера — сносно, хотя уроков мало учила и читала запоем, как и я. Я же была очень старательная, но математика мне тоже давалась трудно, как и Наде, и я плакала над уроками. Отец, бывало, часто помогал мне в решении задач на краны и поезда: этих задач я никак понять не

могла. В старших классах, когда пошла логика, психология, история искусств и отпала математика, так как я была на гуманитарном отделении, то я училась на одни пятерки. Как я уже сказала, Вера и я читали запоем. Вася и Варя совсем не признавали книг. Варя мечтала о танцах и всяком веселии, Вася любил летом удить рыбу; есть очень интересные Васиные письма о рыбной ловле. Мама всегда говорила: «Трудные мои дети. Маленькие дети — маленькие заботы, большие дети — большие заботы», и тяжело вздыхала.

Папа как-то не очень вникал в наши занятия, он только очень огорчался, когда я горько переживала свои неудачи. Отец полагал, что учат нас многим глупостям, и видя, что мы к науке неспособны, махал только рукой; огорчался только из-за Вари, которая приносила домой из школы одни только двойки и очень шалила за уроками, но сама Варя нисколько не унывала; она была в жизни удивительная оптимистка, ее интересовало только, как сидит на ней юбка и как завязан бант, и вертелась дома весь день перед зеркалом.

Мама обыкновенно лежала на диване *, требовала, чтобы все двери комнат были открыты, и наблюдала, что мы делаем в своих комнатах.

Читала мама мало и больше или акафисты — преподобному Сергию, Богородице, Иисусу Сладчайшему; читала также все папины статьи в газетах. Эти статьи прочитывала она очень внимательно и серьезно, часто папу останавливала, когда видела, что он уж очень резко выступает в печати, всегда говорила: «Вася, это ты нехорошо написал, слишком резко, — обидятся на тебя», или же «Слишком интимно пишешь о детях, это не надо в печать помещать». И большей частью отец слушал мать, выбрасывал целые куски написанного или даже не отдавал вовсе в печать. Папины книги она читала все, по несколько раз от доски до доски и как-то интуитивно очень все понимала, хотя образования у нее не было, и писать она почти не умела.

А почему она не получила никакого образования, история этого такова: она жила со своей матерью Александрой Адриановной Рудневой в деревне Казаки ⁴³; отец у нее умер. Там была двухклассная школа, в то время считалось, что девочкам из бедной семьи учиться не следует: мама как-то нашалила в школе, ей поставили по поведению 4, бабушка очень обиделась за дочь,

*

Речь идет о том времени жизни в Петербурге, когда с Варварой Дмитриевной случился удар и частичный паралич, от которого она так и не оправилась.

значит, ее дочь опозорена за безнравственность, так она поняла, — и забрала ее домой — так она ничему и не научилась, особенно грамматика ей не давалась. Папа пробовал ее учить, но потом махнул рукой. Но зато дома она была очень хорошей хозяйкой, была очень аккуратной, старалась и нас приучать к порядку. <...>

* * *

В 1910 году летом мы всей семьей уехали в Малороссию, близ Полтавы, а родители вместе с начальницей школы, Еленой Сергеевной Левицкой, уехали в Германию, на курорт «Наугейм», так как мама все болела сердцем, а Елена Сергеевна — печенью. Лето мы провели очень хорошо, родители часто писали нам из-за границы (письма эти сохранились и находятся в Государственном литературном музее).

Помню, с дачи мы ездили в Киев. Сестра Аля, Вера и я. Были во Владимирском соборе, который на меня произвел сильное впечатление, особенно орнаменты Врубеля и «Рождество Богородицы» Нестерова. Нестеров был в молодости мой любимый художник.

Помню, что, живя в школе Левицкой и после, учась в Стоюнинской гимназии, я любила зимой и весной с отцом и сестрой Алей посещать выставки. Все весенние, осенние выставки художников-передвижников, а также выставки картин «Мира искусства» усердно нами посещались. Восторгали меня картины Левитана, Врубеля, Петрова-Водкина, Сарьяна, Рериха, художницы Гончаровой. Я подолгу ходила по залам, стараясь понять и запомнить картины.

Бывали мы с отцом и в Эрмитаже.

Была, помню, на концерте в консерватории, который давал замечательный пианист Гофман⁴⁴, прекрасное исполнение им «Рапсодии» Листа и «Франчески да Римини» Чайковского. Бывала и в операх, в Малом театре Суворина, там шли классические оперы, но в плохом исполнении. Впервые в оперу вводилась игра артистов, но голоса были неважные, и все было довольно безвкусно. Мы ходили в ложу Суворина, так как она обыкновенно пустовала. Один раз, помню, детьми нас повели в Мариинский театр смотреть балерину Павлову в балете «Спящая красавица». А также помню, как была в Мариинском театре на опере «Евгений Онегин» с певицей Кузе⁴⁵. Она была уже не молода, но все же насколько старые постановки «Евгения Онегина» лучше современных — другой дух, ближе к той эпохе.

* * *

Осенью 1910 года мы переехали на новую квартиру в Казачий переулочек⁴⁶. Мама с папой приехали раньше нас, чтобы убрать квартиру, а мы приехали с Украины через несколько дней. Помню, утром, на другой день, сидим мы за утренним чаем, за столом в столовой. Мама очень оживлена, много рассказывает о поездке за границу, о хороших тамошних порядках, о том, как она с папой ездила кататься с искусственных гор после своего лечения.

Все казалось благополучно, но у нас екало сердце, мы были удивлены: маму мы не узнавали, у нее было странное выражение лица и не свойственная ей говорливость. Мы, дети, притихли... Вдруг мама как будто поперхнулась чем-то и начала медленно на один бок сползать со стула... Мы страшно испугались, не понимая, в чем дело. Отец вскочил со стула, бросился к ней, думал, что она поперхнулась хлебом, неосторожно начал стучать ей по спине, давать глотать воду, но ничего не помогало, объяснить она ничего не могла, что с ней случилось, — язык у нее онемел.

Бросились за врачом, была ранняя осень, все знаменитые врачи были в отъезде, пришлось вызвать с лестницы случайного врача Райведа, и он сразу определил — паралич. Язык постепенно стал отходить, она стала говорить, но левая рука плохо поднималась, а правая нога двигалась и как-то волочилась по полу. Затем ее стали лечить известные петербургские врачи, но ничего не помогло, она осталась на всю жизнь наполовину парализованной; наша жизнь в корне изменилась, дома было очень мрачно, отец часто плакал. Мама мало говорила, ко всему стала безучастна, сидела в кожаном глубоком кресле или лежала на кушетке. Сама она ничего больше не могла делать, даже причесаться. Все должна была делать горничная или я, когда бывала дома. Хозяйство уже вела Домна Васильевна, она же разливала чай за столом.

В 1911 году летом мы с больной матерью, всей семьей уехали в Лугу, а в 1912 году на станцию Сиверская. Помню там только красноватые горы и помню, что готовилась к переходу в гимназию Стоюниной⁴⁷, где учились мои сестры Вера и Надя, так как мама к тому времени была уже больна неизлечимо. Суровый режим школы я не могла выдержать, и решено было взять меня из школы и поместить в гимназию Стоюниной, но для этого мне надо было готовиться к экзаменам, так как программы не совпадали, и я очень боялась экзаменов. В школе Левицкой была латынь и большая программа по математике, а здесь был уклон в

сторону естествознания, истории и географии. Пришлось все подгонять.

По русскому языку в гимназии Стоюниной был преподаватель Василий Васильевич Гиппиус (двоюродный брат Зинаиды Гиппиус)⁴⁸.

На вступительном экзамене он мне задал тему для сочинения «Образ Татьяны в “Евгении Онегине”». Я написала на четверку. С облегчением я вздохнула, что по русской грамматике не экзаменовали, в ней я тоже была слаба.

Стоюнинская гимназия была частная гимназия с либеральным оттенком и новыми веяниями в педагогике, с широкой программой и с индивидуальным подходом к детской душе. Там легко дышалось, были интересные лекции, особенно в старших классах. Я и Вера любили гимназию, а Надя ее боготворила.

Когда я была в шестом классе в гимназии Стоюниной, мы опять ездили в Киев. Город был очень красив, весь в зелени. Остановились мы в общежитии, недалеко от музея. Осмотрели музей, который мне очень запомнился иконой Божьей Матери — работы художника Врубеля, и был весь как-то очень любовно устроен. Других картин не помню...

Ночью, разговаривая между собою обо всем виденном, я впервые услышала критику на правительство, что оно притесняет украинский народ, заставляя в школе вести уроки на русском языке.

...Помню, ходили мы на Крещатик, смотрели памятник Владимиру Святому над Днепром, вновь посетили Владимирский собор; к сожалению, мы не осмотрели Софийский древний собор XII века, а чудесный Андреевский собор, где почивают мощи св. Варвары, — видели только издали... Были на могиле Аскольдовой над Днепром.

* * *

Друзьями Вас<илия> Вас<ильевича> я считаю П. А. Флоренского⁴⁹, который жил с семьей в Сергиевом Посаде, и Сергея Алексеевича Цветкова⁵⁰, который жил в Москве. Сергей Алексеевич Цветков уже после смерти В<асилия> В<асильевича>, в 1922 году, женился на Зое Михайловне. У них была дочка Ира, которая родилась еще до смерти моей мамы. Когда мама умерла, они принимали участие в похоронах. Зоя Михайловна только начала изучать английский язык, а впоследствии стала известным профессором, автором учебников по английской грамматике.

Когда я лежала в больнице в 1923 году, и мне делали операцию, она, несмотря на то, что была замучена жизнью, навещала меня, приносила вкусную еду. Они жили тогда неподалеку от Преображенской заставы.

С. А. Цветков издал рукопись Одоевского в 1913 году — «Русские ночи». Он был большой знаток русской литературы. Папа всегда считал его умным человеком. Он писал в «Опавших листьях» — кого считаю умнее себя, так это Флоренского и Цветкова⁵¹.

С. А. очень тонко умел подмечать разные стороны жизни, чувствовал маленьких людей, умел изображать их — у него был артистический дар, и он в молодости, как сам мне рассказывал, играл на сцене в любительских спектаклях. Он был из Тифлиса. Знания его были огромны. Где, что, когда и при каких обстоятельствах было написано — он все знал. Память у него была замечательная. Но здоровье у него было плохое, и поэтому он был в жизни вялый. В начале двадцатых годов он работал в какой-то научной библиотеке, затем ушел и всю жизнь был на пенсии. К тому времени у него уже была большая семья — трое девочек.

Я всегда, приезжая в Москву из Загорска, останавливалась у них. Зоя Михайловна всегда была на работе, я ее мало видала, а больше разговаривала с Сергеем Алексеевичем. Он мне советовал, какие книги читать. Он помог нам сдать архив отца Бонч-Бруевичу в Литературный музей. Тогда же были сданы 12 больших папок с вырезками статей папы из «Нового времени». Сохранились ли они — не знаю⁵². Жила я у них одно время, году в 1935, месяца четыре, я не могла устроиться на работу, они меня взяли к себе.

Таковыми же близкими, как Цветковы, были мне Воскресенские, семья доктора Воскресенского. Жили они при Сокольнической больнице, я у них часто жила, гуляла с их детьми, они мне всячески помогали. Александр Дмитриевич Воскресенский был известный в Москве детский врач, одно время был заведующий больницей. Затем его неизвестно за что арестовали, и он был в трудовых лагерях на Беломорканале. Через четыре года его вернули, и он опять работал при больнице. Умер он девяностю одного года, почти до последнего времени работая консультантом. Похоронен он на Немецком кладбище, там же, где его родственники. Был он домосед, немножко с чудачествами, с ярким живым языком, по характеру — бытовик, очень любил Лескова. Был он истово русский человек, любил все русское, был большой патриот.

Жена его по характеру была полной противоположностью своему мужу. Очень живая, общительная, предприимчивая, знает 12 языков, по-французски говорит лучше, чем по-русски. В одном муж и жена сходились. Они были очень отзывчивы к чужому горю и всем старались помочь. Замечательно чувствовала искусство Лидия Александровна, все красивое, интересное она стремилась выявить в жизни. Собрала прекрасную библиотеку по искусству. Дети ее сейчас уже работают в разных областях науки. Их семья была очень близка с семьей Фаворских⁵³, как родные.

Я же Фаворских знала издали, больше через своих друзей — Флоренских и Воскресенских. Помню только, как Владимир Андреевич Фаворский случайно встретился со мной на посмертной выставке моей сестры. Мы вместе ходили. Ему очень понравились иллюстрации к «Грозе» — Кабаниха — и Кай в «Снежной королеве»⁵⁴.

Лидия Александровна Воскресенская до сих пор мой самый близкий дорогой друг, так же, как и ее дочь Ника Александровна. В Петербурге близкими друзьями отца были Евгений Павлович Иванов и Валентин Александрович Тернавцев. Последний был крестным отцом моей сестры Нади и очень любил ее. Он бывал у нас днем, бывал и воскресными вечерами. Он принимал большое участие в Религиозно-философском обществе. Гиппиус отзывалась о нем, как об очень умном и интересном ораторе, нашедшем какой-то новый особый путь в понимании Нового Завета, отличный от Розанова и Флоренского. Впоследствии он писал работу «Толкование на Апокалипсис». Говорили, что это очень интересная работа, но я не пыталась о ней узнать, так как тема эта была мне чужда. Дочь его отдала черновик в Публичную библиотеку им. Салтыкова-Щедрина, а подлинник пропал.

Жена его, Марья Адамовна, у нас бывала редко, и мы у них редко бывали. Он был очень красивый, статный человек, веселый, похожий на итальянца. У них было трое сыновей и две дочери. Старший и младший сын погибли во время первой мировой войны, второй сын умер после революции от туберкулеза. Ирина Валентиновна была тогда замужем за сыном литератора Щеголева⁵⁵, а в настоящее время замужем за художником Альтманом⁵⁶. Приезжала она ко мне в гости до войны с Саррой Лебедевой⁵⁷, скульптором, и мы бродили по закоулкам Лавры.

Дети Валентина Александровича, Муся и Ирина, приходили к нам, детям, играть. Муся вспоминала, как я читала Гоголя «Вия» и «Страшную месть», так ей запомнилось это чтение, и она это чтение вспомнила, когда она меня увидела в последний

раз в гостях у сестры моей, Нади. Это было за несколько месяцев до ее трагической кончины.

* * *

Помню, как зимой в 1912 году однажды днем к нам приехала Айседора Дункан⁵⁸. После того, как папа дважды был на ее танцах и поместил отзыв о ней в газете, она приехала познакомиться с ним. Она была очень мила, говорила по-английски (при ней был переводчик), подарила отцу на прощание три фотографии; две из них с детьми, с надписью отцу (фотографии эти хранятся у подруги моей младшей сестры — Елены Дмитриевны Танненберг). Мы тогда все очень увлекались Дункан. Я, отец, сестра Аля и Наталья Аркадьевна Вальман* ходили в Мариинский театр смотреть ее танцы. Помню, она танцевала, передавая в своих танцах музыку Вагнера («Тангейзер») и Брамса. Мама с нами не было, она уже никуда не выезжала и, больная, целыми днями сидела в кресле. Два раза по ее просьбе возили ее к чудотворной иконе «Всех скорбящих радости».

Вспоминаются наши проводы Айседоры Дункан на вокзале, когда она покидала Россию. Отец, я, Аля и Павел Александрович Флоренский, который в то время остановился у нас, поехали ее провожать. Отец хотел своему другу показать ее одухотворенное лицо.

Вскоре мы прочитали в газетах ужасное известие о трагической гибели ее детей в Париже при автомобильной катастрофе. С карточки смотрела на нас счастливая семья — мать и двое очаровательных детей.

В 1913 году, летом, родители поехали в Бессарабию, в имение Апостолопуло⁵⁹, близкого друга моих родителей.

Это была богатая помещица, очень образованная и культурная — она пригласила родителей моих к себе отдохнуть. Первый ее муж был преклонного возраста и очень богат. После смерти он оставил ей по завещанию громадное наследство, но только с условием, что она после его кончины не выйдет ни за кого замуж. Детей у нее не было, и она принуждена была жить в этом имении в одиночестве. У нее был управляющий имением, некий Драгоев, человек неумный, но добрый и очень ее любивший. По-

* Вальман — учительница немецкого языка в нашей семье и подруга сестры Али.

видимому, они были близки, но не гласно, поэтому у них никто не бывал, и это была очень невеселая жизнь. Драгоев всегда старался приумножить ее богатства, а когда не мог рожь продать по той цене, которую назначил, то выходил из себя и во всем винил евреев. Он очень настроил отца против евреев; с тех пор изменился взгляд отца на евреев — во всех несчастьях русских он всецело стал винить евреев. В это лето отец мой написал книгу под названием «Сахарна» (так называлось поместье Апостолопуло), с выпадами против евреев, которые ловко скупают хлеб из-под рук помещиков. Книга эта была сброшюрована, но в продажу не поступила, не успела, — началась война 1914 года, и ее не напечатали. В единственном экземпляре она хранится в Государственном литературном музее.

Летом 1913 года, когда родители жили в имении в Бессарабии, мать моя, по болезни, не могла себя обслуживать, и поэтому она вызвала к себе дочь Варю, чтобы та помогала ей одеваться и другое кое-что делать для нее, так как слуг в имении было мало, и все были всегда очень заняты по хозяйству, а маме было трудно одной. Варя была очень смелая и маленькой девочкой, совсем одна, приехала в Бессарабию. На станции ее встретили. Хозяйка ей очень понравилась, хотя и была очень строгой. Варя водила хороводы с деревенскими детьми и танцевала, что она так любила (в то время она еще училась в школе Левицкой). Мы же, все дети со старшей сестрой Александрой Михайловной Бутягиной и Натальей Аркадьевной Вальман и кухаркой Катей, которая была очень предана моей сестре, уехали на лето в Троице-Сергиев Посад (так как зимой сестра Аля с Наташей ездили туда и им очень понравился Сергиев Посад). П. А. Флоренский снял нам дачу около Вифанского монастыря, и мы туда переехали на лето.

Посещали церковь, ходили в тамошний музей — бывшие покои митрополита Платона, законоучителя Павла I и любимца и духовника императрицы Екатерины II. Почти все вещи в этих покоях были подарки государыни и представляли большую художественную и материальную ценность — портреты, хрусталь, книги. Сестра Аля удивлялась, как возможно такие ценности оставлять на попечение единственного сторожа-монаха *. Церковь была тоже очень интересная. В ней была устроена гора «Фавор» и были скульптурные изображения разных животных. Ни в одной церкви потом я ничего подобного не видела. Жаль очень, что не удалось сохранить до наших дней такую оригинальную постройку.

*

В настоящее время они перевезены и расположены в Историко-художественном музее г. Загорска как предметы XVIII века.

На богатых монастырских тройках ездили в Троице-Сергиеву Лавру, часто бывали в семье Флоренских⁶⁰. Всегда были очень интересны и содержательны беседы Павла Александровича Флоренского. Он в то время служил по воскресеньям обедню в приходской церкви при Красном Кресте и профессорствовал в Духовной Академии, которая частью помещалась в «Царских покоях» Троице-Сергиевой Лавры.

Вспоминается, как однажды на дачу приехал извозчик и привез дородную пару: мужчину и женщину — это была чета Александровых⁶¹. Они были так толсты, что еле-еле помещались в пролетке, которая все время накренялась. Александров подарил нам свои глупые стихи, и мы долго забавлялись ими, сидя в кроватях по вечерам. Когда-то Александров был редактором «Русского обозрения», где у него сотрудничал мой отец, а после закрытия журнала переехал, по благословлению отца Амвросия, в Троице-Сергиев Посад и решил теперь возобновить с нами знакомство. Впоследствии его жена Евдокия Тарасовна оказывала нам серьезные услуги, но об этом будет рассказано после. Отец недолюбливал Анатолия Александровича, так как тот не выплачивал гонораров сотрудникам журнала.

Глава II

В 1913 году я уже училась в седьмом классе Стоюнинской гимназии. Окончила я семь классов на пятерки и четверки, но по химии была тройка, и потому серебряной медали я не получила и перешла в восьмой, дополнительный, педагогический класс. В этом классе мне было интересно и легко учиться. Логiku и психологию у нас читал Николай Онуфриевич Лосский. Лекции по искусству читали с волшебным фонарем, слушалось и законоведение, мы давали пробные уроки в младших классах гимназии. Тут я легко и свободно кончила восьмой классс весьма удовлетворительными отметками по всем предметам. Помню выпускной вечер и помню то, что мне почему-то было очень грустно. Сестра Аля подарила мне две высокие зеленые вазы с большими букетами белой и лиловой сирени... Но, Боже, как было у меня беспокойно на душе!

Нужно было решать свою судьбу... а как это трудно, всем известно.

В 1913 году сестра Вера кончила гимназию Стоюниной, раньше меня на год. Последнее лето она ездила с гимназией в Соловецкий монастырь.

Эта поездка была решающей в ее жизни — Вера стала мечтать о монастыре. Вскоре она выбрала маленький монастырь — Воскресенско-Покровский — на станции Плюсса, близ Луги, где настоятельницей была мать Евфросиния, дочь известного общественного деятеля того времени — Арсеньева⁶².

Вера поступила туда послушницей и работала при кухне. Мы с мамой ее навещали. Она была очень довольна жизнью в монастыре, но заболела туберкулезом, и отец поместил ее в санаторий возле Петрограда.

Отец часто навещал ее в санатории, и я ездила однажды осенью, очень после этого простудилась и стала болеть невралгией. В санатории было тяжело. Вера томилась, да и плата была высокая, отец с трудом выплачивал ее.

* * *

В 1915 году передо мною встал вопрос, что же мне делать дальше. Я мечтала о поступлении на Высшие Бестужевские курсы на историко-филологический факультет по отделению философии. В этом поддерживала меня и сестра Аля, она окончила курсы Раева. Отец был не очень доволен, он не любил ученых женщин. Во всей России было три высших учебных женских заведения. В Москве — курсы Герье, в Петрограде — Бестужевские курсы и частные курсы Раева, не дававшие права преподавать в гимназии. Из этого можно понять, как было трудно поступить. Но из гимназии Стоюниной с хорошими отметками принимали без экзаменов, и я поступила.

Шел 1915 год, второй год мировой войны. Помню бесконечные сходки студентов с обсуждением, следует ли жертвовать на войну или нет. Мнения расходились. Вспоминаю и другое, как одна курсистка спрашивала меня с удивлением, неужели есть такой образованный священник, который верит в Православную Церковь, и не могла поверить, что есть. Я пожала плечами и отошла, что с ней мне было говорить. Я выросла в другой среде, в других понятиях.

Я увлекалась лекциями Лосского. Он читал тогда курс «Мир как целое». Я занималась у него на семинаре по предмету: «Введение в философию». Мне он дал такую тему: «Сила и материя» по Бюхнеру. Я разобрала его сочинения и сделала вывод, что Бюхнер жил раньше Канта, потому что после Канта он не мог бы сделать таких ошибок. Лосский засмеялся, поправил меня, но сочинением в целом остался доволен. Сдав экзамен по немец-

кому языку, я уехала одна жить в Троице-Сергиев Посад. От занятий и серьезного чтения, а также от тяжелой обстановки дома из-за болезни матери и удрученного состояния отца, я сильно разболелась. Врачи нашли у меня острое малокровие, запретили на год учиться и настаивали на перемене обстановки. Вот тогда я и уехала в Троице-Сергиев Посад.

В этот же злополучный 1914 год в нашей семье разразились следующие события, имевшие громадное влияние на всю последующую нашу семейную жизнь. Моего отца, Василия Васильевича по желанию Мережковского, Зинаиды Гиппиус и ее двоюродного брата В. В. Гиппиуса⁶³ исключили из Религиозно-философского общества за его правые статьи в «Новом времени» против евреев во время «дела Бейлиса». Дело было очень громкое, в нем принимали участие адвокаты, врачи, и все настаивали, что в XX веке невозможны такие фантастические изуверские случаи. Отец же настаивал на своем и указывал на Каббалу и Талмуд, где видел намеки на возможность этого ритуального убийства. У отца был Талмуд, который был весь испещрен его заметками. После смерти родителей и раздела имущества Талмуд достался Варе, а потом А. Александрову, и куда он потом делся — неизвестно. Я наводила справки в Ленинской библиотеке, в Сергиевском историко-художественном музее, куда перешла часть вещей музейных Александровых после их кончины, но он не нашелся. Это было очень жаль, так как там были очень ценные заметки Василия Васильевича, о которых говорил мне Цветков С. А., но и он не мог отыскать Талмуда.

Из-за «дела Бейлиса» вся семья наша очень волновалась⁶⁴. Аля восстала против отчима и даже ушла из дому с Натальей Аркадьевной Вальман и поселилась в отдельной квартире на Песочной улице. Мы, дети, тоже сильно переживали эти события. Ведь мы учились в либеральной гимназии, где большинство было богатых евреев, и все они у нас допытывались, неужели правда, что отец ваш такого мнения об евреях? Сестра Вера, будучи уже послушницей монастыря, очень защищала отца и даже присутствовала на религиозно-философском собрании, когда отца исключали...

После этой истории к нам приехал Вячеслав Иванов (поэт) и возмущался, как возможно исключение из Религиозно-философского общества человека, который иначе думает, чем все.

Но с тех пор положение отца резко изменилось, никто у нас из прежних знакомых не стал бывать, кроме Евгения Павловича Иванова, который продолжал нас посещать. Отец в это время много переписывался с Флоренским. Затем у нас появились но-

вые знакомые. В это время отец выпустил еще несколько правых книг, — стал писать в журнале «Вешние воды», так как в газете «Новое время» отца неохотно печатали. А. С. Суворина уже не было в живых, редактором был его сын Борис. Из редакции «Нового времени» отец всегда возвращался очень грустным и морально убитым. Он начал заметно стареть, болеть, и мы очень за него беспокоились.

В то же время бывали у нас: Голлербах, которому отец симпатизировал, а также редактор «Вешних вод» — некий Спасовский, которого невзлюбила моя сестра Александра Михайловна, бывала и друг сестры — Гедройц, талантливый хирург-женщина, сделавшая впервые трепанацию черепа. Она работала в лазарете в Царском Селе и приезжала иногда к нам. Она рассказывала нам, что государыня хочет мира, защищает немцев, а между тем мы знали, что Александра Федоровна получила воспитание при английском дворе и вовсе не была так привержена к немцам, но она видела, что война идет неудачно, очень много жертв, что мы не готовы к войне, и желала мира с Германией.

Все это было очень тяжело и страшно.

В 1915 году стали бывать у нас Барсукова Зинаида Ивановна со своим другом Высоцким, чиновником при каком-то министерстве, молодая чета Тиграновых. Он увлекался тогда Вагнером и выпустил о нем интересную книгу. В те же годы стал бывать у нас Василий Васильевич Андреев, он привозил билеты на свои концерты, был очень мил и любезен. Раз мы ездили — я, отец и старшая сестра — к нему в гости на Васильевский остров. Он жил со своей старушкой-матерью, показывал нам большую коллекцию балалаек и мандолин, которые он собирал.

Года три тому назад приезжал в Загорск оркестр Осипова⁶⁶, и я узнала, что В. В. <Андреев> умер в 1919 году в Ленинграде от воспаления легких, простудившись на концерте, данном красноармейцам.

Вообще концерты его были замечательны по тонкости, изяществу и благородству. И мы всегда с отцом ездили в консерваторию его слушать.

Раньше отец мой написал статью об этих концертах и о необходимости поддержать материально и морально хорошее начинание Василия Васильевича Андреева. Государем была отпущена субсидия, и дело продолжало развиваться, Андреев видел, как грустен мой отец, как ему тяжело и плохо жилось последние годы жизни, он старался его развлечь, приезжал со старушкой-певи-

цей Мариинского театра, которая под аккомпанемент Андреева на нашем плохом рояле пела старинные чувствительные романсы; отец умилялся, а мы, дети, потихоньку подсмеивались.

Продолжаю свой рассказ. Итак, в 1915–1916 годах я уехала в Троице-Сергиев Посад. Он произвел на меня сильнейшее впечатление, особенно Троицкий собор, иконостас, хор из мальчиков в 40 человек; затем поездка в Зосимову пустынь, чтение летописи Дивеевской обители о Серафиме Саровском, а также чтение книги Флоренского «Столп и утверждение Истины» укрепили меня в вере.

Почти каждый день я ходила к ранней обедне. Война все продолжалась, с продовольствием становилось все хуже. Сестра Аля присылала мне 40 рублей ежемесячно, 20 рублей я платила за комнату в Рождественском переулке, а 20 рублей стоила еда. Одно время я столовалась в семье Флоренских и была очень благодарна им за это. Денег, конечно, они с меня не взяли. Жила я в той комнате в доме Горохова, в которой некогда жил иеромонах Иларион⁶⁷, впоследствии инспектор Духовной Академии, с которым дружил мой отец, а потом ставший епископом.

О его прилежных занятиях в Академии рассказывала мне моя квартирная хозяйка Горохова.

Из родного дома приходили печальные вести. Вера все болела туберкулезом и лечилась в санатории. Варя и Надя учились еще в гимназии. Вася еще служил в интендантстве армии, не кончив Тенишевское училище. Отец с матерью оставались с двумя сестрами моими — Варей и Надей в Петрограде. От мамы приходили печальные письма, и П. А. Флоренский посоветовал мне ехать домой. Я уехала с грустным чувством.

* * *

Приехав из Сергиева Посада домой в 1916 году, я побыла дома весной, а летом мы всей семьей уехали в Усикирки. Саму эту дачу я совсем не помню. Только вспоминается, как дважды бывал у нас Репин в гостях.

Первый раз помню, как Репин сидел за чайным столом и слушал внимательно рассказ сестры Али, приехавшей из деревни, о тяжелой доле крестьянской женщины; в другой раз вспоминаю, что отец и я провожали Илью Ефимовича с дачи, отец просит меня прочесть стихи Пушкина «Когда для смертного умолкнет шумный день...» Я читаю наизусть, краснея и волнуясь.

В то лето отец, сестра Аля и я ездили изредка по воскресеньям к Репиным на их дачу «Пенаты». Вспоминается жена Ре-

пина. Высокая, стройная женщина, но с каким-то удивительно бесцветным лицом, вся какая-то белесая, она ни о чем не могла говорить, кроме как об овсе, но, к счастью, на стол овес никогда не подавался. Обедали на закрытой веранде, гостей бывало человек до 30, обед был вкусный и обильный, но без мяса.

Сам Репин держался очень просто, демократично и сердечно. Нас он водил по аллеям своего сада, показывал и сапожную мастерскую, где он тоже тачал сапоги, наподобие графа Л. Н. Толстого.

Бывали мы и в его мастерской, но там я ничего не запомнила.

Сохранилась фотография, где снят Репин в своей мастерской среди гостей. В числе их сидят папа, моя мама и сестра Аля (мама однажды тоже была в гостях у Репиных). Эта фотография находится в Государственном литературном музее в Москве⁶⁸.

* * *

Тоскливо протекала жизнь в семье в этот 1916 год: Варя и Надя еще учились в гимназиях (Надя в Стоюнинской, Варя в гимназии Оболенской), Вася был на фронте, папа много писал в газетах, но статьи плохо шли, старика Суворина уже не было в живых, редактором стал его сын Борис. Газета под влиянием событий на фронте левела, и отец был не к месту. Между прочим, статьи тех лет были интересные, с ними я познакомилась только в 1969 году, и меня они очень заинтересовали. Отец стал болеть, дома было очень мрачно, сестра Аля жила отдельно с Натальей Аркадьевной Вальман. С продовольствием становилось все хуже; с фронта приходили печальные вести, — мы то наступали, то отступали. Помню, взяли Перемышль. Помню торжественную манифестацию по этому поводу, огромные толпы народа с флагами, музыку и себя среди толпы, помню массу пленных австрийцев, которых провозили мимо Петрограда, и я с сестрой тоже ходила смотреть пленных; они были одеты неплохо и, видно, сами сдались охотно в плен, — наши женщины бросали им цветы...

Но вскоре все изменилось, — Перемышль был вновь отдан австрийцам, и мы все больше и больше отступали. Обстановка становилась мрачнее. Дума была закрыта, убит Распутин, шли зловещие толки об измене императрицы, народ волновался, приближалась революция. Пошел 1917 год, февраль месяц: в Петрограде стало трудно доставать хлеб, особенно белый, не хватало сахара, его отпускали в ограниченном количестве, продукты сильно дорожали. Народ обвинял во всем правительство... оче-

реди в магазинах были большие. В то время мы уже жили на Шпалерной улице в доме № 44, кв. 22 и могли наблюдать, что происходило, так как на нашей улице впервые затрещали пулеметы — тогда три дня к Петрограду не подвозили белого хлеба. Пулеметы установили на крышах домов и стреляли вниз по городовым, забирали их тоже на крышах, картечь падала вдоль улицы, кто стрелял — нельзя было разобрать, обвиняли полицейских, искали их на чердаках домов, стаскивали вниз и расправлялись жестоко... Однажды к нам ворвались в квартиру трое солдат, уверяя, что из наших окон стреляют. А когда они ушли, была обнаружена пропажа с письменного стола у отца уникальных золотых часов. Я уговаривала отца не поднимать шума, не заявлять о пропаже, иначе мы все можем пострадать. Сами мы, дети, выбегали на улицу, а сверху стреляли картечью. Не знаю, как из нас никто не был ни убит, ни ранен...

На Невском проспекте, ближе к Николаевскому вокзалу, где стоял памятник Александру III, было особеннолюдно... На набережной Невы народ собирался толпами, выступали ораторы. Кто был за кадетскую партию, кто за эсеров, а кто за большевиков. Дворец Кшесинской занял совет депутатов. На Выборгской стороне выступала на собраниях освобожденная из тюрьмы знаменитая Вера Фигнер, чей портрет многие годы стоял на письменном столе моей старшей сестры Али. Вера Фигнер была уже старуха, с седыми волосами, но представительная, одетая в прекрасный костюм и в дорогих лаковых туфлях. Я была на этом собрании. Она выступала с трибуны, но я с удивлением видела, что рабочие женщины не хотели ее слушать и выражались о ней с презрением. Роль ее была сыграна, и она больше не выступала. Так продолжалось в течение всей весны; помню: была с сестрой Алей на каком-то собрании, где председательствовал Керенский, и набирался из женщин «батальон смерти»; дамы забрасывали Керенского цветами, но он выглядел смешно, а его приказ № 1 привел к полной дезорганизации армии. Солдаты убегали с фронта и из-за полы торговали, кто махоркой, кто буханками черного хлеба. Вернулся с фронта и брат Вася и жил без дела; в Тенишевское училище он не пошел. В феврале произошел переворот, царская семья была арестована и вместе с царем находилась под стражей. К Петрограду подступали немцы. Летом 1917 года сестра Надя уехала к своей подруге Лиде Хохловой в их имение, а Варя с гимназией Оболенской — работать на огородах в деревню. Я же решила ехать в деревню устраивать ясли от Бестужевских курсов, где я еще числилась слушательницей. Меня очень интересовала деревня, я помнила деревню только по «Казакам»,

куда меня возили родители 5-летней девочкой к бабушке. И вот мы — студенты Бестужевских курсов — в Рязанской губернии. <...>

Ранней осенью 1917 года я вернулась из Рязанской губернии, приехали и Варя с Надей, и было на семейном совете решено уезжать из Петрограда. Редакция «Новое время» закрывалась в Петрограде и эвакуировалась вместе с Государственным банком в Нижний Новгород. В Государственный банк на хранение отец отдал золотые монеты из своей коллекции, а три самых любимых завернул в бумажку, положил в кошелек и постоянно ими любовался⁶⁹. Было послано письмо Флоренскому с просьбой подыскать нам квартиру, и когда мы получили известие, что квартира найдена, мы спешно стали собираться в Троице-Сергиев Посад. Ликвидировав квартиру, мы поехали прощаться с Барсуковой Зинаидой Ивановной и Высоцким, а также с Ивановыми — им я подарила свой зеркальный платяной шкаф и письменный дамский столик, а также чудную книжечку «Рассказы странника об Иисусовой молитве»⁷⁰. Папа с мамой были убиты горем, мы же, дети, ничего не понимали, радовались перемене жизни и уехали очень беззаботно, сестры только жалели гимназию, а мне было жаль сестру Алю, которая не решилась ехать с нами и оставалась в Петрограде вместе со своей подругой Натальей Аркадьевной Вальман. Я радовалась еще очень, что мы едем в Троице-Сергиев Посад и будем ходить в Лавру к Флоренским.

Осенью⁷¹ мы переехали в Сергиев Посад, на Красюковку, на Полевую улицу в дом священника Беляева⁷², который у него арендовали. Дом был большой, низ каменный, верх деревянный. Внизу помещалась большая комната — столовая, сырая, с зелеными пятнами по углам. К ней примыкала кухонька, в которой стояла длинная плита, на которой мама готовила обед для всей нашей семьи со старухой-нищенкой. Мама сама ничего не могла делать, у нее была парализована левая рука и частично правая нога, и она с трудом ходила, но все же еще руководила всем домом. А что готовилось на этой плите? В большой эмалированной кастрюле варились пустые щи, в них была свежая капуста, немного картошки, соль, мука, морковь и больше ничего. На второе же была каша из зерен пшеницы, без всякого масла, или пшенная, хлеба почти никакого не было; бывало, что фунт хлеба делили на пять человек, а то больше ели лепешки из дуранды, или из свеклы, очень редко из овсяной муки, это считалось уже очень вкусно. Изредка доставали где-то конину и тогда варили с ней щи, но она была такая сладкая, что с трудом ели. Да

через день брали три крынки хорошего густого топленого молока у соседей — трех старушек. Все же голод был ужасный, но тяжелее всего было матери и отцу, так как они были старые и отсутствие масла сказывалось больше всего на них. Они оба очень похудели и стали какими-то маленькими и совсем слабенькими. Особенно помнится мне моя мама, ее печальные глаза, как-то они словно застыли в испуге и немом горе. Помню всю ее худенькую фигурку, маленькие слабые руки, маленькие ножки. Вся она передо мной стоит, как живая, с немым укором, а ведь прошло с ее кончины ровно 46 лет.

Нас в семье сначала было шесть человек — папа, мама, я, Варя, Вася и Надя. Сестра Аля, как я уже сказала, оставалась в Петрограде, а Вера жила послушницей в Покровском монастыре на станции Плюсса около Луги.

Голод все увеличивался. Дров почти невозможно было достать, а дом был большой, наверху было пять комнат, одна большая, в которой был папин кабинет и впоследствии размещалась его библиотека, в других комнатах были наши спальни. Печи были большие, хорошие, голландские, требующие хороших дров. Керосин тоже стал исчезать, сидели с коптилками и по вечерам, захлебываясь, читали.

* * *

Стали носиться слухи, что немцы подходят к Петрограду. А у нас вся библиотека отца и рукописи его были оставлены на хранение в Александро-Невской Лавре у профессора Академии Зорина⁷³. Александровы дали нам займы 200 рублей денег, чтобы я ехала и перевезла оставшееся имущество в Троице-Сергиев Посад. Помню, как Евдокия Тарасовна Александрова научила меня, как перевезти такое количество вещей. Она сказала, что нужно дать три рубля весовщику товарной станции, и он даст целый вагон. Я так и сделала. Это была во всю мою жизнь единственная взятка, которую я сумела дать. Были перевезены и полки с книгами и рукописи отца. Часть вещей, которые находились у Зорина, не были нам возвращены, в частности, китайская и турецкая вазы, большой гипсовый слепок с работы Шервуда⁷⁴ — Пушкин, гипсовый слепок с головы Страхова и еще кое-какие вещи. Но все же мы были очень рады, что вернулись самые дорогие нам вещи.

Вскоре после возвращения моего из Петрограда произошла Октябрьская революция. Власть перешла в руки Советов. В Троицком Посаде переход к новой власти не вызвал резких эксцессов и все произошло сравнительно спокойно.

Уже в 1918 году мне удалось, научившись печатать на машинке, устроиться на работу машинисткой в комиссию по охране Троице-Сергиевой Лавры. Председателем этой комиссии был Бондаренко, изредка приезжавший из Москвы, его заместителем — Юрий Александрович Олсуфьев⁷⁵, известный искусствовед и крупный специалист по древним иконам. Канцелярия состояла из секретаря — Мансурова Сергея Павловича⁷⁶, родственника Олсуфьева, и меня — машинистки.

Канцелярия наша находилась сначала в митрополичьих покоех, а затем была переведена в одно из Лаврских зданий, у входа в Лавру.

В качестве научных сотрудников были еще приглашены Павел Александрович Флоренский — ученым секретарем, через некоторое время — Соколов Владимир Иванович, художник для оформления плакатов, и художник Боскин для инвентаризации ценностей, позднее — Михаил Владимирович Шик⁷⁷ в качестве научного сотрудника. Была организована реставрационная мастерская шитья, где работали три женщины, во главе стояла Александра Николаевна Дольник, командированная из Москвы. Она бывала наездами. При комиссии находился комиссар из исполкома, который должен был наблюдать за исполнением правительственных распоряжений.

Я ходила на работу каждый день с 9-ти до 4-х. Дома оставалась младшая сестра Надя; сестры Варя и Надя и брат Вася не могли никуда устроиться на работу, потому что работа была только в исполкоме и на почте, а также были кустарные работы, которых мы не знали, и нас бы никто не взял. Варя и Надя еще не кончили гимназии в то время. Старшая сестра Аля вызвала их в Петроград, надеясь, что они там окончат гимназию. Они действительно окончили ее в 1918 году при страшном голоде. Брат Вася уехал спасаться от голода на Украину к маминому брату, дяде Тише Рудневу, который был прокурором 6-ой палаты г. Полтавы⁷⁸.

В 1918 году сестры вернулись из Петрограда, окончив гимназию, а до того мы оставались втроем — папа, мама и я. Брат Вася, вернувшись с Украины, звал нас туда, но мы не решились ехать. Жили продажей вещей, мебели, книг, изредка кто-нибудь присылал продукты. Мы сменяли большой буфет орехового дерева на шесть пудов ржи, а дубовый стол — на картошку. Посуду всю меняли на яблоки, то на молоко. Кое-какую одежду, более нарядную, тоже меняли на продукты в деревне. Был такой старичок, который этим занимался, очень хозяйственный, красивый, он хорошо к нам относился и с риском для себя при-

возил нам продукты, ведь везде стояли заградительные отряды и менять тоже не очень-то давали.

Однажды, когда мы зимой уже совершенно замерзали, нам неизвестный железнодорожник Новиков прислал целый воз березовых дров и спас нам жизнь. Этот случай не забудется на всю жизнь.

Капусту, я помню, нам выдавали из каких-то организаций, мы стояли за ней в очереди, несколько раз Варя ездила за мукой в деревню, дважды в один день попала в крушение поезда, но спаслась, отделавшись только испугом. Брат Вася уговорил Варю ехать на Украину вторично. Они остановились в Курске у знакомого отца, некоего Лутохина⁷⁹. Вася заболел испанкой, его отправили в больницу, и через три дня он скончался. Это было 9 октября 1918 года, там же, на городском кладбище, его и похоронили. Об этом сообщил нам Лутохин, так как сестра Варя, не дождавшись исхода болезни Васи, вынуждена была спешно уехать из Курска, — граница закрывалась и на Украине устанавливалась новая власть. Варя долго не знала о смерти брата, и мы ничего о ней не знали, не знали даже, жива ли она? После, когда началась переписка, сестра Варя очень огорчилась смертью брата, но написала нам, по своему обыкновению, оптимистическое письмо. В начале письма она описывает его заболевание и как она его устроивала в больницу, и как ей необходимо было уезжать, так как ей в Курске жить было негде, и денег на прожитие не было.

Вот это письмо (подлинник находится в Государственном литературном музее), собственно, конец письма, столь для нее характерный:

«Мне нельзя было падать духом. Я понимала, что в этот момент умирали не единицы, а тысячи. Кто от испанки, кто на фронте.

Вообще падать духом никогда нельзя. И что бы ни случилось в дальнейшем, надо стойко выносить все.

Жизнь меня очень закалила. И ко всяким фанабериям и “мистике” (это в огород старших сестер) я отношусь крайне отрицательно...»

Вестей от Вари опять долго не было. На Украине власть переходила из рук в руки. Мы остались вчетвером. Отец, мать, Надя и я. С Надей мы жили дружно и хорошо. Часто ходили в церковь и в Гефсиманский скит (в трех верстах от Сергиева Посада). Отец очень подружился с Олсуфьевым, бывал у них. Он был потрясен смертью сына. Лутохин прислал ему злое письмо, обвиняя отца в смерти сына, рассматривая потерю сына как след-

ствие наказания Божьего за сочинения отца. Отец тоже винил себя в смерти сына, считал себя виновным, что отпустил Васю легко одетым, почти без денег и что раньше легко отпустил Васю на фронт. Вася не кончил Тенишевского училища и привык уже к кочевой жизни.

Отец страшно изменился после его смерти, и единственное его утешение было — дружба с П. А. Флоренским и Олсуфьевым.

Два факта — смерть сына и потеря самых любимых монет, с которыми он никогда в жизни не расставался, вечно любуясь на них, сильно на него подействовали. Потерял он эти золотые монеты, когда ездил в Москву и на вокзале заснул; предполагали, что у него вытащили их из кармана, а возможно, он их и потерял.

* * *

Папа был очень слаб, но видя, как мы надрываемся, качая воду в колодце, изредка помогал нам. Делать этого ему было нельзя.

Отец очень любил также париться в бане, что ему тоже запрещали врачи, но он врачей вообще не слушался, запрещали ему курить — все курил. Однажды он пошел в баню, а на обратном пути с ним случился удар, — он упал в канаву, недалеко от нашего дома, и уже его кто-то на дороге опознал и принес домой. С тех пор он уже не вставал с постели, лежал в своей спальне, укутанный одеялами и поверх — своей меховой шубой — он сильно все время мерз. Говорить почти не мог, лежал тихо, иногда курил.

В то время старушки, которая готовила обед, уже не было, варила обед Надя и ухаживала за папой, а также мама много помогала и дежурила у папиной постели. К отцу звали священника, отца Александра⁸⁰, настоятеля Рождественской церкви, он отца исповедовал несколько раз. Затем приходил отец Павел Милославин — второй священник Рождественской церкви, которого отец очень полюбил за то, что он замечательно читал акафист Божьей Матери «Утоли моя печали». Отец мой слушал, как он читает акафист, когда со мною и Надей ходил служить в 40-й день панихиды по брату Васе. Отец мой плакал в церкви и говорил: «С каким глубоким чувством читает этот священник акафист Божьей Матери».

За время болезни отца его часто навещала Софья Владимировна Олсуфьева⁸¹ и Павел Александрович Флоренский. Приезжал из Москвы старый друг отца по университету, Вознесенский⁸², привозил ему какие-то деньги от Гершензона. Он же

присутствовал, когда мы позвали отца Павла Милославина из Рождественской церкви папу пособоровать, тут же была и С. В. Олсуфьева, молились все усердно, и папе стало лучше, но потом опять сделалось хуже, но он все же так не метался в тоске, как иногда с ним было, до соборования.

С папой, как я говорила, была мама неотлучно, а я весь день была на работе, а потом сразу же шла что-нибудь менять на хлеб.

В то время несколько раз присылали нам деньги — отец протоиерей Устьянский, папин друг, Мережковские и Горький⁸³. К папе приходил частный врач, приходила массажистка, он постепенно стал немного говорить, но двигать рукой и ногой не мог, ужасно замерзал, все говорил: «Холодно, холодно, холодно», и согревался только тогда, когда его покрывали его меховой тяжелой шубой.

Незадолго до своей смерти он просил сестру Надю под его диктовку написать несколько писем и послать друзьям. <...>

Описание последних дней моего отца в Троице-Сергиевом Посаде и его смерть

Отцу становилось все хуже и хуже. За несколько дней до смерти отец попросил сестру Надю написать под его диктовку отчаянные письма друзьям, и в них не было преувеличения.

Подходили мои именины. Папа их вспоминал, что-то удалось испечь, и он был очень доволен сладким пирогом с малиновым вареньем.

После моих именин отцу стало еще хуже. Он просил Надю написать бывшим друзьям — Бенуа, Мережковским, обращение к евреям. Он со всеми примирился, ни на кого не имел зла. Как-то я его спросила: «Папа, ты отказался бы от своих книг “Темный Лик” и “Люди лунного света”?». Но он ответил, что нет, он считает, что что-то в этих книгах есть верное, несмотря на то, что он был настроен в последнее время по-христиански и казался верным сыном Православной русской церкви.

В ночь с 22 на 23 января 1919 года старого стиля (5 февраля н. с.) отцу стало совсем плохо. Надя осталась с ним ночевать и прилегла рядом. Я вошла в его комнату и увидела, что у него уже закатились глаза. Тогда я сказала Наде: «Беги за священником». Надя побежала к Флоренским, но не могла к нему достучаться, тогда она побежала в Рождественский переулок, к отцу Александру. Он тотчас же пришел, но отец уже говорить не мог, и ему дали глухую исповедь и причастили. Это была среда.

Рано утром в четверг пришел П. А. Флоренский, Софья Владимировна Олсуфьева и С. Н. Дурылин. Мама, Надя и я, а также все остальные стояли у папиной постели. Софья Владимировна принесла от раки Сергия Преподобного плат и положила ему на голову. Он тихо стал отходить, не метался, не стонал. Софья Владимировна встала на колени и начала читать отходную молитву, в это время отец как-то зажмурился и горько улыбнулся — точно видел смерть и испытал что-то горькое, а затем трижды спокойно вздохнул, по лицу разлилась удивительная улыбка, какое-то прямо сияние, и он испустил дух. Было около 12 часов дня, четверг, 23 января старого стиля. П. А. Флоренский вторично прочитал отходную молитву, в третий раз — я.

Мы молча стояли у его постели и смотрели на его лицо.

Отпевать его повезли в приходскую церковь Михаила Архангела, близ нашего дома. Отпевали его три иерея: священник Соловьев, очень добрый, простой, сердечный батюшка, Павел Александрович Флоренский и инспектор Духовной Академии, архимандрит Иларион, будущий епископ, впоследствии он был сослан и по дороге в ссылку скончался в больнице. Отец при жизни часто у него бывал, они дружили.

Хлопоты по похоронам взяла на себя Софья Владимировна Олсуфьева, она достала разрешение похоронить его на Черниговском кладбище, среди могил монахов монастыря, рядом с могилой Константина Леонтьева, близкого по духу друга моего отца.

Свезли отца на дровнях, покрытых елочками, на кладбище в Черниговский скит. Там встретила его монашеская братия с колокольным звоном. Мама на кладбище не ходила, она оставалась дома. <...>

Мама со смертью отца очень изменилась, очень ослабела, у нее опухли ноги, и она не могла почти ходить. У нее стало какое-то остановившееся, притупленное выражение лица, как будто она уже более не могла выносить горя. Она уже ни во что в хозяйстве не вмешивалась и ни на что не реагировала, все взяли в руки мы с сестрой. <...>

Еще несколько строк об отце и его работах

<...> Мне бы хотелось, говоря об отце, описать его внешность, насколько я могу. Отец был невысокого роста, с узкими плечами, с довольно пропорциональной формой головы по отношению ко всей фигуре, лоб у него был очень большой, а на лице

выделялся очень острый взгляд глубоко сидящих карих глаз с зеленоватым оттенком, смотрящих как бы и пристально, и вместе с тем как-то рассеянno на мир. У него были очень характерные и интересные руки: пальцы были не длинные, но с очень выразительным окончанием, с выпуклыми крепкими ногтями, несколько утонченными к краям и как бы созданные для творческой писательской работы. Он сам писал в одной из своих книг, что прирожденный талант писателя сидит в кончиках пальцев (приблизительно так он выразился). Ноги у него были небольшие, сам он был очень живой и юркий, говорил всегда как бы про себя — скороговоркой и часто в шутливом тоне, а если о чем-нибудь спорил, то всегда сердито, раздраженно и убежденно, до того, что вставал из-за стола, топал ногами и даже убежал. Он был вообще очень экспансивен, жив, несдержан, но очень откровенен. Он никогда не притворялся, никогда не показывал того, чего в нем не было. Воспитанным человеком он не был. Это была бурная стихия, вне всякой литературы и формы. Но зато когда он писал, форма была ему присуща ранее того, чем он ее выразил на бумаге. В этом был залог особенностей его слога, на который обращали внимание все, писавшие о нем, считая, что в этом была его гениальность. Даже в начале революции некоторые писатели полагали целесообразным открыть при Брюсовском институте слова отделение литературы, изучающее его стиль. Все сказанное о языке относится ко второму периоду его деятельности, когда он сблизился с Мережковскими и другими литераторами и начал печататься в журналах «Мир искусства», «Весы», «Новый путь», издаваемый П. П. Перцовым, а позднее — в «Золотом руне». Тут-то он и выработал свой художественный язык, столь отличный от других писателей. <...>

Как он работал? Он никогда не исправлял что напишет. Он писал сразу набело, мелким бисерным почерком. Прочесть его работу мог только один метранпаж в «Новом времени», которого держал Суворин специально для Розанова. Поэтому рукописей у него сохранилось не так много, как у других писателей, так как я предполагаю, что не все рукописи отца возвращались из типографии. Перерабатывать свою статью он органически не мог и отказывался. А если в редакции не нравились его статьи, то он писал совершенно новую... Переписывать свои статьи он отказывался, боясь ошибок по своей рассеянности. Поэтому он иногда варварски поступал: вырезал из книг нужные ему цитаты. А если приводил их на память, то обыкновенно перевирал, в чем его часто упрекали. Но это не было следствием небрежности. Некоторые статьи по политическим причинам не проходили

в «Новом времени». Василию Васильевичу было жаль своей не-напечатанной статьи, и он посылал ее в Москву в «Русское слово» и другие газеты под разными псевдонимами: «Варварин», «Ибис», «Старожил», «Обыватель» и др.⁸⁴ Почему он печатал под псевдонимами? Потому что он по договору с Сувориным не имел права печатать свои статьи в других газетах, так как состоял на жаловании в «Новом времени» и, кроме оплаты статей, он получал построчно. Но его интересовала не только денежная сторона, но и желание часто выразить свои мысли в более либеральном духе, что не допускало «Новое время». Суворин это знал, но смотрел на это сквозь пальцы. Вся же остальная пресса подняла невероятную шумиху вокруг этого дела. Называли отца Иудушкой, предателем и всячески его поносили. А я считала и считаю, что это было хорошо. Он был шире и правого «Нового времени» и «Гражданина», а также левой либеральной газеты «Русское слово» и кадетской «Речи».

Теперь будем говорить о его философских взглядах и политических взглядах на разных этапах его творчества. Начал он свою литературную деятельность под влиянием Страхова, Леонтьева и Данилевского⁸⁵, бывал он на литературных вечерах Николая Николаевича Страхова. Он был консервативно настроен, религиозен, но без всякого фанатизма. С церковью же его разъединял факт его незаконного брака с моей матерью, но тут еще не выявилось его резкое отношение к церкви, но он очень страдал. На этом этапе волновали его вопросы школы, так как до этого времени он многие годы был учителем и знал трагедию в постановке школьного дела. Незадолго до этого он выпустил книгу «Сумерки просвещения»⁸⁶. Книга чрезвычайно интересная, на мой взгляд, но написанная еще тяжелым языком, на что Страхов указывал и учил его писать вообще короче и яснее. Несколько позднее он встречается с Перцовым, издает книги «Религия и культура», «Природа и история». В 1901 году он сближается с Мережковским, с Гиппиус, Бакстом⁸⁷, несколько раз на вечерах бывал у нас и Дягилев, приходил Бердяев, Вячеслав Иванов. Он пишет статьи по искусству, о художниках и выставках. Этот период считается расцветом его творчества, он тут наиболее признаваем, его начинают провозглашать гением и сравнивать с Ницше. Отец всегда смеялся: «Какой же я Ницше! Во мне ничего демонического нет». Вскоре Василий Васильевич выпускает книгу «В темных религиозных лучах». Эта книга была запрещена и уничтожена. Один уцелевший экземпляр этой книги был передан уже после революции в Государственную библиотеку им. Ленина. В этой книге была критика христианства и разби-

рался вопрос о связи религии с полом. Мережковский превозносил эту книгу. Отсюда началась его дружба с Мережковскими⁸⁸, а также положено было начало организации Религиозно-философского общества, где было стремление сблизить духовенство с интеллигенцией. К этому времени отцом была выпущена вторая книга, состоящая из двух частей. Первая книга «Темный Лик», а вторая книга — «Люди лунного света». Эту книгу цензура пропустила, а она, между прочим, менее интересна, чем первая, запрещенная «В темных религиозных лучах», но в ней более завуалирована главная идея о связи религии с полом и потому-то она была пропущена цензурой. В нашей семье очень не любили эту книгу, ни мама, ни я, ни старшая сестра, а Мережковские торжествовали, но отцу это было неприятно. Назревал какой-то надлом. Мама же очень не любила Мережковских и недовольна была сближением отца с ними, считала это удалением от церкви отца и очень волновалась. Приблизительно в это же время отец выпустил книгу в двух томах под названием «Семейный вопрос в России» (СПб., 1903), собрав огромный материал по бракоразводному делу, опять пытался через чиновника Синода Тернавцева получить развод от Сусловой, но все это было бесполезно, она не дала развода. Но эти его работы оказали влияние на новое законодательство, облегчающее бракоразводные дела. Отец рассказывал, что были случаи, когда сумасшедшего мужа заставляли жить с нормальной женой и обратно. В то же приблизительно время он подает на высочайшее имя государю просьбу об узаконении его пятерых детей, указывая на то, что он не принадлежит к потомственному дворянству, а получил личное дворянство по окончании высшего образования. Мы были узаконены и получили отчество и фамилию отца. Положение же матери оставалось неизменным, поэтому отец, когда писал «Опавшие листья» и «Уединенное», называл мать «другом» — он не мог назвать ее официально женой. <...>

Будем же теперь говорить более подробно о политических его убеждениях. Первый период его жизни, когда был жив еще Страхов, он был спокойно-консервативно настроенный человек. При сближении с Мережковскими он начал незаметно леветь, а в 1904–1905 годах он поддался общему революционному настроению общества, так как сам прожил трудную жизнь, знал нищету и голод и с этой стороны сочувствовал бедному люду. Отсюда вытекли его статьи, окрашенные революционным духом, которые затем вошли в его книгу «Когда начальство ушло» (СПб., 1910). Но это был недолгий период в его жизни. Затем он очнулся, посмотрел вокруг себя, увидел богатую, сытую кадетскую

прессу, самодовольную и очень далекую от народных нужд, и повернул вспять. В это время он дважды издал книгу «Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову». Второе издание вышло в 1913 году (СПб)⁸⁹. В это время мать моя продолжала сильно болеть. Летом отец с матерью уехали в Бессарабию в имение Апостолопуло к своим друзьям: отец в очень плохом душевном состоянии, мать больная, отец дружит с самой помещицей, которая настроена крайне консервативно и враждебно к евреям, также как и ее друг. Они указывали отцу на эксплуатацию помещиков евреями и скупку ими по дешевым ценам хлеба у помещиков. Вот тут начинается поворот отца от интереса его к иудаизму к сугубо национальным русским интересам. Здесь он пишет книгу под названием «Сахарна» (так называлось их имение), подготавливает ее к печати, но начинается война 1914 года, и книга не появляется в печати⁹⁰. Единственный сброшюрованный экземпляр был передан в 50-х годах в Государств<енный> литературный музей. Книга была местами очень интересная, в ней были оригинальные афоризмы, но в целом очень мне не нравилась.

В это же примерно время началось крупное дело Бейлиса, в обсуждении которого приняла участие как русская пресса, так и западная. Обсуждался вопрос — возможно ли ритуальное убийство в наш цивилизованный двадцатый век? Общество разделилось. Розанов и очень немногие утверждали, что возможно, большинство же отрицало это. В это время, озлобленно настроенный, мой отец выпустил очень резкие брошюры и книги против евреев, что заставило Религиозно-философское общество отмежеваться от него и исключить его из членов этого общества. Этот поступок отца был для него роковым. Он остался почти в одиночестве и замкнулся в себя. Статьи его почти перестали печатать, и положение его резко изменилось. Тут началась война 1914 года, отец писал приподнято-патриотические статьи, печатал их в газете, а потом включил их в книгу «Война 1914 года и русское возрождение» (Петроград, 1915). Там было очень много интересных страниц, но в целом она, может быть, звучала и неверно.

В 1915 и 1916 годах жизнь была тяжелая и материально, и морально в нашей семье. В 1916–1917 годах отец мой стал издавать по выпускам книгу «Из восточных мотивов», посвященную древнему Египту (вышло три выпуска, четвертый был подготовлен). Еще задолго до издания он просиживал многие часы в Эрмитаже, срисовывая древнеегипетские изображения⁹¹. У него составилась огромный альбом с этими рисунками, который в 1947 году, после смерти отца, Сергей Алексеевич Цветков продал для нас, кажется, в б<иблите>ку им. Ленина, — не помню

точно. Выпуски эти печатались на роскошной бумаге верже, которую отец закупил для издательства «Сириус» и надеялся издать большую работу. Он сделать этого не смог. Наступила революция и отец продал эту бумагу известному издателю Сабашникову.

В 1917 году, в сентябре месяце, мы, как я уже говорила, по семейному совету, переехали в Троице-Сергиев Посад, где отец прожил недолго, всего два года, и умер в 1919 году 23 января (по старому стилю), 5 февраля по н. с., как указывала З. Гиппиус в своих работах, изданных за границей. За время жизни в Троице-Сергиевом Посаде отец издал в десяти выпусках «Апокалипсис нашего времени» у местного издателя Елова. Книга эта была запрещена и уничтожена.





П. Д. ПЕРВОВ

Философ в провинции

(из литературно-педагогических воспоминаний)

М. Пришвин продолжает еще печатать свое повествование об Алпатове, которое является чем-то вроде семейной хроники. Хроника эта открылась повестью «Курымушка»¹, где автор изображает свое детство. Критика отметила, что повесть эта дает обильный материал для иллюстрирования того, как дореволюционная средняя школа умственно и нравственно калечила своих питомцев.

Центральное место в судьбе «Курымушки» занимает «Козел». «Пришел в класс Козел; весь он был лицом ровно-розовый, с торчащими в разные стороны рыжими волосами; зубы совсем черные и далеко брызгаются слюной; нога всегда заложена за ногу, и кончик нижней ноги дрожит, под ней дрожит кафедра, под кафедрой дрожит половица. Курымушкина парта как раз приходилась на линии этой дрожащей половицы, и очень ему было неприятно всегда вместе с Козлом дрожать весь час». Отчего происходило это дрожание парты, половицы и ноги и какая трагическая коллизия из-за этого дрожания произошла в душе и судьбе этого Курымушки, автора повести «Курымушка», — все эти сложные детали читатель найдет в самой повести. А портрет «Козла», хорошо исполненный и выразительный, можно видеть в Третьяковской галерее. Под этим портретом подпись: «В. В. Розанов»².

«Страшней всех учитель математики “Коровья смерть”, говорили новичку Курымушке товарищи, тот, как первый раз если поставил единицу, так с единицей и пойдешь на весь год, и ты уже больше не ученик, а корова. “Коровья смерть”, рыхлый и серый лицом, вошел с костылем, сел на кафедру и ногу положил отдельно на стул: в ноге, сказали, у него подагра. Все вынули синие тетради и стали под его диктовку писать весь час

правила. “Это вызубри назубок”, советовали товарищи, “тебя завтра первого спросит. Смотри не подведи, а то с тебя рассердится и пойдет — много лишних коров наделает”. На другой день Курымушку первым вызвали. “Дай тетрадь! Что есть сложение? — Сложение есть действие... Запнулся. — Долго ли ты будешь молчать? — Коровья смерть, чуть-чуть покачивая головой сверху вниз, выражал такое презрение, такую ненависть, будто это не человек стоит перед ним, а сама его подагра вышла из ноги и вот такой оказалась, — в синем мундирчике, красная, потная, виноватая. — Мать есть? — Есть. — Несчастливая мать! — Надорвал синюю тетрадку до половины, сказал: “Стань в угол коровой!”»

Мы не станем следить за рассказом и только подтвердим, что в повести описана Елецкая гимназия, а Коровья смерть — В. В. Клушин, гроза кухаркиных детей, ярый черносотенец, «заслуженный» преподаватель, особенно ценимый гимназическим и окружным начальством.

Нарком Н. Семашко, учившийся в Елецкой гимназии восемь лет и окончивший ее в 1892 году, так характеризует эту гимназию: «Это была недавно открытая гимназия страшнейшего захолустья, куда преподавательский персонал ссылался как бы в наказание. За самыми редкими исключениями преподаватели представляли собою или допотопных зубров, или просто больных людей. Среди наиболее передовых идейных педагогов был известный черносотенец, нововременский писатель, В. В. Розанов, преподававший географию, и довольно известный классик и историк, ныне здравствующий...» *

В эту характеристику, однако, следует внести некоторую поправку. Елец, крупный торговый центр, насчитывающий 60 тысяч жителей, вовсе не был захолустьем; нельзя сказать и того, что начальство ссылало туда учителей как бы в наказание. Совершенно наоборот: в глазах окружного начальства тогдашний состав преподавателей Елецкой гимназии был очень хорош; доказательством может служить тот факт, что начальство продвигало многих из этих учителей дальше по ступеням служебной лестницы; из учителей, у которых учился Н. А. Семашко, четверо были потом директорами гимназий (А. А. Кедринский, Г. Н. Фишер, И. И. Пенкин, Д. И. Мышцын, — двое последних были директорами орловских гимназий), один — инспектором московской гимназии и т. д.

* Ник. А. Семашко, «Полвека жизни — тридцать лет революционной борьбы», М., 1924.

В общем итоге гимназия носила обычный облик тогдашних среднеучебных заведений. Преподавание носило чисто «формальный характер», учителя были чиновниками, строго выполнявшими программы и циркуляры. Ученики заучивали учебники, «переводили» по подстрочникам, писали положенное число «сочинений», извлекаемых из специально для этой цели составленных пособий. Коровья смерть из года в год в каждом классе три раза в неделю диктовал «Записки» по арифметике и алгебре, а два раза в неделю «спрашивал» по этим «запискам». По смерти инспектора С. П. Федюшина («Обезьян» у Пришвина) в актовом зале оказался большой шкаф, битком набитый непрочитанными сочинениями, которых за десять лет накопилось многие сотни; «Обезьян» никогда не возвращал ученикам сочинения. Учителям древних языков помощник попечителя В. Д. Исаенков периодически рассылал брошюру, в которой было пропечатано, какие параграфы из грамматики Никифорова, какие примечания и сколько строк из такого-то примечания проходить в таком-то классе. Окружные инспектора, появлявшиеся в гимназии раз в три года, входя в класс, прежде всего осматривали у всех учеников тетради со словами и «спрашивали» эти слова. В обычное учебное время «за слова» ежедневно отсиживали под арестом десятки учеников; классные наставники поочередно дежурили при этих арестованных, отпуская их по мере того, как они выучивали слова. Через полчаса после окончания уроков из своей квартиры приходил к арестованным в классе директор Н. А. Закс («справедливый латыш» у Пришвина), брал у учеников поочередно тетрадки, спрашивал слова, некоторых отпускал и потом выходил из класса, не обращая никакого внимания на восседавшего на кафедре очередного классного наставника и не простившись с ним. Другой директор, сменивший Н. А. Закса, П. Ф. Симсон, собиратель русских древностей, очень заботился о том, чтобы у него по средам и пятницам не было никаких дел в гимназии и в канцелярии: в эти дни он обходил «бабий» базар и тщательно осматривал всевозможный хлам у торговок, рассчитывая найти русские древности, как это ему иногда удавалось в Серпухове и Нижнем, где он раньше служил. На уроках у преподавателей директора бывали раза по два в год. Учителя ежедневно ставили баллы. Из ежедневных баллов учитель выводил четвертной балл, который заносился в ведомость классного наставника, и здесь кончалась вся активность всего преподавательского персонала: вся дальнейшая судьба ученика строго и неукоснительно predeterminedлялась циркулярами. В циркулярах было точно обозначено, из каких четвертных можно выводить какой годовой балл, с каким годовым допускать к экзамену, как выводить «средний» из

годового и экзаменационного и т. д. Во всей этой махинации нельзя было прибавить, к выгоде ученика, ни одной четверти балла, и сам ученик при производстве этой махинации активно фигурировал один только раз за весь учебный год, — при экзаменах, но и тут судьба ученика часто была уже predetermined.

Округ судил об учителях по письменным работам на аттестат зрелости, которые отправлялись в округ и там передавались на разбор специалистам. К концу учебного года в каждую гимназию посылалась объемистая книга страниц в 500, изданная «на правах рукописи», т. е. не подлежащая оглашению. В этой книге учителя находили полные перечни всех ошибок всех абитуриентов (оканчивающих гимназический курс) округа. Просмотр работ по древним языкам делался самим В. Д. Исаенковым, который и выписывал все ошибки, распределял их по самым замысловатым рубрикам: орфографические, этимологические, синтаксические, стилистические, семантические, описки, пропуски и т. д. и в каждой рубрике грубые, средние, легкие. Учителя по целым неделям занимались исправлением и распределением ошибок перед отправлением работ в округ, из отчета узнавали о своих собственных промахах в исправлении и классификации ошибок. Рецензия обычно оканчивалась исправлением поставленных учителями баллов: «поставлено 3, следовало 2» и т. д. На судьбу абитуриентов эти исправления уже не влияли, но в среду учителей они вносили немалый конфуз. Учителя, мечтавшие продвинуться по ступеням служебной лестницы, особенно много тратили времени на исправление этих работ. Кедринский и Фишер после всеобщего разъезда на каникулы оставались в городе еще недели на две, употребляя все это время на справки по книгам и дальнейшее исправление.

Другим поприщем для того, чтобы выслужиться перед начальством, было «посещение» ученических квартир. Инструкция классным наставникам предписывала следить, «какие лица бывают в квартире ученика, с кем он входит в сношение, какие книги читает в свободное от занятий время», и т. д. О посещениях подавались рапорты директору. Г. И. Фишер «посещал» квартиры даже после двенадцати часов ночи или дважды в один вечер в надежде, что после первого посещения ученики, ничего больше не опасаясь, пустятся во «все тяжкие» и будут изловлены. Он искал у учеников книги под тюфяками, за шкапами, под кроватями и т. д., часто приносил с своих посещений добычу в учительскую и по очереди переспрашивал преподавателей, показывая им книгу, дозволенная она или недозволенная; сам он кроме грамматики Буслаева, которую изучал каждые канику-

лы, не прочел ни одной русской книги. Если автор выловленной книги значился в каталоге гимназической ученической библиотеки, он сверял, то ли это издание, которое дозволено. Отобранные книги хранились в учительской в шкапу с другими отобранными предметами и выдавались владельцам обратно по окончании ими курса. Однажды шкап оказался сразу наполненным доверху книгами: одному ученику, изучавшему переплетное ремесло, вздумалось купить на толкучке кучу старых журналов за несколько лет; он вырывал статьи и переплетал их в особые книжки, но вовремя был «изловлен», и книги все попали в казенный шкап.

Гимназические учителя жили замкнутой группой. Классные наставники вызывали в гимназию родителей для переговоров об успеваемости их детей; три-четыре лица из чиновничьего мира в Новый год и на Пасху обязательно делали визиты всем учителям гимназии с целью приобрести их благоволение для своих мало успевающих детей. Но никто из чиновничьего и купеческого мира не был знаком «домами» с гимназическими учителями. Только один Кедринский лез в аристократию, приглашая на именины соборного протопопа и некоторых помещиков, причем эти почетные гости сидели у него за особым столом, отдельно от учителей. Учителя постоянно ходили друг к другу в гости. В течение года длинной вереницей праздновались именины, дни рождения самих учителей, жен их и домочадцев. С раннего вечера и почти до утра сидели за картами; на другой день во все перемены между уроками горячо обсуждались карточные инциденты.

Кроме карьеристов и «зубров» среди учителей были и просто больные люди. Чистописанию и рисованию обучал Постников; от пьянства у него тряслись руки, и он многие годы преподавал эти искусства «словесно», не написавши в классе ни одного слова и не сделавши ни одного рисунка; он «писал» только одно слово и только 20-го числа каждого месяца, когда при получении жалованья нужно было подписать на ведомости свою фамилию; для этого он свою прыгающую руку крепко придерживал другой рукой.

До В. В. Розанова учителем истории и географии был И. И. Тарановский. К девяти часам он приходил в гимназию; ни с кем не здороваясь, садился в учительской у окна на стул, вынимал из кармана книгу и упорно смотрел в нее. По звонку он быстро шел в класс. Все ученики и учителя на местах, по классам; в коридоре минут пять мертвая тишина. Но вдруг за одной из классных дверей раздается пронзительный крик. Это Тарановский при-

ступил к «опрашиванию». Крики усиливались. Переходили в визг и вопль. В соседних классах становилось жутко; исчезала всякая возможность направлять внимание учеников. Неистовое оранье продолжалось с небольшими перерывами до конца урока. По окончании урока Тарановский, весь красный и потный, выбегал из класса, бежал к своему стулу и снова погружался в книгу. По звонку он снова срывался с места, снова бежал в класс и минуты через три по всему коридору снова неслись пронзительные крики. После двух-трех уроков, опускаясь на свой стул, он был уже бледен, как мертвец, и что-то шептал про себя губами, не отрываясь от книги. Книга целые месяцы была открыта на одной и той же странице: Тарановский не читал, а только смотрел в нее. В гимназии он ни с кем из коллег не разговаривал. Иногда директор отсылал его дня на два на квартиру «полежать».

Но на квартиру к нему неизменно приходил Л. Р. Моррисон, учитель французского языка, горький пьяница, занимавший по всему городу деньги у родителей учеников; начиналась попойка, затевалась на целую ночь картежная игра. Когда учителя говорили директору, что Тарановский слишком нервнрует учеников, директор пояснял, что по закону учителя не могут бросать занятия среди учебного года. Так продолжалось с ноября до конца учебного года. На последнем экзамене, когда в четвертом классе экзаменовали по географии «за все четыре класса», Тарановский спрашивал: «Какой губернский город во Владимирской губернии? какой в Казанской? Какой народ живет во Франции? какой в Швейцарии» и т. д. Некоторые ученики искали какого-нибудь «подвоха» в этих вопросах и отвечали невпопад; Тарановский начинал неистово орать, ассистенты спешили отпустить ученика. Ученик Самохвалов, обучавшийся четыре года географии, не умел на карте отличить сушу от океана, и на предложение указать какое-нибудь государство неопределенно махал рукою в воздухе. Стали выводить отметки за ответы. Оказалось, что Тарановский наставил кучу единиц и двоек, кое-как удалось убедить его поставить всем без разбора по тройке.

В следующем году, по уходе Тарановского, до конца сентября в Елецкой гимназии не было учителя истории и географии. Наконец в гимназию явился переведенный из Брянска учитель В. В. Розанов. Он был одиноким, поселился у одной старой вдовы. Новый учитель никому не сделал визитов, в учительской больше молчал, наблюдал и подсмеивался; на учительские вечеринки не ходил. Прошло два месяца. Инспектор И. И. Пенкин,

сменивший умершего «Обезьяна» и тоже переехавший из Брянска, втихомолку сообщил некоторым из учителей, что Розанов написал в Брянске целую книгу и даже напечатал ее на свой счет, на свое учительское жалованье. Это известие всех заинтриговало: стали расспрашивать Пенкина. Но оказалось, что он не читал самой книги, что это какая-то философия и что книга называется «О понимании»³. Все это ставило слушателей в тупик. Чудак человек! Ухлопал все свое годовое жалованье на печатание книги! На какие-то деньги жил он в тот год, как печатал книгу? и как можно сочинить целую книгу о понимании? Что такое это «понимание»? Пенкину не особенно верили, а самого автора загадочной книги не решались расспрашивать. Наконец, Пенкин оповестил, что приглашает Розанова на свое семейное торжество с тем, чтобы среди беседы порасспросить его подробнее о книге. Это было торжество по случаю годовщины со дня рождения дочери Пенкина. Пенкин, бывший потом директором Орловской гимназии, ярый черносотенец и карьерист, свято соблюдал разные старозаветные обычаи и, между прочим, обычай, строго запрещающий отцу брать на руки своего ребенка в первый год его жизни. На торжестве отец должен был впервые взять свою дочь на руки. За столом сидели почти все учителя с женами; на столе красовался необъятной величины осетр; жена Пенкина поднесла разодетого в кружева младенца; все поздравляли, произносили тосты, чокались. После официальной части торжества завязали беседу с новым учителем о жизни в Брянске и его книге. Автор подробно рассказал, где печаталась книга, сообщил, что в ней около 600 страниц. И всю эту таинственную премудрость о понимании сочинил один человек, сидевший между ними, бывший учитель брянской прогимназии. Скоро учителя увидели и саму книгу, на обложке которой значилось: «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания».

Прошло несколько недель. У автора расспрашивали в учительской, сколько экземпляров книг напечатано, сколько продано, куда он послал ее для продажи; автор отделялся шутками*. Высчитывали, что если книга продается по 5 рублей, то, вероятно, самому автору печатание ее обошлось тысячи в две. Откуда он взял такую уйму денег? От Пенкина узнали, что Розанов — сын бедной вдовы-мещанки, которая содержала семью стиркой

*

В первые два года, до появления первых рецензий, как говорил потом Розанов, ни в Ельце, ни в Москве не было продано ни одного экземпляра.

беля, что в годы студенчества он жил уроками, женился на своей квартирной хозяйке⁴, что жена его приходилась сестрой одной из трех знаменитых женщин, которые, получив заграничное образование, были первыми в России женщинами-врачами⁵, что Розанов в первый же год разошелся с женой⁶. О самом содержании книги с автором никто не заводил речи; но в отсутствие Розанова в учительской и на учительских вечеринках росло и плодилось всякого рода злословие. И в особенное недоумение приводило учителей то обстоятельство, что в книге не было цитат и ссылок на философическую литературу. Кое-кто пробовал читать книгу, но у читателей хватало терпения только на бесполезное перелистывание толстой книги. Толковали, что автор, должно быть, списал эти сотни страниц из каких-нибудь книг, но не знали — из каких. Исподтишка разведывали у него, не знает ли он иностранных языков, в предположении, что, может быть, он «стащил» эти сотни страниц у какого-нибудь иностранного философа. Но оказалось, что Розанов знает языки лишь настолько, насколько знали гимназисты старших классов. Никто не мог решить, что у автора в книге свое и что чужое; но все были уверены, что в ней больше всего чужого. Автор по-прежнему по вечерам сидел у себя дома, сторонился учительской компании; в беседах отделялся шутками и афоризмами. Учителя почти единодушно решили: «Это не нашего поля ягода». Нарастала постепенно злоба. Автора в насмешку стали звать «философом» и «понимающим». Классик-картежник М. В. Десницкий в учительской то и дело насмешливо провозглашал по адресу Розанова: «Нашелся понимающий среди ничего не понимающих». Всяческое заочное злословие не прекращалось и тогда, когда Розанов стал наконец бывать у некоторых учителей на именинах и вечеринках. Раз он попал даже на холостую попойку у учителя женской гимназии Желудкова. Здесь слово за слово разгорелся спор между Розановым и Десницким, который «на все корки» честил философию и философов, крича с азартом: «И мы тоже кое-что понимаем!» В разгаре спора Десницкий схватил с полки книгу «О понимании», преподнесенную Розановым Желудкову, расстегнул брюки и обмочил ее при общем хохоте всех присутствующих: «А ваше понимание, Василий Васильевич, вот чего стоит».

Ученикам, попавшим к Розанову после Тарановского, очень нравился новый учитель, который хорошо «рассказывал» на уроках, постоянно отступая от темы урока и пускаясь в другие эпохи истории или в иные области знания, совершенно неведомые ученикам. Говорил он просто и с учениками обращался по-се-

мейному. Ученики разносили по городу слух об очень ученом учителе; ученицы женской гимназии завидовали им, что у них такой ученый историк, меж тем как их собственный историк А. К. Сапегин только и умел рассказывать не совсем приличные анекдоты о Екатерине и Елизавете и одаривать классных дам своими произведениями живописи.

Когда я стал потом ходить к Розанову, он занимал в это время одну комнату какой-то вдовы, которая готовила ему обед. За ширмами была кровать; перед ширмами и по стенам возвышались сооружения из книжных полок. Полки сверху донизу были набиты книгами всевозможных форматов в старинных кожаных переплетах, с раскрашенными или золочеными обрезами, потускневшим золотым тиснением на корешках. Тут были огромные пергаментные фолианты Энциклопедии Дидро, Словаря Бейля, многотомные французские издания Вольтера, Руссо и множество других писателей и философов XVIII века, «первые» издания русских классиков, множество антикварных раритетов на латинском и новых языках, и т. д.; на отдельной полочке лежали растрепанные, без переплетов, «сочинения» немногочисленных русских философов из духовных семинаров и академий. Я по целым часам зарывался в эту сокровищницу мыслей и знаний; просмотренные книги и прочитанные страницы давали повод к бесконечным беседам и спорам. Эти споры обострялись гибким и пронизательным умом, яркими симпатиями или антипатиями Розанова к людям и мнениям.

Однажды на полках у Розанова я отыскал брошюру Ренана «De la part», etc. Я перевел брошюру и послал перевод в Москву к издателю В. Н. Маракуеву, который и напечатал его (Место семитских народов в истории цивилизации. М., 1898). Розанов, чтобы дать отповедь Ренану и дополнить его, выбрал для актовой речи в гимназии тему «Место христианства в истории цивилизации». Речь эта была издана потом отдельной книжкой⁷; издание быстро разошлось; это было первым и очень удачным выступлением Розанова перед большой публикой. Сопоставление семитского мирозерцания с христианским было вместе с тем первым толчком к дальнейшему детальному изучению этого вопроса, бывшего основным стержнем философских работ Розанова.

Среди споров и рассуждений о планах будущего у нас явилась мысль начать серьезный труд по философии. Предстояло прежде всего пересаживать на нашу почву крупнейшие достижения великих философов человечества. Завершителем античной философии и родоначальником средневековой философии, филосо-

фом, имевшим наиболее продолжительное влияние на человеческую мысль, был Аристотель. Важнейшим его сочинением была «Метафизика». На ней мы и остановились.

При тогдашних условиях Елецкой учительской жизни это была труднейшая задача, которую только можно было придумать в области философской литературы. Сама по себе «Метафизика» является вершиной отвлеченной философской мысли, представляя непомерные трудности для толкования и точной передачи. К тому же у нас не было никаких специальных пособий. В гимназической фундаментальной библиотеке в качестве наследия от каких-то прежних «училищ» хранились такие редкости, как невероятный по объему «*Tesaurus totius latinitalis*» («Сокровище всей латыни»), между прочим, фолианты греческого текста Аристотеля в стереотипном, без всяких комментариев, издании Дидо⁸. На помощь себе мы решили выписать от Готье из Москвы французский перевод «Метафизики», сделанный Бартеlemi Сент-Илером⁹. Готье прислал три тома. Но эта книга оказалась совершенно непригодной для нашей цели. Это был не перевод, а какая-то развязная и совершенно невразумительная французская болтовня, ничего общего не имеющая с греческим текстом. Сент-Илера мы запрятали на дальнюю полку, чтобы он не портил нашего дела, и ни разу не обращались к нему. Перечитавши все семинарские «обзоры философских учений» и вообще все, что было в русских философских книгах об Аристотеле, мы увидели, что и тут нельзя совершенно ничем воспользоваться, и прежде всего вследствие невообразимой путаницы в философской терминологии: аристотелевские философские термины переводились десятками различных способов, разные философские термины передавались одним и тем же способом, вносилась масса терминов из новой философии; обзоры пестрели словами: сущее, сущность, бытие, субстрат, форма и т. д., но в общем итоге вследствие произвольной и противоречивой терминологии получилась полная неразбериха, так что в кратких обзорах ничего не было общего с подлинным содержанием «Метафизики». Приходилось все начать *ab ovo**, игнорируя все написанное об аристотелевской философии в русских книгах и руководствуясь только греческим текстом и собственным размышлением. Розанов знал греческий язык не лучше гимназиста старших классов со средними успехами; не надеясь на свои филологические познания, он, в сущности, и не смотрел в греческий текст, но он был глубоким и пронизательным

толкователем подлинника, который я ему преподносил в дословном переводе. Отдельные слова, термины, обороты, фразы обсуждались целыми вечерами. Работа требовала исключительного проникновения в тонкости наивысшей отвлеченной мысли и очень большой изобретательности для передачи всех оттенков мысли в точном соответствии с подлинником. Мы работали изо дня в день целый год, кроме каникул. Это было какое-то непрерывное философское вдохновение. Работа на высотах мышления настолько захватывала, что вся текущая проза жизни представлялась каким-то ненужным сном. И это было лучшее время жизни.

Когда переведены были уже три книги «Метафизики», мы из простого любопытства, без всякой серьезной цели, зашли в типографию Кочергина. Это была единственная в городе типография, печатавшая почти исключительно бандероли для огромной фабрики Заусайлова, выпускавшей забандероленную махорку. Мы спросили у хозяина, печатает ли типография книги. — Печатаем счета, поминанья, — сказал хозяин, — но можно и книгу, ступайте к метранпажу; он все вам скажет. Мы целый час беседовали с метранпажем, считали на какой-то примерной книге число букв на странице, долго складывали, умножали, считали рубли и копейки. Видно было, что для метранпажа все эти подсчеты — дело совершенно новое, что типографии никогда не приходилось выполнять заказы на книги. Метранпаж был очень услужлив и общителен. Когда мы, завернувши в бумагу свою рукопись, собирались уходить, он задержал нас и самым конфиденциальным тоном, как бы по секрету от хозяина сообщил нам: «Вы, я вижу, хорошие господа, и мне не хотелось бы вводить вас в убыток. Мой совет: вместо того, чтобы печатать, вам гораздо выгоднее купить в готовом виде эту книгу, в Москве она, вероятно, стоит не дороже трех рублей».

Русских философских журналов в то время не было; в «Трудах» духовных академий печатались только религиозно-философские статьи. Единственным прибежищем для таких работ, как наша, был «Журнал министерства народного просвещения», имевший у себя особый «отдел классической филологии».

В «Журнал министерства» мы и послали свой перевод, там с охотой его приняли и оплачивали работу не как перевод, а как оригинальные статьи; перевод сопровождается непрерывным философским комментарием, занимающим больше места, чем самый перевод. После печатания первых книг «Метафизики» мы продолжали в Ельце эту работу, и перевод печатался в «Журнале министерства» с перерывами в течение четыре лет (1890 г.,

февр., март; 1891 г., янв.; 1893 г., июль, авг., сент.; 1895 г., янв., февр.)*.

Розанов тяготился учительской службой и был неважным педагогом. «С ним все от счастья», — говорили о Козле товарищи Курымушки. «Козел обвел своими зелеными глазами класс пронзительно. И как раз встретился с глазами Курымушки, так у него всегда выходило, — встретится глазами, и тут же непременно вызовет. Ни имен, ни фамилий он не помнил».

Вспоминаются несколько случаев. Розанов очень полюбил одного бедного воспитанника, Вавилова: всячески ему мирволил, доставал уроки, хлопотал о нем в «Обществе вспомоществования бедным ученикам» и т. д. Раз Вавилов читал на гимназическом вечере отрывок из «Бориса Годунова»: «Еще одно последнее сказанье». С этого вечера Розанов называл Вавилова не иначе как «ломакой» и потом до конца курса всячески преследовал его и высмеивал. В том же восьмом классе был другой ломака, сын местного прокурора, Шидловский, растягивавший слова и корчивший из себя аристократа и зазнайку. Когда восьмиклассники, державшие на аттестат зрелости, написали сочинение на присланную из округа тему, то Розанов выпросил для исправления работы Шидловского у учителя М. А. Смирнова, который в качестве преподавателя класса по правилам обязан был первым, раньше всех ассистентов, прочитывать и исправлять работу. Когда после Розанова работа Шидловского попала ко мне как второму ассистенту, я увидел, что она вся исчеркана Розановым, который нашел в ней и «исправил» около ста «ошибок», главным образом в стилистике: больше половины текста работы было подчеркнуто красными чернилами, а поля сплошь исписаны пометками: «неясно», «не по-русски», «неверно» и т. п. При рассмотрении работы я убедился, что все до одной поправки Розанова были неверными или вздорными и вызваны были состоянием крайнего раздражения. Я пометил все поправки номерами и к каждому номеру написал обстоятельное и мотивированное опровержение, написавши красными чернилами целых

* Приведу одну мелочь, характеризующую Розанова в житейских сношениях. На страницах журнала переводчики везде названы в таком порядке: «П. Первов, В. Розанов»; но в одной из журнальных книжек имена переводчиков стоят в обратном порядке: «В. Розанов, П. Первов»¹⁰. Казус этот объясняется тем, что Розанов тайком от меня написал редактору какое-то письмо, в котором какими-то доводами убедил его в своем первенстве над другим переводчиком. Когда результат переписки обнаружился, Розанову стало стыдно, и он в письме просил редактора восстановить тот порядок имен, который был в рукописи.

две страницы на ученической работе. Работа перешла потом к Смирнову, который оказался в большом затруднении, не зная, как выпутаться из этой кутерьмы; он что-то еще писал на работе и просил меня пересмотреть все рецензии; я отказался от этого и не видал уже работы, которая со всеми этими контрверсами пошла в округ; Розанов оценил работу двойкой с минусом, я поставил четверку.

Розанову очень хотелось выбраться из Ельца. Он постоянно мечтал о такой службе, которая давала бы ему досуг для литературно-философских занятий; наиболее заманчивой службой ему представлялось заведывание каким-нибудь музеем.

В последний год его пребывания в Ельце мы на святки поехали в Москву. Остановились в «Скворцах», на углу Моховой и Воздвиженки. В номер пришли однокурсники Розанова, «оставленные при университете», в числе их Любавский (бывший потом ректором университета)¹¹. Розанов перессорился с ними, так как он недолго любил патентованных ученых. На другой день Розанов пошел с визитом к профессору Н. Я. Гроту¹², которому он за год до этого визита послал свою книгу «О понимании», в надежде, что известный профессор философии старейшего русского университета заинтересуется большой философской работой, исполненной в глухой провинции. Грот в замешательстве извинялся, что не успел еще прочитать этой книги. Два-три профессора провинциальных университетов, получившие от Розанова книгу, тоже в течение двух лет не успели о ней отозваться. Первым отозвался петербургский писатель-философ Н. Страхов¹³. Книгу «О понимании» он препроводил критику Буренину. Последний очень заинтересовался несколькими страницами из этой книги, в которых говорилось о Гоголе и Достоевском. Он напечатал в «Новом времени» фельетон¹⁴, в котором оповестил о совершенно новом взгляде на Гоголя, появившимся в такой-то загадочной книге. С этих пор и в большой прессе узнали о Розанове. Мысли о Достоевском потом были развернуты Розановым в особой книге: «Легенда о великом инквизиторе»; в эту книгу вошли и его статьи о Гоголе.

Тот же Страхов выхлопотал для Розанова место в Петербурге, обратившись с этой целью к государственному контролеру Тертию Ивановичу Филиппову, писателю-славянофилу и меценату, которого не только по фамилии, но и по имени-отчеству знала вся тогдашняя интеллигенция. Третий Филиппов вызвал Розанова в Петербург и дал ему место в какой-то канцелярии при контроле.

В последний год пребывания в Ельце Розанов жил уже на другой квартире, у старухи-попадьи, родственницы какого-то

известного архиепископа¹⁵. У вдовы была взрослая дочь Варвара. С этой Варварой, о которой он потом столько раз и обстоятельно писал в своих сочинениях, он и уехал в Петербург. В Петербурге, пока он не стал постоянным фельетонистом «Нового времени», ему жилось очень плохо. Место, предоставленное Филипповым, оказалось очень мизерным. Сбежавши от учительства, он попал на такую должность, где целый день приходилось корпеть над бумагами и цифрами.

Многочисленные книги и сборники фельетонов Розанова до революции охотно читались; о нем написаны десятки статей и даже целые книги. Он раза два оповещал читающей публике, что заработал своими сочинениями 50 тысяч рублей. Последние годы он жил в Сергиевом Посаде, больной и обремененный семьей, получая от какого-то благодетеля небольшие крохи на издание периодического листка, который назывался «Апокалипсис нашего времени» и прекратился на третьем выпуске¹⁶. Умер Розанов от голодания.





М. М. ПРИШВИН

О В. В. Розанове (Из «Дневника»)

1908 (?) [Петербург]

9 декабря [У Ремизова]. Манасеина¹, видно, славная и умная женщина и так любит свое дело. Я заметил в ней искреннее увлечение литературой, в частности, как это приятно, моей книгой². Она сказала очень метко, что моя книга и русская, и в то же время общекультурная. Я рассказал о своем впечатлении от Мережковских: они «личники», за пять шагов от них веет холодом, но в то же время чистотой. Правда: чистоту в человеке дает только развитие личности, быт нечист, если не считать «страны непуганных птиц». Но такой страны может быть вовсе и нет? На последнем рел<игиозно>-фил<ософском> собрании Розанов по поводу моей книги высказал такое убеждение о существовании такой страны. Это был замечательный разговор уже потому, что я торжествовал над ним свою победу. И разве это не победа: мальчик, выгнанный им из гимназии³, носивший всю жизнь по этому случаю уязвленное самолюбие, находит своего врага в р<елигиозно>-ф<илософском> собрании, вручает ему свою книгу с ядовитейшей надписью: «Незабываемому учителю и почитаемому писателю» — и выслушивает от него комплименты. Вот победа! А он-то и не подозревает, с кем имеет дело. Разговор, насколько я помню, был такой. В<асилий> В<асильевич>, встретив меня, взял за руку, отвел в сторону и серьезно, очень серьезно — я это заметил — стал восхищаться книгой: «Лопка! — какое чудесное слово, и об охотнике хорошо, и о грехе хорошо, и о детях птицы хорошо... вы интересный человек... а когда я там смотрел в собрании, вы мне казались каким-то статуеобразным...»

— Вы меня считали за тупого человека? — спросил я.

— Нет... плотный вы... а в книге охотник... живой...

Еще он мне говорил там, как все эти лопки и птицы изменились в культуре, сколько мы потеряли...

Страна обетованная, которая есть тоска моей души и спасающая и уничтожающая меня, — я чувствую — живет целиком в Розанове, и другого более близкого мне человека в этом чувстве я не знаю. Недаром он похвалил меня еще в гимназии, когда я удрал в «Америку»...

— Как я завидую вам! — говорил он мне.

К одному и тому же мы припадаем с ним, разные люди разными путями. Отчего это? Что это значит? Когда-нибудь я буду много думать об этом. Но теперь (некогда...—?).

Розанов и Мережковские прельщают меня своей противоположностью: бытовики и личники.

1909

3 февр<аля>. Читал ст<атью> Шестова⁴ (Русск<ая> м<ысль> I) о Толстом: приложение розановских идей...

10 марта. Религ<иозно>-филос<офское> собрание с Тернавцевым. Он абсолютная мерзость: большие красные губы, школьный смех, этот страшный смех откуда-то, инквизитор или черт, грузный... [1 нрзб.] интонация... вертелся, как крест показали... Ангел с закрытыми глазами... Мережковский и другие — интеллигенты и там (черт) Россия, непонятная логика (александрий<ская> византийская), загадочные корни в православии... ясность в Европе... интел<лигенты>-европейцы... Тернавцев не интеллигент... Отвращение Ивана Александровича⁵ к этому народному... лукавству... Розанов подошел. — Хорошо? — Хорошо! А он всуриез: а то собрались книжники! И сам он: рядом с Татьяной, извилина в подбородке, обывательский глазок, смерд и [1 нрзб.] дряблый, и все это дряблое богоборчество и весь он как гнилая струна, и кривой (сбоку) подбородок с рыженькой бородой и похоть к Татьяне... он живет этой похотью... это его сила.

22 ноября. Розанов требует меня к себе...

28 ноября. Состоялось свидание с Розановым. — Пришвин был тихий мальчик, очень красивый... — А я бунтарь?.. — У меня с одним Пришвиным была история. — Это я самый... — Как?!

Встретились два господина, одному 54 года, другому 36, два писателя, один в славе, сходящий, другой робко начинающий. 20 лет тому назад один сидел на кафедре учителя географии. другой стоял возле доски и не хотел отвечать урока...

— Это была [1 нрзб.]. Я не мог иначе поступить: или вы, или я. Я посоветовался с Кедринским, он сказал: напишите докладную записку. Я написал. Вас убрали в 24 часа. Это был единственный случай...

— А с Бекреневым? — хотелось спросить.

Он рассказывает: как плохо ему жилось учителем гимназии. Теперь вот учат, а тогда... Место покупалось у попечителя... Розанов мечтатель, а тут нужно было что-то делать до того определенное... Казалось, что с ума схожу... И сошел бы... Я защищался эгоистично от жизни... В результате меня не любили ни ученики, ни учителя... Потом служил в контроле. Там подойдет начальник: «Ну, вы что тут делаете?..» Несколько примеров, как он выполнял свои обязанности... — Вы женаты? — Да... — А где же кольцо?.. На лопке? На крестьянке? [2 нрзб.] Вы приведите жену...

Мой фантастический полет... Я говорил часа три подряд. Меня слушали, переспрашивали... Когда я сказал о том, сколько потеряло человечество, меняя кочевой образ жизни на оседлый, Розанов сказал: это Ницше, Ницше... Когда я говорил о насекомых, жена Розанова ужасалась и говорила: а как же... Розанов: это надо понимать... — и хитренькая улыбочка... Нет, — говорит жена Розанова, — Василию Васильевичу нельзя уже ехать: 54 года. Василий Васильевич с ружьем у дикарей!

Он дарит мне свою книгу с трогательной надписью. Завет... Если бы дети были здесь... Какое воспитательное значение это имеет... Меня зовут на обед...

Так закончился мой петербургский роман с Розановым... В результате у меня книга его с надписью: «С большим уважением» «на память о Ельце и Петербурге». А когда-то он же сказал: из него все равно ничего не выйдет! И как и сколько времени болела эта фраза в душе... Умер тот человек... Умер и я со всей остротой болей... Поправляюсь, выздоравливаю, путь виднее, все уравновешеннее... Но почему же жаль этих безумных болей... Выздоровливаешь и тупеешь...

Мне всегда казалось: я не такой, как все, я рожден для чего-то особенного и вместе с тем: роковым образом я не сделаю того, что указано мне судьбой... в этом виноват кто-то искони... учителя? Буржуазия?.. Потом: кто-то искажил природу, совершил грех...

Теперь я думаю: очень возможно, что я что-нибудь сделаю не как все, что я для этого рожден... Но что же из этого?

Жизнь перелилась в какой-то другой план...

1914

19 янв<аря>. Собрание Религ<иозно>-ф<илософского> общества для исключения Розанова⁶. Когда-то Розанов исключил меня из гимназии, а теперь я должен его исключать. Не хватило кворума для обсуждения вопроса, но бойцы рвались в бой: всеобщее негодование по поводу этой затеи Мережковского. Сутолока, бес-толочь, какой-то армянин в решительную минуту добивается слова, чтобы сказать: «В Р<елигиозно>-ф<илософском> обществе аплодисменты не допускаются». Кто-то просит изменить «параграф». Гиппиус же [1 нрзб.] и щурится, изображая кошечку. Карташов взводит очи горе. Мережковский негодует. Вяч. Иванов настроился на скандал. Чулков говорит об антиномии. Стахович⁷ спрашивает, что такое антиномия. Старухи-теософки, курсистки, профессора, литераторы [1 нрзб.] возражает баптист, попы, восточный человек, увесистые хайки и честнейшие ученые жида. Теряю всякую способность наблюдать, думать, разбираться, сберечь услышанное, хаос. Вот и все, что вышло из общественной затеи Мережковского. Лет пять тому назад взял я себе напрокат «Светлого иностранца»⁸ и теперь возвращаю: не то.

Киевская черешня и ветхозаветная смоковница. Всем известно, что Мережковский влюблен в Розанова, и сам Розанов пишет в «Уединенном»: «За что он (Мережковский) меня любит?» А вот теперь Мережковский хочет исключить Розанова из Р<елигиозно>-ф<илософского> общества. Возмущение всеобщее, никто ничего не понимает, как такая дерзкая мысль могла прийти в голову: исключить основателя Р<елигиозно>-ф<илософского> о<бщества>, выгнать Розанова из единственного уголка русской общественной жизни, в котором видно действительно человеческое лицо, ударить, так сказать, прямо по лицу. И мало ли еще чем возмущались: говорили, что это вообще не по-русски как-то — исключать и многое другое. Какая-то девственная целина русской общественности была затронута этим постановлением совета, и люди самых различных партий, толков и между ними настоящие непримиримые враги Розанова — все были возмущены. Словом, произошло полное расстройство общественных основ этого маленького петербургского муравейника, где время от времени собираются чрезвычайно разнообразные люди высших интеллигентных профессий. И замечательно, что все эти [1 неразб.] расстройства общественного во имя самой общественности.

Я очень хорошо понимаю Мережковского и лиц его окружения в совете. Понимаю мучительное состояние верующего или страстно желающего верить и в то же время проповедовать в

обществе воистину мертвых (и мертвые восстанут, но когда!). Мережковский пытался уже испробовать организацию секций, в которых могли бы собираться более активные люди, подбирая молодежь, но эти секции [2 нрзб.] говорили о Боге, а действия все равно никакого не было, почему? оставляю вопрос для будущего. Но вот настал подходящий случай — дело Бейлиса: вот где, казалось бы, можно высказать [2 нрзб.]. Ожидали, что общество [2 нрзб.], будет закрыто, но демонстрации не вышло, до смешного жалкий вечер, где Ветхий завет перепутался с делом Киева, какая-то смесь винегрета из киевской черешни и ветхозаветной смоковницы. А в это самое время Розанов и писал свои наиболее возмущающие общество статьи. Конечно, виноват во всем Розанов, с ним работать нельзя, нужно отделаться. Совет ценою своего собственного существования поставил вопрос об исключении: если Розанова не исключат, Совет уйдет.

— Розанов тогда может быть здесь первый человек! — сказал Мережковский.

А в это время как раз кто-то крикнул:

— Это у вас от лукавого!

[1 нрзб.] да, но не совсем, я вполне понимаю Мережковского, его душевное состояние и сломанные стулья. Возмущаются просто фактом исключения, но это не просто исключение, это должно быть созидание чего-то похожего на секту. Ведь Мережковский этим отсекает любимейшее существо, Розанова, который сам удивлялся: «За что он меня любит!» Розанов для Мережковского не просто облик Розанова, а «всемирно-гениальный писатель», какой-то предтеча Антихриста, земля, пан и мало ли, мало ли что. Он всего этого нечистого он теперь отсекается, а члены Религиозно-философск<ого> общества возмущаются чисто по-обывательски. Мережковский вообще совершенно не способен быть в жизни, он не человек быта, плоти и крови. Я никогда не забуду одного его спора с социал-демократическим рабочим. В ответ на поставленный ему вопрос о необходимости в человеке сознания своего собственного бессмертия рабочий говорил:

— Накормите меня.

Тогда Мережковский, возмущенный грубостью ответа, вдруг неистово закричал

— Пададь, пададь!

Это было, конечно, чисто философская «пададь», то есть то, что падает, умирает, а рабочий принял за настоящую, ругательскую, и пошло, и пошло.

Вот то же происходит и теперь в Рел<игиозно>-фил<ософском> обществе, и все [1 нрзб.] общество поступит по законам

обычной этики «падали» и не поймет и не пойдет за Мережковским. Но не будем сильно обвинять обывателей, потому что ясно, в этом призыве Совета не хватает одного тоже необходимого звена человечества, которое мы назвали бы мудростью.

10 февраля. С Розановым сближает меня страх перед кошмаром идейной пустоты (мозговое крушение) и благодарность природе, спасающей от нее.

Есть такое положение идейного истощения, когда вдруг окажется, что вокруг нет идеи, а деревянная подстройка для дома, и что всю жизнь трудился не для дома, а для подстроек. Вот тогда охватывает чувство страха за все; кажется, я весь не такой, как все, и в прошлом где-то я осужден, шевелится прошлое, как болото черное, вздымается пучина, трясется, и вот сейчас полетят вниз в пучину деревянные подстройки. И падают подстройки ненужные, и падает с ними гордый строитель. Зато открываются двери дома и начинается «жизнь».

Бывает, остается подпертая «жизнью» мечта о прежнем строительстве: женатый поэт. Бывает (чаще) полное погружение в «жизнь» (Пушкина забили, что Пушкин! Гриша). И бывает, когда человек проклинает все гордое, идейное и эту «жизнь» благословляет как святую. Вероятно, это состояние высшей гордости и приводит к Антихристу, как у Розанова. Библия для него просто маска.

Поэзия Библии, поэзия семьи, а не самая Библия, не самая семья. Так оно и есть: семья Розанова — надрыв, семья — коллекция грехов.

Но есть действительно какой-то еще больший грех в интеллигентском [1 нрзб.], то есть умственном, грех самоубийства, и вот если взять самоубийцу и Розанова... (это два полюса, одинаково ужасные для среднего человека), то и начинается великий спор. Вот откуда и надо анализировать Розанова: ничего среднего — или убью себя, или принимаю все.

Розанова ненавидят интеллигенты, как люди здоровые, массовые.

Значит, чтобы понять это состояние «антихристово», нужно понять самоубийцу: как одно переходит в другое. В обществе крушение революции — вехи. Психологически: Розанов с книгой «О понимании» и «Уединенное». Фауст и Маргарита.

«Маргарита Розанова». Каждый раз, когда я вижу в ресторане этого нервного господина с лицом сокрушенного гения, с ушами без мочек и с ним эту женщину-гору, красную немку, и слышу его тайный насмешливо над собой голос «живу с немкой», мне вспоминается Розанов и его Маргарита — библейская женщина с

огромными чреслами. Розанов, сокрушивший себя над книгой о понимании — ...Фауст, библейская женщина его Маргарита... А вот Розанов без мечты, голый Розанов, голая Маргарита.

Розанов — слабость, превзойденная хитростью: всех обманул, себя, жену, детей.

1915

Апрель. Каждый даровитый писатель окружен слоем какой-то, ему только присущей атмосферы — обаятельной лжи. И можно себе представить «честного» человека, который ненавидит эту ложь: таков И. Н. Игнатов⁹, по существу своему враг искусства, но ставший критиком, таких много честных критиков. Горький, Чуковский, Ремизов, Розанов, Сологуб — все это чрезвычайно обаятельные и глубоко «лживые» люди (не в суд или осуждение, а по природе таланта). *Так что правда бездарна, а ложь всегда талантлива.*

Меня занимает сейчас «ложь» Горького. Например, Розанов — тот сознает необходимость этой лжи, стоит на ней, и его называют циником. А Горький не сознает, верит в свою ложь, и его признают за святого. Положим, святые, как и поэты, существа тоже лживые, действуют тоже обманом. Сумма всего этого обмана называется религией и искусством. Сумма той бездарной правды — наукой. Но знание опять-таки талантливо, хотя и не лживо, знание есть вечный памятник войны между талантливой ложью (мистика) и бездарной правдой (рационализм). Много ли нужно дарованья, чтобы стоять на $2 \times 2 = 4$, и сколько дарованья нужно, чтобы представить людям 2×2 как 5. Типы $2 \times 2 = 4$: Голованов¹⁰, Игнатов, «Русские ведомости», Венгеров и проч<ие> (мосты, немецкие военные операции, учебники, «общественность»). Типы $2 \times 2 = 5$: Кукарин, Розанов.

Умрите и будете *знать*.

1919. [Елец]

22 мая. В судьбе моей как человека и как литератора большую роль сыграл учитель елецкой гимназии и гениальный писатель В. В. Розанов. Ныне он скончался в Троице-Серг<иевой> лавре, и творения его, как и вся последующая литература, погребены под камнями революции и будут лежать, пока не пробьет час освобождения.

Я встретился с ним в первом классе елецкой гимназии как с учителем географии¹¹. Этот рыжий человек с красным лицом,

с гнилыми черными зубами сидит на кафедре и, ровно дрожа ногой, колышет подмостки и саму кафедру. Он явно больной видом своим, несправедливый, возбуждает в учениках младших классов отвращение, но от старших классов, от восьмиклассников, где учится, между прочим, будущий крупный писатель и общественный деятель С. Н. Булгаков, доходят слухи о необыкновенной учености и даровитости Розанова, и эти слухи умиряют наше детское отвращение к физическому Розанову.

Мое первое соприкосновение с ним было в 1886 г. Я, как многие гимназисты того времени, пытался убежать от латыни в «Азию». На лодке по р<еке> Сосне я удирал и, конечно, имел судьбу всех убегающих: знаменитый в то время становой — удалой истребитель конокрадов Р. Крупкин ловит меня верст за 30 от Ельца. Насмешкам гимназистов нет конца: поехали в Азию, вернулись в гимназию. Всех этих балбесов, издевающихся над мечтой, помню, сразу унял Розанов: он заявил и учителям и ученикам, что побег этот не простая глупость, напротив, показывает признаки особой высшей жизни в душе мальчика. Я сохранил навсегда благодарность к Розанову за его смелую, по тому времени необыкновенную защиту. Но тот же самый Розанов изгнал меня за мальчишескую дерзость из 4 класса, оставляет в душе моей след, который изгладился только после того, как много лет спустя я нашел себе удовлетворение в путешествиях и занялся литературой. Мы встречаемся с Розановым уже в 1908 г<о>ду> как члены С<анкт>-П<етербургского> религ<иозно>-фил<ософского> общества. Розанов, уже седой и благообразный старик, кается мне в своих грехах с молодежью, сознается, что был тогда в тяжелых личных условиях, и если бы не нашел себе выхода в столицу, то кончил бы плохо в Ельце. Русский Ницше, как называют Розанова, был глубочайший индивидуалист, самовольник, величайший враг того среднеарифметического общественного деятеля. Он позволял себе все средства, чтобы отстоять свою индивидуальность, как в жизни, так и в литературе. Во всей русской и, может быть, мировой литературе нет такого писателя, который мог бы так обнажаться. Исповедь Руссо — ничто. В Рел<игиозно>-фил<ософском> обществе Розанов выступал со своим страшным вопросом к Богу нашей эры — ко Христу. На пути критики христианства он встречается с другим замечательным писателем нашего времени, Д. С. Мережковским, этим светлым иностранцем, проповедующим реформацию и христианское возрождение. Немногие писатели и поэты остаются не затронутыми вопросами, поднятыми в Р<елигиозно>-ф<илософском> обществе, — это Куприн, Бунин, Андреев и некоторые второсте-

пенные. Что же касается Горького, то он, будучи в это время в Италии, все-таки присутствует здесь: о Горьком читают рефераты, о том, как он, тоже индивидуалист, поклоняется «народушке».

13 октября. Сегодня я назначен учителем географии в ту самую гимназию, из которой бежал я мальчиком в Америку и потом был исключен учителем географии (ныне покойным) В. В. Розановым.

1920

26 декабря. Снилось, что я будто у св<ященника> Алексея Петровича Устьянского¹² и мы с ним решаем, что у него на даче это лето будут гостить Лев Толстой и Розанов. С этим поручением приглашения я являюсь к Розанову. Вас<илий> Вас<ильевич> сидит за столом и с необыкновенно гаденьким видом показывает кому-то порнографическую картинку, уснащая глубокомысленным замечанием религиозного содержания. Меня встречает неприязненно, я объясняю ему о даче, но забываю фамилию Устьянского. — Что же это такое? — изумляется он. — Да я, — говорю, — и единицу за это в гимназии получал, что вдруг самое главное и очень мне известное забуду.

И в эту минуту сам себя вижу: лоб очень большой у меня, бугроватый, лоснится и не помнит ничего.

Розанов однажды высказал, не помню только где, в частной ли беседе, переданной потом Гершензону, или же в газете, куда он вливал чуть ли почти что не свои ночные горшки, — что славянофильство есть самое вкусное блюдо в России, и Гершензон, как еврей, сумел этим воспользоваться. Гершензон этого не мог Розанову простить никогда¹³.

1922

14 апреля. У Гершензона. Он рассказывал, что Розанов незадолго до смерти сказал ему: «С великим обманщиком Христом я теперь совершенно покончил». Еще говорил Гершензон, что основное в натуре Розанова было — трусость и что понимать его слова про Обманщика нужно так: «Покончил, а может быть, и все неправда» — и тут же перекрестился. И что вся гениальность Розанова в этом, верно, и заключается, в этом «может быть».

21 декабря. Есть еще, как я считаю, гениальный и остроумнейший писатель, за которого я хочу заступиться: он мог писать и о рукоблудии и подробно описывать свои отношения к женщине, к жене, не пропуская малейшего извива похоти, выходя на улицу вполне голым — он мог!

И вот этот-то писатель, бывший моим учителем в гимназии, В. В. Розанов (больше, чем автор *Капитала*) научил, вдохнул в меня священное благоговение к тайнам человеческого рода.

Человек, отдавший всю свою плоть на посмешище толпе, сам себя публично распявший, прошел через всю свою мучительную жизнь святостью пола, неприкосновенно — такой человек мог о всем говорить.

1924. [Талдом]

12 сентября. Розанов запел свою песнь о евреях в тот момент, когда о своем народе сказал «подлый народ», боюсь, что и я к тому же приду...

В. Розанов. Апокал<ипсис> 26, № 6–7, ст. 85: «...среди “свинства” русских есть, правда, одно дорогое качество — интимность, задушевность. Евреи — тоже. И вот этою чертою они ужасно связываются с русскими. Только русский есть пьяный задушевный человек, а еврей есть трезвый задушевный человек».

Вот гениально, и трогает до слез своей правдивостью!

22 сентября. До чего хорошо написал Ремизов о Розанове во 2-м №-е «Окна» и тоже Гиппиус в 3-м «Окне»¹⁴. Вот старики! у нас тут и не веет даже...

1925

25 окт<ября>. Я работаю, ориентируясь на современного читателя, почти исключительно в интересах своего матер<иаль>-ного существования (впрочем, почти не считаясь с этим), я ориентируюсь на то, что останется от меня на будущее, и сужу свое дело лишь долготой существования. Значит, это все равно как я был бы родоначальник и думал о продолжении своего рода.

Вот не помню, что именно Мейерша¹⁵ — эта торговка, ставшая женой диакона от Мережковщины, — сказала о. Николаю, монаху, о своих надеждах, возлагаемых ею на детей. Но меня тогда поразили слова монаха в том смысле, что дети — только продолжение нашего горького опыта жизни. И возмутило! и я увидел в существовании о. Николая Опоцкого отталкивающий

от себя труп (синева подкожная и темнота, запах монаха — не плохой, но... как от сырой стены). Вот из этой правды чувств возник и у Розанова весь его бунт. И сила Розанова в этой близости к нам всем, кто, проводив одну весну, с радостью ожидает другую и знает, что никогда одна весна не бывает такой, как другая, и что переживание жизни мной и моим сыном, т<о> е<сть> в двух лицах, а не в одном моем, т<о> е<сть>, положим, тот же один аршин, разделенный между мной и сыном пополам, даст в сумме не прежний аршин, а, напр<имер>, 1 ар<шин> 1/4 верш<ка>. В этой 1/4 вершка, ускользающей от учета христианского разума и потому являемой ему, как зло, как черт, вся наша радость земная, тот хвостик животного, постоянным движением которого сопровождается жизнь. Не духовная жизнь, не плотская, а просто жизнь — драгоценнейший поток (старуха 80 л<ет> дорожит жизнью: имела опыт! а юноша не дорожит — кто прав?).

29 окт<ября>. Розанов — гениальный и дал, вероятно, единственные в мире мысли о вопросах пола, но прием, которым он выделил вопросы пола и поставил их в фокус исключительного внимания, конечно же, парадокс. Совершенно так же, как выделил он как священное начало жизни человека — половой акт, можно выделить и пищеварительный процесс с его конечным выделением священного навоза, удобряющего землю для растений и прекраснейших цветов, и так же, как о браке, можно написать и о желудке.

1926

6 мая. Общаясь с декадентами, я всегда испытывал к ним в глубине души враждебное отталкивание, доходившее до отвращения, хотя сам себя считал за это каким-то несовершенным человеком, низшего круга. Но Ремизов понимал меня лучше, чем я сам себя, и, кажется, очень любил. Розанов, по-моему, не был тем хитрецом, о котором пишет Горький, он был «простой» русский человек, всегда искренний и потому всегда разный. И потому он был в нашем кругу, с Ремизовым, а на другой совершенно против<оположной> стороне были Гиппиус, Блок и другие.

14 октября. Вот я думаю, догадываюсь, что и Розанов, защищаясь от мертвого света угасших светил (лунный свет), избрал себе быт Авраама как оружие живой жизни против мертвых образов лунного света.

1927

1 января. Розанов всю жизнь и занимался этим, чтобы втянуть Христа в дело повседневной жизни.

9 февраля. Из больших писателей, мне кажется, Ремизов глубоко любил и признавал только Розанова, он был тайным врагом Мережковского, Гиппиус, Блока. Признавал еще Белого в его «бешенстве». Ремизов не своими писаниями, а своей личностью сделался единственным моим другом в литературе, хранителем во мне земной простоты.

16 марта. Был у дочери Розанова, Татьяны Васильевны ¹⁶. «Хорошо, — говорит, — что вы любите природу, значит, человека не любите, нельзя его любить». Совсем розановская манера, и лицом и натурой совсем Розанов. Она говорила, что Василий Васильевич приходил иногда со службы расстроенный, чем-нибудь его обидели, и он дома плакал, ложился в кровать и плакал, как ребенок. И она тоже мучится службой и тоже, наверно, плачет от нее.

22 марта. Вчера пришла Т. В. Розанова в семь вечера и была до 1 часа ночи. Я таких людей еще не встречал, в ней было мне то, чего я ожидаю себе найти в работе над детским рассказом. Это желанный человек, в свете лучей от которого насквозь все мои люди. Почему-то мне прежде всего пришла на память Дуничка ¹⁷, о которой с детства слышу: «святая». И что же? эта «святая» теперь на подножном корму у большевиков, которых ненавидит. И какой надрыв вся ее жизнь: все эти тридцать лет учебы в деревенской школе ведь совершенно то же, что годы заключения В. Фигнер. Очень похожи. Ужасно, что ведь это лучшее революции!

Что особенно поразительно — это одни и те же переживания от «Лунных людей» Розанова вплоть до пренебрежения газетами: «Я весь Шанхай и весь Китай и Англию — все узнаю не по радио, а по копеечке на булке: копейка прибавилась, копейка убавилась».

Очень некрасива, невзрачна, но так оживленна, так игрива в мысли, что становится лучше красивой. В этом общении, чисто духовном, есть особенная сладость какая-то, и стало сильнее, что может сравниться лишь с самой игрой, мартовской любовью. Вероятно, это сила религиозно-преображенного эроса. Но Ефросинья Павловна ¹⁸ ее не ревновала (как всех) ко мне, и к этому не ревнуют.

Татьяна Васильевна рассказывала, что когда ее позвали в ГПУ для допроса и там помучили ее глупыми вопросами до

того, что когда она зачем-то вышла из комнаты, она легла на диван и уснула. Это ее и спасло: гепеусты образумились и выпустили. И, кажется, это они же способствовали ее устройству на службу в музей. «Вам, — говорили, — там хорошо будет с монахами».

Еще рассказы ее о какой-то «боли», которая началась у нее после чтения «Людей лунного света», кстати, простудилась и думала, что боль от простуды. Пошла к докторам, ей сделали операцию, боль не перестала. Потом она стала мучительно работать над преодолением «Лунных людей», и когда преодолела, боль прошла.

Таким образом, у этой девушки и у меня лучшие силы ушли на преодоление боли, причиненной одним и тем же (впоследствии любимым) человеком, ее отцом и моим учителем. В психофизическом мире ее «православие» вполне соответствует моей «природе»: то и другое для спасения себя самого, но не для учительства (ни Боже мой!). Однако и мне, и, вероятно, ей эта найденная самость представляется не индивидуальным достоянием, а общим, назовем это «Христос и Природа»: очень возможно, что в моей природе есть тайный руководитель Христос, а в ее Христе — природа. Для меня самое главное кажется в том, что оба мы свое мученичество преодолели и стали мучениками веселыми.

25 марта. Тат<ьяна> Вас<ильевна> сказала об отце: он был неверующий, да, в этом все: не верил.

27 утро месяца марта. Кажется, Розанов неправ, принимая, что православие презирает плоть. Напротив, оно старается сделаться хозяином плоти; может быть, и все православие можно рассматривать как методу овладения своей плотью.

К обеду пришла Т<атьяна> В<асильевн>а, и я читал ей «Курымушку»¹⁹. Под конец пришла Григорьева²⁰ и помешала. Т<атьяна> В<асильевна> сказала, что Розанов и должен был меня исключить. Она забыла, что худ<ожественное> произведение, трагедия, в которой все люди должны делать так, как они делают. Но в действительности ведь было вовсе не так: Розанов был виноват.

29 марта. Т<атьяна> В<асильевна> Розанова горячей душой, с огромным интересом в течение 4-х часов чтения слушала повести мои о Курымушке. Но она слушала по человечеству (или сказать: религиозно), повторяя иногда: «Господи, до чего же у нас с вами похоже!» А когда доходило до природы, напр<имер>, это место «Гусек», столь прославленное всеми ценителями моих

писаний, — по-моему, она просто не слушала, наверно, во всяком случае, не все принимала. Это замечательно подтверждает понимание православ<ной> души Розановым. Но, по-моему, он и сам едва ли не подходил к природе — сказать: супранатурально. Впрочем, очень возможно, что ошибаюсь. Во всяком случае, понимание природы, о котором я говорю, есть чувство самого тела, сказать так: телом сливаюсь с природой и это описываю. А то можно описывать или догадку, или отражение в голове.

31 марта. Розанова вернула «Кащееву цепь», и было очень неприлично это: все-таки несомненно это жест, иначе она сама бы занесла книгу, жест очень тонкий вышел. В общем, мира с покойным Вас<илием> Вас<ильевичем> не происходит.

Мне принесли большой портрет Розанова, сделанный с маленькой карточки, которая висела под большим портретом Курмушки. Портрет мне так понравился, что я переменял решение подарить его Т<атьяне> В<асильевне>, поставил его на полочку, а маленький снял с гвоздя для Т<атьяны> В<асильевны>. Через несколько часов в комнате у меня все переменялось: пока Розанов был маленький и висел под большим портретом мальчика, он возбуждал во мне любовь, жалость и чувство большого светлого примирения. Но когда портрет стал большим, я стал испытывать, встречаясь с ним глазами, все более и более неприятное чувство, как будто я опять вернулся в тот гимназический класс, из которого меня выгнали. Сегодня утром я снял портрет большой, повесил маленький, и стало хорошо. А большой портрет сегодня же направлю к Татьяне Васильевне.

1 апреля. Были у Тат<ьяны> Вас<ильевны> Розановой. Рассказывала о конце В<асилия> В<асильевича>. Он оставался, оказывается, до конца при своем, что христианство создало революцию. Письма за 4 дня до смерти.

3 апреля. Т<атьяна> В<асильевна> — портрет Розанова. Ее лицо так просто, что на улице не заметишь. Она истощена и жизнью, и постом своим. И вот при всей своей невзрачности, при невозможности думать о ней как о женщине, она вносит в мою душу атмосферу какого-то тончайшего сладострастия — что это? понять еще не могу. Она так утонченна, так умна душой, что все мои лучшие и интересные люди вспоминаются как примитивные, даже Дуничка и Форш²¹.

В тот раз она сказала: Розанов был неверующий, он верил в себя, в свое открытие. Сегодня, напротив, говорила, что именно он был верующий, потому что ему [1 нрзб.] близок был Христос, и он кончил тем, что два раза причастился (странно, однако,

почему она об этом говорила не горячо, а как бы вопросительно: что это значит?).

Перед самым концом Розанов что-то увидел, и ему это большое надо было скорее сообщить Флоренскому, послал Таню: беги, беги скорей. Но Флоренский почему-то не пошел.

Она еще говорила мне, что я слишком верю в людей, что в людей нельзя верить. Да, это очень верно, что я держусь верой в людей и что в Бога начинают, должно быть, по-настоящему верить, когда теряют последнее зерно веры в человека... Ефрос<инью> Павловну, естественного человека, это возмутило, она смешалась и поколебалась.

Розанов страдал детской верой в людей, он потому и обнажался, что как бы хотел сбросить с себя на народе все и найти себе людской путь.

Но это же и верно! это светлый героический путь. А неверие в человека есть несчастье, есть болезнь роковая... Люди, ну а дети? Вот, вероятно, тут-то, в этом месте, и поймал старец Марью Моревну и опутал ее Кассеевой цепью, непременно ему надо разбить все ее связи, чтобы безраздельно одному пасти ее душу. В этом духовном союзе есть больше сладострастия, чем в плотском: тут оно тоньше, слаще, длительней. А если нет сладострастия, то власть сама по себе дает удовлетворение. (При первом знакомстве: — Вы природу любите, это хорошо, значит, не любите человека.)

Т<атьяна> В<асильевна> сказала: — Нас соединяет не христианство, а чуткость и сложность переживания: сколько вы накрутили себе...

13 апреля. Искусство — продолжение жизни, а жизнь играет богами, как куклами. Почему и явился такой Розанов: ему в жизни во всем было отказано, и когда явился наконец талант, он был ему все: и богатство, и вечная юность — все было ему в таланте. Тогда он проклял черного бога, мешающего жить, и объявил религию человеческих зародышей, религию святого семени.

14 апреля. Меня продолжает волновать Татьяна Васильевна, и все происходит во мне совершенно так же, как бывает у влюбленных. А между тем Татьяна Васильевна столь непривлекательная как женщина, что даже Ефросиния Павловна не ревнует. Она объясняет мой интерес к ней пережитым с В. В. Розановым. Но мне кажется, не совсем это верно. Я думаю, что моя страсть влюбленности была от одиночества, от жажды встретиться с понимающим другом.

Убегая от жизни, которая ей непереносима, она запостила себя до умора. Ее жизнь продолжается только в расчете на смерть. Своим бытием она доказывает «темный лик» христианства, открытый ее отцом.

21 апреля. В Петербурге среди писателей было трое совершенно «русских»: Розанов, Ремизов и Пришвин, к этим же я могу присоединить Т. В. Розанову, но Щеголева, напр<имер>, нельзя — почему? он не меньше «русский», но не то. Вот почему: как все на свете имеет оборотную сторону и лицевую, так и человек имеет лицо и кишки, и лицо считается лицом и кишки кишками, а честь им разная, — у Розанова все пошло на лицо, у Щеголева от лица отнимется сколько-то на кишки. Вот в этом русская жизнь, ее все рыцарство: чтобы отстоять это во всем до конца: в кишки должно идти из земли, но не от лица. У Розанова, сотрудника «Нового времени», писателя с органическим пороком, лицо оставалось до того чистым, что он до старости краснел, если приходилось соврать. Другие делали лица по-европейски (честные кадеты), по-народнически, но это цельное, честное европейское лицо имело глубокую червоточину...

2 мая. Великий богоборец Розанов. Его семья воистину, как в греч<еской> трагедии, несет небесную кару за спор отца с богами (муки Тантала).

Спасение по всему смыслу трагедии должно явиться в последний момент борьбы, человек всю свою жизнь положит и за то, что он положил ее, — спасется. Так, если церковь Христова есть путь спасения, то это не значит, что она освобождает его от борьбы, напротив, она включает его только в трагический круг, поселяет в нем трагическое сознание. Вот почему и Толстой и Розанов, не посещая церковной службы, не причащаясь, — больше христиане, чем другие, это истинные современные подвижники христианства, и в особенности Розанов, который только умирая разрешил себе причаститься.

15 мая. Вчера была Т. В. Розанова. Боюсь, что она со временем станет совершенной ханжой. В среду мы пойдем с ней в четыре д<ня> искать могилу Розанова.

18 мая. Мы ходили на могилу Розанова: мы с Е<фросиньей> П<авловной>, Тарасиха²² и Таня.

План могил

Могила В. В. Розанова на кладбище Черниговского скита в расстоянии 21 метр 85 сант<иметров> по бетонной дорожке от

крайнего приступка паперти церкви Черниговской Богоматери; под прямым углом от этой точки на запад, как раз против третьего окна четвертого корпуса, в трех метрах находится центр могилы Конст. Леонтьева, и по той же линии к третьему окну в расстоянии от половины до одного аршина находятся три могилы семьи Розановых, левая, по всей вероятности, В. В. Розанова.

Чугунный памятник К. Леонтьева опрокинут, центральная часть его с надписью выбита. Очертаний могилы Розанова на земле почти не было заметно.

Корпуса Черниговского скита населены преступниками и проститутками (исправительный дом имени Каляева). Тане Розановой одно время предлагали должность «ухаживать за проститутками». Такая злая ирония: Розанов писал так любовно о «священных проститутках» у дверей храма и вот лежит теперь прямо у храма, в котором не служат, окруженный обыкновенными проститутками, и дочери его предлагают за ними «ухаживать».

Тарасиха положила два красных яйца на могилу Конст. Леонтьева, тогда среди окружавших нас преступников было заметно движение броситься на них.

Тарасиха, конечно, черносотенка, а теперь стоит за совет, за большевиков, ненавидит жидов, кадетов, Керенского. Сама при большевиках отлично живет. Через нее отлично, прямо насквозь понятно, почему черносотенцы были сразу поглощены большевиками и отлично устроились жить в кишках революции. Розанов звал Тарасиху «бабой Ягой». Это понятно: она груба, форсирует мадам сан жен *, а он любил внутренних, извне стыдливых людей. Розанов был сам нежный, тихий человек с таким сильным чувством трагического, что не понимал даже шуток, сатиры и т. п. Розанов мог быть, однако, очень злым. Тарасиха деревенская баба и знает всех писателей, Толстого близко даже.

25 мая. Розанов, конечно, страшный разрушитель, но его разрушение истории, вернее разложение, столь глубоко, что ближайший сосед его на том же пути неминуемо должен уже начать созидание. Ведь борьба с Христом сводится в конце концов к борьбе с историческим уклоном людей, с изменой их вечной трагедии: человек, представленный в образе Христа. Отняв у людей исторического Христа, Розанов предоставляет рост человека естественным силам (полов), которые вырастают тоже трагически

* от франц. *madame sans gène* — бесцеремонная женщина.

(то есть в Христе). Вот почему сосед Розанова неминуемо должен начать созидание.

Вот и Розанов пленяет меня изначальной силой, это титан, который в настоящее время вызвал на бой богов.

28 мая. По словам Т<атьяны> В<асильевны>, у Розанова в натуре вообще отсутствовала «категория игры» (загубленное детство! а ведь у нее тоже игра отсутствует, у нее почему?). Итак, формула: натуральный человек, homo sapiens, — игра = человек (трагическая натура). Христос тоже не играл (загубленное детство: был у Христа-младенца сад) и тоже обращался к детям: будьте как дети. Надо больше думать об этом: очень возможно, что в этом и заключается происхождение трагического.

1928

6 сентября. Общее Мережк<овского>, Розанова, Блока, Разумника, Ремизова и, я думаю, всех, всех: искание пути к «народу» (славянофильство).

7 сентября. «Старец» (о. Ал<ександр> Устьинский) — с ним неразлучно связан трактир Капернаум. Устьинский был учителем Розанова (он вмещает идеи Розанова: ведь Розанов из Устьинского, из разложения православия).

1929

29 марта. Вот где-то тут, в чувстве рода, свершающего свой суд надо мной, надо искать Розанова. Я знаю это в себе: страх и ужас от борьбы крови моей матери с отравленной кровью отца: «Тут ничего не поделаешь». Есть какой-то Христос, для которого необязателен род и быт. Не все ли равно, подлинный он или только извращенный церковью: это реальная сила, которая может последнего в роду, над которым уже занесен меч рока, поставить на высокую ступень самоутверждения в духе и огромного влияния на людей. Но в моем состоянии тогда было так, что «Ина»²³ как женщина недоступна, и я весь тут в своей самости уничтоженный, раздавленный — скажи мне тут о Христе! Я хочу женщину, а не Христа!

Почему Розанов до того страстно боролся с этим Христом, что похож на легендарного богоборца, полубога?..

Уединенное.

Конечно, глупости, что все началось в нем от затруднений в разводе. Все началось от чувства предельной самости: ее, этой родовой земли, в себе только-только, чтобы самому прокормиться, удержаться, не сойти с ума; необходима жестокая экономия, защита, война; все внимание, весь дух бойца, устремленный в обладание, через это накал в себе белый. И вот Голубой соблазняет все бросить. Так происходит знаменитый розановский + и —: родовое с плюсом, противуродовое с минусом, отражение земли, пола. А что глазу видно? Победоносцев бесполой, но почему-то сильный, Мережковский — «говорящие штаны», «Зинка» Гиппиус, женщина-поэт, физически неспособная рожать, бесчисленная бюрократия, паразитирующая на мужиках...

Розанов добрался и до «сладчайшего Иисуса», который является нам в творчестве, и увидел там, что «Сладчайший» (радость творчества) обретается за счет того же пола, что весь «эрос» находится внутри пола и христианская культура — это культура, по существу, эротическая, но направленная против самого рождения человека, она как бы паразитирует на поле, собирает лучи его и защищается духами от пота и вони.

Вот и добрался в Розанове до того, чем и сам живу.

10 октября. Моя «поэзия» происходит вся из врожденного религиозного чувства, которое при дурном уходе за ним со стороны семьи, школы и церкви обрушилось на собственные силы и это, в свою очередь, привело к необходимости «самоутверждения». Розанов и «невеста» были полюсами моей боли земной.

1930

25 октября. Думаю о Ницше. Вот человек, взявший на себя бремя двух тысячелетий: такую задачу взял на себя этот человек, чтобы все, постепенно пережитое человечеством, накопить в себе лично, как одно чувство.

«Немцы» для него значит идеализм или обман.

Психологически я примыкаю к Ницше в двух точках:

1) Помню в юности, как я устанавливал ценность только личного («немцы» — это даром через традицию).

2) «Помоги, Господи, ничего не забыть и ничего не простить»: эта молитва относится к тому, что люди устанавливают свой оптимизм («немецкий идеализм») на забвении отцов, трагедии и т. п.

3) Ненавижу своих прозелитов.

Розанов, вникнув в меня, сказал: «Это от Ницше». Конечно, я не знал Ницше, но я был Ницше до Ницше, как были христиане до Христа. Сам же Розанов есть Ницше до Ницше. (Это значит, бросив все, начать это же лично, все взять на проверку с предположением «да» вместо «нет», как нигилисты.)

Итак, Ницше — это переоценить все на себе, оторвать человека от традиции и вернуть его к первоисточнику.

Мережковский сказал, что Ницше под конец в своем Дионисе узнал Христа.

Следовательно, и Ницше и Розанов отрицают Христа исторического, церковного.

А что же сам Христос?

У Достоевского Великий Инквизитор иронически защищал традицию против «самого» Христа.

Да, все сводится к тому, существует ли творческое начало (бог) вне меня или же это из меня только.

Вот еще: в состоянии Заратустры в сверхчеловеческом и есть именно то, в чем и Ницше и Розанов обвиняют Христа: «да» за счет отрицания рода.

1935

1 января. Бывает, жизнь как бы вскипает, и вот тут в личном сознании является решимость что-то сбросить с себя такое, из-за чего между людьми и бывает весь спор: самую жизнь готов бываешь отдать. Тут вот и рождается герой, и этому героическому действию, преодолевающему всеобщее родовое стремление жить, и посвящено учение Христа. Но бывает иному человеку надобно жить как всякой твари, и жизнь эта его очень далека еще до точки вскипания, а от него со стороны требуют подвига. Он не может... и он будет отстаивать обыкновенную жизнь и против героического подвига будет стоять, как против чумы и всякого рода смертельной опасности. Так история борьбы Розанова с Христом мало чем отличается от маленькой истории рядового солдата с Керенским. «Зачем, — сказал он, — я пойду в наступление, если за это мне впереди будет только могила?» Так что если нет внутреннего согласия на героический подвиг и он ему навязывается, то, конечно, «жизнь» надо отстаивать, и эта жизнь паршивенького человечешки в ее голой животности перевесит из-за своей правдивости пустой раздутый баллон героического подвига и победит.

14 сентября. У Розанова жена поглощает мужа, у Толстого муж убивает жену. Таковы границы мировой катастрофы. А я

хочу направить силу творчества на рождающую женщину (то же, что овладеть машиной и сделать ее «Машкой»), сделать, чтобы рождающая женщина стала Мадонной, чтобы зачатие было «беспорочным», «непорочным», а человек рождался во плоти. А ведь так же оно и есть у Христа (а сделала порочным церковь).

3 октября. Была Т. Розанова, и с ней разговор на эту тему: как охранить себя от «глупцов», и необходимо ли для этого создать личину и что если остаться без личины, то надобно юродство, но юродство церковью допускалось неохотно, и правильно: с ним легко попасть на путь своеволия демонизма (хороший пример сам Розанов).

1937

3 мая. Читаю с великой пользой розановские «Опавшие листья». Розанов в одном месте говорит, что встреча его (возле Введения) с семьей его жены (Бутягиной) открыла ему мир благодарных людей, что он впервые понял порядочность и возможность счастья. Надо это понимать для всех: каждый, входя в семью своей будущей жены, впервые *лично* встречается вообще с семьей (до сих пор, как несовершеннолетний, он не мог понимать и ценить семьи, в которой родился).

Розанов дивится и не понимает после всех неприятностей «любви» Мережковского к себе и отмечает, что, однако, сотрудничать с Розановым (Варвариним) в «Рус<ском> слове» Мережковский отказался²⁴. В этом случае Розанов — русский кустарь и обыватель, а Мережковский — европеец, воспитанный человек в том лучшем образе, каком мы представляем себе иностранца.

6 мая. Под влиянием Розанова («Опавшие листья») думаю о линии между его «смирением» и «самодовольством». Несколько успокоил себя своей работой для детей. Но вполне успокоить нельзя, потому что как бы там ни было, но писатель всегда эгоист и отчасти обманщик, потому что личную жизнь свою маскирует общественным служением. (Разобрать.)

9 мая. Прочитал Розанова «Опавшие листья», хорошая книга, и человека жалко, Розанова.

10 мая. А<нна> Д<митриевна> рассказывала, что у нее был один знакомый горбун, духовно преодолевший свой горб, очаровательный человек (В. В. Розанов в «Опавших листьях» — в этом роде: и какой христианин!). Благодаря горбу видна всякая ме-

лочь в людях, все зло, а творческая сила сверх зла приводит к любви, но чисто языческой, к красоте.

21 мая. Борьба с Христом Розанова имеет подпочву хорошей русской некультурности. По существу, Розанов именно и есть христианин, но только хочет подойти к Христу сам и не дается себя подвести.

22 мая. Розановское азиатское лукавство и европейское рыцарство Мережковского (Герцена): об этом можно думать всю жизнь!

Мало ли было такого рыцарства в эсерах, но все оно растаяло, как леденцы, непонятно, чем сейчас может держаться честный человек, прямой. В такой доблести теперь подозреваешь просто глупость (и свою собственную). Честность, прямота, рыцарство — все это качества *типовые*. Розановское я, как solo, должно все это разложить. И как разлагающий фермент, чистое solo, он остается конечно, тогда как выродилась общественность честного типа. Мережковский должен был подлежать разложению вместе со всей общественностью и государством.

В цинизме своем Розанов мог бы идти беспредельно, так как границей такого цинизма могло быть некое состояние общества, в которое он должен был упереться: «дальше идти некуда». Но государство было мягкое, церковь бессильная, общество шло навстречу революции.

Человек достигал «своим способом» того, в чем ему было отказано природой (В. В. Розанов: некрасивое лицо свое заменил красотой слов и т. д.).

3 июня. Мои поиски «простоты» (заработок, природы и все проч.) есть путь «мусорного человека» (Розанов) к правде Христа.

Чтобы приблизиться к Христу, не обязательно все написанное признать пустяками — нет! Но то хорошее, что написано, надо считать как если бы не я написал, а кто-нибудь другой: не я, так другой бы написал, не все ли равно! Мне это было «дано», как и всякому, у кого есть талант.

4 июня. Сильнейшее впечатление от «Опав<ших> лист<ьев>» Розанова, переживание. Вот, оказывается, вот пример, как неверно наше понимание, что к Христу, к церкви можно прийти путем догадки, что ли, додумался и переменил во Христе свою жизнь. Это юность, нигилизм и толстовщина. Жизнью своей

приходят, к этому подводит жизнь и становится ясно. Личная жизнь прежде всего, как вот бывает, как сейчас, и жизнь общества, государства. Бывало, догадываешься, что вот то-то произошло от церкви, и останавливаешься с этим на середине. А теперь нет никакой середины, все среднее сгнило до основания.

7 июня. Розанов восставал и против Христа, и против церкви, и против смерти, но когда зачуял смертное одиночество жизни, то все признал, и Христа и церковь, выговаривая себе только право до конца жизни — право на шалость пера.

11 июня. Розановские «Опавшие листья» интересны лишь потому, что свой интимнейший спор семья, дети и пр<очее> в свете великих проблем... гениальность в этом же и состоит: здесь только раскрыто сердце, а у других: только то и читаемо, где сердце, чья душа: «я». Чтоб «он» стал как «я». «Я» выведенное: т. е. «я» — единство с «он».

17 июня. Смерть есть смерть не тем, что умрешь, кончишься, а что все в мире представится тебе в ином измерении. Вот, напр<имер>, Розанов сколько наговорил против Христа, против монашества, церкви, а пришла смерть — и все это признал. Чуть-чуть это напоминает ту перемену, которая наступает в отношении к детям: казалось, в отрочестве, что любить своих детей невозможно, а когда проходит отрочество, юность и мужчина становится отцом, — какая прелесть свои ребятишки. Иное измерение! Так и в свете смерти все переменяется, и вот эта перемена именно и разлучает с живыми.

29 июня. Да, это нечто новое, до этого я дожил, и «Опавшие листья» Розанова сыграли в этом свою роль, были последним толчком.

30 июля. Розанов — послесловие русск<ой> лит<ературы>, я — бесплатное приложение. И все...

6 Августа. Все, что пишет Шкловский о Розанове ²⁵, есть демонстрация книжности своего еврейского ума. А сам Розанов вырос из русской культуры свободно и радостно, как цветок.

8 августа. И еще одно удивительное единство во мне — Розанов. Он своей личностью объединяет всю мою жизнь, начиная со школьной скамьи: тогда, в гимназии, был он мне козел, теперь в старости герой, излюбленнейший, самый близкий человек.

Шкловский, книжный ум и еврей, изучил Розанова, разложил его неглупо на составные части и стал ему подражать. Умен,

а в этом глуп, не может понять, что такой органический талант, как Розанов, живет, растет, зреет на человеке, как яблоко на дереве.

В литературе русской всегда было так, что тем выше литературное производство, чем автор меньше думал о себе как литераторе и представлял себе, будто он вообще открывает каким-то своим способом Америку. Таким был Розанов всю свою жизнь, и вдруг оказалось в последних трех книгах, что он литератор, поэт божиею милостью. Так было: вопреки всему Розанов оказался литератором. А Шкловский разбирает и доказывает, как хитро строил Розанов свои вещи, и даже указывает Розанову на то, где пришла ему в голову та или другая мысль, например в ватерклозете, Шкловский называет «пейзажем». Умно до глупости, и для чего-то нужно.

9 августа. Читал о Гете и думал о Розанове, что один на пьедестале, а другой без памятника, и место, где зарыт, забывается: нет никакой отметины на месте могилы, и ежедневно там по этому месту люди ходят.

11 октября. Читаю Пушкина, вспоминаю Горького и завидую полноте жизни таких людей, вернее — широте. Близок мне по жизни В. В. Розанов, это и дочь его говорит Тат<ьяна> Вас<ильевна>.

1939

3 мая. Сверхчеловек и Род Розанова — противоположное разрешение вопроса о личности и обществе, данное в Евангелии Христа. Вопрос о личности поставлен для разрешения на тысячи лет, а *Я* короткое и все *Я*, проходящие как туман, сопровождающий *Необходимость* и *Надо* и есть поправка к *Хочется*.

1940

18 августа. Розанов боролся на два фронта, один фронт — ему была безбожная интеллигенция, другой — суеверие церковное.

25 декабря. Вечером читали Блока более двух часов, и ясно предстало люцифер-хлыстовское происхождение этой поэзии. Вспомнилось: в Р<елигиозно>-ф<илософском> собрании Розанов из толпы людей вытащил за рукав Блока и сказал мне: — Вот наш хлыст, и их много, все хлысты.

1941

9 октября. Помню, кажется, Блок мне сказал: «Между тем как пройдешь через все подполье, то почему-то показывается из этого свет...» И Розанов такой, и целая большая среда особых специфически русских людей сознательно тяготеет к подполью, к этому свету гнилушек.

11 ноября. Вчера я Ляле²⁶ на ночь сказал, что смотрел на Распятие и думал о смерти, а когда смотришь на цветок или на ручей, то чувствуешь радость жизни и думаешь о детях, о будущем, о светлом пути человека в его возможностях. «А я с 12 лет думала о Христе как светлом пути в жизни и в беспредельность», — ответила Ляля.

И вероятно, ее чувство Христа вернее моего рассуждения, навеянного, вероятно, Розановым и подобными. Распятие, вероятно, не есть образ смерти, а образ творческого усилия личности, сжигающего плоть свою для прыжка в бессмертие. Распятие есть образ творчества личности, пренебрегающей в этот момент радостью жизни.

29 декабря. Розанов в своих «Людах лунного света» слишком поторопился снабдить минусом пол девственниц. Он того не понял, что этот минус, который характерен для всякой женской особи, на первых порах убегающей от самца, таит в себе будущий плюс. Так что если это принять во внимание, то и религию Христа надо понимать не концом, а началом, не вырождением, а возрождением.

1942

26 февраля. Розанов увлекся своей биографией, это дало живость его писаниям, обеспечивая уверчивость читателя. Но философия его, привязанная к своему личному опыту, несет на себе все последствия такой искусственной связи: нельзя создать новую Библию на лично семейном опыте. Дело в том, что семейная жизнь есть нечто такое, чего осмыслить нельзя, пока из нее не вышел. Вот я то же самое создал из своей семьи, какую-то легенду о великом Пане, охотнике, а может быть, даже и патриархе родовом. А после оказалось все это маскировкой, прикрывающей свою неудачу, свою бедность. Розановская любовь, розановская семья тоже одна из форм таких маскировок.

Вспомнились отношения А. В. Карташова и Татьяны Н. Гиппиус, напоминающие наши отношения с Лялей. Эти отношения,

со стороны глядя, не казались увлекательным примером. И это надо усвоить для себя: ни в коем случае, никогда свой личный мир не ставить в пример. Так что на очередь: истребить в себе все следы влияния на себя Розанова и личный опыт свой не обнажать.

28 февраля. В некоторых вещах моих рассказ от своего лица вполне понятен: назвать *Смертный пробег*, *Жень-шень* и друг<ие>. А в некоторых (*Родники Берендея*, *Домик в Загорске*, *Очерки с фотографиями*) это «я» становится какой-то не очень приличной выходкой.

Это бывает по причине подмены целого «я» как личности частным своим «я» в его бытовой ограниченности. Эта подмена происходит неспроста, тут можно найти элементы паденья духа, удовлетворяемого ползанием вместо полета. Впрочем, у меня это является результатом дурного литературного воспитания и подражания Розанову. А у самого Розанова... Впрочем, я, совершая подмену, гляжу на Розанова, а Розанов глядел на К. Леонтьева или на Ницше, подменившего Христа Сверхчеловеком. Важно только, что тут или там совершается подмена целого частью, и это является грехом против целомудрия. Иначе сказать, один кто-нибудь в свою целую бочку меда вливает одну ложечку дегтя. А другой в свою бочку дегтя влил ложечку меда.

1 марта... Действительно ли мои провалы в писании происходят от нескромного самообнажения, выражения словом того, что происходит и должно происходить непременно в молчании. И нет! Понимаю так, что в поэзии все возможно и нет дурных материалов. Провал происходит от подмены поэзии, именно *подмены* и больше ни от чего.

У Розанова замечательно, что он с целомудрием, детством, невинностью играет, как кошка с мышкой. Неправду записал я выше — это я, подражая невольно ему, проваливаюсь, а в том-то и есть Розанов, что он не проваливается. Гениальность его существа в том и состоит, что он попал в какой-то люфт, свободно пристроился между Богом и Дьяволом и свободно, как ребенок, играет то с тем, то с другим.

Обращаюсь к вам лично, В<асилий> В<асильевич>, как бы вы сами лично отозвались на мои догадки:

— Ничего, все правильно — доходишь, только лучше приходи в пользу меня. Я ведь действительно очень мало в жизни получил для себя, ну, скажи, что я получил? И оттого, что ничего

особенного не дано мне, Господь Бог разрешил мне поиграть с тем, о чем люди не только говорить, а и думать не смеют. Я ведь русский человек, живу между Европой и Азией и все жду, когда же я к какому-то делу-назначению буду приведен. А пока что на досуге...

— Главное, чего вам не дано, В<асилий> В<асильевич>, это любви к женщине в смысле дон-жуанского святого мгновенья, как любви одной, раскрывающей в человеке личность. Вы свою неудачу перемогли творчеством, изобразив свою семейную жизнь как роман. Вам это можно было сделать, потому что семья была для вас неважен, а как опыт ваш для творчества, если бы иначе, вы бы не написали о ней и эта жизнь вошла бы в состав вашей личности и осталась бы в ней тайной.

17 марта. Читал Розанова, у которого было взято все, на чем он стоял: его семья, Россия, церковь — все, все это ушло в его книжечки. Вдруг стал понятен загадочный смысл еврея Вальбе²⁷, который назвал еврейскую жадность героизмом и что евреи «спасут Россию». Он этим хотел сказать, что лучшие русские живут только в духе и им не хватает костяка, чувства привязанности к земным вещам.

Узнал от Ляли, что Новоселов²⁸ ушел от Толстого, потому что тот был весь в душевной жизни, но не в духовной. Она и о Розанове говорила, что сам по себе он не мог быть духовным и ему необходим был кусочек материи, по которой он, как по лесенке, достигал духовного мира. (Недаром в одной книге он поместил портрет своей семьи всем обезьянником: этот обезьянник и был той лесенкой, по которой он восходил к своим мыслям о семье.) Все это верно, только Толстой как художник пользовался лесенкой и достигал тоже этим способом состояния духовной жизни. И всякий художник...

Ляля еще говорила, что мой путь будто бы противоположен розановскому.

16 августа. Всякое искусство предполагает у художника наивное, чистое, святое бесстыдство рассказывать, показывать людям другим такую интимно-личную жизнь свою, от которой в былое время даже иконы завешивались. Розанов этот секрет искусства хорошо понял, но он был сам недостаточно чист для такого искусства и творчеством своим не снимает, а, напротив, утверждает тот стыд, при котором люди иконы завешивают.

18 сентября. Есть люди как Горький, как Розанов и, вероятно, в какой-то мере и я — это люди озарений, вспышек в момент

соприкосновения всей своей личности с каким-то родственным материалом. В результате вспышки, похожей на короткое замыкание, личность человека отдает себя материалу и эта глина со вдутой в нее душой получает самостоятельное, независимое от ее творца существование и убеждаемость. Происходит в момент такого озарения нечто вроде деторождения: родиться может такое, чего в обычном состоянии родителя вовсе и нет. Смотришь так на Розанова и особенно на Горького и думаешь, как думали о Мессии: может ли выйти что-либо путное из такого Назарета? А глянешь — и вышло! Так, на что уж досадная фигура Горького, а считаешь некоторые вещи и подивишься: откуда взялось?

Есть такие люди... А я мечтаю всегда о человеке, который всегда *при себе* и расходует себя не вспышками, а ровно всегда и всюду, как горит свеча.

1943

7 августа. Хорошие это люди — и Горький, и Ценский³⁰, и Леонид Андреев, наверное, вначале был тоже неплох, но все это какие-то не вполне серьезные и даже чуть-чуть дурашливые люди. Все их высказывания неглупы, грамотны, но в то же время чувствуешь, что самое главное, что-то истинно *свое* они дурашливо обходят. А настоящие писатели, Гоголь, Достоевский, Пушкин, даже Чехов, даже Лесков, именно за это свое (самое главное) цеплялись. Да и современники Горького — Мережковский, Розанов, Блок — были серьезные люди.

23 октября. Розанов, по признанию его современников, был самым лживым писателем («с органическим пороком», — писал о нем Струве). И как не подумать о лжи, если он об одних и тех же вещах в разных газетах писал противоположные мнения. А между тем это был поэт правды.

15 ноября. Открыл себе, что мой стиль речей в обществе и в писаниях с обращением к хорошему человеку-другу, заправленный во мне речами Репина, писаниями Розанова, принят мною от народа и является исконным русским стилем начиная от протопопа Аввакума. Калинин тоже так говорит, обращаясь к хорошему человеку.

1944

14 января. Англичане всегда удивляют своей откровенностью, о чем ни спроси, о самом интимном, и он всегда охотно ответит.

Это, конечно, прием очень культурных людей, особое искусство говорить о себе и тем самым еще лучше себя самого укрывать. Но бывают среди всех народов мудрецы, которые всерьез охотно вывертывают свою жизнь на рассмотрение всех желающих: для них, впрочем, вся эта жизнь для общего глаза несерьезна. Они открывают себя, хорошо зная, что самое сокровенное свое, как ни раскрывай, не раскроешь, и то при тебе останется, а эта жизнь как у всех — пусть ее и знают все, и на это вообще наплевать. Розанов помню таким, Репина отчасти. В прежние времена в простом народе все сплошь друг другу исповедовались из потребности посмотреть на себя со стороны, проверить жизнь свою в общем взгляде.

13 июня. В моей крови есть неприязнь к учительству, я могу быть самым собой только с людьми равными. Но где они, равные? И вот почему, встречая человека нового, я мгновенно нахожу в себе, в нем такого же, как я, частично отбрасывая из себя все лишнее, и великолепно беседую, как с равным. Эту же эластичность чисто русскую и, может быть, и татарскую (их поговорка: если товарищ твой кривой, старайся поджимать глаз ему под пару) я наблюдал у Розанова, Ремизова, Репина и многих других выдающихся русских людей.

22 июня. Розанов восставал на Христа, как декадент, извращенно. Христос есть начало изменений, а бояться движения может или совсем примитивный человек, или потерявший смысл. Ведь в мире так много покоя, так много молчания, что нечего за это беспокоиться, и если бы даже и победило Слово и род человеческий бы прекратился, то ведь это и слава Тебе, Господи (так и Толстой говорил о прекращении рода).

1947

5 февраля. Мысль известная-переизвестная, ношенная и, казалось, изношенная, а вдруг опять вернется и станет поперек пути, как забор. Так в последние дни стала мне против жизни православная мысль о смерти, все то, с чем Розанов выходил против Христа, а Мережковский возражал ему тем, что стрелы его направлены против церкви, но не против Христа. Я сам был под влиянием Розанова и освободился от этой тяги к «язычеству» только с приходом Л<яли>. Она мне собою показала пример возможности во Христе любить жизнь, а не смерть: эта жизнь — как суровая борьба за любовь.

1949

12 декабря. Вчера достал и увидел в первый раз своими глазами книгу Розанова «О понимании».

14 декабря. Начинаю понимать, что «молитва» Розанова направлена к *живому человеку*, и тем самым священному, начиная с жизни его в утробе матери. Этот живой человек (личность) в нем единственная и незаменимая противопоставляется им всякой схеме, всякому отвлечению, и это у него как бы культ человеческого эмбриона. Или мне что-то передалось от Розанова, или я тоже родился другим «священным эмбрионом», но что-то влечет меня к этому святому мыслителю и порочному человеку (порочен тем, что сказал, о чем нельзя говорить, заглянул, куда нельзя заглядывать).

1950

26 марта. У Ксении Некрасовой³¹, у Тани Розановой, у самого Розанова, наверно и у Хлебникова и у многих таких, души не на месте сидят, как у всяких людей, а сорваны с места и парят в красоте; а то бывают души, установленные в добре, — скучные души, а то как у Ляли душа, как осиновый листик сидит на черенке добра и трепещет: эта душа и знает, что сорвется и упадет, как все, но значения этому не придает, сознавая в себе душу бессмертную (оттого и трепещет листик).

28 марта. Читал на ночь письма Блока Розанову³². И в ночь в полусне мне было видно, что Блок, конечно, и безошибочно, пусть вопреки даже всей своей физической природе, шел с большевиками (интеллигенцией, с «белым венчиком из роз»), а Розанов шел с народом. В этих двух лицах, Розанове и Блоке, раскрывается распад интеллекта и народности. В этом распаде и продолжается наша жизнь до сих пор: в каких-то судорожно насильственных попытках большевиков заместить свое интеллигентское (да!) nihil народностью. В этом свете насквозь виден и я сам, как писатель, усердно замещающий свой nihil народностью начиная с книги «В краю непуганых птиц».





А. Н. БЕНУА

Религиозно-философское общество. Кружок Мережковских. В. В. Розанов

Д. Философову целиком принадлежит честь создания в «Мире искусства» отдела, посвященного вопросам философического и религиозно-философского порядка; он же всячески стремился этот отдел расширить, что происходило не без сопротивления со стороны прочих членов редакции, включая сюда и Дягилева. С другой стороны, было бы ошибкой считать, что этот отдел возник исключительно по личному желанию Философова, и еще большей ошибкой, что тут действовало какое-либо угождение известному кругу публики, что этот отдел не отвечал душевным запросам многих из нас, в том числе меня, Бакста и Нувеля. Мы все были в те годы мучительно заинтересованы загадкой бытия и искали разгадку ее в религии и в общении с людьми, посвятившими себя подобным же поискам. Отсюда получилось привлечение в сотрудничество по журналу четы Мережковских, Минского, Перцова, Шестова, Тернавцева и в особенности Розанова; отсюда же и образование «Религиозно-философского общества»¹, которого названные лица (и я в их числе) были членами-основателями и собрания которого стали сразу привлекать к себе не только самых разнородных лиц из «мирян», но и многих духовных. То была пора, когда в православном духовенстве стало намечаться стремление к известному обновлению и к освобождению от гнетущего верноподданничества и от притупляющей формалистики. Именно с целью войти в контакт с духовными пастырями и в надежде, что это сближение поможет нам во многом (и в самом главном) разобраться, были предприняты шаги, среди которых одним из самых важных, казалось нам, было личное знакомство с петербургским митрополитом Антонием².

Испросив через Тернавцева (состоявшего на службе в святейшем Синоде) аудиенцию, мы в один прекрасный вечер и отпра-

вились небольшой группой в Лавру, где наша разношерстная и для тех мест весьма необычайная компания была принята с видимым любопытством. Участвовали в этой поездке супруги Мережковские, Тернавцев, Минский, Розанов, Философов, Бакст и я. Д. С. Мережковский и Минский изложили его высокопреосвященству наши вожеления и надежды, и главную среди них надежду на то, что духовные пастыри не откажутся принять участие в наших беседах. Запомнилось, как, между прочим, до поездки обсуждался вопрос, подходить или не подходить под благословение — и как это производить, лобзать или не лобзать руку иерея, а после аудиенции более всего разговору было о поразившем нас белом клобуке с бриллиантовым крестом и о красоте и величественно ласковой осанке митрополита Антония. В общем, все сошло как нельзя лучше. Митрополит обещал свою поддержку, и возвращались мы из Лавры в том приподнятом настроении, в котором полагается быть после одержанной победы или после выдержанного экзамена. Отмечу еще, что в нашей группе двое были евреи (Минский и Бакст), один «определенно жидовствующий» — В. В. Розанов, один католик — я. Впрочем, ни я, ни Бакст в течение всей беседы не открывали рта или, вернее, открывали его только для того, чтобы отпить превосходного чаю из тяжелых граненых стаканов и закусывать разными сдобными кренделями, сайками и плюшками. Зато, пока другие были заняты разговором, мы с особым любопытством разглядывали все вокруг нас. Митрополит был один, без каких-либо сопровождающих.

Происходило это наше «сретение» зимой, при свете довольно тусклых, по углам горевших ламп. Его высокопреосвященство принимало нас в просторной гостиной митрополичьих покоев, куда нас провел молодой монах по довольно внушительной парадной лестнице, через большой зал в два света, сохранивший декорозу XVIII в., и через ряд ужасно неудобных и типично «казенных» хорм. Митрополит занял место в углу тяжелого дивана красного дерева. Мы расположились по массивным, неповоротливым креслам, обступавшим овальный стол, накрытый цветной скатертью. По натертым до зеркального блеска полам лежали узкие половички-дорожки, большие окна были заставлены тропическими растениями, что усиливало впечатление старинности и провинциальности. Не помню, были ли по стенам картины, но возможно, что где-то висел портрет государя, а также развешаны изображения предшественников митрополита Антония.

Первые собрания нового общества, возникшего при благосклонном «попустительстве» властей (после полученного в установ-

ленном порядке утверждения) происходили в помещении имп. Географического общества, находившегося тогда в доме министерства народного просвещения на Театральной улице — напротив Театрального училища. Под наши собеседования была отведена довольно большая и узкая комната, во всю длину занятая столом, покрытым зеленым сукном. По стенам висели картины, а в углу на мольберте чернела большая квадратная доска — вроде тех, что ставятся в школьных классах. Комната за этим «залом заседаний» служила буфетом, где можно было получить во время перерыва чай и бутерброды, а в двух или трех комнатах, предшествующих залу заседаний, происходил обмен мнений в менее официальном тоне. Впрочем, и самые доклады не всегда носили строго-формальный характер. Неизменно «смирненную строгость при любовном внимании» выражали два епископа, ставшие членами «Религиозно-философского общества»; зато среди других участников и особенно среди случайных гостей попадались и весьма придиричвые, иногда и вовсе бестактные «забияки». Тут можно вспомнить еще раз о выступлении Висеньки³, мишенью коего были обыкновенные попы.

Сначала (пожалуй, весь первый год) эти собрания на Театральной улице, возбуждавшие сразу общественный интерес, были очень «содержательны», и за этот период они получили для многих участников большое значение. Однако с течением времени они стали приобретать тот характер суесловных разговорен, на который обречены всякие человеческие общения, хотя бы основанные с самыми благими намерениями. Мне лично становилось все более и более ясным, что тут, как и во всем на свете, дело складывается не без участия Князя Мира сего — иначе говоря, не без вмешательства какой-то силы мрака, всегда норовящей ввести души людские в соблазн и отвлечь их от всего подлинно-возвышающего. Каково же было мое изумление, когда я удостоверился в *«реальном» присутствии* бесовского начала!

Дело в том, что из-за помянутой черной классной доски в углу зала выглядывали два острых торчка, похожих на рога. Меня это заинтересовало, но доска находилась на другом конце зала и почему-то я не сразу отправился взглянуть, что это такое. Все же я, наконец, через несколько недель пробрался и заглянул за доску, и тут меня обуял настоящий ужас! Передо мной стояло гигантского роста чудовище, похожее на тех чертей, которые меня преследовали в моих детских кошмарах и какие были изображены на лубочных картинках, представлявших «Страшный Суд». У этой гадины были настоящие волосы на голове и на бороде, а все тело было покрыто густой черной шерстью. Из ос-

каленной пасти кровавого цвета торчали длинные загнутые клыки, пальцы рук и ног были вооружены колючими когтями, а на голове торчали длинные рога. Страшнее же всего были выпученные глазищи идола, с их свирепым, безжалостным выражением. Это был идол, вероятно, когда-то привезенный из глубокой Монголии или Тибета какой-либо научной экспедицией Географического общества. Может показаться странным, что я придавал такое значение своему «открытию», но в тот момент я действительно испугался, исполнился ужаса, не лишнего мистического оттенка. Чудовищное безобразие этого дьявола было передано прямо-таки с гениальной силой, а нахождение идола в данном помещении в качестве какого-то притаившегося наблюдателя — показалось мне до жути *уместным*. Оно наглядно символизировало то самое, что мне начинало мерещиться, выслушивая длинные, безнадежно топчущиеся на месте прения и присутствуя при схватках, в которых было все меньше и меньше искания истины и все больше и больше самого суетного софистского тщеславия. Удивительно, что на моих друзей этот дьявол не произвел того же впечатления, и только Д. С. Мережковский, тоже начинавший тогда переживать известное разочарование в том, что, согласно его замыслам, должно было открыть путь к перерождению русской религиозной жизни, — только он, когда я его свел за доску, на минуты выразил крайнее изумление, а затем, привычным жестом пригладив бороду, криво улыбнулся и чуть ли не радостно воскликнул: «Ну, разумеется! Это — *он!* Надо было ожидать, нечего и удивляться...»

* * *

Постепенно увлечение нашей основной группой религиозно-философскими собраниями стало ослабевать и интерес к тому, что говорилось (именно говорилось) в собраниях, — падать. Но интерес к самим обсуждавшимся вопросам едва ли не становился при этом еще более жгучим. Было сделано и несколько попыток каким-то «более домашним», более интимным образом войти в религиозное общение как между нами самими, так и с церковными людьми. Из последних на меня особенно сильное впечатление произвел архимандрит Антонин⁴ из Александро-Невской Лавры, которого как-то вечером привел к Мережковским Тернавцев. Впечатление это было как внешнего, так и внутреннего порядка. Поражал громадный рост, поражало прямо-таки демоническое лицо, пронизывающие глаза и черная, как смоль, не очень густая борода. Но не менее меня поразило и то, что стал

изрекать этот иерей с непонятной откровенностью и прямо-таки цинизмом.

Память не сохранила подробностей, но главной темой его беседы было общение полов и греховность этого общения, и вот Антонин не только не вдался в какое-либо превозношение аскетизма, а напротив, вовсе не отрицал неизбежности такого общения и всяких форм его. Это вовсе не преподносилось с оттенком какого-либо тривиального юмора, строгий тон и оттенок чего-то даже научного не покидали этого нашего неожиданного осведомителя. Естественно, вся личность Антонина в высшей степени заинтересовала тогда наш кружок, однако мне кажется, что его посещение так и осталось единственным.

Из попыток найти собственные, не зависимые от церкви, пути к духовному обновлению мне особенно запомнилась одна. Это происходило опять-таки у Мережковских. Дмитрий Сергеевич предложил вместе читать Евангелие и, получив общее согласие, тут же, не откладывая, стал нам читать случайно открывшееся место. Однако, хоть читал он с проникновенным чувством и даже не без умиления, хоть читаемое производило впечатление неоспоримой подлинности, за которой мы и обратились к Священной книге, подходящего настроения не получилось, и потому показалось совершенно уместным и своевременным, когда «Зиночка» самым обывательским тоном, нарочно подчеркивая эту обывательщину, воскликнула: «Лучше пойдемте пить чай». Замечательно, что и Дмитрий Сергеевич сразу согласился и выбыл из настроения («навинченного»? надуманного?); лишь Философов остался и после того в убеждении, что следовало продолжать, что на этом пути мы бы наконец все же обрели нечто истинное. Философов был вообще тогда убежден, что и под историческим христианством лежит *насильственное* воздействие над собой, известное самовнушение группы лиц, что все дело в создании известной *традиционности*, хотя бы «источник традиции» и не обладал полнотой подлинности и убедительности. Вокруг как раз этого его убеждения у нас велись самые горячие споры.

Припомню и еще один аналогичный случай. То было тоже нечто вроде «форсирования благодати», но и эта попытка имела уже определенно кощунственный уклон и грозила привести к какому-либо «безобразию», если не к постыдному юродству и кликушеству. Собрались мы у милейшего Петра Петровича Перцова, в его отдельной комнате⁵. Снова в тот вечер Философов стал настаивать на необходимости произведения «реальных опытов» и остановился на символическом значении того момента, когда Спаситель, приступая к последней Вечери, пожелал омыть

ноги своим ученикам. Супруги Мережковские стали ему вторить, превознося этот «подвиг унижения и услужения» Христа, и тут же предложили преступить к подобному же омовению. Очень знаменательным показался мне тогда тот энтузиазм, с которым за это предложение уцепился Розанов. Глаза его заискрились, и он поспешно «залопотал»: «Да, непременно, непременно это *надо* сделать и надо сделать сейчас же». Я не мог при этом не заподозрить Василия Васильевича в порочном любопытстве. Ведь то, что среди нас была женщина, и в те времена все еще очень привлекательная, «очень соблазнительная Ева», должно было толкать Розанова на подобное рвение. Именно ее босые ноги, ее «белые ножки» ему захотелось увидеть, а может быть и омыть. А что из этого получилось бы далее, никто не мог предвидеть. Призрак какого-то «свального греха», во всяком случае, промелькнул над нами, но спас положение более трезвый элемент — я да Перцов (может быть, и Нувель, если только он тогда был среди нас). Розанов и после того долго не мог успокоиться и все корил нас за наш скептицизм, за то, что мы своими сомнениями отогнали тогда какое-то наитие свыше.

В заключение приведу еще один случай, аналогичный с моим «открытием Дьявола» в помещении Географического общества. Этот случай характерен для наших тогдашних настроений, но, может быть, и кроме того здесь можно увидеть не простую игру случая, а нечто, над чем следовало бы призадуматься. Сидели мы в тот вечер в просторном, но довольно пустынном кабинете Дмитрия Сергеевича, я и Розанов на оттоманке, Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна поодаль от нас, на креслах, а Александр Блок (тогда еще студент, как раз незадолго до того появившийся на нашем горизонте) — на полу, у самого топящегося камина. Беседа и на сей раз шла на религиозные темы, и дошли мы здесь до *самой важной* — и именно до веры и до «движущей горами» силы ее. Очень вдохновенно говорил сам Дмитрий Сергеевич, тогда как Василий Васильевич только кивал головой и поддакивал. Вообще же настроение у всех было «благое», спокойное и ни в малейшей степени не истерическое. И вот, когда Мережковский вознесся до высшей патетичности и, вскочив, стал уверять, что и сейчас возможны величайшие чудеса, стоило бы, например, повелеть с настоящей верой среди темной ночи: «Да будет свет», то свет и явился бы. Однако, *в самый этот миг*, и не успел Дмитрий Сергеевич договорить фразу, как во всей квартире... погасло электричество и наступил мрак. Все были до такой степени поражены таким совпадением и, говоря по правде, до того напуганы, что минуты две прошли в полном оцепенении,

едва только нарушаемом тихими восклицаниями Розанова: «С нами крестная сила, с нами крестная сила!», причем при отблеске очага я видел, как Василий Васильевич быстро-быстро крестится. Когда же свет снова сам собой зажегся, то Дмитрий Сергеевич произнес только: «Это знамение», Розанов заторопился уходить, а Зинаида Николаевна, верная себе, попробовала все повернуть в шутку и даже высмеяла нас за испуг.

* * *

Скажу еще несколько слов о В. В. Розанове, который в те годы занимал в нашем кружке обособленное и очень значительное место. Он притягивал к себе многообразием и глубиной своих прозрений, а также своим непрерывным любопытством, обращенным на всевозможные предметы. Только к чистому искусству, к истории искусства и, в частности, к живописи (и, пожалуй, еще — к музыке), он обнаруживал равнодушие и до странности малую осведомленность. Превосходным памятником этого нашего общего увлечения Розановым (он был на много лет старше старшего среди нас) остается портрет, рисованный пастелью Бакстом (ныне находящийся в Третьяковской галерее в Москве). Увлечение же это имело в данном случае еще то специальное основание, что Левушка, будучи убежденным евреем, особенно ценил в Розанове его *культ* еврейства. Бакст был человеком далеко не безгрешным, а в некоторых смыслах даже порочным, но он все же носил в себе реальное «ощущение Бога». Что же касается до еврейства, то отношение Бакста к своему народу было таковым, что его вполне можно было назвать «еврейским патриотом». Забегая вперед, укажу, что только человек с такими душевными переживаниями, совершив ужасный в собственных глазах поступок отречения от веры своих отцов, мог до такой степени трагично переживать свое отступничество и даже впасть в состояние, близкое к помешательству...

Всего милее Василий Васильевич бывал у себя дома. Он был большим домоседом и вечера любил проводить у себя перед чайным столом, который накрывался у них в гостиной, ничем изящным не отличавшейся, да и вся его квартира была самая обыденная и меблированная только самым необходимым. К этому почти ежевечернему чаю собирались постоянные и случайные «разовые» гости, и все усаживались рядышком по обеим сторонам хозяина, занимавшего среднее место в конце стола, напротив самовара. К чаю подавались какие-то незатейливые печения: калачи, сухари и т. п. Разливала чай жена Василия Васильевича

ча, разносила же стаканы его падчерица — девица рослая, хорошо сложенная, но, несмотря на правильные черты лица, нисколько не привлекательная. Мы ее про себя прозвали «барашком», и действительно, нечто овечье, что было в ее выражении, подчеркивалось курчавыми светлыми волосами, частью заплетенными в косу, положенную кольцом вокруг головы. Обоих этих женщин Розанов ценил безмерно, и это свое отношение к ним постоянно выражал вслух, гордясь ими и цитируя их слова и мнения, хотя бы и самые обыденные. Злые языки утверждали, что он равнодушен к падчерице, но, во всяком случае, он был «по уши влюблен» в жену — женщину немолодую, некрасивую и вообще на посторонний взгляд лишенную всего того, что в наше время получило кличку *sex appeal* *. Для него же она представляла какую-то квинтэссенцию женственности и женской прелести. Мало того, движимый своим супружеским энтузиазмом, Розанов не боялся разных нескромных определений и описаний, основанных на его супружеском опыте и служивших подтверждением его эротических теорий, причем сплетал свою изощренно тонкую наблюдательность с почти ребяческой наивностью. Редкие собеседования с ним обходились без сообщений каких-либо подобных новых «открытий и наблюдений» психологического и физиологического порядка, причем, однако, это делалось без тени легкомысленной или пошловатой скабрёзности — вроде той, что царит в нецеломудренных анекдотах или в остротах, имеющих ход в мужской компании. Манера его касаться этих довольно-таки скользких тем исключала всякую их «неприличность» и в то же время оставалась вдали от какого-либо «научного подхода», чисто материалистического, «базаровского» оттенка. Розанов приходил в сильнейшее волнение, если встречал отклик в собеседнике, и, напротив, принимался остро ненавидеть и презирать тех, кто оказывался не одаренным желательной ему чуткостью, особенно что касается такой Афродитиной области.

Изредка Розанов бывал у Мережковских, живших недалеко от него, но мне стоило труда заманить его к себе, что удавалось не чаще двух-трех раз в год. Его пугало расстояние — мы действительно жили на другом конце города. Приезжал он и к нам, и к другим один или реже с женою, всегда только по приглашению. Приезжал в сравнительно поздний час, когда уже наши дети были уложены и спали своим первым сном. Тем не менее, он каждый раз изъявлял желание их видеть, а, попадая в дет-

* Сексуальная привлекательность (англ).

ские, — он обходил, при свете ночника, все три кровати*, совершая над каждой по несколько крестных знамений. Это тем более было удивительно, что вообще он к Христу и к христианству питал какое-то «недоверие», почти что неприязнь. Все подлинное, все важное для жизни, все ответы на запросы духа, крови и плоти он находил в Библии, в Ветхом Завете, а когда ему указывали на «моральные преимущества» христианства или на реальную благодать, дарованную Отцом в Небесах через жертву, принесенную Его Сыном, Василий Васильевич сердился и со страстным убеждением цитировал из Ветхого Завета то, что считал за «эквивалент» христианских принципов. Я, однако, не вполне уверен в том, что Розанов так уж досконально изучил Библию, и в нескольких случаях эти его ссылки или его превозношения были импровизациями, исполненными, впрочем, всегда яркостью и заразной вдохновенностью. Чего в нем, во всяком случае, не было ни в малейшей степени, это какой-либо схоластичности или расположения к жонглированию парадоксами. Для него Ветхий Завет (и даже самые ритуальные или законодательные его части) представляли собой неиссякаемые источники животворящей силы. Моментами в этом проглядывало даже нечто суеверное. А пожалуй, дело обстояло и так: в душе его жила какая-то *своя* Библия, свой Завет, и из этой своей *личной* сокровищницы он и черпал свои наиболее убедительные доводы, свои чудесные прогнозы, а также свои, иногда довольно лукавые и язвительные, возражения. Спорить с ним было так же трудно, как трудно было спорить ученикам Сократа со своим учителем. Я, впрочем, лично с ним не спорил и всегда предпочитал «его слушать»; напротив, охотно вступали с ним в спор Зиновий Гиппиус, П. П. Перцов, Тернавцев. Отмечу еще, что Розанов, привлеченный в сотрудники «Мира искусства» Философовым, пользовался ограниченным расположением последнего, а между ним и Дягилевым даже существовала определенная неприязнь. Ведь Сергей вообще ненавидел всякое «мудрение», он питал «органическое отвращение» к философии; в религиозно-философские собрания он никогда не заглядывал**. Со своей стороны, и у Розанова было какое-то «настороженное» отношение к Дягилеву. Дягилев должен был действовать ему на нервы всем своим великолепием, элегантностью, «победительским видом монден-

* Весной 1901 г. у нас родился сын.

** Напротив, постоянной посетительницей их была его мачеха — добрейшая и умнейшая Елена Валериановна, урожденная Панаева. Свою родную мать он не знал, и Елена Валериановна вполне ее ему заменяла. Зато и он ее любил, как родную.

ного * льва». Области светскости Розанов был абсолютно чужд, и, в свою очередь, Дягилев если и допускал в свое окружение лиц, ничего общего с «мондом» не имеющих, а то и самых подлинных плебеев, то все же с чисто аристократической брезгливостью он относился к тем, на которых быт наложил несмываемую печать «мещанства». А надо сознаться, что именно эту печать Василий Васильевич на себе носил — что в моих глазах, разумеется, не обладало ни малейшим оттенком какой-либо срамоты.

Я только что упомянул о равнодушии Розанова к пластическим художествам и об его невежестве в этой области. Имена первейших художников: Рафаэля, Микеланджело, Леонардо, Рембрандта и т. д. были ему, разумеется, знакомы, и он имел некоторое представление об их творчестве. Но он до странности никогда не выражал живого интереса к искусству вообще и в частности к искусству позднейших эпох, разделяя, впрочем, эту черту почти со всеми литераторами, с которыми меня сводила жизнь **. Он был способен в одинаковой степени заинтересоваться какой-либо пошленькой сценкой в «Ниве», как и какой-либо первокласной картиной, лишь бы в том и другом случае он находил что-либо соответствующее какой-либо занимавшей его в тот момент идее.

При всем том Розанову не была чужда психология коллекционера, но область его собирательства была совершенно обособленная. Он коллекционировал античные монеты и находил беспредельное наслаждение в их разглядывании, видя в профилях всяких царей и императоров и в символических фигурах, украшающих обратную сторону, все новые и новые свидетельства о когда-то господствовавших идеях и устремлениях. Перебирая эти серебряные кружочки, хранившиеся у него в образцовом порядке, давая на них играть отблеску лампы, он получал и чисто эстетические радости, причем ему случалось говорить прелестные слова, как про технику, так и про красоту лепки⁷. Но это была, повторяю, единственная область искусства, доступная Розанову. Даже в особенно милом его сердцу Египте он оставался скорее безразличным в отношении могучей архитектуры древних египтян и до красоты всей их формальной системы, выражавшейся в барельефах и в стенописи. Напротив, любопытство

* от франц. *mondain* — светский.

** И у Мережковского подход к одному из его главных героев его исторической трилогии — Леонардо⁸ — был чисто литературно-философский, и нас, художников, всегда как-то коробило то, что он видел, что «высмотрел» в творчестве Винчи.

Розанова было в высшей степени возбуждено всем, что он вычитывал таинственного в барельефах и в иероглифах, свидетельствующих о верованиях египтян, обнаруживая при этом свой дар проникновения в самые сокровенные их тайны.

Тот род дружбы, который завязался между мной и Василием Васильевичем около 1900 г., не продолжался долго и не возобновился после того, что я с 1905 по 1907 г. два с чем-то года провел вне Петербурга. Но все же я сохранил о нем память, не лишенную нежности и глубокого почитания, да и он как будто не забыл меня, хотя с момента войны мы более никогда не встречались. Свидетельство об этом я нашел (к своей большой радости) в одной из его удивительных статей, которые каким-то чудом стали появляться в виде небольших тетрадей в начале 1920-х годов⁹. Кто в те гнуснейшие времена был еще способен заниматься не одними материальными и пищевыми вопросами и не был окончательно деморализован ужасами революционного опыта — ждали с нетерпением очередного выпуска этой хроники дней и размышлений. Живя в тяжелых условиях в посаде Троице-Сергиевской Лавры, Розанов находил в себе силы интересоваться самыми разнообразными вопросами и с удивительным просветлением обсуждать их, что, хоть и делалось в тайне, однако было и представляло значительную опасность. Правда, в этих эскизах не было ничего такого, что в глазах советского фанатизма могло сойти за «крамольную пропаганду», однако, самый факт столь независимого философствования, вне всякой предписанной русским людям доктрины, а также факт полного индифферентизма к достижениям реформаторов, не могли вызывать в верхах иного отношения, нежели самого обостренного подозрения. К тому же Розанов должен был быть у большевиков вообще на плохом счету уже в качестве постоянного сотрудника «Нового времени».





З. Н. ГИППИУС

Задумчивый странник О Розанове

«Странник, только странник, везде только странник...»

«Иду. Иду. Иду... Даже “несет”, а не иду. Что-то “стихийное, а не человеческое”».

«Во мне есть чудовищное: это моя задумчивость».

В. Розанов, «Уединенное»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Василий Васильевич Розанов

Что еще писать о Розанове?

Он сам о себе написал.

И так написал, как никто до него не мог, и после него не сможет, потому что...

Очень много «потому что». Но вот главное: потому что он был до такой степени не в ряду других людей, до такой степени стоял не между ними, а около них, что его скорее можно назвать «явлением», нежели «человеком». И уж никак не «писателем», — что он за писатель! Писанье, или, по его слову, «выговариванье», было у него просто функцией. Организм дышит, и делает это дело необыкновенно хорошо, точно и постоянно. Так Розанов писал, — «выговаривал» — все, что ощущал, и все, что в себе видел, а глядел он в себя постоянно, пристально.

Писанье у писателя — сложный процесс. Самое удачное писанье все-таки *приблизительно*. То есть между ощущением (или

мыслью) самими по себе и потом этим же ощущением, переданным в слове, — всегда есть расстояние. У Розанова нет: хорошо, плохо — но то самое, оно, само движение души.

«Всякое движение души у меня сопровождается *выговариванием*», отмечает Розанов и прибавляет просто: «Это — инстинкт». Хотя и знает, что он не как все, но не всегда понимает, в чем дело. И, сравнивая себя с другими, то ужасается, то хочет сделать вид, что ему «наплевать». И отлично, мол, и пусть, и ничего скрывать не желаю. «Нравственность? Даже не знал никогда, через “к” или через “е” это слово пишется».

Отсюда упреки в цинизме. Справедливые — и глубоко несправедливые, ибо прилагать к Розанову общечеловеческие мерки и обычные требования по меньшей степени неразумно. Он есть редкая ценность, но, чтобы увидеть это, надо переменить точку зрения. Иначе ценность явления пропадает, и Розанов делается прав, говоря: «Я не нужен, ни в чем я так не уверен, как в том, что я не нужен». Он, кроме своего «я», пребывал еще где-то *около* себя, на ему самому неведомых глубинах.

«Иногда чувствую чудовищное в себе. И это чудовищное — моя задумчивость. Тогда в круг ее очерченности ничто не входит.

Я каменный.

А камень — чудовище...

...В задумчивости я ничего не мог делать.

И с другой стороны все мог делать (“Трех”).

Потом грустил: но было уже поздно. Она съела меня и все вокруг меня».

Но, конечно, соприсутствовало в Розанове и «человеческое». Он говорит и о нем с волшебным даром точности воплощения в слова. Он — явление, да, но все же человеческое явление.

Объяснять это далее — бесцельно. Розанова можно таким почувствовать, вслушиваясь в его «выговариванье», всматриваясь в его «рукописную душу». Но можно не почувствовать. И уже тогда никакие объяснения не помогут: Розанов действительно делается «не нужен».

Я буду, помня об этой, ясной для меня, розановской исключительности, говорить, однако, о нем — человеке, о том, каким он был, как он жил, об условиях, в которых мы встречались. Иногда буду прибегать к самому Розанову, к его записям о себе, — ведь равных по точности слов не найдешь.

Больше я ничего не могу сделать.

Жаль, нет у меня здесь ни писем его, ни ранних, ни предсмертных. И даже из книг его (воистину «рукописных», как он

любил их называть) всего лишь две: «Уединенное» и I том «Опавших листьев».

2

Весной

Зеленовато-темным апрельским вечером мы возвращаемся в первый раз от Розанова, по дощатым тротуарам глухой Петербургской стороны. Розанов жил тогда (в 1897 или 98? ¹) на Павловской улице, в крошечном домике.

Только что прошел дождь, разорванные черные облака еще плыли над головой, доски и земля были влажны, и остро пахли весной едва распустившиеся тополевые листья, молодые (так остро пахнут они только в России, только на севере).

— Да... Вот весна... Весна! — сказал Философов (он тоже был с нами у Розанова, и еще кто-то был).

Мы все думали молча о весне и потому не удивились.

— Весна. «Клейкие листочки»... А что же вы скажете о Розанове?

И заговорили о Розанове.

Решительно не помню, кто нас с ним познакомил ². Может быть, молодой философ Шперк (скоро умерший). Но слышали мы о нем давно. Любопытный человек, писатель, занимается вопросом брака. Интересуется, в связи с этим вопросом (о браке и деторождении), еврейством. Бывший учитель в провинции (как Сологуб).

У себя, вечером, на Павловской улице, он показался нам действительно любопытным. Невзрачный, но роста среднего, широковатый, в очках, худощавый, суетливый, не то застенчивый, не то смелый. Говорил быстро, скользяще, не громко, с особенной манерой, которая всему, чего бы он ни касался, придавала *интимность*. Делала каким-то... шепотным. С «вопросами» он фамильярничал, рассказывал о них «своими словами» (уж подлинно «своими», самыми близкими, точными, и потому не особенно привычными. Так же, как писал).

В узенькой гостиной нам подавала чай его жена, бледная, молодая, незаметная. У нее был тогда грудной ребенок (второй, кажется). Девочка лет 8–9, падчерица Розанова ³, с подтянутыми гребенкой бесцветными волосами, косилась и дичилась в уголку.

Была в доме бедность. Такая невидная, чистенькая бедность, нехватка, стеснение. Розанов тогда служил в контроле. И сразу понималось, что это нелепость.

Ведь вот, и наружность, пожалуй, чиновничья, «мизерабельная» (сколько он об этой мизерабельной своей наружности говорил, писал, горевал), — а какой это, к черту, контрольный чиновник? Просто никуда.

Не знаю, каким он был учителем (что-то рассказывал), — но, думается, тоже никуда.

3

Всегда наедине

Кажется, с 1900 г., если не раньше, Розанов сближается с литературно-эстетической средой в Петербурге. Примкнул к этой струе? Отнюдь нет. Он внутренне «несклоняемый». Но ласков, мил, интересен — и понемногу становится желанным гостем везде, особенно у так называемых «эстетов». Дружит с кружком «Мира искусства», быстро тогда расцветшего.

И к нам заходит Розанов постоянно. Между прочим, нас соединял и молодой соловьевец Перцов, большой поклонник Розанова. Перцов — фигура довольно любопытная. Провинциал, человек упрямый, замкнутый, сдержанный (особенно замкнутый потому, может быть, что глухой), он был чуток ко всякому нарождающемуся течению и обладал недюжинным философским умом. Сам, как писатель, довольно слабый, — преданно и по-настоящему любил литературу, понимал искусство.

Как они дружили, — интимнейший, даже интимничающий со всеми и везде Розанов и неподвижный, деревянный Перцов? Непонятно, однако, дружили. Розанов набегал на него, как ласковая волна: «Голубчик, голубчик, да что это, право! Ну как вам в любви объясняться? Ведь это тихонечко говорится на ушко шепотом, а вы-то и не услышите. Нельзя же кричать такие вещи на весь дом».

Перцов глуховато посмеивался в светло-желтые падающие усы свои, — не сердился, не отвечал.

С другим человеком, еще более сдержанным, каменным (если Перцов был деревянный), вышло однажды у Розанова, в редакции «Мира искусства», не так ладно.

Постоянное «ядро» редакции, тесно сплоченный дружеский кружок, были: Дягилев, Философов, Бенуа, Бакст, Нувель⁴ и Нурок (умерший)⁵. Около них завивалось еще множество людей, близких и далеких. По средам в редакции бывали собрания, хотя и не очень людные: приглашали туда с выбором. Розанову эта «нелюдность» нравилась. Он, впрочем, везде был немножко один, или с кем-нибудь «наедине», то с тем — то с

другим, и не удаляясь, притом, с ним никуда: но такая уж у него была манера. Или никого не видел, или, в каждый момент, видел кого-нибудь одного, и к нему обращался.

Ни малейшей угрюмости: веселый, даже шаловливый, чуть рассеянный взгляд сквозь очки, и вид — самый общительный.

В столовой «Мира искусства», за чаем, вдруг привязался к Сологубу, с обычной каменностью молчащему.

Между Сологубом и Розановым близости не было. Даже в расцвете розановских «воскресений», когда на Шпалерную ходили решительно все (вот уж без выбора-то!), — Сологуба я там не помню.

Но для коренной розановской интимности все были равны. И Розанов привязался к Сологубу.

— Что это, голубчик, что это вы сидите так, ни словечка ни с кем. Что это за декадентство. Смотрю на вас — и, право, нахожу, что вы не человек, а кирпич в скюртуке!

Случилось, что в это время все молчали. Сологуб тоже помолчал, затем произнес, монотонно, холодно и явственно:

— А я нахожу, что вы грубы.

Розанов осекся. Это он-то, ласковый, нежный, — груб! И, однако, была тут и правда какая-то: пожалуй, и груб.

Инцидент сейчас же смазали и замаяли, а Розанов, конечно, не научился интимничать с выбором: интимность была у него природная, неизлечимая, особенная — и прелестная, и противная.

4

Наименее рожденный

Вот, сидит утром в нашей маленькой столовой, в доме Мурузи, на Литейном⁶, — трясет ногой (другую подогнул под себя) и что-то пишет на большом листе — мелко-меленько, непонятно, — если не привыкнуть к его почерку. Старается все уместить на одной странице, не любит переворачивать.

Это он забежал с каким-то спешным делом, по Религиозно-философским собраниям, что-то нужно кому-то ответить, возразить, или к докладу заседания что-то прибавить... все равно.

Сапоги у него с голенищами (рыжеватыми), с толстыми носами. Брюки широкие, серенькие в полоску. Курит все время — набивные папиросы, со слепыми концами. (По воскресеньям, за длинным чайным столом, у себя, где столько всякого народу, набивает их сам. Сидит на конце стола, спиной к окнам, и тоже подогнув ногу.)

Давно присмотрелись мы к его лицу, и ничего уже в нем «мизерабельного» не находим. Кустиками рыжевато-белокурая бородка, лицо ровно-красноватое... А глаза вдруг такие живые и плутовские — и задумчивые, что становится весело.

Но Розанов все не может успокоиться и часто повторяет:

— Ведь мог бы я быть красив! Так вот нет: учительшка и учительшка.

Потом он это написал (в «Уединенном»).

«Неестественно-отвратительная фамилия дана мне в дополнение к мизерабельному виду. Сколько я гимназистом простаивал перед зеркалом...» «Сколько тайных слез украдкой пролил. Лицо красное. Волоса... торчат кверху... какой-то поднимающейся волной, совсем нелепо и как я не видал ни у кого. Помадил я их, и все — не лежат. Потом домой придю, и опять зеркало: “Ну, кто такого противного полюбит? Просто ужас брал”». «... В душе думал: женщина меня *никогда не полюбит*, никакая. Что же останется? *Уходить в себя, жить с собою*, для себя (не эгоистически, а духовно), *для будущего...*»

Он прибавляет, однако, что «теперь» это все «стало ему даже нравиться»: и что «Розанов» так «отвратительно», и что «всегда любил худую, заношенную, проношенную одежду».

«Да просто я не имею формы... Какой-то “комок” или “мочалка”. Но это от того, что я весь — дух. Субъективное развито во мне бесконечно, как я не знаю ни у кого. «И отлично»... «Я “наименее рожденный человек”, как бы “еще лежу (комком) в утробе матери” и “слушаю райские напевы” (вечно как бы слышу музыку, моя особенность). И “отлично! Совсем отлично!” На кой черт мне “интересная физиономия” или еще “новое платье”, когда я сам (в себе, в комке) бесконечно интересен, а по душе — бесконечно стар, опытен и вместе юн, как совершенный ребенок... Хорошо! Совсем хорошо!...»

С блестящей точностью у Розанова «выговаривается» (записывается) каждый данный момент. Пишет он — как говорит: в любой строке его голос, его говор, спешный, шопотный, интимный. И открытость полная — всем, т. е. никому.

Писать Розанов мог всегда, во всякой обстановке, во всяком положении, — никто и ничто ему не мешало. И всегда писал одинаково. Это ведь не «работа» для него: просто жизнь, дыхание.

Розанов уже не в контроле, он на жалованье в редакции «Нового времени». Печатает там время от времени коротенькие, яркие полуфельетончики. Суворин издает его книги. Старик Суворин, этот крупный русский нигилист, или, вернее, «*je m'en fiche*-ист»⁷ очень был чуток к талантливости, обожал «талант». Как некогда Чехову — он протянул руку помощи Розанову, не

заботясь, насколько Розанов «нововременец». Или, может быть, понимая, что Розанов все равно ни к какой газете, ни к какому такому делу прилипнуть не может, будет везде писать свое и о своем, не считаясь с окружением. В редакции его всерьез не принимали, далеко не все печатали, но иногда пользовались его способностью написать что-нибудь на данную тему вот сейчас, мгновенно, не сходя с места, — и написать прекрасно. Ну, по-чиркают «розановщину», и живет.

Мы все держались в стороне от «Нового времени». Но Розанову его «суворинство» инстинктивно прощалось: очень уж было ясно, что он не «ихний» (ничей): просто «детишкам на молодчишко», чего он сам, с удовольствием, не скрывал. Детишек у него в это время было уже трое или четверо.

Так называемые розановские «вопросы», — то, что в нем, главным образом, жило, всегда его держало, все проявления его окрашивало, — было шире и всякого эстетизма и уж, очевидно, шире всяких «политик». Определяется оно двумя словами, но в розановской душе оба понятия, совершенно необычно сливались и жили в единстве. Это Бог и пол.

Шел ли Розанов от Бога к полу? Или от пола к Богу? Нет, Бог и пол были для него, — скажу грубо, — одной печкой, от которой он всегда танцевал. И, конечно, вопрос «о Боге» делался благодаря этому совсем новым, розановским, вопрос о поле — тоже. Последний «вопрос» и вообще-то, для всех, пребывал тогда в стыдливой тени или загоне. Как же могло яркое вынесение его на свет Божий не взбудоражить, по-разному, самые разные круги?

Пожалуй, не круги — а «кружки». Ведь и «эстетизм», и другие петербургские, едва намечавшиеся, течения — были только кружки. Да в Розанове самом сидела такая «домашность», «самодельность», что трудно и вообразить его влияние на какие-нибудь «круги».

5

Духовные отцы

В область розановского интереса очень трепетно входил вопрос о «церкви». И не только потому, что жена его, духовного происхождения и вдова священника, была крепко и просто верующей православной. Нет, с вопросом о церкви Розанов был связан собственными внутренними нитями. Вопрос этот окрашивался для него в свой цвет — благодаря его отношению к христианству и Христу.

Однако мысль Религиозно-философских собраний зародилась не на Шпалерной (у Розанова), а в наших литературно-эстетических кружках. Они тогда стали раскалываться. Чистая эстетика уже не удовлетворяла. Давно велись новые споры и беседы. И захотелось эти домашние споры расширить, — стены раздвинуть.

В сущности, для петербургской интеллигенции и вопрос-то религиозный вставал впервые, был непривычен, а в связи с церковным — тем более. Мир духовенства был для нас новый, неведомый мир. Мы смеялись: ведь Невский, у Николаевского вокзала, разделен железным занавесом. Что там, за ним, на пути к лавре? Не знаем. Но нельзя же рассуждать о церкви, не имея понятия о ее представителях. Надо постараться поднять железный занавес.

Кто-нибудь напишет впоследствии историю первых Р<елигиозно>-ф<илософских> собраний. Тяжелого все это стоило труда. Об открытом обществе и думать было нечего. Хоть бы добиться разрешения в частном порядке.

К мысли о Собраниях Розанов сразу отнесся очень горячо. У него в доме уже водились кое-какие священники, из простеньких. Знакомства эти пришлось кстати. Понемногу наметилась дорожка за плотный занавес.

Однако в предварительных обсуждениях плана действий Розанов мало участвовал. Никуда не годился там, где нужны были практические соображения и своего рода тактика. С ним вообще следовало быть осторожным. Он не *понимал*, органически, никакого «секрета», и невинно выбалтывал все не только жене, но даже кому попадетсЯ. (С ним, интимнейшим, меньше всего можно было интимничать.)

Поэтому ему просто говорили: вот, теперь мы идем к такому-то или туда-то, просить о том-то. Брали его с собой, и он шел, и был, по наитию, очень мил и полезен.

Наконец собрания, получастные, были разрешены. Железный занавес поднялся. Да еще как! Председатель — еп. Сергей Финляндский, тогда ректор Духовной Академии⁸; вице-председатель — арх. Сергей, ректор семинарии⁹, злой, красивый монах с белыми руками в кольцах. Все это с благословения митрополита Антония и с молчаливого и выжидательного попустительства Победоносцева. Главный наш козырь был «сближение интеллигенции с церковью». Тут очень помогло нам тщеславие пронырливого, неглупого, но грубого мужичонки Скворцова, чиновника при Победоносцеве¹⁰. Миссионер, известный своей жестокостью, он, в сущности, был добродушен, и в тщеславии сво-

ем, желании попасть «в хорошее общество», — прекомичен. По-настоящему ему мысль «сближения церкви с интеллигенцией» чрезвычайно. Стал даже мечтать о превращении своего «Миссионерского обозрения» в настоящий «журнал».

Каюсь, мы нередко потешались над ним, посылали в этот «журнал» разные письма под самыми прозрачными псевдонимами, чуть ли не героев Достоевского или Лермонтова. Невинный Скворцов не замечал и с гордостью письма печатал. На собраниях же мы ему спуска не давали, припоминая его миссионерские похождения.

Скворцов, конечно, сделался приятелем Розанова. У Розанова закипели его «воскресения», превратились в маленькие религиозно-философские собрания. На неделе собирались и у нас.

Странно, однако: весь этот мир «из-за железного занавеса», духовный, церковный, повлекся, припал главным образом к Розанову. Чувствовал себя уютнее с ним. А ведь Розанов считался первым «еретиком», и даже весьма опасным. Чуть ли не начались Собрания его докладом о браке и поле, самым «соблазнительным», и прения длились подряд три вечера.

А раз было следующее.

Розанов на Собраниях не только не произносил речей, но и рот редко раскрывал. Какие «речи», когда ни одного доклада своего, написанного, он не мог прочесть вслух. Другие читали. Ответы на возражения тоже писал заранее к следующему разу, а читал опять кто-нибудь за него.

Раз попросил он прочесть такое возражение, странички 2–3, молодого приват-доцента Духовной Академии — А. В. Карташева¹¹. Карташев тогда впервые появился в Петербурге — из-за «железного занавеса у Николаевского вокзала», из иного мира, вместе со всей «духовной» молодежью. Кстати сказать: в этих «выходцах» многое изумляло нас, — такие они были иные по быту, по культуре. Но изумительнее всего оказался их упрямый... рационализм. Вот тебе и «духовная» молодежь!

Очень помню, как однажды мы с Карташевым сидели, по дежурству, у дверей залы Собраний — принимали запись входящих членов. Заседание началось, двери заперли. Мы, около полутемного столика, тихо разговаривали. Острый профиль молодого Карташева напоминал в те времена профиль Гоголя в последние годы жизни.

— Верю ли? Если бы верить, как в детстве... Но нет... рацию... рацию... — шептал он, приседая.

Так вот, Карташев, на просьбу Розанова прочесть вслух его странички возражения (весьма невинные), согласился. Прочел.

На другой же день был призван к митрополиту Антонию и получил от этого, сравнительно мягкого и «либерального» иерарха, самый грубый выговор. Хотел было оправдаться, — я, мол, только «одолжил Розанову свой голос», но его не дослушали:

— Чтобы — впредь — этого — не было.

И Карташев ушел, если не ошпаренный — то лишь потому, что привык: держали их там в строгости и в повиновении удивительном.

Да, опасным «еретиком» был Розанов в глазах высшей православной иерархии. Почему же все-таки духовенство, церковники, сближались с ним как-то легче, проще, чем с кем бы то ни было из интеллигентов, ходили к нему охотнее, держали себя по-приятельски?

6

Усердный еретик

«Православие» видело «еретичество» Розанова, и просто «безбожием» не затруднялось его называть. В глубины не смотрело.

Что ему, что этот «безбожник» говорит:

«...Я мог бы отказаться от даров, от литературы, от будущности своего я... слишком мог бы... Но от Бога я никогда не мог бы отказаться. Бог есть самое “теплое” для меня.

С Богом никогда не скучно и не холодно.

В конце концов Бог моя жизнь.

Я только живу для Него, через Него. Вне Бога — меня нет».

И еще:

«Выньте из самого существа мира молитву, сделайте, чтобы язык мой, ум мой разучился словам ее, самому делу ее, существу ее, — чтобы я этого не мог; и я с выпученными глазами и ужасным воем выбежал бы из дому, и бежал, бежал, пока не упал. Без молитвы совершенно нельзя жить... Без молитвы — безумие и ужас.

Но все это понимается, когда плачется... А кто не плачет, не плакал — как ему это объяснить?»

Или еще:

«Боже, Боже, зачем Ты забыл меня? Разве Ты не знаешь, что всякий раз, как Ты забываешь меня, — я теряюсь?»

Самое «еретичество» Розанова исходило из его религиозной любви к Божьему миру, из религиозного его вкуса к миру, ко всей плоти. Но кто это понимал из православных, как мог по-

нять, да и на что ему было нужно? Лишь редкие чувствовали. Например, исключительной глубины и прелести человек — священник Устинский¹² (он жил в Новгороде, изредка приезжал в Петербург), да, может быть, Тернавцев¹³, тогда молодой и независимый. Итальянская кровь давала ему большую силу жизни. Весь он был неистовый, бурный и казался очень талантливый.

Ну, а другие «церковники» — приятельствовали с Розановым, прощая резкие выпады по их адресу, вот почему: он, любя всякую плоть, обожал и плоть церкви, православие, самый его быт, все обряды и обычаи. Со вкусом он исполняет их, зовет в дом чудотворную икону и после молебна как-то пролезает под ней (по старому обычаю). Все делает с усердием и умилением.

За это-то усердие и «душевность» Розанова к нему и благоволили отцы. А «еретичество»... да, конечно, однако ничего: только бы построже хранить от него себя и овец своих.

7

Собрания

В первый же год Р.-ф. собрания стали быстро разрастаться, хотя попасть в число членов было нелегко, а «гости» вовсе не допускались.

Неглубокая зала Географического общества, с громадной и страшной статуей Будды в углу (ее в вечера Собраний чем-то закутывали от «соблазна»), — никогда, вероятно, не видела такого смешения «языков», если не племен. Тут и архиереи, — вплоть до мохнатого льва Иннокентия¹⁴, и архимандриты, до аскетического Феофана (впоследствии содействовавшего внедрению Распутина во дворец)¹⁵, и до высокого, грубого молодца в поярковой шляпе — Антонина (теперешнего «живца»)¹⁶. Тут же и эстеты, весь «Мир искусства» до Дягилева. Студенты светские, студенты духовные, дамы всяких возрастов и, наконец, самые заправские интеллигенты, держащиеся с опаской, но и с любопытством.

Во время перерыва вся эта толпа гудела в музее и толкалась в крошечной комнате сзади, где подавали чай.

Розанов непременно прятался в уголке, и непременно там кто-нибудь один его заслонял, с кем он интимничал.

Секретарем Собраний был рекомендованный Тернавцевым приятель его — Ефим Е<горов>¹⁷.

— Ефим — пес, — говорил на своем образном языке, с хохотом «кудрявый Валентин». — Лучше и не выдумать секретаря. Это, я вам скажу, уди-ви-тельный человек. Ни в Бога, ни в черта не верит. Либерал-шестидесятник. Пес и пес, конечно, но и ловкий!

Действительно, Ефим оказался полезен. Двери Собрания сто-рожил, как настоящий «пес». Следил за отчетами. И сразу сдру-жился с «попами». Особенно же с архимандритом Антонином. Вместе шатались они по трактирам, где Ефим непременно зака-зывал себе кушанье постное, Антонин же непременно скором-ное; вместе забегали к нам; если Антонин «опозднялся» в горо-де, то у Ефима и заночевывал.

С лаврской духовной цензурой Ефим тоже завел дружбу, что было ценно, особенно когда начался наш журнал «Новый путь».

Но о журнале потом. Здесь отмечаю лишь это любопытное приятие «ни в Бога, ни в черта не верующего» нашего сек-ретаря с духовными отцами. Насчет «либерализма» — вряд ли заветы 60-х годов были в нем особенно крепки. Он через не-сколько лет поступил по рекомендации Розанова в «Новое вре-мя», где прижился и, благодаря знанию языков, до конца оста-вался заведующим иностранным отделом.

Не могу не вспомнить здесь о «предании» более свежем, но «которому верится с трудом». Ведь в Англию, во время войны, ездила в виде «представителей русской печати» такая неподоб-ная тройка: Чуковский, затем этот самый бывший «пес» из «Но-вого времени», и купленный ныне, «для сраму», большевика-ми — Ал. Толстой. Жаль, что Василевского не-Букву¹⁸ не прихватили. Была бы полнота «представительства».

8

Тяжелая старуха

Летом 1902 г. мы ездили за Волгу, в г. Семенов. Оттуда с двумя нижегородскими священниками, — на раскольничьи со-беседования за Керженец, к Светлому озеру («Китеж-град»)¹⁹.

На возвратном пути мы зашли, в Нижнем, с прощальным визитом к одному из наших спутников, о. Николаю, громкому, шумному, буйному батюшке, до хрипоты спорившему на Озере со староверами.

Провинциальные «духовные» дамы скромны и стесняются «столичных гостей». Редко где попадья не убегала от нас и не пряталась, высылая чай в «гостиную». Молодежь поразвязнее, и у отца Николая, после бегства матушки с роем еще каких-то женщин, в гостинной осталась занимать нас молоденькая попо-вна.

О. Николай, еще хрипя, разглагольствовал о чудотворных иконах, а поповна показывала мне альбомы.

Показывала и объясняла: вот это тетенька... Вот это о. Никодим, дядя. Вот это знакомый наш, из Костромы...

Вижу большую фотографию: сидит на стуле, по старинному прямо, в очень пышном платье, оборками кругом раскинутом, седая, совсем белая, толстая старуха. В плюсовом чепчике, губы сжаты, злыми глазами смотрит на нас.

— А это кто? — спрашиваю.

— А это наша знакомая. Жена одного писателя петербургского. Ее фамилия Розанова.

— Как Розанова? Какая жена Розанова? Василия Васильевича?

— Ну да, жена Василия Васильевича. Ее сейчас в нашем городе нет. Она в Крыму давно. А домик ее наискосок от нашего. С балкона видать.

— Покажите мне.

Выходим с поповной на угловой балкончик. Внизу булочная, и громадный золотой крендель тихо поскрипывает над железными перилами балкона, слегка заслоняя теплую, пыльную Варварскую улицу, вымощенную круглыми, как арбузы, булыжниками.

— Видите, прямо переулок идет, так вот слева второй домик, серенький, это и есть Розановой дом, где она жила.

— А фотография ее... давно снята? Она такая старая?

— Да, она уже совсем старая. Ну, ведь, и он, кажется, не молодой.

Хочу возразить, что Розанов «против нее — ребенок», как говорят за Волгой, но поповна продолжает:

— Она очень злая. Такая злая, прямо ужас. Ни с кем не может жить, с мужем давно не живет. Взяла себе, наконец, воспитанницу. Ну, хорошо. Так можете себе представить, воспитанница утопилась. Страшный характер.

Мы вернулись в гостиную. И долго еще, охотно, рассказывает мне про «страшный характер» поповна, пока я вглядываюсь в портрет развалины с глазами сумасшедше-злыми.

Никогда Розанов мне не сказал об этой своей жене слова с горечью, осуждением или возмущением. В полноте трагическую историю его первого брака мы знали от друзей, от Тернавцева и других. Впрочем, и сам Розанов не скрывал ничего и нередко подолгу рассказывал нам о жизни с первой женой. Но ни разу со злобой, ни в то время — ни потом, в «Уединенном». А уж, кажется, мог бы. Ведь она не только, живя с ним, истерзала его, она и на всю последующую жизнь наложила свою злую лапу.

Для второй жены его, Варвары Дмитриевны, глубоко православной, брак был таинством религиозным. И то, что она «просто живет с женатым человеком», вечно мучило ее, как грех. Но

злая старуха ни за что не давала развода. Дошло до того, что к ней, во время болезни Варвары Дмитриевны, ездил Тернавцев, в Крым, надеясь уломать. Потом рассказывал, со вкусом ругаясь, как ни с чем отъехал. Чувствуя свою силу, хитрая и лукавая старуха с наглостью отвечала ему, поджав губы: «Что Бог сочел, того человек не разлучает».

— Дьявол, а не Бог сочетал восемнадцатилетнего мальчишку с сорокалетней бабой! — возмущался Тернавцев. — Да с какой бабой! Подумайте! Любовница Достоевского! И того она в свое время доняла. Это еще при первой жене его было. Жена умерла, она, было, думала тут его на себе женить, да уж нет, дудки, он и след свой замел. Так она и просидела, Василию Васильевичу на горе.

Розанов мне шептал:

— Знаете, у меня от того времени одно осталось. После обеда я отдыхал всегда, а потом встану — и непременно лицо водой сполоснуть, умываюсь. И так осталось — умываюсь, и вода холодная со слезами теплыми на лице, вместе их чувствую. Всегда так помнится.

— Так почему же вы не бросили ее, Василий Васильевич?

— Ну-ну, как же бросить? Я не бросал ее. Всегда чувство благодарности... Ведь я был мальчишка...

Рассказывал о неистовстве ее ревности. Подстерегала его на улице. И когда, раз, он случайно вышел вместе с какой-то учительницей, тут же, как бешеная, дала ей пощечину.

Но это что, сумасшедшая ревность. Дело нередкое. Любовница Достоевского, законная жена Розанова, была посложнее.

Ревность шла, конечно, не от любви к невзрачному учителюшке, которого она не понимала и который ее не удовлетворял. Заставлять всякий день водой со слезами умываться — приятно, слов нет. Но жизнь этим не наполнишь. Старея, она делалась все похотливее, и в Москве все чаще засматривалась на студентов, товарищей молодого, но надоевшего мужа.

Кое с кем дело удавалось, а с одним, наиболее Розанову близким, — сорвалось. Авансы были отвергнуты.

Совершенно неожиданно студента этого арестовали. Розанов очень любил его. Хлопотать? Поди-ка сунься в те времена, да и кто бы послушал Розанова? Однако добился свидания. Шел, радовался — и что же? Друг не подал руки. Не стал и разговаривать.

Дома загадка объяснилась: жена, не стесняясь, рассказала, что это она, от имени самого Розанова, написала в полицейское управление донос на его друга²¹.

Быть может, я передаю неточно какие-нибудь подробности, но не в них дело. Эту характерную историю сам Розанов мне не рассказывал. Он только, при упоминании о ней, сказал:

— Да, я так плакал...

— И все-таки не бросили ее? Как же вы, наконец, разошлись?

— Она сама уехала от меня. Ну, тут я отдохнул. И уже когда она опять захотела вернуться — я уже ни за что, нет. В другой город перевелся, только бы она не приезжала²².

И все, повторяю, без малейшего негодования, без осуждения или жалобы. С человеческой точки зрения — есть противное что-то в этом все терпящем, только плачущем муже. Но не будем смотреть на Розанова по-человечески. И каким необычным и прелестным покажется нам тогда розановское отношение к «жене», как к чему-то раз навсегда святому и непоколебимому. «Жена» — этим все сказано, а уж какая — второй вопрос.

И ни малейшей в этом «добродетели», — таков уж Розанов органически. У него и верность, и любовь, тоже свои, особенные, розановские. О верности его мне еще придется говорить.

9

Пустота вокруг

Когда приподнялся «железный занавес», стали архиереи приезжать «в Петербург», на Собрания, — стали и мы изредка заглядывать в «иной мир», в лавру. Бывали (всегда скопом) у молодого, скромного, широколицего Сергея Финляндского, ректора Академии (какое-нибудь предварительное обсуждение доклада), и у митрополита Антония²³.

У Антония Мережковский читал «Гоголя и о. Матфея», читал там даже Минский, чуть ли не свою «Мистическую розу на груди церкви»²⁴. Он тогда (для чего?) очень кокетничал с церковью, впрочем без всякого успеха.

Розанов, конечно, не читал, как нигде не читал ничего, и, конечно, всегда присутствовал.

У Сергея было приятно: большие, пустые залы с таким полом скользким и светлым — хоть смотришь в него, с рядами архиерейских портретов по стенам. Чай пили в столовой, за длинным столом. Вкусный чай: сколько сортов всяких варений, а подавали тоненькие черные послушники.

В митрополичьих покоях не то: официальная пышность дворца, лакеи, а варенье засахаренное.

Мне частенько Розанов, если мы сидели рядом, шептал свои наблюдения: «Заметьте, заметьте...» Он видел всякую мелочь.

Раз мы вышли, уже часов в 11, поздно, из лавры, и за оградой ее заблудились. Зима, но легкая оттепель. Необозримые снежные пустыри, окружающие лавру, скользки, точно лаковые, а ухабы по чуть видной дороге — как горы. Нас человек шесть, но идем не вместе, а парами, друг за друга держимся. И все крутимся по ледяной пустыне, и все тянется белая высокая ограда, — не знаем, куда повернуть.

Я с Розановым. Он не смущается, куда-нибудь выйдем. Без конца говорит — о своем. Он неиссякаем «наедине». С кем-нибудь наедине — ему решительно все равно. Никогда не говорит «речи», говорит «беседно», вопрошательно, но ответов не ждет и не услышал бы их. Даже вдвоем — он наедине с собою.

«...Странная черта моей психологии заключается в таком сильном ощущении *пустоты около себя — пустоты, безмолвия и небытия вокруг и везде*, — что я едва знаю, едва верю, едва допускаю, что мне “современничают” другие люди...»

В эту минуту мы с ним, однако, «современничали» в том, что одинаково скользили, буквально на каждом втором шагу. И он вдруг это заметил.

Я смеюсь:

— Вы меня держите, Василий Васильевич, или я вас?

— Заметьте! Мы оба скользим! Оба! И не падаем. Почему не падаем? Да потому, что мы скользим *не в одну и ту же минуту*, а в разные. Вы скользите, когда я стою, а когда я — вы не скользите, и я держусь за вас...

— Ну, вот видите. А если бы мы шли отдельно, так уж давно оба валялись бы в снегу.

— Да, да, удивительно... В разные минуты...

Но тут, занявшись этим соображением, он навел меня на такую кучу снега, что, не схвати нас кто-то третий, шедший близко сзади, мы бы полетели вниз — в одну и ту же минуту.

10

О любви

Всю жизнь Розанова мучали евреи. Всю жизнь он ходил вокруг да около них, как замороженный, прилипал к ним — отлипал от них, притягивался — отталкивался.

Не понимать, почему это так, может лишь тот, кто безнадежно не понимает Розанова.

Не забудем: Розанов жил только Богом и — миром, плотью его, полом.

«Знаете ли вы, что религия есть самое важное, самое первое, самое нужное? Кто этого не знает, мимо такого нужно просто пройти. Обойти его молчанием».

И тотчас же далее:

«Связь пола с Богом — большая, чем связь ума с Богом, чем даже связь совести с Богом»...

Евреи, в религии которых для Розанова так ощутительна была связь Бога с полом, не могли не влечь его к себе. Это притяжение — да поймут меня те, кто могут, — еще усугублялось острым и таинственным ощущением их чуждости. Розанов был не только архи-ариец, но архи-русский, весь, сплошь, до «руссопята», до «свиньи-матушки» (его любовнейшая статья о России)²⁵. В нем жилки не было нерусской. Без выбора понес он все, хорошее и худое, — русское. И в отношении его к евреям входил элемент «полярности», т. е. опять элемент «пола», притяжение к «инакости».

Он был к евреям «страстен» и, конечно, пристрастен: он к ним «вожделел».

Влюбленный, однажды, полушутя, в еврейку, говорил мне:

— Вот рука... а кровь у нее там какая? Вдруг — голубая? Лиловенькая, может быть? Ну, я знаю, что красная. А все-таки не такая, как у наших...

Непривычные или грубодушные люди часто возмущались розановской «несерьезностью», сплетением пустяков с важным, и его... как бы «гряздой». Ну, конечно! И уж если на то пошло, разве выносимо вот это само: «связь Бога с полом»? Разве не «грязь» и «пол»-то весь? В крайнем случае — «неприличие», и позволительно говорить об этом лишь научным, серьезным языком, с видом профессора. Розановские «мелочи» казались «игривостью» и нечистоплотностью.

Но для Розанова не было никаких мелочей: всякая связывалась с глубочайшим и важнейшим. Еврейская «миква», еврейский религиозный обычай, для внешних неважный и непривлекательный, — его умиляла и трогала. Его потрясал всякий знак «святости» пола у евреев. А с общим убеждением, в кровь и плоть вошедшим, что «пол — грязь», — он главным образом и боролся.

Вот тут узел его отношений к христианству и ко Христу. Христос? Розанов и к нему был страстен, как к еврейству. Только все тут было диаметрально противоположно. Христос — Он свой, родной, близкий. И для Розанова было так, точно вот этот живой, любимый его чем-то ужасно и несправедливо обидел, что-то отнял у него и у всех людей, и это что-то — весь мир, его светлость и теплоту. Выгнал из дома в стужу: «Будь совершен, иди, и не оглядывайся, отрекись от отца, матери, жены и детей...»

Розанов органически боялся *холода*, любил теплое, греющее. «С Богом я всегда. С Богом мне теплее всего» — и вдруг — иди в холод, оторвись, отрекись, прокляни... Откуда это? Он не уставал бранить монашество и монахов, но, в сущности, смотрел дальше них, не думал, что «это они сделали», главного обидчика видел в Христе. Постоянно нес упрек ему в душе — упрек и страх перед собственной дерзостью.

У нас, вечером, за столом, помню его торопливые слова:

— Ну, что там, ну, ведь, не могу же я думать, нельзя же думать, что Христос был просто человек... А вот, что Он... Господи, прости! (робко перекрестился поспешным крестиком), что Он, может быть, Денница...²⁶ Спавший с неба, как молния...

Розанов, однако, гораздо более «трусил божеского наказания» за нападки на церковь, нежели за восстания против первопричины — Христа. Почему? Это просто. В христорборчестве его было столько *личной любви* ко Христу, что она властно побеждала именно страх, и превращала трусость нашалившего ребенка во что-то совсем другое.

Вот, например: тяжелая болезнь жены. Оперированная, она лежала в клинике. Розанов в это время ночевал раз у Тернавцева. И всю ночь, по словам Тернавцева, не спал, плакал и, беспрестанно вставая, молился перед иконами. Всю ночь вслух «каляся», что не был достаточно нежен, справедлив — к церкви, к духовенству. Не покорялся смиренно, возражал, протестовал... Вот Бог и наказывает... и он, как мальчик, шепчет строгому церковному Богу: прости, помилуй, больше не буду!

В связи с этим, в «Уединенном»:

«Иду в Церковь! Иду! Иду!»

И потом еще:

«Как бы я мог быть не там, где наша мамочка? И я стал опять православным».

Стал ли? Это и теперь его тайна, хотя пророческие слова исполнились:

«Конечно, я умру все-таки с Церковью... Конечно, духовенство мне все-таки всех (сословий) милее...»

Однако:

«Но среди их умирая, я все-таки умру с какой-то мукой о них».

Это борьба с «церковью».

А вот «христороборчество». Вот одно из наиболее дерзких восстаний его — книга «Темный Лик», где он пишет (точно, сильно, разговорно, как всегда), что Христос, придя, «охолодил и заморозил» мир и сердце человека, что Христос обманщик и разрушитель. Денница, — повторяет он прикрито, т. е., Дух Темный, а не Светлый.

И что же, кается, дрожит, просит прощения? Нисколько. Выдержки из «Темного Лица» читались при нем, на Собраниях, он составлял самые стойкие ответы на возражения. Спорил в частных беседах, защищался — Библией, Ветхим Заветом, пламенно защищался еврейством, на сторону которого всецело становился, как бы религиозно сливаясь с ним.

С одним известным поэтом, евреем, Розанов при мне чуть не подрался.

Поэт и философ, совсем не приверженный к христианству, доказывал, что в Библии нет личности и нет духа поэзии, пришедшего только с христианством. Что евреи и понятия не имели о нашем чувстве *влюбленности* — в мир, в женщину и т. д. Надо было видеть Розанова, защищающего «Песнь песней», и любовь, и огонь еврейства.

Принялся упрекать поэта в измене еврейству. Тот ему ответил, что, во всяком случае, Розанов — больше еврей, чем он сам.

Этим спор окончился — Розанов внезапно замолчал.

Не потому, конечно, что заподозрил собеседника в атеизме. Атеистов, позитивистов он «презирал, ненавидел, боялся». Говорил: «Расстаюсь с ними *вечным расставанием*». Но собеседник — еврей, а еврей не может быть атеистом. *Нет*, по Розанову, антирелигиозного еврея, что бы он там про себя ни думал, ни воображал. В каждом, все равно, «Бог — насквозь». Недаром к Аврааму был зов Божий. Про себя Розанов говорил:

«Бог призвал Авраама, а я сам призвал Бога. Вот и вся разница».

И вдруг, и вдруг... словно чья-то тень — тень Распятого? — проходила между ним и евреями. Он оглядывался на нее — и пугался, но уже не феноменальным, а «ноуменальным» (любимое его слово) страхом. Вдруг — «болит душа! болит душа! бо-

лит душа!» и — потерявшись — он становится резок, почти груб... к евреям. Мне приходилось слышать его в эти минуты, но я расскажу о них его собственными словами, будет яснее.

«... Как зачавкали губами и идеалист Борух, и такая милая Ревекка Ю-на, друг нашего дома, когда прочли “Темный Лик”. Тут я сказал себе: “Назад! Страшись!” (мое отношение к евреям).

Они думали, что я не вижу: но я хоть и “сплю вечно”, а подглядел. Борух, соскакивая с санок, так оживленно, весело, счастливо воскликнул, как бы передавая мне тайную мысль и заражая собою:

— Ну, а все-таки — он лжец.

Я даже испугался. А Ревекка проговорила у Шуры в комнате: “Н-н-нда... Я прочла «Темный Лик»”. И такое счастье опять в губах. Точно она скушала что-то сладкое.

Таких *физиологических* (зрительно-осязательных) вещей надо увидеть, чтобы опять понять то, чему мы не хотим верить в книгах, в истории, сказаниях. Действительно, есть какая-то *ненависть* между Ним и еврейством. И когда думаешь об этом — становится страшно. И понимаешь неумолимое, а не феноменальное: “Распи Его”.

Думают ли об этом евреи? Толпа? По крайней мере, никогда не высказываются».

Любовь к Христу, личная, верная, страстная — была куском розановской души, даже не души — всего существа его. Но была тайной для зорких глаз тайновидца: «Смотрел и не видел». Порою близко шевелилась, скрытая. Тогда он тревожился, бросался в сторону евреев и своего к ним отношения. Отрекался, путался, сердился... Но жизнь повела его «долинами смертной тени». И любовь стала прорываться, подобно молнии. Чем дальше, тем чаще мгновения прорывов.

«...Тогда все объясняется... Тогда Осанна... Но *так* ли это? Впервые забрезжило в уме...»

Сами собой гасли в этих молниях вспышки ненависти к евреям. Понималась любовь — по-настоящему. И забывалась опять. Может быть, потом понялась навсегда?

11

«В своем углу»

Осенью 1902 г. мы начали с П. П. Перцовым журнал «Новый путь».

Я до сих пор не понимаю, как это вышло, что мы его начали, и даже довели без долгов до 1906 г. Он точно сам начался, — естественно вышел из Р<елигиозно>-ф<илософских> собраний.

Денег у нас не было никаких, кроме пяти тысяч самоотверженного Перцова, да очень малой, внешней помощи издателя Пирожкова, и то лишь в самые первые месяцы. (Пирожков этот стал впоследствии знаменит процессами со своими жертвами, — обманутыми писателями, обманутыми бесцельно, ибо он и сам провалился²⁷.)

Перцову удалось получить разрешение на журнал благодаря той же приманке: «Сближение церкви с интеллигенцией». Журнал был вполне «светский» (в программе только упоминалось о вопросе «религиозном», «в духе Вл. Соловьева»), однако известно было, что издает его группа участников Собраний и что там предполагается помещать стенографические отчеты этих Собраний.

Положение журнала было исключительно трудное: каждая книга подлежала двойной цензурной трепке. Сначала шла к обыкновенному цензору, затем в лавру, к духовному. Была у нас и третья цензура, неофициальная, интеллигентская: по тем временам, если эстетика и начинала кое-как завоевывать право на сосуществование, то религия, без разбирательства, была осуждена. И нас записали в реакционеры.

Но среди всех огорчений с деньгами, да с двумя официальными цензурами, нам буквально не было времени огорчаться еще и этим. Пусть думают, что хотят.

Все мы работали и писали без гонорара. Платили только в редких случаях какому-нибудь начинающему (и очень талантливому) из неимущих. Литературная молодежь, — все мои приятели, — помогала и работала, на нас глядя, радостно, как в своем деле. Молодые поэты (Блок, Семенов²⁸, Пяст), кроме стихов, давали, когда нужно, рецензии, заметки, отчеты. Несколько неопытных «выходцев из-за железного занавеса», — приват-доценты Духовной Академии, Карташев, Успенский²⁹ — тоже приучались к журнальной работе, но эти — в глубокой тайне, без всяких подписей, ибо, если бы узнало лаврское начальство, им бы не поздоровилось.

И нас, старых литераторов, было изрядное количество, так что в материале, совсем не плохом, недостатка не чувствовалось. Вячеслав Иванов печатал там «Религию страдающего Бога». Мережковский — свой роман «Петр и Алексей». Брюсов — ежемесячные статьи об иностранной литературе и даже... об иностранной политике.

О Розанове что и говорить. Он был несказанно рад журналу. Прежде всего — упросил, чтобы ему дали постоянное место, «на что захочет», и чтоб названо оно было «В своем углу». Кроме

того, он из книжки в книжку стал печатать свою длинную (и замечательную) работу «О юдаизме»³⁰.

Вечно торчал в редакции, отовсюду туда «забегал». В редакции жил секретарь — «пес» Ефим Е<горов> (он же секретарь Собраний). Не лишенный юмора и весьма, при случае, энергичный, он и тут, как секретарь, был очень ценен. Возил в лавру к отцам-цензорам весь наш материал (не один «духовный», «светский» тоже). И, если отцы тревожились, подозревая скрытый «соблазн» в каком-нибудь стихотворении Сологуба, В. Иванова, Блока, — нес им самую беззастенчивую, но полезную чепуху. Отстаивал порою статьи довольно смелые, хотя с великими жертвами: у В. Иванова однажды везде «православие» обратилось в «католичество». А так как статья была о Вл. Соловьеве, — то можно себе представить, что получилось.

Посетителей (неизвестных) принимал тоже Ефим. И препотешно умел рассказывать об этих приемах. Никто лучше него не мог бы справиться с «авторами». Его важность, отрывистые, безапелляционные реплики хорошо действовали на слишком назойливых. Бывали и застенчивые.

— А... могу я спросить, сколько вы платите? — говорил какой-нибудь явно безнадежный обладатель явно безнадежной толстой рукописи.

Ефим не задумывался:

— А мы очень много платим... если нам понравится. Но нам редко что нравится. Лучше вы вашу рукопись отдайте в другое место.

Собственно говоря, вся редакционная работа велась Перцовым и мною. Молодежь помогала, но положиться ни на кого из них мы не смели. А Розанов не только не помогал, но если бы вздумал, мы бы в ужас пришли. Всякое дело требует своей «политики», т. е. какой-то линии, считания с моментом, с окружающими обстоятельствами и т. д. Розанов ни на что подобное не был способен. Он действительно «всегда спал». Во сне хоть и умел «подглядывать», чего никто не видел, но подглядывал лишь то, что находилось в кругу его идей, ощущений, лишь в том, что его интересовало и касалось.

Очень любил журнал. И совершенно невинно, не замечая, мог бы погубить его, дай ему волю, начни с ним советоваться, как с равным.

И так была ужасная возня. Приносит он очередной материал, главу «Юдаизма» и «Угол», бесконечные простыни бумажные, мелко-меленько исписанные. В набор? Как бы не так. Мы не «Новое время» и с набором должны экономничать. Без того при-

ходится делать иногда, после светской цензуры, для духовной, — второй набор, как бы не навести «отцов» на неподобающие размышления... И вот мы с Перцовым принимаемся за чтение розановских иероглифов. Не вместе, — Перцов глух, сам читает невнятно и неохотно, — а по очереди.

Ни разу, кажется, не было, чтобы мы не наткнулись в этих писаниях на такие места, каких или цензорам нашим даже издали показать нельзя, или каких мы с Перцовым выдержать в нашем журнале не могли.

Эти места мы тщательно вычеркивали, а затем... жаловались Розанову: «Вот что делает цензура. Порядком она у вас в углу выела». Впрочем, прибавляли, для косвенного его поучения:

— Сами, голубчик, виноваты. Разве можно такое писать? Какая же это цензура выдержит?

Скажу, moreover, что мы делали выкидки лишь самые необходимые. Перцов слишком любил Розанова и понимал его ценность, чтобы позволить себе малейшее искажение его идей.

Редактируя для журнала стенографические отчеты Собраний, мы не звука не выкидывали розановского: тут он сам за себя отвечает, пусть отвечает перед цензорами.

Сухость стенограмм порою приводила нас в отчаяние: исчезала атмосфера собраний, приподнятая и возбужденная, не передавалось настроение публики...

Чаще всего редактировали мы эти отчеты вдвоем не с Перцовым, а с Тернавцевым.

Собрание, недавнее, было еще свежо в памяти.

— Какой вздор! — говорю я. — Она (стенографистка) не слышала. Или не поняла... Ведь тут, помните, ведь тут...

— Ну да! — кричит неистовый Валентин. — Василий Михайлович (Скворцов) сказал «совесть». А кто-то ему крикнул: «Разная бывает совесть. Бывает и сожженная совесть...» Он так и осел... Вставляйте сюда «голос из публики»!

Валентин Тернавцев был не из нашего «лагеря», но художественное чутье побеждало в нем «переводчика», и мы оба увлекались, стараясь преобразить казенную запись в образную картину Собрания.

— Здесь он — «голос из публики!» — орал Валентин. — Обязательно голос! Я слышал, толстуха промяукала, как ее, — секты исследует, она около меня сидела. Пишите тут — из публики!

Иногда мы носили розановский доклад или возражение ему на просмотр, боясь ошибок в записи. А он возвращал — совершенно измененную вещь, почти новую статью. Что было делать?

Звали его, бранились, и он на месте, тут же, в третий раз ее переписывал.

Перцов имел привычку вдруг уезжать из Петербурга, на неопределенное, довольно продолжительное время. Глухой и скрытный, он глухо исчезал, не оставляя и адреса. Знали только, что куда-нибудь в Кострому или дальше: он был волжанин, «речной человек», как он говорил.

Тогда мне приходилось тесно. «Мальчики» мои, в сомнении, откровенно признавались, что не знают, как поступить. Розанов, не обращая на меня никакого внимания, лез к Ефиму, а Ефим разленивался, не читал первых корректур и спорил со мной из-за Брюсова, находя его недостаточно либеральным.

К счастью, Перцов уезжал не в очень горячее время, — к весне. Месяца через два возвращался, и все входило в норму.

12

Буду верен в любви

На ревнивых жен Розанову везло.

Ну, та, первая, подруга Достоевского, — вообще сумасшедшая старуха; ее и нельзя считать женой Розанова. Но настоящая, любящая и обожаемая «Варя», мать его детей, женщина скромная, благородная и простая, — тоже ревновала его ужасно.

Ревновать Розанова — безрассудство. Но чтобы понять это — надо было иметь на него особую точку зрения, не прилагать к нему обычных человеческих мерок.

Ко всем женщинам он, почти без различия, относился возбужденно-нежно, с любовным любопытством к их интимной жизни. У него жена — его жена, и она единственная, но эти другие — тоже чьи-то жены? И Розанов умилялся, восхищался тем, что и они жены. Имеющие детей, беременные, особенно радовали. Интересовали и девушки — будущие жены, любовницы, матери. Его влекли женщины и семейственные, — и кокетливые, все, наиболее полно живущие своей женской жизнью. В розановской интимности именно с женщиной был еще оттенок особой близости: мы, мол, оба, я и ты, знаем с тобой одну какую-то тайну. Розанов ведь чувствовал в себе сам много женского. «Бабьего», как он говорил³¹. (Раз выдумал, чтобы ему позволили подписываться в журнале «Елизавета Сладкая». И огорчился, что мы не позволили.)

Человеческое в женщине не занимало его. Ту, с которой не выходит этого особого, женского, интимничанья, он скоро переставал замечать. То есть начинал к ней относиться, как вообще

к окружающим. Если с интересом порою — то уже без специфического оттенка в интимности.

Смешно, конечно, утверждать, что это нежно-любопытное отношение к «женщине» было у Розанова только «идейным». Он входил в него весь, с плотью и кровью, как и в другое, что его действительно интересовало. Я не знаю и знать не хочу, случалось ли с ним то, что называют «грехом», фактической «изменой». Может быть, да, может быть, нет. Неинтересно, ибо это *ни малейшего значения не имеет*, раз дело идет о Розанове. И сам он слишком хорошо понимает, — ощущает свою органическую *верность*.

«Будь верен человеку, и Бог ничто не поставит тебе в неверность».

«Будь верен в дружбе и верен в любви: остальных заповедей можешь и не исполнять».

В самом деле, можно ли вообразить о Розанове, что он вдруг серьезно влюбляется в «другую» женщину, переживает домашнюю трагедию, решается развестись с «Варей», чтобы жениться на этой другой? О ком угодно — можно, о Розанове — непредставимо! И если все-таки вообразить — делается смешно, как если бы собака замурлыкала.

Собака не замурлычит, Розанов — не изменит. Он верен своей жене, как ни один муж на земле. Верен — «ноуменально».

Да, но жена-то этого не знает. Инстинктом любви своей, глубокой и обыкновенной, она не принимает розановского отношения к «женщине», к другим женщинам. У нее ложная точка зрения, но со своей точки зрения она права, ревнуя и страдая.

Розановская душа, вся пропитанная «жалением», не могла переносить чужого страдания. Единственно, что он считал и звал «грехом», — это причинять страдание.

«Хотел бы я быть только хорошим? Было бы скучно. Но чего я ни за что не хотел бы, — это быть злым, вредительным. Тут я предпочел бы умереть».

Что же ему делать, чтобы не видеть страданий любимой жены? Измениться он не может, да и не желает, так как чувствует себя правым и невинным. Страданий этих не понимает (как вообще ревности не понимает, — никакой), но видит их и не хочет их. Что же делать?

И он, при ней, изо всех сил начинает ломать себя. Боится слово лишнее сказать, делается неестественным, приниженно глуповатым. Увы, не помогает. Во-первых, он, бедненький, не мог угадать, какое его слово или жест окажутся вдруг подозрительными. А во-вторых, ревновала его жена к духу самому, к неуловимому. В жесте ли, в слове ли дело? Не понимая, не уга-

дывая, что может ее огорчить, он даже самые невинные вещи, невинные посещения, понемногу стал скрывать от жены. На всякий случай, — а вдруг она огорчится? Чтобы она не страдала (этого он не может!), надо, чтобы она не знала. Вот и все.

В «секреты» розановские были, конечно, посвящены все. Он всем их поверял — вместе со своей нежностью к жене, трогательно умоляя не только не «выдавать» его, а еще, при случае, поддержать, прикрыть, «чтобы она была спокойна».

Он действительно заботился только о ее спокойствии. О себе — как бы, по неловкости, не «согрешить», т. е. не достаточно умело соврать. Ведь, —

«...я был всегда ужасно неуклюжий. Во мне есть ужасное уродство поведения, до неумения “встать” и “сесть”. Просто не знаю, *как*. Никакого сознания горизонтов...»

Очень прямые люди нет-нет и возмутятся: «Василий Васильевич, да ведь это же обман, ложь!» Какое напрасное возмущение! Прописывайте вы человеческие законы ручью, ветру, закату. Не услышат и будут правы: у них свои.

«Даже и представить себе не могу такого “беззаконника”, как я сам. Идея закона, как “долга”, никогда даже на ум мне не приходила.

Только читал в словарях на букву Д. Но не знал, что это, и никогда не интересовался. “Долг выдумали жестокие люди, чтобы притеснить слабых. И только дурак ему повинуется”. Так, приблизительно...

Только всегда была у меня *Жалость*. И была благодарность.

Но это как “аппетит” *мой*; *мой вкус*.

Удивительно, как я уделялся *с ложью*. Она меня никогда не мучила...

Так меня устроил Бог».

«Устроил», и с Богом не поспоришь. Главное — бесполезно. Бесполезно упрекать Розанова во «лжи», в «безнравственности», в «легкомыслии». Это все *наши* понятия. Легкомыслие? —

«Я невестюсь перед всем миром: вот откуда постоянное *волнение*».

Дайте же ему «невеститься». Тем более, что не можете запретить. Наконец, в каком-нибудь смысле, может, оно и хорошо?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Душа озябла

Победоносцев посмотрел-посмотрел, да и запретил Р<елигиозно>-ф<илософские> собрания³².

«Отцы» уже давно тревожились. Никакого «слияния» интеллигенции с церковью не происходило, а только «светские» все чаще припирали их к стене, — одолевали. Выписан был на помощь (из Казани?) архимандрит Михаил³³, славившийся своей речистостью и знакомством со «светской» философией. Но Михаил — о ужас! — после двух собраний явно перешел на сторону «интеллигенции», и вместо помощника архиереи обрели в нем нового вопрошателя, а подчас обвинителя. (Дальнейшая судьба этого незаурядного человека любопытна. Продолжал острую борьбу против православной церкви и, под угрозой снятия сана, перешел в старообрядчество, где был епископом. Он возглавлял группу «голгофских христиан». В 1916 году умер в Москве, в больнице для чернорабочих.)

При таких обстоятельствах оставалось одно: закрыть, от греха, Собрания. Закрыли.

Вскоре подросла японская война, а с ней медленное, еще глухое, но все нарастающее внутреннее брожение.

«Новый путь» продолжался, — очень трудно: без главного подспорья своего, — отчетов о Собраниях, под неистовством духовной цензуры, с растущими денежными затруднениями.

Перцов стал охладевать к делу и все чаще уезжать на Волгу. Розанов, понемногу, начал отходить тоже.

Дело в том, что группа главных участников журнала к тому времени не была уже сплочена. Расхождение — не в идее, а, пожалуй, в направлении воли.

Собственно идея (как и тема наших споров с церковью) была всегда одна: Бог и мир. Равноценность, в религии, духа и плоти. Можно себе представить, как это было близко сердцу Розанова. Однако, защищая «мир», он весь его стягивал *к полу и личности*. Другие же в понятие «мира» хотели вдвинуть и вопрос общественный.

Иногда Розанов, по гениальному наитию, мог изрекать вещи в это области очень верные, даже пророческие. Но не понимал тут ровно ничего, органически не мог понимать и отвращался.

«“Общественность”, кричат везде, “побуждение общественного интереса!”»...

«... Когда я встречаю человека с “общественным интересом”, то не то, чтобы скучаю, не то, чтобы враждуя с ним: но просто умираю около него».

«Весь смолкнул и растворился: ни ума, ни воли, ни слова, ни души. Умер».

И далее:

«Народы, хотите ли, я вам скажу громовую истину, какой вам не говорил ни один из пророков...

— Ну? Ну?... Хх...

— Это — что частная жизнь выше всего.

— Хе-хе-хе! Ха-ха-ха!

— Да, да! Никто этого не говорил, я — первый... Просто, сидеть дома и хотя бы ковырять в носу «и смотреть на закат солнца!»...

И «воля к мечте»... И «чудовищная» задумчивость...

— Что ты все думаешь о себе? — спрашивает жена. — Ты бы подумал о людях.

— Не хочется...»

Не хочется, — интереса нет. А что такое Розанов без внутреннего, его потрясающего, интереса? Ребячески путает и путается, если не случилось наития, бранится — и ускользает, убегает.

Перед революционными волнениями он уже льнет все больше к литературно-эстетико-мистическим кружкам, которые, словно пузыри, стали вскакивать то здесь, то там. Заглядывает «в башню» Вяч. Иванова, когда там водят «хороводы» и поют вакхические песни, в хламидах и венках. Юркнул и на «радение» у Минского³⁴, где для чего-то кололи булавкой палец у скромной неизвестной женщины и каплю ее крови опускали в бокал с вином.

Ходил туда Розанов, конечно, в величайшем секрете от жены — тайком.

В редакции нашей показывался все реже. Воскресенья его — не помню, продолжались ли. Кажется, опустели на время. А когда события сделались более серьезными, Розанова точно отнесло от нас, на другую волну попал.

Мы виделись, кажется... Но мельком. Кто-то говорил, что самые острые дни он просидел у себя на Шпалерной. Не из трусости, конечно, — что ему? А просто было «неинтересно» или даже «отвращало». Может быть, занимался нумизматикой...

Впрочем, скоро опять появился и даже стал интересоваться тем, что происходит, — со своего боку. Полюбил митинги.

— Что вы там слушаете, Василий Васильевич?

— Что слушаю, ничего, я смотрю, как слушают. Какие удивительные есть, — курсистки. Глаза так и горят. И много прехорошеньких.

В это время он написал брошюру «Когда начальство ушло», — такую же... даже не подберу выражения — *осязательную*, что ли, как все, что у него писалось-выговаривалось. Кроме этой «осязательности» стиля, ничего в ней не запомнилось. Но едва «начальство вернулось», — брошюра была запрещена³⁵.

Мы уже закончили наш журнал (в последнее полугодие сильно реформированный), передав его «идеалистам»: Булгакову,

Бердяеву и всему их кружку. В начале 1906 г. мы собирались надолго за границу.

Розанов этой последней зимой бывал у нас иногда, — не часто. Интересно, что очень невзлюбил его Боря Бугаев (А. Белый. Он, приезжая из Москвы, жил у нас).

С трагически скошенными глазами, сдвинув брови, — ко мне: — Послушайте, послушайте. Ведь Розанов — это *пло!* П-л-о! — Что такое? Какое еще «пло»?

Оказывается, он ехал по Караванной и видел вывеску (фамилия, должно быть). Пло. И ему казалось, что если повторять страшным голосом: «Пло! Пло!» — то можно его представить себе похожим на Розанова, и даже так, что сам Розанов — П-Л-О³⁶.

Меня эта ассоциация не увлекла, но, зная обоих, можно было уловить, как Бугаев соединяет «Пло» с Розановым и почему «боятся» их. Не всякая чепуха совершенно бессмысленна.

Расстались мы с Розановым по-дружески. Он даже обещал писать (очень любил писать письма). Но не писал... долго. И вдруг, чуть не через год, — письмо за письмом, в Париж.

Что такое?

Розановские письма, как всегда сверкающие, махровые, разговорные, — содержали на этот раз конкретную просьбу. Он умолял меня содействовать возвращению его писем к одной «литературной» даме, муж которой только что, после 1905 года, эмигрировал (притом довольно глупо и напрасно). Розанов знал, что чета находится в Париже. Коварная дама будто бы не делала ни для кого секрета из этих писем, компрометантных лишь для Розанова (уж, конечно, компрометантных, и, конечно, блестящих — ведь это были по-розановски интимные письма к женщине, да еще кокетливой, да еще еврейке!)³⁷.

В мольбах Розанова слышалось отчаяние. Понять, зачем ему так понадобились эти письма, — было нетрудно. А так как мы знали, что жена Розанова тяжело больна (говорили, что у нее нервный удар), то объяснялось и отчаяние. Он боялся, нестерпимо мучаясь, что о письмах может узнать Варвара Дмитриевна.

Чувство его к жене, какая-то гомерическая смесь любви и жалости, делается в этот период трагичным. В него вливается «осязательное» ощущение — смерти.

Не то, чтобы Розанов изменился. Ощущение смерти не ново для него. Всегда в нем жило «но — не думал», а тут оно выплыло из глубин наверх, расширилось, покрыло все другие ощущения (да и навсегда окрасило, не уменьшив их силы, в свой цвет).

«Я говорил о браке, браке, браке... а ко мне все шла смерть, смерть, смерть».

И еще:

«Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти и ужасаюсь...»

Наконец:

«Смерти я совершенно не могу перенести...»

«Я так относился к ней, как бы никто и ничто не должен был умереть. Как бы смерти не было».

«Самое обыкновенное, самое “всегда”: я этого не видел».

«Конечно, я ее *видел*: но значит я *не смотрел*... Не значит ли это, что я *не любил*?»

«Вот дурной человек во мне, дурной и страшный». В этот момент, как я ненавижу себя, “как враждебен себе”».

У Розанова нет «мыслей», того, что мы привыкли называть «мыслью». Каждая в нем — непременно и пронзительное *физическое* ощущение. К «рассуждениям» он поэтому неспособен, что и сам знает:

«Я только смеюсь и плачу. Рассуждаю ли я в собственном смысле? Никогда!»

Смерть для него была физическим «холодом» (как жизнь, любовь-жалость, — греющим, светящим огнем).

«Больше любви, больше любви, дайте любви! Я задыхаюсь в холоде. У, как везде холодно!»

И когда он говорит: «Душа озябла. Страшно, когда наступает озноб души», — это не метафора, не образ, — где его «душа», где тело? — но опять *физическое*, телесное ощущение *холода*, — ощущение смерти.

Писем, о которых он так умолял, мы ему не достали. Мы знакомы были с мужем розановской мучительницы. К мужу и обратились с ходатайством. Он предупредил нас, что надежды мало. И действительно. Не отдала. Не захотела.

Я не думаю, чтобы из этого вышла большая беда. Вряд ли до больной женщины могли дойти слухи об этой, в сущности, невинной истории. А если бы и дошли? Она, вероятно, уже не приняла бы это так, как опасался Розанов.

А все же, в то время, очень мне было Розанова жалко.

2

В чужом монастыре

Я не пишу дифирамба Розанову. Не говоря о том, что —

«Никакой человек не достоин похвалы; всякий человек достоин только жалости», —

есть ли смысл хвалить (или порицать) Розанова? Есть ли хоть интерес? Ни малейшего. Важно одно: понять, проследить, определить Розанова, как редчайшее *явление*, собственным законам подвластное и живущее в среде людской. Понять ценность этого говорящего явления, т. е. понять, что оно, такое как есть, может дать нам, или что можем мы от него взять. Но непременно такое, как есть.

«Иду! Иду! Иду! Иду!..

И не интересуюсь. Что-то стихийное, а не *человеческое*. Скорее “несет”, а не иду. Ноги волочатся. И срывает меня с каждого места, где стоял».

Где уж тут «человеческое»!

Надо, однако, сознаться, что понять это чрезвычайно трудно. Так трудно, что и мы, знавшие его, мгновениями видевшие, что он не идет в ряду других людей, а «несет» его около них, — и мы забывали это, слепли, начинали считаться с ним, как с обычным человеком.

Может быть, и нельзя иначе — нельзя было иначе тогда. Ведь все-таки он имел вид обыкновенного человека, ходил на двух ногах, носил галстук и серые брюки, имел детей, дар слова... и какой дар! Может быть, потому, что он, с этим даром, не ограниченный никакими человеческими законами, жил *среди нас*, где эти законы действуют, мы даже права не имели не охранять их от него? Всякое человеческое общество — монастырь. Для Розанова — чужой монастырь (всякое!). Он в него пришел... со своим уставом. Может ли монастырь позволить одному-единственному монаху жить по его собственному уставу? «Оставьте меня в покое». «Да, но и ты оставь нас в покое, уходи».

«Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали», — говорит Розанов и начинает писать двумя руками: в «Новом времени» одно, — в «Русском слове», под прозрачным и не скрывающим псевдонимом, другое.

Обеими руками он пишет искренне (как всегда), от всей махровой души своей.

Он прав.

Но совершенно прав и П. Б. Струве, печатая в «Русской мысли», рядом, параллельные (полярные) статьи Розанова и обвиняя его в «двурушничестве»³⁸.

Однако я забегаю вперед.

Возвратясь в Петербург, мы нашли Розанова с виду совершенно таким же, каким оставили. Таким же суетливым, интим-

начающим, полусшепотным говорком болтающим то о важном, то о мелочах. Лишь приглядываясь, можно было заметить, что он еще больше размахнулся, все в нем торчит во все стороны, противоречия еще подчеркнулись.

Впрочем, особенно приглядываться не было случая: Розанова мы стали видеть не часто. Вышло это само собою. С ним и вообще-то никогда ничего нельзя было *вместе делать*, а тут почувствовалось, что и нечего делать.

В Петербурге же, после «половинной» революции, многие вообразили, что можно что-то «делать», — во всяком случае тянулись к активности.

О Розанове ходило тогда много слухов, вернее — сплетен, о разных его прошлых «винах», которыми мы не интересовались. Да и мало верили: жена все еще была сильно больна, и в Розанове, хотя он об этом не говорил, очень чувствовалась боль смертная и забота.

Раз как-то забежал к нам летом, по дороге на вокзал (жил тогда на даче, в Луге, кажется).

Торопливый, с пакетами, в коричневой крылатке. Но хоть и спешил — остался, разговорился. Так, в крылатке, и бегал нервно по комнате, блестя очками.

Разговор был, конечно, о религии, и опять о христианстве. Отношение к нему у Розанова показалось мне мало по существу изменившимся. Те же упреки, что христианство не хочет знать мира с его теплотой и любовью, не приемлет семью и т. д. Потом вдруг:

— Вы ведь «апокалиптические» христиане... А какое же там, в Откровении, христианство? Я Откровение принимаю... Я даже четвертое Евангелие, всего Иоанна, готов принять. Только не синоптиков. Давайте откажитесь от синоптиков³⁹, — будем вместе...

Мы, конечно, от синоптиков не отказались, но в эту минуту кто-то принес показать Розанову наших маленьких щенков, шестинедельных младенцев-таксиков, — и на них тотчас обратилось все его внимание.

— Вот бы детям... Ах, Боже мой... Вот бы детям свезти...

— Да возьмите, Василий Васильевич, выберите какого лучше и тащите с собой на дачу.

— Ах, Господи... Нет, я не смею. Дома еще спросят: что? откуда? Нет, не смею. А хорошо бы...

Мы вспомнили, что для Розанова и наш дом был всегда «запрещенным»: жена считала его «декадентским», где, будто бы, Василия Васильевича... отвращают от православия.

— Скажите, что на улице нашли, — продолжаю я убеждать Розанова насчет щенка.

— Не поверят... Нет, не смею...

Так и ушел, не взял.

3

Какие «да»! Какие «нет»!

Мы застали в Петербурге, как бы на месте старых Р<елигиозно>-ф<илософских> собраний, целое Религиозно-философское общество, легализированное и многолюдное.

Ничего похожего на прежние, полуподпольные, острые Собрания. Председатель — Карташев, выходец «из-за железного церковного занавеса», но выходец окончательный: еще до нашего отъезда мы его убедили (с большими трудами, точно предлагали броситься в холодную воду) — покинуть Духовную Академию. Он решился, наконец (тем более, что положение его было уже там непрочно) и, вместе с несколькими другими, выплыл в житейское море.

Волны этого моря не оказались коварными для него: он устроился в Публичной библиотеке, а затем стал преподавателем богословия на Женских курсах. Печать некоторой постоянной «боязни», вечное оглядыванье, еще отличала в нем человека из «иного мира». Но понемногу он приучался к «светской» свободе.

Р<елигиозно>-ф<илософское> общество, где его выбрали председателем, было, в сущности, одним из обыкновенных интеллигентских обществ. Только с некоторым привкусом «московского идеализма» (чуть уловимый крен к православию). Священники посещали его, но об архиереях, о черном духовенстве — и помину не было. Полное отсутствие так называемой «учащей церкви».

Мы, несмотря на чуждый нам уклон, вошли в совет Общества и, естественно, внесли туда мятежный дух, меняющий направление. Это, впрочем, делалось медленно и не без трудов.

Розанов в Совете не состоял⁴⁰. Он только, по памяти, был одним из первых действительных членов — или даже членом-учредителем, не помню. На заседания ходил, но никаких докладов не читал. Все было другое. По времени — острота лежала в чуждом Розанову вопросе: не о религиозном *поле*, а о религиозной *общественности*.

Годы мелькали, — последние, предвоенные. О них можно бы много рассказать, но я пишу не о них, — о Розанове.

Мы его совсем больше не видели. Знали, что жена его плохо поправляется, что он давно не живет на Шпалерной, переезжает с квартиры на квартиру, что после смерти старика Суворина положение его в «Новом времени» не изменилось. Слышали, что он видится с новыми людьми, очень от нас далекими... а главное, слышали его самого в изданных в это время «Уединенном» и «Опавших листьях» («Два короба»).

Именно *слышали* его в этих трех... книгах? Он был прав, говоря, что таких «книг» никто раньше не писал и никто не напишет. Для этого надо уметь «выговаривать» себя, как он, а чтобы издать их — надо быть «беззаконником», не понимающим, «что ему современничают другие люди». Словом — надо быть в полноте «Розановым».

Для знавших его, как мы знали, — ничего нового в этих книгах не содержалось. То же, что он говорил, не раз, и та же интимность до... до полного душевного раздевания. Был он в них весь: с Богом и полом, с Россией, которую чувствовал изнутри, как самого себя, и любя, и ругая. С еврейями, его притягивающими и отталкивающими. И даже с трагично выплывшим поверх других «ощущений» — ощущением смерти, холода.

Только все «да-нет», чем дальше, тем резче подчеркивались, все чудовищнее переплетались. Он сам останавливается удивленно: «Душа моя какая-то путаница...» И эта эволюция (если это эволюция) была в нем как будто еще не закончена.

Действительно: не предстояло ли ему безмерно обостриться в противоречиях, дойти до глубины страданий, «выговорить» их в предсмертных тетрадах своего «Апокалипсиса» и, наконец, в монастыре, в Троице-Сергиевской лавре, — умереть на руках самого, кажется, умного и жестокого священника — П. Ф.^{41?}

4

Мне все можно

Об этом священнике кто-нибудь напишет в свое время. Мы знали его московским студентом-математиком (он писал в «Новом пути»). Потом встречали в Донском монастыре, у его духовника, мятежного и удивительного еп. Антония⁴². Но действительно, узнали и поняли через сестру его, Ольгу⁴³. Она любила его, ездила к нему в лавру, но никогда не была под его влиянием. Была близка нам, подолгу жила у нас. Эта замечательная женщина-девушка умерла перед войной, 22-х лет от роду.

Я не буду писать ни о ней, ни о брате: слишком удлинит это мой рассказ. Да и жизнь его еще не кончена. Думаю, силь-

ная личность его не пройдет без следа даже в наше смутное время.

Любил ли его Розанов? Уже в предвоенные годы знал его. Но упоминает о нем редко, вскользь: «Вся его натура какая-то ползучая...»

Они видятся, однако, все чаще. Ко времени «дела Бейлиса», так взволновавшего русскую интеллигенцию, Розанов, не без помощи Ф<лоренского>, начинает выступать против евреев — в «Земщине». Статьи, которые отказывалось печатать даже «Новое время», — радостно хватались грязной, погромной газеткой.

Были ли эти статьи Розанова «погромными»? Конечно, нет, и, конечно, да. Не были, потому что Розанов никогда не переставал страстно, телесно, любить евреев, а Ф<лоренский>, человек утонченной духовной культуры и громадных знаний, не мог стать «погромщиком». И, однако, эти статьи погромными были, фактически, в данный момент: Розанов в «Земщине», т. е. среди подлинных погромщиков, говорил, да еще со свойственным ему блеском, что еврей Бейлис не мог не убить мальчика Ющинского, что в религии еврейства заложено пролитие невинной крови, — жертва.

А Ф<лоренский> сказал тогда сестре: если б я не был православным священником, а евреем, я бы сам поступил, как Бейлис, т. е. пролил бы кровь Ющинского.

В это время к Розанову не только писательские круги, но и вообще интеллигенция относилась уже довольно враждебно. Повторяю: какая «совместность» человеческая может терпеть человека-беззаконника, живущего среди людей и знать не желающего их неписанных, но твердых уставов? Нельзя «двурушничать», т. е. печатать одновременно разное в двух разных местах. Нельзя говорить, что плюешь на всякую мораль и не признаешь никакого долга. Нельзя делать «свинства» (по выражению самого Розанова), например — напечатать, в минуту полемической злости, письмо противника, адресованное к третьему лицу, чужое, случайно попавшее в руки. И нельзя, невозможно так выворачивать наизнанку себя, своих близких и далеких, так раздеваться всенародно и раздевать других, как Розанов это делает в последних книгах.

«— Нельзя? — говорит Розанов. — Мне — можно. На мне и грязь хороша, потому что я — это я.

— А вы все — к черту!..»

Он прав, что *ему* — можно. Но «все» — люди, посылаемые к черту, — правы тоже, знать не желая, почему «Розанову можно», и отвечая ему таким же «к черту».

Всенародное самовыворачивание Розанова, хотя и оскорбляло многих, было еще терпимо: уединенный человек, говорит из своего уединения. Но статьи в «Земщине», такие, в такой момент, — делали Розанова «вредительным» общественно (чего он, конечно, не понимал). От него уже надо было — общественно — защищаться.

Такой защитой было, между прочим, и публичное исключение его из числа членов Религиозно-философского общества.

Если я останавливаюсь на этом инциденте (незначительном, в конце концов), то лишь для того, чтобы попутно отметить: были и в то время два-три человека, смотревшие на Розанова с глубоко правильной точки зрения. Они утверждали его, как *явление* исключительной ценности, понимали, что ему-то, от себя, «все позволено», что он живет по своим законам. Ни один из этих людей никогда *лично* не рассердился на Розанова, хотя поводов для раздражения было сколько угодно.

Но эти же люди особенно твердо стояли за необходимость «защиты» от Розанова, в данном случае — за необходимость исключения его из членов Общества.

Хочу сознаться, увы, что на мой тогдашний взгляд Розанов был еще слишком «человек», и предельная безответственность его, как *человека*, мне была нестерпима. Сколько несправедливых слов было сказано, несправедливых и бесцельных, — как я о них теперь жалею.

5

Мелькнули дни...

После «дела Бейлиса», статей в «Земщине» и всех попутных историй — Розанов совсем скрывается, с нашего, по крайней мере, горизонта. А вначале бравировал, писал в «Новом времени» самые непозволительные ругательные статейки против «интеллигенции», приходил на каждое Р<елигиозно>-ф<илософское> собрание, чуть ли не до последнего, на котором его торжественно исключили⁴⁵. Кто-то сказал, что «гонение» на Розанова жестоко. Это неправда. Никакой жестокости в этих протестах, исключениях, не было: ведь его «наплевать» — слово очень искреннее. Если и огорчался «скандалами» — то опять, кажется, боясь, не расстроили бы они его больную жену.

А вскоре и Бейлис, и Розанов — все было забыто: пришла война.

Что писал и делал Розанов во время войны?

Писал, конечно, в «Новом времени», — неинтересно. Думаю, что сидел тихо у себя, — жена все еще болела. Одна из дочерей его, как мы слышали, готовилась поступить в монастырь (мне неизвестна эта драма, — вернее, трагедия, — в подробностях. Знаю только, что дочь Розанова, монахиня, покончила самоубийством незадолго до смерти отца⁴⁶).

Может быть, Розанов, в военные годы, работал и над книгой о Египте (осталась незаконченной)⁴⁷. Он готовил ее очень давно. Еще во дни наших постоянных встреч увидел раз у меня на столе большого скарабея (приятельница англичанка привезла из Египта). Пришел в страстный восторг.

— Подарите мне! Мне очень нужно. Вам на что? А я книгу об Египте напишу. У меня и все монеты — египетские. В Египте то было, чего уже не будет: христианство задушило.

Очень радовался подарку и унес, завернув в носовой платок.

В военные годы, еще до революции, Розанов начал и свой «Апокалипсис»⁴⁸. Выпускал его периодически, небольшими тетрадами. Мне помнится там рассказ — встреча Розанова с войсками на Захарьевской улице⁴⁹. Опять передал свое телесное ощущение: движется внешняя *сила*, только голая сила, тяжелая, грубая, «мужская». Перед ней Розанов, маленькая одиночка, прижавшаяся на тротуаре к дому, — чувствует себя воплощенной слабостью, «женщиной»...

Вот опять мелькнули годы — мгновения. Как вспыхнувшая зарница — радость революции. И сейчас же тьма, грохот, кровь и — последнее молчание.

Тогда время остановилось. И мы стали «мертвыми костями, на которые идет снег».

Наступил восемнадцатый год.

6

Ледяные воды

Сначала еще видались кое с кем.

— Вы не знаете ли, что Розанов?

— Он в очень тяжелом положении. Был здесь, в Петербурге. Потом уехал, с семьей, — или кто-то увез его. Семья живет под Москвой, в Троице-Сергиевском посаде. Стал, говорят, странный и больной. Такой нищий, что на вокзале собирает окурки...

— Их, вероятно, Ф<лоренский> в лавре устроил?

— Кажется. Но живут очень плохо. Варвара Дмитриевна все больна, почти не ходит... И вы знаете, сын их умер.

— Как? Вася умер?

У Розанова было четыре дочери и единственный сын, Вася.

— Да, умер. Его взяли в Красную армию...

Перебиваю:

— Да ведь ему лет пятнадцать-шестнадцать?

— Ну, набирают теперь молодежь, даже четырнадцатилетних. Отправили куда-то далеко, к Польше. Да он не доехал. Заболел в поезде сыпным тифом и умер⁵⁰. С тех пор и Василий Васильевич нездоров. Впрочем, истощен тоже очень. «Апокалипсис» его до последнего времени выходил. Теперь — не знаю. Думаю, и в продаже его уже нет. Все ведь книги запрещены.

Окурки собирает... Болеет... Станный стал... Жена почти не встает... И Вася, сын, умер...

Не удивляло. Ничто, прежде ужасное, не удивляло: *теперь* казалось естественным. У всех, кажется, все умерли. Все, кажется, подбирают окурки...

Удивляло, что кто-то не арестован, кто-то жив.

Мысли и ощущения тогда сплетались вместе. Такое было странное, непередаваемое время. Оно как будто не двигалось: однообразие, неразличимость дней, — от этого скука потрясающая. Кто не видал революции — тот не знает настоящей скуки. Тягучее удушье.

И было три главных телесных ощущения: *голода* (скорее всего привыкаешь), *темноты* (хуже гораздо) и *холода* (почти невозможно привыкнуть).

В этом длительно-разнообразном тройном страдании — цепь вестей о смертях, арестах и расстрелах разных людей.

И Меньшикова расстреляли⁵¹.

— За «Новое время». Он в Волочек уехал. Нашли. Очень хорошо, мужественно умер. С семьей не дали проститься.

— Вот как.

— Да, говорят, и Розанова расстреляли⁵². Тоже за «Новое время», очевидно. Это слух.

— И Розанова?

— А В. опять в Чека увезли. Вчера. Напишите Горькому. Вы ему еще не писали. Напишите вы теперь.

— Я?

Мне донельзя противно писать Горькому. Но, действительно, ему все уже писали, все к нему приставали, кроме меня. И В. очень жалко. Да и силы сопротивления у меня нет. Конечно, Горький меня не послушает. Дочь этой самой несчастной и невинной больной В., которую уже в пятый раз волокут в Чека, целую ночь просидела у него на лестнице, ожидая приема. Не принял. Что же я?

Однако вяло беру бумагу. «Дорогой...», «Уважаемый...»? Не поднимается рука. Просто: «Алексей Максимович...»

Пишу обыкновенные, вопиющие вещи. И прибавляю: вы, вот, русский писатель. Одобряете ли вы действие дружественного вам «правительства» большевиков по отношению к замечательнейшему русскому писателю — Розанову, если верен слух, что его расстреляли? Не можете ли вы, по крайней мере, сообщить, верен ли слух? Мне известно лишь, что Розанов был доведен в последнее время до крайней степени нищеты. Голодный, к тому же больной, вряд ли мог он вредить вашей «власти». Вы когда-то стояли за «культуру». Ценность Розанова, как писателя, вам, вероятно, известна. Думаю, что в ваших интересах было бы поверить слух...

Что-то в этом роде, кажется, резче. Не все ли равно? Что терять? Без того противно писать Горькому. И бесцельно⁵³.

К удивлению, вышло не совсем бесцельно. Двинул ли Горький пальцем насчет В. и Чека, не помню, но насчет Розанова как будто двинул. То есть поручил кому-то из своих приспешников исследовать слух о Розанове, и когда ему доложили, что Розанов не расстрелян, приказал прислать ему немного денег.

Мы узнали все это (Горький, конечно, мне не ответил) от друга и поклонника Розанова, молодого писателя Х.⁵⁴, к нам пришедшего. Этот Х. умудрялся в то время держать еще фуксом книжную лавочку, продавал старые брошюры, даже новенькие безобидные выпускал, вроде сборников, где печатал и последний розановский «Апокалипсис».

Х., оказывается, давно уже пытался сделать что-нибудь для Розанова и был в сношениях с лаврой. Имел известия, что деньги от Горького действительно посланы. Надеялся добыть еще и свежих Розанову сам: ему написали, что Розанов уже не «истощен» и «нездоров», но отчаянно, по-видимому, смертельно, болен.

— Было кровоизлияние, немного оправился — второе. Лежит недвижимо, но в полном сознании. Питать его нечем, лекарств никаких.

Х. принес нам и последние страницы «Апокалипсиса».

Опять весь Розанов в них, весь целиком: его голос, его говор, и наше время страшное, о котором у нас слов не было, — у него были. Тьма, голод и *холод* — смерть.

«Это ужасное замерзание ночью. Страшные мысли приходят. Есть что-то враждебное в стихии “холода” — организму человеческому, как организму “теплокровному”. Он боится холода и как-то *душевно боится*, а не кожно, не мускульно. Душа его становится грубою, жесткою, как “гусиная кожа на холоду”...»

Вот он снова, его страх перед *холодом*. И как страшно холод настигал его. Настиг внешний, как всех нас тогда, еще перед болезнью. Схватил и внутренний, в болезни. И уже не выпустил из челюстей, пока не сожрал, — в смерти.

А защищаться было нечем. «Топлива» для организма, еды — не было.

«Впечатления еды теперь главные. И я заметил, что, к позору, все это равно замечают. И уже не стыдится бедный человек, и уже не стыдится горький человек...»

Он писал это еще до болезни, еще на ногах (когда, вероятно, окурки на вокзале Ярославском собирал). Один из выпусков «Апокалипсиса», после блестящих и глубоких страниц, кончается:

«Устал. Не могу. 2–3 горсти муки, 2–3 горсти крупы, пять круто испеченных яиц — может часто спасти день мой...»

Но день его не был спасен. Случайная подачка «собрата» Горького опоздала.

Скоро, через Х. (а может быть, и нет), пришло к нам первое письмо Розанова, уже больного, — написанное рукой дочери, действительно «выговоренное» (его рука была недвижна).

Первое, потом второе, потом третье... Как я больно жалею, что их нет у меня. Они, конечно, не исчезли совсем, навсегда. Любящая дочь, верно, сохранила копии. Кое-что из них посылалось и другим, я думаю — вот о «холоде» его предсмертном потрясающие слова: они были даже не так давно напечатаны в какой-то заграничной газете⁵⁵. Наверное, писал он Горькому (и наверное, Горький письма сохранил, ведь *его* собственность всегда была неприкосновенна). «Спасибо Максимушке», ласково и радостно писал и нам Розанов, этот «бедный человек, горький человек». Все благодарил его за подачку: на картошку какую-то хватило.

Сознавал ли, что умирает? «Очень мне плохо: склероз в сильнейшей степени...» Потом вдруг шутил, и говорил, что долго еще нужно лежать, шесть месяцев, что поправление идет медленно. И тут же об этом страшном «ледяном озере», куда он постепенно опускается, так, что ноги — уже там и уже как бы не его, и с ног холодная, ледяная вода все поднимается выше... Но — как передать? — ни в одной, самой страшной строке, — не было «нытья», и даже почти жалобы не было, а детская развешенность.

«Никогда мы так вкусно не ели: картошка жареная, хлеба кусочек, и так хорошо».

Но потом вдруг:

«Пирожка бы... Творожка бы...»

О дочерях писал, какие они, как за ним ухаживают:

«На руки меня берет с постели, как ребенка, и на другую кровать, рядом, перекладывает, пока ту поправляют. Говорит, что я легкий стал, одни кости. Да ведь и кости весят что-нибудь...»

О жене — кажется, ни разу, ни слова. Он и раньше о ней не говорил в письмах. Мы, впрочем, знали, что она всегда при нем, тоже полунедвижимая, и что он вечно думает о куске — для нее.

Эти письма, писанные дочерью, до такой степени *сам* Розанов, что странно было видеть чужой почерк. Розанов в расцвете своих душевных сил? Нет, просто он, в том самом расцвете, в каком был всегда, единственный, неоценимый, неизменяемый. Одно разве: в предпоследние годы его бесчисленные мыслеощущения, его «да-нет», с главным, поверх выплывшим ощущением «холода — смерти», — были уже так заострены, что куда же дальше? И однако они еще обострились, отточились, дошли до колющей тонкости, силы и яркости.

Ледяные воды поднимались к сердцу.

7

Слова любви

— Розанов нашел приют в Троице-Сергиевской лавре в тяжелую минуту. Очень хорош с Ф<лоренским>, который его не покидает. Семья такая православная. Да, вот он и пришел к христианству.

Так стали говорить о нем. И рассуждали, и доказывали.

— Ведь это еще с тех пор началось, его коренная перемена, со статей против евреев. Какой был юдофил. А вот — дружба с Ф<лоренским> и, параллельно, отход от евреев, обращение к христианству, к православию, переезд в лавру...

Это говорили люди, судя Розанова по-своему, — во времени. И было, с их точки зрения, правильно, и было *похоже* на правду.

А что — на самом деле? Посмотрим.

«Услуги еврейские, как гвозди в руки мои, *ласковость* еврейская, как пламя обжигает меня».

«Ибо, пользуясь этими услугами, погибнет народ мой, ибо обвеянный этой ласковостью задохнется и сгниет мой народ».

Не написано ли это уже во время «поворота», уже под влиянием Ф<лоренского>, не в лавре ли? О, нет! До войны, до Ф<лоренского>, в самый разгар того, что звали розановским безмерным «юдофильством». В лавре же, в последние месяцы, вот что писалось-выговаривалось:

«Евреи — самый утонченный народ в Европе...» «Все европейское как-то необыкновенно грубо, жестко, сравнительно с еврейским...» «И везде они несут благородную и святую идею “греха” (я плачу), без которой нет религии... Они. Они. Они. Они утерли соплю пресловутому человечеству и всунули ему в руки молитвенник: на, болван, помолись. Дали псалмы. И чудная Дева — из евреек. Что бы мы были, какая дичь в Европе, если бы не евреи». «Социализм? Но ведь социализм выражает мысль о “братстве народов” и “братстве людей”, и они в него уперлись...»

Переменился Розанов? Забыл свое влюбленное притягивание к евреям под «влиянием» Ф<лоренского>? Это — о евреях. Ну, а христианство? Православие? Кто Розанов теперь? Что он пишет *теперь*, в лавре?

«Ужас, о котором еще не догадываются, больше, чем он есть: что не грудь человеческая сгноила христианство, а что христианство сгноило грудь человеческую». «Попробуйте распятать Солнце, и вы увидите, котопый Бог». «Солнце больше может, чем Христос, и больше Христа желает счастья человечеству...»

Что же это такое? Что скажем?

Ничего. Розанов верен себе до конца. Он верен и *любви* своей ко Христу. Тайной, но чем глубже «долина смертной тени», тем чаще молнии прорывов любви. Вот один из этих прорывов, за шесть лет до смерти:

«...все ветхозаветное прошло, и настал Новый Завет».

«Впервые забрезжило в уме. Если Он — Утешитель, то как хочу я утешения. И тогда Он — Бог мой. Неужели?

Какая-то радость. Но еще не смею. Неужели мне не бояться того, чего я с таким смертельным ужасом боюсь. Неужели думать: встретимся! Воскреснем! И вот Он — Бог наш! И все — объяснится.

Угрюмая душа моя впервые становится на эту точку зрения.

О, как она угрюма была, моя душа...

Ужасно странно.

Т. е. ужасное было, а странное наступает.

Господи: неужели это Ты. Приходишь в ночи, когда душа так скорбела...»

И ничего, совсем ничего, что потом, из монастыря, почти на одре смерти, пишет: «Христианство сгноило грудь человеческую». Он тут же возвращается:

«Душа восстанет из гроба... и переживет, каждая душа переживет, и грешная, и безгрешная, свою невыразимую “песнь песней”. Будет дано каждому человеку по душе этого человека и по желанию этого человека. Аминь».

Всегда возвращается, всегда — он, до конца — он, нашими законами не судимый, им неподклонный.

Вот почему ненужны, узки размышления наши о том, стал или не стал Розанов «христианином» перед смертью, в чем изменился, что отверг, что принял⁵⁶.

Звонок по телефону:

— Розанов умер.

Да, умер. Ничего не отверг, ничего не принял, ничему не изменил. Ледяные воды дошли до сердца, и он умер. Погасло явление.

Вот почему показалось нам горьким мучительное, длинное письмо дочери, подробно описывающее его кончину, его последние, уже безмолвные, дни. Кончину «христианскую», самую «православную», на руках Ф<лоренского>, под шапочкой Преподобного Сергия.

Что могла шапочка изменить, да и зачем ей было изменять Розанова? Он — «узел, Богом связанный», пусть его Бог и развязывает.

Христианин или не христианин, — что мы знаем? Но, верю, и тогда, когда он лежал совсем безмолвный, безгласный, опять в уме вспыхнули слова любви:

Господи, неужели Ты не велишь бояться смерти?

Неужели умрем, и ничего?

Господи, неужели это — Ты.

1923





А. БЕЛЫЙ

В. В. Розанов

Раз, когда с Гиппиус перед камином сидели с высокой «*проблемой*», — звонок: из передней в гостиную дробно-быстро просеменил, дрожа мягкими плотностями, невысокого роста блондин с легкой проседью, с желтой бородкой, торчком, в сюртуке; но кричал его белый жилет, на лоснящемся, дрябло-дородном и бледно-морковного цвета лице глянцевели очки с золотой оправой; над лобинной клок мягких редких волос, как кок клоуна; голову набок склонил, скороговорочкою обсюсюкиваясь; и З. Н. нас представила:

— «Боря»!

— «Василий Васильевич»!

Это был — Розанов.

Уже лет восемь следил я за этим враждебным и ярким писателем, так что с огромным вниманием разглядывал: севши на низенькую табуретку под Гиппиус, пальцами он захватывался за пальцы ее, себе под нос выбрызгивая вместе с брызгой слюной свои тряские фразочки, точно вприпрыжку, без логики, с той пустой добротою, которая — форма поплева в присутствующих; разговор, вероятно, с собою самим начал еще в передней, а может, — на улице; можно ль назвать разговором варенье желудочком мозга о всем, что ни есть: Мережковских, себе, Петербурге? Он эти возникшие где-то вдали отправления выбрызгивал с сюсюканьем, без окончания и без начала; какая-то праздная и шепелявая каша, с взлетаньем бровей, но не на собеседника, а над губами своими; в вареньи предметов мыслительности было наглое что-то; в невиннейшем виде — таимая злость.

Меня поразили дрожащие кончики пальцев: как жирные десять червей; он хватался за пепельницу, за колено З. Н., за мое; называя меня Борей, а Гиппиус — Зиночкой; дергались в пляс

ке на месте коленки его; и хитрейше плясали под глянцем очковым ничтожные карие глазки.

Да, апофеоз тривиальности, точно нарочно кидаемой в лоб нам, со смаком, с причмоками чувственных губ, рисовавших сладчайшую, жирную, приторно-пряную линию! И мне хотелось вскрикнуть: «Хитер нараспашку!» Вдруг, бросив нас, он засопел, отвернулся, гребеночку вынул; пустился причесывать кок; волосы стали гладкие, точно прилизанные; отдалось мне опять: вот просвирня какого-то древнего храма культуры, которая переродилась давно в служащую при писсуаре; мысли же прядали, как пузыри, поднимаясь со дня подсознания, лопааясь, не доходя до сознания, — в бульках слюны, в шепелявых сюсюках.

Небрежно отбулькавши мне похвалу, отвернулся с небрежеством к Гиппиус и стал дразнить ее: ведьма-де! З. Н. отшучивалась, называя его просто «Васей»; а «Вася» уже шепелявил о чем-то своем, о домашнем, — о розовощекой матроне своей (ее дико боялся он); дергалась нервно коленка; лицо и потело, и маслилось; губы вдруг сделали ижицу; карие глазки — не видели; из-под очков побежали они морготней: в потолок.

Вдруг Василий Васильевич, круто ко мне повернувшись, забрызгал вопросиками: о покойном отце¹.

— «Он же — умер!!!»

Вздрог: выпрямился; богомольно перекрестился; и забормотал — с чмыхом, с чмоком:

— «Вы — не забывайте могилки... могилки... Молитесь могилкам».

И все возвращался к «могилкам»; с «могилкой» ушел; уже кутаясь в шубу, надвинувши круглую шапку, ногой не попав в большой ботик, он вдруг повернулся ко мне и побрызгал из меха медвежьего:

— «Помните же: от меня поклонитесь — могилке!»

И тут же, став — ком меховой, комом воротника от нас — в дверь; а З. Н. подняла на меня торжествующий взгляд, точно редкого зверя показывала:

— «Ну, что скажете?»

— «Странно и страшно!»

— «Ужасно! — значительно выблеснула, — вот так *плоть!*»

— «И не *плоть*, — фантазировал я, — *плоть без “ть”*; в звуке “ть” — окрыление; “*пло*” — или лучше два “п”, для плотяности: п-п-п-пло!»

В духе наших тогдашних дурачеств прозвали мы Розанова:

— «Просто “*пло*”!»

Ни в ком жизнь отвлеченных понятий не переживалась как плоть; только он выделял свои мысли — слюнной железой, носовой железой; чмахом, чмыхом; забулькает, да и набрызгивает отправлениями аппарата слюнного; без всякого повода смягнет, ослабнет: до следующего отправления; действует этим; где люди совершают абстрактные ходы, он булькает, дрызгает; брызнь, а — не жизнь; мыло слизистое, а — не мысль.

Скоро стал я бывать на его «воскресеньях», куда убежал от скучных, холодных воскресников Ф. Сологуба, который весьма обижался на это; у Розанова «воскресенья» совершались нелепо, разгамисто, весело; гостеприимный хозяин развязывал узы; не чувствовалось утеснения в тесненькой, белой столовой; стоял большой стол от стены до стены; и кричал десятью голосами зараз; В. В. где-то у края стола, незаметный и тихий, взяв под руку того, другого, поплескивал в уши; и — рот строил ижицей; точно безглазый; ощупывал пальцами (жаловались иные, хорошенькие, что — щипался), бесстыдничая переблеском очковых кругов; статный корпус Бердяева всклокоченною головой ассирийца его затмевал; тут же, — вовсе некстати из «Нового времени»: Юрий Беляев; священник Григорий Петров², самодушная туша, играя крестом на груди, перепячивал сочные красные губы, как будто икая на нас, декадентов; Д. С. Мережковский, осунувшийся, убивался фигурою крупною этою; недоуменно балдел он, отвечая невпопад; с бокового же столика — своя веселая группа, смакующая безобразию мощной вульгарности Розанова; рыжеусый, ощеренный хищно, как бы выпивающий карими глазками Бакст и пропухший беясо, как шарик утонченный с еле заметным усенком — К. Сомов³.

Все — выдвинуты, утрированы; только хозяин смален; мелькнет белым животом; блеснет своим блинным лицом; и плеснет, проходя между стульями, фразочкою: себе в губы; никто ничего не расслышит; и снова провалится между Бердяевым и самодушною тушей Петрова; здесь царствует грузная, розовощекая, строгая Варвара Федоровна⁴, сочетающая в себе, видно, «Матрену» с матроной; я как-то боялся ее; она знала, что я дружил с Гиппиус; к Гиппиус она питала «мистическое» отвращение, переходящее просто в ужас; я, «друг» Мережковских, внушал ей сомнение.

Розанов, взяв раз за талию, меня повел в показную, парадную комнату; она зарела, как помнится, — розовым; посередине, как трон, возвышалось ложе: не ложное; и приводили: ему поклониться; то — спальня.

Однажды он, смяв меня и налезая, щупал, плевал вопросом; и я, отвечая, чертил что-то пальцем по скатерти: произволь-

но; он, слов не расслышав, подставивши ухо (огромное), видел след ногтя, чертившего схему на скатерти, и, точно впившись в нее, перечерчивал ногтем, поплеывал: «Понимаете!» Силился вникнуть; вдруг он запыхался, устал, подражывая, опустил низко голову, снявши очки, протирал их безглазо, впадая в прострацию; физиологическое отправление совершилось; не мог ничего он прибавить; мыслительный ход совершался естественной, что ли, нуждою в нем; так что, откапав матерей мыслей, он капать не мог.

Не забуду воскресников этих; позднее на них пригляделся — впервые я к писателю Ремизову; он сидел, такой маленький, всей головою огромной уйдя себе под спину; дико очками блистал; и огромнейшим лбом в поперечных морщинах подпрыгивал из-под взъерошенных, вставших волос; меня вовсе не зная, устоялся, как бык на красное; вдруг, закрививши умильные губки, он мне подмигнул очень странно; мне сделалось жутко; и он испугался; сапнувши, вскочил, оказавшись у всех под микиткой; пошел приставать к Вячеславу Иванову:

— «У Вячеслава Иваныча — нос в табаке!»

И весь вечер, сутуленький, маленький, странно таскался за В. И. Ивановым; вдруг, подскочивши к качалке, в которой массивный Бердяев сидел, он стремительно, дьявольски-цапким движением перепрокинул качалку; все, ахнув, вскочили; Бердяев, накрытый качалкой, предстал нам в ужаснейшем виде: там, где сапоги, — голова; там же, где голова, — лакированных два сапога; все на выручку бросились; только не Розанов, сделавший ижицу, невозмутимо поплескивал с кем-то.

Однажды я днем зашел; он посулил подарить свою книгу, редчайшую («О понимании»): «Вы приходите за ней; я вам ее надпишу». Закрученный вихрем, признаться, о книге забыл; не зашел; он же ждал: приготовился; и страшно обиделся.

В этот приезд я его повстречал на Дункан; был я с Блоками; взяв меня под руку, он недовольно поплескивал перед собою, мотаясь рыжавой своей бороденочкой:

— «Хоть бы движение как следует; мертвый живот; отвлеченности, книжности... нет!»

И, махнув недовольно рукою, он бросил меня, не простившись.

Поздней его встретил в «Весах»; М. Ф. Ликиардопуло⁵, гостеприимно его усадив на диван, перед ним разложил животы оголенных красавиц; и Розанов мерил их, как специалист по вопросу, высказывая очень веско и строго суждения, геометрические, — об удобствах или неудобствах младенца: лежать — в

животе такой формы; в нем был не цинизм, — что-то жреческое, исправлявшее свою обязанность; вдруг он воскликнул:

— «Вот это — живот: согласился бы крестным отцом быть!» — плевнул он, довольный.

При встречах меня он расхваливал — до неприличия, с приторностями; тотчас в спину ж из «Нового времени» крепко порою отплевывал; там водворился Буренин, плевателъ известнейший; Розанов, тоже сотрудник, равнялся с другими: по плеву; меня это не занимало; при встречах конфузился он; делал глазки и сахарил; значит, — был плев; и поэтому как-то держался в сторонке от Розанова до момента еще, когда прежние его друзья вдруг с усердием, мне непонятным (чего ж они прежде дремали?), его стали гнать и высаживать из разных обществ; а он — упирался; я несколько лет не бывал у него уже.

В 1908 году мокрая осень стояла в Москве; день плаксивился лепетнем капелек; небо дождями упало; весь этот период покрыт мне тоскою и тьмою; в гнилом и вонючем ноябрьском тумане, когда электрический свет проступает, как сыпь, раз брел уныло я, пересекая Тверскую; у памятника кто-то дерг — за рукав; оборачиваюсь: смотрю, — мокренькое пальтецо, шапка мягая; в скважинах поднятого воротника — зарыжела борода: метелкой; рука без перчатки хватается: мокрая.

Розанов!

— «Откуда это, Василий Васильич?»

— «Да вот — проездом; спешу в Петербург; дожидаясь заведующего газетой. — Схватился руками за локоть и ижицу сделал: — Голубчик мой, не покидайте меня; делать нечего!»

Дергая за руку, дергаясь и пришепетывая, стал он водить и туда и сюда в закоулках, завешанных грязным туманом; воняло; и — брызгали шины; калошами черпали воду; вдруг кинулись мороки красные, белые, синие, «Часы Омега», брызнь кинематографов, перья накрашенных дам; среди мороков — Розанов, сделавши ижицу, мокрой губою выбрызгивал свои «ужасики»: об аскетах святых; и прохожие, остановившись, оглядывались.

Затащивши в кофейню Филиппова, меж освещенными столиками, продолжал он выплевывать «бредики», — мокрый, потертый, обтрепанный до неприличия, — средь щеголей, пшютов, пернатых и размазанных дам; вдруг он выразил немотивированный интерес к А. А. Блоку, к жене его, к матери, к отчиму; я же был с Блоком — в разрезе; и мне было трудно на эти интимные темы беседовать с В<асилием> В<асильевичем>, он сделался зорким; трясущейся, грязной рукою хватал за пальто, рысино глазки запырскили вместе с очковыми блестками; голову набок скло-

нив, залезая лицом своим, лоснясь в лицо, стал выведывать, как обстоит дело с полом у Блока.

И тут же, среди чмыхов и брызг, обхвативши карманы свои, стал просить у меня — себе в нос:

— «Уж простите, голубчик, в кармане платка нет; а — на-сморг, нет мочи; у вас нет платка?»

— «Есть, нечистый!»

— «Давайте же, миленький, какой ни есть: не побрезгую!»

И, отхватив мой платок, суетился над ним: де заведующий ожидает; мы вылетели на бронхитную, рыжую от освещения пырснь; он в ней — канул.

И вновь для меня провалился сквозь землю: на год.

.

Юбилейные дни 1909 года; полный зал: фраки, клаки; Москва, вся, — здесь: чествуют Гоголя; и даже я надел фрак, мне пришедшийся впору (не свой, а чужой); как бездомная психа, ко мне притирается Розанов, здесь сиротливо бродящий; места наши рядом — на пышной эстраде; А. Н. Веселовский⁷, уже отчитавший, плывет величаво к Вогюз⁸ и другим знаменитостям; Брюсов, во фраке, — выходит читать; В<асилий> В<асильевич> в уши плюется, мешая мне слушать; а я добиваюсь узнать, от кого он приехал сюда, что собой представляет он: общество, орган, газету? Мы все — «представители» здесь (на эстраде); он делает ижицу, делает глазки; и явно конфузится:

— «Я?... От себя...»

Значит, — «Новое время», мелькает мне; и мне, признаться, не очень приятно с ним рядом; он, взявши под руки, не отстаёт; и мы бродим в антракте, толкаясь в толпе; уж не он меня водит, а я его, в тайной надежде нырнуть от него: меж плечей; нам навстречу — Матвей Никанорович Розанов⁹; вообразите мое удивление: друг перед другом два однофамильца, согласно расставивши руки и улыбнувшись друг другу, сказали друг другу:

— «Матвей Никанорович!»

— «Василий Васильич!»

Такие различные Розановы!

У меня сорвалось невольно, весьма неприлично:

— «Как, как, — вы знакомы?»

Матвей Никанорыч, представьте мое изумление, воскликнул:

— «По Белому, — да!»

— «Как “по Белому”?»

— «Да не по вас, а по городу Белому, где я учительствовал».

И Василий Васильич сюсюкнул с подъярзом:

— «Матвей Никанорыч, — мой учитель словесности — как же!»

И, глазки потупив, такой пепиньерочкой, чуть ли не с книксеном, стал еле слышно поплевывать что-то: Розанов — Розанову.

Я их бросил, нырнув меж плечей; и с тех пор никогда одного из них уже не видел; Матвея Никанорыча видывал после; Василья Васильевича — никогда, никак!





Д. А. ЛУТОХИН

Воспоминания о Розанове

1921 г. — год Достоевского¹. И помяная его, хочется обозреть и тех, кто находится в его орбите.

В сущности говоря, автор «Преступления и наказания» не оставил после себя определенной школы. Правда, влияние его было громадно. Весь европейский модернизм отразил на себе влияние его могучего гения. Писатели крупные у него учились, бездарные ему подражали, списывали из него. Но продолжателей его в области русского романа не было. Многих зато наших мыслителей влекло на страдную дорогу философских исканий Достоевского... Никому, однако, не удалось уйти по этому пути дальше него, кроме Розанова.

Но тогда как все «продолжавшие» Достоевского приходили к нему не сразу, а после долгих исканий, — и, несмотря на усвоение его мировоззрения, оказывались в «свойстве», а не в «родстве» с ним, пожалуй, один Розанов поражает органической близостью Достоевскому. Если литературные направления создаются не только влиянием больших мастеров — случайных продуктов слепой игры стихий — но и какими-то внутренними течениями в области идейного творчества, если в истории литературы приходится открывать как бы массивные горные системы, то нет лучше к тому примера: Розанов — «отрог Достоевского». Оба они из одной жилы.

Зимой 1903/04 года, будучи на 1-ом курсе Петроградского Технологического Института, куда попал из провинции, я с большим любопытством посещал петербургские литературные круги. Зачитывавшись до того модернистской литературой, был я удручен, однако, мещанским стилем тогдашней нашей литературной общественности. Сплетничали, хоть и с политической окраской, но пошло; мелко спорили, вульгарно флиртовали. Было тоскливо.

Случайно товарищ-технолог И. С. Степанов (тогда с<оциал>-д<емократ>) предложил мне познакомиться с В. В. Розановым, которого я очень ценил, — я с радостью откликнулся на приглашение и в одно из воскресений попал на вечерний «жур-фикс» к Василию Васильевичу на Шпалерную, 31². Это был период, когда Вас<илий> Вас<ильевич> жил наиболее зажиточно. Квартира была большая, светлая, с видом на Неву. Гостиная и кабинет завалены были книгами; много редких фотографий; какие-то особенно православные иконы, статуэтки Изида, католической Мадонны. Все как-то значительно, необыденно, какая-то глубокая культура в рамке русской крепкой семейственности. Это было то, по чему мне тосковалось, и я стал аккуратным посетителем розановских воскресений, изредка заглядывал к Вас<илию> Вас<ильевичу> и в другое время.

В столовой в воскресные вечера был всегда изящно сервирован чай. На столе торты, вино, фрукты. За самоваром обычно сидела жена Розанова — Варвара Дмитриевна или его падчерица — Александра Михайловна Бутягина (автор нескольких талантливых беллетристических произведений). На другом конце большого стола, поджав под себя одну ногу и непрерывно куря, восседал Василий Васильевич. Шел ему тогда 48-ой год. Вот его внешний облик: рыженький, худой, небольшого роста, с маленькими близорукими рысьими глазами, чуточку лукавыми, с высоким голосом и с какими-то немножко шаркающими мягкими шажками. Был он застенчив и не любил больших речей, публичных выступлений. Беседа больше шла около него — с ближайшими соседями по столу. Остальные либо прислушивались, либо вели свои разговоры. Общество у В<асилия> В<асильевича> бывало достопримечательное: кое-кто из Дух<овной> Академии и Рел<игиозно>-фил<ософского> общества, из редакций перцовского «Нового пути», «Мира искусства», а изредка, очень изредка кто-нибудь из «Нового времени». Там его недолюбливали. А некоторые, как Меньшиков и Буренин, и вовсе не переносили. Понимал и любил его один старик Суворин, также отогревший и Розанова, изнывавшего в провинции в бедности и не на любимом деле, как в свое время пригрел Чехова. Много за это отпустится грехов А. С. Суворину.

Встречал я у Розанова Мережковских, Бердяева, Ремизовых, Белого, Сологуба, Вяч. Иванова, Бакста, о. Петрова, И. Л. Щеглова³, Е. А. Егорова. Бывала и молодежь, студенты, литераторы: Пяст, Евг. П. Иванов, Н. Н. Ге⁴, музыканты, В. В. Андреев, Зак⁵. Бывали и просто молодые люди. Вспоминаю прелестную

барышню, дочку — *horribili dictu* * — какого-то чиновника из знаменитого департамента у Пантелеймоновского моста⁶. Розанов звал ее Венерой — и она действительно была очаровательна.

Очень преданы Розанову были молодые Ге и Иванов. В<асилий> В<асильевич> среди них напоминал греческого философа в своей гимназии. Они вопрошали — а он разрешал все их недоумения. Беседы тянулись долго — часов до 2-х ночи. Прощаясь, В<асилий> В<асильевич> целовал тех, кто особенно его расположил к себе в этот вечер. Иногда дарил что-нибудь на память, какую-нибудь вещь, автограф, портрет. Не любил только он дарить свои книги — особенно нам, молодежи. «На все сумеете вы достать деньги, только на книжку жалко. А хорошо читается та книга, на которую пятаки откладывают». Гасли огни, — и В<асилий> В<асильевич> уходил один в свой кабинет, к своим монеткам, рассматривая которые он проводил целые часы по ночам, либо садился писать.

Писал тогда Розанов для «Нового пути» и для «Нового времени». В последнем Розанову было нелегко работать. Многие из его статей редакция газеты бросала в корзину. Хорошо, если вмешивался Суворин. Но В<асилий> В<асильевич> искал большой газетной аудитории, а потому мирился с «Новым временем». Для него было все равно, где писать свои, розановские мысли. Хотелось лишь для них больше резонанса. В<асилий> В<асильевич> был бесконечно аполитичен.

Весной 1905 г. я уехал в Париж. Вас<илий> Вас<ильевич> просил меня передать привет Струве. Оказалось потом, что такие приветствия П<етру> Б<орисовичу> посылались и с другими. Осенью 1905 г. Минский и Ленин начали было издавать «Новую жизнь». Розанов, зная, что я принадлежу к крайней левой части студентов, почему-то именно меня избрал, чтобы позондировать почву — нельзя ли ему начать сотрудничать в упомянутой газете. Увы, я не преуспел в этой просьбе. Использовать Розанова политической газете было невозможно. Как обрадовался В<асилий> В<асильевич>, когда Сытин пригласил его работать в «Русском слове». Суворин дал согласие — при условии сотрудничать под псевдонимом — и в «Русском слове» стали появляться фельетоны Варварина (по жене — Варваре).

По заказу Вас<илий> Вас<ильевич> писать не умел. Помню, раз по поводу рескрипта Булыгину, от 18 февраля 1905 г.⁷, Розанов поместил в «Новом времени» восторженное письмо о милости царя, подарившего народу право выборного представительства:

* Ужасно сказать (лат.)

очевидно, В<асилию> В<асильевичу> была сделана в редакции соответствующая злокачественная прививка, и В<асилий> В<асильевич> искренно заразился умилением. (А было это вскоре после 9 января, глубоко его расстроившего, хоть он и говорил тогда, что «на крови» свобода будет крепче.) Жена В<асилия> В<асильевича>, простая, но бесконечно милая — сердцем почувствовала всю неуместность его дифирамба государю. В<асилий> В<асильевич> был крайне сконфужен и имел очень виноватый вид. Не любила жена Розанова и то, что В<асилий> В<асильевич> избрал своей темой пол — и часто пеняла его за это. В<асилий> В<асильевич> сердился и, конечно, теме не изменял.

Многие знают писателя Розанова — правда, не все еще оценили этого удивительного художника-мыслителя. Но не многие знали Вас<илия> В<асильевича>, как собеседника. Пожалуй, в беседе В<асилий> В<асильевич> был тот же, что и за письменным столом. «Мысли стекают у него с пера», говорил он. Но так же не надумана, даже неожиданна и для него самого была речь его, когда ничто его не смущало. Говорить публично он не умел, несмотря на педагогическую карьеру. А вот за стаканом чая с двумя-тремя приятелями — говорил он прекрасно, глубоко и удивительно смело. Темы были все те же, религия, пол, литература. Очень интересовали его писатели наши, изучавшие национальное русское лицо: славянофилы, К. Леонтьев, С. Рачинский⁸, А. А. Козлов⁹.

В связи с изучением вопросов пола Розанов построил собственную характерологию. В частности, и писателей делил он на женственных и мужественных. К женственным причислял он Лермонтова и себя. Это не было заимствованием. Вейнингера¹⁰ он не читал — или прочел 2–3 страницы из середины. Читать внимательно современных писателей он не любил: не стоили его внимания. Вот другое дело — писания святых отцов, археологические изыскания.

Литературный критик, Розанов совершенно лишен был *логической* способности, умения *последовательно* мыслить — единства апперцепции, как говорил Зиммель¹¹.

Его ассоциации были всегда не по смежности, а по сходству. Он не был мыслителем, а художником мысли — умел мыслить только образами. Алогический ум — ум, который и определяет по Вейнингеру женственные натуры. Но мысль, капризная, произвольная, неожиданная — пенилась, искрилась, бурно играла в Розанове.

В поле боготворил он женское начало во всех его формах. Как-то возвращаясь от него пешком на Троицкий проспект, часу в третьем ночи, я поражен был, видя, как какая-то трепаная гнилая проститутка тащила к себе гимназиста, подростка лет 14 и потом рассказал об этом, оплакивая мальчика, Розанову. «До-

рогой мой — да ведь она же как на зеленом лугу будет отдыхать с ним», — обрадовался за нее Розанов.

Через несколько лет шел я пешком вечером с Розановым, кажется, из театра, по Невскому и я что-то сказал о проходящих невских «девочках», очень подчеркнув кавычки. Но как осердился Розанов: «Никогда не говорите этого гнусного слова: каждая женщина свята. Я каждую мысленно напутствую крестным знамением».

Очень интересуясь всем о поле, он уверял меня, что ни разу не был в обществе проститутки, в публичном доме, в кафешантане.

В то же время он легко прощал пороки. Как-то разговорились о мастурбации у девушек-подростков. «Уверен, — заметил он, — что грешна каждая: иметь в кармане конфеты, да не лакомиться» (sic!).

Многого я не понимал в нем, и он удивленно говорил мне: «В вас какая-то едкость есть, как у католического патера».

Религией Вас<илия> В<асильеви>ча был пантеизм — и природа распадалась для него на элементы мужского и женского. Всегда и во всем бежал он борьбы, противоположностей и высшей формой жизни считал примирение полов в здоровом браке. Не для пошляков говорил он, когда предлагал ложе новобрачных ставить в храме. Ведь здесь источник жизни и потому хотел он освятить начало брака не только молитвой, но и всенародностью. Дурных вещей ведь публично делать не принято.

Повседневное не интересовало Розанова, как вещь *an und für sich* *: он все рассматривал *sub specie aeternitatis* ** — и презренна была ему политика. Вот почему и просиживал он за древними монетами целые ночи.

Влекло его и к метафизике, к потустороннему — «в мир неясного и нерешенного». В этом, как и в своеобразном гуманизме его, близость его с Достоевским, которому родственен он и по языку острому, напряженному, вещему.

Все земное казалось ему прекрасным. Бога низводил он на землю, усиживая пить с собой чай, хотел убедить его. Розанов — это «человек из подполья» Достоевского, но гениальный в утверждении обывательщины. И облакал он эту обывательщину в прекрасные, вечные формы — из любви к человеку, жалея человека.

Российская «крайняя левая» помышляла о материальных благах для народа — «чтобы хоть через триста лет марки стоили на копейку дешевле», как мечтает где-то у Глеба Успенского

* сама по себе (нем.)

** с точки зрения вечности (лат.)

сельский писарь. А Розанов хотел сейчас всех насытить материальными благами.

Его раздражало приглашение жертвовать целыми поколениями во имя неизвестного будущего. Как и Достоевскому, Розанову именно за это противна была радикальщина русская всех толков, но за это же восставал он против самого Христа.

Розанов не хотел ничьих страданий — и звал всех униженных и обойденных к семейственности, к церкви, к национальной культуре. Величайших страдальцев видел он в «людях лунного света», к которым он причислял и Христа — людях слабых, людях, лишенных способности любить и множиться. Физиологической неспособностью жить, как все — «нормально» объяснял он неприемлемость для «революционеров» исторических традиционных форм жизни.

Религию почитал он ради умеряющей волнения души обрядности, ради особого ее быта... ради предписываемой ею гигиены.

Против Христа восставал дерзновенно — ведь он искренно православным был: не терпел жертвы, умерщвления плоти. Ближе ему был Моисей, еще в начале 1900-х гг. увлекался он изучением иудаизма.

Многие считали его антисемитом за его статьи о ритуальных убийствах. Отсюда «легенда», что В<асилий> В<асильевич> раскаялся в антисемитизме, перед смертью. Раскаиваться было не в чем. Иудея была второй его родиной — духовной. Детский интерес В<асилия> В<асильевича> к древним таинственным культам, нередко жестоким (перечитайте хотя бы поразительные сцены «Саламбо»!) ¹² вызвал у В<асилия> В<асильевича> теорию о том, что у евреев была издавна тайная секта, приносившая человеческие жертвы. При этом он подчеркивает жестокость и многих христианских сект (хлысты, самозакапыватели и т. п.). И в допущении возможности ритуальных убийств В<асилий> В<асильевич> не видел ничего отрицательного для истории евреев. О том же, что погромщики постараются использовать его теорию против еврейства, Розанов не думал: был он наивным ребенком в политике.

Кажется, озлобленный травлей против него за статьи о ритуальных убийствах, Розанов написал много несообразного и дурного. Но как все внешне робкие, застенчивые люди, он иногда терял самообладание. И обидчив он был очень. (Интимного для него не существовало — и о противоестественных пороках какого-нибудь друга мог он *en toutes lettres* * написать фельетон в газете. А вот когда я коснулся в беседе с ним его личной жизни,

* напрямик, без сокращений (*франц.*)

отношения к первой жене и т. п., — о, как разобиделся на меня В<асилий> В<асильевич>! Какие слова он злобно изрыгнул! Человек он все же был, хоть и гений (?) — со своими слабостями и грехами, маленькими и большими.)

Недолго хорошо жил В<асилий> В<асильевич>. Умер Суворин, прекратились издания рел<игиозно>- фил<ософских> ежемесячников «Нового пути», «Вопросов жизни». В «Русской мысли» Розанов оказался лишь гастролером. Не везло В<асилию> В<асильевичу> и в домашней жизни. Тяжко, неизлечимо захворала любима жена В<асилия> В<асильевича>. Он почему-то себя считал виновником этой болезни. Лечение поглощало много средств. Скромнее становились квартиры. Переехал на Звенигородскую, в квартиру поскромнее, а потом и в совсем скромную квартиру, на Коломенскую¹³. За год, кажется, до смерти перебрался он в Сергиево-Троицкий посад. Здесь пришлось испытать Розанову форменную нищету. Один из москвичей рассказывает мне, что В<асилия> В<асильевича> можно было незадолго до смерти встретить на вокзале собирающим окурки.

Умер его любимый единственный сын (остальные дети — дочери). Род Розановых оборвался в мужском колене — это было великим его горем. До конца жизни, однако, сохранил В<асилий> В<асильевич> творческий пытливый свежий ум, яркий, острый язык. Только вот школы после Вас<илия> Вас<ильевича>, как и после Достоевского, не осталось. И Мережковский, и Шестов, и некоторые другие современники Розанова многому у него научились, но они все же не образуют его школы.

Была около него молодежь, любящая, насыщенная розановщиной — но, не знаю почему, розановщина их сушила, и никого не дал литературе этот кружок молодежи, «гимназия» «циника Розанова».

Не только желание в дни о Достоевском помянуть его литературного «двойника», но любовь к незабвенному В<асилию> В<асильевичу> продиктовали мне настоящую краткую о нем памятку. Но нужны ли воспоминания о Розанове?

С откровенностью, большей чем у Руссо, написаны им автобиографические признания «Уединенное», два короба «Опавших листьев». Книги, увы, все еще не оцененные.

Гениальность Достоевского раскрылась теперь для всех, даже для политических его антиподов. Родной Достоевскому Розанов, могучий его «отрог», может быть, не такой широкий сложный мыслитель, как Ф<едор> М<ихайлович>, ушел в своих откровениях дальше, оказывался дерзновеннее.





С. П. КАБЛУКОВ

О В. В. Розанове (из дневника 1909 г.)

18 февраля 1909 г. Вчера в № 38 «Русского слова» напечатана прекрасная статья В. В. Р<озанова> «Анн<а> Павл<овна> Философова»¹. Особенно хороша в ней характеристика моего доброго знакомого, Виктора Петровича Протейкинского², человека замечательных душевных качеств и весьма самобытного, оригинального в лучшем смысле этого слова.

22 февраля. Сегодня днем я был у В. В. Розанова. Он отдал мне для печатания в т<ипографии> «Н<ового> вр<емени>» «Итальянские впечатления». Шрифт и бумагу я выберу по образцу «Любовь сильнее смерти» М<ережков>ского (изд. «Скорпиона»)³.

Кроме этого взял у него старинный (XVII в.) требник с выписками из «Чина испов<едания> иноков», чтобы сделать перевод для «Темных лучей»⁴ на русский язык, статью «Родительство и церковь», не пропущенную в печать ред<акцией> «Н<ового> вр<емени>», и еще 2 статьи — «Афродита и Гермес» и «Судебное недоразумение в Берлине» — о книге Фореля «Половой вопрос» и о «Процессе Эйленбурга»⁵. Последние две предложим «Весам» и затем «Золотому руну».

Случайно зашел разговор о м<инистре> вн<утренних> д<ел> Столыпине: Розанов охарактеризовал его как добродушного, простого и неглупого русского дворянина, помещика, серьезного, с большой силой воли и совсем не жестокого. Я напомнил ему о «столыпинском галстуке». Вот ответ Розанова почти буквально. «Его брат, А. А. С<толыпи>н⁶ говорил мне, что П. А. давно хотел отменить усиленные охраны, военно-полевые суды и казни, но Николай II не позволяет этого. Он мстит России за перенесенные унижения во время русско-японской войны и за октябрьские дни 1905 года. А Николай II, продолжал Розанов, есть мелкая, мстительная и низкая душонка, человек очень жестокий, хотя производит самое чарующее впечатление на всех,

кто с ним имеет дело. Подобного лицемерного и лживого государя не было в России со времен Александра I. Он совершенно не имеет ума государственного и в делах государственных есть как бы пустое место. С. Ю. Витте он ненавидит, а Витте его очень боится (признание С. Ю. Витте А. С. Суворину).

Конечно, Розанов хвалил очень А. С. Суворина и подарил мне текст адреса Суворину от сотрудников «Нового времени», Розановым написанный⁷. Р<озанов> утверждает, что Сув<ори>н (А. С.) много левее и порядочнее своей газеты и говорит, что у него имеются письма А. С. Суворина, в коих тот ругает некоторые статьи в газете «непечатными» словами. Будто только старость мешает ему отнестись к курсу газеты внимательно. К общественным недостаткам С<уворин>а Р<озано>в относит его взгляды на евреев и на университетский вопрос. Р<озано>в прямо говорит, несмотря на это, я люблю и уважаю Ал<ек>сея Сер<гееви>ча, ибо он из корысти не менял взглядов, тогда как А. А. Суворин⁸ из отчаянного юдо-, финно-, украино-, поляко-, и т. д. «фоба» вдруг превратился в «фила».

3 марта. Вчера вечером мною сданы в печать «Итальянские впечатления» В. В. Розанова. Бумага — «верже» желтоватая, шрифт и формат — как у книги Мережковского «Любовь сильнее смерти» изд. «Скорпиона».

4 марта. Письмо от Розанова:

Спасибо, дорогой Сергей Платонович! Ну, вот и двинулось вперед. А то все бы стояло. Варя в понедельник пыталась встать, — но слаба и во вторник опять лежит. Ваш В. Розанов.

5 марта. В статье Вас. Варварина (В. В. Розанова) в № 52 «Русского слова» (5 марта — «У гроба о. Иоанна Кронштадского») сказано: «...на всенощной в самом конце ее поют... “свете тихий, святые славы”» и пр. Это очень хорошо! Очевидно, для В. В. вечерня и «всенощная» одно и то же...

7 марта. На вчерашнем собрании у Вяч. Ив. Иванова⁹ (см. л. 116 об) присутствовали: председательствовал Д. В. Философов, В. В. Розанов, С. А. Алексеев¹⁰, Вяч. Ив. Иванов и С. П. Каблуков. <...> После заседания присутствующие обменялись мнениями о В. В. Розанове как гениальном противнике христианства. <...> Как «куръез» упомяну здесь, что на собрании у Вяч. Ив. Иванова В. В. Розанов предложил меня в председатели секции, ссылаясь на мою энергию и осведомленность. Это предложение не могло быть принято прежде всего мною самим и потому было отменено.

15 марта. Сегодня же Варв<ара> Дм<итриевна> Розанова сообщает, что В<асилий> Вас<ильевич> желает напечатать «Ит<альянские> впеч<атления>» в количестве 1200 экземпляров.

22 марта. В «Новом времени» напечатано письмо В. В. Розанову еп. Вологодского Никона¹¹, по поводу откр<ытого> письма Р<озано>ва Никону по вопросу о праздниках. Должен признать-ся, что в этом письме Никона очень много верного.

26 марта. Вчера вечером, около 7 ½ ч., был у меня В. В. Розанов, желавший видеть корректуру своей книги и принесший еще две статьи для нее, но не застал меня дома <...> Упомянутые статьи носят заглавия «Возможный “гегемон” Европы» и «Дрезденская Мадонна»¹². Вторая вполне уместна в «Итальянских впечатлениях», а первую, по-моему, печатать в этой книге совсем не место. Это я и написал Розанову в письме от 26 марта, вместе с объяснением причин моего отсутствия из дома 25-го вечером.

30 марта — Светлая Седмица. <...> В «Нов<ом> вр<еме-ни>» Розанов в неподписанной передовице говорит о тайне «умершего и воскресшего Бога» — статья плохая. Он же в «Русском слове» дал куда более интересную статью «Между скорбью и радостью», где говорит об утопичности самой мысли о возможности белого христианства, осью «которого была бы не Голгофа, а Вифлеем и чудо радости дарующего Воскресения».

1 апреля. Сегодня я был у Вас<илия> Вас<ильевича> Розанова и взял у него для чтения статьи: 1) «Отчего падает христианство» — доклад, прочитанный весной 1907 г. в СПб Р<елигиозно>-ф<илософском> об<щест>ве; 2) «Позлащенные кумиры» («Русское слово», 1907 г.); 3) «Нечто о “переживаниях” и переживших» («Русское слово», 1906 г.); 4) «Первые шаги церковной реформы» (не напечатано). Эти статьи весьма интересны. Затем взяты мною и статьи «Дрезд<енская> Мадонна», «Религия Кальвина», «Капище Молоха», «По католической Германии» и «Возможный “гегемон” Европы» для печатания в виде прибавления к «Итальянским впечатлениям»¹³. В. В. был нездоров, почему я избегал разговоров на «субъективные темы» (из боязни утомить его).

12 апреля. Сегодня я получил письмо от художника Льва Самойловича Бакста, приглашающего меня завтра для переговоров об обложке «Итальянских впечатлений». Одобрив выбранную мною вильетку, он советует набрать слова «В. Розанов. Итальянские

впечатления» шрифтом 30-х годов, обещая даже нарисовать заглавие в случае, если такого шрифта нет в типографии Суворина.

13 апреля. Сегодня я был у Л. С. Бакста, обещавшего завтра прислать рисунок обложки для «Итальянских впечатлений».

16 апреля. Вчерашнее заседание Христианской секции¹⁴, собравшее чуть не более 50-ти человек, прошло очень интересно. <...> Д. С. Мережковский правильно сказал, что Розанов лукавит и хочет разрушить дело христианства в России. Это было на сегодняшнем собрании: при этих словах Вас. Вас. Розанов хитро улыбался.

24 апреля. Сегодня вечером я получил сброшюрованную в оригинальной обложке книгу В. В. Розанова «Итальянские впечатления», которая поступит на днях в продажу в книжный магазин Ив. Ив. Митюрникова¹⁵ по цене 1 р. 50 к. (так назначено мною ввиду того, что печатание 2400 экз. книги обошлось около 900 рублей) с уступкой Митюрникова¹⁵ по 35 %.

12 мая. Вчера вечером, вернувшись от Д. Вл. Знаменского, я нашел у себя на столе присланный Розановым экземпляр «Итальянских впечатлений» с такою странною надписью: «Преданному и самоотверженному оруженосцу — но не Санчо Панса — Сергею Платоновичу Каблукову “рыцарь печального образа” В. Розанов».

Ок. 7 июня. Письмо В. В. Розанова. Деревня Лепенене, дача Хайкен, № 4¹⁶.

Сергей Платонович! Ведь нам надо повидаться. Не заедете ли в воскресенье часов в 10 утра? Или — часов в 6 вечера? Буду чрезвычайно рад. Деревня Лепенене, дача Хайкен, № 4. От Вас извозчик 30–40 к., берите «попутного», возвращающегося на Черную Речку или в Лепенене. Ваш В. Розанов.

Михаил Александрович дал «carte blanche» *, — с оплатой из выручки и к концу 2-го года — остаток. Издавать можно, что хотим. И об этом поговорим. Меня манит «Книга афоризмов». А что же «Легенда»?...???

Приписка сверху: Если в воскресенье нельзя, приезжайте когда хотите — к 5 час. дня. Всегда — Ваш.

16 июня. В воскресенье [14 июня 1909 г. — В. Ф.] был я у Вас. Вас. Розанова, живущего в Тюрисево, в 11-ти верстах от меня. Он очень мило и трогательно забавен в своей неприспособлен-

* карт бланш, полная свобода действий (франц.)

ности к «хозяйству» жизни. Рассеян безмерно, ибо постоянно углублен умом и мыслию в занимающие его вопросы, действительно значительные и интересные, но зато он подлинно глубокомыслен в высшем и лучшем значении этого слова. Рассеянность эта проявилась на днях в таком случае: поехал он в П<ете>р<бур>г на ночь, а с утра следующего дня занялся посещением знатных дам, побывал у сестры А. В. Карташева, где познакомился еще с двумя девицами, и зашел к Марии Адамовне Тернавцевой¹⁷. После «трудового» дня приходит в редакцию, где и встречают его вопросом: «В. В.! Почему это вы сегодня без галстука?» Это его и смутило, рассказывая мне этот случай, он сказал, что женщины очень коварны и что М. А. Т<ернавцева> должна была сказать ему, что он позабыл надеть галстук, и дать галстук мужа. Но она промолчала, хотя, конечно, заметила.

Иной раз ему случается попадать в поезда, не доходящие до Териок... Оставаясь в Петербурге, он почти голодает, питаюсь яйцами, так как не может есть в ресторане, — противно и невкусно. В поездах и трамваях делает попытки заговорить с попутчиками, но тщетно, ибо его замечания встречаются холодным молчанием глупых (о, да!) пассажиров. Но все это ничего не значит по сравнению со следующим — *не-анекдотом*: он написал и едва не напечатал в «Н<овом> вр<емени>» трогательный и сочувственный некролог живого человека. Дело в том, что недавно скончалась в Луге мать Вл. Сол<овье>ва — Поликсена Владимир<овна> Соловьева, имеющая дочь того же имени, по отчеству Сергеевну, незамужнюю и известную в литературном мире поэтессу, пишущую под псевд<онимом> «Allegro»¹⁸. Р<озано>в, узнав от жены Репина, что умерла Поликсена Соловьева, и не разузнав точно, какая именно, написал прекрасный некролог Соловьевой-Allegro и сдал в печать. При чтении корректуры в редакции обратили внимание, что некролог говорит о П<оликсене> С<ергеевне> С<оловьевой>, тогда как обычное извещение гласило о смерти П<оликсены> В<ладимировны> С<оловьевой>. Недоумение выяснилось и статье не дали хода. Но В. В. мало смущен этим и хочет даже послать текст некролога мнимоумершей поэтессе, которая, я думаю, прочла бы его не без удовольствия. Один оттиск он подарил мне и таковой найдется у меня среди других статей Розанова.

Он ничего не читает, ибо думает, что знает все, что может дать и сказать наша цивилизация. Обещал М. Гершензону отзыв о книге Вольтинского «Ф. М. Достоевский»¹⁹ и не хочет ее читать, жена Репина (Нордштрём Р.(?))²⁰ посвятила ему свою книгу «Крест материнства», из нее он прочел лишь первые 50 страниц, и то после того, как автор спрашивал отзыв.

Теперь он занят мыслями об издательстве своих статей, конечно, при моей помощи. Мы решили выкупить «Темные лучи», допечатать их, это — во 1). Затем издадим «Книгу афоризмов»²¹ и «Корни русского сектантства»²² — сборник статей о русских сектах. Для «Весов» он пишет статью о Гоголе²³, для чего ему понадобился «Στρώματα» Кирилла Ал<ександрийского>²⁴, а напечатанную статью «Афродита и Гермес» («Весы», май с. г.) хочет послать ректору Петерб<ургской> академии еп. Феофану²⁵, ибо там упоминает о значении тетраграммы имени Божия, а Феофан — специалист этого вопроса.

Мы много беседовали о Гр<игории> Петрове²⁶. Наконец и Вас. Вас. пришел к выводу, что сей мученик — сущий пустозвон, самый обыкновенный либеральный поп, не чувствующий и не понимающий вовсе ни мистики, ни «метафизики» христианства и годный, да и то «с грехом пополам», быть дамским проповедником «разбавленного» христианства в 60 %. «Его и сравнивать с Михаилом²⁷ нельзя» — сказал В. В. и отметил безмерное славолубие Петрова и муки его от сознания падающей популярности.

Еще В. В. жаловался на притеснения редакции «Н<ового> вр<емени>», требующей от него коротеньких статей, вроде тех, как пишет Вл. Азов²⁸ и др., разбивающей даваемые им большие статьи и не позволяющей писать фельетон. Это угнетает Вас. Вас. и утомляет его и раздражает нервы

26 июня. 23-го июня, вернувшись из Петербурга, куда я выезжал для получения жалования в Р<еальном> у<чилище>, я был у Вас. Вас. Розанова, где и ночевал с 23 на 24 июня. Темой нашего разговора были «Елевсинские таинства». Р<озано>в думает, что на этих мистериях предавались содомии, лесбосской любви, кровосмешению и др. половым «аномалиям». Интересно также его объяснение нектара и амвросии греческих мифов как половых выделений мужских и женских «genitalia». Сравн. «спермин» пр. Пеля, жидкость Броун-Секара — как «эликсиры молодости». Красоту монашества он видит в духовной содомии, крайне редко принимающей формы мужеложества. Указывает на «Федр» и «Пир» Платона как на идеологию содомии. Среди его знакомых он знает один случай кровосмешения (отца и дочери) из высшего петерб<ургского> об<щест>ва, несколько случаев садизма и содомии (последнее у Чайковского, Леонтьева и ? [жив, почему Р<озано>в не хочет говорить фамилии]). Вл. Серг. Соловьева он также связывает с некоторыми половыми аномалиями на основании одного письма.

Его статья о Гоголе, первая половина которой уже отправлена в «Весы»²⁹, имеет в виду «Страшную месть», темой которой является также кровосмешение.

7 июля. Письмо от В. В. Розанова. Получено 7-го июля. С. Каблуков.

Дорогой Сергей Платонович! Я на даче *только* понедельник, вторник, иногда среду, затем суббота и воскресенье. *Это* воскресенье буду дома. Отдают в «Темн<ых> рел<игиозных> луч<ах>» за 1000: подсказал Карбасников³⁰, а Спешнев³¹ готов был отдать дешево. Я ответа не дал. Колеблюсь, как поступить.

А вот что надо издать к сентябрю:

«Русская церковь»

Дух. Судьба. Очарование. Ничтожество.
Главный вопрос.

Это — для немецкого сборника; нашел у себя оригинал страниц на 50, брошюра, пойдет.

Ваш любящ<ий> и благодарный
В. Розанов

12 июля. В «Нов<ом> вр<емени>» помещена сегодня статья В. В. Розанова «Схоластическое законодательство». В ней много верного, но много и курьезного. Напр<имер>, утверждается, что пс<алом> 50-ый, «написанный после соблазнения Д<авидом> чужой жены», «...вообще не может быть почувствован и понят ранее 46 лет». «Даже объяснить ребенку 50-го пс<алма> или вечерних молитв — невозможно, ибо объясняющий будет краснеть и сбиваться, стараясь в объяснении скрыть главное, через что молитвы и псалмы становятся понятными». Вообще говоря, скажу я, это неверно. В числе утренних и вечерних молитв не все имеют предметом своим освобождение от сладострастных искушений плоти и к числу таких именно принадлежит известная молитва «Ангел Христов», которую Р<озано>в напрасно относит к числу «неудобопонимаемых». Но все, что говорит он о преподавании литургии, догматики, истории соборов и ересей, а также высокомерии и отчужденности, о сухости и формализме «законоучителей», есть сущая правда.

13 июля. Вчера я был у В. В. Розанова, передавшего мне материал по сектанству, «афоризмы» и «после арифметики». Среди последних оказалось 3 экземпляра полной редакции его рефера-

та «О церковной юрисдикции или о Христе — судии мира»³² — без цензурных пропусков. Один ех. я взял для себя. Затем он передал еще письмо к нему З. Н. Г<иппиус> (см. л. 312) и статьи свои «На лекции о Достоевском» (Н. вр. 4. 7. 09 г.) и «В русском мире» («Русское слово» 11 июля 09 г.), а также письмо к нему о Вл. Соловьеве за подписью «Старый публицист». Последнее письмо и статью просил вернуть. Беседа наша была посвящена вопросу о будущих изданиях: решено выкупить «Лучи» за 1000 руб., закончить их печатание у Суворина и печатать немедленно брошюру «Русская церковь», а также «Афоризмы». После конкурса по делам Пирожкова г-н Спешнев сообщил Розанову, что его книги идут недурно, лучше всего продается «Ослабнувший фетиш», затем «Легенда о Великом Инквизиторе», которой осталось 7400 ех. (из 10 т. напечатанных Пир<ожко-вы>м вместо условленных 5000) и «Около церковных стен». От «Литер<атурных> очерков» и «Сумерк<ов> просв<ещения>» осталось по 50 ех. «Природа и история» и «Религия и культура» имеют в 100 ех. каждого названия.

Характерно и то, что мерзавец Карбасников, подсказавший Спешневу запросить с Р<озанов>а 1000 р. за «Лучи», предложил Розанову продать издание ему, К<арбаснико>ву. У В. В. хватило догадки не согласиться. Ибо горе авторам, которые попадают в лапы этому рыжему прохвосту. «Объегорил, так что мое почтение». Мы обойдемся и без Карбасникова... Новые издания начнем с августа.

Письмо З. Н. Гиппиус к В.В. Розанову

Помещаемое между лл. 311 и 312 письмо З. Н. Гиппиус к В. В. Розанову (из Парижа, 6 марта 08 г.), переданное мне В. В., чрезвычайно интересно содержавшейся в нем оценкой адресата, а также оригинальным стилем, и шутливым, и серьезным одновременно. Интересны такие слова З. Н. о себе — в конце письма. Подп.: С. Каблуков

Paris 16

6 марта 08.

Вася-Васек! А уж мы-то как письму радовались, кое-что *Sivyrac'y*³³ читали. Он сам вам статью о вас пошлет — ежели уже не послал. Мы страх как вашу славу здесь распространяем. Дм. Серг. лекцию читал на французском языке в «Ecole des hautes йtudes» *, очень было пышно, так всем там не забывал твердить, что вот, мол, есть писатель — ну и писатель! Тоже приедет, мол,

* Высшая школа (франц.).

лекцию читать, дикции только французской подучится. Если б не беда, что вас так переводить трудно, мы бы вас в здешние журналы впихнули, не для гонорара (французишки подлецы), а для вящей славы. Севераку, как пришлет статью, — напишите несколько слов: он от счастья одуреет. Просто, по-русски, он отлично понимает.

Адрес его:

Monsieur Sívýrac
1, Place Camet
Château Thierry
(Aisnes).

Он — профессор, не в Париже живет, а под Парижем.

«Варварина» нам добрые люди достали. И о Тарееве³⁴ потом. Дм. Влад. уже об Варварине в «Столичн<ой> почте» писал (по четвергам он пишет).

Вы, Вася, человек добрый, я это знаю, однако вы тоже и Васька-Каин. Думаю, на том свете вас в конце-концов простят, но сначала здорово сечь будут. И не то, чтоб насильно, а сами будете просить: ох, дери меня, как сидорову козу, дери, пока я спокойствия душевного не получу, потому что не могу вынести, что я глупый, о такой простой вещи не догадался, человеческое с Божьим перепутал и концы в воду спрятал! — От стыда за свою недогадку, да за то, что так *скучно* прожили, с старыми жидами, всю жизнь — и будете молить, чтобы хоть посекали. Ну, а потом, думаю, все обойдется. Встретимся там — поговорим.

Напишите вы нам обстоятельно, что за реферат читал Савонарола Свенцицкий³⁵? Неужели правда затвор рекомендовал? Признаюсь! Да это все равно, что непрерывно кричать о том, что необходимо молчание! Иди в затвор сам первый — и молчи. Не попала ли вам его книжка недавняя — «Антихрист»³⁶? Сделайте исключение, прочитайте ее: ручаюсь, что не раскаетесь! Это «исповедь», автобиография. Увидите, как интересно.

А теперь все мы вас наперерыв целуем и к сердцу прижимаем. Жаль, что с Татой-Натой³⁷ разругались. Они девочки для вас полезные. Правда, «девчонки» в них нет... Я об этом вздыхаю. Мне, вот, скоро 50 лет будет, а во мне до сих пор, если не девчонка, то мальчишка есть во всяком случае... «Ну, «прости-прощай, моя красавица»... до свидания. И ежели вы нам писульку не пришлете скоро, так мы вашу славу распространять прекратим. Так и знайте.

Ваша Зин. Г.

20 июля. Вчера вместе с Р<озановым> я был у Ильи Ефимовича Репина, на даче гражданской жены его Н. Б. Нордман в

Куоккала, называемой «Пенаты». Г-жа Нордман устраивает по воскресеньям «чаепития с народом», о котором смотри письмо ко мне Розанова, помещенное на л. 321:

Дорогой Сергей Платонович! Мы опять позваны на это воскресенье к Репину в Куоккала, в 3 ч. дня, — на оригинальную их затею — «чаепитие с народом по 1 коп. за угощение», — «со своими стаканами». Едем в первый раз, берем с собой, — по их приглашению, — кухарку Пашу. Но в письме приписано: «Милости просим и всякого, кто бы с вами ни приехал», — а как я знаю, что вы любопытствующий о вещах мира человек, да и повидаться с Вами хочется, то не разделите ли Вы с нами компанию? И мы на их «чаепитие» едем в 1-й раз. В таком случае не приедете ли в Куоккала к 3 час., — а я думаю приблизительно и ранее? Или не встретитесь ли с нами, когда мы будем проезжать через Териоки? Или не хотите ли к нам приехать в воскресенье с утра? Выберите удобную для себя комбинацию, — уведомьте, которую, дабы мы «глазели в окна вагона» или стояли на площадке, что, впрочем, будем делать и без письма Вашего, в надежде увидеть черные кудри и готовый закричать рот. Жму руку.

Ваш В. Розанов.
Дача Хайкен ср<еда>.

Это чаепитие происходит в их саду, в беседке, где теперь поставлен 9-ти ведерный «самовар», по словам Н. Б., неизвестно кем им присланный. Перед беседкой на лужке положили огромный флаг с вышитой по белому фону красным надписью «Кооператут». Этот флаг на двух огромных шестах, довольно тяжелых, тащил Вас. Вас. и его горничная Саша до места назначения. Предлагали и мне эту честь, но я уклонился.

В беседке сапожник давал урок кройки и шитья сапог. Когда кончились его объяснения, поспел самовар и принялись за чаепитие, а по окончании чаепития устроились танцы на небольшой площадке рядом с беседкою. Танцевал «народ» модные танцы под гармошку. Танцы эти были на время прерваны пением сапожника и некоторых мужчин под аккомпанемент балалайки. Пели песни, подобные «частушкам», жалкие по музыке и мелодии, но интересные по содержанию, которым являлось сатирическое изложение событий последних лет, как-то: японской войны, забастовки 9 января 1905 г., манифеста о свободе и пр.

В этих песнях зло и остроумно достается всем — Витте, Дурново, Алексею, Стесселю³⁸ и прочим героям петербургским и портартуровским до «высокого человека небольшого роста».

«... Положили апельсин
У Дворцова моста,
Где высокий господин
Небольшого роста»

Доставалось и И. Кронштадтскому. Песня о Порт-Артуре весьма интересна, и я жалел, что не взял с собою карандаша, дабы записать некоторые куплеты.

Во время чаепития я разговорился с самим Репиным об Иисусе Христе в живописи по поводу снимка с картины В. Поленова «Христос перед Пилатом». Фигуру Христа я считаю крайне неудачной и, сказав это Репину, я прибавил, что, по моему мнению, Христос вообще не изобразим в живописи и я предпочитаю условное письмо иконографии. На это Репин ответил, что с мнением о «неизобразимости» Христа он почти согласен, ибо по собственному опыту знает, как трудно написать что-нибудь отвечающее требованиям этой темы. Он убедился в этом, когда написал икону Иисуса Христа по просьбе «Петровского об<щест>ва». Переделывал картину много раз и все неудачно. Так и отдал икону, сам будучи неудовлетворен ею. А хотел изобразить лик «Нерукотворного Спаса». Христа на упомянутой мною картине Поленова не считает удачным, но Пилат ему кажется вышедшим хорошо. Наилучшими живописными изображениями Иисуса Христа он считает картину Иванова «Явление Христа народу», картину Крамского в Третьяковской галерее, образ Спасителя в час<овне> Петра В<еликого> на Выб<оргской> стор<оне>, который он считает великолепной картиной подлинного византийского духа, и «Святое семейство» Рафаэля в Эрмитаже. Последнюю картину он считает лучшим произведением Рафаэля после «С<икстинской> Мадонны» и находит, что в ней знаменитому художнику удалось выразить божественность, «сверхчеловечность» младенца Христа, лик и взор коего особенно отличны от земного лица Иосифа Обручника и полуземного лика Мадонны. Много слабее этих картин известный «Христос» Ге и «Христос с динарием» Тициана, написавшим вместо «Бога и человека» Христа «великолепного римского патриция». По дороге на станцию я передал этот разговор Вас<илию> Вас<ильевичу> и сказал, что считаю лик Христа неизобразимым. «Вот я и говорил и писал то же» — живо сказал «Вася-Васек». Я прибавил: «И это потому, что

И<исус> Х<ристос> — Бог». Но такое утверждение не приемлемо для Розанова. После беседы Репин предложил мне осмотреть его мастерскую <...> Перед отъездом он в течение часа нарисовал акварельный портрет Вас<илия> Вас<ильевича>. По моему мнению, вышел не подлинный Розанов, лик которого зело не красен, а идеализированный дружественною рукою мастера³⁹. Сам Р<озано>в думает то же, но Репин не согласен с этими суждениями.

Мы уехали от него в 7 ч. 25 м. на поезде 7 ч. 50 м. На вокзале в Куоккала Розанов вдруг стал прощаться со мною и поцеловал, к немалому моему изумлению, ибо до Териок нам ехать было вместе. Ехали и туда и обратно в 2-м классе. По дороге я выразил Розанову свое мнение о Репине, очень высокое, а о г-же Нордман весьма ей нелестное. Последняя, кроме больших претензий да нелепого идеализма с оттенком слащавой слезливости, ничего не имеет. Мозг у нее птичий и видно, что о многом в жизни она даже не думала. Несомненно, это существо весьма поверхностное. Восхищается речами «кадетов» в 3-й Думе, поездкой Родичева и Милюкова в Англию, считает Андреева чуть ли не гениальным писателем, признавая значительным «Красный смех» и отрицая наилучшую его вещь «Рассказ о семи повешенных». Но довольно об этом ничтожестве. И при том она более чем некрасива, так что я удивляюсь Репину.

В заключение еще два слова о сапожнике-певце. Это несомненно человек замечательный, выдающийся в своей среде. А интересные песни его, насмешливые и почти не грустные, несомненно рождены фабрикой, отхожими промыслами и в нашей местности, а не великорусской деревней, ибо они не музыкальны и, кроме того, пересыпаны вставками фраз из стихотворений (напр<имер>, из «Бесов» Пушкина). Некоторые куплеты их, очевидно, «рискованны», и по слову Р<озано>ва, «духовная цензура» мешала ему петь все без пропусков. Духовная цензура = внутр<еннему> чувств<у> такта, меры, приличия.

25 июля. 23 в Петербурге я виделся с Н. М. Максиным, Д. А. Черкесовым и Д. Вл. Знаменским⁴⁰. Последний передал мне переписанное им во времена своего пребывания в Костроме и Галиче окончание статьи В. В. Розанова «Люди 3-го пола», которая заканчивает его книгу «В темных религиозных лучах». Сам В. В., приехавши в Петербург накануне, тоже навестил меня, принес свою статью «Русская церковь» для печатания. Посмотрев на меня и Максина, присутствовавшего в это время, он сказал:

— Ну до чего вы оба различны! Совсем разные типы, разные организации!

И пояснил, что, по его мнению, бывают люди линейные, круглые и квадратные. Меня он отнес к линейным, М<акси>на — к круглым. Но мой вопрос о признаках, характерных для этих трех категорий, сказал, что круглым свойственна неподвижность, спокойствие и благодушие, линейным же стремительность: «Они — стрела». «Квадратности» отвечают грубость и угловатость («углы»). Себя назвал «линейно-круглым», т. е. типом неустойчивым, и указал на свою непоследовательность во взглядах. На мои вопросы о Мережковском, Зин<аиде> Ник<олаевне>, Тат<ьяне> Николаевне и Нат<алье> Ник<олаевне> Гиппиус, назвал первого линейным, «Тату и Нату» — круглыми (после некоторого раздумья), а З<инаиду> Ник<олаевну> — зигзагообразной, «как молния». «Она — новая». Я заговорил о союзниках Ржавского в Курске, лично известного Максину. Р<жав>ский обвиняется в изнасиловании и убийстве 9-ти летней девочки. Я высказал мысль, что деторастление есть один из видов psychopath<ia> sexual<is> * и не подлежит суду. Розанов не согласился и указал на магометан, где бывают случаи замужества 9-ти и 8-ми летних девочек. Напр<имер>, любимая жена Магомета (Айша?) была взята им 8–9 лет. Правда, южанки ранее других достигают половой зрелости. Еще говорил В. В. о значении обрезания для полосочетания. Мысли его по этому вопросу точно формулированы им на последних страницах последнего издания «В мире неясного и нерешенного».

6 августа. Вчера отправлено мною письмо Зин<аиде> Николаевне в Гамбург (Bad-Homburg) с «гнусным» фельетоном В. В. Розанова: «Сентиментализм и притворство как двигатели революций» (Н. вр. 17.VII.09 г.)⁴¹.

Письмо Зин. Ник. из Villerville sur mer (Calvados): 11 авг. нов. ст.:

<...> статью Розан<ова> не читали, ибо «Нов<ое> вр<емя>» не видим. Если будете такой добрый, пришлите.

Сегодня в «Н<овом> вр<емени>» фельетон Розанова об «Истории одной жизни» Мопассана. Статья умная.

10 августа. Письмо от В. В. Розанова.

Получено 10/VIII 11 1/2 ч. в.

* Сексуальная психопатия (лат.)

Дорогой Сергей Платонович!

Извините, что не отвечал Вам: был все время в СПб., переезжал и ремонтировался, — известно, белила, усталость. Но *во вторник* непременно жду Вас и Варв<ара> Дм<итриевна> Звенигородская, д. 18, кв. 23 чай пить в 7 час. вечером. Хочется с Вами между прочим поехать в среду к Репину, и тогда всего лучше вместе с нами из СПб., часам к 4–5 дня. Вы им очень понравились.

Ваш благодарный В. Розанов.

13 августа. Вечером 3-го дня я был у Вас. Вас. Розанова, уже переехавшего на новую квартиру (по Звенигородск<ой> ул., д. № 18, кв. 23, угл<овой> дом к Никол<аевской. ул.>). Оказалось, что он намерен продать свою кабинетную мебель, дубовую, крытую кожей, стоившую новой 250 руб., всего за 150 р. Осмотрев ее и найдя подходящей, я сказал, что могу купить ее для себя. Варв<ара> Дм<итриевна> сказала на это, что мне Вас. Вас. уступает за сто рублей. Так и решили. Сговорились, что 12 авг. она пришлет мебель мне на квартиру, и деньги я уплачу после 16-го авг. Вчера, действительно, привезли мебель, еще утром, и одновременно пришло письмо Варв<ары> Дм<итриевны>, которое я помещаю на л. 374 этой книги⁴². Из него следует, что присланная мебель дана мне «на прокат», бесплатно, пока не станет лишней, в последнем случае я должен вернуть ее детям Вас. Вас. Записываю это здесь как характеристику подлинной доброты В. В. и его жены, женщины необразованной (см. орфогр<афи>ю письма), но незаурядной и очень доброй. Сегодня отправлю ей благодарственное письмо с указанием, что покоряюсь ее желанию, хотя и предпочел бы купить ее себе в собственность.

А Вас. Вас. подарил мне 2 ех. «Семейного вопроса в России» (СПб. 1903. 2 т. ц. 4 р. 50 к. — сто ех. этой книги отдано на комиссию Ив. Ив. М<итюрникову> за полцены), 2 ех. «Легенды о Вел<иком> Инквизиторе» (3-е изд., отдано Митюрникову 43 ех. с уступкой 40 %) и свое лучшее сочинение «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки, как цельного знания», М., 1886, ц. 5 р. На последней книге он сделал надпись:

«Сергею Платоновичу Каблукову — математику-мистику — тоже, кажется, мистик, — В. Розанов. Больше всего в Вас мне понравилось, когда Вы отказались ехать в интересное морское путешествие из страха, что в случае смерти над Вами не были бы вычитаны и пропеты все церковные песнопения и чтения, положенные по Уставу Церкви. Это единственное в своем роде!»

А когда я заговорил с ним по поводу «Семейного вопроса» о друге своем Ник. Моис. Максине, разведшемся с женою через неделю после «венца» из-за разномыслия и своего нежелания немедленно начать половую жизнь с нею и о его тяжелой жизни студентом, отданным в солдаты, о революционном его прошлом, о жизни в Курске и Полтаве, прапорщиком и пр., Вас. Вас. сказал, что Максин ему очень понравился, и что он хочет подарить ему ех. «Семейного вопроса». На первом томе этого ех. он написал: «Николаю Моисеевичу Максину, на память о единственной беседе с ним. В. Розанов. — Прослушал от Сергея Платоновича “оперу” Вашей жизни». Книжки эти вчера доставлены Николаю Моис<еевичу>, очень обрадовавшемуся неожиданным подаркам (По одному ех-ру «Легенды» и «Семейного в<опроса>» я подарил Дм. Вл. Знаменскому). В этом свидание с Вас. Вас. я много укорял его за «Сентиментализм и притворство» («Н. вр.», 17.7.09 г.). Он говорил, отвечая на укоры мои, что написал только то, что думает, и думать иначе не может. А укоров за это он слышал множество, и от личных знакомых, и от читателей. Один из последних (г. Виктор Штемберг. Почт. отд. Иваново Тульск. губ.) прислал ему даже длинное письмо на 28 полулистах с подробным разбором и опровержением его статьи. Это письмо очень основательное, и умное, В. В. передал мне. Он намерен отвечать г-ну Штембергу, письмом же. Отзыв Гиппиус об этой статье В. В. см. дальше.

14 августа. Текст письма З. Н. Мережковской из Гомб<урга> от 7-го авг. ст. ст.

Allemagne. 7 авг. 09:

С удовольствием прочла Ваше письмо, без всякого удовольствия статью Розанова [«Сентиментализм и притворство...» — С. К-в]. Хотя не столь она «мерзкая», сколько плутоватая и бесчеловечная, плюс бесполезная. Трудно думать, что кого-нибудь она убедит. Меньшиков пишет ловчее. Экий, добрый человек, Вас. Вас.!(он всегда себя так называет). Его возмущает «злость» человека, убивающего себя перед виселицей, да еще не желающего в этом покаяться! Фу ты, какая доброта! Даже страшно от этой святости!

Я слишком близко видела святость обратную (и слишком недавно), чтобы серьезно взглянуть на старческий, жульнический «радотаж» * Розанова. Пусть себе, коли стыдочку нет, особенно в «Н. вр.» <...>

* от франц. radotage — вздор, вздорная болтовня.

16 августа. Письмо В. В. Розанова. Получено 16 авг. 09 г.

Дорогой Серг<ей> Плат<онович>!

Дружба — один из лучших цветков в жизни. И если Вы дали мне с Варей «найти в мире этот цветок» в виде Вашего милого к нам отношения, то нам хочется, чтобы и Вы испытывали это удовольствие нашей к Вам дружбы. Письмо Вари не имело того смысла, какой Вы ему придали. Мебель совершенно Ваша, и Вы что хотите, — то и можете с нею делать. Только ради любви ко мне она выразила надежды, что Вы ею *сами* будете пользоваться, а при счастливом устройении Вашей судьбы, — и Ваши дети и т. д., но вообще не третьи лица. Т<ак> что это мебель только «заповедная», не продаваемая, но абсолютная Ваша собственность.

Ваш В. Розанов

19 августа. Сегодня я был у Ил<ьи> Еф<имовича> Репина в Куоккале. Приехал первым, затем прибыл Вас. Вас. Розанов, две неизвестные «вертихвостки», из коих одна утверждала, что через Куоккала поезда проходят очень часто, «каждый раз», так что даже В<арвара> Дм<итриевна> ее поправила, а другая по поводу слов И<льи> Ефимовича о Христе, что, по преданию, Его не видели улыбающимся, сказала, что Он был на браке в Кане, значит (!) любил веселье и смеялся. Это «значит» осталось без возражений. Кроме этих двух дур был почти столь же глупый, крайне пошлый и самодовольный, плешивый уродец Уманов-Каплуновский⁴³, бездарный виршеплет, любящий себя поэтом. Его я отбрил, сказав, что 1) не всякий пишущий стихи есть поэт и 2) что *теперь* только и найдутся поэты, что Брюсов, Гиппиус, Иванов Вяч. и Ф. Сологуб. Первое построение, вполне очевидное, вызвало его удивление и недоуменные вопросы одной из «вертихвосток». Ей я не дал ответа, помня, что не надо «метать бисер». Пошляк Каплуновский опять явился со своим альбомом автографов, куда заставил вписать изречения и В. В. Розанова и приехавшего после всех Ильи Яковл<евича> Гинцбурга⁴⁴, проф. Ак<адемии> Х<удожеств> по классу ваяния. Последний оказался исключительно талантливым «имитатором» <...>

Мне остается упомянуть, что сегодня я позировал не И<лье> Е<фимовичу>, писавшему портрет Розанова, а его сыну Юрию⁴⁵, очень милому художнику, понравившемуся мне своей молчаливостью. Да еще запишу для памяти, что И<лья> Е<фимович> вновь много раз говорил, что я изумительно похож на Вл. Соловьева и лицом, и тембром голоса (*даже*).

Это интересное письмо ко мне передано мне Розановым у И<льи> Е<фимовича> с предисловием к «Р<усской> ц<еркви>» и с афоризмом о «терроре» 19 авг. 1909 г.:

Дор<огой> С<ергей> П<латонович>! Я писал Михаилу Семеновичу Фарбману⁴⁶, заведующему издательством «Пантеон», о желании срисовать у них буквы, — и тогда он мне ответил готовностью «стилизовать вообще всю обложку», «со своим рисовальщиком», «сделать цинкографию». Я думаю, с ним надо будет Вам повидаться: он ежедневно бывает в «Пантеоне» (Итальянская, 15). Есть телефон 289—13. Условьтесь о часе свидания. Кроме того, Митюрников предложил мне «комбинацию с “Темными лучами”», сказав, что я не сумею ее исполнить. Я предложил в письме *ему* ее «исполнить». Но в чем она и какая — о подробностях и документальной стороне («доверенность от меня на ведение дела») тоже поговорили бы Вы с ним.

Зиночкино отношение меня не трогает. «И стыдочку нету». Ах, озорница, бояться всякой мыши под полом, домового на чердаке, а туда же «делают лицо» революционеров. Все это одна порода с Волынским и Минским, хоть и ссорятся. «Милые бранятся»... и проч. «От своей породы никуда не уйдешь». Казнь свою они несут в своей породе. Защиту террора я понимаю как в том письме, которое Вам передал, — да еще в 2-х у меня. А эти иностранцы что понимают в русских делах, в русской душе? Чуть кончили дела, и сейчас в поезд и за границу. Дня лишнего подышать в России не могут. Я космополист, и *включаю* Россию в мою любовь, а их «космополитизм» все *исключает*, кроме личного здоровья, кошелька с деньгами и литературного успеха. Из пекла они вышли в пекло возвратятся несчастные.

Вы очень многого не знаете, напр<имер>, того, что Д<митрий> С<ергеевич> испрашивал через генерала Паренсова⁴⁷ аудиенцию (sic) у Вел. Кн. Николая Михайловича или Николаевича, — и «явиться ли ему в фраке или как». Тот ответил — «В сюртуке просто». Это в *нынешнем* году было, когда он уже «терроризировал». Приспичивало его к Вел. Кн. желание спросить: «Нет ли у него документов о Павле I». Но, я думаю, это можно было спросить и в письме, и лишь узнав, что документы есть, — пойти. Но нужно было «показаться своей персоной». Добчинские! «Зовут Дмитрий Сергеевич, хожу без очков. Лицо печальное». Мне очень грустно все это писать. Их я люблю все-таки, а эти строки раздражают душу, и отравляют. К чему это? Не нужно. Страшно вредно. Но меня возмутили слова Зинки о «плуте-

ватости». Перед кем же это «плутоватость»? Перед Сувориным, который в деревне, который *ни разу* за 10 лет не навевал на меня ни одной мысли, — за что люблю старика, и люблю всех их, *добрейших и свободнейших* Сувориных. Ибо иметь такую газету и ни разу никого из сотрудников не «инспирировать» — конечно, есть свобода. До этой свободы далеко Мережковским. И какой лакейский жаргон: «стыдочку бы». Забыли, как рассказывали в «Нов<ом> пути» о завтраке у Ярославского губернатора Штюмера⁴⁸. Но Бог с ними. Всегда я ненавидел эти «потроха» литературы, — и вот возмутительные ее строки заставили меня пошевелить их. Знаете, нужна в литературе гигиена, и лучше всего не *узнавать* подлых в ней вещей, слов, чувствищ, или моментально забывать о них. Нужен сон, нужна хоть иллюзия. Вы страшно молоды и еще не опытни и не дохнули еще «задним двором» литературы. А он страшно воняет. Дорогой мой, будем дружить, будем говорить о лучшем. А гадкое просто выбросим *из поля зрения*. Жизнь так коротка и не хватает ее на лучшее.

Ваш любящий Розанов.

20 августа. Вчера получено ответное письмо Зинаиды Николаевны Мережковской: Allemagne. 17 авг. 09 г.

<...> С Розановым каши не сваришь. Разве он кого-нибудь слушает, кого-нибудь слышит? Вот человек, не понимающий «личность»!

Вчера днем я был у Мих. Сем. Фарбмана в «Пантеоне». Предупрежденный Розановым, он принял меня исключительно любезно, живо смастерил проект обложки для «Русской Церкви» Вас<асилия> Вас<ильевича> — будет такая же, как на монографии Мережковского о Лермонтове⁴⁹, а затем разговорился о своих планах по издательству. Будет издано: томов 8 Мопассана, несколько томов Флобера в перев<оде> Зайцева, несколько монографий по искусству. Книга «Иорам» Борхарда с рис. Ал. Элиасберга, очень хорошим пред<исловием> В. Розанова, книга о Ветхозаветной поэзии с извлечениями из Иова и пророков и переиздание «Песни Песней»⁵⁰. По поводу последней и Ветхозав<етной> поэзии я советовал ему обратиться к еп. Антонину и дал его адрес. На прощание он дал мне текст книги «Иорам» — 2-ю корр<ектуру>. Вернувшись, я прочел ее скоро, т. к. там всего 48 стр. крупной печати. Любопытно.

22 августа 1909 г. Вчера вечером я был у Дм. Вл. Знаменского. Говорили о Розанове. «Он бесстыден, как Адам до и после грехопадения», — метко сказал собеседник мой.

24 августа. Отправлено письмо В. В. Розанову с опровержением его письма (см. л. 388 об.) и с обличениями неправд его. Кроме того, высказал мое мнение и о И. Я. Гинцбурге, пошлом и самодовольном «альбомнике» Уманове-Каплуновском и двух вертихвостках, уже упомянутых в этой книге...

24 августа. Сегодня вечером я был у Вяч. Иванова. Дал ему для прочтения книги В. Розанова «В темных религиозных лучах». По поводу утверждения Розанова о невозможности физического девства перенесшей роды Девы Марии, Вяч. Иванов указал на мнение мистиков средних веков, допускавших, что в акте рождения «печать девства» преломилась, но в тот момент, когда полнота Христа присвоилась человеку Иисусу в акте крещения от Иоанна, Пречистая мать его вновь стала **вполне** Девой, и она развивалась в этом направлении, как бы молодея параллельно развитию Богочеловеческого естества в Христе Иисусе, какое развитие завершилось в акте крещения. <...>

15 сентября. В. В. Розанов при последнем со мною свидании рассказывал, что на днях к нему в ред<акцию> г<азеты> «Н<о-вое> вр<емя>» приезжал какой-то старообрядец, который, бывая несколько раз в этот день в ред<акции> и не заставая В<асилия> В<асильевича>, наконец достиг своей цели и спросил его, «верует ли во Христа еп. Михаил»? Роз<анов> ответил вопрошателю, обняв его: «Будьте спокойны, на одном собрании много лет назад Михаил сказал, что он готов от всего отказаться, только не от Христа». Вопрошатель уехал удовлетворенный. — Но до чего наивен он, задавая такой вопрос В<асилию> В<асильевичу>, который сам-то антихрист, иногда даже кощунствующий, например, называл Св. Духа «Духом-Удавителем».

6 октября Сегодня узнал, что на вышедшую сегодня в свет книгу В. В. Розанова «Русская церковь» (стр. 39, СПб. 1909, тип. А. С. Суворина, ц. 40 к.) Главное Упр<авление> по делам печати наложило арест⁵¹. Всего напечатано 3600 экз. В<асилий> В<асильевич> чрезвычайно расстроен, тем более, что и для него и для меня арест является вполне неожиданным. Только по догадке могу думать, какие именно места книги послужили поводом для ее конфискации. Из прилагаемого здесь экземпляра предисловия к ней (см. на л. 465) видно, что частью статья эта уже была напечатана в России («Пол<ярная> зв<езда>» Струве, 3 фев-

р<аля> 1906 г.). Во-первых, нецензурным могли признать рассуждения о девстве Богородицы (см. л. 466 об.), несомненно, неуместное в дешевой брошюре, ибо — это великая тайна, постигаемая мистически лишь «кому дано». Во-вторых, подчеркнутые мною фразы из последней части статьи, появляющейся впервые...

10 октября. Сегодня получил от В. В. Розанова 3 экземпляра «Русской церкви». На одном сделана им надпись: «С. П. Каблукову. Ваш вкус, Сергей Платонович, и мое вдохновение родили эту желтую — ныне, увы, арестованную книжицу. В. Розанов».

Из этих 3-х эк. один будет подарен мною другу моему Д. Вл. Знаменскому, которому завтра я посылаю извещение об этом вместе с окончанием «Бледного коня» Д. С. Мережковского⁵² и статьей того же автора, имеющей появиться завтра⁵³.

12 октября. З. Н. Мережковская, прочитав книгу В. Розанова «Русская церковь», сказала мне сегодня, что эта книга заслуживает ареста: «Какую ужасную книгу написал Розанов». Осуждает она и статью В<асилия> В<асильевича> в «Весах» «Магическая страница у Гоголя» (в которой В<асилий> В<асильевич> не на шутку защищает и даже нахваливает кровосмешение — «Весы», август 09 г.). Действительно, статья эта довольно беззастенчива по смыслу и нескромна по тону и по языку.

28 октября. Вчера В. В. Розанов, говоря со мною по телефону, откровенно сказал:

— Вы все еретики, один я православный.

— Вы-то? Да вы — Антихрист!

— Вы все сухи и холодны, а у меня в душе — молитва. (Sic?!).

Я сказал ему, что арх. Антоний Волынский⁵⁴ думает, что она-низм лучше совокупления. Последовал ответ В<асилия> В<асильевича>: — Вашего Антония надо оттащить за длинные волосы.

3 ноября. Письмо В. В. Розанова

Получено 3/X 09 г. Подп.: С. П. Каблуков

Сердит как ваш математик на стене. Или как 2 Везувия рядом. Это черт знает что!! 1½ недели киснем на желтой обложке. Прямо — сами желтые, мы желтого дома. Вы были летом орел, а теперь — мокрая курица. Даже без хвоста. Или воробей по осени!!

Вы совсем втюрились в вашу Зиночку («рыбак рыбака видит издалека») и забыли Богданова, меня, Митюрникова, все забыли!!

Я думаю, «Когда начальство ушло» — надо как стихи Бородаевского изд<ания> «Оры»⁵⁵. — Решите моментально. Так как Вы раскисли, а я напротив «в подъеме», то я думаю, — Вам надо прислать только 2-ую корректуру: а мне — первую, установил бы текст (очевидно, многое надо будет выбросить). Вы же посмотрите как *читатель* и скажете: интересно ли, нужно ли?

Ваш В. Розанов.

15 ноября. Сегодня утром от 11–12 час. имел длинный разговор с Розановым по поводу ст<атьи> М<ережков>ского «Земля во рту»⁵⁶ (см. л. 499 об.). Разговор, конечно, по телефону. Тема: пошлость русского чиновничества в верхних слоях его. Как образцы этой пошлости Т. И. Филиппов⁵⁷, бравший взятки «и яйцом и курицей, и чем угодно», «Афонька» (Афанасий Вас<ильевич>) Васильев⁵⁸, генерал-контролер, ходящий в поддевке из подражания Ал<ексею> Степ<ановичу> Хомякову. Поведение «Афоньки» у подчиненного своего Ник<олая> Петр<овича> Аксакова⁵⁹, к которому придя на именины 6-го дек<абря> в присутствии Розанова, «Афонька» разлегся на диване и положил ноги на стол (буквально!). А когда пришло время обедать, увел Н. П. Аксакова к себе, не пригласив жены его, хотя и были именины мужа. Последний пошел. Вот предел хамства и лакейства! Несравнимость Победоносцева с прочими лицами его круга. Грустность, огорченность Побед<оносце>ва от современного ему состояния России. Разговор Поб<едоносце>ва с Н. Н. Страховым у зубного врача при случайной встрече о Л. Толстом. Замечание П<обедоносце>ва «всяк человек ложь есть» — по мнению В<асилия> В<асильевича>, имеет смысл некоторого осуждения: «Все мы хороши! Что уж тут!». Порицание В<асилием> В<асильевичем> деятельности Вл. Соловьева: полная искусственность, неискренность и ломание, кривлянье как в литературе, так и в обращении с людьми. Победоносцев понял это в Соловьеве, почему и сказал, что всякая его деятельность вредна (цит<ата> из письма Вл. С<оловье>ва). Одновременно, благородство П<обедоносце>ва, не преследовавшего С<оловье>ва. Между тем, низшие чиновники — благородные, часто образованные, порядочные люди. «Я думаю, — говорит В. В., — что чиновники до статского советника — люди как люди, а выше — одна пошлость, мерзость, гадость, гнусность, тупое самодовольство, самомнение, грубость, лакейство, хамство и потеря всякого «лица» человеческого». <...>

31 декабря. В последний день 1909 г. упомяну здесь о некоторых событиях моей внешней жизни:

Март. Избран действит<ельным> членом Р<елигиозно>-Ф<илософского> Об<щест>ва и секретарем новоучрежд<енной> Христианской Секции. Знакомство с Мережковскими и А. В. Карташевым. Ранее этого — дружба с В. В. Розановым (с конца 1908 г.). <...>

Июнь. Переезд в Териоки. <...> Частые свидания с Розановым. <...>

Декабрь. Охлаждение ко мне В. В. Розанова.





А. И. ЦВЕТАЕВА

Из «Воспоминаний»

Кто дал мне эту удивительную книгу? В моих руках — дневник старика — «Уединенное». Читаю, точно свое. Так знакомо!.. И мы с Мариной¹ не знали, что *есть* такой человек!.. Сколько лет мы прожили на земле в *то же* время и не знали — он о нас, мы — о нем!

«Как ни сядешь, чтобы написать что-то: сядешь и напишешь *совсем другое*. Между “я хочу сесть” и “я сел” — прошла одна минута. Откуда же эти *совсем другие* мысли, на *новую* тему, чем с какими я ходил по комнате, и даже садился, чтобы их *именно* записать...»

«Почему я так желаю известности (или влияния) и так (иногда) тоскую (хотя иногда и хорошо бывает от этого на душе), что “ничего не вышло из моей литературной деятельности”, никто за мной не идет, не имею школы?...»

Больше *одна* я не захотела читать.

Я бросилась к Марине. Марина отобрала у меня книгу, села за нее — и от нее встала в знакомом мне в ней книжном бреду. Ее глаза были пусты и жалобны. Она отсутствовала. Она была там, в книге, с неведомым от века родным человеком. Но на этот раз право первенства было явно мое. И я тянула Марине мое письмо к Розанову — его зовут Василий Васильевич, и он живет в Петербурге. А сегодня Макс² приедет из Коктебеля, и я ему расскажу, — он, наверное, знает о нем, может быть, даже *его* знает?..

«Дорогой Василий Васильевич! Только что кончила Ваше “Уединенное”. Вам 59 лет, а мне 19, но никакой разницы, потому что Вы пишете о том, что *вне* возраста, и Ваша книга — родная...» Так начиналось примерно мое письмо.

— Ты *нарочно* подписываешься не «Цветаева»? — спросила Марина, прочтя мое «А. Трухачева».

— Конечно. Мне не надо вовсе, чтобы он мне ответил как дочери папы. Папу он не может не знать. Посмотрим, отзовется ли на фамилию, ему *неизвестную*...

— Молодец! Я бы тоже так сделала...

В этот же день пришел Макс. Он выслушал мое волнение и сказал, улыбаясь:

— Мне жаль тебя огорчать, Ася, но я думаю, что он тебе не ответит: Розанов стар, перегружен литературным трудом, большая семья — сама же читала: «Папа, учебнички...», «Папа, башмачки...» — и вряд ли у него станет сил отозваться...

— *Ответит!* — сказала я.

Прошла неделя. Начала ли я уже поникать? — когда почтальон передал мне два письма со штемпелем «Петербург».

Мелкий, без строк — еще беспорядочней, чем почерк Эллиса³, — полупрямые, полукосяе буквы, разорванные слова...

Первое, с простой маркой, было коротко. Второе — заказное, длинное — было послано вдогонку первому. «Настя, — писал он, сделав мне чужое уменьшительное из «Анастасии Ивановны Трухачевой», — как ты? Что ты пережила? Откуда такой *глубокий* тон в 19 лет?..» И взволнованно текли с его пера повелительно в слова — чернила, рождая каракули откровенья и дружбы, удивленья и интересов, беспорядочного рассказа о себе и вспышки вопросов — мое безмерное, без названья, счастье в ответ. Я читала на ходу, вверх по короткой лесенке парадного хода, застыв на какой-то ступеньке, все позабыв, застрянув в таинственном колодезном срубе непонятной, наспех прочитанной фразы; я читала, войдя к себе, держа на коленях Андрюшу⁴, мне переданного няней, читала, когда он заснул, читала и перечитывала оба и вновь писала — и с трофеем поднималась по горе на дачу Редлих — к Марине.

— Марина! Письмо от Розанова! Два! Сразу! Вот Макс удивится! Помнишь, он говорил, что переписка если и будет, то что-нибудь вроде Мопассана и Марии Башкирцевой⁵ — недоразумение... Читай!

Марина прочла. Ее лицо пылало за меня.

— *Теперь ты напишешь* ему «Цветаева»? — И уже не мне, а ему: — *Молодец!*

...Ночь. Я сижу за дневником, отослав мой ответ Розанову, и я счастлива, как только может человек на земле быть счастлив. И другого счастья — не надо! Не хочу любви! Спаянности с *одним*, терема! Ни с кем! Со всеми! Вдохновенные дружбы, переключка чувств, мыслей... Свобода! И писать и писать...

Когда Розанов узнал, что Трухачева (фамилия, которой я в первый раз подписалась) я по мужу, что урожденная я Цветаева, он радостно сообщил мне, что он вправе считать себя учеником папы, что слушал курс его лекций и никогда не забудет его ни как профессора, ни как человека. Это еще более сроднило нас. Он обещал мне прислать свои книги и ждал нашей встречи — я обещала, что осенью, перед задуманным отъездом в Париж, приеду в Петербург. Он писал о своей усталости, старости, загруженности литературным трудом, о том, что везет воз большой семьи, дивясь раннему опыту жизни во мне, но не сомневался во мне, верил и, находя между нами много соответствий, считал меня родным человеком. Я искала и не находила его «Опавшие листья». <...>

* * *

«Туман, лондонский» — так говорят о Петрограде. Я вступаю в него в первый раз.

Нет, это не туман, туман стелется (вечером, над болотом, далеко на лугу в Тарусе). Это спущены завесы сверху, а между этих завес, в них исчезая, снизу стелются им навстречу очертания домов. Не менее волшебной, чем Венеция!

Я не ликую, как многие, что мы, нападающие войска, «захватываем» что-то. Отчего я только вновь и вновь потрясаюсь звуком солдатских песен, уходящих с ними — умирать? Воем баб на вокзалах, провожающих сыновей и мужей... Спешу. Стыдно туда опоздать — к шестидесятилетнему, к восьмидесятилетней Камковой⁶, которая ждет!

Туман и озноб. Еле видны дворцы у остановки трамвая, где его жду, стерегу огонек за поворотом... Дождь? Запахи в пальто, втягиваю шею, как птица нахохленная. Гляжу в двери, высокие, пугающие чуждостью, как в квартире того «философа», откуда завиделся издали и шагнул мне навстречу Василий Васильевич Розанов. Молниеносное, вне воли — глаза в душу — наблюдение: выше, чем думалось, среднего роста, ждала меньше, суше. Лоб — вроде папиного. Голова полуголая, как у папы. Те же узенькие золотые очки на старых глазах... Но глаза?! Нет, глаза совсем не похожи. Слаще, но вместо папиного спокойного, почти радостного благожелательства — и у папы шире глядят — уже, острее и хитрые, что ли?? И в этой неизбежной ему «хитрости» — тоска, и уже побарывают смущение, и уже источают ласку — какие путанные, какие исстрадавшиеся глаза!

Из-за них не сразу услышала голос. Из-за них не сразу нашла свой. Задохнулась как-то, будто охрипла вдруг. Кажется, о порог споткнулась? И враждебный свет, яркий, из чьей-то стереотипной столовой, которая оказалась — его. Щурюсь (неприлично, к глазам лорнет не поднимаю) и от этого вижу еще смутнее, чем чувствую. Нескончаемый переполох во мне. Но и не только во мне — в доме! Звуки шагов? Поспешное двиганье стульев? Отовсюду — люди. Девушки. Мальчик-подросток, головастый, на отца похожий... Но, раздвинув (детей? стулья?) впереди, — женщина. Пожилая, большая, добрая, настороженная, ласковая хозяйка. Мать детей и жена! Не понимающая. Читала ли мои письма? Чем встревожена? Какое глупое положение! И в сердцах на себя, внезапная трезвость... Поднимаю глаза «воспитанные». С улыбкой — руку. Великолепно обузданный голос (совсем как Марина! О, ее нет сейчас!):

— Цветаева...

Фамилия ли? Интонация? В нужный миг нужное движение к рукопожатию? Все стало в порядок: вмиг, как в театре, — вверх занавес!

Каждый актер — свое место. Нужные слова, и покой у стола, сразу ставшего столовым, и уже золото чая в светлом фарфоре — в моей руке. Не расплескать бы на блюде, ставя хрупкое сооружение на скатерть. Не потерять бы тон речи... (О, как, как ненавижу мещанство «семейного счастья», как хочется прочь, с ним, из дома, в туман...) Пропустила огонек за поворотом! Уже у плеча звонок трамвая. Еле успела вскочить!.. <...>

«И еще говорят, что Достоевский выдумывает такое, что бредовый писатель! Вот бред — рукой подать!» — думала я, добираясь по широким и узким вечерним улицам до редакции, где оставался подолгу работать Розанов, ждал меня. И несправедливо я вчера мысленно на его семью обрушилась за ее кажущееся благополучие! За что? За любовь, в ней живущую? За заботу всех обо всех и о нем? За прокаленную преданность жены его, матери его детей? Мещанством назвала! Вот это было мещанство во мне — жест дешевый... И мелькнуло перед глазами личико одной из дочек его, запомнившееся. Без красоты милое, умное, худенькое... чем-то похожее — на него? Таня... А он похож — чем-то — на Федора Михайловича...

И вот мы сидим вдвоем в глубокой тихой редакционной комнате; он отбросил рукописи и книги, без конца говорим... Он слушает мой рассказ о моей будущей книге, ее перепису, пришлю, и он не прерывает поток моего утверждающего отчаяния, что нет Бога, мое полное отвержение веры. Все знакомо ему.

Понятно. И корни видны. Он не ополчается на мой протест против веры, не спорит. Он берет мои руки и смотрит в глаза, и его усталый, живучий, старый и молодой, дряблый и закипающий голос говорит мне о том, какие еще перемены меня ждут...

Часы идут, вечер, поздно. А мы все говорим, не можем расстаться.

— А все-таки, Василий Васильевич, я чувствую, что больше вам сил отдам, чем вы мне! Что до конца, до самой глубины вы меня не поняли. Нет, постойте, дайте сказать! Если бы поняли по-настоящему, вы были бы счастливы мной! Я была бы вам драгоценной находкой! Весной в вашу старость! А вы...

Он прерывает меня:

— Слушай, Ася, ты не права. Ах, как ты не права! Это — от молодости, от нетерпенья... Пойми же меня: я стар! У меня — семья. Столько людей на мне! Разные возрасты. Столько работы! Не души во мне не хватает, как тебе показалось, а только сил... Времени!..

Я слушала, стараясь понять! Весной в его старость! Эти слова я от него услышала — сказал их мне в наше свиданье в 1917-м, три года спустя.

Начало вечера. Мы снова долго сидели с Розановым в редакции. Я рассказала ему вкратце Маринину и свою жизнь. А теперь он идет показать мне улицу, где жил Достоевский. Он попробовал меня убедить, что счастье женщины — в семье, в любимом мужчине... Не захотела слушать! Я, может быть, мало женщина? Хватит мне, не хочу!

— Ты прочти мое «Люди лунного света» — понравится. — И еще мне: — Нет, ты — не бархат, ты — шелк. Шелестящий шелк. В тебе есть тончайшая сталь — твой лунный свет!

...Туман — густой. Диккенсовский. Темнота. Он ведет меня под руку. Тяжелый, сырой воздух, неуют мгlistых фонарей, редких. Безлюдье. Узкая улица (мне чудится мостовая — в гору, мост или — Кузнечный переулок⁷). Он говорит: «Тут он жил, вот его дом!» Подымаю голову, и вдруг — трепет озноба. Испуг! Бредовая уверенность: я иду с Достоевским! Туман, огни — я схватила за руку Розанова... (но и почти семьдесят лет спустя я эту минуту помню).

Через два часа я стою у окна в поезде, ночь, полет... Курю. Петроград тает лунной мглой.

* * *

В крестные отцы Алеше я выбрала Розанова. Мы переписывались. Откормив Алешу, я поехала в Петроград — отдохнуть.

Остановилась у старшей сестры Сережи, Анны Яковлевны Трупчанской⁸.

С Розановым мы не виделись два с половиной года. Встречаемся как родные. В его кабинете беседа нескончаема. Его умиленное лицо, старческая гордость, что к нему, шестидесятидвухлетнему, приехала я, двадцати трех лет! Революция, война, его старость и юность моя — все смешалось.

— Ты — моя весна! — говорит он смеясь и хочет непременно со мной сняться на память, и мы идем к фотографу, но, когда карточки готовы, я ему на них кажусь непохожей.

— Я с тобой как молодой... — удивляется он.

— Вот потому так и хорошо со мной, — отвечаю я, — что я вам товарищ и спутник, и когда мы бродим по улицам — разве вы не чувствуете, что мы как два бурша — старый и молодой, два — мастеровых из гофмановских сказок?

Бродили, говорили о всех переменах в стране. Тогда возлагали большие надежды на Временное правительство, — может быть, накормит страну? Но мне надо возвращаться к моим сыновьям, а у Марины — две дочери, как жизнь летит, нам уже двадцать пять и двадцать три года!

Розанов едет проводить меня на вокзал. Мы берем билет. Солдатами забиты поезда. Он волнуется, как я поеду одна. Я езжу с шестнадцати лет, я ничего не боюсь. Но Розанов трогательно, как отец, поручает меня кондукторше, поясняя, что «не от мира сего» и чтобы меня никто не обидел...

Тогда же на прощанье он рассказал мне: «Ася, я для твоего ума исходил вчера пол-Петрограда, ища у букинистов и у друзей первую мою философскую книгу “О понимании” — так я хотел тебе ее подарить, но ее не нашлось — нигде»...





Э. ГОЛЛЕРБАХ

В. В. Розанов: жизнь и творчество

Первая встреча моя с Розановым состоялась в Вырице (М. В. Р. ж. д.), у него на даче, куда я приехал 23 июля 1915 г., в ответ на его письменное предложение познакомиться.

Восстав от послеобеденного сна, писатель плескался за стеной, а я поджидал его, шагая по маленькому дачному кабинету. На столе лежал «Короб 2-й — “Опавших листьев”», тогда только что увидевший свет. Вскоре ко мне вышел мелкими шажками небольшого роста старичок, самой мирной и ласковой наружности. Я почему-то ожидал увидеть полного, обрюзглого «Обломова», с рыжей шевелюрой и голубыми глазами. А увидел как раз противоположное: прямого, бодрого, скорее худощавого, чем полного человека с седой головой, — изжелта седыми усами и бородкой. На подвижном лице светились лукаво и умно черные (карие) глаза. Он показался мне одновременно и тревожным, и сосредоточенным. Первые слова, им сказанные, были: «Ну, рад с Вами познакомиться... Вы — немец, лютеранин?»

В самом начале беседы выяснилось, что больше всего ценит Розанов в людях влечение к религии (вообще к религиозности) и отталкивание от позитивизма.

Разговор шел о церкви и церковности, об Университете (Петроградском) и студенчестве, о Вл. Соловьеве, Н. О. Лосском, Бергсоне, Метерлинке и др. Я смотрел на В<асилия> В<асильевича> с жадностью. Так вот каков тот человек, вокруг которого — давно ли, года три-четыре тому назад (до его исключения из Религиозно-философского общества в 1913 г.¹) — группировалась петроградская аристократия ума и таланта, — человек, в кабинете которого велись, как выразился один свидетель, разговоры «изумительные», по содержанию — единственные в Европе, единственные по самобытности и пламенности тем.

Писатель прочитал мне несколько отрывков из своей новой книги «Опавшие листья» (т. II). Кстати посетовал на критиков. Мимоходом рассказывал кое-что о Толстом, Мережковском и др. Расспрашивал о Е. В. Де-Роберти² и С. А. Венгерове, узнав, что я был их слушателем в Психо-неврологическом институте. В Венгерове его озадачивало сочетание «шестидесятничества» с увлечением Пушкиным.

В Розанове все показалось мне тогда необычайным, кроме внешности. Внешность у него была скромная, тусклая, тип старого чиновника или учителя; он мог бы сойти также за дьячка или пономаря. Только глаза — острые буравчики, искристые и зоркие, казались не «чиновничьими» и не «учительскими». Он имел привычку сразу, без предисловий, залезать в душу нового знакомого, «в пальто и галошах», не задумываясь ни над чем.

Вот это, «пальто и галоши», действовали всегда ошеломляюще и не всегда приятно. В остальном он был восхитителен: фейерверк выбрасываемых им слов, из которых каждое имело свой запах, вкус, цвет, вес, — нечто незабываемое. Он был в постоянном непрерывном творчестве, кипении, так что рядом с ним было как-то трудно думать: все равно в «такт» его мыслям попасть было невозможно, он перешибал потоком собственных мыслей всякую чужую и, кажется, плохо слушал. Зато слушать его было наслаждением.

Он нисколько не «играл роли» знаменитого писателя, не рисовался, не кокетничал. Во всем был прост, непринужден, не страхась бестактности и «дурного тона». В нем часто бывали резкие переходы от одного настроения к другому, от нежности к раздраженности, от грусти к веселости. Мысль его (в разговоре) всегда шла как-то зигзагами, толчками. Иногда он говорил что-нибудь неожиданное и очень странное, так что казался юродивым, чудачком, ненормальным. Из внешних привычек В<асилия> В<асильевича> отмечу постоянное, почти непрерывное курение: он чуть ли не весь день набивал папиросы, коротенькие, с закрученным концом, и курил их одну за другой. Своеобразна была его манера ходить — шмыгающая, словно застенчивая, но прямая. Сидел он обычно, поджав под себя одну ногу и тряся непрерывно другой ногой.

После первого свидания в Вырице я встречался с В<асилием> В<асильевичем> в Петербурге, на Шпалерной³. В 1917 г. он был весь погружен в свои «Восточные мотивы», которые начал тогда издавать (издание прекратилось на третьем выпуске): возился с египетскими рисунками, облюбовывал, обдумывал каждую деталь, умилялся, восторгался различными символами и

обрядами Древнего Египта, ругал последними словами ученых египтологов, особенно Масперо и Шампольона⁴, за то, что «дураки ни уха, ни рыла не понимают в Египте, а туда же». Его, «розановская» египтология была действительно своеобразна, — это была какая-то фаллическая лирика (изображение Фаллоса повергало его в экстаз), почти осязательное прикосновение к святыням древности, сочувствие и сомыслие, доходившее до нежнейшей влюбленности...

Квартира Розанова походила на своего хозяина: в ней не было ничего банального, — нельзя было понять, какая разница между «гостиной», «кабинетом» и «спальной»; в гостиной библиотека, множество книг, гипсовая маска Страхова, Мадонна, нумизматическая коллекция. Здесь принимали гостей, вообще это было место «разговорное» и «проходное». Рабочий кабинет (он же спальня В<асилия> В<асильевича>) был местом священнодейственного труда и дружеских бесед, интимных *tkte-a-tkt'ov*.

Помню маленькие, узенькие листочки, раскиданные на письменном столе. Только на таких полосках бумаги он и писал, других не признавал. А иногда писал на обрывках, клочках, на оторванном клочке книжной обложки, на папиросной коробке. Книг у него в кабинете не было, кроме самых любимых и нужных. «Дневник писателя» Достоевского был его настольной книгой. Библия тоже. Над столом большой портрет А. А. Рудневой (тещи В<асилия> В<асильевича>). Фотография дочерей и репродукция с портрета Розанова работы Бакста (портрет этот находится в Третьяковской галерее). Беседы наши иногда прерывались неожиданно: вдруг осенит Вас<илия> Вас<ильевича> желание окончить начатое вчера письмо или начать статью («Вы позвольте мне кончить письмо, давайте, не будем стесняться друг друга, я живо, а вы садьте тут рядом, нам будет хорошо помолчать»). Если было воскресенье, он часов в девять начинал переодеваться и с увлечением рассказывал о какой-нибудь древнеегипетской рукописи, барахтаясь в крахмальной рубашке, упорно не влезавшей на своего владельца. Попутно ругал одних, хвалил других писателей. Очень любил он Флоренского, Эрна, Булгакова. Хорошо относился к Лернеру⁵ (но не без брезгливости и опаски), к Чуковскому (тут лицо его расплывалось в развеселую улыбку). «В<асилий> В<асильевич>, что вы думаете о Бердяеве?» — спросил я его как-то. «Ничего не думаю и думать не хочу». Не любил Розанов Амфитеатрова⁶, Гр. Петрова. О Л. Толстом говорил разное — то с оттенком раздражения, то благоговейно. Толстой показался ему при встрече прекрасным и величественным, полубогом. «Старик был чуден. Прощаясь, я поцеловал его и

поцеловал его руку, — ту благородную руку, которая написала “Войну и мир” и “Анну Каренину” и столько, столько еще, что, читая, мы были так счастливы и говорили про себя: “Как хорошо, что я живу, когда живет он, не раньше, не до него: и вот теперь так счастлив за этими страницами художества, поэзии и мудрости”. Все это не помешало, однако, Розанову объявить (в «Уединенном»), что «Толстой прожил, собственно, глубоко пошлую жизнь». Он пытается уверить нас, что Толстой не знал страдания, не знал тернового венца и героической борьбы за убеждения, что Толстого мало любили и смерть его никого по-настоящему не взволновала.

Раз, показывая мне фотографию Толстого, Розанов сказал: «Вот, фотографию мне прислал через Страхова, а надписать ее не захотел. Ну, Бог с ним. Все-таки, знаете, какой богатырь!»

Такое же двойственное отношение было у Розанова к Вл. Соловьеву, с которым у него было много идейных разногласий и все-таки много точек соприкосновения. Некоторые идеи Соловьева он упорно игнорировал, даже презирал, вернее, они нагоняли на него скуку. По мнению Розанова, Соловьеву недоставало «русского духа», «русского тепла». Он считал его «международным, европейским писателем», рассматривая это как недостаток. «Он был весь блестящий, холодный, стальной (поразительно стальной смех у него, — кажется, Толстой выразился: “Ужасный смех Соловьева”). Соловьев был странный, многоодаренный и страшный человек».

В дни, когда Розанов трудился над книгой «Из восточных мотивов», когда весь он был погружен в Египет и ни о чем другом говорить не мог, он вспоминал рассказ Соловьева, как тот распивал шампанское у подножия какой-то пирамиды. «Какое кощунство, — волновался Розанов, — пирамида, тысячелетняя мудрость, красота, вера, все тут, а он со своим цилиндром и шампанским. Ну как тут не ругать Соловьева, вы подумайте!»

О Чехове Розанов сказал однажды так: «Чехов? — ничего особенного. У меня он вот где сидит (показал на шею). — Что Чехов? Глядел на жизнь, что видел, то и записал. Очень милый писатель, понравился, стали читать. Но он холодный, и ничего особенного. Успех его понимаю, только не одобряю». Об Ин. Анненском: «Из декадентов он мне больше всего нравился. Запишите о нем все, что помните, чтобы осталось в литературе. Как ужасно он умер, внезапно и так рано»⁷.

Перейдя на мысли о смерти, сказал (это было в 1916 г.): «Ну вот, исполнилось мне 60 лет, еще несколько годков — и могила».

Про «Новое время» говорил в 1917 г. (после революции): «Вот ничего не печатают, сволочи, — сердито роясь в рукописях. — Ведь это все деньги, а лежат зря».

Меньшикова В<асилий> В<асильевич> недолюбливал, порицал за жадность.

Общность некоторых устремлений связывала Розанова с А. Л. Волынским. Но по складу ума, по манере мышления они всегда были чужды друг другу. «Очень уж вы последовательны, — говорил Розанов Волынскому, — очень уж обтачиваете мысль. Вдобавок, у вас римский нос, а мы, русские, любим нос “картофелькой”: вот римский-то нос и мешает нашей близости». Он называл Волынского «евреем-православником», очень ценил его интерес к православию, к личности Христа, к судьбе церкви и пр. Особенно же дорог был Розанову поход, предпринятый Волынским против критиков-радикалов. Однажды в Малом театре, на выступлении Айседоры Дункан, одновременно присутствовали Волынский и Розанов. Внезапно последний выбежал из ложи, направился к сидящему в партере Волынскому и поцеловал его, сказав: «Вспомнил ваш подвиг с русскими критиками и побегал вас поцеловать».

О Мережковских он избегал говорить. Только раз сказал со страхом про З. Н. Гиппиус: «Это, я вам скажу, не женщина, а настоящий черт — и по уму и по всему прочему, Бог с ней, Бог с ней, оставим ее...»

С интересом говорил о Евг. В. Иванове.

В те годы, когда я бывал у Розанова (1915–1917 гг.), Религиозно-философское общество уже не заглядывало на его «воскресения». Многие писатели порвали с Розановым по так называемым «моральным» причинам, ничего общего с подлинной моралью не имеющих. Из писательской братии продолжали изредка бывать у него, если не ошибаюсь, — А. М. Ремизов, К. И. Чуковский, М. А. Кузмин, Н. О. Лернер, А. А. Измайлов и кое-кто из «правого лагеря».

Новых писателей, «молодых», Розанов почти не читал и был к ним равнодушен. Однажды принес из кабинета в столовую целую кипу книг Брюсова и, положив передо мной, сказал: «Нужно, покажите, что тут есть хорошего — Вы знаете в этом толк, я ничего не понимаю». Книги были с автографами Брюсова, но и эта почтительная предупредительность не повысила внимания к ним Розанова. Вяч. Иванова он считал «Семирадским в поэзии»⁸, но охотно верил, что он «настоящий поэт», потому что «Поликсена Соловьева сказала, что у него есть два-три гениальных стихотворения, а этого достаточно, даже если остальное хлам и неразбериха».

В библиотеке В<асилия> В<асильевича> была особая полка, на которой стояли, кроме его собственных сочинений (переплетенных кем-то в роскошные красные кожаные переплеты), «Столп и утверждение истины» Флоренского, «Русские ночи» В. Одоевского и еще что-то, все в одинаковых переплетах. Любимыми его писателями после Достоевского были Н. Страхов и Лесков.

Менее определено было отношение Розанова к искусству изобразительному. Разумеется, он не мало понимал в этой области, «чуял» прекрасное, как никто, но особых пристрастий и верований, кажется, не имел. Достаточно сказать, что он способен был одновременно восхищаться грубым, вульгарным анекдотизмом Репина и тонкой, нежной молитвенностью Нестерова.

С большой симпатией относился Розанов к Александру Н. Бенуа. В одном из писем ко мне он писал: «Лукомскому и А. Н. Бенуа привет. Бенуа и любовь. Умный». В другом предсмертном письме он снова шлет привет «благородному Саше Бенуа».

Интересовался Розанов скульптурой Паоло Трубецкого. Очень дорог ему и близок был весь «Мир искусства». Сам не будучи «эстетом», он умел ценить «эстетизм» в других. Древность, античное искусство, классицизм повергали его в умиление. Отсюда — любовь к нумизматике, особенно к древнегреческим монетам. Была у него монета с «Афиной, окруженной фаллосами», — предмет частого любования и нескончаемой радости.

С Нестеровым Розанова связывала давняя дружба. Приезжая из Москвы, художник непременно навещал В<асилия> В<асильевича>. Помню одно из таких посещений, необычайно занимательную беседу, в которой собеседники с полуслова угадывали мысли друг друга, и чувствовалось, как много созвучий в их душах. Запомнился мне один эпизод, характеризующий рассеянность В<асилия> В<асильевича>. Я собрался уходить, Нестеров остался в столовой. Прощаясь со мной в передней и целуя, Розанов сказал: «Ну, счастливого пути, Христос с вами. Поклон москвичам, Флоренскому непременно, Булгакову и всем, кого увидите». — «Почему москвичам, В<асилий> В<асильевич>?» — «Ах, забыл я — ведь москвич-то Нестеров, а не вы... Ну, я с Нестеровым целуюсь и с вами целуюсь, вот и спутал...»

Великолепен бывал Розанов в полемике. Это не были в сущности «споры» (ибо какой же спор возможен с Розановым), а так, умственный турнир, фехтование. Вспоминаю одно из «воскресений» (день приемов), когда В<асилий> В<асильевич> был особенно в ударе. Публика собралась разная: много дам-«поклонниц», какая-то маленькая писательница с оригинальной фами-

лией (не помню, кажется, Безграмотная или нечто в этом роде), какой-то художник из Крыма, проф. В. В. Суслов, А. М. Коноплянцев⁹, Ф. Я. Тигранов и др. Разговор был жаркий, перекрестный, причем весь «жар» проистекал от Розанова, который весь был в потоке мыслей, образов, мимики, жестов. Он так увлекался порою, что впадал в «неприличие». — «Что? Автономная Украина? — кричал он на девицу, набожно глядевшую ему в рот. — Вот вам автономия!» — и кукиш взлетел к носу девицы. Он не стеснялся, если нужно было (по ходу мысли) касаться «альковных тайн», а однажды поведал, что когда пишет, то «для вдохновения» держится левой рукой за «источник всякого вдохновения» («лучше пишется»).

Типично для Розанова, что в разговорах о литературных и общественных деятелях он больше всего интересовался личностью, «лицом» данного человека. — «А как он выглядит? Сколько лет ему? Женат? Дети есть? Как живет? Состоятельный или бедняк?» «Физиология» человека занимала его в первую голову. Отсюда он выводил все остальное. Многие «левые» деятели были ему как-то физиологически антипатичны. Значит, и «труды их не стоили внимания». «Не целоваться же с ними». Вообще в человеке он прежде всего любил и почитал человека, а уж потом его «шкуру» и «разные разности».

Проблема пола (в аспекте религиозно-философском) была любимой темой разговоров Розанова. Но он предпочитал говорить на эту тему «с глазу на глаз», а не в большом обществе. «Вообще, знаете, об этом нужно говорить *шепотом*, — он понизил голос и весь как-то сжался, — *шепотом*, как о самом тайном, о священном... А мы горланом, книги пишем, бесстыдники».

Его тяготение к половой проблеме, по-видимому, не встречало сочувствия со стороны «домашних». Он заговорил однажды о новой своей «половой статье», восторженно, с подъемом. «Гадость ты написал, больше ничего», — сказала одна из его дочерей с гримасой. В<асилий> В<асильевич> затрясся в беззвучном смехе. «Вот так лет пять она будет твердить — “гадость, гадость”, а потом поймет и еще как поймет...»

Дочери часто с ним спорили, одна из них нередко прибегала к истерике как аргументу неопровержимому. Жена В<асилия> В<асильевича> просто засыпала на этих беседах (от болезненной слабости, но и от скуки). Видимо, она была вне круга розановских мыслей. Но он очень ценил ее, считал «нравственным гением», заботился очень. Иногда бывал с ней резок. Один раз ответил ей грубовато на какой-то вопрос. Но когда она вышла из комнаты, вдруг всполошился. «Знаете, я, кажется, мамочку мою

обидел, — пойду попрошу прощения», и шаркающей, семенящей своей походкой прошмыгнул в соседнюю комнату. Пошептался там, пришел назад, сияющий: «Ну, вот, все хорошо».

Насмешник он был большой руки. Злая издевка не была ему свойственна, сарказм его был добродушен, но в известных случаях неумолим.

Насколько отчетливы были литературные симпатии и антипатии Розанова, настолько трудно разобраться в его общественно-политических вкусах. «Когда начальство ушло», он принялся бранить начальство. Когда оно снова «пришло», он стал критиковать его врагов. То восторгался революцией, то приходил в умиление от монархического строя. Очень любопытно было в Розанове совмещение психологического юдофильства с политическим антисемитизмом. Он питал органическое пристрастие к евреям и, однако, призывал в свое время к еврейским погромам за «младенца, замученного Бейлисом». Одновременно проклинал и благословлял евреев. Незадолго до смерти почувствовал раскаяние, просил сжечь все свои книги, содержащие нападки на евреев, и писал покаянные письма к еврейскому народу. Впрочем, письма эти загадочны: в них и «угрызения совести», и нежность, и насмешка¹⁰. Несомненно одно: «антисемитизм» Розанова и антисемитизм «Нового времени» — явления разного порядка. Вообще в консервативном лагере Розанов очутился случайно, вовсе не стремился «пристроиться» там, а просто «пригнало течением» к правому берегу. «Я писатель, а не журналист, — говорил не раз В<асилий> В<асильевич>, — и мое дело писать, а куда берут мои статьи — мне все равно».

Помню, в каком экстазе был В<асилий> В<асильевич> в 1917 г. после Февральской революции. Он тревожился, волновался, но вместе с тем восхищался событиями, уверял, что все будет прекрасно, «вот теперь-то Россия покажет себя» и т. д. В одном письме он говорил: «Я разовью большую идеологию революции и дам ей оправдание, какое самой революции и не снилось».

Продолжался этот восторг недолго. Наконец, стало совсем не до восторгов, когда придавила нужда. Не раз приходилось унижаться ради куска хлеба. Писатель, всю жизнь упорно трудившийся, собирал окурки у трактиров и на вокзале, чтобы из десятков окурков собрать табак на одну папиросу. «Из милости» пил чай у какого-то книготорговца.

Но все так же клокотала в нем мысль, жажда жизни, жадный интерес к людям. Как человек голодный и холодный, он «сдал». Но как писатель не «поджал хвоста» и ни к чему не

«примазался». Бегство Розанова в 1918 г. в Сергиев Посад¹¹ многие объясняли малодушным желанием скрыться с горизонта. Отчасти это верно. В<асилий> В<асильевич> пережил состояние отчаянной паники. «Время такое, что надо скорей складывать чемодан и — куда глаза глядят», — говорил он. Но вовсе не был он трусом. В московской газете «Вертоград»¹² он помещал статьи довольно рискованные и в своем «Апокалипсисе» обнаружил не малое бесстрашие. Осенью 1918 г., бродя по Москве с С. Н. Дурылиным, он громко говорил, обращаясь ко всем встречным: «Покажите мне какого-нибудь настоящего большевика, мне очень интересно». Придя в московский Совет, он заявил: «Покажите мне главу большевиков — Ленина или Троцкого. Ужасно интересуюсь. Я — монархист Розанов». С. Н. Дурылин, смущенный его неосторожной откровенностью, упрашивал его замолчать, но тщетно.

Что бы ни творилось в России — он любил Россию, любил страстной, ненасытной, преданной любовью. Не слепая была эта любовь, не зоологический патриотизм: вера, вера в Россию, нежность к ней безмерная. В одном из последних писем ко мне он писал: «До какого предела мы должны любить Россию: до истязания, до истязания самой души своей. Мы должны любить ее до “наоборот нашему мнению”, убеждению, голове. Сердце, сердце, вот оно. И если вы встретите Луначарского — ищите в нем тени русской задумчивости, русского странствия по лесам и горам»¹³.





С. Н. ДУРЫЛИН

В. В. Розанов

Летом 1918 г. Василий Васильевич Розанов привез ко мне в Москву из Посада маленький тючок, развернул и сказал: «Вот это прошу Вас отдать куда-нибудь на сохранение. Сберегите. А после моей смерти отдайте моим детям». В тючке были, в больших незапечатанных конвертах, листочки, зачерненные мелким-мелким бисером его, единственного по нежной тонкости и по неразборчивости, почерка: продолжение «Уединенного». Я с радостью, не отрываясь, смотрел на это богатство. Но Вас<илия> Вас<ильевича> занимало что-то другое. Он рассеянно смотрел на конверты с листочками, почти не слушал, что я ему говорил, перелистнул какую-то книгу, лежавшую на столе, — и вдруг, решительно вытянув из внутреннего кармана пиджака какой-то запечатанный конверт, подал мне его и сказал:

— А вот это сберегите; когда умру, соберите Варю, детей, распечатайте, — и прочтите им.

Я принял конверт: он был мят и грязноват.

Сказав то, что сказал, и вручив мне конверт, он ничего не прибавил в пояснение.

Все, что он просил, было исполнено.

Когда он умер, пакеты с листочками были мною переданы его семье, а запечатанный конверт я предъявил Варваре Дмитриевне, собрав Таню, Надю и Александру Михайловну в той маленькой комнате в доме Беляева на Красюковке, которая служила столовой и была рядом, дверь в дверь, с комнатой, где он умер.

Я распечатал конверт и выложил на стол все, что там было: две, помнится, небольшие записные книжечки в клеенке, два-три листочка, — и старое, пожелтелое письмо... Книжечки мы перелистывали: там были какие-то незначащие или нам показавшиеся такими, записи, пометки делового характера, немало пустых страниц... Ничего в них не было такого, что объясняло

бы их присутствие в запечатанном конверте, назначенном к по-
смертному вскрытию. Книжечки принесли недоумение. Зачем
их было запечатывать? В это время Варвара Дмитриевна взяла
пожелтелое письмо, — и только глянула — воскликнула:

— А! Вот это... — и протянула мне:

— Читайте.

Я стал читать вслух. Почерк был Вас<илия> Вас<ильеви>ча,
но несравненно четче, чем знакомый мне: было видно, что пись-
мо, — или, точнее, то, что я читал, — было написано много лет
назад...

Я читал — и дух останавливался.

Это был рассказ о первой женитьбе В<асилия> В<асильеви-
ча> на Аполлинии Прокофьевне Сусловой, любовнице Досто-
евского, о их супружеской жизни и о конце этой жизни — и,
главное, о том, что вынес в этой жизни Вас<илий> Вас<илье-
вич>. Рассказ был написан, надо думать, в самом начале 90-х
годов — и в определенное время: тогда, когда Вас<илий> Ва-
с<ильевич> был уже женат на Варваре Дмитриевне. Рассказ весь
строился по контрасту: что было тогда, при Сусловой, и что ста-
ло *теперь*, когда при нем В<арвара> Д<митриевна>. О «теперь»
он, впрочем, ничего в письме, сколько помню, не говорил: «те-
перь» — это было глубокое, полное счастье. Это было счастье в
онтологии, если можно так сказать, счастье от корня бытия,
счастье от «лона Авраамова», полученное от «Бога Авраама,
Исаака и Иакова». В счастье этом с В<арварой> Д<митриев-
ной> открывалась вся та нежность, успокоенность и глубина
родовой мудрости, которые всегда видел в таком счастье В<аси-
лий> В<асильевич>, как писатель. Когда писалось то, что я чи-
тал, этим счастьем в онтологии В<асилий> В<асильевич> обла-
дал и был насыщен им, как библейский старец — днями, — и
вдруг, как отошедшая ужасная боль, припомнилось ему в «лоне
Авраамовом» то, что до безумия противоположно было этому
лону и в чем он жил шесть лет: счастье из глубин онтологии
представило ему до ясности недавнее «счастье», искомое в пси-
хологии, — и какой еще! В «психологии» бывшей любовницы
Достоевского, 40-летней женщины, про которую можно было бы
повторить евангельские слова: «У тебя было пять мужей, и тот,
которого ныне имеешь, не муж тебе»¹. В<асилий> В<асилье-
вич> ранее рассказывал мне как-то, что женился на Сусловой
потому, что она была любовницей Достоевского. Это был брак от
«психологии», брак по Достоевскому, — но совсем не по Розано-
ву, не по автору «Семейного вопроса» и «В мире неясного и не-
решенного». Брак — из романа Достоевского, а не из лона Авра-

амова. Она была старше его на 16 лет: она уже сильно «пожила», — не только с Достоевским, но (знал ли это В<асилий> В<асильевич>, когда женился?) и с нигилистами, и с иностранцами, и с красивыми испанцами. Об этих «испанцах» в письме не было, это я знаю уже из книги, заглавие которой выписано выше, но в письме было яркое, мучительное до боли, просто стонущее противопоставление того, что Розанов искал и что нашел в 40-летней даме с нигилизмом. Романтика: «та, кого любил Достоевский!» — оборвалась, психология по Достоевскому вдруг обернулась психологией тончайшего, непрерывного женского мучительства. Произошло недоразумение, идущее до глубины, расщепляющее саму жизнь: несмотря на «романтику», на «Достоевского», он-то искал брака не по психологии, а по онтологии, а сам оказался в плену у брака по психопатологии. Вместо греющего добрую плоть нежной семейственности «Бога Авраама, Исаака и Иакова»² оказалось озлобленное безбожие шестидесятиницы с постелью «принципиально» бездетной; вместо возлюбленной и нежной — озлобленная, умная, как бес, и злая, как бес, полу-нигилистка, полу-Настасья Филипповна (из «Идиота»), кому-то и чему-то непрерывно мстящая; вместо чаемой «колыбельной песни» в спальне раздавался психопатологический визг стареющей, ломаной и ломающейся женщины — «непрерывным раздражением пленной мысли», озлобленной души, стареющей плоти. Начался ужас. Этот ужас сквозил в каждой строке, в каждом слове, в каждом вздохе этого письма, — и я не могу лучше и точнее выразить этого ужаса, как сравнением: тот, кто хотел возлежать, как герой «Песни песней», на нежном и плодящем лоне, входящем в неистощимое, присно рождающее и святое лоно Авраамово, тот оказался прикованным к колющей постели стареющей, бесплодной, чувственной и истеричной нигилистки, мстящей Достоевскому, как Грушенька своему покровителю.

Течение письма прерывалось восклицаниями: «Она измучила меня! Она ненавидела меня!» * (Достоевский предупреждал ее: «Если ты выйдешь замуж, то на третий же день возненавидишь и бросишь мужа»³).

Теперь, когда с ним была Варвара Дмитриевна, все это видел В<асилий> В<асильевич> и мог кричать это ей с особой силой,

* В дневнике Суслова писала 24.IX.1864 г.: «Теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу любить, не могу находить счастья в наслаждении любви, потому что ласка мужчин будет напоминать мне оскорбления и страдания» (с. 923).

так как в Варваре Дмитриевне он нашел то нежное, пробуждающее мудрость и дающее покой — лоно, которого искал и у той, но нашел нигилистические иглы вместо лона.

Письмо было потрясающее. Любовь и ненависть, благословения и проклятия сплелись в нем. В нем был крик спасшегося от гибели, крик с берега, — волне, которая только что была, хлестала его, чуть-чуть не разбила о камень, и вот он все-таки выбрался на берег, жмет к тихому и теплomu лону земли, а волне шлет проклятия.

Когда чтение было окончено, Варвара Дмитриевна — земля с тихим и теплым лоном — приняла у меня письмо, — заплакала — тихо и кротко.

Все молчали.

Мы поняли все смысл этого загробного чтения: В<асилий> В<асильевич> хотел, чтобы и дочери его знали, кто был бьющей о камень волной и кто был прекрасно-творящей землей в его жизни.

Что случилось с этим изумительным письмом (гениальным с точки зрения словесности), я не знаю.

Много лет спустя, уже в середине 900-х гг. В<асилий> В<асильевич> во второй раз рассказал о Сусловой уже в письме к чужому — к биографу Достоевского А. С. Волжскому^{4*}.

Теперь вот книга вышла о Сусловой. Все это и вспомнилось. О Розанове в ней говорится, что он «один из лучших истолкователей (Достоевского), потому что был он во многом ему конгенитален» (с. 5). В примечании (с. 173) сказано о Р<озанове>, что он «талантливейший публицист, критик и мыслитель», отец целой школы истолкователей Достоевского, но что он же «представляет собою удивительную смесь различных черт как положительных, так и отрицательных героев Достоевского», и в «Н<овом> вр<емени>» писал «ради высокого гонорара нередко то, во что сам не верил» (с. 173).

Показания В<асилия> В<асильевича> о Сусловой все берутся автором под сомнение, все почти отвергаются, т<ак> к<ак> В<асилий> В<асильевич>, «по-видимому, всю жизнь испыты-

* Биографию он так и не написал, а письмо розановское отдал, здорово живешь, Гроссману. Тот напечатал его с несколькими строками своих объяснений в «Русском современнике», подписался Л. Гроссман, получил гонорар и славу первого обнародователя интереснейшего документа для биографии Достоевского. Когда в 1925 г. Волжскому пришлось поехать в Семипалатинск по делам и он, желая покопаться в тамошнем архиве о Достоевском, попросил у Гроссмана какую-нибудь бумажку от Академии, тот ничего не дал. Урок простакам.

вал к Сусловой глубочайшую ненависть в соединении с неискоренимым восхищением» (с. 7). Последнее вовсе несправедливо: ни в конце 90-х, ни в 900-х гг. не было никакого «восхищения». «Ненависть» же была понятна: она ему, безвинному, мстила тем, что в течение почти двух десятков лет ни под каким видом не соглашалась на развод, так что «дети его от второй жены долго не могли носить его фамилию» (с. 41). Долинин⁵ не знает, что для Розанова это несогласие этой дамы на развод грозило ссылкой в Сибирь: он не просто *жил* с Варварой Дмитриевной и имел от нее детей, которые не могли носить его фамилии. Это было бы полбеда. Дело в том, что В<асилий> В<асильевич> был *тайно обвенчан в церкви* с Варварой Дмитриевной. Если б это открылось (Победоносцев знал это, но, по благородству своему, молчал), Вас<илий> Вас<ильевич>, как двоеженец, подлежал бы не только церковным, но и гражданским карам — разлучению с женой, с детьми и ссылке на поселение. Когда детей надо было отдавать в школу, а они были без фамилии отца, Бутягины, а не Розановы, Тернавцев поехал в Крым убеждать Суслову дать Вас<илию> Вас<ильевичу> развод⁶. Вернулся ни с чем и сказал: «Это не баба, это — черт в юбке!» Вас<илий> Вас<ильевич> соглашался с женой Достоевского, что Суслова была «цинична». Этот цинизм и чувственность, сопровождаемые злобной, мечущейся серостью души и жизни, преисполняют ее «Дневник». Даже сам защитник ее должен признать, что после разрыва с Достоевским ее постигает «падение»: «катастрофическое понижение всего диапазона ее душевных переживаний, *ставших вдруг* (! конечно, всегда и бывших. — С. Д.) какими-то маленькими и мелочными»; «явно ощутимая пошлость, которая проявляется теперь в ее отношениях с окружающими ее людьми» (с. 33). На этом тягостном фоне «мелькают, точно серые сумеречные тени, лишенные яркости и глубины, герои романа на час, игру в любовь с которыми она подробно описывает» (там же). «В той плоскости, в которой она ими интересуется (чувственной! — С. Д.), они (ее «безымянные герои» — С. Д.) ведь так похожи друг на друга, затушеванные под своей национальностью (валлах, грузин, англичанин, француз) или под профессией (лейб-медик), — она непременно дарит свое внимание каждому из них» (с. 34).

Но злобствует она на них, на этих мимолетных валлахов и испанцев своих, не меньше, чем на Розанова: «Знаю, что пока существует этот дом, где я была оскорблена *, эта улица, пока этот человек пользуется уважением, любовью, счастьем, — пи-

* Испанец изменил ей.

шет она в дневнике (с. 77, 7 января 64 г.), — я не могу быть покойна... Я была много раз оскорблена теми, кого любила, или теми, кто меня любил, и терпела... но чувство оскорбленного достоинства не умирало никогда, и вот теперь оно просится высказаться. Все, что я вижу, слышу каждый день, оскорбляет меня, и, мстя ему, я отомщу им всем. После долгих размышлений я выработала убеждение, что нужно делать все, что находишь нужным. Я не знаю, что я сделаю, верно только то, что сделаю что-то. Я не хочу его убить, потому что это слишком мало. Я отравлю его медленным ядом, я отниму у него радости, я его унижу» (с. 77).

Эти фуриозные строки объясняют ее всю. Все это она хотела сделать с изменившим ей испанцем Сальвадором, ради которого она изменила Достоевскому, — но с испанцем сделать этого ей не удалось, а удалось сделать с Розановым. Еще в 1886 г. Розанов просил у нее развода, она отказывала, что явствует из письма к ней графини Салиас⁷: «Смотрите, чтобы этот муж, которого *вы насильно желаете быть женой*, не наделал вам бед» (с. 43).

Но бед наделал не он ей, а она ему.

История очень проста.

Когда В<асилий> В<асильевич> нашел свою Рахиль, свою Варвару Дмитриевну, он понял, что с нею нашел свое гениальное писательство, нашел себя, счастье свое и семью, — но, обретши Рахиль, понял также, что до Рахили у него была не кроткая, хотя и не любимая Лия, а неистовая Медея. Муки от Медеи, претерпленные Иаковом, всегда мечтавшим иметь нежно возлюбленную Рахиль, — вот — в свете книжки о Сусловой — все содержание того письма, которое я читал по воле В<асилия> В<асильевича> самой этой Рахили и чадам ее, когда уже самого Иакова не было в живых.

Медея — на то она и фуриозная особа — не могла перенести, что оставивший ее Иаков счастлив со своей Рахилью, — и, как и подобает Медее, мстила не только Рахили, но и *детям* их. На детях-то и проявляется нарочитая Медеина месть: пусть будут без законного отца (как ненавидел В<асилий> В<асильевич> эти слова: «незаконные дети» и «законные дети»), с поношением подвергающейся матерью, пусть будут они без имени. Так Медея мстила почти двадцать лет; старуха под 70 лет, она настолько не теряла своей фуриозности, что всякие виды выдавший, твердый мужчина победоносцевской школы, Тернавцев воскликнул не менее фуриозно: «не баба, а черт в юбке».

13.VI. К характеристике Медеи: в Монпелье она сблизилась с женой Огарева (Тучковой)⁸, перешедшей в жены к Герцену. «То

она хочет, чтоб женщины жили отдельно от мужчин, чтоб не вмешивать в жизнь семейную все дразги хозяйства и видеть только в свободное время (уж не сераль ли), то не хочет, чтоб женщина выходила замуж и, паче всего, чтоб не иметь страстей, то хочет выселиться из Европы и составить братство, но нет еще товарищей... Наконец, сегодня мы с ней как будто договорились. Я говорю, что *пользу* нужно *приносить* (ее курсивы. — С. Д.), хоть одного мужчину читать выучить...

— Нет, не то. Нужно, чтобы *цивилизованные* в ... (неразобрано одно слово) составили для модели общество, в котором бы не венчались и не крестили детей, написали бы книжки для русского народа.

— Но как составить такое общество? Пожалуй, никто не пойдет.

— А Лугинин и Усов?⁹

Я просила считать меня кандидатом» (с. 119).

Розанов — и кандидатка такого общества! Жить с нею долее значило бы для него не стать Розановым, автором «Сем<ейного> вопроса», «В мире неясного», всего, что писано им о поле и браке. Против нее *вопиала* вся его онтология, все зерно его писательства, дремавшее в нем и вырвавшееся наружу не пустоцветом («О понимании»), а истинным цветением и плодом *только* с Варварой Дмитриевной: нашел он Рахиль свою — нашел и гений свой. Связано. Накрепко. Неразрывно. Вот кто была его Музой всегда — Рахиль бесписьменная, тихая, без шумной «близости» с Достоевским, без знакомства с Герценом и его Тучковой-Огаревой, но зато без «испанцев», без «психопатологии», с одной мудрой онтологией «ложь нескверного», — с любовью великою, — вот кто была его музой — Варвара Дмитриевна. Этого тоже не могла никогда простить Медея. Она спала с Достоевским, рассуждала с Герценом, и вдруг от нее и при ней ничего, ничего не явилось розановского — ничего, кроме огромного — далекого от гения Розанова — трактатища «О понимании», а при этой — при семейственной, скромной Рахили, которая с Герценом не только не разговаривала, но и не читала, рождается не только ребенок за ребенком с лона, не оскверненного ни с каким испанцем, но и книга за книгой рождается у Розанова, — и какие книги: «Легенда о Великом Инквизиторе» (СПб., 1893) *,

* Вот что о ней пишет тот же Долинин, к чести его сказать: «Критика школы символистов (Мережковский, Лев Шестов, Вольтинский, Вяч. Иванов и их ученики) только углубляет и расширяет те основные положения о Достоевском, которые впервые были высказаны Розановым в его замечательной работе «Легенда о Великом Инквизиторе» (СПб., 1893, с. 173).

«Сумерки просвещения», «Религия и культура», «Природа и история», «В мире неясного и нерешенного», «Литературные очерки», «Около церковных стен» и т. д. Как же это перенести книжной Медее, что русская литература ей ничем не обязана, а скромной Рахили — всем? Впрочем, и ей обязана русская литература: ее, Медеиной, мстью *детям* Розанова, ее упорным удерживанием этих детей от Рахили на положении «незаконных» («законными» были бы дети от бесплодной Медеи) вызвана та страстная защита прав «незаконных детей», которую Розанов повел так горячо и твердо в «Семейном вопросе в России», в газетных статьях, что из русского законодательства исчез самый термин «незаконнорожденные».

А она, действительно, имела в себе что-то фуриозное, — даже до комизма. Медее свойственно возиться с ядами. Она и тут не отступила от греческого прообраза. «Потом она (Медее № 2: “Тучкова-Огарева”, перешедшая к Герцену —) просила меня достать ей яду через моего доктора. Я, как особа без предрассудков, гуманная и образованная (— Медее ли стесняться в высокой оценке самое себя!), обещала ей, но я не знала, как было приступить к моему доктору с такой просьбой...» (с. 119) *.

С добытчицей ли яда было жить бедному Василию Васильевичу, человеку семейному и тихому, с рыжей бороденкой и папироской во рту?

13.VI. P. S. Долинин называет Розанова человеком, «во многом конгениальным» Достоевскому (с. 5) и «почти гениальным человеком» (с. 42). А вот что приходит в голову: в 60–70 годах атмосфера русской культуры была еще такова, что человек с темой Достоевского, с пафосом Достоевского, с гением Достоевского еще мог выразить себя, благо он был художник (хуже б ему было, если бы он был чистый мыслитель); но в 90–900-х гг. атмосфера русской культуры была уже такова, что человек, Достоевскому «конгениальный» и «почти гениальный», уже *едва* мог не выразить, а выкрикнуть свою тему, свое «Я само» («я-то бездарен, да тема моя гениальна»), — и уже не в журналах, как Достоевский, а в газете (весь секрет, почему был в «Н^{овом} вр^{еме}ни», конечно, не в деньгах, а в том, что Суворин давал возможность выкрикнуть о Египте, о «звездном», обо всем, о чем и заикнуться было нельзя у Гольцева в «Рус^{ской} мысли», у Михайловского в «Рус^{ском} богатстве» или у Стасюлевича в

* Доктору, утешавшему ее после одной операции, что она будет «иметь детей», она ответила, что это ее «ничуть не утешает». «Почему же?» — «Потому что я не умею их воспитывать» (с. 121).

«Вестн<ике> Евр<опы>», или в профессорских «Р<усских> вед<омостях>», в своем издании на свой риск (сборники и книги). Ныне же человек с темой и воплями Достоевского или «конгениального ему» человека с неугасимой папироской был бы немой: с землей во рту. И сама тема — с землей во рту.





ШТРИХИ ВОСПОМИНАНИЙ

* * *

За последнее время в эмиграции часто стало упоминаться имя Василия Васильевича Розанова. В. В. Розанова я хорошо знал лично. Я не являюсь литератором с именем, а потому мое о нем мнение, быть может, не представляет интереса, но даваемые мною о нем сведения, мне кажется, безусловно должны быть учтены, так как я сообщаю *факты*, точность которых удостоверяю своей полной подписью, а также указываю свой адрес и точные даты и места описываемого. Эти данные, мне кажется, тем более ценны, что относятся к тому времени жизни Василия Васильевича, которое наименее освещено в его биографии и в воспоминаниях о нем, но они, как белые точки в глазах портрета, мне думается, должны послужить к уяснению его личности.

В девяностых годах прошлого века я жил в городе Белом быв<шей> Смоленской губернии, и в 1891 и 92 гг. состоял учеником первого класса местной шестиклассной прогимназии. Преподавателем географии у нас был Василий Васильевич Розанов, а учебник — «Курс всеобщей географии» Янчина¹. Давно это было, время стерло в памяти многие лица, имена и фамилии, но личность Вас<илия> Вас<ильевича> Розанова передо мной стоит до сих пор так ясно, как будто мы расстались с ним только вчера. Среднего роста, рыжий, с всегда красным, как из бани, лицом, с припухшим носом картошкой, близорукими глазами, с воспаленными веками за стеклами очков, козлиной бородкой и чувственными красными и всегда влажными губами он отнюдь своей внешностью не располагал к себе. Мы же, его ученики, ненавидели его лютой ненавистью, и все, как один. Курс всеобщей географии, казалось бы, не должен был представлять особых трудностей, и в руках умелого преподавателя легко мог стать и чрезвычайно интересным, но свою ненависть к преподавателю мы переносили и на преподаваемый им предмет. Как он преподавал? Обычно он заставлял читать новый урок кого-либо из учеников по учебнику

Янчина «от сих и до сих» без каких-либо дополнений и разъяснений, а при спросе гонял по всему пройденному курсу, выискивая, чего не знает ученик. Спрашивал он по немой карте, стараясь сбить ученика. Например, он спрашивал: «Покажи, где Вандименова земля?», а затем, немного погодя: «А где Тасмания? Что такое Гавайи? А теперь покажи Сандвичевы острова»². Одним словом, ловил учеников на предметах, носящих двойные названия, из которых одно обычно упоминалось лишь в примечании. А когда он свирепел, что уж раз за часовой урок обязательно было, он требовал точно указать границу между Азией и Европой, между прочим, сам ни разу этой границы нам не показав. Конечно, ученик правильно вел указкой по карте только до реки Урала, а там начинал путать, и мы уже заранее знали, что раз дело дошло до границы между Азией и Европой, то единица товарищу обеспечена. Но вся беда еще не в этом. Когда ученик отвечал, стоя перед картой, Вас<илий> Вас<ильевич> подходил к нему вплотную, обнимал его за шею и брал за мочку его ухо, и пока тот отвечал, все время крутил ее, а когда ученик ошибался, то больно дергал. Если ученик отвечал с места, то он садился на его место на парте, а отвечающего ставил у себя между ногами и все время сжимал ими ученика и больно щипал, если тот ошибался. Если ученик читал выбранный им урок, сидя на своем месте, Вас<илий> Вас<ильевич> подходил к нему сзади и пером больно колол его в шею, когда он ошибался. Если ученик протестовал или хныкал, то Вас<илий> Вас<ильевич> колол его еще больней. От этих укулов у некоторых учеников на всю жизнь сохранилась чернильная татуировка. Иногда во время чтения нового урока, когда один читал, а все остальные должны были следить по своим учебникам, Вас<илий> Вас<ильевич> отходил к кафедре, глубоко засовывал обе руки в карманы брюк, а затем начинал производить какие-то манипуляции. Кто-нибудь из учеников замечал это и фыркал, и тут-то начиналось, как мы называли, избивание младенцев. Вас<илий> Вас<ильевич> свирепел, хватал первого попавшегося за руку и тащил к карте. — «Где граница Азии и Европы? Не так! Давай дневник!» И в дневнике — жирная единица. — «Укажи ты! Не так!» — И вторая единица, и тут уж нашими «колами» можно было городить целый забор. Любимыми его учениками, то есть, теми, на которых он больше всего обращал внимание и мучил их, были чистенькие мальчишки. На двух неряшливых бедняков из простых и на одного бывшего среди нас еврея он не обращал внимания, спрашивая их только раз, чтобы не оставлять без отметки в четверти. Мы, малыши, конечно, совершенно не понимали, что творится с Вас<илием> Вас<ильевичем> на наших уроках, но боялись его и ненавидели. Но

позже, много лет спустя, я невольно ставил себе вопрос, как можно было допускать в школу такого человека с явно садистическими наклонностями? Это был ценный объект для наблюдений доктора Крафт-Эбинга³. О том, что он был женат на любовнице Достоевского Апполинии Сусловой, бывшей старше Розанова на 16 лет, я узнал позже, в девяностых годах она его уже оставила и в г. Белом ее не было.

Всеволод Владимирович Оболянинов

28-38 Бэлл Бульвар, Бэйсайд, Лонг Айленд, Н.-Й.

*[В. В. Оболянинов. В. В. Розанов — преподаватель
в Бельской прогимназии (письмо в редакцию)]*

* * *

В Петербурге, на Шпалерной улице, у церкви Всех Скорбящих¹ и дома предварительного заключения², около тех мест, где находился некогда дворец сына Петра Великого, царевича Алексея, в четвертом этаже огромного нового дома, в квартире Василия Васильевича Розанова лет пять тому назад по воскресным вечерам происходили любопытные собрания. Из незанавешенных окон столовой видны были звездно-голубые сказочные дали Невы с мерцающей цепью огоньков до самой Выборгской. Здесь, между Леонардовой Ледой с лебедем, многогрудой фригийской Кибелой и египетской Изидой с одной стороны, и неизменно теплящейся в углу, перед старинным образом, лампадкой зеленого стекла, — с другой, за длинным чайным столом, под уютно-семейной висячей лампой, собиралось удивительное, в тогдашнем Петербурге, по всей вероятности, единственное общество: старые знакомые хозяина, сотрудники «Московских ведомостей» и «Гражданина», самые крайние реакционеры и столь же крайние, если не политические, то философские и религиозные революционеры — профессора духовной академии, синодальные чиновники, священники, монахи — и настоящие «люди из подполья», анархисты-декаденты. Между этими двумя сторонами завязывались апокалиптические беседы, как будто выхваченные прямо из «Бесов» или «Братьев Карамазовых». Конечно, нигде в современной Европе таких разговоров не слышали. Это было в верхнем слое общества отражение того, что происходило на Светлом озере, в глубине народа.

[Д. С. Мережковский. Революция и религия]

* * *

Перед четой Мережковских совершенно стушевывался идейный конкурент Дмитрия Сергеевича — Розанов, незаменимый собеседник *tkte-a-tkte*, но робкий в большом обществе. В «Мире искусства», особенно в первые годы, Розанова стеснял уже самый состав собраний и даже обстановка квартиры. Не забуду первое посещение им редакционного вечера, еще на Литейном¹. Появление Василия Васильевича произвело эффект, и весь вечер внимание было устремлено на него. Но он сам был решительно сконфужен. Главное, его смущало, что он, тогда еще очень консервативно настроенный и хорошо сохранившийся провинциальный «дичок», попал на вечер к «декадентам», которые неизвестно еще, как ведут себя. Подозрительно оглядывался он по сторонам, как бы ожидая появления чего-нибудь неподобающего... Особенно его взоры привлекала висевшая посередине кабинета Дягилева резная деревянная люстра в форме дракона со многими головами. По окончании вечера мы пошли с ним вдвоем по Литейному. «Вы видели, какая у них люстра? — боязливо сказал он и, помолчав, прибавил: — Разве Страхов пошел бы к ним больше одного раза?» Консервативный и благодушно-старомодный Страхов был для Василия Васильевича в те годы руководящим идеалом. Однако время шло, и постепенно Василий Васильевич убеждался, что на Литейном 45 ничего особенного не происходит, что страшная люстра висит спокойно на своем месте и эти «декаденты», пожалуй, вовсе не такие развратители и потрясатели всех основ, какими их воображали и изображали в кругах, где он до тех пор вращался. А так как именно в «Мире искусства» встретил Розанов первое серьезное внимание к своим, тогда еще новым идеям, и пугавшей его самой сексуальной философии, то немудрено, что, забыв Страхова, он стал все чаще и чаще бывать «у них», — пока не акклиматизировался совсем в семирамидных садах.

Но все-таки из всех посетителей и обитателей дягилевской квартиры Розанову была, кажется, милее всех одна мало замечаемая другими особа. Эта особа была старая нянюшка Сергея Павловича, — настоящая, очень стильная «Арина Родионовна», как мы ее, конечно, тотчас же прозвали, — обыкновенно скрывавшаяся во внутренних помещениях квартиры, но иногда, когда бывало мало народа, появлявшаяся в столовой, чтобы разливать чай. И чай казался вкуснее с ее появлением, и всему придавался какой-то благодушно-патриархальный оттенок.

* * *

...Продолжали бывать по воскресеньям кто у Федора Сологуба, а кто — у Розанова. Я бывал и там, и тут; и о тех, и о других «воскресеньях» есть уже воспоминания. Хорошо изобразил вечера у Розанова Д. А. Лутохин, напечатавший свои воспоминания в 1922 году¹. Я их читал — и живо вставали поблекшие образы — большой, просторной квартиры во много комнат, негусто уставленных мебелью, рождественской елки, на которой резвились дети Розанова и их знакомые, барышни и молодые люди; одна из барышень была красива, как сама Венера (вспоминает Д. Лутохин). У Розановых почти не читали своих литературных произведений; но обильно закусывали; долго засиживались за чайным столом; разговаривали, — говорил по большей части хозяин... Потом он вел всех или некоторых гостей в кабинет, — тоже очень просторный, тут было много стеклянных ящичков с аккуратно разложенными монетами: журналист по профессии, — в эту пору Розанов считал себя по призванию нумизматом, и ничем больше. Страсть к собиранию монет вытесняла в нем тогда все остальное. Но нужно сказать, он умел извлекать из этой нейтральной страсти лучшее для себя и своих собеседников. Вытаскивая какую-нибудь монету или показывая пальцем несколько их сразу в витрине, — Розанов начинал объяснять особенности чеканки; по ним отскакивал к другим данным материальной культуры, — и таким образом за ушко как бы вытягивал на свет целый кусочек эпохи. Возможно, он фантазировал немного, — но, во всяком случае, почти всегда очень талантливо.

[В. Пяст. Встречи]

* * *

...у Минского по предложению Вячеслава Иванова и самого Минского было решено произвести собрание, где бы Богу послужили, порадели, каждый по пониманию своему, но «вкуче»; тут надежда получить то религиозное нелегкое в совокупном собрании, чего не могут получить в одиночном пребывании. Собраться решено в полуночи (11 1/2 ч.) и производить ритмические движения, для расположения и возбуждения религиозного состояния. Ритмические движения, танцы, кружение, наконец,

особого рода мистические символические телорасположения. Не знаю, в точности ли так я передаю, но смысл собрания, предложенного Минским и Ивановым в воскресенье 1 мая у Розанова, был именно таков. Собрание для Богообручения с «ритмическими движениями», и вот еще что было предложено В. Ивановым — самое центральное — это «жертва», которая по собственной воле и по соглашению общему решает «сораспяться вселенской жертве», как говорил Иванов; вселенскую же распятую жертву каждый по-своему понимает. «Сораспятие» выражается в символическом пригвождении рук, ног. Причем должна быть нанесена ранка *до крови*.

Минский в конце сказал, что к себе он никого не приглашает, а сами кто желает пусть приходит, Английская набережная, дом № 1. Просил соблюсти все сказанное в тайне.

2 мая собрание действительно состоялось. <...> Я узнал это вчера от падчерицы Розанова, Александры Михайловны. Александра Михайловна пригласила с собой одного милого и интересного молодого человека, бывающего у них, музыканта, ученика консерватории, блондин-еврей, красивый, некрещеный; он не был знаком с Минским, а пошел только по приглашению Ал<ександры> Мих<айловны>. Был Бердяев с женой, Ремизов с женой, Сологуб, Розанов, Венгеровы, оба², кажется, Мария³, Минские и Иванов Вяч. с женой. Последняя⁴ была в красной рубашке до пят, с засученными по локоть фасонно рукавами (вещь рискованная — балаганом попахивает).

Вечер начался с того, что ели и пили в столовой чай и печенье. Розанов прервал говорить: «Ну что же, господа, мы всё здесь сидеть будем да болтать...», и пошли в зал. Сели на пол прямо, взявшись за руки. Огонь то тушили, то снова зажигали, иногда красный. Сидели, сидели, вдруг кто-то скажет: «Ой, нога затекла». Смех. Потом: «Ой, кто-то юбку дергает». Смех. Ал<ександра> Мих<айловна> вспоминает все это с содроганием. Говорит, Минский был ужасен. Тишины не делалось. Больше всех смеялся Бердяев, как ребенок смеялся, это — хорошо. Жена Бердяева⁵ произвела на Ал<ександру> Мих<айловну> сильное впечатление своей религиозной серьезностью и силой: накануне у Розанова она совершенно отрицательно отнеслась к этому собранию, называя кощунственное самовозбуждение ненужным тому, кто верит, и смешным. Но как это опять важно, она была серьезна.

Больше всего делал и говорил Иванов. Он был чрезвычайно серьезен, и только благодаря ему все смогло удержаться. И сиденье на полу с соединенными руками произвело действие. Ка-

жется, чуть не два часа сидели. И вот тогда решили после объяснения начать избирать жертву. Да, забыл, что во время сидения в комнате каждый менялся местами со своими дамами. Потом вышли в другую комнату. Потом стали *кружиться*. И Ал<ександра> Мих<айловна> говорит, ничего не вышло: «Котильон». Воображаю жену Иванова, ты ведь ее видел, в красной рубаше, полную, плечистую, вертящейся.

Потом вот о жертве и избрании жертвы, которая «сораспалась» бы. И как только спросили, «кто хочет?», поднялся молодой человек, приведенный А<ександрой> Мих<айловной>, и сказал: «Я хочу быть жертвой». Поднялись волнения. Одни не хотели его, другие хотели. И когда решили большинством голосов его избрать, то начали готовить. Я все же рад, что не Минского распинали — это было бы нечто чудовищное до отвращения, и рад, что молодого человека — это лучше. Иванов подошел и говорит: «Брат наш, ты знаешь, что делаешь, какое дело великое и т. д.». Потом все подходили и целовали ему руки. Ал<ександра> Мих<айловна> кричала, что не надо этого делать, что это слишком рано, что не подготовлен никто; ее перебили, говорили: «Вы жалуете», даже с многозначительными улыбками: «Вам жалко».

Но вот наступила минута Сораспинания. Ал<ександра> Мих<айловна> говорит, что закрыла глаза, похолодела и не видела, что они делали. Потом догадалась. Кажется, Иванов с женой разрезали ему жилу под ладонью у пульса, и кровь в чашу... Дальше показания путаются. Но по истерическим выкрикам жены Розанова, если судить, что этой крови все приобщились, смешав с вином. Впрочем, Ал<ександра> Мих<айловна> как-то тут говорит неопределенно, я не расспросил, позабыл тот момент расспросить, а жена Розанова, которая слышала по рассказам Вас<илия> Вас<ильевича> обо всем и пришедшая в состояние бешенства и даже заболела на неделю нервами, жена Розанова говорит, что пили кровь все, и потом братским целованием все кончилось. Потом опять ели апельсины с вином.

Когда вышли на набережную Невы (Английская), то, говорит Ал<ександра> Мих<айловна>, в свете кончающейся белой ночи и загоревшейся зари почувствовали мы чрезвычайно нечто новое — единство. Потом поехал к ним молодой человек. Ночь не спала, и всю неделю по два часа по ночам не спала. Это важно. Потому что здесь, наверное, томление глубокое освященной любви, уже счастье жизни. Вообще, думаю, во всем этом собрании главными действующими лицами были этот молодой человек и Ал<ександра> Мих<айловна>.

Но жена Розанова встретила эти собрания, которые будут повторяться, встретила в штыки и взяла обещание с Вас<илия> Вас<ильевича> и падчерицы больше не ходить на них.

Я очень благодарю Бога, что не пошел. Это было бы для меня ужасно. Очень рад, что несколько удалось, но масса здесь бесовщины и демонически-языческого ритуала, кровь проливают. Главное, что все это совершено все же вне Христа... Тут мое молчание...

[Е. П. Иванов. Из письма А. А. Блоку. 9–10 мая 1905 г.]

* * *

Помню лето — жаркое, римское лето...¹

Где-то на Via Aurora маленький человек в «разлетайке» и соломенной шляпе торгуется с извозчиком, путая французские и латинские слова. Он не один — с ним спутница, русская по всему — по складу лица, по простоте, по скромности. Да и в нем сразу признаешь русака — ну кто же так тверд в семинарской латыни, кто так уступчиво-добродушен в обращении с чужим простонародьем, кто, наконец, рискнет в июньскую жару отправиться по раскаленным руинам, как не наш брат, костромич или тамбовец, ненароком заблудившийся в «Вечном городе»?..

Я не ошибся. Передо мной был соотечественник, но соотечественник не простой и турист не заурядный: Василий Васильевич Розанов сам-друг с женой практиковался в латыни с потомками римских возниц, смешливо слушавших его путаную речь. Оказывается, наш философ не прихватил путеводителя и вздумал разыскивать какую-то древнюю церковь, уповая на словарь Кронеберга² и удивляясь, что никто его не понимает.

— Милый Василий Васильевич, — рассмеялся я, — да ведь и в Москве вы ничего не найдете, если заговорите с извозчиком по церковно-славянски!

Мой спутник г. Ж. быстро уладил дело, и супруги Розановы укатили, а мы пошли своей дорогой и долго потом вспоминали оригинала-философа.

Он тогда жил в Риме и посылал в «Новое время» яркие, оригинальные корреспонденции. Их специальная тема и мастерское изложение привлекли внимание католического духовенства. В иезуитском «Voce della Verita» усердно цитировали Розанова и с чисто итальянским простодушием заявляли, что он имеет от своего редактора специальную миссию в духе соединения цер-

квей. Удивлялись также тому, как быстро и ясно усвоил русский писатель дух католического богослужения, как проникся, прососался он всем римским, как молодо и возбужденно реагировал на каждое религиозное явление, на каждую новую встречу. Один из приближенных к покойному кардиналу Ледоховскому³, беглый польский ксендз, прекрасно знающий русский язык, таинственно заявил мне, что сам его «эминенция» заглянул в газету и похвалил искусство «москаля». Словом, в Риме статьи Розанова обратили общее внимание, пожалуй, большее, чем у нас, где вопросами религии и искусства интересуются «по маленькой», а в летнее время и вовсе ничего «такого» не читают...

...Маленькая розовая книжка, нарядный, компактный томик, украшенный виньетками Бакста, лежит передо мной...

Это — «Итальянские впечатления» Розанова.

[Ю. Д. Беляев. О Розанове (В. Розанов.
Итальянские впечатления. СПб. 1909)]

* * *

В. В. Розанов один из самых необыкновенных, самых оригинальных людей, каких мне приходилось в жизни встречать. Это настоящий уникум. В нем были типические русские черты и вместе с тем он был ни на кого не похож. Мне всегда казалось, что он зародился в воображении Достоевского, и что в нем было что-то похожее на Федора Павловича Карамазова, ставшего писателем. По внешности, удивительной внешности, он походил на хитрого рыжего костромского мужичка. Говорил прищептывая и приплясывая. Самые поразительные мысли он иногда говорил вам на ухо, приплеывая. Я, впрочем, не задаюсь целью писать воспоминания. Хочу отметить лишь значение встречи с Розановым в моей внутренней истории. Читал я Розанова с наслаждением. Литературный дар его был изумителен, самый большой дар в русской прозе. Это настоящая магия слова. Мысли его очень теряли, когда вы их излагали своими словами. Ко мне лично Розанов относился очень хорошо, я думаю, что он меня любил. Он часто называл меня Адонисом, а иногда называл барином, при этом говорил мне «ты». О моей книге «Смысл творчества» Розанов написал четырнадцать статей¹. Он разом и очень восхищался моей книгой, и очень нападал на нее, усматривая в ней западный дух. Но никто не уделял мне столько внимания.

Наши мирозозерцания и особенно наши мироощущения принадлежали к полярно противоположным типам. Я очень ценил розановскую критику исторического христианства, обличения лицемерия христианства в проблеме пола. Но в остром столкновении Розанова с христианством я был на стороне христианства, потому что это значило для меня быть на стороне личности против рода, свободы духа против объективированной магии плоти, в которой тонет образ человека. Розанов был врагом не церкви, а самого Христа, который заворожил мир красотой смерти. В церкви ему многое нравилось. В церкви было много плоти, плотской теплоты. Он говорил, что восковую свечку предпочитает Богу: свечка конкретно-чувственная, Бог же отвлеченен. Он себя чувствовал хорошо, когда у него за ужином сидело несколько священников, когда на столе была огромная традиционная рыба. Без духовных лиц, которые почти ничего не понимали в его проблематике, ему было скучно. Розанов подтверждал, что в церкви было не достаточно, а слишком много плоти. Его это радовало, меня же это отталкивало. Когда по моей инициативе было основано в Петербурге Религиозно-философское общество, то на первом собрании я прочел доклад «Христос и мир»², направленный против замечательной статьи Розанова «Об Иисусе Сладчайшем» и горьких плодах мира». Это не нарушило наших добрых отношений. Он очень любил Лидию³. За месяц до смерти и в разгар коммунистической революции Розанов был у нас в Москве и даже ночевал у нас. Он производил тяжелое впечатление, заговаривался, но временами был блестящ. Он сказал мне на ухо: «Я молюсь Богу, но не вашему, а Озирису, Озирису». Розанов производил впечатление человека, который постоянно меняет свои взгляды, противоречит себе, приспосабливается. Но я думаю, что он всегда оставался самим собой и в главном никогда не менялся. В его писаниях было что-то расслабляющее и разлагающее. Он много способствовал увлечению проблемой пола. Я как-то написал о нем статью «О вечно бабьем в русской душе». Влияние Розанова противоположно всякому закалу души. Но он остается одним из самых замечательных у нас явлений, одним из величайших русских писателей, хотя и испорченный газетами. На его проблематику не так легко ответить защитникам ортодоксии. Он по истокам своим принадлежал к консервативным кругам, но нанес им тяжкий удар. Впрочем, я заметил, что правые православные предпочитали В. Розанова Вл. Соловьеву и многое ему прощали. Розанов мыслил не логически, а физиологически. По всему существу его была разлита мистическая чувственность. У него были замечательные интуиции об иудаизме и

язычестве. Но уровень его знаний по истории религии не был особенно высок, как и вообще у людей того времени, которые мало считались с достижениями науки в этой области. Вспоминаю о Розанове с теплым чувством. Это была одна из самых значительных встреч моих в петербургской атмосфере.

[Н. А. Бердяев. Самопознание]

* * *

Розанов обладал большим литературным дарованием и был в высшей степени оригинальным мыслителем и наблюдателем жизни. Его произведения не носили систематического или даже последовательного характера, но в них часто обнаруживались искры гения. К сожалению, его личность во многих отношениях была патологической; наиболее ярко подтверждает это его нездоровый интерес к половым вопросам. Он мог бы стать персонажем одного из романов Достоевского. Э. Ф. Голлербах в своей книге дает блестящую характеристику Розанова. Он говорит, что, стремясь проникнуть в глубины человеческой души, Розанов интересовался у других писателей их «домашними делами», их «бельем». Об этом я знаю кое-что лично. Три дочери Розанова посещали Высшие женские курсы, директрисой которых была моя теща — госпожа Стоюнина¹. Наша квартира находилась недалеко от курсов. Когда Розанов приходил по делам на курсы, он всегда заходил ко мне. Стоило мне сказать «войдите» в ответ на его стук в дверь, как он быстро входил в кабинет, подбегал к столу, на котором лежали раскрытые книги, и пытался подсмотреть, что именно я читаю. Быть может, он пытался настигнуть каждого таким образом, чтобы изучить действительные интересы людей...

После большевистской революции Розанов жил у отца Павла Флоренского² в Сергиевом Посаде в монастыре св. Сергия. Он написал там «Апокалипсис нашего времени», в котором выступил с хулой на христианство. Возмущенные этим, отец Павел, лектор Московской духовной академии Андреев³ и еще одно лицо, фамилию которого я забыл, пришли к Розанову. Как мне рассказывал Андреев, они заявили Розанову, что если он будет продолжать выступать с нападками на христианство, то они больше не будут его друзьями. Розанов ответил им, сознавая, очевидно, в себе или около себя какую-то демоническую силу: «Не трогайте Розанова; для вас будет хуже». И действительно, в следую-

щем году всех их постигло серьезное несчастье. Однако Розанов умер как добрый христианин. Перед смертью его сердце преисполнилось радостью от Воскресения Христова. Несколько раз Розанов приобщался, и над ним совершали церковный обряд соборования. Он умер во время этого религиозного обряда.

[Н. О. Лосский. *История русской философии*]

* * *

Начну с Вас<илия> Вас<ильевича>. Да, он умер, 23 января 1919 г., после одной из бань, решительно ему запрещенных, его постиг удар; в параличном состоянии он пролежал несколько месяцев, очень неистовствуя и измучив родных. Но наряду с делами почти безумными с ним происходил и благотворный духовный процесс: В<асилий> В<асильевич> постигал то, что было ему непонятно всю жизнь. Он «тонул в бесконечно холодной воде Стикса»¹, тосковал «хотя бы об одной сухой нитке от Бога», между тем как стигийские воды проникали все его существо. «Вот каким страшным крещением сподобил меня Бог креститься под конец жизни», — сказал он мне при посещении его. Потом у него началось странное видение: «все зачеркнуто крестом». Я: «У вас двоится в глазах, В<асилий> В<асильевич>?» — «Да, физически двоится, а духовно все учетверяется, на всем крест. Это очень странно, очень интересно». Мне он продиктовал нечто в египетском духе на тему о переходе в вечность и об обожествлении усопшего: «Я — Озирис и т. д.». Много раз приобщался и просил его соборовать, он нашел тут священника о. Павла себе по нутру. Твердил много раз, что он ни от чего не отрекается, что размножение есть величайшая тайна жизни; но принял как-то и Христа. Были у него какие-то страшные видения. Когда увиделся с ним в последний раз, за несколько часов до смерти, то В<асилий> В<асильевич> встретил меня смутно — уже прошептанными словами: «Как я был глуп, как я не понимал Христа». За последнее слово не ручаюсь, но, судя по всем другим разговорам, оно было сказано именно так. То, что он говорил затем, я уже не мог разобрать. Это были последние его слова. Перед смертью В<асилий> В<асильевич> продиктовал своим бывшим друзьям и в особенности тем, кого считал обиженным собою, очень теплые прощальные письма². Мирился с евреями³. Погребение его было скромное-прескромное, но очень благообразное и красивое. Собрались только самые близкие дру-

зья, бывшие в Посаде. И гроб — Вы знаете, как тут трудно добыть гроб, — попался ему изысканный: выкрашенный фиолетово-коричневой краской, вроде иконной чернели, как бывает иногда очень дорогой шоколад, с фиолетиной и слегка украшенный, — крестиком из серебряного галуна. Повезли мы В<асилия> В<асильеви>ча на розвальнях, по снегу, в ликующий солнечный день к Черниговской⁴ и похоронили бок о бок с К. Леонтьевым, его наставником и другом. Все было мирно и благолепно, без мишуры, без фальшивых слов, по-дружески сосредоточенно. Однако это был лишь просвет. А потом и пошло и пошло. Словно все бесы сплотились, чтобы отомстить за то, что В<асилий> В<асильеви>ч ускользнул от них. — Для могильного креста я предложил надпись из Апокалипсиса, на котором В<асилий> В<асильеви>ч последнее время (пропущено слово) и на котором мирился со всем ходом мировой истории: «Праведны и истинны все пути Твои, Господи». Представьте себе наш ужас, когда наш крест, поставленный на могиле непосредственно гробовщиком, мы увидели с надписью: «Праведны и немилостивы все пути Твои, Господи»...

[П. А. Флоренский. Из письма
к М. В. Нестерову. 1 июня 1922 г.]





PRO ET CONTRA



Ф.Э. ШПЕРК

В. В. Розанов (Опыт характеристики)

Но нам уж то чело священо,
На коем вспыхнул сей язык¹.

Пушкин

I

Литературное прошлое В. В. Розанова обрисовывает два умственных направления, которым, несомненно, следовал этот мыслитель: *теоретическое и философско-историческое*. Первому заплачена дань трудом «О понимании», некоторыми небольшими, весьма тщательно обработанными статейками, непосредственно следовавшими за «Пониманием», и недавней пространной статьёй «О цели человеческой жизни»².

Второе нашло себе выражение в брошюре «Место христианства в истории», в статьях о Н. Н. Страхове и Леонтьеве, а также в менее удачной по форме «Легенде о Великом Инквизиторе Достоевского». Последнее я считаю тем, которое отвечает складу розановского ума, которое по отношению к предыдущему более важно, истинно. Ему следуя, В. В. Розанов и высказывает то, что может высказывать только он, и что, конечно, составит для будущего историка философии самую суть розановского творчества.

Замечательно, что в этих идеях, падающих своим содержанием в область *философии истории*, — как истолкователи *настроений*, пережитых человечеством, и осознанных им этических идей. В. В. Розанов и представитель специфическо-русской мысли.

Все умы наши тяготели и тяготеют к этой сфере умственного творчества, *вся русская философия есть философия или психо-*

логия истории. Чаадаев, Герцен, Данилевский, Достоевский (в «Инквизиторе»), К. Н. Леонтьев — ведь это ряд *психологов истории*, подобных которым не выставляет нам Запад. И очерк истории русской философии должен включить в себя не слепых и бездарных подражателей европейских систематиков, а именно этих значительных выразителей философской мысли, которые глубоко отличаясь от своих западных собратьев, представляют особую ветвь на древе умственного созидания. Корни истинной русской философии, более глубокие, нежели многие полагают, не в знаменитом ли и столь оригинальным по высказанному в нем историческому мирозерцанию, «Философском письме» Чаадаева? И русская мысль, и русское художественное творчество возникли одновременно.

II

Все, что мы считаем в себе значащим, все, что входит в определение нашей личности, что, словом, составляет сущность нашу, — все это представляется В. В. Розанову *мало существенным*. Последнее — отличительная характерная черта его исторического мировоззрения. Не человек — объект его внимания, предмет его основной мысли, а высшее нечто, лишь изъясняющееся в судьбе людей, в истории, *которую, собственно, они и интересны и значительны только*. Не человек — носитель мысли и блага, а человек — выразитель и истолкователь воли Бога в истории — существен, важен и дорог для него. Внимание Розанова всецело поглощают пути, коими Провидение ведет человека. Эти пути-то и драгоценны ему. Отсюда религиозный характер розановских писаний, отсюда моральная сила их...

Свою характеристику мы заключим следующими словами писателя, преисполненными такой удивительной резигнации, такого исключительного самосознания!

«Редко человек понимает конечный смысл того, что он делает, и большею частью он понимает его слишком поздно для того, чтобы изменить делаемое. Вмешательство индивидуальной воли в пути истории всегда бывает напрасно. *Этой доли напрасности я не мог не замечать и во всем, что мне случилось высказать*. Не человек делает свою историю, он только терпит ее, в ней радуется, утешается, или, напротив, скорбит, страдает».





Н. Н. СТРАХОВ

**Рец.: В. В. Розанов, «“Легенда о Великом
Инквизиторе” Ф. М. Достоевского. Опыт
критического комментария», СПб., 1894.**

Очень интересная книга. По высоте взгляда, на которую поднимается критик, и по глубине понимания, она, можно сказать, достойна своего предмета. А предмет есть знаменитая «Легенда», произведение, в котором, как в фокусе, сосредоточены вопросы, мучительно волновавшие Достоевского в течение жизни. Критик очень хорошо сравнивает эту «Легенду» с тем портретом в повести Гоголя¹, в котором удержалась частица жизни изображаемого лица; так и в «Легенде» осталась нам навсегда индивидуальная мысль Достоевского во всей ее сложности и особенности.

Мы переносимся за много лет назад, в «нигилистический период» нашей литературы, в конце которого и как бы в заключение была написана эта «Легенда». Умственное волнение было тогда чрезвычайное; все вопросы поднимались с самого корня, решались, перевершались и опять поднимались. Знакомые, не видевшие друг друга год или два, встречались между собою с горячими и жадными вопросами: «Ну, что? К чему вы пришли? На чем теперь остановились?» Едва ли когда повторится в таких размерах эта лихорадка мысли, оторвавшейся от действительности и мечущейся в пустом пространстве. Конечно, всегда будут отдельные лица, приходящие в такое положение; но во времена нигилизма почти вся «интеллигенция» потеряла под собой всякую почву. Положение тогдашних умов и душ было до такой степени необычайное, что, мало-помалу, оно становится для нас непонятным. Даже те, кто видел его собственными глазами, начинают забывать его, как тяжелый и странный сон. А те, кто приступает к нему с обыкновенными общими мерками, едва ли в состоянии глубоко в него проникнуть.

Ни в ком это время не отразилось так, как в Достоевском. Он всею душой входил в эти болезненные настроения и, начиная с «Преступления и наказания», вывел нам целую толпу нигилистов с их волнениями, действиями и судьбами. Тогдашние либералы не раз говорили, что он клеветает на молодое поколение, приписывая своим героям мысли о самоубийствах и злодействах. Но этот упрек потерял свою силу, по мере того, как действительно происходил целый ряд этих злодейств. Может быть, справедливее упрекнуть Достоевского в том, что его нигилисты стоят несколько выше действительности: они у него сознательнее, логичнее, тверже держатся своих идей, чем это можно предполагать у действительных нигилистов. Всякие умственные и нравственные увлечения выступают у романиста в ярких и сильных формах; безобразие этих увлечений и те мучения, к которым они приводят увлекающихся, также изображены с большою глубиною. Несколько слабее, обыкновенно, является тот теоретический поворот, который следует за раскаянием, за практическим поворотом героев, отрезвленных жизнью и своими собственными поступками. Г. Розанов так определяет Достоевского:

«Как ни привлекателен мир красоты, *есть нечто еще более привлекательное...* Это — падения человеческой души, странная дисгармония жизни, далеко заглушающая ее немногие стройные звуки. В формах этой дисгармонии проходят тысячелетние судьбы человечества, и если мы посмотрим на всемирную литературу, мы увидим, что ничей взор в ней не был устремлен с таким проникновением на причины этой дисгармонии, как взор писателя, которого мы разбираем. Оттого среди всего хаоса его произведений, мы ни у кого не найдем такой цельности и полноты: есть что-то кощунственное в нем и вместе религиозное. Он не избирает ни одной картины в природе, чтобы любить ее и воссоздавать; его интересуют только швы, которыми стянуты эти картины; он, как холодный аналитик, всматривается в них и хочет узнать, почему весь образ Божьего мира так искажен и неправилен. И с этим анализом он непостижимым образом соединил в себе чувство самой горячей любви ко всему страдающему. Как будто то искажение, которое проходит по лицу Божьего мира, особенно глубоко прошло по нем самом, тронуло его внутренний мир... Отсюда вытекает глубокая субъективность его произведений... Его голос доходит до нас как будто издали и, когда мы приближаемся, мы видим одинокое и странное существо там, где никого другого нет, и оно говорит нам о нестерпимых мучениях человеческой природы; о совершенной невозможности выносить их и о необходимости найти какие-нибудь пути, чтобы из них выйти.

«Это-то и сообщает его произведениям вековечный смысл, неумирающее значение» (с. 28–29).

Нельзя не согласиться, что это и очень верно схвачено, и очень хорошо сказано. Мы видим, притом, прием г. Розанова: он обобщает Достоевского, он смотрит на него с вековой точки зрения. Это естественно, потому что критик, на сей раз, можно сказать, сливается с разбираемым автором: что составляет интерес, вопрос для автора, то, очевидно, есть интерес, вопрос и для критика. «Падение человеческой души» для него «привлекательнее, чем мир красоты» (с. 28).

В книге г. Розанова можно различить три главных темы: 1) характеристика Гоголя, сделанная ради контраста Достоевскому; 2) истолкование «Легенды», указывающее на весь пессимизм и отчаяние, выраженное в этом центральном произведении Достоевского; 3) собственные рассуждения критика, в которых он старается оценить этот пессимизм и указать исход из него.

Резкая характеристика Гоголя, когда появилась в «Русском вестнике», вызвала большие упреки г. Розанову², и она, конечно, страдает преувеличением. Но основание ее заключается в действительной противоположности между Гоголем и Достоевским, и в том, что критик решительно стал на сторону Достоевского. Дело это поучительное, и очень стоит внимания. Словесное художество так свободно и так далеко может отступать от нормы, что необходимо делать в нем подразделения и различать степени и направления. Гоголь есть представитель истинного комизма, бесподобный изобразитель человеческой пошлости и глупости. Иным этого мало; им нужно зубоскальство и глумление, — и появляется сатира вроде писаний Салтыкова. Другим все это противно; является то, что Ап. Григорьев называл *сентиментальным натурализмом*, изображение действительности во всей ее грязи, но без юмора и насмешки, а с сожалением и участием. Читая Диккенса, Достоевского, Виктора Гюго, мы, конечно, воспитываем в себе прекрасные чувства; но очень жаль будет, если мы при этом потеряем способность *смеха*, честного, веселого смеха над пошлостью и глупостью. Как известно, этой способности большею частью лишены женщины; для них все бывает или жалко, или противно, но смешного почти не бывает. Итак, сентиментальность может переходить в большую односторонность, хотя, с другой стороны, и способна восходить до прекрасного искания «Божьей искры» в каждом ничтожном и жалком человеке.

Комментарии на «Легенду» занимают главное и наибольшее место в книге г. Розанова. Вообще, он находит, что Достоевский постоянно имел в виду один вопрос, именно «надежду с помощью разума возвести здание человеческой жизни настолько совершенное, чтобы оно дало успокоение человеку, завершило ис-

торию и уничтожило страдание; *критика этой идеи* проходит через все его сочинения, впервые же, и притом с наибольшими подробностями, она высказана была в “Записках из подполья”» (с. 38).

Следовательно, вот с какого времени, с 1863 года и до конца жизни, этот вопрос занимал Достоевского, и, наконец, достиг полного своего выражения в «Легенде». Критик следит за всеми последовательными обнаружениями этой мысли у Достоевского. К комментариям на «Легенду», которые были уже напечатаны в «Русском вестнике», г. Розанов в книге прибавил «Приложения» (с. 203–234), в которых дает и объясняет извлечения из других сочинений Достоевского, относящиеся к теме «Легенды».

Что же это за тема? Что за вопрос? Критик, как мы уже заметили, сливается в понимании с автором и потому рассматривает все дело с общей точки зрения. Но частные, особенные черты этого дела, нам кажется, явны и ясны. Это — вопрос *социализма*, того направления умов, которое достигло своей зрелости в половине нашего столетия и имело целью изменить все формы общественной жизни, переделать весь ход истории. Теперешний социальный вопрос представляет несколько другой характер: он ищет, главным образом, выхода из бедственного положения рабочих классов; но прежде, во времена Достоевского, социализм имел более светлую окраску, был смешан с золотыми мечтаниями о счастье и прогрессе. Мысль о такого рода перевороте лежала в основании всяких отрицаний и покушений, среди которых жил Достоевский, когда-то и сам бывший приверженцем фурьеризма. Понятно, что эта тема глубоко занимала его и что он, рисуя своих нигилистов, беспрестанно приходил к соображениям о противоречии их стремлений человеческой природе и человеческой истории.

Мы не будем входить в подробности комментария г. Розанова; это слишком сложно, слишком обильно содержанием. В заключение критик так характеризует «поэму», которую он разбирал:

«Прежде всего нас поражает необыкновенная сложность ее и разнообразие, соединенные с величайшим единством. Самая горячая любовь к человеку в ней сливается с совершенным к нему презрением, безбрежный скептицизм — с пламенной верою, сомнение в зыбких силах человека — с твердою верою в достаточность своих сил для всякого подвига; наконец замысел величайшего преступления, какое было когда-либо совершенно в истории, с неизъяснимо-высоким пониманием праведного и святого. Все в ней необыкновенно, все чудно. Точно те зыбкие струи добра и зла, которые льются и переливаются в истории, сплетая ее много-

сложный узор, — вдруг соединились, слились между собою, и, как в тот первый момент, когда человек впервые научился различать их, и начал свою историю, мы снова видим их нераздельными и так же, как он тогда, поражены ужасом и недоумением. Где Бог, и истина, и путь? спрашиваем мы себя» (с. 143).

Видя в «Легенде» выражение такого полного отчаяния и предполагая даже, что сам автор «Легенды» испытывал на себе порывы такого отчаяния³, критик затем ищет выхода из этих печальных мыслей. По его мнению, они порождены европейским духовным развитием как жизнью, которая, бывши некогда христианскою, «потом обратилась к иным источникам бытия и жизни». «Вот уже более двух веков минуло, — говорит критик, — как великий завет Спасителя: ищите *прежде* царствия Божия и все остальное приложится вам» — европейское человечество исполняет наоборот, хотя оно и продолжает называться христианским» (с. 154, 155).

Затем г. Розанов начинает излагать недостатки современной жизни Запада, характеризует дух романской Европы и католичества, дух германского племени и протестанства, и кончает характеристикой славянства и православия как стихии, в которой возможно найти примирение душевных сил и спасение от отчаяния. Одним словом, если употребим давно установившуюся формулу, мы должны сказать, что г. Розанов *славянофильствует*, излагает некоторое *славянофильское* исповедание убеждений.

Пусть читатели сами вникнут в эти рассуждения, писанные с большим воодушевлением и если страдающие иногда преувеличениями и неточностью, то всегда, однако же, оживленные чувством и мыслью. С своей стороны мы прибавим лишь одно общее замечание. Г. Розанов, очевидно, принадлежит к людям, которые выросли на Достоевском. Таких людей, конечно, множество; все молодые люди последних двенадцати и пятнадцати лет прошли через Достоевского. Такова привлекательность этого писателя, а благодаря усердию издателей можно сказать, что нет у нас другого писателя, который бы так всем был доступен, так всеми читался. Между тем, что такое Достоевский? В той или другой степени, в том или другом виде, это — *славянофил*, это очень горячий сторонник славянофильства. Недавно к славянофилам стали причислять К. Н. Леонтьева, очень мало читавшегося; почему же не вспомнить о Достоевском? Относительно Леонтьева вышли по этому поводу пререкания, которых, кажется, не было бы относительно Достоевского.

В прошлом году, когда поднялись споры о положении славянофильства (продолжающиеся и до сих пор), А. Н. Пыпин под-

вел в «Вестнике Европы» следующий итог, определяющий это положение:

«Г. Милюков, быть может, слишком поторопился хоронить славянофильство. Если его нет в подлинном старом составе его учений, то, с одной стороны, Данилевский (хотя бы и не вышедший непосредственно из славянофильства) имеет множество поклонников, и его книга признана новым, истинным кодексом славянофильства; с другой стороны — г. Соловьев находил, что — “умерла ли выделившаяся из славянофильства универсально-религиозная идея, — этот вопрос, произвольно решенный П. Н. Милюковым, еще подлежит высшей инстанции”⁴. Наконец, фактически сохраняют свое значение (хотя с разными оттенками) взгляды старого славянофильства на славянский вопрос, которые поддерживаются славянскими благотворительными комитетами.

Особую вариацию провиденциальных теорий представляют взгляды Леонтьева, — соседние, но не сливающиеся со славянофильством» («Вестн<ик> Евр<опы>», 1893, сентябрь, с. 310).

Итак, слава Богу, славянофильство еще существует, имеет даже свой кодекс и представляет, как тому и следует быть, разный «вариации», «оттенки», взгляды «выделившиеся», «соседние» и т. п. Почему бы не причислить сюда Достоевского, положим, даже как представителя только «соседних взглядов»? А тогда пришлось бы поставить на счет и все необозримое множество его «поклонников».

Славянофильство есть просвещенный, идеализированный патриотизм, и, нужно полагать, он уже никогда не заглохнет у нас ни в грубом и слепом патриотизме, ни в безжизненном космополитизме.





Ю. Н. ГОВОРУХА—ОТРОК

Статья 1. Во что верил Достоевский?

«Легенда о Великом Инквизиторе Достоевского».
Опыт критического комментария В. В. Розанова

I

В книге г. Розанова мы находим, кроме его статьи о Достоевском, еще две небольшие статьи — о Гоголе¹. Эти две статьи отчасти случайного происхождения. В своем исследовании о Достоевском г. Розанов высказал, между прочим, мнение о Гоголе очень своеобразное, но на мой взгляд совершенно неверное. Я тогда же разобрал это мнение в статье своей «Гоголь и Достоевский», и вот этот разбор вызвал статью г. Розанова «Несколько слов о Гоголе», если не ошибаюсь, нигде не напечатанную и в первый раз появляющуюся в изданной г. Розановым книге. Эта статья является ответом на мои суждения о Гоголе. Другая статья, озаглавленная «Как произошел тип Акакия Акакиевича», представляет собой как бы комментарий и дополнение к первой. Мнениям г. Розанова о Гоголе я посвящу отдельную статью, теперь же останавливаюсь лишь на его мнении о Достоевском. О статьях его, озаглавленных «Легенда о Великом Инквизиторе Достоевского», которые несколько лет тому назад были напечатаны в «Русском вестнике» и теперь появляются отдельной книгой, я высказывался по мере их появления. Тогда же я указывал на них как на статьи замечательные и по глубине понимания Достоевского, и по тем «комментариям» к его произведениям, которые даны были в этих статьях. Но с мыслью о самом Достоевском, высказанной г. Розановым в этих статьях, вряд ли можно согласиться. На этой мысли мы, главным образом, теперь и остановимся.

В самом начале своей книги г. Розанов говорит:

«Даже в минуты совершенного сомнения относительно загробного существования мы находим некоторое утешение: “пусть мы умрем, но останутся дети наши, а после них — их дети”, — говорим мы в своем сердце, прижимаясь к дорогой нам земле. Но *это* бессмертие, эта жизнь нашей крови после того, как мы станем горстью праха, слишком не полна: это какое-то разорванное существование, распределенное в бесчисленных поколениях, и в нем не сохраняется главного, что мы в себе любим — нашей индивидуальности, цельной личности. Несравненно полнее существование, которое достигается в великих произведениях духа; в них создающий увековечивает свою личность со всеми особыми ее чертами, со всеми изгибами своего ума и тайнами своей совести. Порой он не хочет раскрыть какой-нибудь стороны своей души и, однако, жажда в нем бессмертия, индивидуальной, особой от других жизни, так велика, что он скрывает, запрячивает среди прочего и все-таки оставляет в своих произведениях отражение этой стороны: проходят века — и нужная черта вскрывается и встает полный образ того, кто уже не боится более смутиться перед людьми».

Вот эту-то «сторону души», эту «черту» Достоевского, «дополняющую образ» его, и хочет вскрыть г. Розанов. Но, вскрывая эту черту, автор высказывает чрезвычайно странную мысль. По его мнению, разгадка Достоевского заключается в том, что он не верил в Бога, но верил... в черта². Спешу уверить, что в моих словах не скрывается никакой насмешки. Такова действительная и подлинная мысль г. Розанова, высказанная с совершенной отчетливостью. Разобрав «Легенду о Великом Инквизиторе», г. Розанов пишет:

«Один человек (то есть Достоевский), который жил между нами, но, конечно, не был похож ни на кого из нас, непостижимым и таинственным образом почувствовал *действительное* отсутствие Бога и присутствие *другого*, и, перед тем как умереть, передал нам ужас своей души, своего одинокого сердца, бессильно бьющегося любовью к Тому, Кого нет, бессильно убегающего от того, кто есть».

Все дело в том, что г. Розанов принял мысли Инквизитора «Легенды» за действительную веру Достоевского — веру в правду «могучего и страшного духа», который искушал Спасителя. Г. Розанов приписывает самому Достоевскому мысль Инквизитора о том, что иначе не может быть устроено человечество, как на основании принципов «могучего и страшного духа». Слова Алеши, обращенные к Ивану, рассказавшему «Легенду» — «*и ты с ним*» — г. Розанов относит к самому Достоевскому: «И ты с ним, — пишет он, обращая эти слова к автору «Легенды», — с могучим и умным духом, предлагавшим искушающие советы в пустыне Тому, Кто пришел спасти мир, и которые ты так хорошо понял и истолковал, как будто продумал их сам».

Пусть читатель не подумает, что г. Розанов обвиняет Достоевского в лицемерии, в иезуитизме, в том, что он проповедывал не то, что думал. Нет, наш автор берет дело гораздо глубже.

«Всю жизнь он проповедывал Бога, — пишет г. Розанов о Достоевском, — и из тех, которые слышали его, одни смеялись над его постоянством и негодовали на его привязчивость, другие ей умилялись, на него указывали. Но он будто не слышал ни этого негодования, ни этого умиления. Он все говорил одно, и только удивительно было всем, почему он с такой радостью, утешительной идеей в сердце сам так беспросветно сумрачен, так тосклив и тревожен. Он говорил о радости в Боге, он всем указывал на религию как на единоспасательную для человека, и слова его звучали горячо и страстно, и самую природу, о которой он никогда не упоминал обыкновенно, он как будто начинал любить в это время, понимать ее трепет, красоту и жизнь. Точно как и она увяла от дыхания какого-то ледяного ощущения в душе его и оживала, когда он забывался от него хоть в звуке своих слов».

Вот как трагически поставлено дело у г. Розанова: проповедью Бога Достоевский лишь заглушал свою вечную внутреннюю тревогу — тревогу неверия.

II

По поводу всего этого я попробую развить подробнее некоторые мысли, высказанные мной несколько лет назад о европейских и о наших «блужданиях» в поисках истины. Я тогда говорил о Карлейле и о его книге «Герои и героическое в истории»³.

Карлейль сам, по-видимому, не совсем ясно понимал главного и самого существенного значения своей идеи о героях и о поклонении им. Ведь герои, великие люди служили для человечества теми центрами, в которых это человечество объединилось. Только общность почитания, поклонения, благоговения может заставить людей соединиться между собой — и как только общность этого почитания, поклонения, благоговения уничтожается, так тотчас же наступают разъединение и раздор. Так было всегда. Сами по себе люди не могут соединяться для этого — они слишком субъективны. Сами по себе они никогда не сталкиваются, потому что невозможно привести в гармонию все мнения, все желания, все страсти человеческие. Только единство *благоговения*, подавляющего личные чувства, может соединить людей. Наш век именно это и отверг. Не надо «героев», провозглашено теперь, не надо благоговения, не надо покорности, не надо поклонения — это чувства рабские. Человечество

устроится само собой, без Бога, и уж, конечно, без «героев». Каждый должен понимать и свою пользу, и общее благо — и вот в этом-то понимании и будет заключаться отныне «слово соединяющее», и вот в этом-то понимании и объединится человечество, как не объединялось никогда до сих пор.

Таким образом провозглашен лозунг общего раздора и разъединения. Ибо все отдано на волю каждого, ничему и никому не подчиненную. Возражают, что как раз наоборот: человечество именно идет к единению. Все смешивается, индивидуальность стирается, устанавливаются общие вкусы, понятия, чувства, словом — все подгоняется под одну тусклую краску. Что же из этого? Именно здесь-то, на почве единства приноровленных к среднему уровню понятий и вкусов, — здесь-то и наступит раздор и разногласие. Потому что раздор и разногласие произведут мелочные страсти человеческие, которые в людях, не поклоняющихся уже ничему больше, кроме себя, кроме своей личности, выступают уже принципиально, с правом и с авторитетом.

«Герой» снова придет и все решит — такова вера Карлейля. Но во имя чего он придет и кем будет принят? Толпой, которая уверовала в себя и поклонилась себе? Но разве такая толпа может уверовать во что-нибудь высшее? А именно такая толпа, в себя верующая и себе поклоняющаяся, создается теперь в Европе.

Герои — это великие люди, *посланные* в этот мир. Так думает Карлейль. Но кем посланные? Богом?

«Бог Карлейля есть тайна», — замечает Тен⁴ совершенно правильно. Его Бог есть тайна для него самого. И вот почему его идея о героях, о поклонении им висит как бы в воздухе, безо всякой поддержки. Бог для него тайна, и только, а Христос — только самый великий человек, какой когда-либо появлялся в мире. Карлейль, сам проникнутый глубоко религиозным настроением, глубоко постигающий дух и смысл христианства, в то же время не может найти формы для выражения этого своего настроения. Отсюда все его противоречия, отсюда все его непоследовательности. Он, проповедник поклонения и благоговения, не может найти в душе своей столько нравственной силы, чтобы возвыситься до истинного поклонения — до веры в Провидение, до веры во Христа, до веры в непостижимое чудо воплощения Сына Божия. А между тем только такая вера могла бы свести к одному центру все его глубокие размышления о значении великих людей в истории, могла бы дать им смысл и значение. Без этого его глубокие размышления о героическом *самоотречении* остаются неполными и неоправданными. От чего же надо от-

речься? От своей воли, подчинив ее воле высшей; но где же эта высшая воля у Карлейля — высшая воля, которую мог бы узнать, мог бы почувствовать человек. У него есть только сознание какой-то *тайны*, непонятной и безмолвной. Вот почему его глубокий ум, его мужественное сердце не выдержали и он кончил какими-то странными мечтаниями о неопределенном будущем человечества. Путем борьбы и страданий, пережив мучительный переворот, он понял и почувствовал, что есть в жизни что-то высшее и личного счастья, и личного страдания, но что это такое — он не знал...

Не таков у нас, русских, переход от неверия к вере. Вспомним хотя бы душевные перевороты, изображенные нашими художниками в их произведениях, вспомним хотя бы одного из самих этих художников — Достоевского, о котором у нас и идет речь. И он пережил такой же переворот, как Карлейль, и он погружался в бездну глубокого отчаяния и пессимизма, и он вышел из этой борьбы со *своей* идеей: «Если нет Бога бесконечного, то нет и добродетели, да и не нужно ее вовсе»⁵. Таков был результат его душевной борьбы. А отсюда уже один шаг до веры в Провидение, до веры во Христа, в Искупителя рода человеческого. И Достоевский достиг этой веры, и только она, эта вера, сделала для него ясным все: самый глубочайший смысл мира и жизни, самые глубокие тайны добра и зла. Глубочайшую тайну *зла* и обнаружил он в «Легенде», но чтобы постигнуть ее, надо было постигнуть и глубочайшую тайну добра.

Не умом, не талантом превосходит Достоевский Карлейля, не они спасли его от бесконечных блужданий около истины, — а нечто другое. Что же?

Может быть, мы найдем объяснение этому в прекрасных мыслях, высказанных самим г. Розановым на последних страницах его статьи о Достоевском:

«Когда нам будут указывать на неизъяснимое величие католицизма, — пишет он, — на безбрежность мысли, заложенной в нем, которую он увит и обоснован, с седой схоластики и до наших дней, — мы согласимся со всем этим и признаем также, что ничего подобного нет в нашей церкви и ее истории. Если нам будут указывать на все плоды протестантизма: на эту богобоязненность жизни, на свободу критики в нем и высокое просвещение, которое отсюда вытекло — мы скажем, что все это видим и никогда не закрывали на это глаза. Мы спросим только: но христианство, но дух евангельский, но то, о чем учил нас словом и жизнью Спаситель? Ничего нет у нас, ни высоких подвигов, ни блеска завоеваний умственных, ни замыслов направить пути истории. Но вот перед вами бедная церковь, вокруг рассеянные, около нее группирующиеся домики. Войдите в нее и прислушайтесь к нестройному пению дьячка и какого-то маль-

чика, Бог знает откуда приходящего помогать ему. Седой высокий священник служит всенощную. Посреди церкви, на аналое, лежит образ, и неторопливо тянутся к нему из своих углов несколько стариков и старух. Всмотритесь в лица всех этих людей, прислушайтесь к голосу их. Вы увидите то, что уже утеряно всюду, что не приходит на помощь любви и не укрепляет надежду — *вера* живет в этих людях. То сокровище, без которого неудержимо иссякает жизнь, которого не находят мудрые, которое убегает от бессильно жаждущих и гибнущих — оно светится в этих простых сердцах, и те страшные мысли, которые смущают нас и тяготят мир, очевидно, никогда не тревожат их ум и совесть. Они имеют веру, и с ней надеются, при ее помощи любят. Что в том, что дьячок невнятно читает на клиросе молитвы: но он верит смыслу их, и те, которые слушают его, нисколько не сомневаются, что за этот смысл он умрет, если будет нужно, и вникнет в царство небесное; как и все они умрут и по делам своим примут мзду, к которой готовятся.

С этим покоем сердца, с этой твердостью жизни могут ли сравниться экзальтация протестантизма и всемирные замыслы великой и гибнущей церкви? Уныние в первом, тоскующее желание во второй не есть ли симптомы утраты чего-то, без чего храм остается только зданием и толпа молящихся — только собравшейся толпой? И весь блеск искусств, которым они окружают себя, эта несравненная живопись, эта влекущая музыка, эти величественные кафедралы — не вытекает ли все это из желания пробудить в себе то, что в тех бедных молящихся никогда не засыпало, найти утраченное, что в той невидной церкви не было потеряно. Весь необъятный порыв желания, которым полна и трепещет Европа, не есть ли только желание залить великую грусть, которую она хочет и не может пересилить; и вся красота, величие и разнообразие ее жизни, ее цивилизации не напоминают ли великолепную ризу, в которую никогда более не облачится священник?»

Вот в этом-то, в стихии народной, в духе и настроении нашего народа нашел Достоевский веру, давшую исход его сомнениям, просветлившую его ум, очистившую его сердце, давшую ему возможность выйти победителем из той страшной и трагической душевной борьбы, отражение которой мы видим в «Легенде». Иначе, без этого настроения, вынесенного из соприкосновения с почвой, ни ум, ни талант не помогли бы ему, не вывели бы его из вечных блужданий около истины.

Вот те общие соображения, которые я хотел противопоставить мысли г. Розанова. В следующей статье я подробно разберу те доказательства, которые он приводит в подтверждение своей мысли.

Статья 2. Во что веровал Достоевский?

I

Г. Розанов очень неясно развил свою мысль о том, что Достоевский, проповедуя Бога, не веровал в Него и что в этом-то заключался трагизм его жизни. Как мы уже указали в прошлой статье, ошибка г. Розанова заключается в том, что он мысли и чувства Ивана Карамазова, или, лучше сказать, мысли и чувства Великого Инквизитора, приписывает самому Достоевскому, и притом как окончательные его мысли и чувства. Г. Розанов мог бы формулировать свою мысль яснее, если б обратил внимание на другое место в романе «Братья Карамазовы», а именно на разговор старца Зосимы с Иваном Федоровичем. После того, как Иван изложил свои взгляды на религию и на Церковь, высказав мнение о том, что без бессмертия не может жить и добродетель, старец заметил:

«— Блаженны вы, если так веруете, или уже очень несчастны».

Но приведем весь разговор:

«— Почему несчастен? — улыбнулся Иван Федорович.

— Потому что, по всей вероятности, не веруете сами ни в бессмертие вашей души, ни даже в то, что написали о Церкви и о церковном вопросе.

— Может быть, вы правы. Но все же я и не совсем шутил, — вдруг странно признался, впрочем, быстро покраснев, Иван Федорович.

— Не совсем шутили, это истинно. Идея эта (то есть о бытии Божиим) еще не решена в нашем сердце и мучает его. Но и мученик иногда любит забавляться своим отчаянием, как бы тоже в отчаянии. Пока с отчаяния и вы забавляетесь — и журнальными статьями, и светскими спорами, сами не веруя своей диалектике и с болью сердца усмехаясь ей про себя... В вас этот вопрос не решен, и в этом ваше великое горе, ибо действительно требует разрешения...

— А может ли быть он во мне решен? Решен в сторону положительную? — продолжал странно спрашивать Иван Федорович, все с какою-то необъяснимою улыбкой смотря на старца.

— Если не может решиться в положительную, то никогда не решится и в отрицательную, сами знаете это свойство вашего сердца; и в этом вся мука его. Но благодарите Творца, что дал вам сердце высшее, способное такою мукой мучиться, “горняя мудрствовати и горних искати, наше бо жителство на небесех

есть". Дай вам Бог, чтобы решение сердца вашего постигло вас еще на земле, и да благословит Бог пути ваши»¹.

Насколько я мог понять г. Розанова, именно такое, постоянное до конца жизни, состояние души приписывает он самому Достоевскому. Вопрос не мог быть решен им, по мнению г. Розанова, ни в ту, ни в другую сторону. Как Иван Карамазов, он постигал разумом необходимость веры, но не принял сердцем этой веры. Формула веры Ивана Карамазова очень замечательна. В откровенной беседе с Алешей он, делая как бы вывод из всего сказанного, говорит: «Бога принимаю, но мира Его не принимаю». Это и есть высшая формула неверия, высшая формула атеизма, не происходящего от грубости натуры, но атеизма глубокого, высокомерного и трагического: «Бога принимаю», то есть разумом своим, а не сердцем своим принимаю, принимаю как необходимую первую посылку, без которой все логическое построение мира распадается; «мира Его не принимаю», то есть не принимаю уже не разумом, ибо разум необходимо принимает мир *как факт*, а отрицаю сердцем, ибо несовместим этот мир, погрязший во зле, с сердцем своим, жаждущим добра и примирения. Вот что выйдет, если раскрыть скобки в формуле Ивана Карамазова.

И вот это-то сердце, не принимающее мира Его, создает, с помощью ума, чудовищную легенду о Великом Инквизиторе, — создает план переустройства всего мира, создает в воображении своем такой мир, который можно было бы принять — хочет устроить человечество во имя Бога, «исправить подвиг Его» (то есть Христа).

Что все это выдуманно и выстрадано Достоевским в великой муке души его, в этом нельзя сомневаться; но также нельзя сомневаться и в том, что создатель всегда выше им созданного, что художник может воплотить в образах муки души своей только тогда, когда сам уже вышел из них победителем, когда нашел почву для примирения.

И Достоевский вышел из мук души своей победителем, нашел почву для примирения, если не в учении православном Церкви, — ибо он никогда твердо не стоял на почве церковной, — то *в духе православия*, в том духе, которым проникнут народ наш.

«Братья Карамазовы», несмотря на свой огромный размер, роман неоконченный, предполагался другой роман, в котором и должна была разрешиться участь героев первого. Но и из первого романа понятно, к чему вел Достоевский своего Ивана Карамазова. Только великим страданием покупается благодать веры — и это великое страдание уже началось для Ивана в первом рома-

не. Великим страданием и сам Достоевский купил благодать веры: в каторжной тюрьме, среди безысходной тоски, нашел он Бога и, найдя Его, уже мог воплотить те идеи о Боге и о мире, которые мучили его душу.

Как мы знаем из признаний самого Достоевского, *Лик Христос* еще во время его молодости, во времена увлечения европейскими доктринами, неотразимо действовал на его душу.

Рассказывая о своем знакомстве с Белинским, которое состоялось в то время, когда Белинский увлекался социалистическими идеями, Достоевский пишет в своем «Дневнике» за 1878 год²:

«В новые нравственные основы социализма (которых, однако, не указано до сих пор ни единой, кроме гнусных извращений природы и здравого смысла) он (то есть Белинский) верил до безумия и без всякой рефлексии; тут был один лишь восторг. Но, как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция должна непременно начинать с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности — он отрицал радикально. (Замечу, что он был тоже хорошим отцом и мужем, как и Герцен.) Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу ее; но он верил всем существом своим (гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усомнился), что социализм не только не разрушает свободу личности, а напротив — восстанавливает ее в неслыханном величии, но на новых и уже алмазовых основаниях.

Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которою всего труднее было бороться. Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современною наукой и экономическими началами; но все-таки оставался пресветлый лик Богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но в непрерывном, неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием, как остановился Ренан, провозгласивший в своей полной безверия книге “*Vie de Jesus*”³, что Христос все-таки есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому нельзя уже было повториться даже и в будущем.

— Да знаете ли вы, — взвизгивал он раз вечером (он всегда как-то взвизгивал, если очень горячился), обращаясь ко мне, — знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обремене-

нять его долгами подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейство, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже хотел...

В этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского, которого он весьма уважал и во многом слушался; был тоже один молоденький, начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе.

— Мне даже умилительно смотреть на него, — прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня, — каждый раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет... Да поверьте же, наивный вы человек, — набросился он опять на меня: — поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.

— Ну, н-е-т! — подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал взад и вперед по комнате.) — Ну, нет: если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его...

— Ну да, ну да, — вдруг с удивительной поспешностью согласился Белинский. — Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними.

Эти двигатели человечества, к которым предназначалось примкнуть Христу, были тогда все французы: прежде всего Жорж Занд, теперь совершенно забытый Кабет, Пьер Леру и Прудон⁴, тогда еще только начинавший свою деятельность. Этих четырех, сколько припомню, всего более уважал тогда Белинский, Фурье уже далеко не так уважался. Об них толковалось у него по целым вечерам. Был тоже один немец, перед которым тогда он очень склонялся — Фейербах. (Белинский, не могший всю жизнь научиться ни одному иностранному языку, произносил: Фиербах.) О Штраусе⁵ говорилось с благоговением».

II

Но несмотря на неотразимо стоявший перед ним Лик Христов, Достоевский, тогда молодой человек, был увлечен западным потоком. И семена иных европейских идей так глубоко запали в его душу, что бессознательно для него самого эти идеи

наложили печать на всю его последующую деятельность до самого конца. Вот почему, проникнувшись высоким духом и высоким настроением православия, он, тем не менее, никогда не мог стать на строго церковную почву, хотя хотел приблизиться и приближался к ней. Но западничество его было западничеством высшего порядка. Это не было наивное и полудетское западничество Белинского, с восторгом и благоговением подхватывавшего всякое «последнее слово», сказанное в Европе. В процессе своего развития, сбрасывая с себя шелуху западничества, Достоевский глубоко понял самую суть и смысл европейской идеи — и это свое понимание выразил в «Легенде о Великом Инквизиторе». Он как бы перевоплотился в человека романской расы до того, что, например, г. Розанов приписал ему самому мировоззрение Великого Инквизитора. Он до того перевоплотился, создавая «Легенду», что в европейской поэзии мы можем указать как бы прообраз того лица, которое он создал. Я подразумеваю Великого Инквизитора, появляющегося в трагедии Шиллера «Дон Карлос». Это тот же огромный образ, как и у Достоевского, и если б Он появился снова на земле, как является в «Легенде», то шиллеровский Великий Инквизитор точно так же заключил бы его в узы и готов был бы сжечь — ибо Он мог бы помешать *их* делу.

Перечтите всю эту сцену (10-я сцена последнего акта) между Филиппом и Великим Инквизитором, и вы там найдете как бы программу «Легенды» Достоевского. Припомним слова шиллеровского Великого Инквизитора, обращенные к Филиппу:

Если
Уже от слов одних распалось здание
Всех наших правил, то с каким лицом,
Я спрашиваю вас, *стам* тысячи *слабым*
Душам вы подписали приговор?
За что ж они-то на костер всходили?

На возражение короля: «я в человеке нужду ощутил» — Инквизитор отвечает:

Что вам в человеке?
Для вас он цифра — больше ничего.
Иль мне с седым своим учеником
Под старость лет начать твердить азы?
Земной владыка, разучись нуждаться,
В чем потерпеть отказ он может. Если
Сочувствия вы станете искать,
То сделаете свет своей родней.

Здесь вся идея «Легенды» Достоевского, что нисколько не умаляет ее значения, ибо эта идея в «Легенде» развита с такою

силой, с таким проникновением всех подробностей, с такою поразительной ясностью, что кажется, будто и все последние века, со всей их борьбой, и все будущее Европы воплотилось в лице Великого Инквизитора «Легенды».

Но, выразив с такою силой европейскую мысль, он противопоставил ей с еще большею силой мысль православную: Лик Христов, как его чтут в православии, и учение Христово, как его понимает православие; учение, по которому человек не цифра, не камень для здания, а бесконечно ценен сам по себе, учения, которое, требуя послушания, требует послушания свободного и *не принимает*, а отвергает послушание рабское; учение, которое не сковывает разум человеческий требованием слепого подчинения авторитету, а, напротив, ценя разум как великий и как прекрасный дар Божий, говорит людям: *«Все испытайте — доброго держитесь»*.

Таков смысл «Легенды». В ней обнаружена вся глубина зла и лжи, но в то же время показана и глубина истины; а то и другое можно было сделать лишь *веруя* в Истину.

Г. Розанов чрезвычайно пронизательно указывает одну черту Достоевского: «Всю жизнь он проповедывал Бога, — пишет г. Розанов. — Из тех, которые слышали его, одни смеялись над его постоянством и негодовали на его привязчивость, другие ею умилялись, на него указывали. Но он будто не слышал ни этого негодования, ни этого умиления. Он все говорил одно, и *только удивительно было всем, почему он с такою радостною утешительной идеей в сердце сам так беспросветно сумрачен, так тосклив и тревожен*».

В подчеркнутых словах, в которых действительно с большой глубиной указан характер настроения Достоевского, заключается самый главный, так сказать, психологический аргумент г. Розанова.

Но вот в чем ошибка. Нет на земле такого верующего человека, который не испытывал бы мучительных сомнений — сомнений, происходящих от того, что нет на земле человека, который достиг бы совершенной чистоты, полной безгрешности. В Достоевском эти сомнения отражались мукой его сердца, беспокойностью его настроения. И чем выше, глубже, разностороннее натура человека, тем эти сомнения язвительнее, тем более они наполняют душу мраком, а сердце печалью. Так и было с Достоевским. Великая скорбь о себе, о мире, о человеке пронизывает собою все его писания.

Но муки его вовсе не были муки Ивана Карамазова. У Ивана не могло быть никаких сомнений, потому что не было и веры.

Мука Ивана заключалась в том, что он разумом своим понимал необходимость бытия Божия, но в Бога не верил. Мука Достоевского заключалась в том, что вера его иногда застигалась сомнением. Подобное состояние души превосходно и высокохудожественно изображено на некоторых страницах так называемой «Исповеди» графа Толстого⁶. Но вдохновлялся Достоевский не своими сомнениями (ибо сомнениями вдохновляться невозможно), а своею верою — и именно это дало смысл, направление и окраску всем его планам, дало ему ту силу проникновения в душу человека, которой мы изумляемся.

Достоевский был не трагический атеист, вроде Ивана Карамазова, как то, по-видимому, думает г. Розанов. Трагизм его заключался в ином: в борьбе его «страдающей и бурной» души, в борьбе со своею натурою, страстной, беспокойной, постоянно выходящей из равновесия. Но подробнее вряд ли об этом можно говорить теперь, во-первых, по неимению достаточно биографических данных, а, во-вторых, потому, что память о Достоевском еще слишком свежа. Теперь вряд ли кто решится воспроизвести всю картину его душевной жизни, показать и все величие, и все язвы этой души, показать ту борьбу добра и зла, которая совершалась в этой страстной, беспокойной и страдающей душе, с такою отчаянною смелостью созерцающей «бездну над собой и бездну под собой».





В. С. СОЛОВЬЕВ

Порфирий Головлев о свободе и вере

Заметка

Ишь ведь как пишет! ишь как языком-то вертит! Ни одного-то ведь слова верного нет!.. все-то он лжет! и «милый дружок маменька», и про тягости-то мои, и про крест-то мой... ничего он этого не чувствует!..

*М.Е. Салтыков*¹

Со словом нужно обращаться честно...

*Гоголь*²

Веротерпимость, или религиозную свободу, я считаю такою же важною и насущною потребностью для современной русской жизни, какою сорок лет тому назад была потребность в освобождении крестьян. Среди множества разных дел, возникающих в нашей общественной жизни и литературе, есть в настоящее время только три существенные: дело народного образования, дело материального самосохранения народа (вопрос продовольственный и санитарный) и, наконец, дело религиозной свободы. С этим третьим связаны все нравственные задачи и вся историческая будущность России, а потому его следует считать еще более важным, чем два первые важные дела нашей жизни. Придя к такому убеждению, я считаю нужным при всяком случае обличать те лживые уловки, посредством которых противники веротерпимости (в нашей печати) стараются отстранить или задержать единственно правильное решение этого вопроса. Заметка моя «Исторический сфинкс»^{3*}, в которой между прочим перечислены ходячие софизмы против религиозной свободы, вызва-

* «Вестник Европы», июнь, 1893.

ла появление нескольких новых, еще более грубых софизмов *. Я собирался отметить и их, как вдруг в области того же вопроса и по тому же поводу совершилось нечто, совсем выходящее из ряда вон: против веротерпимости выступил сам господин Порфирий Головлев, более известный под именем *Иудушки*. Статья о свободе и вере, только появившаяся в одном из здешних журналов, не подписана именем Головлева, но совокупность внутренних признаков не оставляет никакого сомнения насчет действительного автора: кому же, кроме Иудушки, может принадлежать это своеобразное, елейно-бесстыдное пустословие? ** В сравнении с этим все измышления и кривотолкования других противников религиозной свободы, как, напр<имер>, г. Л. Тихомирова, кажутся чем-то прямодушным и добропорядочным; беспристрастный разбор их под таким впечатлением даже совершенно невозможен; отлагаю его до другого раза, а теперь прошу внимания для несравненного Иудушки.

I

ОСНОВНАЯ МЕТОДА ПУСТОСЛОВИЯ У ИУДУШКИ

Одна из главных характерных черт нашего пустослова состоит, как известно, в том, что от вопросов жизненного практического значения он отделяется отвлеченными рассуждениями, не имеющими никакого реального отношения к делу. Так, например, старуха Головлева желает знать, как ей быть с промотавшимся и спившимся старшим сыном; обращается за советом к Иудушке и слышит следующее: «если вы позволите мне, милый друг маменька, выразить мое мнение, то вот оно в двух словах: дети обязаны повиноваться родителям, слепо следовать указаниям их, покоить их в старости — вот и все. Что такое дети, милая маменька? Дети — это любящие существа, в которых все, начиная от них самих и кончая последней тряпкой, которую они на себе имеют, — все принадлежит родителям. Поэтому родители могут судить детей, дети же родителей — никогда. Обязанность детей — чтить, а не судить» и т. д.

* В «Русск<ом> обзор<ении>» и «Моск<овских> вед<омостях>».

** «Русский вестник», 1894 г., № 1, статья «Свобода и вера», с подписью В. Розанов. Под этим именем несколько лет тому назад появилась прекрасная брошюра о «месте христианства в истории»⁴. Ни по содержанию, ни по положению не имеющая ничего общего с новейшим произведением Иудушки: совпадение его псевдонима с именем автора той брошюры произошло, очевидно, случайным образом.

Другой случай. Сын Иудушки должен заплатить проигранные им казенные деньги; в последней крайности он обращается к богатому отцу за помощью, а тот ему отвечает: «У Иова, мой друг, Бог и все взял, да он не роптал, а только сказал: “Бог дал, Бог и взял — твори, Господи, волю Свою! Так-то, брат”». Вот, наконец, решение вопроса о судьбе младенца, незаконно прижитого самим Иудушкой: «Я так рассуждаю, что ум дан человеку не для того, чтобы испытывать неизвестное, а для того, чтобы воздерживаться от грехов. Вот ежели я, например, чувствую плотскую немощь или смущение и призываю на помощь ум: укажи, мол, пути, как мне ту немощь побороть, — вот тогда я поступаю правильно, потому что в этих случаях ум, действительно, пользу указать может». А вот у женщин, заключает Иудушка, «на счет ума — не взыщите! Оттого и впадают они в прелюбодеяние!»

Не следует, однако, думать, что такое отношение к жизненным вопросам происходит от бескорыстной страсти к умственным упражнениям. Отвлеченным пустословием Иудушка прикрывает всегда какую-нибудь совершенно конкретную гадость. Определение детей как любящих существ ведет к тому, чтобы забрать в свои руки все имение матери; воспоминанием об Иове украшается отказ погибающему сыну в необходимых ему деньгах, а рассуждением о значении ума в борьбе против грехов подготавливается отречение от своего незаконнорожденного младенца.

Эту методику, усвоенную им в частной жизни, Иудушка всецело применяет и к литературному обсуждению вопросов общественных.

II

ПУСТОСЛОВИЕ О СВОБОДЕ ВООБЩЕ

В известной стране, где существуют законодательные и административные ограничения религиозной свободы, возникает вопрос об их справедливости и целесообразности*. Нужно ли сохранить эти ограничения свободы или отменить их вполне, или отчасти, или, наконец, требуется их усилить? Иудушка держится, как увидим, последнего мнения; он желал бы, чтобы существующая доля религиозной свободы была «безмерно» сокращена, но, верный своей методике, прямо такого желания не высказывает

* Этот вопрос относительно старообрядцев поднят недавно и в «Новом времени».

и не доказывает, а пускается в протяженно-сложенные рассуждения о вещах, относящихся к делу так же мало, как терпение Иова к полковой кассе. О реальном положении религиозной свободы, о практическом значении вопроса нет ни одного слова во всей статье. Для Иудушки, по-видимому, так же несносно говорить об этом, как и о действительных причинах несчастья, случившегося с Евпраксеюшкой.

Он начинает с уверения, что свобода вообще беспрепятственно торжествует повсюду; она все преодолевает; эта идея, очевидно, торжествующая; она, бесспорно, даже господствует; но уже не творит *; она никого более не насыщает и не радует.

«Чувство свободы было радостно, пока она была тождественна с *высвобождением*, сливалась с понятием независимости; был некоторый гнет определенный, тесный, сбросить который было великим облегчением; эпическая борьба, наполняющая собою конец прошлого и первую половину нынешнего века, вся двигалась идеей свободы в этом узком и ограниченном значении: был феодальный гнет — и было радостно высвобождение из-под него; был гнет церкви над совестью — и всякая ирония над нею давала наслаждение. Тысячи движений, из которых сложилась история за это время, движений то массовых и широких, то невидимых и индивидуальных, все были движениями, разрывавшими какую-нибудь определенную путу, какою был стеснен человек, вернее, скреплен с человечеством. И когда эти тысячи движений окончены или близки к концу, побуждение, лежавшее в основе их, правда, носит то же название, но каков его смысл и какова точная цена для человека? Оно обобщилось, стало идеей в строгом смысле и, с этим вместе, потеряло для себя какой-нибудь предмет; с *падением всяких пут*, что, собственно, значит свобода для человека?» **

Что бы она бы ни значила с падением всяких пут, пока они не пали, идея свободы имеет очень определенное значение и предмет, — именно, она совпадает с потребностью того высвобождения из внешних пут, которое и сам Иудушка должен невольно признать желательным и радостным. Там, где нет никакого гнета и никаких пут, нет и вопроса о свободе; а там, где внешнее *искусственное* стеснение существует, там и свобода не есть отвлеченная «идея», а натуральная жизненная потребность. Но раз устремившись в свою сферу, т. е. в пустое место, Иудушка не скоро оттуда выйдет; ему непременно нужно поговорить об отрицательном характере свободы *вообще*. «Она испытана, — разглагольствует он, — и не то, чтобы в испытании

* «Русск<ий> вестн<ик>», с. 265.

** «Р<усский> в<естник>», с. 266.

этом оказалась горькою — этого чувства не было; но она оказалась как-то пресна, без особенного вкуса, без сколько-нибудь яркой ощутимости для человека, который после того, как был вчера, и третьего дня, наконец, давно свободен, вдобавок к этому и сегодня свободен. После тысячетлетней стесненности чувство свободы было бесконечно радостно; не оно собственно, но момент прекращения стеснения, т. е. ощущение почти физическое; после вековой свободы, когда и вчера ничего не давило меня, какую радость может дать мне то, что и сегодня меня никто не давит? Здесь нет положительного, что насыщало бы; только ничто не томит, не мучит, — но разве это то, что нужно человеку?» *

Указывать на неощутимость *прошедшего* давления в ответ на вопрос о давлении *настоящем*, толковать о чьей-то вчерашней и вековой свободе, когда дело идет о тех, которые несвободны и сегодня, — вот подлинная Иудушкина манера. Его спрашивают, нужно ли выпустить на чистый воздух людей, задыхающихся в подвале, а он в ответ: что есть чистый воздух? это есть нечто пресное, безвкусное, хотя и не горькое; в нем нет положительного, что насыщало бы; чистым воздухом никого не накормишь; разве это то, что нужно человеку и т. д. — Этаким бесстыдным пустослов!

Дальше еще лучше. Ставится вопрос: что значит свобода «для обладателя пачки процентных бумаг, гражданина мира, который в этой пачке имеет для себя условие всего положительного, и в свободе только отрицательное условие безграничной широты употребления этих бумаг» **. Когда речь идет о веротерпимости, при чем тут процентные бумаги? Очевидно, в порыве пустословия навернулись они на язык — как у лейтенанта Анучкина⁵ «гранитные деревца» — он и сболтнул.

III

ИУДУШКА ОТКРЫВАЕТ СВОЮ ВЕРУ

Вглядываясь в серый туман Иудушкина пустословия, с трудом различаешь наконец нечто вроде мыслей. Во-первых, Иудушка утверждает, что только вера имеет право на свободу: «только поверив, я могу требовать некоторой свободы» ***.

* Там же.

** «Р<усский> в<естник>», с. 267.

*** «Р<усский> в<естник>», с. 269

Положим так: поскольку дело идет о свободе исповедания и проповедания, само собою понятно, что кому нечего исповедывать и проповедывать, тот и в свободе для этого не нуждается. Но если факт веры дает право на свободу, то при множестве разных существующих вер каждая из них будет иметь одинаковое право со всеми, что и называется веротерпимостью. А еето именно Иудушке и не хочется допустить, и вот что он начинает плести:

«Никем не замечено было, что смысл свободы есть собственно субъективный и она не может быть понимаема в смысле требования универсального... Свобода в универсальном смысле, как требование ее для всего, став сознанием каждого индивидуального существа, не означала бы здесь ничего, кроме отрицания им в себе самом значения; только не веруя более ни во что, можно требовать для всего свободы... И как я, всякий субъект может сохранить веру в истинность своего содержания, не требуя для него свободы жизни, движения, распространения, — и *ограничений для всего*, что этому мешает, хотя оно так же жило по своим особым законам; но я, живущий, в эти законы заглянуть не могу, — и не должен, насколько я верю и хочу жить» *.

Итак, свобода только *для себя* и ограничения для всего прочего. Теперь, по крайней мере, ясно, какой веры держится сам Иудушка. Вопреки своему собственному утверждению, он дал нам возможность заглянуть в закон его жизни. Нового, правда, мы там ничего не найдем. Это тот же самый закон, которому следовал в своей жизни африканский дикарь, говоривший миссионеру: «когда у меня уведут жен и коров — это зло, а когда я уведу у другого — это добро». Всякий зверь и всякая птица, если бы они имели дар слова, высказались бы, наверно, в том же смысле. Тот «закон жизни», для которого Иудушка требует полной свободы и во имя которого он желал бы ограничить все остальное, есть просто *закон жизни животной* — и больше ничего.

IV

ИУДУШКА КЛЕВЕЩЕТ НА ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ

Но Иудушка не был бы самим собою, если бы верообразнодикую сущность своей веры или своего «закона жизни» он высказал прямодушно от своего собственного имени или от имени единомышленных ему зверей и диких людей. По натуре своей он еще более лжив, чем скотоподобен; свой готтентотовский субъ-

ективизм он фальшиво привязывает к универсальной и объективной истине христианства; он лжет и клеветает на православную церковь, выставя себя говорящим от ее имени. Свой «закон жизни» он приписывает ей: и она будто бы признает свободу только *для себя*.

«Как и все, — говорит он, — живущее каким-нибудь утверждением, она допускает свободу лишь при условии слияния с собою в этом утверждении... Таким образом, церковь *не только не допускает какой-либо борьбы с собою, но и не знает этого, что могло бы с нею бороться под иным углом, как только подлежащее исчезновению, разъяснению*... Итак, мы утверждаем, *доля свободы, уже теперь допущенной церковью, безмерно превышает ту, которая допустима по существу ее веры в себя*, и эта податливость должна быть отнесена исключительно к несовершенству того, что мы назвали внешним и временным ее выражением. *Не поднимается грешная рука закрыть уста хулящие*. Есть воля к этому, есть сознание об этом, есть перед нами святой закон; но вот он лежит, и кто же поднимет его?.. И вот мы возвращаемся к терпимости, против которой хотели говорить... повторяем, в вере ее нет, в церкви — нет, в религии нет... *Допустить обсуждения истин своей веры церковь не может*, — не по боязни их колебания, но по *отвращению к подобному обсуждению*; и не только обсуждения этих истин, но и малейшего отступления от целости своей христианской жизни каждого единичного своего члена... *отступающий от церкви для нее презрен до невыносимости его видеть, вот источник церковной нетерпимости*, которая и не может быть сужена иначе, как через упадок в верующих яркости сознания факта, на котором основана их вера» *.

Что в *истории* восточной, как и западной церкви, бывали не только единичные проявления, но и целые эпохи, запечатленные религиозной нетерпимостью, что в православных государствах имели и имеют место ограничительные законы против иноверцев — это факт несомненный, без которого нам не пришлось бы теперь и рассуждать о религиозной свободе как о жизненном вопросе. Но чтобы нетерпимость принадлежала к самому существу христианской церкви — этого мы еще ни от кого не слышали, кроме Иудушки. Против него свидетельствует даже г. Л. Тихомиров⁶, заявляющий: «...конечно, терпимость есть правило самого православия» **.

* «Р<усский> в<естник>», с. 273, 274, 275, 277, 278. Курсивы мои. Я собрал более яркие места, которых яркость в самой статье несколько затемняется туманом Иудушкина пустословия.

** «Русск<ое> обозр<ение>», 1893 г., № 7, с. 383.

V

ПОНЯТИЯ ИУДУШКИ ОБ ИНОСТРАННЫХ ИСПОВЕДАНИЯХ

Если Иудушка так бесцеремонно относится к той церкви, к которой сам принадлежит по рождению, то можно себе представить, на что он способен по отношению к чужим церквям: ведь по его принципу он не может и не должен даже «заглянуть в закон их жизни». Казалось бы, что в таком случае нечего о них и говорить. Но Иудушка говорит, и даже с жаром, об обоих западных вероисповеданиях. Протестантизм он объявляет неверием на том основании, что протестанты (?) не причащают, а иные и не крестят своих младенцев, дожидаясь зрелого возраста.

«Мы не можем этого понять, — рассуждает он, — видя, как этих же детей, не спрашивая их свободы, не дожидаясь их выбора, родители и обучают, избрав за них сами методы, и оберегают, определив методы ухода, лечения и проч. Мы не можем удержаться от мысли, что во всем этом, что им дают и что с ними делают так твердо от рождения, есть истинная вера, есть убежденность; я верую, что это благо, — как не сделаю этого тому, кого люблю больше себя? Итак, если делая себе вот это другое благо, я, однако, удерживаюсь делать его ребенку своему, которого люблю более себя, верую ли я в это благо и тогда, когда себе его делаю?» *.

Рассудив таким образом, Иудушка затем уже безо всяких дальнейших оснований объявляет, что протестантизм есть неуверенность в исповедуемом, или слабоверие **.

Я не стану защищать, ибо не считаю правильными упомянутых обычаев, которые, впрочем, не заключают в себе ничего специфически протестантского ***. Но хотя бы они заслуживали полного осуждения, объяснять их неверием можно только при особом, головлевском способе мышления. По этой логике, если я верю в таинство брака и считаю супружество для себя делом добрым, то я непременно должен поскорее женить своих грудных младенцев, «не спрашивая их свободы, не дожидаясь их выбора: я верую, что это благо, — как не сделаю этого тому, кого люблю больше себя?»

Что касается католичества, то Иудушка, как известно, интересовался им уже давно, задолго до выступления своего на литературном поприще. Помните его беседу с головлевским батюшкой на по-

* «Р<усский> в<естник>», с. 280.

** Там же, с. 281.

*** Не крестит малолетних только незначительное меньшинство протестантов (баптисты и т. п.); что же касается до причащения младенцев, то оно, кроме протестантов, не принято и у католиков.

хорошом обеде? — «А вот католики, — продолжает Иудушка, переставая есть, — так те, хотя бессмертия души и не отвергают, но взамен того говорят, будто бы душа не прямо в ад или в рай попадает, а на некоторое время в среднее какое-то место поступает» *.

Со времени этой беседы Иудушка почему-то до чрезвычайности ожесточился против католичества и говорит о нем уже в другом тоне:

«Не более, чем в протестантизме, есть веры и в католичестве: иезуит, во имя Христа хватающий протестантского ребенка и, читая молитву крещения, обваривающий его кипятком, дабы он не остался жив, не вернулся к родителям и не стал в ряды “колеблющих камень Петра”, — эта смесь бреда, лукавства, исступления и смешных фокусов (*reservatio mentalis* ** при клятве) — разве это вера?» ***

Обваривать младенцев кипятком не есть правило католической церкви; но замечательно, что подобный поступок совершенно согласуется с правилами самого Иудушки. Ведь он решительно утверждает, что все противное нашей вере должно иметь для нас значение *только как подлежащее исчезновению*, рассеянию; что отступающий от церкви презрен до невыносимости его видеть и т. д. Ну, что же? Предусмотрительный (хоть и несуществующий) иезуит признал в протестантском младенце будущего противника своей церкви и подверг его скорейшему «исчезновению», и негодовать на него Иудушка может не за это деяние, а только за то, что он иноверец. Вспомним также заявление Иудушки, что существующая у нас веротерпимость *безмерно* превосходит ту, которая должна быть; следовательно, требуется безмерное ее сокращение, т. е. безмерное увеличение вероисповедных стеснений, а при такой *безмерности* где было бы принципиальное препятствие к обвариванию иноверных младенцев кипятком? Это не напраслина на Иудушку, а прямой вывод из его нелепых слов. Со словом нужно обращаться честно.

VI

ИУДУШКА ВСПОМИНАЕТ СОДОМ И ГОМОРРУ

Когда нужно было отказать ближнему человеку в необходимом, Иудушка вспоминал Иова и его терпение. Теперь, когда он

* Из биографии нашего автора, написанной Салтыковым.

** мысленная оговорка, обуславливающая несостоятельность произнесенного вслух обета (лат.).

*** «Р<усский> в<естник>», с. 281.

старается внушить «безмерную» строгость к иноверцам, он вспоминает Содом и Гоморру и даже полемизирует против терпения, как и против терпимости.

«Свобода * есть слияние в любви, но во имя любви к высшему, чем согрет, просвещен, оживотворен человек; и когда эту животворящую, греющую, светящую истину он оскорбляет, конечно, предательством ей было бы, если бы мир стоял и смотрел на это спокойно, — тот мир, который ею жив. Итак, негодование и наказание есть то, что следует после долготерпения, любви, усилий исцелить для неисцелимого: долготерпения без конца не указал человеку Бог, и Он не терпел Гоморру и Содом; значило бы обратить землю в них, если бы высшим, никогда не нарушаемым законом для нее поставить мертвое терпение» **.

Вот наконец справедливое замечание! Я тоже думаю, что долготерпения без конца не указал человеку Бог и что земля превратилась бы в Содом и Гоморру, если бы, например, такие писатели, как Иудушка, не возбуждали негодования и не получали должной мзды. Однако и это единственное справедливое замечание сделано некстати. Разве речь шла о неисцелимой нравственной негодности? Если бы Иудушка с правдивым благочестием относился к указаниям священных текстов, а не злоупотреблял ими для своей скверной тенденции, то он по вопросу о веротерпимости припомнил бы не Содом и Гоморру (коих грехи не принадлежали ни к какому вероисповеданию), а то самарянское селение, где из-за религиозной розни не приняли Христа, как идущего в Иерусалим. «Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: *не знаете, какого вы духа?*» (Ев<ангелие от> Луки, IX, 54, 55).

VII ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Но так как Евангелие еще не написано для Иудушки, то ему и приходится вопрошать: «Итак, что же грешным рукам, оберегающим церковь, делать, слыша хулу на оберегаемое из тысяч

* Относясь к слову систематически нечестно, Иудушка называет свободой то, что все называют несвободой. Выше (с. 276) он указывает, что идеальная свобода «не исключает страдания, *тесноты* для людей».

** «Р<усский> в<естник>», с. 286.

уст?» Сквозь чащу нового пустословия пробираемся к окончательному ответу. Нельзя сказать, чтобы он был выражен прямо, но смысл его ясен, особенно в связи со всем предыдущим:

«Человек должен защищать все доброе, благое, истинное, не по недоверию к его способности устоять, *но по природе своей*; ведь и грудной ребенок, видя, как подняли руку над его мамкой, кричит и *протягивает ручки*, чтобы ее защитить; как же требовать, чтобы народы не делали подобного движения, когда поднимается рука на церковь их, когда хула открывается на самого Бога?» *.

Почему народы непременно должны в образе своих действий следовать примеру грудных младенцев, которые, однако, как известно, делают и претерпевают многое, чего не только народам, но и отдельным лицам, вышедшим из младенчества, делать претерпевать неудобно? Не думаю, впрочем, чтобы со стороны Иудушки это было только неудачное сравнение. Что всякий человек должен защищать и естественно защищает истину, в которую верит, — это само собою разумеется, об этом нет никакого вопроса и спора. Вопрос был и есть только о том: *каким средствами* должно защищать истину веры — духовным ли оружием, т. е. словом убеждения и обличения лжи, или же вещественным оружием, т. е. принуждением к молчанию, тюрьмою, ссылкой и т. д. Указание на бессловесного младенца, протягивающего ручки, свидетельствует, что наш автор стоит за физические внешние средства в религиозной борьбе; в этом же и весь смысл его статьи. И, однако, сказать это прямо, назвать вещь своим именем он не решился. Человеколюбие требует вменить ему в некоторое смягчающее обстоятельство этот последний, практически бесполезный, остаток стыдливости. Вместе с тем это есть самое яркое обличение той лжи, которую высказать до конца стало стыдно даже Иудушке!⁷





С. Н. ТРУБЕЦКОЙ

Чувствительный и хладнокровный

Написанная по поводу статей,
относящихся к Ходынской катастрофе *

I

Среди благонамеренных публицистов, составляющих гордость нашей печати, едва ли найдутся два других писателя, дающих более пищи для ума и сердца читателей, чем г. Розанов и Spectator¹.

При всем разнообразии своих дарований и своих темпераментов оба имеют ревность и дерзновение; оба — смелые и оригинальные мыслители, побивающие все рекорды благонамеренности; оба на всех парах и под благоприятным ветром плывут против давно господствовавшего течения. И оба восполняют друг друга. Г-н Розанов более чувствителен; г. Spectator более хладнокровен. Г-н Розанов родился под влиянием Сатурна и Венеры, из коих первый сообщает ему меланхолию, а вторая — впечатлительность, доходящую до сладострастного импрессионизма; г. Spectator зачат под Меркурием, который окрыляет его красноречие; и он испытал на себе щедроты Юпитера, который наделил его трезвенным оптимизмом. Г-н Розанов — поэт, идеалист, лирик, г. Spectator — прозаик и реалист в своем классицизме. Один исполнен елea и горчицы, другой — оцта и соли. Оба вместе составляют прекрасный соус для несколько пресного, канцелярского салата «Русского обозрения»² — странного журнала, водянистого и безвкусного, как бутылочный огурец.

В последней книжке этого органа, ежемесячно выпускаемого г. Александровым³, мы находим статью г. Spectator'a «Никола-

* Прим. издателя.

евские времена»⁴ и целых две статьи г. В. Розанова: одну подлиннее — под заглавием «Кто истинный виновник этого?»⁵ и другую совсем коротенькую, чисто лирическую, под заглавием «Две гаммы человеческих чувств (по поводу Ходынской катастрофы)»⁶.

Все три статьи полны ревности, дерзновения и заключают в себе ряд новых и смелых мыслей.

В статье «Николаевские времена» г. Spectator скорбит о том, что дети наши развращаются врагами, которые силятся «извратить в их глазах основной смысл русской истории XIX в. и в особенности основной смысл николаевских времен» (с. 535).

В «Двух гаммах человеческих чувств» г. Розанов скорбит о том, что мы хотим вообще учить народ, «в чем-то поправить, в чем-то улучшить через школу» наш «народ — патриарх, наш народ — римлянин», что мы хотим «сделать его патриотом по Иловайскому⁷, научить вере по кратким начаткам катехизиса» (с. 769). Он плачет о том, что «всякий выученный консулам (?) и алгебре русский мальчик» есть «естественный альфонс» своего отечества, своего города и «той практики, которой он занимается» (с. 646).

Предостерегая и назидая общество, которому он выясняет смысл новейшей его истории, г. Spectator тем не менее исполнен бодрящего оптимизма: «перекрестившись», Россия уже и теперь шествует по славному пути, предназначенному ей Николаем I; и она ступает так твердо и уверенно, что никакие «колебания», случившиеся в эпоху Александра II, ныне и впредь более невозможны (с. 534 сл.).

Г-н Розанов, наоборот, ожидая от русского народа великих и славных дел в будущем, оплакивает его настоящее: «Россия — *самоизменяющая (!)*, Россия — *бегущая* от себя самой, *закрывающая лицо* свое, *отрицающаяся имени* своего, Россия — это Петр во дворе Каиафы, трижды говорящий “нет, нет” на вопрос: *Кто он?* — вот истинное соответствующее определение ее в текущий фазис истории. И никогда, никогда *этот* отрицающийся Петр не восплачется об отречении своем; никогда не прокричит для него петух укоряющим напоминанием» *.

Далее еще безотраднее: «Если Россия есть как бы духовно обмершая страна, если из всех ее населяющих народностей русская с наибольшей робостью где-то в углу и под фалдою (?) читает свое credo — слишком понятно, что все остальные народности смотрят на нее как на очень обширный и удобный (?) мешок». В

* Странные курсивы принадлежат подлиннику. См.: «Кто истинный виновник этого?», с. 653.

другом месте центральная Россия уподобляется «старому чулану со всяким историческим хламом, отупевшие обитатели которого (?) живут и могут жить без всякого света, почти без воздуха» (с. 643) — смелое сравнение с тараканами!

Как видит читатель, оба публициста довольно существенно разнятся в своей оценке настоящего. Впрочем, это скорее различие нюансов и темпераментов. В сущности, оба писателя и скорбят и торжествуют, оба предостерегают и оба готовы к борьбе, — один чувствительный и тревожный, другой — хладнокровный и спокойный, как сама истина — даже там, где он случайно от истины уклоняется.

II

Смысл русской истории XIX в. и в особенности времен николаевских открывается нам в новом свете в статье г. Spectator'a. Спасибо уже за то, что не «по Иловайскому».

«Многое творилось в России при Николае Павловиче, чего он не знал, и, тем не менее, мы никогда ему этого незнания в вину не поставим, так же как мы не поставим в вину Колумбу то, что он не знал всей открытой им Америки, а знал лишь незначительную часть ее».

Как ни странно кажется на первый взгляд такое сопоставление Николая I с «гениальным генуэзцем», наш публицист считает это сопоставление «неотразимым».

«Колумб открыл Америку. Что же открыл Николай Павлович? — Россию».

Как Россию? Россия существовала и была всем известна за тысячу лет до Николая. Как же мог он открыть ее?» (с. 529).

— «Да, — со спокойной уверенностью отвечает г. Spectator, — Россия существовала до Петра Великого включительно». Но тут-то и произошла та «самоизмена», о которой так хорошо говорит г. Розанов. Здесь сходятся оба публициста: в течение петербургского периода «Россия находилась, если так можно выразиться, вне России; она была отдана на выучку в иностранную школу» и забыла о себе, о России, «со всей ее своеобразной национально-духовной культурой». И вот эту самую настоящую Россию, забытую Россией цивилизованной, открыл Николай I. «Подобно Колумбу, — говорит г. Spectator, — он один мог «заставить своих современников против воли устремиться на неведомый им путь для открытия этой России» (с. 528). Он является, таким образом, истинным пред-

шественником наших славянофилов. Эти последние, оказывается, играли роль простых спутников Колумба. И они приписали себе его дело! Подобно Америго Веспуччи, они дерзнули дать свое имя его открытию!

Правда, впрочем, по замечанию г. Spectator'а, и сам «Колумб имел лишь неясное представление о той земле, в существовании которой он был уверен, и никто, конечно, ему этого в упрек не поставит». Он и открыл поэтому не всю Америку, предоставив другим довершить его дело.

Но собственное дело Николая I не ограничивалось одним открытием настоящей России. Перед ним стояла двоякая задача. «Прежде всего надежало водворить в ней (в России) внешний порядок, соответствующий самодержавному строю ее государственной жизни», которого, по-видимому, до Николая не было вовсе. «Затем уже необходимо было влить в эту новую внешнюю форму новую внутреннюю жизнь» (с. 532). К сожалению, Николай I успел выполнить только первую часть своей задачи, передав «своему преемнику идеально-точный и современный правительственный механизм, благодаря которому можно было легко, просто и скоро провести какую угодно внутреннюю государственную и общественную реформу». Только «Николаевская система» приучила «правительственные органы исполнять беспрекословно веления верховной власти, а народ — беспрекословно повиноваться им» (с. 532). Вторая часть задачи Николая I была разрешена после него неправильно: наступили пагубные «колебания», которые привели Россию к краю гибели. Но «явился новый Царь-богатырь, который спас ее простым возвращением к николаевской системе. И система эта, о которой все забыли, оказалась все столь же прочной, надежной и целесообразной, как и 25 лет тому назад» (с. 533).

Отсюда с поразительной ясностью получается следующая краткая схема новейшей русской истории:

«XIX век является для России тем, что И. С. Аксаков называл “возвращением домой”, но в более широком смысле. Возвращение это делится на следующие фазы:

1. Призыв домой (1812 год).
2. Сборы в путь (Николаевские времена).
3. Первые неуверенные и неверные шаги (шестидесятые и семидесятые годы).
4. Первые решительные шаги по ясно открывшейся дороге (Александр III)» (с. 534–535).

«Николай I указал нам путь»; Александр II «указал нам на те страшные опасности, которые нам грозят, если бы мы вздумали

уклоняться от прямого пути и от николаевской дисциплины; Александр III показал нам, как избегать этих опасностей...»

«Чего же еще недостает нам для полного успеха в нашем поступательном движении?»

У нас нет лишь одного: уверенности в том, что дети наши поймут так же ясно, как и мы, великие уроки прошлого» (ibid.).

Но с такими публицистами и педагогами, как г. Spectator, мы можем и здесь обрести полное, олимпийское спокойствие и с хладнокровным дерзновением взирать на настоящее, прошедшее и будущее.

III

Читатель, без сомнения, признает, что статья г. Spectator'a блещет оригинальностью и хладнокровием. Все в ней логично и обдуманно. Когда г. Spectator находит, что дважды два — четыре, он не может допускать, чтобы лже-наука утверждала, что дважды два — пять, ибо такое утверждение может развратить молодежь. И хотя, может быть, будущие поколения и не во всем согласятся с мнениями нашего публициста, как он сам, по-видимому, этого опасается, — в настоящем его краткая схема новейшей русской истории представляет несомненный интерес как для «консерваторов», так и для «либералов», которые равно оценят новую теорию о происхождении нашего славянофильства и оригинальную оценку николаевских времен и шестидесятих годов.

Полнейший контраст с этой хладнокровной исторической оценкой являют собой «Гаммы человеческих чувств» г. Розанова. Само заглавие заставляет нас предвкушать симфоническую картину, в которой автор пытается передать нам свои ходы-ские впечатления.

Г-ну Розанову, несомненно, принадлежит крупная заслуга. Он сказал «новое слово» в нашей литературе: он ввел символизм в публицистику. В публицистике он сделал то же, что символисты в поэзии, заменяя мысль и рассуждения гаммами чувств, которые выражаются в странных, новоизобретенных звуках, в бессвязных, иногда совершенно немыслимых сочетаниях слов и образов. Таков, напр<имер>, образ Петра, «трижды говорящего нет, нет на вопрос кто он» во дворе у Каиафы, или образ русской национальности, читающей свое credo (?) «где-то в углу и под фалдою». При этом г. Розанов стремится придать своему символизму национальный характер, подражая выкрикиваниям

юродивых и причитаниям прежних воплениц, в которых он, по видимому, усматривает образцы истинно-русской публицистики в отличие от публицистики Запада, сгнившего в своем «рационализме».

В гаммах г. Розанова рационализм отсутствует совершенно, и если попытаться изложить их в форме логического рассуждения, в форме «силлогизмов», то получится чепуха невообразимая, от которой и настоящие юродивые поспешили бы отказаться. Но беспристрастный критик признает в статьях г. Розанова полное соответствие формы и содержания: он оценит лирический полет, растрепанность чувств и поэтический беспорядок мыслей, доводящий нашего символиста до выражений необычайной смелости, скажу — дерзновения: читатель уже видел, как он сравнивает Россию зараз и с Петром, и с Тем, от Которого Петр отрекается. Читатель знает уже, как г. Розанов высказывает сомнение в пригодности не только «Иловайского», но даже краткого катехизиса для народного обучения. И это ревнитель церковно-приходской школы! Местами он возвышается до пафоса древней сивиллы.

«У нас нет идеи, у нас нет плана; у нас нет веры: *вот это* — истина; у нас нет знания: *где же истина?* Эмпирики ли мы, не умеющие считать по пальцам? Гамлеты ли мы, ушедшие в безбрежность сомнений, — кто нас разберет? Но ночь темнее тучи, но черная ночь висит над нами; корабль бытия нашего (!) не прочен; нет мысли в нем; и страхом, и ужасом, и негодованием, и смехом самым обыкновенным, и темным мистическим предвидением полна душа при взгляде на настоящее, при мысли о будущем» (с. 645).

Так вещает г. Розанов.

Впрочем, г. Розанов не только поэт, он — мыслитель. И если он и не Колумб, то он все же Кортес или Писарро в своем роде: он исследует такие стороны «настоящей» России, которые до него были совершенно неизвестны; он открыл новую, особенную русскую «психическую гамму» или русскую «гамму человеческих чувств»! И эта гамма, оказывается, до такой степени различествует от «гаммы чувств западно-европейских», что «законы одной (из этих гамм) не имеют никакого значения для другой» (с. 767).

Эти гаммы «не воспринимаемы, не усвоимы для одного сердца. И та душа, которая упивается порядком чувств, текущих в одной гамме, отвращается как от нестерпимой нравственной какофонии от чувств, подчиненных закону другой гаммы»! И это открытие, которое сам г. Розанов сравнивает с «рентгеновским светом», было произведено им по поводу ходынской катастрофы! Не упади желудь на нос Ньютона, мы ничего не знали бы о

законах тяготения. Не случись Ходынки, — наша «психическая гамма» не была бы открыта. Подумаешь, и желудь мог не свалиться, и Ходынки могло не быть, но что было бы в таком случае — мы не знаем; вероятно, и Ньютон, и г. Розанов сделали бы свои открытия по другому поводу. Во всяком случае, г. Розанов столь же мало жалеет о свалившихся «желудях», как и его великий предшественник.

В чем же, спросит нетерпеливый читатель, заключается наша русская психическая гамма, и в чем ее коренное отличие от гаммы европейской? Напрасный вопрос, ибо душа читателя настроена лишь в одной гамме и потому другую воспринять никак не может. Но если читатель захочет узнать, в какой тональности настроена его душа, то у г. Розанова он найдет относительно этого подробные указания. Спрашивали ли вы себя, кто виноват в ходынской катастрофе? Если да, то ваша душа, несомненно, настроена в европейской тональности. Но если при таком вопросе на вашем лице «выражается самое живое недоумение», то знайте, что душа ваша настроена в русских ладах, в национальной психической гамме.

«Кто был *виновен* теперь в Ходынке, немного лет назад в народном голоде и уже очень давно в *бедствиях* крымской войны? Кто был *виновен*, кого бы я мог *осудить*?.. О, осудить только по бессилию: кто тот, кого я хотел бы растерзать, и растерзал бы, если б имел силу, но вот несчастным своим положением, несчастным положением моего отечества обречен на ярость слов без всякого соответствующего действия» (с. 767). Негодование «бежит вперед» самого сострадания: «сострадание — искусственно, но негодование вполне естественно, оно течет свободно, оно не усиливается отыскать слово; оно изящно (?) и мудро (?) как сама природа, как *живая* природа...

Это — гамма западно-европейских чувств, — тех чувств, из которых выросла революция, ранее — Реформация, еще ранее — католицизм, как бурный, исполненный презрения разрыв Запада с «растленным» Востоком...» (с. 768).

Мы не совсем понимаем, к чему искать виновников ходынской катастрофы и желать их растерзания, после того как они указаны, наказаны или заклеены и без этого Высочайшим указом.

Мы не понимаем также возможности искать или терзать какого-то «виновника» неурожая 1861 года или давно почивших прямых и косвенных виновников севастопольского погрома. Однако оказывается, что чувства негодования, которые должны бы побуждать нас «искать и терзать» таких «виновников», не только «естественны» или «изящны», но даже «мудры, как сама

природа», хотя составляют исключительную принадлежность «западно-европейской психической гаммы». Ибо то же самое чувство, которое заставляло нас негодовать против «московских властей», не исполнивших своего долга на Ходынском поле, породило католицизм, протестантизм и революцию.

Что же породила русская «психическая гамма» и в чем состоят ее отличительные признаки? На этот вопрос г. Розанов не дает столь определительного ответа:

«Растленный» Восток таким и *признает* себя (!?); кающийся мытарь — его прототип; грешница, отирающая ноги Учителя своими волосами — его идеал... Кого осудит мытарь? На кого поднимет глаза грешница? Осудят ли они «среду», «социальный строй», который их пожрал (?). Они не понимают этого. Блаженны непонимающие! Блаженно, трижды блаженно это непонимание, которое дает душе такое чудное упокоение, мирную кончину на исходе 60-го года, бодрость труда в течение 60-ти лет».

Читатель видит, — здесь уже не гамма, а ряд аккордов. Не совсем понятно только, кто тут скончался в исходе 60-го года: мытарь, грешница или убитые на Ходынке? В последнем случае дело уже совсем непонятно, ибо в числе убитых были не одни шестидесятилетние старики, и притом такую кончину едва ли можно назвать мирной. Не забудем, однако, что мы имеем дело с символистом. Может быть, автор делает тут какой-нибудь намек на шестидесятые годы, но мы все-таки не понимаем, а потому «блаженно непонимание»!

Далее мы узнаем, что помимо чувств негодования существенным признаком западно-европейской «психической гаммы» является любовь к «статистике». Но здесь неожиданным образом в ряды западно-европейцев попадает сам царь Давид, который «вздумал однажды провести статистику населения» и был посрамлен в своих расчетах «почти не менее, чем Франция, которая всякий год считает у себя население и *не досчитывается*». Отсюда мы могли бы сделать тот вывод, что отвращение к статистике должно характеризовать нашу национальную «психическую гамму». Народа считать не следует! Сам г. Розанов идет еще дальше: удержать руку смерти не может никакая статистика, ни медицина, ни социология, ни позитивизм, ни идеализм, а между тем «*это бы* только и нужно». Но это «единое на потребу» дано именно «непониманию». А потому г. Розанов дает нам следующие, свои собственные заповеди блаженства или, если угодно, «заповеди непонимания» (с. 768).

«Блаженны непонимающие! Блаженны голодные и не спрашивающие, почему я голоден? раздавливаемые и не спрашивающие: кем я раздав-

лен? побитые и не задающиеся вопросом: в силу каких причин мы побиты? Блаженны, ибо они будут живы; они будут живы еще и тогда, когда ведущие расчеты с Богом будут тлеть».

Строго говоря, голодные, раздавленные и побитые животные тоже не задаются вопросом, почему они голодны, раздавлены и побиты; и неспособность задаваться подобными вопросами о причине переносимых страданий, — вопросами, мучившими уже Иова, — несомненно, ограждает бессловесных от нравственных мучений, доступных одному разумному существу — человеку. Однако до г. Розанова никто не думал, чтобы одно отсутствие понимания могло сподобить нас нетления, избавить от смерти или доставить нам положительное блаженство; никто не видел также особой нравственной заслуги в простом дефекте понимания. Ибо г. Розанов говорит здесь не о кротости, незлобии и смирении, а именно о *непонимании*; понимание представляется как бы несовместимым с этими добродетелями, противно мнению тех, кто думает, что только понимание обуславливает возможность сознательного прощения обид, сознательного смирения, сознательной человеческой нравственности вообще.

Не совсем понятны «заповеди непонимания» и по другим причинам. Кто вел расчеты с Богом по поводу Крымской кампании или по поводу Ходынки? Кого разумеет под Богом наш символист? Каким образом раздавленные, но не понимающие будут спасены от тления, когда понимающие, но не раздавленные будут тлеть? Не смешивает ли г. Розанов консерватизм с заготовкой консервов? Но и в таком случае рецепт его страдает неполнотой.

Немногим яснее показалось нам требование, предъявляемое нашим автором в другом месте к народам Кавказа и западных окраин — чтобы «все угасающее жило (!) по законам угасания» (с. 646).

IV

Таким образом, мы познакомились с двумя образчиками современной публицистики — чувствительного и хладнокровного темперамента.

Если читатель желает ближе познакомиться с г. Розановым, то рекомендуем ему прочитать другую статью этого автора: «Кто истинный виновник этого?», помещенную в той же книжке «Русского обозрения». Статья эта написана в совершенно неизвестной нам психической гамме, и, вероятно, поэтому мы никак

не могли ее понять: для нас осталось совершенно непонятным, кого и в чем собственно обвиняет г. Розанов. Ясно только, что указанная статья написана не в европейской «психической гамме», ибо в заключении автор увещевает нас освободиться от ложного стыда и сбросить наши еврейские одежды, дабы не прятать под ними «ту прекрасную наготу, которую дал нам Бог». Но, с другой стороны, статья г. Розанова написана и не в той психической гамме, которую он называет русской, ибо г. Розанов, несомненно, *обвиняет* с большим раздражением чуть ли не все народности Российской империи и сбоку инсинуирует против г. Джаншиева, «Русских ведомостей» и армянской интеллигенции. Это, должно быть, какая-нибудь еще третья психическая гамма — не то китайская, не то миксо-лидийская. Минутами нам казалось, что г. Розанов начинает просто говорить «языками» и, забывая предписание апостола, уподобляется трубе, издающей «неопределенный звук».

Но, может быть, читатель не любит восточных ладов и не дорожит тем «мятежным наслаждением», которое может доставить ему вакхический восторг, безумство, исступление и клики В. Розанова. Возможно, что читателю милее трезвая бодрящая струя г. Spectator'a, сначала холодного, но разгорающегося все более и более. В таком случае читатель поступит хорошо, если почитает и его статью. Будем надеяться, что когда-нибудь эти две натуры — хладнокровная и чувствительная, столь прекрасно восполняющие друг друга, вступят в более тесный союз и породят в своем сочетании цельное и оригинальное литературное явление, — род русалки с женской грудью и хвостом пресмыкающегося, которая составит утешение как тех читателей, которые боятся русалок, так и тех, которые в них не верят.





В. П. БУРЕНИН

Критические очерки. Литературное юродство и кликушество

I

В нашей литературе замечается одно курьезное явление: высказывание время от времени юродивых и кликуш. Эти кликуши и юродивые высказывают во всевозможных видах: то в виде поэтов, сочиняющих нелепые вирши, то в виде критиков и публицистов, поучающих и проповедующих семинарским языком семинарские истины, пропитанные семинарской тупостью и еще чаще семинарским лицемерием. Юродство и кликушество, кажется, вообще составляют одну из характерных черт русской жизни. Юродство и кликушество проявлялись у нас и в древние времена, и в самые новейшие, проявлялись в разных сферах. Почему же не проявляться юродству и кликушеству в литературе? И вот они проявляются, иногда в слабой и сдержанной, если можно так выразиться, замаскированной форме, а иногда в очень резкой и откровенной, почти до цинизма.

Как на самый свежий и выразительный пример подобного литературного юродства и кликушества, можно указать на статью г. Розанова в августовской книге «Русского вестника»¹. Статья называется: «По поводу одной тревоги гр. Л. Толстого». Давно не появлялось ничего подобного в наших литературных изданиях; очень давно. Я думаю, с тех пор, как исчезла пресловутая «Домашняя беседа» пресловутого Асоченского², считавшаяся позором и посмешищем русской журналистики в шестидесятых годах. Правда, такие статьи в органе Асоченского печатались очень часто. Тем не менее, даже сам Асоченский считал их в душе неприличною чепухой; он ведь был цинический лицемер и *дома* издевался над теми глупостями, которые выпускал пуб-

лично в своей «Беседе». Что касается до других тогдашних журналов, то ни один из них не решился бы угостить своих читателей лицемерным юродством и кликушеством во вкусе Аскаченского. А вот теперь, с Божьей помощью, мы дожили до такого времени, когда читателей этим блюдом угощают с самой очаровательной развязностью гг. Розановы, Тихомировы, Говорухи-Отроки, Болтуны-Младенцы и тому подобные патентованные книжники, твердые в доктринах новейшего фарисейства. Мало этого: развязность упомянутых господ доходит до того, что они начинают в своих писаниях, говоря на их манер, кощунственно пародировать тон проповедников и пророков.

Вот, не угодно ли почитать выдержки из статьи г. Розанова и полюбоваться, каким тоном пишет и разговаривает этот господин, разговаривая не с одним из равных и подобных ему Болтух-Младенцев, а ни больше ни меньше, как с автором «Войны и мира». Нисколько не чинясь, г. Розанов обращается к Л. Толстому прямо на «ты» и начинает его увещевать, точно он, Розанов, пророк Нафан, а Толстой — царь Давид, совершивший разные несправедливые поступки. Г. Розанову очень не нравится, что великий писатель в своих произведениях не обнаруживает идотского фарисейства нынешних Болтух-Младенцев, и, взамен этого успокоительного фарисейства, высказывает тревожащую душу правду в ярких, живых образах, а не в семинарски-комических благоуветованиях. Г. Розанов никак не может понять таких «тревог» Л. Толстого и полагает, что все это у автора «Войны и мира» происходит от того, что он боится смерти, а смерти он боится потому, что на его душе есть «тайный грех и, быть может, преступление». Вы не верите, читатель? Но, уверяю вас, это напечатано всеми буквами. Убедившись, что гр. Л. Толстой — великий грешник и даже преступник и чувствуя, конечно, свою фарисейскую праведность, г. Розанов обращается к гр. Толстому с поучением. «Отчего же *ты*, — говорит кроткий проповедник буйному грешнику и преступнику, — не попытаешься покориться Богу? Ты не хочешь “сопротивляться злу” и — сопротивляешься даже Богу? Ты все умничаешь, выдумываешь, лепишь снова человека из глины, когда его уже слепил Бог. Не вспомнишь ли, как, “лепя” Платона Каратаева и в нем (впервые) — “непротивление злу”, ты в конце концов заставляешь людей, к нему привязавшихся, бросить его на дороге, так как он, больной, не может за ними следовать. Я помню, как прочел это много лет назад, еще будучи мальчиком, и тогда же мне показалось это болезненным и уродливым вывертом. Тут еще замешалась собачка, которая ужасно тебя обличает (?), лает на тебя из всех сил: она оста-

ется с умирающим Платоном Каратаевым, а люди — *уходят*. Как ненатурально, как гадко! Как гадок человек, тобою созданный, сравнительно с тем, каков он есть!»

Позвольте остановиться на этой выдержке из «критики» г. Розанова. В сущности, приводимая выдержка относится к тому роду рассуждений, которые покойный Салтыков назвал «бредом куриной души». Однако же это бред куриной души не простой, а, если так можно выразиться, фарисейско-инквизиционный. Понимаете ли, читатель, что хочет сказать г. Розанов? Вот что он хочет сказать: Толстой до того преисполнен греховным дерзновением, что вздумал «лепить» людей по своему образцу. Слепленные Толстым люди гадки и ненатуральны. В пример гадости и ненатуральности критик (или, точнее, увещатель) приводит поступки этих людей с Каратаевым: эти толстовские люди покинули Каратаева, тогда как собака даже лучше их оказалась, осталась около больного. Если бы Толстой не умничал и не выдумывал гадких людей по своему образцу, а брал бы тех, что уже до него вылеплены, то он должен был бы заставить их остаться с больным Каратаевым для помощи ему, а злокозненную «обличительную» собачку ему следовало бы совсем удалить, дабы она не лезла со своим жалобным воем в пику бессердечным людям. Такой смысл рассуждений г. Розанова, пришедших ему в голову, когда он был еще мальчиком. Рассуждения эти, однако, даже и для мальчика были неосновательны, а для взрослого, может быть, уже почтенного критика-философа совсем непростительны, потому что они происходят от невнимания к тому, что написано автором «Войны и мира». Дело в том, что люди, слепленные даже по самым совершенным образцам, не могли бы остаться с больным пленником Каратаевым, не могли бы оказать ему помощи просто потому, что если бы они сделали попытку остаться, их бы сейчас же пристрелили французы, как пристрелили они Каратаева. Собачка же осталась не потому, что Толстой слепил ее лучше и добрее людей, а потому, что она не считалась пленницей, ее не конвоировали французские солдаты, она была свободна вполне и могла поступать как ей угодно. Таким образом, выходит, что Толстой, как художник, слепил и Каратаева, и его сотоварищей по плену, двуногих и четвероногих, не умничая, а такими, какими они были и быть должны. И если в его людях, поневоле оставивших больного Каратаева, и в его собачке, воющей над трупом пристреленного солдата, критики, еще будучи глупыми мальчиками и не поумневшие с тех пор, видят первые признаки «сопротивления благу» и желания переумничать Бога, то это уже не вина правдивого художника, а вина этих господ критиков.

II

Да, это совершенно особого рода критики, руководящиеся в своих произведениях не логикой, не разумом, а юродством, за которым сквозит прирожденное или притворное фарисейство, не разберешь хорошенько. На них «накатывает», как на известных сектантов, какой-то «дух», они впадают в «транс» и не разбирают писателя, не исследуют его, а прорицают и увещевают, обращаясь к нему, как к погибающему грешнику, нимало не сомневаясь, что он идет по прямому пути в ад, простирают к нему руки для его спасения и т. д. Словом, тут не критика, а истерическая чепуха, если только не истерически-лицемерная комедия с какими-либо практическими, а не литературными целями, например, с целью гласного заявления о своем благочестии, смиренномудрии, праведности, почитании установленных начал и т. п. Чем же, в самом деле, как не этого рода «особым трансом» или замаскированным в транс фарисейством можно объяснить, что г. Розанов обращается к гр. Толстому с такими речами:

«Все, что говоришь и делаешь, не есть ли “сопротивление” не только злу, но, кажется, целому мирозданию (?), которое вышло бы, тебе думается, лучше, будь *ты* призван построить для него план и дать законы? Разве не часть этого мироздания, не его продолжающееся творение — чудесная история человека на земле, и вот, ты находишь ее ненужным и глупым маскарадом, который давно пора бы прервать. “Зачем люди росли”, “жизнь усложнялась”, “ум выдумывал новое, то и это”, от Авраама и до тебя?.. Значит, были *залог*и (курсивы г. Розанова) для этого, хотя бы и во грехе лежащие (?) и, во всяком случае, для человека непостижимые; были, значит, *семена* в матери земле, кем-то для чего-то положенные, и что же, “не сопротивляясь злу”, — ты хотел бы разом ампутировать этот семенник (?). Покорись... Но был ли человек менее покорный, чем ты? Так мелочно предприимчивый? Так все выслеживающий, так все ненавидящий — при устах, полных всегда любви!» (с. 176).

Это начало «транса». Чем далее, тем более «накатывает» на г. Розанова, или чем больше он притворно кривляется, разыгрывая праведного увещателя и выкликая все бессмысленнее и бессмысленнее. «Вспомни “длинные и тонкие пальцы” матери своей, — вопиет он к графу Толстому, — которыми, бывало, щекотала она тебя еще ребенком за рубашкою!» Вспомнить об этом Толстому надобно для того, чтобы он выкинул из рассказа «Хозяин и работник» несколько строк, которые не нравятся г. Розанову, хотя заключают в себе простую и несомненную правду, возмущающую только завязтых фарисеев, так как они вообще

не терпят правды. «Выпусти их, воздержись, ограничь (курсив г. Розанова) себя, — не в вегетарианстве желудка (?), но в этом более благородном вегетарианстве сердца (?), в образах, тебя смущающих, в сладостно дразнящих мыслях, в теле разжигающем. И та радость, которой столько лет не знаешь ты, сладко защемит у тебя под сердцем». Это все случится от того, видите, что Толстой выкинет четыре правдивые строки из «Хозяина и работника». «Ты ищешь веревки, — продолжает г. Розанов с блаженной улыбкой, — на которой бы удавиться... Прими в самой малой части советы мои *, и тот бес, который мучит тебя и заставляет “метать копьа” в невинного, перед тобой играющего Давида, “чтоб пригвоздить его к стене”, я хочу сказать — в эту играющую перед тобой жизнь, говорю: этот дух тебя оставит, этот бес не смеет коснуться тебя, и ты узнаешь радость».

Для того, чтобы Толстой ощутил, узнал «радость», рекомендуемую г. Розановым, он должен совершить «великое отречение», он должен отречься «от духа осуждения; духа волнующей его злобы и презрения к миру». Кроме того, он должен «подумать о неизмеримом и рассмеяться малому». Затем он должен перестать рубить «сарафаны истории». Право, все это так и напечатано, читатель. «Подумай о неизмеримом и рассмейся малому, чем ты занят; вот в климактерическом периоде, так склонном к заболеванию, едва не заболела жена твоя — и, однако, не заболела же, осталась жива, служит тебе помощницей...» (с. 179). «Но послушай, оставь сарафаны истории, которые ты рубишь, как твой Никита рубит сарафаны жены своей непутящей» (с. 179). Затем г. Розанов приглашает гр. Толстого «вообразить» нечто, что воображал г. Розанов. «Вообрази себе, — говорит он, — как часто воображал я, что в эмбриональном периоде развития человека совершился бы какой-нибудь изъян, например, не выработалась бы какая-нибудь извилина в мозгу (например, что заведует счетом) — как малы все бедствия, Тамерланом человечеству нанесенные, все бедствия от глупости и эгоизма Наполеона, все беды от наших ненужных учреждений, повторяю: как мало все это сказалось бы перед великим бедствием, какое имел бы человек с этою недостающей ему извилиной мозга или пустотой в его ухе». Но, по счастью, того, что часто воображал себе г. Розанов, в действительности нет: ошибки никакой не вышло, когда «начерчивали в утробе» и гр. Толстого, и г. Розанова. «И ты мудрый, и я глупый, — утверждает г. Розанов, — мы оба родились как сле-

* напечатано: *свои*. Это, очевидно, опечатка.

дует». Чрезвычайно довольный тем, что он, г. Розанов, был как следует начертан в утробе и родился глупым, он приглашает по поводу этого события воспеть всеми «костями, нервами и жилами благодарственный гимн». Зато он страшно недоволен тем, что гр. Толстой увлекается будто бы своей писательской славой, «распространившейся на два полушария». Он казнит автора «Войны и мира» за то, что тот «уже в седирах, уже перед *недальним гробом, как бы обезумев*, потянулся за этой мишурой». Он находит, что даже кулак Василий Брехунов «добрее и великодушнее» знаменитого писателя; кулак «в себе живет», восклицает г. Розанов, когда ты, *паразит*, ползешь по чужому телу «и *выискиваешь, где бы вкуснее укусить*». У кулака нет «духа осуждения», в его духе г. Розанову «отрадно», а в духе Толстого ему «тягостно и душно». Особенно ему тягостно сознавать, что благодаря гению гр. Толстого русская литература «переступила тесные границы родной земли и потащилась на всемирный рынок, потащилась за всемирной славой, *какими это бедами* для нас грозит!» Ужасно сокрушается и ужасно злится в то же самое время на все это г. Розанов, злится до того, что даже начинает «топать ножкой» на гр. Толстого. «Не смей, — раздраженно кричит он, — осуждать, не замечай, не высматривай, и *даже видя грех, свои глаза закрой* на него, если не хочешь погибнуть ужасно и жалко». Запретив гр. Толстому осуждение, г. Розанов тут же разрешает, однако же, самому себе осуждение: «Я, — говорит он гр. Толстому, — осудил тебя последним (?), после стольких лет греха твоего, *когда уже гроб не далек*, чтобы ты сознал себя и радостно, и не уныло, сошел в него».

Ну, кажется, довольно, читатель, выдержек из «критики», то бишь — «транса» г. Розанова: этим «последним» традиционно-семинарским стращанием близостью гроба можно заключить. Юродствующие лицемеры и фарисеи всегда утешают себя тем, что люди, избобличающие лицемерие и фарисейство, умрут и попадут в ад, а лицемерие и фарисейство всегда останутся в самом лучшем из миров. Чудное утешение, достойное этих господ и чрезвычайно «радостное» при этом для них, так как они всегда радуются всему скверному. Ну, пускай! Дело не в их радости, а вот в чем: близок ли к гробу гр. Толстой, или еще далек от него, это, я полагаю, вне нашего с г. Розановым ведения. Быть может, гениальный писатель проживет до ста лет, пошли ему Господь Бог доброго здоровья. Точно так же мы не можем знать, близок ли к гробу г. Розанов. Но вот что можно сказать с некоторою достоверностью: кажется, г. Розанов если не близок, то, во вся-

ком случае, не очень далек от того состояния, которое Пушкин считал ужаснее самой смерти (см. стихотворение «Не дай мне Бог»).

Еще одна-две статейки в таком роде, и почтенный критик-философ будет совсем готов... Ведь нельзя, в самом деле, безнаказанно, добровольно или притворно говорить тоном пророка и учителя глупости, обращенным в качестве увещания к гениальному художнику. Разумеется, при известном кликушеском настроении или при известной привычке к фарисейству очень не трудно разыгрывать вариации на избитые мотивы и вопиять: опомнись, покайся, покорись, смирись, ограничь себя и т. д. Может быть, эти мотивы, говоря словами гр. Толстого, «очень важны и нужны» для юродствующих и фарисействующих самозванных учителей; но «нет и не может быть никакой связи» между этими мотивами и свободным творчеством, пытливостью ума и литературной критикой. Зачем же юродствующие или фарисействующие господа Розановы, Говорухи-Отроки и Болтухи-Младенцы вторгаются с этими мотивами в область литературной критики? Зачем они назойливо лезут на страницы литературных журналов со своими семинарскими упражнениями? Зачем, наконец, литературные журналы печатают подобные упражнения? Ах, читатель, на все эти *зачем* можно ответить только одно: мы живем в такое время, когда юродство и кликушество в большом ходу, когда они выгодны, когда они в моде...

III

Да, юродство и кликушество до такой степени теперь в моде, что они проявляются даже уже в форме настоящего, чистейшего литературного сумасшествия. Мы дожили до того, читатель, что новейшие Аксентии Ивановичи Поприцины³ прямо угощают публику сборниками «своих произведений», в стихах и прозе, и не только не смущаются писанием и печатанием сумасшедшей чепухи, но даже явно величаются своим сумасшествием. Вот, например, мне на днях прислали два тощих сборника юродивых произведений: один московского изготовления⁴, другой — петербургского⁵. Московский сборник снабжен кратким предисловием, по тону чрезвычайно напоминающим записки кандидата на испанский престол: совершенно та же твердая убежденность в своем высоком предназначении, какую проникся Аксентий Иванович «апреля 43-го числа», в день «величайшего торжества», в день открытия, что в Ис-

пании «есть король», «он отыскался, король этот — я!» Автор сборника — стыжусь назвать его, хотя он сам обозначил всеми буквами свою фамилию и даже имя — говорит, что это «последняя книга его юности, что ее название имеет свою историю», издатель гордо прибавляет: «В будущем я напишу гораздо более значительные вещи (в 21 год позволительно давать обещания!). Печатаю свою книгу в наши дни, я не жду ей правильной оценки ни от критики, ни от публики. Не современникам и даже не человечеству завещаю я эту книгу, а вечности и искусству». Как вы это находите, читатель? Очевидно, эти строки представляют то же самое, что представляла знаменитая подпись «Фердинанд VIII», сделанная «на самом главном месте, где подписывается директор департамента», вместо подписи «столоначальник такой-то». Очевидно, автор сборника рассчитывал на то же впечатление, как и Аксентий Иванович: среди читателей после прочтения о завещании книги «вечности и искусству» должно водвориться «благоговейное молчание», а автору остается «кивнуть только рукою», сказать: «не нужно никаких знаков подданничества», затем удалиться для ожидания депутатов от Испании, которые отвезут его... на девятую версту. Там, воссев на трон, освобожденный для него Аксентием Ивановичем Поприщиным, он начнет услаждать «вечность» своими вдохновениями в таком роде:

ПРОКАЖЕННЫЙ

(Рисунок тушью)

Прокаженный молился. Дорога
Извивалась по сдвинутым скалам;
Недалеко чернела берлога;
Надвигались тучи, и строго
Ветер выл по кустам одичалым.

Диссонансом угрюмых мелодий
Дальний топот вpletался нежданно.
Конь спешил, конь летел на свободе,
Был ездок неподвижен и странно
Улыбался земной непогоде.

Вылетая к угрюмой берлоге,
Шевельнулся он будто в тревоге.
Конь всхрапел, на дыбы приподнялся:
В двух шагах перед ним на дороге
Прокаженного труп улыбался.

А если «вечности» понравится эта белиберда, то автор предложит ей белиберду еще пущую, хотя бы этакую, например:

PRO DOMO SUO *

(К *Méditationes* **)

О нет, дорогая, печали мои
Не сложат, как прежде, стихов о любви;
Из девственной радуги сотканный сон
Давно отдаленным напевом смущен.

Спускаются с гор и трубят трубачи,
Бесстыдно по воздуху свищут бичи,
С мычаньем коров и со ржаньем коней
Смешались веселые крики детей.

Я вижу дорогу: по ней без числа
Невинных блудниц распростерты тела
В блестящих браслетах, в гирляндах из роз...
И вот подъезжает нестройный обоз.

На этом «нестройном обозе» можно и покончить. Других примеров, полагаю, не требуется: достаточно выразительны и эти два.

Что касается до петербургского сборника, то его автор, к сожалению, носит фамилию, одинаковую с фамилией одного покойного знаменитого критика. Если московский юродивый поэт еще ждет депутатов для отправления его в ту Испанию, которая помещается на девятой версте, то, по всей вероятности, петербургский уже давно помещен там и «выкликает» стихами и прозой именно оттуда. Судите сами по следующим образчикам.

Образчик № 1.

ЗАМИРАЮЩИЕ

I

Одиноко мне. Гой ты, заморянин! Слышишь? Стучат... Я стар... я изнемог.

Где ты, Кира? — Это ты?

Не грусти...

Ты ли это, Молодая?

Войди же, Ирочка!

* О самом себе (лат.).
** Размышления (франц.).

Образчик № 2.

ПЕЧАЛЬ

Мы единственные,
Невоенные,
Все таинственные,
Как печаль;

Мы серебристые,
Золотистые,
Чуть росистые,
Как печаль;

За Тобою
Молодою
И святою,
Как печаль.

Образчик № 3.

Набегают сумраки.
Мои руки сплетаются,
Словно змеи, сплетаются,
И нависли ресницы,
И веют влагой
Мои ноги белые.

Затаилась горница,
Засветились светочи,
И уходят сумраки...
Я люблюсь в очи смуглые:
Затаились очи...

Не входите, присенники!
У меня ль не ноги белые?
У меня ль не руки сплетаются?
— Не входите, присенники! —

Обезумею, обессилею
За собольчатым пологом...
Заплету я руки змеистые,
Прикоснусь моих плеч обнаженных.
Зацелую очи смуглые...
Не входите!..

Образчик № 4.

Presto.

О чем молишь, Светлый? Не очей ли ты жаждешь неразгаданных, не сдержанного ли дыхания страсти? Не улыбки ли, одетой слезами, не росистой ли души молодости?

Я дам тебе тело девственное, бесстыдные, смелые ноги, уста опьяняющие... К моему утреннему ты приближаешься — Суровый.

Я ли не молода? Сплетутся руки змеистые. Бледная белая ночь побледнеет от Моих объятий и уйдет из покоя — за окна — на волю.

Светлый! Мне уютно... Мне больно. Светлый! Белая ночь глядит на тебя бездонными глазами. Она не уходит. Словно вдова, грустит ночь... Словно военнопленная, плачет она. Плачет она о кладбищенском утре. Мне страшно... Светлый!

Каково все это, читатель! Жутко. «Светлый! Не входите, присельники! Гой ты, заморянин! Завещаю вечности и искусству!»

А знаете ли, что у алжирского бея под самым носом шишка?





В. П. БУРЕНИН

Критические очерки. Разговор

— Представьте, меня обвиняют, что в разговоре с вами о бывшем священнике Григории Петрове я «задел» некую чрезвычайно известную и, можно сказать, даже высокопоставленную духовную особу.

— Кого же именно?

— Ну, как вы полагаете?

— Право, не знаю. В нашем разговоре мы упоминали о митрополите, к которому г. Григорий Петров писал письмо. Так, может, вы митрополита задели?

— Нет, не митрополита. Поднимайте выше.

— Да какая же духовная особа может быть выше митрополита? Патриарха у нас нет, папы тоже.

— Оказывается, однако, что есть такая «духовная» особа, которая еще более высоко поставлена.

— Кто же эта особа?

— Черт.

— Как так черт?! Разве он духовная особа?

— А то как же: по преимуществу духовная, потому что черт ведь дух. Да мало еще что духовная особа, он тоже и владетельная: «князь мира сего».

— Да, разве вот в таком смысле... Кто же вас обвиняет в том, что вы «задели» черта, и чем же вы его задели?

— Обвиняют меня разные анонимные корреспонденты из светских да, по-видимому, и из духовных лиц. А задел я, видите ли, черта тем, что назвал его существом химерическим, то есть, значит, усомнился в его подлинном существовании и этим самым как бы устранил из мира, так сказать, целое ведомство, специально ему подчиненное ведомство «зла» и «греха». Таким отрицанием черта и устранением целого подчиненного ему ведомства я, по тол-

кованиям одних лиц, меня обвиняющих, сам впал в «грех неверия, худший из всех грехов», а по толкованию других, «видимо выказал кощунственный атеизм, ибо, отмечая духа зла, дьявола, который “искони бѣ”, недалеко уже и до отметания самого Творца мира». Вот-с в каких ужасах оказался я повинен, мирно и скромно беседуя с вами о лицемерном бывшем попе. И всего курьезнее вот что: корреспонденты мои, и светские и духовные, за изобличения лицемерия и мнимо-либерального духовного фиглярства г. Григория Петрова меня похваляют и одобряют, а за предполагаемое ими «отметание» черта порицают и горячо оспаривают мой «легкомысленный и предосудительный» взгляд на «врага человеческого рода». За бывшего отмеченного церковью попа никто не заступился, его никто не защищает; а за черта, отмеченного мной, «светским писателем, видимо, плохо знакомым с духовными вопросами и высокими проблемами религии», еще как заступаются-то, как его обороняют! Читая в письмах, мною полученных, разные назидания мне за отрицание черта, я не раз повторял про себя стих из «Казначейши» Лермонтова: «Старик защитников нашел!»¹ Да еще каких защитников: в большинстве, кажется, из присяжных слугителей Бога. Так, по крайней мере, я полагаю, судя по тому, что корреспонденты, выступающие адвокатами черта, в своих письмах осыпают меня текстами из Нового и Ветхого Заветов, которыми, очевидно, желают опровергнуть мое мнение о том, что черт существо химерическое, и поддержать несомненную реальность его бытия и его княжеского господствования над человеческим родом.

— Ага, текстами вас донимают. А вы, кажется, вообще недолюбливаете тексты?

— Вообще нет. А в полемике, в виде доказательств справедливости или ложности суждения, действительно, пожалуй, недолюбливаю или, точнее сказать, боюсь текстов. Боязнь эта у меня — результат того обучения «закону божью», которым угнетали меня, как, вероятно, и всех моих сверстников в школьные года, да, конечно, и теперь угнетают точно так же. Ведь всех нас учили «закону божью» самым диким и формальным образом, в этом надо сознаться. В основу обучения «закону божью» в доброе старое время рекомендовалось мудрое правило: «не надо знать, чтобы веровать, но нужно веровать, чтобы знать». Следуя этому мудрому правилу, и предлагали формальные подтверждения разных религиозных истин формальными текстами, предлагая их «долбить» без всякого понимания их сущности. Формальное долбление текстов без разумения их смысла и разбора, относятся ли они к подкрепляемым ими религиозным «истинам», или

не относятся, было тем более удобно, что тексты предлагались на славянском языке, не все славянские слова были знакомы школьникам, а пастыри не трудились разъяснять их настоящий смысл. Вот благодаря такой милой системе преподавания «закона божия» я, как и многие, полагаю, со школьной скамейки усвоил себе некоторую невольную боязнь текстов. До сих пор, сознаюсь в этом откровенно, когда я вместо опровержения или подтверждения какой-нибудь мысли встречаю в таком роде возражения или доказательства: «Пророк Федос глаголет: аще» или «Пророк Ермил речет: бяше», — до сих пор меня тревожит, с одной стороны, некоторый страх перед такими глаголаниями и изречениями, а с другой — некоторая неохота вступать в прения с теми, кто вместо резонных отрицаний или утверждений устремляет на меня звуки глаголений, часто совсем не относящихся к делу, а иногда даже не имеющих смысла или имеющих совсем не тот смысл, который предполагают любители глаголений... Впрочем, не в этом, конечно, суть дела: об этом я разговаривался, как старик в «Цыганах» Пушкина, «припоминая старую печаль». Суть дела в том, что защитники «несомненного бытия» черта напрасно утруждают себя для вразумления моего неверия в него приискиванием подходящих текстов.

— Как же так напрасно? Разве вы признаете черта?

— Не только признаю, но даже и хвоста и рогов у него не «отметю», пускай себе гуляет в аду и по земле во всей своей условной красоте с хвостом и рогами. Поэтому мои корреспонденты, доказывающие мне подлинное «нехимическое» бытие черта текстами из книг, признаваемых «ветхими», но тем не менее почитаемых почему-то священными, — мои корреспонденты, говорю я, могут успокоиться на сей счет. Я даже думаю составить особый «доклад» о несомненном происхождении черта не из надземных сфер, а прямо от человеческой глупости, и прочесть этот доклад в Петербургском религиозно-философском обществе, подражая в этом случае гг. Мережковскому и Розанову, которые там предлагают «проблемы нового религиозного сознания» и возбуждают разные интересные прения. Навел меня на эту мысль именно один из «докладов» моего почтенного сотоварища В. В. Розанова, напечатанный в первой книге «Русской мысли» за настоящий год.

— О чем же докладывает почтенный Василий Васильевич и какие новости он вносит в существующее «религиозное сознание»?

— Он докладывает «о сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира». В качестве религиозного новатора, как многие новато-

ры этого рода, дошедшего до всего наподобие гоголевского судьи Тяпкина-Ляпкина «сам собой, собственным умом», он изобретает прелюбопытные «религиозные проблемы». Вот, например, первая проблема: «Если кусок из прозы Гоголя, самый благожелательный, самый, так сказать, бьющий на добрую цель, вставить в Евангелие, — то получим режущую, несносную какофонию, происходящую не от одной разнокачественности человеческого и божественного, слабого и сильного, но от разноразличного: невозможно не только в евангелиста вставить кусок Гоголя, но и в послания какого-нибудь апостола». Оставляя на минуту в стороне вопрос о том, для чего потребовалось многоуважаемому г. Розанову вставлять в Евангелие или в апостольские послания «куски из прозы Гоголя», можно сказать с такой же утвердительностью, что не только среди проповедей на горе или послания к коринфянам было бы странно встретить отрывки из «Мертвых душ» или из «Записок сумасшедшего», но, я полагаю, и во всяких других писаниях религиозного или философского характера. И в учении Будды и Конфуция, и в трактатах Платона и Аристотеля или Канта тоже изображения похождений Чичикова, Собакевича, Ноздрева, Поприщина кажутся неподходящими. Можно, пожалуй, и более резкий пример в этом роде предложить: таблицу умножения тоже в Евангелие или в апостольские послания не вставишь, равно как и наоборот: евангельские или апостольские поучения в арифметику не подойдут. Тем не менее г. Розанов делает такую, как он выражается, «мысленную инкрустацию», делает ее для того, чтобы «с помощью» этой «мысленной инкрустации» доказать, что «Христос никогда не смеялся», что нельзя даже представить, «улыбался ли Христос», что «печать грусти, пепельной грусти очевидна в Евангелии». Почему же он, однако, полагает, что Христос никогда не смеялся? Смех — одно из человеческих свойств, и так как даже богословие признает в Христе, в дни его воплощения на земле, все человеческие свойства, то, конечно, отнимать от Христа смех было бы не резонно. В Евангелии, правда, нигде не упоминается, что Христос смеялся; но ведь там, кажется, не говорится также и о том, что Он плакал. Значит, отсюда можно вывести, следуя логике г. Розанова, что Христос «никогда не плакал». Но г. Розанов, напротив, придает Христу специальную грусть, да еще какую-то пепельную, т. е. погребальную. Вот и пойдите вы с этими проповедниками нового христианского сознания, они распоряжаются с Христом, как им желается, не справляясь с логикой и рисуя Его религиозный образ по своей фантазии.

«Пепельная грусть», усматриваемая г. Розановым в Евангелии, и отсутствие у Христа смеха ужасно волнуют и тревожат нашего проповедника «нового религиозного сознания». Г. Розанов, видите ли, чрезвычайно желает предаваться всяким приятным занятиям: петь, танцевать разные танцы вроде канкана или матчиша, играть хоть на гармонике по крайней мере, кушать варенье и вообще что-нибудь сладенькое, и в особенности же пробавляться «влюблением» и теми специальными удовольствиями, которыми влюбление должно сопровождаться, по его мнению, сколь возможно чаще. «С христианской же точки зрения», основанной на «пепельной грусти» Евангелия, все эти желаемые г. Розановым блага, которые, на его взгляд, именно и составляют сущность жизни человека, не очень-то поощряются. С христианской точки зрения, видите ли, «невозможна *акция* (?), *усилие*, *прыжок* (?), *игра* (курсив г. Розанова) в сфере ли искусства, или литературы, или смеха, гордости (?) и проч. Варенье вообще дозволено, но не слишком вкусное, лучше испорченное (?), а еще лучше — если бы его не было». Где, в каких евангельских или апостольских поучениях, в каких текстах усмотрел все это г. Розанов — его секрет. Он уверяет, что «не помнит, улыбался ли Христос». А мы, я полагаю, с большим правом можем сказать, что не помним евангельских изречений в таком роде: «истинно, истинно говорю вам, не производите акций, не делайте усилий и прыжков»; или из апостольских в таком: «братие, вкушайте варенье, но не слишком вкусное, а еще лучше испорченное». Но, конечно, мы потому только не помним таких изречений, что знакомы лишь со старым Евангелием, отживающим, даже, пожалуй, отжившим уже свой век, и со старыми апостольскими посланиями, не знаем теперешнего евангелия, возвещаемого проповедниками «нового религиозного сознания», не знаем посланий этих проповедников. Право, надо бы издать для руководства в наши дни евангелие от Василия Васильевича Розанова и его «послания» к Мережковскому, которые, конечно, с успехом могут заменить послания Павла к Титу или Тимофею.

— Да, вот вы шутите, смеетесь, а ведь право, если поглубже взглянуть, тут совсем не веселое явление — эти порывы современных наших Тяпкиных-Ляпкиных к поднятию таких мниморелигиозных и мнимо-новаторских «вопросов», как вопрос о том, что Евангелие если и позволяет христианам употреблять варенье, то «не слишком вкусное, лучше испорченное».

— Я с вами вполне согласен на этот счет. С формальной точки зрения, конечно, такие вопросы довольно комичны. Но их

возникновение несомненно свидетельствует, что в головах и сердцах нашей так называемой современной интеллигенции господствует изумительнейший сумбур понятий и чувств. Каждый, кому взбредет в голову какой бы то ни было вздор, спешит сообщить его во всеобщее сведение, рекомендуя признавать в этом вздоре великую и, главное, будто бы «новую» религиозную истину.

Одному покажется, что к черту надо относиться благоговейно, что нельзя отрицать несомненности «бытия» черта, что необходимо в этом пункте заступиться за «старика»; нисколько не смущаясь, тотчас же защитник черта выступает с полным убеждением в настоятельной своевременности подобной защиты.

Другому взбредет в голову, что Христос и апостолы возбраняют «вкусное варенье» и позволяют только «испорченное», что вообще учение Христа отрицает все «сладенькое», и тотчас же любитель сладенького предлагает с легким сердцем отрешиться от учения Христа как несоответствующего новому «религиозному сознанию». Уже и это само по себе очень ясно доказывает, насколько прискорбен сумбур в умах поклонников черта и отрицателей Христа. Но еще было бы с пол-горя, если бы на этом дело и останавливалось. Мы видим нечто гораздо худшее: отрицателей, в таком роде третирующих учение Христа, у нас теперь сплошь и рядом признают за проповедников нового религиозного сознания, за серьезных мыслителей, с которыми надо считаться, которым надо возражать. Вот, не угодно ли взглянуть, как в ответном «докладе» на «доклад» г. Розанова в Религиозно-философском обществе оценивает почтенного любителя «вкусного варенья» и всего «сладенького» г. Бердяев, если не ошибаюсь, один из наших присяжных философов². По свидетельству г. Бердяева, «В. В. Розанов очень пугает христиан, как старых, так и новых. Затрудняются отразить его удары, считают самым опасным противником Христа, как будто у Христа могут быть опасные противники, как будто делу Христа могут быть нанесены неотразимые удары. А Розанов враг не христианства только, не исторического христианства, а прежде всего и больше всего самого Христа». Вот какой ужасный субъект г. Розанов, если верить г. Бердяеву. Не напоминает ли отношение к г. Розанову как «опасному» врагу Христа отношение гоголевского городничего к вольнодумному судье Амосу Федоровичу Ляпкину-Тяпкину? «О, я знаю вас, вы если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются», — говорит городничий, и Ляпкин-Тяпкин самодовольно отвечает: «Да ведь сам собою дошел, собственным умом». Не знаю, может быть, я ошиба-

юсь, но почтенный философ г. Бердяев, кажется, напрасно предполагает вместе со старыми и новыми христианами такую ужасность в г. Розанове. Удары «делу Христа», наносимые натиском «собственного ума», без должного изучения, не могут быть опасными никому, кроме разве того, кто их наносит. Многоуважаемый Василий Васильевич провозглашает, что он не читал «Жизни Иисуса» Ренана, «французского вольнодумца», как он его обзывает. По всей вероятности, он не читал и Штрауса и других подобных «вольнодумцев», относившихся критически к Христу и евангельским писаниям. Но этим, право, нечего хвалиться. Если бы г. Розанов попробовал почитать этих и других «вольнодумцев», то он бы убедился прежде всего в том, что учение Христа нельзя трактовать так, как трактует его он, г. Розанов, т. е., по известному выражению, «с кондачка». У присяжных «вольнодумцев» он научился бы, как надобно относиться к такой личности, как Христос, как надо относиться к учению Христа и к такому явлению, как историческое христианство. А научившись этому, он, вероятно, понял бы сущность проповеди Христа не в отрицании «сладенького», а в ясном и положительном разумении смысла человеческой жизни. Поняв это, быть может, г. Розанов понял бы и то, что он отнюдь не какой-нибудь новатор, указующий еще неведомые горизонты «религиозного сознания»...

— Может быть, вы и правы, но знаете что: мне кажется, вам не следовало бы говорить так резко про В. В. Розанова.

— Почему же?

— Да потому, что он, как и вы, сотрудник «Нового времени».

— Так что же? Я и прежде говорил и теперь повторяю: я очень почитаю и уважаю писания В<асилия> В<асильевича> и в «Новом времени», и в других органах, когда он пишет о том, что он хорошо изучил и хорошо понял, а не о том, чего он не изучил и чего не уразумел. Мало ли он на своем литературном веку делал разных весьма курьезных «прыжков». Я, как и теперь, столь же откровенно указывал ему на такие прыжки, сердись он или нет. Когда несколько лет назад, будучи самым ярлым формальным «книжником» ложного христианства, он обличил «безбожие» Толстого и грозил даже тем, что Бог, может быть, наказывает Толстого за его будто бы антихристианские взгляды болезнью его жены³, я ставил на вид В<асилию> В<асильевичу> неприличие и неразумие таких фарисейских изобличений и угроз. Ну вот точно так же и теперь, когда В<асилий> В<асильевич> сделал «прыжок» совсем в противоположную сторону и превратился из мнимого формального христианина в мнимого религиозного новатора с замашками комического отрицания перевираемого

им учения Христа, — вот и теперь я ставлю на вид нелепость таких выходов, может быть и искренних, но все же, кажется, больше всего основанных на желании подыграть под лад настроению современности. Если г. Розанов любит «прыжки» и хочет прыгать даже на манер того, как это делают танцоры в самом современном танце — в матчише — это его дело, конечно. Но я на старости лет не могу приветствовать такое прыгание: мне оно претит...





С. Ф. ШАРАПОВ

Василий Васильевич Розанов

Давно собирался я напечатать портрет В. В. Розанова, которого сердечно люблю и которого так часто приходится бранить (до готовности иной раз просто поколотить, до того бывает он нестерпим в своих крайностях и беспорядочности мышления и писания), но все откладывалось, пока не прочел о нем статью г. Протопопова в «Русской мысли»¹. Тогда решил больше не откладывать. Еще раньше, в один из визитов ко мне В<асилия> В<асильеви>ча я поставил его к стене и снял, как умел, затем заставил его вытребовать на время от философа Я. А. Колубовского² написанную коротенькую автобиографию и, наконец, попросил моего друга написать «что-нибудь умное и глубокое», чтобы сделать клише его почерка и поместить под его портретом³. Словом, вывожу Василия Васильевича со всем церемониалом, принятым для таких случаев в «Русском труде». Это ничуть не помешает через самое короткое время и, может быть, даже, начиная с № 43-го, подвергнуть В. В. Розанова истинному телесному наказанию (без повреждения мягких частей) руками другого моего почтенного друга Н. П. Аксакова⁴, которое будет гораздо похуже издевательства г. Протопопова над совершенно нелепой и невозможной «часовенькой».

Г. Протопопов, положим, отшлепал В. В. Розанова поделом. Неужели, в самом деле, можно надеть, хотя бы в самое жаркое время, халат «сверх ничего», подпоясаться полотенцем и идти гулять по Невскому? В таком виде его захватил критик «Русской мысли» и весьма отшлепал, приподняв халат...

Но, отшлепав, г. Протопопову, дабы не уподобиться непочтительному сыну праотца Ноя⁵, следовало бы извиниться и поцеловать полу этого же самого халата, ибо все-таки шлепать г. Розанова г. Протопопов может, а тем не менее он недостойн серьезно даже развязать ремень у сапога его. Г. Роза-

нову русская жизнь и русская литература, несмотря на все его чудачества, *страшно многим обязана*, а г. Протопопову ровно ничем.

Если оставить в стороне замечательную книгу г. Розанова «О понимании», книгу, до сих пор никем не разобранную и не оцененную, — а это огромная и оригинальная философская работа, — если пропустить его чудесные исследования: «Место христианства в истории», «Легенду о Великом Инквизиторе», «Красоту в природе» и множество других его творений, а только остановиться над его сборником статей, озаглавленным «Сумерки просвещения», то уже одна эта вещь заслуживает не только благодарности гг. россиян, но, без всякого преувеличения — памятника.

Подумайте только: тридцать почти лет господствует в стране самая странная, самая противоестественная учебная система. Поколение за поколением калечатся и гибнут в школе, специально созданной с мыслью об укрощении разума чересчур даровитого русского юноши. Работа идет так успешно, что в университет являются заведомо малограмотные люди, снабженные аттестатом зрелости. Наконец, высшая медицинская школа отваживается заявить во всеуслышание, что из двух школ та, которая своих воспитанников не предназначает для медицинской науки, лучше, чем та, которая их специально готовит для университетского курса. Можно ли дать более резкую характеристику этой школы?

Много поднималось голосов в течение этого периода. Безобразие нашей псевдо-классической школы определилось совершенно ясно. Но она продолжала стоять, как незыблемый государственный устой. Помню, когда у меня в «Русском деле» в 1888 году В. А. Белинский назвал нашу классическую систему системой душегубства детей⁶, моя бедная газета получила предостережение, а школа и не почувствовала удара. Помню, как затем смолкли все отрицательные и негодующие голоса. И вдруг подходит В. В. Розанов, и в самой осторожной и распространенной газете, в «Новом времени», одним ударом сдергивает таинственную завесу, скрывавшую школу от общества, и громко провозглашает: «Смотрите, господа! Это не школа, а гроб, полный нечистоты и смрада»⁷.

Удар был так неожидан и так силен, что все общество вздрогнуло, как от электрической искры. Правда воссияла, школу, или, вернее, систему спасти оказалось невозможным. Еще немного времени, и вот в памятном циркуляре нового министра народного просвещения обвинение признано, и школа бесповоротно осуждена⁸.

Неужели же это не великая, не бессмертная заслуга перед русским обществом? Неужели за это не простится Розанову его прежнее буесловие и пустословие до его трогательного союза с кн. Мещерским в области розги⁹, до его диких рыканий в «Русском слове» на «тверских либералов», до его теорий брака... назовем их хотя только странными.

Даже коренной оппонент В. В. Розанова, вечно злобствующий и мрачный П. Б. Струве, в прекрасной и почти искренней статье¹⁰ признал великую заслугу Розанова в деле школы. Какого еще нужно свидетельства?..

...Совершенно понятно как то впечатление, которое производили статьи В. В. Розанова о школе в разбросанном виде, так и то, которое они производят в составе целой книги. Да, эти статьи и эта книга — огромная и бессмертная заслуга перед русским просвещением.





М. О. МЕНЬШИКОВ

Из писем к ближним

**XLII
О ГРОБЕ И КОЛЫБЕЛИ**

Торжественное провозглашение с подмостков Александрийского театра двух важных истин, первой, что христианство есть соединение Афродиты и Артемиды, и второй — что учиться христианству нужно из «Ипполита», написанного почти за 500 лет до Евангелия¹, — эта величественная новость напомнила мне о другой, более серьезной мысли, высказанной недавно в литературном споре со мной В. В. Розановым и на которую я не успел ответить. Мысль эта та, что язычество есть религия света и радости и представляет собою оптимизм, тогда как христианство, наоборот, религия мрака, отчаяния и в корне своем есть пессимизм. Мысль эта, высказанная известным писателем, заслуживает внимания, и так как она направлена по моему адресу и молчание часто считается за знак согласия, то мне хочется воспользоваться правом «последнего слова» и сказать, что я думаю об этом новом взгляде на христианство.

Я убежден, что эта тема не оттолкнет читателя своей серьезностью. По многим признакам, общество теперь интересуется религиозными вопросами, о них говорят в гостиных, частных кружках, в печати. Историк Ланге² предсказывал лет двадцать назад наступление мистической эпохи, и, может быть, мы вступаем в нее. Общественное настроение теперь гораздо серьезнее, чем прежде. Долго шутивший просвещенный мир, блаженно веривший в прогресс, промышленность, политическую экономию, как будто перестает улыбаться. Он начинает видеть пропасти вокруг себя, он видит, что отовсюду надвигаются грозы, и будущее на нас глядит глазами сфинкса. Снова, как столетие назад, требуются великие разгадки, невозможные без мучитель-

ных напряжений. В такие времена прежнее «веселое» начинает казаться пустым и скучным, а серьезное приобретает неожиданный интерес. Как это ни странно представить, но бывали эпохи, когда, например, о логосе велись пылкие споры не только в ученых школах и светских гостиных, но и на торговых площадях. Кто знает тайну времени, кто укажет, что нынешним людям истинно нужно, в каком отношении изголодалось сердце? Если общество несколько охладело к точной науке и его неудержимо тянет к глубинам метафизики и религии, то, может быть, это вовсе не измена точной науке, может быть, это даже требование последней, безотчетное желание согласить открывшуюся правду внешней природы с опытом внутреннего чувства. Мы живем в невообразимой толчее. Сто тысяч вопросов науки и общежития, «миллион терзаний» нравственных, от которых не знаешь, куда деться, терзаний политики, промышленности, земледелия, торговли, чудовищного богатства и голодной смерти. Мудрено ли, что в этом хаосе мысль сознательных людей тянется в сторону религии, ищет упорно потерянного единства, путеводной нити, без которой этот мир под солнцем страшнее лабиринта? Может быть, подъем знаний, как было на вечерней заре язычества и в эпоху Возрождения, до такой степени нарушил равновесие духа, что он чувствует необходимость подъема в другую сторону и, как это было в конце прежних цивилизаций, мир может быть накануне нового восстановления веры. Не знаю, как другие, но я безотчетно чувствую, что ни один из проклятых вопросов существования нашего, ни бедность, ни невежество, ни война, ни рабство, ни даже судьба самого знания в окончательном его разуме, — ничто не может быть разрешено без твердого философского начала, без всенародного направляющего жизнь общества мистического закона.

Как я ни расхожусь во взглядах с такими писателями, как Д. С. Мережковский и В. В. Розанов, их тревожное стремление к религиозной истине возбуждает во мне сочувствие. Пусть они, как мне кажется, впадают в одну ошибку за другой, но, значит, они чего-то ищут, значит, они не равнодушны к Богу и он влечет их к себе теми или иными ведомыми Ему, хотя и странными для меня путями. Всего страшнее общественный сон, всего страшнее лицемерное равнодушие, то ленивое безверие, которое за все держится и ничего не хочет и для которого главный грех — движение мысли. В великом организме человечества идет лихорадочная работа. Одна из серьезнейших задач времени — вера. Пусть тысячи людей расчищают дебри политики, пусть сотни людей трудятся в туннелях знания, но и горсть лю-

дей, захваченная вопросами совести и веры, выполняет что-то нужное. Не «что-то», а, может быть, самое нужное, чем все мы живы.

Сделав эту оговорку, я прошу читателей припомнить содержание статьи В. В. Розанова «В чем разница древнего и нового мира» («Нов<ое> вр<емя>», № 9527)³. Вначале он «не понимает», почему я считаю, что между христианством и язычеством лежит непроходимая пропасть, а дальше доказывает, что пропасть действительно существует, хотя и не та, на которую я указываю. Я думаю, что дух Христа есть истина, язычество — ложь, и потому между ними не может быть примирения. А г. Розанов говорит, что христианство — печаль, а язычество радость, следовательно, и он считает их несогласимыми. Обходя великое множество попутных замечаний, возражать на которые нет нужды, попробуем, как предлагает мой противник, «обратиться к существу дела», — «не к физике истории, а к метафизике ее». «В чем коренится, — спрашивает он, — главная разница между эрою до-христианскою и после-христианскою?»

Чрезвычайно важно, что вопрос поставлен столь решительно, и то, что ответ дан совершенно ясный. В. В. Розанов говорит, что разница язычества и христианства — «в отношении к жизни и смерти». Он утверждает, будто языческая религия примыкала к колыбели и потому была «розовой», «воздушной», «оптимистической», тогда как христианство примыкает к гробу и потому развилось в «религиозный пессимизм». С новой эрою, говорит г. Розанов, «пришла на землю совершенно новая точка зрения на все вещи», именно точка зрения на них из конца их, а не из начала, и г. Розанов — в сравнении обеих точек — решительно отдает предпочтение старой, языческой. Он говорит, что язычники «имели религию в сторону веселого, легкого, житейского», вследствие чего «вся белая и розовая часть жизни у них проходила безусловно идеальнее, чем у нас». Мы, христиане, будто бы «умеем только умереть в Боге», жить же в нем не умеем, что храмы наши годны только для старцев. «Скажите, — спрашивает г. Розанов, — что юный нашел бы здесь для особых задач юности, для бодрости, труда, для способности любви и героического предприятия? Ничего, кроме совета уподобиться старцу: меньше есть, отнюдь не трудиться, ничего не задумывать и плакать о грехах» и пр. Г. Розанов еще раз восторгается языческими женщинами, доказывая, что самый разврат языческий имел будто бы «иную психологию и иной колорит», утверждает, что «с самого начала христианской веры появилась какая-то тупость, непонимание и издевательство в отношении к рождению», что

страсти в христианском мире, прорываясь через страх, «бывают угольно-черны, это чистая копоть, без света и теплоты», и самые будто бы «пакостные словообороты, изречения, присловья в этой области, как и самые темные, унижительные анекдоты идет от учебно-духовных сфер» и пр. и пр.

СОВЕРШЕННО НОВАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Если бы я хотел опровергать * все то, с чем я не согласен в статье г. Розанова, мне пришлось бы выписать ее целиком, и потому позвольте остановиться лишь на главной его идее. Правда ли, что язычество — оптимизм, а христианство — пессимизм? Правда ли, что «совершенно новая точка зрения», внесенная Христом в мир, состояла в страхе, печали, плаче и убеждении в вечном торжестве зла (пессимизм)? Мне кажется, это решительная неправда, и до такой степени противоречит очевидности, что даже возражать как-то странно. Главный довод г. Розанова, сообразно теперешнему его настроению, тот, что половая функция в язычестве была в почете, в христианстве же она пренебрежена. В то время как язычники имели особую богиню и особого бога плотской любви, в то время как изображения фаллоса носились торжественно в религиозных процессиях и к ним прикладывались, как к святыне, — христианство на самое рождение смотрит как на грех, что выразилось в приведенной г. Розановым очистительной молитве: «Прости рабе твоей, днесь родившей» и проч. Г. Розанов, проповедующий «теитизацию пола и сексуализацию религии», негодует, что при рождении младенцев у нас «ни свеч кругом, ни поцелуя, ни гимнов, ни фимиамов», как (в прежних своих статьях) сожалеет об отсутствии установленных «кратких молитвословий пред и после» супружеского акта. Все это будто бы доказывает, что христианство равнодушно к величайшей радости человеческой и потому есть религия печали. Но, не говоря о том, что счастье не исчерпывается половой функцией, не говоря о том, что просто противно вводить в религию физиологические отправления, — прямо противно, — откуда взял г. Розанов, что язычество в этом отношении имело преимущество пред христианством? И у язычников не было ничего подобного тому, чего требует г. Розанов.

* Более подробно я рассчитываю рассмотреть возражения В. В. Розанова и Д. С. Мережковского в своем отдельном издании «Писем к ближним»⁴.

Введение в культ сладострастного элемента — как у нас в некоторых сектах — было только порчей язычества и ничем иным; оно и в язычестве ничуть не облагородило рождения, не освятило колыбели. Чтобы держаться истины, нужно не забывать, что рождающее начало если и было обожествлено в язычестве, то не во главе, а лишь в ряду великого множества других явлений и сил. Venus-Genitrix была одним из второстепенных божеств. Вопреки г. Розанову, эта богиня «в пастушеские времена Лациума» была только богиней весны, и только впоследствии, при упадке культуры, являются Venus Genitrix, Venus victrix, vulgivata, libitina, celestis. Первобытная Венера была богиней скромной и серьезной, обнажать ее и подчеркивать эротические черты стали не ранее IV века. Но и тогда главными богами оставались Юпитер, Плутон, Нептун. Ясно, что и языческий культ вовсе не вытекает из полового процесса и не «примыкает к колыбели». Если в христианской церкви самый акт появления ребенка на свет считается нечистым, то то же самое было и в язычестве, и по простой причине — по физической неопрятности этого акта. Что касается «цветов и гимнов», то ни в какие времена само рождение не могло быть превращено в религиозное торжество. Когда женщина мечется в почти смертельных корчах, когда каждую минуту возможна смерть и матери, и ребенка — не до гимнов тут, не до цветов. Сама природа обставила появление человека безобразием и ужасом, — что тут делать «религии розовой» и «легкой»? Совершенно неверно, будто христианство ставит рождение человека вне религии («Ни свеч вокруг. Ни фимиамов. Ничего», — говорит г. Розанов). А что же тогда представляет церковное «таинство брака», столь торжественное коронование будущего отца и будущей матери и благословение их потомства? Чудо не в механизме родов и не в физическом моменте появления на свет, — чудо в зачатии, и чистота его благословляется церковью, как чистота всех других ступеней жизни. По учению Христа, мы дети Отца Небесного, значит, наше происхождение не только освящено религией, но поставлено, как божественное. Предписываемая в христианстве борьба с грехом есть не что иное, как охрана этой прирожденной святости, и в этом смысле скорее же христианство примыкает к колыбели, чем язычество. Как нежная мать над младенцем, христианство оберегает раз родившееся совершенство от увядания и смерти. Оберегает, сколько сможет, и во всяком случае гораздо больше, чем религия языческая, направленная, по г. Розанову, в сторону «веселого, легкого, житейского».

Пусть простит меня почтенный публицист, но, мне кажется, он делает грубую ошибку в оценке и язычества, и христианства. Мы все склонны делать эту ошибку, и только на ней держится странное пристрастие к классицизму. Дело в том, что, как в эпоху Возрождения, мы окружены теперь только «веселыми, легкими, житейскими» остатками язычества: статуями, вазами, поэмами, мифами — развалинами языческой роскоши. Начиная с лестниц домов нас встречают помпейские танцовщицы, мраморные грации и дымящиеся на плафонах алтари. Дома, на картинах и этрусских вазах, нас окружает веселый античный жанр, в библиотеке хранятся чаще всего песни Анакреона, идиллии Феокрита, сказки Овидия⁵, и вот мы привыкаем глядеть на древность исключительно сквозь розовые очки. Нам кажется, что полуголые люди эти были сплошь красивы, как боги, и счастливы, как боги, что и религия их была солнечная и нравы чудные. Но это чистое заблуждение. Я хорошо помню, как еще в ранней молодости, будучи в разных местах Греции и Италии, я был поражен несоответствием моего школьного представления с правдой. На самом кладбище античного мира, среди той же природы и потомства тех же предков, среди подлинных развалин и в богатых музеях я до очевидности понял, что в язычестве была не одна поэзия, а суровая проза, и что, как и у нас, проза преобладала. Если бы от нашей эпохи остались только писатели вроде Пушкина и Гете, да остатки искусства, — и наша эпоха показалась бы золотым веком. Первобытные люди были хвастливы, и нельзя же верить пафосу Гомера, как и нашим сказкам о богатырях. Поверхностное знакомство с древними крайне приукрашивает мир их жизни. Когда поглубже пришлось вникнуть в древнюю историю и литературу, мне ясно стало, что в язычестве нам безусловно нечего жалеть. Если мы несчастны, то и они были несчастны, и теми же самыми хворали язвами, да сверх того еще более гнойными.

«Язычество — оптимизм», — говорит г. Розанов. Легко сказать! Но уже достаточно вспомнить, что подавляющее большинство населения были рабы, отношение к которым со стороны хозяев было совершенно дьявольское. Бесперывные войны держали людей в вечном страхе и вечных слезах; из свободных граждан не было ни одного, кто бы не рисковал жизнью, кто бы не был когда-нибудь ранен, и многие ли из известных людей кончали своею смертью? Жизнь была груба и страшно тревожна. Религия не только далека была от оптимизма, но, напротив, если что характеризует язычество, то именно уныние религиозное, черта отчаяния, лежащая на всех тогдашних культах. Человек

был невежествен, природа казалась грозной, боги — воплощение стихий — представлялись злыми и мстительными. Весь древний мир, пресыщенный печалью, как библейский Иов, проклинал день, в который родился, и обвинял Бога, «огорчившего ему душу». Отнюдь не христианской, а именно языческой, дохристианской эпохе принадлежат самые глубокие выражения пессимизма. «И возненавидел я жизнь, — говорит Екклесиаст, — противны мне стали дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа... В могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Участь сынов человеческих и участь животных — одна, как те умирают, так умирают и эти, и нет у человека преимущества пред скотом... И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, а блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видел злых дел, какие делаются под солнцем». Скажите, что мог бы прибавить пессимизм к этим словам отчаяния, сказанным за 1 000 лет до Христа?

ПОЭЗИЯ И ФИЛОСОФИЯ ПЕССИМИЗМА

Еще безнадежнее этот ужас древней души сказался в учении Будды, первая из «четырех благородных истин» которого та, что «жизнь есть мучение», а цель мудрости — «полное погашение бытия». Эта дохристианская религия исповедуется и донныне язычниками Азии, и г. Розанов все-таки считает язычество оптимизмом. Но где же в язычестве радость, где светлая вера, где торжество человека? В мрачных ли сирийских культах, где Молоху приносились человеческие жертвы? Мы далеки от тех времен, но представьте себе хоть на минуту состояние душ, когда люди были убеждены в присутствии среди них злого, беспощадного демона, рогатому идолу которого на раскаленные лапы приходилось бросать маленьких детей. Если вы отец, представьте себе ужас ребенка и ваши чувства. Неужели эти чувства были бы похожи на оптимизм? Вы скажете, что Молох был только у сирийцев, — но следы человеческих жертвоприношений заметны и у греков (Ифигения⁶), и у римлян (Деций Мус⁷). В лучшем случае умиловить богов можно было гекатомбой, т. е. смертью сотни быков. Тогдашние боги требовали удушения жизни, страдания, потоков крови. В самой возвышенной из религий древности — у Зороастра⁸, как и в египетском культе, злой дух равносителен доброму, и религия превращается в вечную драму крушения счастья. В частности, греко-римский культ, благо-

рожденный все-таки дыханием свободы, прирожденным Европе, — даже этот культ был полон мрачного уныния. Просто непостижимо, где почтенный публицист усмотрел тут розовый оптимизм. Уже Гесиод⁹ считал свой век худшим из всех, доказывая, что человеческое счастье бесповоротно испорчено богами. Автор «Теогонии» обвиняет богов в том, что они разрушили невинное блаженство первобытных людей, в том, что они «скрыли от людей пищу», что Зевс «измыслил людям гнетущую печаль», что именно для гибели людей олимпийцы общими силами сотворили Пандору с ящиком бедствий, и с тех именно пор «бесчисленные печали посреди людей странствуют, полна земля злом, полно им и море»... «О, зачем, — восклицает поэт, — я принужден жить среди пятого поколения, зачем не умер ранее, не родился позже! Ныне род существует железный, ни днем не прекращаются труды и печали, ни ночью». Измученное бедствиями этой жизни, язычество не имело утешения и за гробом. Ахиллес у Гомера лучше хотел бы быть «поденщиком на земле, чем царем над мертвыми». Если за гробом человека ждет вечное уничтожение, то самое блистательное счастье на земле отравлено скорбью, и древние жили, как люди, над которыми произнесен смертный приговор. Возможен ли какой-нибудь оптимизм без веры в бессмертие? Глубоким отчаянием дышит мысль древних философов, поэтов и великих трагиков. Что такое вся греческая трагедия, как не строго выдержанное учение о пессимизме? Неизбежность страдания, непобедимость верховного зла, ничтожность всех наших радостей — вот до странности однообразная тема, в которую вылился благороднейший гений Греции. Слова Эмпедокла¹⁰: «О, боги! Как велики ваши несчастья, жалкие смертные! Среди какой борьбы и печалей вы рождены! Как скоро мы умираем! Всякое существование есть быстро исчезающий дым» и пр. — эти слова тысячу раз повторены трагиками, и из Эсхила, Софокла, Еврипида можно было бы набрать целый том сплошных стенаний. Это не только главный мотив, но само существо веры греков, самый глубокий догмат их религиозного сознания. Если целые поколения героев гибнут самой ужасной смертью, если ни красота, ни невинность, ни доблесть, ни вера, ни самоотвержение, ни мудрость Эдипа, ни добродетель Ипполита не спасают от мщения богов, если сами боги бледнеют пред верховным существом — Роком, то что такое этот всемогущий бог древних богов, как не Сатана, возобладавший над миром? Что такое эти жестокие, мстительные, кровожадные боги, как не иерархия дьяволов в нисходящем порядке? Вникните в психологию лучезарных олимпийцев, и вы поймете Мильтона и Данте, кото-

рые, придерживаясь средневекового миросозерцания, видели в богах этих демонов зла. Содержание трагедии греческой то же, как если бы их писали слабые животные, какие-нибудь кролики или мыши: вечное, неодолимое преследование жизни и вечное торжество зла. При таком отношении к божеству — неужели древняя религия могла быть «розовой», «воздушной», как утверждает г. Розанов? Неужели она могла быть оптимистической и одобрять дух к доблести и энергии?

Мне кажется, наших неоязычников (я говорю не о гг. Розанове и Мережковском) путает то, что религия языческая была насквозь переплетена мифами не только жестокими, но и развратными, что сами боги будто бы грешили и широко разрешали людям грешить. Религией тогдашней будто бы была признана радость жизни, «святое сладострастие» (по выражению г. Мережковского), «святая плоть». В оргиях Диониса под предлогом священнодействия язычники действительно предавались пьянству и распутству, но разве пьянство и разврат сколько-нибудь похожи на оптимизм, «розовый и воздушный»? Присмотритесь к современному пьянству и разврату — разве это настоящая радость жизни? Чаще всего это страшное лекарство от пустоты, от нищенства души, от гнетущего чувства бесцельности существования. Древние вакханалии есть психологическое дополнение трагедий. Если боги беспощадны, если Мойра¹¹ неодолима, если страдания и смерть неизбежны, то поневоле захочется перейти в скотское состояние, захочется безумия, сжигающего порока. Язычество в последние века как будто спешило истратить себя в разгаре страстей, и оргическое веселье его было не более, как кутеж перед самоубийством. Ведь и теперь в странах невежественных, несчастных, где народ доведен до отчаяния, разврат и пьянство принимают эпидемические формы, но это далеко не оптимизм.

О ДРЕВНЕМ СТРАХЕ

С непостижимой легкостью г. Розанов доказывает, что «страх» в отношении к божеству вошел вместе с христианством, но это до такой степени «наоборот», что даже опровергать не хочется. Христианство внесло в человечество мысль о Благое Отце; мы ни на минуту не можем приписать своему Богу чувство злобы, не развенчав Его в своем сердце. Если так, то какой же в христианстве возможен страх? Можно бояться естественных последствий своих ошибок, можно — и должно — бояться самого себя, но Бога? Все, что зависит от Него, по христианскому понятию безусловно бла-

гостно, от Него может исходить только благое, только истинное и только доброе, — иначе мы прямо не в состоянии себе даже представить Совершенного Существа. Отсюда великое спокойствие праведников и их блаженная жизнь. Не то было в язычестве, где человек был рабом даже не одного, а множества тиранов, и каждого нужно было бояться и умиловать. Вспомните, что при самом рождении ребенка в Риме нужно было обращаться не меньше, чем к девятнадцати различным божествам, охранявшим от специальных опасностей. Надо было молить богиню Потину, чтобы она научила ребенка пить, богиню Эдуку — чтобы научила есть, бога Фабулинуса — чтобы научил говорить, других бесчисленных богов, чтобы научили считать, петь и пр. Пусть эти маленькие боги были не выше наших домовых, но все же, как и домовые, могли вредить и пред ними надо было унижаться, приносить жертвы. Язычник был опутан страхом со всех сторон, гнетущими суевериями, примеры которых мы видим и теперь в простом народе. Пролетела ворона не с той стороны, и целая армия героев бледнела, не трогалась с места. Участь стран решалась видом луны или положением кишек жертвенного животного. Оказалась, например, печень у тельца без лопасти — и Александр Великий, ученик Аристотеля, восклицает: «О, боги! Какое страшное предзнаменование!»¹² Суеверие, говорит Плутарх, «как вода, заливающая низменные места, овладевало всем существом Александра и делало его в высшей степени трусливым». Что же говорить о простых смертных? Как наши крестьяне в глуши кажутся иногда просто сумасшедшими от множества глупейших «дурных примет», так и древние язычники. Великие поэты, воплотив народные бредни в пленительные образы и мифы, привели высокоодаренное племя к своего рода помешательству. Здравый смысл и совесть народа возмущались против богов, но внушение культа удерживало в страхе перед ними. Безверие в отношении Высшего существа и вера в низшие заставляли народ психически вырождаться. Мысль о вечном страдании человека от насилия или страсти богов внесла какую-то атмосферу глупости в древнюю душу, и эта глупость угнетала дух уже как самостоятельное бедствие.

Если бы религия языческая была жизнерадостна, как утверждает г. Розанов, то из нее возникли бы жизнерадостная поэзия и жизнерадостная философия. О поэзии сказано выше, но неужели стоицизм сколько-нибудь похож на оптимизм? Или эпикурейство, например, Лукреция? Или цинизм? Мудрость древних не пошла далее презрения к жизни. Будучи не в силах научить достойно жить, философы учили с достоинством умирать. В начале III века в Александрии один из крупных философов киренейской школы, Гегесий¹³, доказывал, что жить нелепо, что счас-

тыя не существует, что сумма зла всегда подавляет сумму радостей и что только безумцам жизнь кажется благом. Гегесий имел такой успех и столько людей стали прибегать к самоубийству, что Птолемей¹⁴ принужден был закрыть его школу. В последний век язычества в Александрии образовалась академия самоубийц, принадлежать к которой считалось признаком хорошего тона; ее членами состояли Антоний и Клеопатра. Новейшие пессимисты — Шопенгауэр, Леопарди, Гартман¹⁵ — безусловно, ничего не прибавили к языческим учениям о пессимизме; все они и по религии, и по психологии своей — чистейшие язычники. Что такое шопенгауэровская воля, безумная и слепая, соблазняющая человека к бытию, чтобы раздавить последнее, — что такое эта воля, как не древняя Мойра, как не верховное, торжествующее в мире Зло?

Пессимизм — явление вечное и составляет, как мне кажется, болезнь души. Разновидности пессимизма — ипохондрия, меланхолия, мизантропия, *taedium vitae*, *Weltschmerz*, сплин, хандра, тоска, скука — все это угнетенные состояния, источник которых или физическое расстройство, или дурное внушение. Пессимизма, конечно, не чужды некоторые христианские исповедания, ордена и секты; у янсенистов, например, или у наших скопцов пессимизм доходит до уродливости. Но если говорить о христианстве как учении Иисуса Христа, то какой же это пессимизм? «Евангелие» значит «благая весть», то есть весть о благе. Каким образом благая весть могла внести в человечество страх и мрак и отнять у жизни ее розовую красоту? Мне кажется, никакая религия — и христианство в том числе — не имела бы ни малейшей цены, если бы она понижала человеческое счастье. Если *religio* — связь с Богом — дает одну горечь, уныние, отчаяние, смерть души, то не нужно этой связи, она превращается в сплошную казнь. От подобной религии следует освобождаться как от кошмара, и европейский мир, отбросивший свою унылую веру в злых демонов, доказал этим всю крепость своего духа. Болезнь была тяжела, почти смертельна, но благороднейшие из народов стряхнули с себя наваждение и вошли в новую атмосферу мысли. Величайшим приобретением истории, неизмеримо более важным всех открытий, явилось Откровение, что злых богов нет вовсе, что мир имеет Единого Бога и что Он добр. Если Он добр, то, значит, нечего бояться, долой страхи! Христианство положило конец первобытной панике, внушенной человечеству тысячами столетий борьбы за жизнь. В единобожии христианском человек впервые почувствовал себя существом благородным, не рабом никому на свете, ибо даже Верховное существо объявлено Отцом, которого благодать беспредельна.

Вопреки г. Розанову, я думаю, что более совершенного и более возвышенного оптимизма, как тот, что принес с собой Христос, никогда не было на земле. Человеку даны заповеди не просто счастья, а блаженства, причем найдена такая центральная точка зрения, с которой самые бедствия человеческие становятся благами. В то время как языческий пессимизм провозглашал вечную непобедимость зла, Христос многократным повторением: «блаженны!» утвердил возможность блаженства истинного и окончательного. Я не говорю о надежде бессмертия (она одна снимала петлю с человеческой души), я не говорю о загробной жизни. Бесконечное бытие за гробом я считаю тайной, совершенно для меня непроницаемой. Бессмертие можно чувствовать внутренне, без доказательств, и разве ощущение его, доступное праведным, не есть блаженство? Но если загробная наша участь от нас скрыта, то зато жизнь здешняя освещена Христом, как солнцем, и поставленные условия блаженства ясны, как день. Что огромное большинство христиан чувствуют себя неспособными к христианскому счастью, это неудивительно: почти все мы — скрытые язычники, и в этом все проклятие нашей жизни. Но как неизлечимый больной не смеет отрицать условий здоровья, так и грешники не смеют отрицать спасительности Евангелия. Пусть Христос спасает от гибели еще не вполне погибших, пусть Он помогает не безнадежно падшим, — важно, что найден закон счастья, найдена в природе благая Воля, выполняя которую человек блажен. Христос призывает всех, и, кажется, единственное препятствие для новой жизни — ложная мысль, будто она трудна. Но «иго Мое благо и бремя Мое легко», говорит Христос, и нельзя этому не верить, когда вникнешь в нравственное состояние тех немногих, кто действительно следует Христу. Их религиозная радость более, нежели оптимизм, — это неизреченный восторг. Во внутреннем преображении праведника обнаруживается столько счастья, что оно излучается как некое сияние, делающее и других счастливыми. Если мы редко наблюдаем это великое явление духа, то не будем так недобросовестны, чтобы вовсе отрицать его.

Вера в Бога есть уверенность в высшем благе. Потеря этой веры есть величайшее из несчастий, какое может постигнуть народ. Уже одно колебание в мысли, что христианство ведет к счастью, тотчас возвращает нас в объятия безнадежного язычества, в царство зла.





Н. К. МИХАЙЛОВСКИЙ

О г. Розанове, его великих открытиях, его маханальности и философической порнографии

Поле российской словесности становится все более обширнее и необозримее. То и дело появляются на нем огромные, чрезвычайные силы, появляются, расцветают, приносят плоды, а вы иной раз только случайно и *post factum* * узнаете о великом событии. Так именно случилось недавно со мной.

Совершенно случайно попался мне на глаза один из выпусков «Сочинений Сергея Шарапова», изданный еще в прошлом 1901 г. и озаглавленный «Сугробы», а в этих «Сугробах» остановила на себе мое внимание статья «Жмеринские львы и буйствующий В. В. Розанов. Поход против него протоиерея Дернова и генерала Киреева»¹. Остроумие г. Шарапова, его сравнение г. Розанова с львами, убежавшими на станции Жмеринке из какого-то бродячего цирка — нисколько не занимательно. Не занимательно для меня было и двойственное отношение г. Шарапова к г. Розанову. Я и раньше знал, что автор «Сугробов» признает за г. Розановым «власть над умами и сердцами», «сильную и яркую мысль» и проч. и в то же время разрешает себе подвергать его «телесному наказанию без повреждения мягких частей» и одобряет, когда другие его «отшлепывают, приподняв полу халата» (подлинные выражения г. Шарапова)². Но в «Сугробах» говорится о «новой концепции христианства», представленной г. Розановым, и то, что сообщается об этой «новой концепции», меня чрезвычайно заинтересовало. Но как познакомиться с нею не через посредство г. Шарапова, а из первых рук? Г. Шарапов пишет: «Этот строй мыслей нашел свое выражение в многочислен-

* впоследствии (лат.).

ных статьях Розанова, разбросанных в журналах и газетах самого разнообразного направления, начиная от “Нового времени”, “Биржевых” и “С.-Петербургских ведомостей” и кончая “Гражданином” и самыми незаметными провинциальными изданиями. Перечитал розановские статьи и я в “Русском труде” — каюсь». Как же, спрашивается, поймать концепцию г. Розанова? Мне указали на книгу этого писателя «В мире неясного и нерешенного», в которой, дескать, содержится если не все, о чем писал г. Шарапов в «Сугробах», то самое существенное. Следуя этому указанию, я и узнал о великих явлениях в области русской литературы, которые приняли в моих глазах уже поистине гигантские размеры, когда я познакомился с огромным томом г. Мережковского «Религия Л. Толстого и Достоевского».

Книга «В мире неясного и нерешенного» содержит в себе не только статьи самого г. Розанова, предварительно напечатанные в разных изданиях, но еще ряд «полемических материалов», ряд статей и писем разных авторов, возражающих г. Розанову или выражающих ему свое сочувствие и поддерживающих его мнения. Г. Розанов присоединяет в свою очередь к этим «полемическим материалам» свои примечания, а иногда выходит и еще многоэтажнее, так как г. Розанов делает примечания к примечаниям г. Шарапова, в журнале которого печатались и некоторые собственные статьи г. Розанова, и некоторые из полемических материалов. Нельзя сказать, чтобы эта архитектура книги была очень красива и удобна. Кроме того, в книге и много лишнего, то есть не имеющего ни малейшего отношения к обсуждаемым в книге вопросам. Мы узнаем, например, что «младшая из трех дочерей» одного из корреспондентов г. Розанова, П. А. Кускова³, по имени Марфа, «замуж выходит за одного из здешних помещиков», а сам П. А. Кусков «на Ионических островах не был, попал из Одессы в Ниццу»; что у другого корреспондента, В. К. Петерсена⁴, «утонула молодая племянница и умер старший племянник, чудный мальчик христианского воспитания и образа мыслей», и т. п. Все эти домашние радости и горести, может быть, и очень интересны и важны сами по себе, но едва ли нужны для уразумения «новой концепции христианства». Г. Розанов и сам понимает, что эти подробности лежат «вне темы», но, говорит, такая уж у меня «знойная привязанность не к одному делу, а и к поэзии вокруг дела», «ибо ведь эти племянники и племянницы в несчастьи — они люди, и нам следует, хоть и не зная их, сказать: “со святыми упокой”». Доброе дело, конечно, только я не знаю, почему г. Розанов не приглашает нас заодно пожелать счастливого супружества младшей из трех дочерей

П. А. Кускова Марфе и поскорбеть о том, что сам П. А. Кусков не попал на Ионические острова. Но как обогатилась бы русская литература, если бы все мы, писатели, обладали знойной привязанностью г. Розанова к безделью и доводили до сведения читающей публики о бракосочетаниях, смертях, болезнях, путешествиях и проч. своих добрых знакомых и их родственников!

Впрочем, благодаря знойной потребности г. Розанова мы подчас получаем сведения уже несомненно огромной важности.

У г. Розанова есть «усердный поклонник и почитатель», как он сам подписывается в письмах, протоиерей А. У-ский⁵. Завязав с г. Розановым переписку, он пожелал, между прочим, узнать его общественное положение и, узнав, пишет: «Так вот вы где? чиновником состоите? А я полагал, что вы служите по учебному ведомству. Ну, что же? Дело доброе. Ныне чиновничий мир дал много писателей с пророческим направлением... К этой плеяде пророков принадлежите и вы. Да, ныне век пророков. Недаром В. С. Соловьев так любил употреблять это слово. Вероятно, будущий историк наших дней начнет свое сказание о них такими словами: “В то время, когда пастыри душ человеческих превратились в пастырей одних только карманов человеческих, для управления человеческими душами стал Господь воздвигать пророков”».

Это уже не бракосочетание младшей из трех дочерей г. Кускова и не неудавшаяся поездка на Ионические острова. Это нечто поразительное, как по своему значению, так и по своей неожиданности — я уверен — для огромного большинства читателей. В самом деле, мы так привыкли жаловаться на всяческую современную скудость, мы даже успели надоесть друг другу хныканьем на эту тему, а оказывается, что наш век есть век пророков! Мы привыкли соединять с эпитетом «чиновнический» по малой мере непохвальный смысл. «Чиновническое отношение к делу» значит на нашем обиходном языке отношение формальное, бездушное. Оказывается, что из этой именно среды воздвигаются пророки!.. И вот один из них, г. Розанов, тот самый г. Розанов, которого г. Шарапов отшлепывает, приподняв полу халата... Пусть после этого повторяют, что никто в своей земле пророком не бывал!

Естественно, что корреспонденты г. Розанова приносят ему «искреннюю и глубокую признательность за многие часы истинного удовольствия и наслаждения», испытанные ими при чтении его произведений; что письма его они «хранят как драгоценность» и обращаются к нему с такими восторженными восклицаниями: «Ну, что за прелесть! Что за роскошь! Так и

расцеловал бы вас за эту статью! Ведь вы открываете своего рода Америку!» Или: «Два ваших фельетона — бессмертны и неумирающи». Ввиду знойной потребности г. Розанова, неудивительно, пожалуй, и то, что он сам же и предает гласности все эти восторги. Но достойно внимания, что «прелесть», «роскошь», новые Америки и т. п. имеются в произведениях не только самого г. Розанова, а и многих его корреспондентов и авторов «полемических материалов». Вот, например, некоторые из примечаний г. Розанова к статье г. Колышко «Брак как религия и жизнь»⁶: «Вот не только богатое, но богатейшее выражение, *слово*, которое стоит *дела*». — «Разделением этим г. Колышко делает новый шаг к проблеме брака». — «Вот прекрасная мысль, прямо сказанная!» — «Все это место замечательно и *ново по тону*, как я не умел сказать». — «Вот прелестная мысль!» — «Могу сказать только: браво!» — Вот гениальная мысль, необыкновенно много объясняющая в истории европейской семьи!» — «Все это очень важно». — «Конечно, конечно! Это необыкновенно важное замечание». — «Все это — святыи истины». — «Все это место и ниже строки — глубоко». — «Верная и поразительная картина павшей семьи». — «Замечательно ценная мысль». Или вот еще отметки, которыми г. Розанов сопровождает одно из писем г. У-ского: «Прекрасно, глубокомысленно. И я всегда думал...» — «Глубина из глубин». — «Все это место удивительно. Так и я всегда думал».

Итак, читатель, перед нами богатейшая россыпь новых Америк, прекрасных, прелестных, гениальных мыслей, необыкновенно важных, увлекательных, глубокомысленных замечаний, верных и поразительных картин... И скажите по совести, — знали ли вы о существовании этой Голконды? Я — откровенно каюсь — не знал. Мало того: я всегда верил, что «может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рожать», но чтобы эти Платоны и Невтоны были так близко, совсем рядом, стоит только перешагнуть «Сугробы» г. Шарапова, — это мне и в голову не приходило. Кто же мог, в самом деле, думать, что в «Новом времени», «Гражданине», «Русском труде», в которых мы привыкли встречать что угодно, только не прекрасные и гениальные мысли, они рассыпаны целыми горстями, и даже до «глубины глубин»?! Теперь все это более или менее собрано в книге «В мире неясного и нерешенного», к которой мы с подобающим благоговением и приступим. Но прежде надо сделать маленькую оговорку. Все эти взаимные комплименты г. Розанова и его корреспондентов, которые знойная потребность нашего автора непременно долж-

на доводить до всеобщего сведения, как будто несколько напоминают сказание о кукушке, которая хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Оно и похоже на то. Но надо отдать справедливость г. Розанову: он печатает и перепечатывает не одни комплименты и похвалы себе. Так, он сообщает, например, следующее «письмо-строку», полученное им на другой день после напечатания одной из его статей: «В. В. Под гнетом духа любодейя написаны ваши последние статьи. М. С—в»⁷. И к этому письму-строке г. Шарапов приписывает такое примечание: «Верно, верно, истинная правда! Я очень досажую на себя, что решился печатать ваши статьи, почтеннейший Василий Васильевич! Каюсь, перед сдачей в набор не дочитал до конца, да ведь и почерк ваш отчаянный! Когда мне подали корректуру № 50—51 и я прочел, как сладко разглагольствуете вы о “противоестественном”, я взял перо и начал вымарывать, смягчать и накладывать фиговые листья. И все-таки “духа любодейного” выкурить не мог». Далее г. Шарапов заявляет: «Мы с вами вот уже три номера подряд угощаем читателя порнографией, хотя бы и философической». В свою очередь и П. А. Кусков (тот самый, которые не попал на Ионические острова и младшая из трех дочерей которого выходит за здешнего помещика) по поводу «письма-строки» спрашивает г. Розанова: «Кто это вам так ясно, кратко и метко высказал впечатление, произведенное на него вашими статьями о поле? Грешный человек, я подумал то же самое: под гнетом духа любодейя»!..

Неожиданность за неожиданностью...

Чтобы добраться до сердцевины книги г. Розанова, надо преодолеть не только многоэтажное построение из статей самого автора, возражений на них и сочувственных статей и писем, примечаний к ним и примечаний к примечаниям; не только пеструю чащу сообщений «вне темы» о судьбе детей, племянников и племянниц корреспондентов автора; о разных эпизодах из его собственной жизни и жизни его родственников (например, сообщение о том, как покраснела его трехлетняя дочь, когда врач, «среди другого осмотра, раскрыл и стал осматривать ее genitalia»); наконец, не только ряд неожиданностей от глубины глубин до порнографии. Есть и еще трудно преодолимые препятствия. Они заключаются как в самом ходе мысли г. Розанова, так и в способе его изложения.

Одна из статей г. Розанова («Брак и христианство») оканчивается пожеланием читателю «крепкой и осторожной мысли». В одном из примечаний к полемической статье г. Н. Аксакова «О браке и девстве» г. Розанов пишет: «Все это довольно толко-

во и умно, и мы радуемся, что *пристальностью* (курсив, как и везде выше, принадлежит г. Розанову) рассмотрения одной темы привели даже антагонистов автора к необходимости рассуждать, наконец, точно и внимательно». В действительности, г. Розанов не обладает ни той «пристальностью рассмотрения», которую находит в себе, ни той «крепкою и осторожною мыслью», которой он желает своему читателю, ни той «точностью и внимательностью рассуждения», которую он будто бы внушил «даже» (!) своим антагонистам. В области вопросов, занимающих г. Розанова, едва ли найдется другой писатель, столь же невнимательный к фактам действительности и логике выводов, столь же неточный в своей мысли и ее словесном выражении. С разбегу и без оглядки — это могло бы быть девизом г. Розанова и как мыслителя, и как писателя.

Как-то, в одной из прежних своих статей, г. Розанов построил некоторое теоретическое здание на том факте, что Руже де Лиль написал во всю свою жизнь только одну «Марсельезу». И совсем бы все хорошо вышло, если бы Руже де Лиль⁸ действительно только раз в жизни был композитором и ничего, кроме «Марсельезы», не сочинил, но он написал много и очень разнообразных музыкальных произведений. Г. Розанов мог о них не знать; но, казалось бы, та «пристальность рассмотрения», которой он хвалится, та «точность и внимательность рассуждения», которую он внушает другим, обязывает предварительно ознакомиться с тем, о чем собираешься говорить... В другой раз, рассуждая о свойствах ума и характера наследственного духовенства, прошедшего семинарскую школу, г. Розанов иллюстрировал свои положения, между прочим, примерами Ришелье, Мазарини и Шелгунова⁹... С разбегу он не заметил, что это иллюстрации совершенно неподходящие, так как все три названные лица — чистокровные дворяне и в семинарии не бывали. Такими подвигами пристальности, точности, внимательности, осторожности переполнена и книга «В мире неясного и нерешенного». Исчерпать в этом отношении книгу до дна — нет ни возможности, ни, конечно, надобности. Но на двух-трех образцах мы остановимся с некоторою «пристальностью».

По соображениям, которые мы, может быть, поймем ниже (а может быть, так и не поймем), г. Розанов считает нужным остановить внимание читателя на «загадке», которой «никто не разобрал», а именно: «что такое *лицо* в нас?» Разгадка такова: лицо есть «точка, где тело начинает “говорить”, к которой и сами мы говорим, “обращаемся”; точка, где прерывается немота, откуда прорывается мысль; где начинается *особливость* и кончается без-

различие». Дав это определение, г. Розанов замечает, что и другие части человеческого тела, в несравненно меньшей степени, но обладают известной выразительностью. Таковы локоть и плечо, но в особенности кисть руки и ступня ноги.

«В кисти руки, — говорит г. Розанов, — есть явно *затылочная*, покрытая легким пушком часть, и *личная*, лицо, ладонь, голая. Будем внимательны к наблюдениям и не глухи к мелочам человеческих инстинктов: приветствуя, мы касаемся рукою руки и не дотрагиваемся (?), но прикладываем ладонь к ладони, которые сжимают одна другую. Образовалась *фрагировка* рукопожатий, без придумывания, *само собой*: руки ласкаются. Холодно, при почтительности, целуя руку, мы ее целуем в глухую *затылочную* часть (верхнюю, с пушком); но поразительно, что в неге и страсти мы повертываем ее, довольно неудобно для нее, и целуем в лицо, в ладонь, где сплетаются таинственные линии, задатки черт лица. В минуту особо горячей молитвы мы почему-то “воздеваем руки”; руки кого-то *ищут*, *тянутся* к кому-то; и станем следить, до чего это любопытно: мы обе кисти руки повертываем ладонями к образу, св. Лику; т. е. мы *становимся* на молитву всеми в себе лицами (священник во время херувимской песни)».

Станем, в самом деле, следить, до чего это выходит любопытно у г. Розанова. Оставим пока в стороне все, что мы целуем и вообще делаем «в неге и страсти». Этот приятный сюжет г. Розанов постоянно и не случайно, а принципиально сопоставляет и связывает с молитвой, и мы еще с ним встретимся. Остановимся на молитве. Что в молитве люди так или иначе воздевают руки, это верно, но, не говоря о том, что мы и в самом обыкновенном разговоре жестикулируем руками, г. Розанов подчеркивает значение именно *ладони* руки, следовательно, рука в целом в его рассуждении ни при чем. А что касается ладоней, то священник во время херувимской, по раз навсегда установленному ритуалу, действительно обращает, говоря языком г. Розанова, «все свои лица к св. Лику». Но это делает именно священник и именно во время херувимской. «Мы» же, то есть вообще христиане, поступаем на молитве как раз наоборот: или складываем ладонь с ладонью, то есть закрываем свои ручные «лица» одно другим, или, осеняя себя знамением креста, опять же обращаем почти закрытую перстосложением ладонь к себе; иные, в особенности католики, в молитвенном экстазе бьют себя в грудь или, скорбя о грехах своих, закрывают лицо руками, причем ладоней не выворачивают. До чего это любопытно...

Покончив с «эмбрионами» лиц, то есть с ладонью руки и ступней ноги (краткости ради пропускаем курьезы о ступне), г. Розанов переходит к полному, настоящему лицу.

«Есть, — рассуждает он, — лица *мужские и женские*, но нет лиц «математических» и «филологических». Я хочу сказать, что строение лица не обусловлено вовсе предметами и характером теоретической деятельности человека, как можно было бы ожидать по его положению и, казалось бы, тесной зависимости от головного мозга; но есть что-то в нем, указывающее на зависимость его от пола, текучесть из пола. Есть лица отроческие, юношеские, мужские, старческие; но и отрочество, и юность, и мужество, и старость суть *стадии в жизни пола*, его утренняя дремота, поздний сон, его день и зной полудня. Нет вовсе «музыкальных» и «живописных» лиц, но есть «целомудренные» и «развратные»: очевидно, что лицо есть отсвет пола, его далеко отброшенное, но точное и собранное, сосредоточенное устремление... Лев Толстой, столь гениальный в психическом анализе, собственно, везде дает нам психологию возраста и пола; например, нарисовав столько поразительно жизненных фигур — Наташа, Соня, кн. Марья в «Войне и мире», Долли, Китти, Анна, Варенька в «Ан. Карениной» — он даже не упоминает ни об одной из них, была ли она чему-нибудь выучена. Так сказать, «филологические» и «математические» черты в лице человеческого у него вовсе отсутствуют; но вся полнота выражения лица сохранилась при этом; много выиграв в жизненности, они ничего не утратили в осмысленности... Вся почти необозримая по разнообразию деятельность Толстого примыкает к теме «Детства и отрочества». «Крейцера соната», например, — что она такое, как не «плач неутешной души» над поруганным в мире материнством, над оскорвляемыми в самых его родниках «детством» и «отрочеством»... Толстой не знает, т. е. он отвергает иную психологию, кроме как психологию пола и возраста; но если взять и весь круг его забот, тревог, его ожесточенности против «нашей цивилизации», «плодов» нашего «просвещения», не трудно открыть их всех общий родник в страхе и отвращении к тому же загрязненному или без внимания обходимому «детству» и всему, что его вынашивает, т. е. к человеку в рождающих его глубинах... Толстой непрерывно внимает полу».

Нелегко разобраться во всей этой путанице, не сразу даже поймешь, почему г. Розанову вздумалось ставить вопрос именно так, как он его ставит. Филологических и музыкальных лиц действительно нет, как нет и лиц музыкальных и живописных, а мужские и женские и, пожалуй, целомудренные и развратные — существуют. Но что из этого следует? и почему г. Розанову понадобились в данном случае филология и математика? «Строение лица» зависит от множества условий, в том числе, конечно, и от пола, наглядным свидетельством чего служат так называемые вторичные половые признаки — присутствие и отсутствие бороды. Но совершенно неизвестно, почему перед умственным взором г. Розанова стоит дилемма: или пол, или «предмет и характер теоретической деятельности». Тем более это странно, что головной мозг, который, как мы, вероят-

но, увидим, вообще не в авантаже у г. Розанова обретаются, ведает не одну теоретическую деятельность. Что умственное напряжение, в особенности в ряду поколений, накладывает на человеческое лицо свою печать, в этом нет никакого сомнения, хотя это часто маскируется разными пертурбационными влияниями, и хотя, с другой стороны, искать в лице отражения той или другой специальной отрасли знаний есть нелепость, которую не стоило ни предпринимать, ни опровергать. Во всяком случае, как мужские, так и женские лица одинаково бывают умные и глупые, суровые и нежные, властные и кроткие, жестокие, зверские, мрачные, веселые и т. д., и т. д. Все это г. Розанов заслонил для себя измышленными им самим «филологическими» и «математическими» чертами, отсутствие которых в героинях Толстого он так победоносно констатирует. Достоин внимания, что он ищет их только в героинях Толстого, в женщинах, хотя распространяет свое суждение на оба пола; между тем, в описании наружности Сперанского¹⁰, например, или генерала Пфуля¹¹ он бы мог, пожалуй, найти и отражение предмета и характера теоретической деятельности. А что на лицах светских героинь гр. Толстого (притом, как в «Войне и мире», начала прошлого века), не отразился предмет и характер их теоретической деятельности, так это, я полагаю, объясняется довольно просто: ни филологией, ни математикой и никакой иной теоретической деятельностью эти дамы не занимались. Не смущают г. Розанова и лица детские, отроческие, мужские, старческие, — все это, говорит он, стадии в развитии пола, как будто и в самом деле между ребенком, юношей, стариком нет никакой разницы, кроме их отношения к половой жизни. «И станем следить, до чего это любопытно». Объявив возраст исключительно стадией в развитии жизни пола, г. Розанов говорит, что «Толстой, столь гениальный в психическом анализе, собственно, везде дает нам психологию возраста и пола». Затем оказывается, что этой теме посвящена «почти вся необозримая деятельность Толстого». И, наконец, решительное утверждение: «Толстой непрерывно внимает полу». Ну, а психология властолюбия, честолюбия, патриотизма, психология толпы, увлекаемой примером, и проч.? Как все это выразилось у Толстого в изображении Наполеона, Платона Каратаева, гр. Ростопчина, героев севастопольских рассказов, в сценах убийства Верещагина, Шенграбенского сражения, психология «Люцерна» и т. д., и т. д. без конца? На этот вопрос г. Розанов может ответить, что и здесь «не трудно открыть общий родник в страхе и отвращении к тому же загрязненному или без внима-

ния обходимому “детству” и всему, что его вынашивает, т. е. к человеку в рождающих его глубинах». Но разве это ответ?

Еще пример:

«Мозг самый тяжелый был у Кювье¹²; но следующий за ним по тяжести был мозг одной помешанной женщины, высокие способности которой ничем не были засвидетельствованы; выражение разорванности между душой и мозгом довольно показательное. Рядом с этим самое прекрасное лицо есть лицо Рафаэля. Его гений тем высок, что не был вовсе гений порядка логического, но гений образов, созерцаний, таинственных молитв, для которых он не нашел слов и, как бы взяв краски с цветка, собрал их в дивные картины. Единственное в истории лицо, но чем оно, собственно, нас поражает? Одною странною и немного сверхъестественною в себе чертою: это лицо *девушки*, посаженное на мужчину. Присутствие обоих полов в одном существе, двуполость в индивидууме — невольно на нем останавливает. Т. е., как мы можем догадываться, лицо первого по богатствам души человека, *самого небесного*, свидетельствует о странной раздвоенности его души в начала мужское и женское и, вероятно, соответственно этому, *о постоянном и сильнейшем в нем половом возбуждении utriusque sexus...*» *

Курсив последней, истинно-поразительной фразы принадлежит не г. Розанову, а мне. Я хотел бы, чтобы она запечатлелась в памяти читателя. Но она входит в состав того, что г. Шарапов называет «порнографией хотя бы философической» и что составляет сердцевину мысли г. Розанова, до которой мы еще не добрались.

Откуда г. Розанов получил сведение, что самый тяжелый после Кювье мозг был у какой-то помешанной женщины, — я не знаю. Может быть, из того же источника, из которого он узнал, что Руже де Лиль не написал ничего, кроме «Марсельезы», и что Ришелье и Мазарини были из семинаристов. Но если это и вполне достоверный факт, то он еще ровно ничего не говорит в пользу «разорванности между душой и мозгом». Во-первых, вежливо говоря, смешно основывать что бы то ни было на единичном, хотя бы не подлежащем ни малейшему сомнению факте, которому противостоят тысячи других фактов, давно получивших полное и всестороннее объяснение. Во-вторых, психическое расстройство нередко настигает высокоодаренных людей, к которым принадлежала, может быть, и помешанная женщина с тяжелым мозгом. В-третьих, едва ли найдется ныне хоть один человек, утверждающий зависимость высоких умственных способностей непосредственно и исключительно от веса мозга. Ку-

* и другого пола (лат.).

резен, далее, этот внезапный переход от веса мозга Кювье и помешанной женщины к наружности Рафаэля: «*Рядом с этим самое прекрасное лицо есть лицо Рафаэля*». Право, это напоминает гоголевскую шишку на носу алжирского бей. И что это значит: «самое прекрасное лицо», «единственное в истории лицо»? Очевидно, выводя эти слова пером на бумаге, г. Розанов не давал себе никакого отчета в том, что он пишет, а писал именно с разбегу и без оглядки, «маханально», как говорит один купец у Островского. В самом деле, значит ли это, что г. Розанов сделал *смотр всем лицам в истории* (подумайте!) и остановился на лице Рафаэля как на «самом прекрасном» и «единственном»? Но если бы это и было возможно, то это было бы делом личного понятия о красоте и личного вкуса г. Розанова, каковой вкус, наверное, идет вразрез со вкусом не только древних египтян, ассирийцев, греков, персов и проч. и современных китайцев, негров, индейцев и т. д., но и огромного большинства соотечественников г. Розанова, вкусы которых, по крайней мере, соизмеримы. Вообще, возможно ли указать «самое прекрасное лицо» не то что в тысячелетиях истории, а даже, например, в современной России или хоть в большом общественном собрании вроде театрального зала? Ведь и при выдаче премий за красоту жюри колеблется и препирается...

Читатель скажет, может быть, что я уж пересаливаю в пристальности внимания к вздорам г. Розанова. Но как же иначе быть, если этот маханальный писатель совершает целый переворот в религии, если его статьи «бессмертны и неумирающи»?

Нам надо еще заглянуть на те высоты, до которых иногда достигает манера изложения г. Розанова. Он сам их хорошо знает. Так, в одном месте он говорит: «Пусть будут прощены мои неуклюжие глаголы!.. пока же, пока еще найдешь “язык простой и голос мысли благородной”, а до времени употребляешь первые попавшиеся, раскосо-стоящие слова, чтобы указать новое и неожиданное, что на ступенях видишь». А одно из примечаний автора к полемическим материалам оканчивается так: «Мы немножко бредим, но это — материи, где только бредя — “набредает” на истину». Хорошо, похвально, конечно, что г. Розанов сознает неуклюжесть своих глаголов и смиренно просит простить его: всякий пишет как может, как умеет. Но если г. Розанов может писать лучше, толковее, точнее, внимательнее, если ему доступен «язык простой и голос мысли благородной» и только по торопливости пускает он в ход первые попавшиеся раскосо-стоящие слова, так это вовсе не хорошо, и, в особенности, когда речь идет о новом и неожиданном. И зачем так торопиться?

Поспешишь — людей насмешишь: сообщишь нечто, столь новое и неожиданное, например, о Руже де Лиле, о Ришелье и Мазарини, о Рафаэле, что и на правду не похоже. Еще хуже, разумеется, когда человек по той же торопливости сознательно печатает заведомый бред, утешая при этом читателя: это я так, временно, в ожидании той истины, на которую набреду в будущем. Это уже не смиренное признание в том или другом своем изъяне, а, напротив, чрезвычайное высокомерие и презрительное отношение к читателю.

То, что сам г. Розанов называет неуклюжими глаголами и бредом, заинтересованный читатель найдет на с. 127 и 221–222. Я же обращаю его внимание на каламбур о бреде, которым автор рассчитывает набрести на истину. Когда человек идет не от факта к факту и не от мысли к мысли по логической между ними связи, а от слова к слову по звуковому их сходству, — получается каламбур, который может быть остроумен и забавен в качестве «игры ума», но которому никто не придает серьезного, научного или философского значения. У господина же Розанова, при его маханальности, многочисленные каламбуры играют роль серьезных аргументов. Бред как путь к истине соблазнил его потому, что ему пришло в голову слово «брести», но, раз возникнув, эта звуковая ассоциация кажется ему вполне убедительной. Вот другой, более сложный пример каламбурной маханальности, который, кстати, может служить и образчиком бреда, хотя на этот раз г. Розанов и не признает его за таковой:

«В обрезании установилось вечное (и невольное) созерцание Бога как бы через кольцо здесь срезанное, и это до такой степени связывало Бога с точкой обрезания, что теизм — сексуализировался, а *sexus* — теитизировался. И так — уже в тысячелетиях, так — уже невольно! Тут получилось вечное зеркало созерцаний, из коего не умел и никогда не мог выйти семит: всякая мысль о поле (“сонные мечтания”) пробуждала мысль о Боге, теряла жесткое выражение (нам известной) чувственности и растворялась в богообращенности, не отрицаясь (здесь взял меня Господь); обратно, о Боге мысль — побуждала вспомнить свой пол, и, может быть, даже наверное — будила “мечтание”. Двое малюток в одной люльке ласкаются ручонками. Не сочинить этого, а priori не сотворить; *не из чего сотворить* — иначе как через “обрезание” Богу, “ветхий завет”. Я беру и чиню себе перо: вот подобие и аллегория “срезания”, “чинения” себе Израйля. И Бог знал, где “зачинить” его в союз вечный и нерасторжимый, и до *дна* проникающий».

Дешифровать эти каламбуры, равно как и весь этот бред, я не берусь.

«Порнография», хотя и «философическая», и «любодейный дух», прикрытый фиговыми листьями работы г. Шарапова, — не думаю, чтобы главным образом в этом состояло неприличие г. Розанова как писателя. Неприличен он прежде всего своей нечистоплотной маханальностью: той развязностью, с которой он пускает в обращение небывалые факты собственного сочинения или делает достоверные, но ни для кого не интересные, сообщения о подробностях житья-бытья своих знакомых; той небрежностью, с которой он пишет «первые попавшиеся слова», не давая себе труда в них вдуматься, и даже прямо и просто свой бред печатает. Все это гораздо неприличнее, чем, например, явиться в общество в халате или с изъянами вроде незастегнутых пуговиц там, где им полагается быть застегнутыми. Костюм есть дело условное, халат для европейца и азиата не одно и то же, тогда как выплескивать из себя на бумагу для всеобщего сведения всякий вздор всегда и везде одинаково нечистоплотно; нечистоплотно, недобросовестно и оскорбительно для читателя. Есть очень «знойные потребности», которые, однако, всенародно не удовлетворяются. Г. Розанов не знает в литературном отношении никаких границ. Помните, например, как он однажды обратился к Толстому с нотацией, одинаково изумительной как по форме, так и по содержанию: он печатно говорил с «великим писателем русской земли» на «ты» и рылся в интимнейших подробностях его личной жизни. Не помню, где было напечатано это единственное в своем роде произведение русской литературы, во всяком случае ответственность за него, равно как и за все другие курбеты г. Розанова — все эти выдуманные факты, каламбурные аргументы, первые попавшиеся слова, бреды — должна быть распределена между ним и теми редакциями, которые либо совсем безданно, беспощинно пропускают его писания, либо, как г. Шарапов, спохватываются, уже достаточно угостив читателя «философической порнографией».

Надо, впрочем, сказать, что философическая порнография г. Розанова есть дело очень сложное и далеко не все в ней заслуживает запоздалого негодования г. Шарапова. Г. Шарапов утверждает, что г. Розанов проповедует «полную свободу половых сношений». Это неправда или, по крайней мере, недоразумение. Г. Розанов горячо стоит за семью и, как увидим, готов приносить ей даже чрезмерные жертвы; он негодует против так называемых романов в жизни; слова «отец», «мать», «дети» — для него священны. Он с умилением рисует картины то, как мы имели

случай видеть, двух детей, ласкающихся ручонками в люльке, — и даже ни к селу, ни к городу, — то престарелых, любящих друг друга супругов. В связи с этим он восстает против взгляда на половые отношения как на что-то само по себе нечистое, постыдное, унижающее человека. Это закон природы или, как он предпочитает выражаться, Божий закон, и если в практическом его осуществлении бывает нечто грязное, мерзкое, унижительное, то это зависит не от него самого, а от тех рамок, от тех условий, в которых он осуществляется. Отрицательное отношение к самому источнику жизни вызывает лишь массу лжи, лицемерия, фарисейства, страданий и преступлений. Такова исходная точка г. Розанова. Отсюда идут два ряда его мыслей, весьма неравноценных, хотя оба они, кажется, в одинаковой мере возмущают г. Шарапова и других оппонентов г. Розанова. С одной стороны, г. Розанов решает со своей точки зрения некоторые житейские вопросы (о разводе, о незаконных или, как ныне называет их законодатель, внебрачных детях, об истинном целомудрии), причем обнаруживает — что бы ни говорили его оппоненты — много здравого смысла и гуманности, хотя и облекает их, к сожалению, подчас в свойственную ему сумбурную форму. С другой стороны, он строит некоторое головоломное метафизическое здание, вроде Вавилонской башни, основание которое должно корениться в земле, а вершина упираться в небо. Он хочет, говоря его собственными словами, «теитизировать пол и сексуализировать религию». Здесь-то и заключается то, что не без основания можно назвать философической порнографией г. Розанова. Я думаю, однако, что ответственность за нее лежит совсем не в «духе любоддеяния», который будто бы обуял почтенного автора, а все в том же легкомыслии и высокомерии, с которыми он считает возможным или нужным доводить до сведения читателей всякие «первые попавшиеся слова».

Изложить основные мысли г. Розанова чрезвычайно трудно или даже прямо невозможно как благодаря вышеуказанным свойствам его мышления и писания, так и вследствие скользкости темы, многие подробности которой подлежат изложению только в специальных ученых трактатах и учебниках. Он сам пишет о некоторых таких подробностях, что «эти тайны так жгут язык, что о них нельзя, собственно, говорить: и язык “прильпе к гор-тани”, и бумага под чернилами горит, тлеет, проваливается» (117). Кроме того, для меня лично существует еще одно затруднение. Свою «теитизацию пола и сексуализацию религии» г. Розанов производит в рамках христианства, что и составляет «новую концепцию христианства». Он, его единомышленники и противни-

ки аргументируют не только доводами от разума, или данными историческими, естественнонаучными, собственными психологическими наблюдениями, а и евангельскими и ветхозаветными текстами. Для меня, как я уже заявил в «Отрывках из религии»¹³, — а настоящие заметки могут обратиться в один из таких отрывков, — это область неприкосновенная. Не берусь судить, кто из противников прав в своих толкованиях различных мест Ветхого и Нового Завета, и вообще не коснусь «новой концепции христианства».

Я понимаю, что специалисты по христианской догматике могут одни восхищаться толкованиями Розанова, другие возмущаться ими, хотя, признаюсь, меня несколько удивляет появление в качестве таких специалистов г. Шарапова или г. Колышко, известных, кажется, с другой стороны. Во всяком случае, для меня эта полемика не существует. Но вавилонская башня г. Розанова, эта теитизация пола и сексуализация религии затрагивает разнообразные области, не имеющие никакого непосредственного отношения к христианству, в которых, однако, глубокомысленный автор тоже выдвигает «новые концепции» и делает замечательные открытия.

К сожалению, неясны главные термины, которыми оперирует г. Розанов. Он нигде не дает сколько-нибудь точного определения, что такое с его точки зрения религия и что такое пол. Может быть, он потому не находит нужным дать такое определение, что считает его всем известным, а может быть, его собственные на этот счет понятия не совсем ясны. На последнюю мысль наводит то странное применение слов «религия», «религиозный» и т. п., которое он иногда делает. Так, занесенный течением мысли на слово «взор», он останавливается для следующих размышлений: «Какая глубина в этом слове “взор”: ведь тут — глазное яблоко; одна, казалось бы, физиология; но в этой “физиологии” есть скорбь, есть безутешное — есть дух, высоко духовное, по коему мы и переименовываем анатомическое “глазное яблоко” в почти религиозное “взор”» (113). И все это вздор. Никогда и ни при каких обстоятельствах мы «глазное яблоко» не переименовываем во «взор», — мы можем бросить взор, бросить взгляд, но бросить глазное яблоко не можем. Далее, почему во «взоре» г. Розанов усматривает непременно скорбь и безутешное? Оно, пожалуй, есть в тех «взорах усталых» по случаю «ночей безумных», о которых поется в известном романсе Апухтина¹⁴, но едва ли зато тут есть что-нибудь религиозное. Впрочем, со специальной точки зрения г. Розанова, может быть, и есть, ну, а те лукавые, свирепые, веселые и т. п. взоры, о которых мы говорим постоян-

но? Что касается пола, то г. Розанов довольствуется набором слов в таком роде: «кто же не понимает, что пол есть пульсация, есть древнейший в природе ритм»; или: «то темное и разлитое в существе нашем, что мы называем полом»; или еще: пол есть «точка, покрытая темнотой и ужасом, красотой и отвращением». И вот эти-то две туманности г. Розанов желает сблизить, слить воедино, так сказать, взаимно пропитать их одну другой.

«Сближение полов *свято* или *мерзость*?» — так формулирует один из авторов «полемических материалов», г. Гатчинский отшельник¹⁵, вопрос, о котором препираются г. Розанов с единомышленниками, с одной стороны, г. Шарапов, Кусков и проч. — с другой. Сам г. Гатчинский отшельник полагает, что вопрос неправильно поставлен, ибо, дескать, понятие *святости* и *мерзости* неприложимо к тому, что просто *физиологично*. Я думаю, что это верно относительно растительного и низшего животного мира; но для человека на известной ступени развития сближение может быть и свято, и мерзко, смотря по той роли, которую в нем играет, кроме физиологии, еще психология. И если бы г. Розанов стоял на этой точке зрения, то независимо, конечно, от того сумбура, которым он окружает здравую мысль, я приветствовал бы его борьбу с аскетизмом и его неизбежными спутниками, лицемерием и ложью. Но г. Розанов идет дальше, гораздо дальше, и притом совершенно в сторону. Для него сближение само по себе как продолжение или повторение акта божественного творчества есть нечто мистическое, а в его органах, в «том темном и разлитом в существе нашем, что мы называем полом», он видит орудия, которыми приподнимается завеса, отделяющая доступный нашим внешним чувствам и нашему ограниченному разуму мир явлений от «ноуменов», от сущности вещей. Поэтому он устраивает некоторое соперничество между головным мозгом и полом, причем делает в разных областях знания удивительные открытия, которые и излагает своей маханальной манерой первыми попавшимися словами. Удивительно уже само сопоставление и противопоставление головного мозга и пола, органа, занимающего определенное место в организме, подлежащего мере, весу, химическому анализу и т. д., и чего-то «темного и разлитого в существе нашем». Но дело становится, может быть, еще удивительнее, когда логическая нескладница такого сопоставления как будто сглаживается и мы узнаем, что пол имеет свои «два кульминационные выражения в лице и знаках пола». Таким образом, «пол» локализуется и сопоставлению с головным мозгом подлежит «лицо» (как помнит читатель, лиц у нас собственно пять: настоящее лицо, да две ладони, да

две ступни, — но это мы, краткости ради, оставим в стороне) и «знаки пола». Г. Розанов согласен, что «есть бесспорная зависимость между телом, corpus, как музыкальным инструментом огромной сложности струн, и между мозговыми массами, где как бы собрана в небольшом объеме их всех клавиатура»; но, — говорит, — «зависимость от этих масс собственно “души струящейся” гораздо темнее и даже вовсе сомнительна. Например, это: “диктует совесть, пером сердитый водит ум”, или у того же поэта и в том же стихотворении: “И мир мечтою благородной пред ним очищен и обмыт”¹⁶ — как-то ужасно трудно отнести к «извилинам» «белого» или «серого» вещества мозга. Еще так называемую статическую, неподвижную сторону души, что-нибудь вроде аристотельских силлогизмов... можно представить себе неподвижно “от века” лежащею в мозговых массах, но “Мир мечтою”, т. е. *вихрь*, таинственный утренний ветерок, который даже в чисто умственной работе *ворошит и перебирает* силлогизмы... нельзя отнести туда, как нельзя отнести сон и бодрствование». Сообщив несколько высоко ценных и совершенно новых мыслей о сне и бодрствовании, а также о том, что в некоторых половых аномалиях психиатр ищет разъяснений у акушера, — все это, впрочем, на одной страничке, — г. Розанов заключает:

«Душа в ее динамическом смысле, как “ветерок” мыслей, как “крылышки” около силлогизмов, которые уносят их туда и сюда — вовсе и нисколько не имеет своим сидалищем мозг, но то темное и разлитое в существе нашем, что мы называем “полом” и что имеет в лице и знаках пола только два кульминационные свои выражения... Психическая деятельность, представляя как бы гуттенберговский перевод иероглифов пола, струится с лица, как “мысленный свет”, как аромат “доброты” и “ласки”, страха за ближнего, готовностей для него: “Тс... Тс... Ромео, это ты?” Неужели это “в мозгу вырабатывается”? Конечно — это стекает с лица. Лицо живет, играет, движется, говорим ли мы, пишем ли сочинения, скорбим ли, радуемся ли: “душа” есть “жизнь” лица, “отблеск” духовный с “одушевленных” его линий, струйка, стекающая с многозначительных его точек, со “сморщенного” чела, с “ласкового” взора».

Во всей этой цитате курсивы и кавычки принадлежат г. Розанову, очевидно, отмечая собою особенно значительные и характерные для авторской мысли выражения. Но что собственно значат все эти «ветерки», «крылышки», «вихри», все эти эпитеты вроде «струящаяся» душа? Что это за процесс, которым «стекает с лица» какой-то «мысленный свет» и «аромат доброты»? Почему ум Аристотеля имеет своим сидалищем головной мозг, а «сердитый ум» поэта — «кульминационные точки пола»? Все это не больше, как «слова, слова, слова», прикрывающие собою

нечто детски-невежественное. Но г. Розанов так верит в свои слова, слова, слова, что, как мы видели, усмотрев в портрете Рафаэля лицо девушки и не имея, кроме этого своего усмотрения, никаких данных, смело говорит о «постоянном и сильнейшем в нем половом возбуждении *utriusque sexus*». Для решения естественно возникающего вопроса — что это значит и как это возможно, — я предложил бы избрать комиссию из сведущих людей, в которую рекомендовал бы членами одного из редакторов изданий, в которых печатались произведения г. Розанова, например, кн. Мещерского и г. Колышко¹⁷, утверждающего, что ныне и вообще «часто не различишь, где начинается мужчина и где кончается женщина» (с. 83. «Полемические материалы»).

Маханально покончив с головным мозгом и лицом, г. Розанов столь же маханально справляется с «отделившимися и главными, нижними точками пола». Мы и здесь получаем ряд замечательных и совершенно неожиданных открытий, из которых я могу представить читателю лишь немногие. И да простится мне обилие цитат: читатель, я думаю, и сам убедился, что передавать идеи г. Розанова своими словами невозможно. Прежде всего, мы получаем любопытнейшее сопоставление лица и «главных нижних точек пола». Дело в том, что «фигура человека “по образу и подобию” имеет в себе как бы внутреннюю ввернутость и внешнюю вывернутость — в двух расходящихся направлениях. Одна образует с ней феноменальное лицо, обращенное по сю сторону, в мир “явлений”; другая образует лицо ноуменальное, уходящее в “тот” мир, к каким-то не астрономическим звездочкам, не наших садов лилиям». «Лицом мы только достигаем, отгадываем, догадываемся, любопытствуем; напротив, здесь — абсолютное молчание, но исполненное какого-то таинственного ритма, пульсации; самая форма — пустоты, полости, в противоположность “выпуклостям”, “уплотнениям”, из сочетания которых составлено лицо; “пустота”, т. е. начинающее *отрицание материи*, противоположный уплотнению полюс... Это есть противоположный логическому порядку мир, где нет вовсе познаваемых феноменов и начинаются собственно зиждительные ноумены».

В этой цитате каждое слово — перл. Так как о ноуменах нам ничего не известно и не может быть известно, то предоставим их в полное распоряжение г. Розанова, пусть он их помещает, куда хочет. Но почему «здесь» «нет вовсе познаваемых феноменов»? Они есть, их изучают анатомия, физиология и некоторые их специальные отрасли. И г. Розанов сам это знает, он брякнул свое нелепейшее отрицание с разбегу, маханально. Точно так же

маханально распределение «пустот», которых будто бы нет в лице (рот, носовые, ушные полости), и «выпуклостей», которых будто бы нет «здесь». Но мимо эти маленькие вздоры и перейдем к важному открытию г. Розанова в области общей биологии. Помнится, в одной из своих прежних статей г. Розанов глубоко презирал Дарвина, и конечно, английский натуралист вполне заслуживает презрения русского философа. Пресмыкаясь в мире феноменов, английский натуралист копил и громоздил один на другой мелкие факты для доказательства родства таких-то и таких-то растительных видов, таких-то и таких-то животных, и лишь убежденный этой подавляющей массой фактов, высказал гипотезу о происхождении видов вообще. Г. Розанов, которому, если позволено будет так выразиться, на феномены наплевать, потому что он силен если не знанием ноуменов, то «тайным касанием» к ним, решает вопрос гораздо проще, а именно:

«Пол в растении есть только временный феномен; это “распускающийся” и “оппадающий” цветок: остальное время года есть *живое*, но оно не имеет выявленных *точек сосредоточения* пола. Но вот, цветок (растение) разделяется: его венчик, лепестки, даже тычинки и пестики, вся “видная” часть, всякое в нем “выражение”, “сказывание” о себе — сохраняют верхнее, переднее положение; напротив, все внутреннее уже в цветке, полости оплодотворения и плодоношения относятся назад. Едва этот чудный факт, в сущности, разделение цветка, произошел — существо начинает *шевелиться, бегать, испытывать страх*, когда его ловят, *ловить* — когда оно голодно. Мы получаем план *животного*, собственно, разившийся из цветка; лицо, *личико* в нем — существующее в зачатке у насекомого, у раков, у “долгоносика” — суть *преобразованные наружные покровы пола*, отчего оно и бывает мужское и женское; а собственно внутренние половые части — есть затаившийся внутри плодник и “чрево» (с. 8).

Видите, как просто: некоторое изменение во «внутренних ввернутостях и внешних вывернутостях», и растение превращается в животное. Куда же Дарвину до такой гениальной простоты! Есть в книге г. Розанова еще одно место, пожалуй, еще более посрамительное для медленной работы Дарвина, но я его приводить не буду — очень уж скользкая тема (сюда именно относятся фиговые листья фабрикации г. Шарапова). Такие более или менее рискованные места в изобилии рассыпаны по всей книге г. Розанова, что и дает повод некоторым из его противников обличать его в порнографии и «блудодейном духе». Я думаю, что обвинение это ставится слишком круто. Г. Розанов и сам понимает возможность и даже как бы законность подобных нареканий.

«Не заблуждаюсь ли я? — спрашивает он. — Не гублю ли душу свою бессмертную и с нею вместе души своих читателей, за кои по существу

дела автор всегда ответственен? Что область блужданий на обыкновенное (феноменальное) суждение “грязновата” — это-то я видел; но ведь и вся цель поисков была — найти, не *загрязнена* ли она только, такова ли она an und für sich * в до-мирной истине своей. И если «нет» — *очистить*. Но это очищение невозможно было произвести одною только философией, по существу холодной и лишь пролетающей *около* темы (может быть — *мимо* нее): нужно было, т. е. была задача — снизить и чуть-чуть уничтожиться *самому* перед темой. Как бы, взяв священную бороду, начать оттирать ею точку всеобщего тысячелетнего плеванья, столь важную вместе точку! “Погибни мое имя, но воскресни вещь”... Это и было причиной, что я не только писал о теме, но и сливал свое лицо с ней, как бы говоря всякому, желающему оскорбить ее: “я — тут, человек; до известной степени философ, мудрец”» (129–130).

Этот мудрец, презирающий «обыкновенное, феноменальное суждение», мирящийся только на «до-мирной» истине и обтирающий ради нее своей священной бородой загаженные места, — это наивно, до комизма наивно, но «любодейного духа» тут нет. Своим стремлением «теитизировать пол и сексуализировать религию» г. Розанов напоминает некоторым из возражающих ему древние сладострастные культы, в которых «знаки пола» были предметами мистического поклонения. На это у г. Розанова есть только одно возражение, очень неосновательное, которое притом и возражением нельзя, собственно, назвать. Он говорит: «Ну, что кроме *слова* мы знаем о «культе Phallus’a»? Это как надгробная надпись: “под сим камнем лежит тело Ивана Ивановича”. Но кто он был и что с ним было — уже *прохожий* (мы) не знает!» (93). Нет, кое-что мы знаем, и очень жаль, что этого не знает г. Розанов, хотя бы уже потому, что знание это — конечно, только «феноменальное»! — дало бы ему материал для настоящего возражения. Сладострастные культы древности, имея в большинстве случаев оргиастический и экстатический характер, не знали тех строго определенных рамок умеренности и аккуратности, которые настойчиво рекомендует г. Розанов. Так, например, он пишет: «Вот первая *особенная проблема* мирского жития: в какие времена и с каким духом можно приблизиться брачному к жене своей? Едва я задаю себе этот вопрос, как отвечаю: не в опьянении, не в объядении, не в усталости, не в раздражении и лукавстве» (253). Г. Розанов стоит за воздержность, руководствуясь при этом отчасти церковными правилами, а отчасти физиологическими соображениями: «То, что не венчают в Великий пост — есть всеобщее и всему народу указание разрывать факти-

* сама по себе (нем.).

ческое супружество на семь недель. Теперь, если взять шесть дней недели воздержания, то уже для самых пылких сил оно возможно» (148). Г. Розанов скорбит об отсутствии готовых «кратких молитвословий *перед и после*» (178). «Собственно *утренняя и вечерняя* молитвы и должны бы быть составлены *в отношении к этому акту*, возможному в ночи, как важнейшему самого сна» (198). «Демон ни против чего так не ухищряется, как против полового акта: “тут бы надо побережь человека, а уж там я погублю его!” Поэтому *одно* из направлений молитвы *перед* “сближением” должно быть *против* Велиара, к отогнанию его злых ковов. “Зову тебя, Вечный Боже, дабы ты оградил меня и ее от лукавых ковов”... Но тут вообще нужен гений слова, и мы умолкаем по бессилию» (199). Вся эта строго обдуманная и требующая большой выдержки обстановка не имеет ничего общего с культами Ваала, Астарты, Вакха-Диониса, нашего Ярилы и проч., и проч. Далее, характерная черта этих культов — о чем мы впоследствии будем говорить подробнее — есть жестокость: истязания, самоистязания, кровопролитие. Г. же Розанов, как христианин, проповедует кротость, любовь к ближним, смирение, и жесток он разве только по отношению к школьникам, пороть которых, по его мнению, необходимо. Наконец, те культы представляют собою либо обломок глубокой старины до-патриархального быта, либо бессознательный протест против семейных уз, тогда как для г. Розанова семья есть святыня. Одна из его статей так и называется «Семья как религия». Тот акт, на возвеличение которого он потратил столько мудрости и ради которого готов испачкать свою священную бороду, ценен и важен для него не сам по себе, а как акт деторождения, «сотворения душ». Для него «Библия есть универсальная педагогика (= дето-вождение) и даже, пожалуй, универсально-родильный дом» (260). К подножию семьи повергает он и отечество, и человечество. Именно в этом смысле надо понимать такое, например, его замечание: «Отечество всегда продавалось ради любви, и это хорошо: “хотят штурмовать их город, а там — мой возлюбленный; предупрежу их город, чтобы не удался штурм, и не убили моего возлюбленного”. И хорошо, что так. Все — осколками у ног любви; и без всего человек проживет, а без любовности он сейчас бы умер» (220). В этой тираде слова «возлюбленный», «любовь», «любовность» следует разуметь в связи с отцовством и материнством. И может быть, дело было бы яснее, если бы г. Розанов привел не столь поэтическую иллюстрацию к своей мысли, а указал бы, например, на казнокрада или взяточника, обкрадывающего казну (какая разница между этим обкра-

дыванием и «продажею отечества»?) или берущего взятки ради семьи — «ребятишкам на молочишко»...

Боюсь, читатель на меня в претензии. Боюсь, он недоволен тем, что я на пространстве с лишком печатного листа занимал его внимание очевидным вздором. И разве в современной жизни нет ничего, более достойного отклика и освещения, чем этот мудрец, которого, несмотря на его священную бороду, всякий г. Шарапов может отшлепать, приподняв полу халата? чем это перенесение функций головного мозга во «внутренние ввернутости и внешние вывернутости», все эти бреды и первые попавшиеся раскосо-стоящие слова о возбуждениях *utriusque sexus*, о созерцании сквозь кольцо обрезания и проч., и проч.? О, да, в жизни есть много яркого, что и с положительной, и с отрицательной точки зрения несравненно значительнее писаний г. Розанова. Но литература не всегда может откликаться на то яркое, что совершается в жизни, а в самой литературе писания г. Розанова представляют собой явление во всяком случае замечательное. Может быть, и прав один из авторов «полемиических материалов», говоря: «Опровергать набор фраз г. Розанова, отождествлявшего христианские и ветхозаветные воззрения на брак с культом Ваала и Астарты (это-то, как мы видели, напраслина. — Н. М.) и по неведению искажавшего безусловно все исторические факты, будто бы служившие ему опорой, возможно было только в форме остроумно-едкого анекдота» (235). Но обратите внимание на несущиеся к г. Розанову хвалебные гимны и подносимые ему венцы бессмертия. Вот и г. Мережковский проводит такую параллель: «Ницше со своими откровениями нового оргиазма, “святой плоти и крови”, воскресшего Диониса — на Западе; а у нас в России, почти с теми же откровениями — В. В. Розанов, русский Ницше. Я знаю, — продолжает г. Мережковский, — что такое сопоставление многих удивит; но когда этот мыслитель, при всех своих слабостях в иных прозрениях столь же гениальный, как Ницше, и, может быть, даже более, чем Ницше, самородный, первозданный в своей анти-христианской сущности, будет понят, — то он окажется явлением едва ли не более грозным, требующим большего внимания со стороны церкви, чем Л. Толстой, несмотря на всю теперешнюю разницу в общественном влиянии обоих писателей» («Религия Л. Толстого и Достоевского». XXXIII–XXXIV)¹⁸. Не мое дело судить о том, что подлежит большему, что — меньшему внима-

нию церкви, и я позволю себе только маленькую поправку к словам г. Мережковского. Никакого «оргазма» в «гениальных прозрениях» г. Розанова нет, напротив, как мы видели, он требует трезвости («не в опьянении»), умеренности, воздержности (семь недель великого поста и шесть дней недели), аккуратности (раз навсегда данное молитвословие «перед и после»). Что «первозданного» в «сущности» г. Розанова, я не знаю, да и первожданности этой не понимаю, но эпитет «анти-христианский» здесь совсем неуместен. Г. Розанов во всеуслышание исповедует христианское учение, и претензия его — правда, очень большая — не идет дальше «новой концепции христианства», т. е. вящего утверждения его на незамеченных другими основах. Но это милоходом. Заслуживает или не заслуживает г. Розанов хвалы с точки зрения г. Мережковского, — хвала налицо. А хвала г. Мережковского чего-нибудь стоит. «Нас мало, но с каждым днем все больше», — заявляет он (XXXIV). И он не совсем не прав. В прошлом или в начале нынешнего года в Петербурге образовалось «религиозно-философское общество», видными членами и, если не ошибаюсь, членами совета которого состоят и г. Розанов, и г. Мережковский. Но и помимо того влияния, которое они имеют или могут иметь в среде этого кружка, некоторые более общие их взгляды независимо от них самих получают на наших глазах более или менее широкое распространение. Не они одни ищут путей в область заведомо неведомых «ноуменов», как пишет г. Розанов, или «нуменов» по правописанию г. Мережковского. Есть в нашей современной общественной атмосфере что-то такое, что отвращает людей от «феноменов», явлений и устремляет их в «по ту сторонний» мир нуменов, ими самими признаваемый недостижимым, вследствие чего мысль их по необходимости принимает мистический характер полу-веры, полужакобы-знания. Признавая лежащее в основе христианства откровение, они, однако, не довольствуются им и стремятся собственными силами проникнуть в сокровенную сущность вещей. Любопытно, что к этому тяготеют, между прочим, и некоторые недавние ярые сторонники и проповедники экономического материализма: *salto mortale*, очень характерное для истории русской мысли и поучительный пример для всех скороспелых творцов «новых слов». Я не говорю, что эти еще недавно столь непреклонные и непримиримые материалисты совершенно совпадают в своих теперешних воззрениях с г. Розановым или г. Мережковским (не вполне совпадают, как увидим, и они). Может быть, дело и до этого дойдет, может быть, и их с течением времени постигнет перенесение функций головного мозга на «знаки

пола», но пока речь идет только о тяготении к «до-мирной истине» и презрительном отношении к «обыкновенному, феноменальному суждению». Не думаю, чтобы это течение увлекло многих, массу, как это было когда-то с увлечением идеями Писарева, или недавно — марксизмом. Но оно существует, и если не изменятся общие условия русской жизни, то с ним, вероятно, сольются в ближайшем будущем отдельные струи вроде мэонов г. Минского¹⁹, разных толков декадентства, ницшеанства в некоторых русских толкованиях и т. п.

Здоровая и разумная часть писаний г. Розанова — его отношение к аскетизму и связанному с ним лицемерию или страданию и вытекающие отсюда практические выводы о разводе, о внебрачных детях и проч. — отнюдь не составляют какой-нибудь новости в русской литературе. В старые годы уже «дети» в «Отцах и детях» Тургенева все это знали. Нов лишь антураж, обстановка, в которой здравые мысли являются в изложении г. Розанова. Быть может, для известного круга читателей важно и полезно, что мысли эти подкрепляются у него словами Ветхого и Нового Завета, — об этом я не берусь судить. Но обо всем остальном можно сказать старинным изречением: все хорошее здесь не ново, а все новое — нехорошо. Мало сказать: нехорошо. Хорошее у г. Розанова совершенно завалено сумбурно-ноуменальными сугробами, через которые читателю приходится перебираться, ежеминутно увязая по пояс. Сам-то г. Розанов летает по этим сугробам с изумительной легкостью. На то у него «крылышки» и «ветерок»... я хотел сказать: ветерок в голове, но вспомнил, что голова, по толкованию г. Розанова, тут ни при чем, а все дело в «знаках пола». Развязность, с которой г. Розанов предъявляет себя читающей публике — хотя бы и публике «Нового времени», «Гражданина» и «Русского труда» — есть тоже своего рода признак времени. Разумею не то, что г. Розанов часто ведет речь о предметах неудобосказуемых, для которых, по его собственным словам, «в специальных книгах употребляют термины латинского, т. е. мертвого, не ощущаемого нами с живостью языка». Это может быть оправдано искренностью и чистотой намерений. Но никаких оправданий нет для всех тех маханальностей — вплоть до настоящего бреда, — о которых у нас была речь выше.





П. Б. СТРУВЕ

Романтика против казенщины

(В. В. Розанов. «Сумерки просвещения». СПб. 1899).

Имя г. Розанова является, наверное, для большинства читателей синонимом обскурантизма и изуверства. Спору нет: в умственном творчестве г. Розанова есть явственная доля изуверства. Но, с другой стороны, среди современных русских писателей вряд ли кто другой нанес практическому обскурантизму и изуверству столь тяжелые литературные раны, как Розанов. Публицисты, так называемые прогрессивные, и публицисты реакционные по основным вопросам так разномыслят, что не могут с успехом оспаривать друг друга аргументами и даже словами. Их полемика не может не быть противопоставлением двух по существу и в корне, *toto coelo**, враждебных точек зрения. Г-н Розанов находится в ином положении. Он в «их» собственном лагере поднял знамя восстания; он грозит изнутри взорвать цитадель реакционного мировоззрения; он враг не внешний, а внутренний и потому он страшен, гораздо страшнее гг. Арсеньева¹, Михайловского и даже Владимира Соловьева. Да не подумает читатель, что г. Розанов обратился в либерала или даже радикала. Ничуть не бывало. Г. Розанов остался тем, чем он был. Дело только в том, что он — *sit venia verbo*** — *диалектически* развил в своем собственном духовном содержании внутренние противоречия, присущие консерватизму как культурному мирозерцанию.

Г. Розанов был призван показать глубокую рознь исторически и психологически неразрывно скованных друг с другом жидущих начал консерватизма.

* резко отличаются (буквально на «целое небо») (лат.)
** если так можно выразиться (лат.)

И роковое их слияние,
И поединок роковой².

Не он, впрочем, первый несет в себе и выносит наружу это зияющее противоречие.

История славянофильства, к которому г. Розанов, в сущности, примыкает, есть та же идеологическая драма, но только в более крупных размерах. Сперва это гонимая или еле терпимая казенщиной романтика, с широким размахом мысли. Таково славянофильство в эпоху расцвета. Затем, в эпоху декаданса, эта романтика была обращена на казенные надобности и жив дух ее вынут. Но поскольку славянофильство духовно живо до сих пор, оно остается бьющейся в казенных цепях романтикой, протестующей или, по крайней мере, фрондирующей. Даже г. Шарапов (да простят мне крупные тени старых славянофилов кощунственное сопоставление их с г. Шараповым!), даже г. Шарапов и тот вопиет против казенщины.

Консерватизм может быть или целостным культурным миросозерцанием, как у славянофилов, или узким направлением практической политики, как у Каткова. В первом случае консерватизм непременно включает в себе элементы романтики. Общественной романтикой мы называем именно стремление к такому целостному общественному строю, который в жизни или вытесняется, или уже совершенно вытеснен. Романтика всегда поклоняется мертвому или полуживому, но в то же время целостному и идеально одухотворенному. Мне могут сказать, что под это определение романтики подойдет и прямая ее культурная противоположность: ренессанс классической древности. Но ренессанс только внешним образом, по форме, был воскрешением из мертвых и возрождением; внутренне, по своему культурно-общественному содержанию, он был не возрождением, а рождением нового европейского человека, совершенно не похожего ни на средневекового, ни на античного. *Романтическая* маска воскрешения мертвых прикрывала *критический* процесс мучительных родов нового человеческого существа. Исторически «ренессанс» смотрел вперед, а не назад; романтика же всегда смотрит назад. Исторически «ренессанс» * рождал и родил, романтика возрождала и оживляла, но ничего не возродила и никого не оживила. Конечно, и в романтике были и есть элементы живучие, но эти элементы принадлежат не романтике как таковой, это —

атрибуты той «человеческой природы», отрицание которой ныне вошло в моду.

Как бы то ни было, консервативная романтика, создавая или воссоздавая целостный культурно-общественный идеал, требует его целостного воплощения в жизни. Консервативная казенщина охраняет данную конкретную и — в своей конкретности, наличности и несомненности — грубую действительность соответственными параграфами, а также не выраженными ни в каких параграфах «мероприятиями». Романтика идеалистична и даже более того — мистична; казенщина отличается иссушающим реализмом практичности. У нее нет целостного идеала; она всегда направлена на частности и с ними превосходно, в пределах «задания», справляется. Если бы жизнь всегда укладывалась в частности и всегда была бы так же трезва и практична, как казенщина, то бесконечное торжество последней над жизнью было бы обеспечено. Вспомним теперь о том несомненном факте, что даже самый романтичный консерватизм, переходя из теории в практику, пользуется, по общему правилу, для своего воплощения чисто «казенными», т. е. совершенно внешними, до грубости внешними средствами, и мы поймем ту внутреннюю драму консервативного мирозерцания, которая так ярко разыгрывается и в умственном творчестве г. Розанова.

Если не ошибаемся, драма уже сыграна. Романтика победила, и г. Розанов, таким образом, практически перестал быть консерваторм.

В его лице наше современное консервативное направление потеряло (и навсегда, думается мне) самую крупную философскую голову и самый замечательный литературный талант. И во всем этом виноват романтизм, возвышающийся у г. Розанова до глубочайшего мистицизма. В самом деле: если консервативный идеал имеет романтико-мистическое содержание и мистическую санкцию, то его нельзя поддерживать казенщиной, которая всегда проникнута рационализмом и практичностью. Наоборот, казенщина одним своим прикосновением убивает мистический идеал. Она опаснее для этого идеала, чем открытая и самая враждебная критика, потому что нападает незаметно, «аки тать в ночи», и умерщвляет изнутри, прикидываясь дружественной силой.

Самым ярким теоретическим выразителем чистой казенщины, отрешенной от всякой романтики и мистики, был Катков 80-х го-

дов. Его либеральное прошлое, от которого он не разом отвратился, а постепенно удалялся, было хорошей *формальной* школой для его последующего казенного рационализма.

Но чем мог казенный рационализм привязать к себе консервативную романтику с ее страстным мистицизмом? Вот целая историческая проблема. Почему романтик Розанов пошел за практическими катковцами, или, наоборот, почему мистик Достоевский, продолжателем которого был г. Розанов, сделался кумиром и оракулом этих столь рациональных и трезвенных людей? Откуда, — я ставлю вопрос вновь в его общей форме, — этот логически и идеологически противостественный союз мистической романтики с рациональной казенщиной? Я не буду рассматривать этого вопроса как социологическую проблему, не буду вскрывать реальных общественных корней этого любопытного идеологического альянса. Укажу только в немногих словах, что консервативная романтика, являясь идеологическим отражением определенных общественных интересов, необходимо должна звать на помощь казенницу и льнуть к ней и, с другой стороны, столь же необходимо, как социальный утопизм, приходить с ней в столкновение и от нее отталкиваться. С другой стороны, казенщина нуждается в поддержке тех общественных групп, которые рождают романтику как общественную идеологию; но, нуждаясь в романтике, она не может всецело отдаться ей. Укажу любопытный частный пример важной государственной реформы, явившейся на свет Божий как ответ на романтическое «алкание» (с этим понятием и словом мы еще встретимся у г. Розанова) определенной общественной группы, но ответ совершенно казенный и потому идеальным моментам романтики совершенно не удовлетворяющий. Я имею в виду институт земских начальников, характерный своим сочетанием бюрократического типа с классовым содержанием. Здесь меня занимает, впрочем, не социологическое, а психологическое отношение между казенщиной и романтикой в новейшей истории русской общественной мысли. Союз этих двух психологически враждебных и социально связанных духовных укладов определялся тем, что, помимо социальных причин, на которые мы только что намекнули, у них был общий враг: рационалистическая критика. Под этим названием мы объединяем все прогрессивные направления, враждебные как казенщине, так и мистике. Безраздельное господство этой рационалистической критики над общественной мыслью вызвало в 80-х гг. сильную казенно-романтическую реакцию. Но уже скоро в этом

лагере стал обозначаться психологически неизбежный процесс разложения. Самым крупным фактом в нем было отпадение г. Владимира Соловьева, примкнувшего, несмотря на свой мистицизм, к либеральному «Вестнику Европы»*.

Гораздо позже откалывается, никуда не примыкая, г. Розанов. Я думаю, что он и не может никуда примкнуть, что он навсегда останется «диким». Он слишком мистик, слишком целостен и потому слишком индивидуален, чтобы принять какую-нибудь программу, сковать себя какими-нибудь частностями, тем паче казенными. Во всяком случае, г. Розанов отказался от казенщины: душа не вынесла.

Со свойственной ему чисто-юродивой силой он высказал это в статье «Катков как государственный человек» («Биржевые ведомости», № 283 от 17 октября 1897 г.), написанной по поводу изданного г. Грингмутом сборника «Памяти М. Н. Каткова»³. В этой статье г. Розанов вслед за г. Грингмутом характеризует политические программы западников и славянофилов и противопоставляет им программу Каткова. «Общее у них (западников и славянофилов), — говорит г. Розанов — алкание; и вот общее же у Каткова, неизменное на протяжении всей его деятельности — сытость; сытость души эмпирическим содержанием действительности». «В этом заключается великая государственная заслуга Каткова», — говорит г. Грингмут. О, нет, ответим мы: в этом его малость; в этом, и только в этом лежит губительная для его памяти сторона его деятельности, тут — червь, точащий его пирамиду, и, наконец, мы решаемся даже это сказать; тут, в этом практицизме его лежит именно мечтательность его ума, неопытность сердца, незнание действительности. Тут он иллюзионист, создатель самых коротких и близко гибнущих видений... «Катков» и его «десятилетняя» память. Катков «как великий государственный человек». Нет — малый. Почему? Он — среди идущих и не тех, которые ведут. Его сущность, как она правдиво формулирована г. Грингмутом, и заключается не только в отсутствии, но до известной степени в коренном отрицании, — в отрицании навеки, в отрицании для всего народа этих «зовущих голосов», этих таинственных «зовов», на которые, оборачивая во все стороны голову, мы не понимаем, откуда они несутся, но

* Психологически это меня не удивляет: мистицизм г. Соловьева, хотя иногда и выкидывает странные колена, в общем, все-таки бледный и скучный схоластический мистицизм, всего более способный вступить в комбинацию с умеренным либерализмом. Совсем иное яркий, но крайне капризный и вообще *крайний* мистицизм г. Розанова.

почему-то, все дела бросая, спешим их выполнить. Как это прекрасно выразил наш поэт, очевидно в себе эту глубокую тайну почувствовав:

Из света и пламя
 Рожденное слово...
 И где я ни буду,
 Услышав то слово
 Узнаю повсюду...
 Не кончив молитвы,
 На зов тот отвечу
 И брошусь из битвы
 Ему я навстречу⁴.

«Мы назвали Каткова, — продолжает г. Розанов — мечтателем: это потому, что им не принята в расчет коренная действительность истории, самый главный ее нерв, хотя в то же время и наиболее тонкий, менее всего грубо нащупываемый; и потому же еще мы назвали его “неопытным сердцем”: он не знал человеческого сердца в древнейших, исконнейших его основаниях, — тех основаниях, которые бросили военную Францию — за 17-летней девушкой⁵, кинули Карно⁶ и даже позднее Бонапарта распространять “исповедание савойского викария”, и, наконец, циничную и растленную, какова была она была при Борджиях⁷, римскую церковь повлекли вслед странного паладина, еще менее рассудительного, чем герой Ла-Манча. Все это, вся эта громада психики и реальнейшей действительности осталась непонятной Каткову. Конечно, подобных движений мы у себя не знали; все было у нас меньше, бледнее; суженность русской истории сравнительно с европейской заключается в том, что “ветхий деньми” туман “юродства” и истинной “хромоты духа” чуть-чуть брезжил у нас в почти политических, т. е. узких и сухих, слишком «умных» для настоящей значительности партиях славянофилов и западников. Но и это ему не понравилось: даже бледную зарю “взыскуемого града”, — как еще говорит и, говоря, конечно, освящает апостол — он хотел бы согнать с серенького неба нашей истории. Они еще “ищут” эти партии, они “алчут”, — когда он так “сыт”. В самом деле, какая беда и “мука” для уравновешенности от этого. И вот “великий государственный человек” с помощью меньшего, но все же еще очень большого, тоже “государственного человека”, взяв в руки “государственную клюку”, хотел бы вымести всю эту “мистику”, или, как говорит Федор Павлович Карамзов своей жене — “Кликуше”: “Я из тебя эту мистику-то выбью”, не подозревая, он и они оба, что “малейший в царстве сем” непреодолимо сильнее их...»

Лучший (и теперь едва ли не единственный) философ русско-го консерватизма г. Розанов, становящийся на сторону романтического (славянофильского) и критического (западнического) алкания против казенной сытости (Катков), изображает собою историческую Немезиду последней. Он «омахровил», благово-

нил цветок (т. е. консервативный идеал), «бережно отстранив из него все грубое», а Катков и катковцы постоянно напоминают о том, что за этим идеалом стоит «грубый эмпирический факт, слишком колючий, иногда и некрасивый». Этот эмпирический факт «насильствен без всякой мысли, без всякой правды, во имя коей насилие». «Насилие же я всегда признавал и это высказывал, это не устал высказывать... Ведь насилием, деспотизмом дышат многие писатели, из них назову Стефана Яворского⁸, Руссо, Байрона, Кальвина; да насильствен был и Лютер, даже наш Петр... Но что же могло оправдать это насилие? Да аналогичное тому, что всегда его оправдывало, ради чего люди всегда насилие над собой прощали: высшая правда. Но высшая правда есть именно логика ума и чистые алкания сердца». Так говорил г. Розанов в том письме в редакцию «Северного вестника»⁹, в котором он раскрыл свое авторство заметки в «Русском труде», направленной против знаменитого грингмутовского предложения вторичной присяги.

Тут ясно вскрыта рознь между консервативной романтикой и консервативной казенщиной. Мистическое «насилие» г. Розанова не только не тождественно с теми скорпионами, за которых стоят катковцы, оно даже оскорбляется ими как поругание «высшей правды», ей же должно служить всякое насилие. Мне кажется, что г. Розанов — со своей *мистической* точки зрения — неправ, отстаивая и такое, подчиненное высшей правде, насилие; мне кажется, что теперь он даже отказался от этой позиции. Это и логично: перед мистическим идеалом, который есть, по существу своему, идеал *нездешний* или, во всяком случае, идеал *невнешний*, все политические формы равноценны или одинаково малоценны. С точки зрения этого идеала, даже грандиозное насилие Петра ненужно. Более того: оно вредно, поскольку всякое насилие понижает личность, так как именно с той религиозной или мистической точки зрения, на которой стоит г. Розанов, «личность всякая, которая жива, абсолютна, как образ Божий, и неприкосновенна» («Легенда о Великом Инквизиторе» Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария В. Розанова», СПб., 1894, с. 44). Это либерализм и даже, точнее, индивидуализм, возведенный на степень мистицизма и религии, и автор этих строк рано или поздно должен был уйти из сонма «Московских ведомостей», где проповедуется оголенное от всяких идеальных моментов, но зато крайне практичное принуждение, принуждение себе довлеющее, «самоцельное».

Отпадение консервативной романтики от консервативной казенщины обуславливается еще вот чем. Союз их возник в эпоху

борьбы, самозащиты против «воинствующей церкви» критического рационализма, по всей линии бывшей в наступлении. Казенщина, для того чтобы окружить себя известным ореолом, *нуждалась* в романтике; романтика могла искренно увлекаться казенщиной, которой угрожала опасность. Но затем общий противник был повержен во прах, и реакция восторжествовала по всей линии, даже в умах так называемого «общества». Началось осуществление программы, в котором сказалось поразительное идеальное бесплодие казенщины. Исчерпав себя до конца, опустошив и без того пустую и скудную жизнь, она, правду сказать, ничего не дала романтическому «алканию», ибо алкать вообще по штату не полагается. Обиженная казенщина возбуждала симпатии романтики, сытая (Катков) и даже пресыщенная (а потому отвратительная — современные «Московские ведомости») ее раздражает, возмущает и отталкивает. Это психологически естественно, это социологически необходимо, потому что романтика ставит утопические цели, которых казенщина не может и не хочет осуществлять, — вот почему момент борьбы с общим врагом, явно опасным, мог и должен был их объединять; момент торжества над обезвреженным врагом может и должен их *разъединять*.

Романтика г. Розанова, как мы сказали выше, примыкает к славянофильству в той мистической окраске, которую придал ему Достоевский. От славянофилов г. Розанов отличается большей напряженностью мистического чувства; от Достоевского его отделяет широкая и глубокая философская культура ума, меньшая жестокость, более живое уважение к человеческой личности. Однако, несмотря на бесспорную философскую культуру, г. Розанов поражает своей удивительной наивностью, и именно потому поражает, что он в то же время глубокий мистик.

Сборник статей, заглавие которого нами написано выше, открывается хитроумной, до краев полной мыслей, статьей «Сумерки просвещения».

В ней автор разбирает современное эклектическое образование, символизируемое им в образе создания гомункулуса искусственным путем.

«...После сорокадневного брожения в закрытой колбе вещество оживляется и двигается, что легко видеть. Оно принимает форму, отчасти подобную человеческой, но совершенно прозрачную и еще без corpus. После того его нужно кормить *arcano sanguinis humani* * в продолжение

* тайная человеческая кровь (лат.)

сорока недель и держать постоянно при одинаковой теплоте *ventris eguini* *; тогда выйдет совершенно живое человеческое дитя, со всеми членами, какие бывают у всякого другого дитяти, рожденного женщиной, но только гораздо меньшей величины; такое дитя мы назовем *Homunculum*.

Эти слова Парацельса¹⁰ об искусственном, помимо природы, способе образования человека, невольно припоминаются при взгляде на ту картину, какую представляет Европа в своих попытках образовать, уединяясь от истории, человеческую душу через соединение в ней путем воспитания различных и одинаково ценных качеств. Задача знаменитого алхимика по своему смыслу и основаниям была лишь слабым прообразом той задачи, которая с неменьшим упорством и гораздо большей уверенностью в успехе осуществляется повсюду, во всех странах, в наш век: выработать в искусственных условиях, лишь подражающих природе, живой организм, вырабатываемый только через ее таинственные процессы» («Сумерки просвещения», с. 1).

В образовании, осуществляемом *современным государством* наподобие создания гомункулуса, г. Розанов видит воплощение мечты Руссо — Эмиля¹¹.

«Есть два пути воспитания, — говорит Розанов в развитие этой мысли, — естественный и искусственный. Первый путь состоял почти исключительно из непосредственных созерцаний, и под влиянием их в духе и смысле каждого века возрастало новое поколение. В Древней Греции предметом этого воспитывающего созерцания служили памятники искусства, картина всей широко развитой общественной жизни, религиозные процессии, мистерии и более всего прекрасные учреждения полу-городского, полу-государственного характера. Как орудие, и очень могущественное, такого воспитания, уже все это понималось людьми того времени: об этом читаем мы у Фукидида, об этом же говорил Демосфен. В более узком, но в подобном же духе, было воспитание в Риме.

В средние века изменился до противоположности и дух, и смысл воспитания, но его орудия остались те же.

С прежними богами ушел в землю и прежний человек... Неузнаваемо переменялся человек, но одно сохранилось в нем — красота его, став вместо внешней более внутренней. Рыцарь, как и марафонский воин, как и сенатор в годину Канн, были, каждый по своему, прекрасны... С конца прошедшего века, когда старые произрастания погибли и для всего заложены были новые семена, одно семя заложено было и для нового воспитания. Его бросил на землю незадолго перед великим историческим катаклизмом человек, о котором из всего, что было высказано, вернее всего было бы сказать, что это был самый искусственный, наименее естественный по натуре из тех, какие знает история, порождений женщины; и вместе он одарен был силою притяжения к себе, какою мало кто обладал в ней. И мощь даров его, искусственность его природы отпечатались в

* брюхо кобылы (лат.)

трудах его: семя, им брошенное, жадно принялось землей, и когда возросло оно, осенило землю зловещей тенью» («Сумерки просвещения», с. 76–77).

Странное впечатление производит это нефилософское и вовсе уж немистическое деление явлений на естественные и искусственные. Но этот рецидив «естественного порядка» и «естественного права», при всей его научной несостоятельности, пожалуй, даже симпатичен нам. Ведь за последние 30 лет не было такого здравомысленного и позитивного осла, который не считал бы своим долгом лягнуть, как теоретическое построение навеки опочившую, но как практическое начало, не умирающую, вечно юную идею естественного права. Но философу г. Розанову не пристало подпирать свои практические, хотя бы и неоспоримые, мысли такими плохими теоретическими костылями. Впрочем, г. Розанов в данном случае всецело повторяет великих романтиков права, Савиньи и Пухту¹², которые, отрицая современное им естественное право рационализма по его содержанию, любезное им *романтическое* право превратили в естественное. Так и г. Розанов, отрицая естественное воспитание по идеям Руссо, свой собственный идеал воспитания возводит в ранг естественного. Нефилософская это операция, да к тому же неужели «естественность» (допустив на минуту, что она не есть фикция) является достаточной для мистических потребностей санкцией? Ведь это, г. Розанов, не мистика, а чистый натурализм, преклонение пред фактом и т. д. и т. д.!

Но оставим г. Розанова сводить философские концы с концами и посмотрим не на санкцию, а на содержание его идей. Г. Розанов отрицает чисто-начисто современную европейскую культуру.

«Все чувствуют, и уже давно, в Европе, странную безжизненность возрастающих поколений. Они безжалостны не в одном каком-нибудь отношении, они лишены не которых-нибудь даров, будучи богато оделены другими. Именно ядра в них нет, из которого растет всякий дар, все энергичное в действии или твердое в сопротивлении. Та “искра Божия”, которая светится в человеческом образе часто сквозь мрак, его одевающий, сквозь его грубость, необузданный произвол, невежество, — в этих поколениях, наружно лоснящихся, ничего выдающегося дурного не делающих, как будто погасла и ее ничто не способно пробудить. Странная антикультурность на исходе XIX века, самой великой эпохи в истории культуры, поражает в них: они не только не продолжают своего времени, не суть дети безумного в порывах своих «просвещения» XVIII–XIX веков; они и не принадлежат ни к какой другой эпохе, не сочувствуя и не понимая более ни одной из отживших культур. Христианство с его высоким спиритуализмом, аскетическими подвигами, углубленной святой лири-

кой ничего не говорит их сердцу, возбуждая или кощунство, или равнодушие, или слабые попытки его переиначить; и того культа плоти, того самоуслаждения человека своей красотой, которым жила древность и что вспыхнуло и ярко засветилось на рубеже средней и новой Европы, в них нет не только как собственного чувства, но и как пониманий чужого чувства. И нет никакого желания по уединенному труду, по героизму мысли, по отречению ради отыскания истины от всех утех жизни последовать необозримому множеству тружеников на всех поприщах за три последних века. Как будто какая-то предательская рука, подкравшись к лезущему на Олимп поколению прежних титанов в миг, когда они были так горды, так упоены близкой победой — ослепила их, и сразу потух свет в их глазах, укротилось желание, спала гордость, и они одинаково безнадежно смотрят на небо и землю» (с. 6–7).

«...По истечении восемнадцати веков христианской культуры, непрерывного исторического созидания... непрерывно возрастая до этого времени, лик европейского Запада с тех пор начал обратно суживаться. Лишние, столь долго его красившие тени одна за другой сходят с него, и он вновь принимает всюду, во всех направлениях, одно выражение. Быть христианином, как и быть действительно независимым художником или мыслителем, наконец, быть отцом прочной семьи — все это слишком трудно и сложно стало для человека, все это требует обилия творческих и организующих сил, и, не находя их более, слагается для облегчения индивидуума.

Рост государственности в Европе всюду идет рука об руку с развитием индивидуализма — этого уединения человека в себя, вдали от общества. Гражданский долг, который затем остается, — это уже давно не долг римлянина, или даже афинянина: это — только отсутствие всякого долга, озабоченности, предоставление другим — досужим или оплаченным людям — нести бремя тревог, ответственности, какое возлагает на каждого полнота человеческого существования.

Все связи, всякий лишний убор прав, обязанностей, забот слагается с себя индивидуумом, чтобы, уйдя из-под них, он мог на досуге предаться своим маленьким наслаждениям или просто, чувствуя себя свободным, не чувствовать позади себя никаких напоминаний. Мы сказали о язычестве, к которому передвигается европейское человечество с христианских основ; но это не прежнее мощное язычество Рима; это новое маленькое язычество перед своим “я”, в стороне от больших путей истории, и даже с возможным забвением об этих путях» (с. 80–81).

Спорить с автором этих строк мне трудно. Во-первых, у него Европа, эта богатая своим культурным разнообразием, Европа, в которой столько жизненных сил и в которой идет такая напряженная борьба общественных форм (*α πόλεμος πατήρ πάντων*), оказалась каким-то сплошным серым пятном. Во-вторых, эти споры о европейской культуре, гнила ли она или цветуща, сера или богата красками, мертва или жива — эти старые споры всегда казались мне праздным занятием. И по очень простой причине.

Европейскую культуру я люблю как солнце, тепло, чистый воздух; гниющих трупов и серых людей не выношу. Und damit basta! * О западничестве своем я не рассуждаю так же, как никакой порядочный человек не рассуждает о своей нравственной опрятности. Я таков, car tel est mon plaisir **.

Но, конечно, jeder darf nach seiner Façon selig werden ***, и г. Розанов такой же jeder, как и всякий другой. Только спорить об этом скучно. А потому не ради полемики скажу кратко, в чем видится мне мощь и смысл современной европейской культуры.

Эта культура в своих передовых течениях продолжает дело ренессанса и великой революции. Она возвышает личность, стремясь к тому, чтобы объективные условия полноты развития личности стали доступны всему человечеству. Таким образом, передовые течения новейшей западной культуры являются по своей *идеальной* цели последовательно проведенным, продуманным до конца, индивидуализмом. Эти течения неиндивидуалистичны или противоиндивидуалистичны лишь в *своих средствах*. Всесторонне развитая личность — как цель, общественная организация — как средство, вот та практическая «формула прогресса», которой движется вперед современное культурное человечество. Культура, идеал которой резюмируется в такой грандиозной формуле, не может быть названа серой и несложной. Наоборот, самое *формальное* противоречие между целью и средством говорит о полноте содержания этой культуры, о той сложной игре сил и соотношений, которая в ней происходит и в которой осуществляется ее рост. Индивидуализм как идеал был и раньше заветным лозунгом новой европейской культуры; им он остался и до сих пор. В этом смысле все новые движения пришли «не разрушить, а исполнить». Вот почему те, кто стоит в передовых рядах современной западной культуры, могут не только справедливо, но и любовно относиться к прошлому своей культуры: в нем есть ростки будущего. Вот почему также индивидуалистическое мировоззрение Ницше некоторыми своими сторонами (идеальной целью) не только не стоит в противоречии с демократическими тенденциями нашего века, но, наоборот, наполняет их глубоким и богатым внутренним содержанием. Культ человеческой личности, ее внутреннее обогащение не менее присущ современной европейской культуре, чем XVIII веку; те-

* и на этом хватит (*нем.*)

** так как мне это нравится (*франц.*)

*** Каждый может быть счастлив по-своему (*нем.*)

перь только средства для возвышения личности стали иными, и другой общественный класс борется за эту великую цель.

Я нарочно говорю о европейской культуре как о целом, потому что в лице славянофильства и вообще русской национальной романтики мы встречаем отрицание именно *целого*. У славянофилов, а в особенности у Герцена и Достоевского, мы, кроме того, натываемся на противопоставление европейской культуре разрушительной стихии — пролетариата, который якобы грозит смести не только буржуазию, но и всю выработанную Западом цивилизацию. Это поистине детское и варварское представление о «варварском» характере и «варварской» миссии западного пролетариата теперь, кажется, более уже не встречается у серьезных представителей европейской и русской мысли. Единство европейской культуры и причастность к ней пролетариата настолько ясно выступает в настоящее время, что не видеть этого единства и этой причастности может только слепой. Я желал бы заранее отстранить от себя упрек в том, что я затушевываю различные течения в европейской культуре, коренящиеся в антогонизме общественных классов. Эти различия есть, они очень велики, но, вопреки старому русскому баснословию славянофилов и до сих пор не умолкающему карканью западных реакционеров, они не распространяются на *культуру как целое* и прежде всего не распространяются на ее индивидуалистический *идеал*, на ее «дух жив». И потому, когда мы, новейшие и наиболее последовательные из русских западников, очень чутко разбирающиеся в разных голосах, раздающихся на Западе, очень хорошо умеющие различать разные краски, наслоения и струи его культуры, когда мы слышим огульную хулу на западную культуру, мы знаем, что хулят наше, нам дорогое и родное, хотя, конечно, ни Панама, ни Бисмарк, ни многие другие частные плоды или, вернее, порождения европейской «культуры» нам не дороги.

Разрыв между казенщиной и романтикой, выразителем которого является теперь г. Розанов, всего ярче сказывается в его воззрениях на школу. Он мог бы с полным правом над «Сумерками просвещения» поставить в качестве эпиграфа слова Ницше:

Staat heisst das kalteste aller kalten Ungeheuer^{13*}.

* Государством называется самый холодный из всех холодных ужасов (нем.).

Г. Розанов ежится от холода государства; его отталкивает казенный характер современной школы:

«Границы закона узки. Мы должны, наконец, сознать, что государство имеет свою определенную природу, и, сколько бы ни усиливалось, не может переступить естественных ее пределов, как и человек никогда не может перепрыгнуть через свою тень. Государство есть только форма, оболочка, но не живой дух. В нем нет вообще ничего субъективного; и как творческим может быть только живой субъект, — в государстве нет и не может быть ничего творческого» (с. 215–216).

«Задача просвещения вообще не может быть выполнена громоздкими органами государства: просвещение — это эмбриология, это процессы в мельчайших, микроскопических тканях организма, между тем как государство в расчленении своем — это анатомия. Отсюда — новый вывод: что в просвещении государству принадлежит лишь образование, помощь, лишь самое общее и высшее руководство делом, но инициатива и вообще все живое, самая работа должна принадлежать более мелким единицам социального сплетения: городу, сословию, церкви или семье и, наконец, более всего, лучше всего — частному человеку, с его зоркостью *terre a terre* *, с его находчивостью» (с. 203).

Школа «стала интенсивно работающей фабрикой под наблюдением государственных инспекторов и с государственными рабочими, некоторым интенсивным производством душ человеческих почти по тому способу, как некогда Парацельс производил своего маленького гомункула» (с. 167).

Стоя на такой точке зрения, г. Розанов, конечно, может только отрицательно относиться к самой казенной из всех школьных систем: к водворенной Катковым и гр. Толстым системе классического образования. Он дает мастерскую и поистине художественную характеристику этой реформы. «В уклад нашей жизни эта реформа вошла каким-то сухим и высокомерным листом; еще ничему не научив, она уже оскорбила и, естественно, не могла позднее ничему научить» (С. 185).

Наши школьные реформаторы взглянули на Россию, как на Простакову, на русских детей, как на Митрофанов. Г. Розанов спрашивает:

«Воспитательно ли, образовательно ли — пусть даже вы входите в страну, действительно населенную Простаковыми, — начинать ее “просвещение” с констатирования именно факта, что это — все Простаковы. Слава Богу, вся Европа училась, просвещалась, и решительно мы не помним, чтобы какую-нибудь, где-нибудь страну инструкторы называли “страной Простаковых”: впервые это у нас случилось. *Angeli* — ангелы: пусть эта страна белокурых детей называется “Англией”, так по записи средневекового хроникера произошло имя Англии и англичан, данное первыми свя-

* К банальному (*франц.*)

ценниками-миссионерами Рима. Вот первое зрительное впечатление, и уже сейчас — ласка и, конечно, сейчас же просвещение. Но вот, после тысячи лет существования, к нам выходят новые инструкторы для переучивания, и первое, что мы слышим от них, есть — “Митрофаны”. Еще учение не началось, а мы уже оскорблены. Сузим поле зрения, войдем в классную комнату: вот перед нами, конечно, перепуганный и смущенный “Митрофан”, обдумывающий, действительно ли его папа — “Скотинин”, и мама — “Простакова”: как, думаете вы, внимательно он слушает теперь наставления учителя? следит за окончаниями в *extemporale* *? Не возбужден ли он, не ожесточен ли? В ответ не смеется ли он злобно над всем, что вы ему говорите, и прежде всего — довольно не без основания — над вашим лицом, над вашей душою, знаниями, усилиями.

Задача и способ образования и особенно воспитания в ней (в современной школе) сообразованы исключительно с требованиями бюрократического удобства, бюрократических навыков, установившихся способов руководить, работать, воздействовать, наконец, наблюдать, размышлять. Ведомство народного просвещения — у нас, разумеется, как и везде — по существу своих действий, по характеру и по методам своего труда ничем вовсе не отличается от министерства путей сообщения, земледелия и государственных имуществ, финансов и пр., а между тем его задача совершенно другая. Все остальные министерства работают над материальными задачами, над грубыми вещественными предметами — измеримыми, исчисляемыми, механически регулируемы, и приемы, там созданные, приемы «общимперской» работы, распространены на министерство народного просвещения, которое имеет своей сферой область духа, трудится над умственной и нравственной стороной человека. Войдите на урок в любой гимназии, по любому предмету; взгляните на этого чиновника в виц-мундире; взгляните на этих учеников в мундирчиках, которые не смеют шевельнуться, не могут задать вопроса учителю; взгляните на этот страх, обоюдно сковывающий первого и вторых, — и вы увидите, что никакого, в сущности, просвещения тут не происходит. Если вы зорки — присмотритесь к обману, тут совершающемуся, на эти подстрочники, подсказывания, притворное заикание, чтобы выиграть минуту и обмануть учителя, и вы увидите, что здесь происходит скорее развращение и притупление» (с. 159).

Чудесно делаемое г. Розановым сопоставление малого и великого, — реформы Петра и реформы Каткова.

Петр

«Не презирал страны родной —
Он знал ее предназначение»¹⁴.

«Катков и его сателлиты выросли в нашей земле новой фигурой, с неизвестными чертами. Страна, которую умел “не презирать” Петр, бывший ее истинным просветителем, этим людям — очень, в сущности, не уточненного ума — представлялась грубой доской, где им предлежит на-

* экстемпорале (*лат.*) — письменная работа по переводу текста на иностранный язык без подготовки.

чертать слова необыкновенной мудрости. Одна тенденция этой мудрости ясна: где бы ни загорелось светом человеческое лицо — набросить на него смертный покров. Сузьте фигуру Филиппа II Испанского до частного человека, пожалуй, раздвиньте фигуру Плюшкина до размеров короля, — их обоих теоретизм, их размышления “про себя”, боязнь ступить на почву, и столь плачевный неуспех в истории и частной биографии, — и вы получите много черт Каткова и объяснение неуспеха его по крайней мере в педагогической сфере» (с. 191).

«Вакхическое упоение программами есть истинное культурное вандализм, потому что оно не видит тысячи точек, тысячи исторических, бытовых и даже физиологических обстоятельств, на которые вся “программа” должна бы оглядываться и, между тем, оно входит в жизнь с требованием, чтобы на нее все оглядывалось и, побросав выполнение огромной в нравах, религии, долге написанной программы и, в сущности, “в уровень” с редакцией “Московских ведомостей”, — село на парту и начало писать *extempore*» (с. 186–187).

Быть может, наибольшей силы и изобразительности г. Розанов достигает в следующем обращении:

«Фигурка нашей “сельской учительницы” стала почти классической в своем смирении и безропотности; берегите этот начавшийся и еще не угасший порыв; он не вечен, он может надорваться, он может впасть в цинизм, если встретит грубость невнимания и безжалостное издевательство над собой. А раз погаснувший — его невозможно возжечь, потому что загорелся он свободно, при стечении случайных исторических обстоятельств. Есть страны так же “темные”, как Россия, но везде это понимается, как несчастье; и нет стран, где — как у нас — невежество стояло бы в вызывающей позе и чувствовало бы достаточный фундамент под этой позой. Оборванный в своем существовании “чиновник” министерства просвещения есть уже слагающая единица общественных нравов: он “жмет-ся” — и окружающая жизнь наглее на него наступает, т. е. в отдаленных последствиях — это жмет-ся книга, ежится журнал, газета и внутренне, духовно, ежится мысль, слово перед наступающей на них акцизной бандеролью. Так из подробностей, из мелочей слагается духовный образ страны и образуется траектория ее исторического движения» (с. 222–223).

Тут все — образы и характеристики, точно вычеканенные, или, вернее, точно высеченные резцом настоящего художника.

А вот и другая характеристика, меткая, попадающая прямо в цель:

«Университетский устав 1884 г. — “плохое *extempore*”, списанное нами у Пруссии, с его заменой вековых 4-х курсов восемью полугодовыми семестрами и с переименованием “кандидатов” в “студентов 1-го разряда”, мы не продолжаем далее... конечно, этот устав не мог бы мыслью своей, своим точным содержанием ответить ни на один вопрос, почему именно то или это стоит в нем так, а не совершенно иначе? Нужна была перемена, ибо курс политической, а следовательно, и умственной жизни

менялся или должен был быть изменен, — и перемена, какая-нибудь, была произведена. Никакой органической работы не было в нее положено; даже никакой оригинальной мысли, кроме сужения одних рангов, расширения других, перемены в сроках» (с. 214).

Не имея ни возможности, ни охоты реферировать замечательную книгу г. Розанова, мы рекомендуем читателю самому взять ее в руки. В ней он найдет, конечно, странные и даже дикие взгляды (например, на розгу), но он встретит здесь в редком обилии мысль, сильную оригинальностью и глубиной, облеченную всегда в оригинальную и нередко — в блестящую форму. А главное, он на ярком примере узрит воочию захватывающую идеологическую драму романтики и выход из этой драмы: конечный разрыв с казенщиной.

Как-то не хочется, говоря о драме, задавать вопрос: *cui prodest* *, кому на выгоду идет разрыв? Но в качестве публициста, обязанного не только взирать на совершающееся, но и подводить ему итоги и выводить из него практические следствия, мы на латинский вопрос: *cui prodest* дадим латинский же ответ: *duobus litigantibus tertius gaudet* **.

Разрыв между романтикой и казенщиной означает полное идеальное поражение последней, но вовсе не означает реального торжества первой. И в результате в выигрыше остается третий элемент: *критика*. Ей принадлежит самое лучшее и самое ценное: будущее.

В одной из своих статей, напечатанных, кажется, в «Русском обозрении», г. Розанов договорился в романтическом изуверстве до того, что без всяких околичностей заявил, будто русскому народу чуждо стремление к прогрессу, идея которого противоречит «русскому духу»¹⁵. К счастью для себя и читателей, г. Розанов на своем собственном примере опроверг и продолжает опровергать эту дикую теорию-клевету на русский народ, выдуманную для апофеоза эпохи реакции, якобы воплотившей в себе заветное стремление русского народа к застою.

Страшен сон, да милостив Бог! На всех концах Руси замечается непреодолимое движение в направлении не романтическом, но и не казенном. *Слышится «железная поступь» грядущей силы.*



* кому выгодно? (лат.)

** двое дерутся — третий радуется (лат.)



П. Б. СТРУВЕ

Большой писатель с органическим пороком

Несколько слов о В. В. Розанове

Возвращаясь к этому писателю более чем через десять лет¹. В 1899 г. приходилось убеждать и доказывать, что Розанов крупный писатель *.

В «прогрессивной» печати видели тогда в Розанове только Иудушку из «Московских ведомостей», как его окрестил Вл. Соловьев в знаменитой полемической статье, изувера, писавшего в «Русском обозрении», что Ходынка есть искупительная жертва за 1-е марта 1881 г.², нашедшего себе затем теплый приют на столбцах «Нового времени» и там вволю юродствующего.

Много раз в те времена я на примере Розанова (и еще — Константина Леонтьева) убеждался, насколько трудно «реакционному» писателю добиться в русском общественном мнении даже чисто формального признания как литературной «величины». Но время шло, силы писателя разворачивались, захват его дарования ширился, к старым «интеллигентским» темам он подходил так своеобразно, что его нельзя было не замечать, и, кроме того, сам он выдвинул целый ряд жгучих, проникающих в самые глубины «быта» тем, которые заинтересовали и интересовали решительно всех («Семейный вопрос»!). Все эти темы он трактовал со своеобразным художественным талантом, меткую характеристику которого читатель найдет ниже в «Библиографическом отделе» в заметке Андрея Белого³.

* Если не ошибаюсь, моя статья о Розанове «Романтика против казенщины», напечатанная в журнале «Начало» за 1899 г. (и перепечатанная в сборнике «На разные темы», СПб., 1902 г.), была в прогрессивной печати первым указанием на политическое и литературное значение писаний В. В. Розанова.

В русской литературе обозначился блестящий литературный талант, создавший почти новый вид художественно-конкретной публицистики, в которой мысль, философская или политическая, всецело сливалась с образами действительности, и исторической, и повседневной. Для художественного критика и для историка литературы благодарной задачей было бы сравнить абстрактную и сухую кисть Салтыкова-Щедрина как сатирика современной ему «исторической» действительности с конкретным и сочным карандашом Розанова как публициста своей эпохи.

Кажется, можно было забыть давние изуверства Розанова, тем более что по мере того как Россия шла к «революции», Розанов явно «левел», и в то же время художественное дарование его крепло.

Но... и тут речь должна идти о явлении, может быть, единственным в русской литературе, на котором нельзя не остановиться.

От реакционной розановщины «Московских ведомостей» и «Русского обозрения» Розанов, частью оставаясь в «Новом времени», частью отправляясь на отхожие заработки в «либеральные» издания, ушел так далеко, что дал ни с чем не сравнимое в остальной русской публицистике обличение старого порядка и любовно-художественное оправдание освободительного движения⁴. Ничего подобного розановской книге «Когда начальство ушло» в нашей литературе не имеется — рядом с этим произведением все, в том же жанре написанное, вяло, бледно, серо, безжизненно и безобразно. Превращение из реакционера в прогрессиста ничего удивительного не представляет, так же как ничего удивительного не представляло бы и превращение обратное. Но вот что изумительно: когда революция спала, когда начальство вернулось из своего отсутствия, Розанов в «Новом времени» напечатал две (а может быть, и больше) статьи, в которых вместо любовного оправдания революции с невероятной злобой, с которой может только соперничать невежество, обличал русскую революцию⁵. Пожалуй, даже и этому можно было бы не удивляться: почему в развитии идей у каждого писателя может быть только один перелом, почему в его идейной линии может быть только прямой подъем в ту или другую сторону и не может быть спуска, — словом, почему его духовная линия не может быть «кривой»? Изумительно и загадочно то, что свое любовно-оправдывающее революцию лицо Розанов показывает одновременно с лицом, ее злобно-обличающим. Ибо книга «Когда начальство ушло» издана в том же 1910 г., что и те статьи в «Новом

времени», которые сами просятся под другую обложку с названием: «Когда начальство пришло».

В чем же правда для Розанова? — имеет полное право спросить читатель. Или Розанов стоит по ту сторону правды и лжи?

«Напор революции есть напор дикости и самой грубой азиатской элементарности, а не напор духа и высоты. Революция не была другим философией — это никогда не надо забывать. Она всегда шла враждебно поэзии — это тоже факт. Весь застой России объясняется также из революции: не Магницкий, не Рунич, не Аракчев, не Толстой или Победоносцев — но Чернышевский и Писарев были гасителями духа в России, гасителями просвещения в ней»

(«Новое время», № от
4 сентября 1910).

«Без Чернышевского и “Современника” Россия имела бы конституцию уже в 60-х годах; без Желябова, как “благодетеля”, она имела бы ее в 1881 году».

(«Новое время», там же).

«Наша “революция” или “эволюция”, смотря по вкусу и удачам будущего, есть только фазис в попытках человека заработать счастье своими руками. Революция — отдел науки. Прежде всего, в ней бездна научных элементов, она вся копошится научными теориями и все ее двигатели читают и перечитывают книжки и брошюры, — думают, спорят и, словом, так же действуют “во имя науки”, “найденного и доказанного”, как мученики действовали, когда шли в Рим “во имя Евангелия”. И как в мучениках и победе над Римом главное было не человеческий состав и не катакомбы, а Евангелие, так и в революции главная суть не сами революционеры, а наука.

Революция — *отдел науки*. И потому-то она непобедима. Секут головы, секли, а она все двигалась, побеждала, ширела. Как и христианство ширилось и после казней, потому что было за ним Евангелие».

(«Когда начальство ушло»,
СПб., 1910, с. 351)

«Все, что творится в спокойные эпохи, выходит несколько лениво, апатично; все, что творится среди беды, волнения, опасности, живуче, крепко. Так родился европейский строй нашей армии при Петре и другие его преобразования. Десятилетия мы жалели, негодовали, отчего конституция не дается “своевременно” и “сверху”;

«А притеснения земства? А репрессия печати? Без этих «благодетелей» мы шагнули бы вперед как европейская держава в точности на полвека: как Япония сумела же в полвека преобразоваться из изолированно-дикой страны в просвещенную по-европейски страну».

(«Новое время», там же).

но теперь, кажется, можно только возблагодарить Бога, что мы не получили в 81-м году мертворожденной Лорис-Меликовской или Игнатьевской конституции, что все пошло своим чередом и до конца, старый порядок, можно сказать, “выворотил свою душу наружу” в японской войне и конституция пришла как гнев возмездия, пришла сама, а не была “приведена за ухо”, что она явилась как энергия и работоспособность, а не благоразумное новое учреждение».

(«Когда начальство ушло», с. 255).

«Не будь министерства народного просвещения, то в России, по крайней мере, так же, как в Японии 40 лет (sic!) назад *, в эпоху трехгодичного плена русского адмирала Головнина, были бы все грамотны. Наверно, иначе и нельзя представить у народа с историей, с церковью, с всевозможными ремесленниками-учителями по селам, с учителями-любителями и филантропами. Ведь грамотны же все у наших сектантов и старообрядцев. Но создалось министерство народного просвещения и сказало просвещению: “стоп”. Оно стало “тащить и не пущать” учеников, учителей, библиотеки, книги».

(«Когда начальство ушло», с. 165–166).

Число таких сопоставлений можно было бы значительно умножить, но и сделанные достаточно выразительны. Статья, из которой я заимствовал розановское наивное восхваление революции, помнится, была прочитана им в 1906 г. в одном религи-

* Головнин был в плену в Японии не 40, а почти 100 лет тому назад!

озно-философском собрании, устроенном Н. А. Бердяевым⁶. Присутствовавшие в этом собрании С. Н. Булгаков и я возражали тогда же против этой, на наш взгляд, совершенно некритической идеализации материалистического радикализма 60-х гг., преподносимой рядом с довольно грубым высмеиванием христианства. Булгаков в прениях заметил тогда Розанову, у которого он учился в Ливенской гимназии⁷, что они поменялись ролями: когда-то Булгаков, будучи гимназистом, благоговел перед писаревщиной и ее наивным культом положительной науки, а Розанов стоял на почве идеализма; теперь же Булгакову, ставшему идеалистом, приходится возражать Розанову, переживающему рецидив гимназического увлечения писаревщиной. Свой доклад, теперь напечатанный в сборнике «Когда начальство ушло» под заглавием «Отчего левые побеждают центр и правых», Розанов хотел напечатать тогда же в «Русской мысли». Я готов был поместить его с надлежащей отповедью; но ни С. Н. Булгаков, которого я просил написать эту отповедь, ни я сам не собрались написать ее (то были дни второй Думы) — и так розановский гимн революции как науке оставался, если не ошибаюсь, ненапечатанным до 1910 г., когда он оказался включенным в сборник «Когда начальство ушло»⁸. Как далеко заходил Розанов в своем увлечении революцией, об этом свидетельствует блестящая статья «Ослабнувший фетиш», напечатанная в свое время отдельным изданием и теперь перепечатанная в сборнике «Когда начальство ушло». Эту статью я в свое время *решился* отказаться напечатать в «Полярной звезде», хотя своим художественным рисунком она пленила меня. Сделал я это вовсе не потому, что тут приходилось считаться с законами о печати. Ничего недопустимого по законам о печати в статье не было, и она была в этом отношении гораздо менее рискованной, чем другие статьи в «Полярной звезде», за которые прокуратура привлекала меня к суду. Но в 1906 г. поддакивать самому крайнему из русских политических настроений и направлений, говорить ему приятные вещи, когда каждое слово имело практический смысл, было ответственным актом, представлялось мне в моем положении, как политического деятеля-редактора, непозволительно легкомысленным, прямо бесчестным. И я отказался напечатать литературно-эффектную статью Розанова.

В самом деле: для Розанова написать такую статью — означало создать новую художественную арабеску, с моей стороны напечатать такую статью — означало произвести политическое действие.

Но все-таки я никогда не думал, что Розанов так легко от глубочайшей любовной солидарности с самыми крайними тече-

ниями освободительного движения перейдет к беспардонному оплевыванию этих течений и даже доведет свой цинизм до того, что будет революцию и лобызать, и оплевывать одновременно, будет обличать морально террор, одновременно с усмешечкой признаваясь печатно, что он в свое время радовался убийству Плеве*.

И вправду, *цинизм* есть надлежащая и единственная надлежащая характеристика для этих литературных жестов. Об оправдании их не может быть и речи ни с какой точки зрения, ни с консервативной, ни с либеральной, ни с революционной. Тут можно только констатировать, описать факт и задуматься над его объяснением.

Что же это такое?

Я думаю, загадочное и страшное явление, как оно ни кажется простым. Есть, конечно, люди, которые просто объясняют такое поведение низменными расчетами, приспособлением к господствующей силе и велениям ее духа, носящегося в редакции «Нового времени». Правда, в отличие от блещущего талантом, художественного оправдания революции, новейшие обличения ее у Розанова вымучены и почти бездарны. Однако я думаю, что объяснять весь этот маскарад рассчитанным приспособлением было бы слишком просто и грубо. Конечно, это — приспособление к силе, конечно, — над всеми этими самоновейшими жестами Розанова можно было бы — подражая заглавию его книги — поставить заголовок: «Когда начальство пришло», но это объяснение все-таки недостаточно: оно слишком примитивно и не дает понять самого важного и самого страшного. Розанов потому так легко не то что приспособляется, а духовно льнет ко всякой силе, что у него нет никакого собственного стержня и упора, что он подлинный нигилист по отношению ко всему «историческому». В нем как в литераторе и человеке живет потребность не только быть в «хорошем обществе», ему приятно и хочется в то же

* «Мой “добрый друг” г. А. С-н в самом начале революционного движения передал возмутительный случай о том, как социалисты, заколов корову перед сельской церковью, взяли от нее крови и “помазали иконы в храме”, и о том, как возмущенные мужики, связавши их, “отрубили им всем головы перед этой самой церковью”. Г-н А. С-н, друг Соловьева и такой тоже прекрасный “вообще христианин”, рассказал фазу события прямо с аппетитом (он очень негодовал на кощунство). Статью его я хорошо помню: ее хоть перепечатать для убедительности, для решения важного вопроса. И я не осуждаю его. Да я сам осуждаю ли убийцу Плеве? Нисколько. Помню, тогда радовался» («Когда начальство ушло», с. 284–285. Подчеркнуто мной).

время постоянно купаться в самой нигилистической и нигилистически свободной атмосфере. Такова в известном смысле атмосфера «Нового времени». Он сам не раз подчеркивал, что «святыней» для него является только частная жизнь, семья. Что такое Розанов в семье, в своей семье, — об этом я ничего не знаю и, пока он жив, пока он не стал совсем «объектом», историческим «предметом», ничего не хочу знать. Но сам он говорит, что это — *его единственная святыня*, и я ему в этом верю.

«Я единственное утешение нахожу только в домашней жизни, где всех безусловно люблю, меня безусловно все любят, везде “своя кровь”, без примеси “чужой”, и “убийца” не показывается даже как “тень”, “издали”. Кроме “домашнего очага”, он везде стоит. Вот отчего я давно про себя решил, что “домашний очаг”, “свой дом”, “своя семья” есть единственное святое место на земле, единственное чистое, безгрешное место: выше Церкви, где была *инквизиция*, выше храмов, ибо *и в храмах проливалась кровь*. В семье настоящей, любящей (я только таковую и считаю семьей), натуральной, натуральной любовью сцепленной — никогда! В семье и еще в хлевах, в стойлах, где обитают милые лошадки, коровы: недаром “в хлеву” родился и “наш Боженька”, Который бессильно молился в Гефсиманском саду...» («Когда начальство ушло», с. 278).

В политике же, в культуре, в религии Розанов — нигилист, никакому Богу не поклоняющийся, или, что то же, готовый поклониться какому угодно Богу по внушению исключительно своего «вкуса» в данный момент и разных «наваждений». Вот где корень его публицистического бесстыдства, безотчетного, органического. Это не приспособление Меншикова, всегда до мелочей обдуманное и рассчитанное; это нечто внутреннее, стихийное, натуральное. Если бы Розанов не был так умен и хитер, можно было бы сказать, что его бесстыдство детски безгрешно. Увы! — именно в этой детскости есть что-то гадкое и страшное.

Помню, еще гимназистом я был поражен меткой аксаковской (К. С. Аксакова) характеристикой Ивана Грозного как «художественной» натуры⁹. Как Иван Грозный был в исторической жизни «художественной» натурой, стоявшей вне добра и зла, правды и лжи, и потому и радикально-злой, и радикально-лживой, так и Розанов-писатель в своем отношении ко всему «историческому», к «революции», к «правительству», к «республике», к «монархии» тоже является художественной натурой. Он если не все, то многое видит. Но скажет ли он правду или ложь, — это, очевидно, зависит от какого-то живущего в нем мелкого и низменного беса, который боится и трепещет всякой фактической, в данную минуту непреодолимой или кажущейся непреодолимой силы.

Розанов не то что безнравственный писатель, он органически безнравственная и безбожная натура. Между прочим, органическая безнравственность Розанова как писателя обнаруживается в одной любопытной психологической черте, или черточке. Этот певец конкретности, быта, этот наблюдатель мельчайших черт реальности абсолютно беззаботен относительно фактов. Он фактов не знает и не любит. Он их презирует и безжалостно (бессовестно?) перевирает. По той причине, что они для него не «факты», не «дело», а бисер в его художественных узорах. Поэтому-то он часто попадает впросак и целые выводы строит на — *sit venia verbo!* * — глупейших фактических ошибках, т. е. на невежестве или безграмотности. В предисловии к книге «Когда начальство ушло» целое рассуждение исходит от утверждения, что Кларан, Вевэ и Монтрэ — части «кантона Женева», тогда как всякому, со вниманием к «фактам» жившему в тех местах или наведшему справки в какой-либо «географии», известно, что эти поселения принадлежат к кантону Ваадту или Во. Вся характеристика Желябова как «бреттера и хвастуна» есть объективно плод совершеннейшего невежества. Желябов не только не был тем, чем его изображает безграмотный по этой части Розанов, он в истории нашего революционного движения — фигура прямо исключительная по своему государственному смыслу. Есть что-то глубоко трагическое в том, что этот государственный умница сыграл главную роль в таком противогосударственном и нелепом акте, как деяние 1 марта 1881 г. В. Я. Богучарский совершенно прав в своей оценке размеров личности Желябова¹⁰. И если Розанов говорит, что Богучарский не может «привести хотя бы одного его (Желябова) слова, хотя одного его афоризма революционно-философского», то эти слова Розанова свидетельствуют только о его глубочайшем невежестве. Ибо всякому знакомому с историей нашего революционного движения хорошо известны выдержки из писем Желябова к М. П. Драгоманову¹¹ (убежденному противнику террора), в свое время опубликованные самим Драгомановым. Эти выдержки, в которых замечательны не только мысль, но и стиль, свидетельствуют об огромном именно государственном уме и о национальном смысле Желябова, — в этом отношении особенно характерны его суждения о необходимости для России политического преобразования, к признанию чего Желябов пришел *благодаря* своему государственному смыслу и *вопреки* народнически-социалистическим предрассудкам, и его возражения против федерализма.

* да будет мне позволено так сказать! (лат.).

В области фактов, повторяю, Розанов — гомерический неряха и выдумщик.

В литературе вообще, в русской литературе в частности, я думаю, еще никогда не было подобного явления.

Как относиться к нему? — над этим невольно должен задуматься всякий, для кого вопрос о Розанове решается не просто справкой о том, что он состоит сотрудником «Нового времени». С одной стороны, ясновидец, несравненный художник-публицист, с другой — писатель, совершенно лишенный признаков нравственной личности, морального единства и его выражения, стыда.

Такое соединение именно потому является единственным в своем роде, что речи тут не может идти о падении или падениях Розанова. Нелепо, таким образом, говорить и об его исправлении. Я знаю, что я пишу нечто страшное, что нужно говорить весьма осторожно и весьма обдуманно. Да, Розанов не падает никуда, его безнравственность или бесстыдство есть нечто органическое, от него неотъемлемое. Прежде и я думал, что Розанов исправляется или, вернее, исправился, излечился от реакционного изуверства и стал «хорошим русским писателем, сочувствующим всему хорошему», только от «лютото телесе озлобления», т. е. ради монеты, пишушим в «Новом времени». Конечно, и в «Новом времени» он пишет, и в прогрессивные издания он ходит на отхожие заработки отчасти ради монеты. Но не это самое главное. Розанов, даже если бы захотел, не мог бы быть просто наемным писателем. Дело, стало быть, вовсе не в простом приспособлении. Теперь, даже если бы Розанов трижды отрекся от «Нового времени», Меньшикова и пр. и пр., — я бы этому отречению не придал никакого значения. Точно так же как — с противоположной стороны — я не придал бы никакого значения отречению Розанова от оправдания революции и восхваления революционеров и торжественному обещанию никогда не ходить на отхожие заработки в прогрессивные издания. Отречься от себя Розанов не может, а бесстыдство есть органическое существо его «художественной натуры».

Можете ли вы после всего, что вы говорите о Розанове, давать его произведениям место на своих страницах, и можно ли вообще пускать его в «прогрессивную» печать? — так спрашивают меня те, с кем я делился своим окончательным мнением о Розанове. Пока я верил, что Розанов падает и исправляется, исправляется и падает, я считал своим долгом не закрывать перед ним а priori страниц редактируемых мною изданий. Не только из терпимости. Нет, одним из моих мотивов было всегда признание большой объективной художественной ценности писаний Роза-

нова, на которую я указывал еще тогда, когда о Розанове не говорили иначе, как с презрительной усмешкой. Розанов один из первых русских писателей, и его бесстыдство есть большое горе нашей литературы.

Но все-таки литературные произведения суть *творения*, а не *выделения*, и литературное сотрапезничество есть общение между людьми, а не взаимодействие между нейтральными «организмами» или «системами», человеческое естество которых безразлично. Как ни замечательны в литературном отношении произведения Розанова, — именно в них так ярко обнаружилась его нравственная личность, что литературное сотрапезничество с ним невозможно для человека, видящего в писателе не «выделительный аппарат», а цельную и ответственную творческую силу.

Вопрос о нравственном образе писателя, да и вообще всякого человека, страшно труден. Но я этого вопроса в общей форме здесь не ставлю. Случай Розанова, по моему глубокому убеждению, совершенно особенный, не похожий ни на какие другие. Во-первых, тут вопрос ставится не о частной жизни человека, которая может быть безупречной или наоборот и до которой, впрочем, вообще никому нет дела. Даже, я повторяю, речь тут идет не о литературных падениях вроде тех, о которых Некрасов писал:

Не торговал я лирой, но, бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука...¹²

Тут вопрос ставится о чем-то основном, органическом в писателе, о его существе и естестве, неотъемлемом и непоправимом.
Большой писатель с органическим пороком!





Н. МИНСКИЙ

О двух путях добра

(Два доклада, прочитанных в Петербургских религиозно-философских собраниях)

I

Происходящий на наших собраниях спор о браке представляет лично для меня исключительно захватывающий интерес как яркая иллюстрация к занимающему меня философскому учению, которое я называю: «Учение о двух путях добра». Мне кажется, что в философском освещении спор этот и для всех вас получит большую выразительность. Я, конечно, не стану излагать означенное учение, но приведу лишь последний его вывод, чтобы сделать понятными последующие рассуждения.

Система нравственности обыкновенно строится на предположении, что жизнь является поприщем борьбы двух начал — добра и зла. Вот это предположение я и считаю ложным и объясняю его односторонностью чувственного разума. В действительности нравственная проблема заключается не столько в борьбе добра со злом, сколько в борьбе добра с добром, в борьбе двух идеалов добра, ведущих нас в противоположные стороны, но к одной и той же цели. В примирении, в синтезе этих двух враждующих начал, в слиянии их в двуединый нравственный закон жизни заключается высшая цель философии и религии. Если бы кому-нибудь из вас мысль моя о борьбе двух идеалов добра показалась парадоксальной и он потребовал бы объяснительных примеров, то как на самый яркий пример я мог бы указать ему на происходящий в наших собраниях спор о браке. Мне даже сдается, что только с точки зрения морального двуединства настоящий спор приобретает смысл и значительность.

В самом деле, вдумайтесь в то, кто спорит, и о чем ведется спор, или, вернее, ведутся споры. Ибо перед нами не один, а

несколько споров, два явных и один скрытый, невысказанный, но тем более жгучий и содержательный. Два явных спора ведутся: первый — между о. Михаилом¹ и Львом Толстым, второй — между о. Михаилом же и Розановым, а между кем идет третий спор, увидите сами.

Итак, с одной стороны представитель церкви, монах, а с другой — восторженнейший во всемирной литературе апологет семьи и деторождения, художник, увенчавший эпопею великой войны изображением детских пеленок, создавший апофеоз материнства в картине родов Китти, словом, о. Михаил и Л. Толстой спорят о семье. «Семья, — говорит художник, — это скверна и жестокость, деторождение — залог нашего несовершенства, единственная же прекрасная и согласная с заветом Христа жизнь — это целомудрие и девство». «Нет, — отвечает монах, — о девстве я говорить не намерен, но семейный союз свят и чист до дна, до физиологического акта включительно». Художник вздыхает по святости девства, монах заступает за физиологический момент в браке.

Это один спор. Другой, столь же необычайный, ведется между о. Михаилом и Розановым. «Семья, — говорит Розанов, — единственное благо, деторождение — единственная святыня, девство — извращение природы, смертельный яд, который церковь тайком опустила в напиток жизни». «Да, — отвечает о. Михаил, — я во всем согласен с Розановым».

Из этого простого перечня спорных пунктов неужели вы не видите, что действительный спор ведется не между Церковью и Толстым и не между Церковью и Розановым, а единственно между Толстым с одной стороны и Розановым — с другой, между идеалом девства и идеалом любовничества, между двумя путями добра, между двумя полюсами нравственности? Если же оба спорщика нападают на Церковь, то это происходит оттого, что одна только Церковь (мистическая) хранит в себе синтез обоих идеалов, всю полноту нравственной красоты, и вот за эту полноту и целостность на нее с двух сторон ополчаются представители двух односторонних идеалов. «Ты хочешь освящать не святое», — говорит Церкви Толстой. «Ты не хочешь освящать святое», — говорит Ей Розанов. «Ты идешь против слова Божия, запретившего смотреть с вожделением на собственную жену», — говорит Толстой. «Ты идешь против слова Божия, повелевшего множиться и плодиться», — говорит Розанов. «Запрети всякий брак», — взывает Толстой. «Разреши всякий брак», — взывает Розанов. Я приглашаю вас взглянуть на этот спор в свете философской мысли, в лучах учения о двух путях добра. Делая это, мы в одно

и то же время будем философствовать и созерцать одно из любопытнейших зрелищ, — борьбу двух вечных идей, но не отвлеченных, а воплотившихся, одаренных лицом и голосом.

Сами спорщики друг друга не видят и наносят удары как бы в темноте. В особенности ослеплен Розанов, полагающий, что сражается с Церковью, в то время как он поражает в сердце самую прекрасную мечту современности.

Вы помните слова Розанова, что Церковь подставила вместо брака венчанье и, устами благословляя семейную любовь и чадородие, сердцем презирает плотское житие, считает его гнусной рогожей, и что в то время, когда священник прикладывает к рогоже пломбу венчания, на ней топчутся ногами гг. монашествующие. Вот почему, замечает Розанов, в обряде венчания не говорится о цветах, звездах, объятиях. Согласимся с этим. Кто же считает плотское житие не гнусной рогожей, а цветочным ковром? Конечно, поэты, воспеватели любовничества. Так вот, хочется спросить Розанова, неужели он не читал ни одного поэта XIX века и не знает, что все новые поэты воспевали не только радости любви, но и разочарования от любви, что пессимизм европейской литературы не что иное, как отрицание любовничества и жажда целомудрия. «Любить, но на время, не стоит труда, а вечно любить невозможно»². Вот формула, которой Лермонтов определяет это новое отношение к любовничеству. Не скажет ли Розанов и о Лермонтове, как о проф. Барсове³, что он «сболтнул»? А если скажет, то на него можно бы обрушить не один библиотечный шкаф и раздавить его литературой английской, французской, итальянской, русской. Не только поэты, художники минутных настроений, но и романисты развенчивают любовь, жаждут девства и целомудрия. Весь французский роман — сплошной обвинительный акт против любовничества. Мопассан вопиет о целомудрии, Гюисманс⁴ бежит в монастырь к трапистам, Аннунцио⁵, подражая им, в первой части своих романов прославляет, а в последней проклиняет плотское житие. Что же сказать о Достоевском, творце Алеши Карамазова и старца Зосимы? Что сказать о Толстом? О «Крейцеровой сонате», потрясшей весь мир, как ни одно из литературных произведений с тех пор, как существует книгопечатание? Итак, кто же признает плотское житие гнусной рогожей, — Церковь и гг. монашествующие или интеллигенция, мы сами и наши любимые писатели? Кто топчется ногами на этой рогоже, — монахи или светские художники? Против кого направлено оружие Розанова — против Церкви, будто бы искажающей человеческую природу, или против психологов-поэтов, знатоков человеческой природы?

Невольно спрашиваешь себя: как могло случиться, что Розанов, при его чуткости и талантливости мог проглядеть целую сторону современности? В лучах учения о двух путях добра недоразумение раскрывается само собой. Ослепленный культом семьи и любовничества, Розанов не видит, в ослеплении не может видеть другого пути добра, — идеала девства и целомудрия. Ему кажется, что оба эти идеала исключают один другой. И вот почему, узрев на груди Церкви мистическую розу целомудрия, Розанов не должен верить в искреннее отношение Церкви к браку. Не может Церковь сердцем благословить брак, поклоняясь идеалу безбрачия, думает Розанов. По мнению Розанова, Церковь только терпит брак и этим как бы невольно превращает весь мир в дом терпимости, — вот сущность его обвинения. И если Розанов философски прав, если в самом деле оба идеала добра несовместимы и непримиримы, то его нападки на Церковь в той же степени неотразимы. Если же, наоборот, нравственная истина заключается в мистическом синтезе двух элементов добра, то правда, вечная правда на стороне Церкви, а на стороне Розанова — неистовое, с завязанными глазами, размахивание рапирой в темном углу.

— Как же, — вопрошает Розанов, — совместить два разных идеала или, по его нефилософскому выражению, две категории? Если девство свято и брак так же свят, то не то же ли это самое, что сказать: «Здоровье хорошо, а болезнь восхитительна», «Учение — свет, а неучение сиянье» и т. д. Продолжим же умозаключения Розанова и решим: «Если в живописи нужны белые краски, то черные должны быть навсегда изгнаны с палитры»; «если природу можно изучать посредством телескопа, то безумно пользоваться микроскопом»; «если постоянное умножение приводит нас к бесконечности, то постоянное деление приведет к единице»; «если, поехав вправо, мы объедем земной шар и вернемся к точке отправления, то, поехав влево, мы провалимся в тартарары» и т. д. Здесь, конечно, не место логическому спору, но я бы хотел убедить вас, что вопрос о браке и девстве может быть решен только философски, во внутреннем откровении разума.

В своем ослеплении Розанов смешивает важное и второстепенное, вечное и минутное, мистическое и публицистическое. Одними и теми же доводами он желает переместить центр мистицизма из Нового Завета в Ветхий и в то же время добиться развода и гражданского брака. Но и соглашаясь с Розановым в его борьбе за свободный брак и свободный развод, нельзя не видеть, насколько он ослеплен своими надеждами. Ведь гражданский брак и свободный развод существуют на Западе, а разве

семейная жизнь очистилась там от адюльтера, разве на одного ребенка, убитого косою вдовой из стыда, не приходится там тысяча детей, убиваемых, вытраиваемых из бесстыдства, разве при гражданском браке менее покинутых женщин и беспризорных детей? Но вопрос о разводе — частный эпизод в нашем споре. Всякое законодательство — и церковное в том числе — совершенствуется... Если Новый Завет виноват в слезах Повалошвейковских (о которых упоминает Розанов)⁶, то, вероятно, и Ветхий Завет повинен в чьих-либо слезах, хотя бы той отроковицы, у которой не нашлось девства и о которой Моисей повелел: «Отроковицу пусть приведут к дверям дома отца его, и жители города ее побьют ее камнями до смерти»⁷. Ведь кто знает, может быть, и эта отроковица была кривая или хромая и, отчаявшись найти первого мужа, как толстовская вдова — второго, отдалась временному супругу, дабы исполнить завет Иеговы: «влечение твое к мужу твоему»⁸. Исполнила Божий завет, перед Моисеем и Розановым права, а вот поди же: «И жители города ее побьют ее камнями до смерти»...

Вообще любопытно видеть, как, ослепленный своим односторонним идеалом, Розанов теряет свою обычную чуткость и на родной ему почве. Ему кажется, что брачащаяся пара входит в христианский храм как страшно чуждые и даже враждебные гости, и что между мрачными ликами изможденных старцев на иконах и веселыми лицами новобрачных существует лишь «несовместимость категорий», «расхождение категорий». Не видит Розанов, что столь дорогое ему и всем нам романтическое любовничество со звездами, цветами и вздохами составляет дар христианской, а не библейской мистики. От ветхозаветных слов: «и влечение твое к мужу твоему, и он будет господствовать над тобою» — хоть три тысячелетия скачи, ни до одного сонета Данте к Беатриче не доедешь, а разве доберешься до арабской и персидской страстности, вроде той, которой дышит Песня песней: «Шея твоя, как столп Давидов, два сосца твоих, как двойни молодой серны». Наши же любовные воздыхания, обращенные не только к прелестям, но и к мистической, вечно девственной прелести любимого существа, подслушаны в христианских храмах, в молитвах отшельников, в культе Богоматери.

Вот этим своим культом, как и всем своим мистическим строением, а не венчальными молитвами, Церковь преобразует плотский союз, уподобляя его союзу Христа с Церковью, так что проф. Барсов уже не совсем «сболтнул». Розанову кажется, что разлад между храмом и браком проходит незамеченным вследствие рассеянности новобрачных. Но представим себе вниматель-

ных жениха и невесту, глядящих кругом на стены храма и на лики святых. Что они испытают? Это зависит от качества, от строя их любви. Если любовь их настроена только на восторги перед шеей и двумя сосцами, они, может быть, почувствуют себя в чужом и враждебном месте. Если же они любят, как любил Данте, или возьмем пример, более близкий нам, как Пушкин любил свою невесту, когда писал ей:

Исполнилось мое желание: Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец,⁹ —

то они, увидев на иконах образ Мадонны и святых, — вся жизнь которых была непрестанной ей молитвой, — почувствуют себя в самом родном и дорогом месте.

Повторяю, вопрос о браке может быть решен только философски, но кто вступит на путь истинного философского синтеза, тому по пути встретится Христос, по той простой причине, что во Христе была истина. Ошибка Розанова, как и Толстого, в том, что каждый из них видит только один идеал добра и во имя его отрицает противоположный. Но я должен сознаться, что в этом заблуждении, в этой односторонности Розанова скрыта также и его сила. И если я позволяю себе так решительно опровергать его взгляд, то делаю это не потому, что мало ценю, а потому, что ставлю его весьма высоко и вполне согласен с оценкой его дарования, сделанной Мережковским. В культе семьи и вообще в моменте пола Розанов прозрел мистические глубины, о которых до него мало кому снилось. Ведь, в сущности, неистовый тон полемики Розанова с Церковью вызван опасением его, как бы моменту пола не была предоставлена в жизни второстепенная, служебная роль. У меня же, при виде этого неистовства, является опасение, как бы этот односторонний талант в своем ослеплении не затоптал нежные, пока еще слабые всходы современного мистицизма. Углубляйте понимание Ветхого Завета, отыскивайте в его недрах золотоносные жилы, где раньше вас другие видели один песок, извлекайте, как новый Моисей, живую воду из бесплодного камня восточных культов, но, ради Бога, не касайтесь мистической Розы на груди Церкви: ее символики вы не понимаете, ее аромата вы не чувствуете!

II

Возражения Розанова направлены главным образом против верности двух-трех употребленных мной аналогий. Я для нагляднос-

ти сравнил полярность и равноценность двух путей добра с равноценностью в живописи белой и темной краски или с полярностью земной сферы. Но разве кроме белой и черной краски, — возражает Розанов, — нет других — красной, желтой, синей? Разве кроме направления на восток и запад нет бесчисленных других направлений? И отсюда неожиданный вывод, что я признаю или должен признать — не два пути добра, а множество их.

Конечно, можно бы придумать другие сравнения. Можно бы, например, сравнить два идеала нравственности с двумя полюсами электрической батареи, но Розанов тогда возразит мне: а куда дел я склянки, жидкости, проволоки? Можно бы также сравнить двуединство нравственного идеала с двуединством человеческой личности, состоящей из духа и тела, но тогда Розанов, пожалуй, возразит, что у человека, кроме духа и тела, есть еще отец, мать, родина, паспорт. Хочется спросить: неужели сравнения и аналогии могут хоть сколько-нибудь влиять на отыскиваемую нами истину? И если я все-таки намерен заступиться за свои сравнения, то лишь потому, что они верны, но, конечно, не в них дело.

Очевидно, Розанов полагает, что признавать два пути добра — то же самое, что отрицать различие между добром и злом. Иначе он не задал бы мне иронического вопроса: считаю ли я, при двух путях добра, одинаково хорошими прислугу честную и прислугу обкрадывающую? Нет, не считаю их одинаково хорошими. Зло существует и даже дважды существует — на каждом из двух путей добра. Брак без любви есть зло, брак в многоженстве есть зло; точно так же, как девство лицемерное есть зло, девство скопческое есть зло. В каждом из двух направлений есть далекое и близкое, добро и зло, но оба путника, удаляясь от исходной точки и друг от друга, в то же время с каждым шагом приближаются друг к другу и когда расстояние между ними здесь становится максимальным, они там сходятся в общей цели. Истинное любовничество, слияние двух существ духом и телом воедино, и истинное девство, сбережение своего телесного и духовного одиночества, при всей отдаленности обоих идеалов во внешнем поведении сливаются во внутреннем восторге. Оба идеала равноценны, равносвяты, равнобожественны.

Но, возражает Розанов, направлений не два, а множество. Конечно, множество, но разве это изменяет законы полярности? Если один путник пойдет на восток, то другой встретится с ним, идя на запад; если первый пойдет на северо-восток, другой должен отправиться на юго-запад и т. д. Но всегда в каждой плоскости два противоположных пути сольются в общей

точке. И в мире нравственности есть множество плоскостей, но до сих пор наши рассуждения касались только одной из них — отношений между полами. Кто же не знает, что идеал отречения включает в себе не только обет девства, равно как идеал удовлетворения — не одно любовничество. Возьмем какую-нибудь другую плоскость — хотя бы отношение человека к своей воле. На пути удовлетворения идеал велит закалить свою волю и проявлять ее во внешней храбрости. На пути отречения идеал повелевает противоположное. «Перед свидетелями ангелов, — говорит Иоанн Лествичник, — раздери перед ними, раздери хартию своей воли»¹⁰. Вы отлично видите, что это безволие-добро ничего общего не имеет с безволием-злом, с расшатанной, дряблой волей, что безволие отречения свидетельствует о таком же бесстрашии и закале душевном, как и воля героя, но только в противоположном направлении. Или возьмем плоскость чести... На одном пути добра чувство чести — величайшая святыня, за малейший ущерб которой надо положить жизнь. На другом пути святыня называется добровольным унижением. «Пей поругание, как воду жизни, от всякого человека», — говорит тот же Лествичник¹¹. Но разве это бесчестие хоть сколько-нибудь похоже на бесчестие труса, проглотившего оскорбление из малодушия? От такого труса, не смывшего поругание кровью, рыцарь чести отвернется с презрением, но этот же рыцарь с благоговением склонится перед тем, кто «пьет поругание как воду жизни». Возьмем плоскость отношения к неправде и злу. На одном пути долг велит бороться со злом без усталости, рубить головы Лернейской гидре до последней. На другом пути долг повелевает: не противься злему. Смешение обоих идеалов, уверенность, что путь добра один, незнание закона полярности были причиной того, что Толстой и сам запутался в проповеди непротивления, и спутал ею русское общество, которое долгие годы в оцепенении не знало, что с нею делать: проповедывается несомненно доброе, святое, а сердце его не воспринимает. Причина же этой смуты была та, что на пути общественности и служения людям Толстой проповедывал идеал, годный на пути удаления от людей и служения Богу. Ромео, спешащему на свидание с Джульеттой, чтобы изведать с нею святыню соединения, он сунул в руки Адамову голову и горсть пепла. Таких плоскостей в мире нравственности на самом деле множество, как цветов в спектре, как направлений в пространстве. Но неужели Розанов не видит, что это множество направлений не ослабляет, но укрепляет, тысячекратно подтверждает учение о двух путях добра?

Другое возражение Розанова состоит в том, что выбор направления в пространстве не составляет спорной альтернативы: могу поехать направо, могу — налево, сегодня — направо, завтра — налево. Между тем альтернатива брака и девства раздирает волю: или девство, или брак. Это возражение, в сущности, скрывает в себе два: одно о спорности обоих идеалов, другое об их несовместимости. Начну с первого.

Розанов ошибается, думая, что выбор направления в пространстве был всегда принципиально бесспорен. Когда сферическая форма земли не была известна, желание Колумба ехать в Индию не направо, а налево вызвало ожесточеннейшие споры. Но форма земли могла быть наглядно доказана. В области же духа экспериментальных доказательств не существует. Главная причина спора заключается в том, что люди смешивают нравственную цель с путями, ведущими к ней. Цель едина; по отношению к ней всякая двойственность кажется двоедушием, ложью, притворством. Цель едина, как един Отец. Но пути двойственны, как природа Христа. На спорность обоих идеалов добра ссылался и я. В том, что люди, равно искренние, глубокие и даровитые, разбились на два лагеря, которые веками оспаривали и до сего дня оспаривают один из двух идеалов, я вижу несомненное доказательство полярности их обоих. Розанов же, наоборот, в каком-то извращенном логическом процессе хочет на спорности двух мнений основать бесспорность одного из них. Он как бы взывает к нам, говоря: признайте мою правоту, потому что против меня спорят.

В прошлый раз я указал на этот спор не только в общих чертах, но и в фактических подробностях, о которых Розанов не упоминает ни словом и, уверен я, будет замалчивать до конца. А между тем чрезвычайно знаменательно, что идеал любовничества и брака набил оскомину человечеству, а идеал целомудрия снова возник в требовательном могуществе.

«Твоя любовь — распутство», — говорит Байрон, обращаясь к человечеству. «Не стоит любить», — вторит Лермонтов. Но против пессимизма поэтов можно всегда возразить, что они разочаровались не в любви, а в излишествах любви. Поэтому особое значение приобретает пример Толстого. «Достижение цели, соединение в браке или вне брака с предметом любви, — говорит он в «Послесловии»¹², — есть цель, недостойная человека». Церковь, поклоняющуюся идеалу целомудрия, Розанов обвиняет в искании власти и почестей, другой обвинит в стремлении к земным благам, третий — в расчете на загробное воздаяние старицею. А о Толстого все эти обвинения разобьются, как о скалу.

Проповедуя идеал девства, он из господствующей Церкви вышел; власти над умами достиг и раньше, поэтизируя семью; загробного воздаяния не ждет. И все же я предвижу возможность возражения. Толстой, мол, отравлен духом Евангелия, извратившего, по мнению Розанова, природу человека тем, что лукаво нашептал ему мечту о целомудрии, об одиночестве, вопреки слову Ветхого Завета, что не хорошо быть человеку одному. Вот почему я укажу вам еще на одно явление, может быть, самое убедительное в нашем споре.

Все выслушанные нами нападки на церковный идеал девства представляют, в сущности, полное повторение доводов, цитат, которыми в свое время Реформация ополчилась на монашеский идеал в католичестве. Реформация победила, устроила жизнь на основах семьи и общественности, заложила рогаткой путь аскетизма. Если бы Реформация была права и в этом отношении, как она была во многих других, если бы идеал девства был извращением природы, то ложь, однажды изобличенная, уже не возникла бы в том же сознании. И наоборот: если идеал девства имманентен человеческой природе, то, изгнанный из религиозной сферы, он необходимо должен был возникнуть в другой области. На этот вопрос история отвечает с осязательной определенностью. Именно в протестанстве идеал отречения с необычайной силой возник, вспыхнул в философском пессимизме, в тех учениях, которые, в отличие от других философских систем, не заплесневели в кабинетах профессоров, а вышли на улицу, овладели фантазией толпы, изменили лицо земли. Ошибки Толстого, спутавшего идеал служения с идеалом отречения, видевшего в целомудрии подспорье к человеколюбию, Шопенгауэр уже не делает. По его учению, кто прозрел истину мира, познал существо вещей само в себе, тот «переходит от добродетели к аскетизму». «Ему недостаточно любить других, как самого себя, а в нем возникает отвращение к существу, коего выражением служит собственное его явление, к воле жизни, к зерну и сущности того мира, который им признан столь несчастным»¹³. Благодушная односторонность Реформации привела к односторонности пессимизма, к отрицанию общественности, к отчаянию. Замечательно, что великий враг христианства — Ницше, разошедшийся с Шопенгауэром во всех пунктах, однако, в культе целомудрия остался ему верен. «Никогда еще, — восклицает Заратустра, — не встречал я женщины, от которой хотелось бы мне иметь детей, — путь же будет Вечность тою женщиной, которую люблю я, ибо люблю я тебя, о Вечность»¹⁴. Природа, прогнанная в дверь исторического христианства, вернулась в окно буддизма; про-

гнанная оттуда, она проникает сквозь щели декадентства, и так без конца.

Теперь, может быть, Розанов поймет, почему я так настойчиво полемизирую с ним. Замкнувшись в своем слезливом благодушии, стоя вне философии и вне истории, смешивая полицейские правила относительно брака и развода с переоценкой Ветхого и Нового Завета, Розанов не видит, что всякая односторонняя мораль есть открытое русло для пессимизма. У тех, кто хлебнул этой горькой волны, все проблемы морали сводятся к одной — к борьбе с пессимизмом. Но бороться с этой болезнью возможно лишь одним средством, прививая к душе идеал отречения.

— Кланяюсь вам, — говорит Розанов, обращаясь к монахам, — еду добывать другого престола.

— Но куда? — спросим Розанова. — В поэзии, в романе, в философии, в современном мистицизме, — везде, на всех компасах мысли и чувства, стрелка повернулась к полюсу целомудрия.

Наконец, последнее возражение Розанова — о несовместимости обоих идеалов. Пусть брак и безбрачие — два пути добра, но нельзя же совместить две противоположности, как нельзя в одно и то же время шагать направо и налево. Розанов, конечно, не видит, что он и тут, как во всем этом споре, стреляет, по выражению Шопенгауэра, в скалу: скалы не разобьет, а удары рикошетом наносит самому себе. Если правда, что в жизни индивидуума оба идеала несовместимы, то Церковь следует признать единственной обладательницей истины, ибо в Церкви синтез брака и безбрачия осуществлен, правда, не индивидуально, а общественно. Я так далеко не иду. В исторической Церкви я вижу единственно воплощенный до сих пор синтез обоих идеалов, но не единственно возможный. Я верю, что в Церкви мистической, в словах Христа, а равно во внутреннем откровении разума таится не одна возможность более полного и более внутреннего слияния двух идеалов, даже в жизни одного и того же индивидуума.

Наша брачная жизнь представляет собою не синтез, а компромисс обоих идеалов, посильный для среднего человека и наилучшим образом обеспечивающий интересы бесправной женщины и незащитных детей. В нашей семье и любовничество, и целомудрие слиты в общем смутном рисунке, и нет сомнения, что ни от чего человечество так не истомилось и не изболелось, как от компромисса скучающей страсти и заспанного воздержания в лоне семьи. Розанов же, предлагая в виде панацеи от всех зол эту семью с придатком развода, напоминает Пульхерию Ивановну в то время, когда она на жалобы обвешегося

Афанасия Ивановича на боль в желудке советует ему «чего-нибудь поесть».

Замена мещанского компромисса семьи просветленным синтезом обоих идеалов — вот заветнейшая мечта современного мистицизма, зжидущегося на культе не общественного, а личного совершенства, и, говоря об этой мечте, я, быть может, обнажаю перед вами камень, на котором будет построено будущее. Вы, конечно, не потребуете от меня рецептов такого слияния, но очевидно, что в будущем синтезе идеал целомудрия не потускнеет, а загорится новым, быть может, еще невиданным блеском.





Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

Новый Вавилон

Одно из замечательнейших культурных приобретений последнего времени — наши успехи в области изучения истории древнего Востока.

Египет, Вавилон, Ассирия восстали из гроба подобно античному миру в эпоху Возрождения и воочию убедили нас в жизненности и вечной неразгаданности тех загадок, устремлений и верований, к которым искони тяготело человечество и совершеннейшим выражением которых являются священные книги Ветхого Завета. До каких пределов дойдет проникновение в древне-вавилонскую культуру — угадать нельзя. Каждый день и час дарит нас новыми открытиями, новыми знаниями.

Оставляя в стороне споры, поднятые за последнее время немецкими учеными вокруг Вавилона и Библии, отметим их главные выводы — признание *единства* древних культур семитического Востока и вечность поставленных ими на разрешение человечества задач. Еще недавно наше знакомство с Востоком по памятникам письменности восходило не дальше VIII века до Р. Х., теперь мы имеем подлинные документы четвертого тысячелетия до Р. Х., и чем дальше подвигаемся мы в глубь веков, тем самобытнее и величавее кажется нам вавилонская культура, — и тем очевиднее для нас ее влияние на развитие всемирно-исторических начал.

«Два мировоззрения борются в области исторической культуры от ее начала и до наших дней, — говорит один ученый-ассириолог, — старо-вавилонское, которое господствует до конца средних веков, и современное, естественнонаучное, корни которого лежат в греческой философии».

Эллинизм — это та форма кристаллизации греческого духа, которая всего больше повлияла на последующую историю раз-

вития человечества; она — слияние античного язычества с кончающим свою *местную* историю Востоком, — преображенным в учении Христа. Вавилон влился в Европу и дожил до наших дней. Потерянный рай, первородный грех, культ светил небесных, — все это истинно «вавилонские» идеи, чуждые гению древних эллинов.

Современные представители «естественнонаучного» мышления, так же как и представители исторического христианства, думают, что эти темы давно потеряли свой вопросительный характер. Первые ввели таинственные загадки бытия и творения в цепь эмпирических причин и следствий, вторые — отменили их от себя и только терпят их существование, снисходят к ним, как к проявлениям погрязшей в первородном грехе твари, проявлениям, чуждым Богу и его святости.

А загадки, назло и физиологам, и аскетам, живут, человечество не может отвернуть лица своего от сфинкса и по-прежнему с мукой разгадывает непосильную тайну.

Доказательство этого — недавно появившаяся и теперь повторенная вторым изданием книга Розанова «В мире неясного и нерешенного»¹. В Розанове — жив Вавилон. Для него тоска по утерянному раю — вечная, изнуряющая его рана. Эдем для него не «миф» и не любопытный факт с культурно-этнографической точки зрения «сравнительного изучения древних религий», а физически ощущаемое сознание потерянного упования, которое во что бы то ни стало должно быть вновь найдено. И в этом томлении, в этих поисках утраченного человечеством счастья, — для Розанова нет иудея, нет эллина, нет дали тысячелетий. Божественная основа, мистическое лицо человека, жившего за 5 000 лет до Розанова, ему так же близко, дорого и понятно, как лица его современников.

Здесь гениальная прозорливость Розанова, его сверхъестественная интуиция. Без всякой внешней учености, исходя из *одной Библии* и вдумчивого всматривания в вещественные памятники древнего Востока, Розанов вник в душу египтянина, в мир древнего еврея, подал им руку и сказал: «Я, христианин, сын XX века, понимаю тебя, люблю тебя, потому что ты обладал тайной, которую мы утеряли».

И он совершенно прав, когда пишет в предисловии ко второму изданию названной книги: «Ясно: *звезда* наших 2 000 лет не есть та же, что *звезда* пяти тысяч лет до нашей эры. Путеводные звезды разошлись». — «Живая Кровь, налившая собою небеса, как молоко наливает грудь кормящей матери, ушла с небес, и с земли исчезло древо жизни первой невинности». Таким

образом, тема Розанова волнует «не только на границах философии и религии, но и в центре истории, в точке величайших и никогда не понятых ее изломов».

Но в чем же она заключается?

В предисловии к первому изданию Розанов говорит, что собранные статьи касаются «некоторых темных и неясных областей бытия и знания». В предисловии ко второму — он выражается определеннее: «Дать почувствовать *семью* как ступень поднятия к Богу, — вот простая и ясная цель собранных здесь статей».

Разница большая. Такая же большая, как между вопросом о *поле* и вопросом о *браке*. Розанов сам, по-видимому, не сознает этой разницы объема понятий: в противовес абсолютному аскетизму, заключенному, по его мнению, в Евангелии, он защищает святость *пола*; в противовес аскетическому уклону исторического христианства Розанов защищает только святость *брака*.

Возведя пол и его святость до некоего абсолюта, он с жаром борется за совершенно относительные преобразования *брака* как социального явления. Ведь если Евангелие неотделимо от аскетизма, то брак, как нечто не уместящееся в подлинном христианстве, нельзя *реформировать*, потому что в таком случае нет самого брака и быть не может, каких бы Розанов ни достиг упрощений развода, легкости узаконения незаконных детей и прочих «реформ», не выходящих за пределы совершенства законодательной техники.

В историческом христианстве, действительно, этот вопрос еще не вполне решен, а потому оно, с одной стороны, благословляет брак, а с другой — заставляет крестных отцов при восприятии младенцев (этих «беспорочных херувимов») дуть и плевать на дьявола. Здесь одна из великих трагедий христианства, здесь — чаяние новых откровений. Но путь к разрешению этой трагедии лежит, конечно, лишь в признании того абсолютного принципа, что Христос освящает плоть, что аскетизм Христа есть *преображение пола*, а не его *отрицание*, что будущность пола — в стремлении к новой христианской влюбленности, а отнюдь не в идеале скопческого изуверства, как на то не устает указывать Розанов. И в этом великая правда грядущей церкви.

Тайна совмещения пола с евангельским учением может и должна быть найдена, — общими усилиями, общей молитвой, общей верой в новое откровение. «Еще многое имею сказать вам, но вы *теперь* не можете вместить» (Иоанн 16, 12). При помощи Христа загадка разъяснится и область неясного и нерешенного станет ясной и решенной. «Ибо без меня не можете делать ничего» (Иоанн 15, 5).

Теперешняя же, верим — временная, раздвоенность человека по отношению к этой тайне свидетельствует о том, что вопрос о поле находится в состоянии *движения*, что он — не мертвая точка.

Брак есть *одна* из форм полового общения. Может быть, в данном своем виде он и не соответствует стадии нашего социального развития, может быть, здесь и нужна реформа, но это задача узко историческая. Здесь нет вечной, «вавилонской» темы.

Лев Толстой примкнул со всей силой своего гения к аскетическому пониманию учения Христа, отвергнув вместе с тем и всю современную культуру с ее телефонами и домами терпимости. Представители современной культуры отстаивают телефон, признают дома терпимости, но идут *вне, помимо* Христа. И для обеих сторон вопрос ясен и решен: у Л. Толстого и ему близких — «конец мира», «неделание»; у людей культуры — «физиология», «оперетка». Решено и отношение тех и других ко Христу. А для Розанова это отношение *не решено*. Вернее, он еще не выяснил себе, можно ли при помощи Христа, т. е. оставаясь христианином, *освятить пол*. Изречения Христа против дома, семьи и родных заставляют Розанова усомниться в том, принес ли Христос *«все благо на землю. Ибо в таком случае есть часть блага, не от Него идущего и столь же драгоценного, как Его благо»* (с. 194). Отсюда и сбивчивость Розанова, его колебания, сомнения и страдания.

Умышленно ли у Розанова это смешение брака с полом — разобрать трудно. Иногда кажется, что автор выкидывает флаг семьи и брака для того, чтобы легче провезти контрабанду святого и автономного пола; а иногда, напротив, веришь, что вне области брака или, вернее, деторождения, Розанов действительно пола не признает.

Книга посвящена «благочестивым русским отцам семейств, благочестивым русским матерям и чистому порождению их — детям» (Введение, с. XV). Библия автору представляется «универсально-родильным домом» (sic! См. прим. 1, с. 326), он убежден, что «некогда христианство все телесно собьется в кучку, в тесную семейку, во внутреннейший притвор “детской ли”, “спаленки ли”, покинув “парады” парламентов, королевств».

В этом бесконечном деторождении Розанов с истинно еврейской верой видит спасение от смерти. «Рождая — я отпадаю от смерти», — говорит он.

Насколько привлекательно и соблазнительно понимание Библии как универсально-родильного дома и Апокалипсиса как «спаленки» с лампадочкой — скажу ниже. Пока отмечу только, что

этот «родильный» характер пола вовсе не является главным его признаком в толковании Розанова. Раз автор видит в поле «трансцендентно-религиозный ноумен», раз он утверждает, что «пол выходит из границ естества, что он *вне-естественен и сверх-естественен*», то не может же он считать деторождение исчерпывающей функцией пола. В одном из обширных своих примечаний Розанов, касаясь различных половых аномалий, замечает: «Но остановимся же на термине: *противо-естественное и, значит, вне-естественное, без-законное, т. е. инуду-привходящее в законы и в естество сего мира, притом их отменяющее, одолевающее*. Что же это такое? Всегда почти это суть волнения, отменяющие закон чадорождения и собственно его заменяющие собой, т. е. ему *эквивалентные*» (курсив автора).

Такое расширение понятия пола — совершенно законное и логичное следствие его «теитизации». Раз пол свят — его ничем не ограничишь, и Розанов *вынужден* безропотно этому покоряться. Обоженная стихия пола никогда не уложится в рамки деторождения.

Аскетический уклон современного христианства не признает никаких прав пола. Атеистическая культура считает его физиологией и лишь наблюдает за правильным *гигиеническим* его функционированием. Аскет ненавидит пол как начало греха, проклятия и смерти, физиолог относится к нему равнодушно, как к чему-то очень обыденному и во всяком случае лишенному мистики и тайны. Тот и другой ограничивают пол, регулируют его, один — во имя известным образом понимаемых заветов Христа, другой — во имя здравого смысла, науки и гигиены.

Розанов же со своим полом справиться не может. Если это «трансцендентный ноумен», если при некоторых его функциях «чрево мира как бы пробуравливается и в узенькую воронку потрясающего случая мы разглядываем еще второе, над или под миром, “чрево” и “небо” “звездное же, но уже не с нашими созвездиями”, “лилейное — но где цветы не наших садов”», — то с этой божественной стихией человеку не совладать. Он должен стать ее рабом и, как щепка, унести в жерло воронки с просветом в тот мир. И не могут перед этой бурей устоять карточные домики усовершенствованного брака, узаконения незаконнорожденных, правила гигиены и здравого смысла, эти плотины, которыми люди до сих пор тщетно ограждались от наводнения.

Святой автономный пол, если он свят и автономен, должен все смести, он — стихия, с которой и «царям не совладать»...

Это как раз и произошло с Розановым. Он, несмотря на свою царственную свободу, подпал под власть стихии. Сознание его

затуманилось, он теряет иногда чувство меры, говорит то, чего, может быть, говорить нельзя.

У него есть очаровательная, нежно-художественная страница, где он поет гимн Ночи². Ночь для каждого существа полог, скрывающий его от всех очей. Но страница кончилась — и автор забыл о ней, и сам грубо подымает полог, выносит на мутную улицу все таинственные служения ночи. Вместо опьянения — пьянство, вместо шепота — рев и хохот, вместо тайной радости неведомого — разгул. И мне приходит в голову: если «тайны» Розанова *можно* рассказать словами, если можно сорвать полог с его ночи, — то воистину ли это «последние тайны», те, к которым мы стремимся как к *несказанным*?

Но мне важны последние, сознательные чаяния Розанова, его путь. Куда он хочет идти? Если судить по книге «В мире неясного», — он борется только за царство «универсально-родильного дома». Надо родить того, который будет рождать следующего, и так до бесконечности, пока все не упрутся в животную теплоту «детской ли», «спаленки ли» с лампадочками, с коровками, с телятками...

Бесконечным деторождением автор думает победить жало смерти, достигнуть «апокалиптического» разрешения мировых задач. Какое странное, органическое непонимание христианства и его коренной основы — идеи «конца мира»! Ветхозаветная идея бессмертия человеческого рода здесь, на земле, до такой степени завладела Розановым, что она находит даже возможным перенести ее на Апокалипсис. «С настроенностью этой книги (Апокалипсиса), которая пока еще за семью печатями лежит закрытая — психологическая настроенность полового общения глубоко гармонируется», — говорит Розанов, и «переход христианства от синоптик³ тогда у дверей стоит» (см. с. 156, прим. 2).

Читаешь и глазам не веришь. Неужели и Апокалипсис — «универсально-родильный дом»? В чем же будет новизна новой земли и нового неба? И неужели новая любовь преображенного пола будет заключаться в плодливости? Бесконечный Ветхий Завет, но без чаяния Мессии, без преображения, без конца мира! Как скучно, как страшно и не соблазнительно!

Здесь нет движения, нет будущего. Какое у Розанова непреодолимое тяготение к старому, до-христианскому миру! Правда, он нам бесконечно дорог, он оставил нам свои духовные богатства, он горел яркой религиозной жизнью, — но ведь все-таки он — прошлое, он история, а мы можем смотреть лишь в будущее, думать не о начале мирового процесса, а лишь о его совершении и завершении. Мы и не желали бы изменить то, что было,

то, что есть; но все-таки, хотим мы или не хотим, мы творцы будущего, мы кладем камни нового храма, кровли которого если и не увидим, — увидят наши *дети*. Здесь, в этой преемственности задач, в этой вере, что если не мы, то плоть от плоти нашей увенчает купол храма, — лежит великий смысл деторождения. Не для борьбы со смертью, не ради служения обожествленной стихии пола, а ради воплощения «Богочеловечества» живем и плодимся мы на земле. Вне пола человека познать нельзя. И здесь правда Розанова. Пол есть нечто первичное, изначально вложенное в человека, что заставляет его выходить из своего «я» и прилепляться к «не я». Стихия пола так или иначе затрагивает всех, все к ней причастны, а потому все в ней объединены. Но как человек в истории своего развития покоряет себе другие стихии, стихии внешней природы, покоряет не уничтожая, не истребляя, но заставляя во славу Божию служить себе, — так должен он покорить проникновением в ее тайну и стихию пола. Прорыть ей русло, уготовать *путь*, а не стараться высушить эту реку или, наоборот, сломать все плотины для ее освобождения. Сломаем плотины — она зальет землю, обольет землю, и все-таки будет в конце концов стоячей водой. Силу электричества знали древние. Но она, непокоренная, только устрашала, восхищала и — убивала их. Долгим и страшным путем исканий, побеждая страх смертный, все глубже проникая в грозную тайну природы мы как бы вошли внутрь этой силы, покорили ее и она начала служить нам. Розанов живет среди смертельных опасностей. Он изучает молнию. Он открыл новую, чудесную силу, которую до него или не замечали, или считали дьявольским наваждением; но он показал нам, что и этой силой, как рычагом, можно сдвинуть мир, — если найти точку опоры. Точки опоры у Розанова *еще* нет. Хочу верить, что она будет; хочу верить, что этот, искони зажженный в человечестве, но им еще не увиденный, не покоренный огонь не опалит нового Архимеда...

Но прерывать Розанова, возражать ему, спорить с ним *теперь* — и опасно, и неблагоприятно. Его еще так мало понимают, так «не слышат», что всякое возражение может стать оружием для ограниченных лицемеров, которые нападают на Розанова, видя в нем опасного алхимика и мага, отрицают его, не дойдя до него, даже не пытаясь понять его глубин. Они чувствуют, что Розанов заставляет переоценить многие ценности, пересмотреть многие бессознательно воспринимаемые, ходячие истины, общие места — и боятся этого. Лучше задохнуться в темном подвале, только бы не выйти на вольный воздух, там солнце, оно может ослепить. Я спорю с Розановым, не думая об умираю-

щих и мертвецах. Здесь, на страницах «Нового пути», мои возражения не могут быть отрицающими, а только утверждающими силу Розанова, не вполне еще осознанную им самим. Розанов, подобно Ницше, Достоевскому и Толстому расширяя наше религиозное сознание, выдвинул и осветил такие стороны нашего бытия, которые до него пребывали в темноте. Отныне не считаться с Розановым нельзя. Нельзя же было в свое время не считаться с послесловием к «Крейцеровой сонате»!

Как всякий «однодум», сосредоточивший все свои силы на одной точке, Розанов порою увлекается, впадает в односторонность. Ему просто не под силу *одному* справиться со своей необъятной задачей. И всякий, кто полюбил и понял Розанова, будет неудержимо стремиться к нему, чтобы поддержать его, как умеет, чтобы помочь этому замечательному русскому писателю, «пророку прошлого», в его борьбе с волнами всепоглощающей стихии.





Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

Розанов

Человек человека не может судить последним судом. Это должен помнить всякий суд человеческий, между прочим, и критика, поскольку судит она не только написанное, но и того, кто писал. Суд потомства, живых над умершими, может быть правым; суд живых над живыми — всегда неправ.

Современники для нас как плоские фигуры на барельефах: мы видим их с одной стороны. Смерть должна отделить человека от жизни, от плоскости, сделать барельеф изваянием, чтобы мы увидели его со всех сторон и могли судить о нем как следует. А пока человек жив, критика может судить о том, что он говорит и делает, а не о нем самом.

Бывают, однако, писатели, у которых произведения так сплелены с личностью автора, что невозможно отделить одно от другого. О таких надо молчать, чтобы не судить о живых, как о мертвых. Но что же делать, когда и молчать нельзя, потому что молчать — значит потворствовать злу?

Такой писатель — Розанов.

«Я весь субъект; субъективное развитие во мне бесконечно, как я не знаю никого, не предполагал ни у кого».

Из своей субъективности он делает невероятный вывод: право на ложь.

«Удивительно, как я удеывался с ложью. Она никогда не мучила меня, и по странному мотиву: а какое вам дело до того, что я в точности думаю, чем я обязан говорить свои настоящие мысли? Глубочайшая моя субъективность сделала то, что я точно всю жизнь прожил за занавескою, неснимаемою, нераздираемою. До этой занавески никто не смеет коснуться. Там и жил, там *с собою* был правдив... А что говорил по сю сторону занавески — до правды этого, мне казалось, никому дела нет».

Это из книги «Уединенное». Книга тоже невероятная — заживо погребенная. Живой говорит о себе, как о мертвом, «вскрывает» себя, как мертвого. Человек, пока жив, стыдится; только «мертвые срама не имут». В этой книге бесстыдство мертвого.

Розанов, конечно, ошибается: никакая правдивость с собою не имеет права на ложь перед другими.

Литература — дело общественное, злое или доброе: когда писатель лжет «по сю сторону занавески», он делает злое дело, и обязанность критики помешать злу, изобличить ложь.

Критики Розанова, в сущности, не было или почти не было, а был смех. Но смех ему не страшен: он сам знает, что смешон, и рад смешить. Говорит о своем «мизерабельном» виде и о том, как в юности плакал, глядя на себя в зеркало: «Ну кто такого противного полюбит?» А потом утешился: «Да просто я не имею формы (causa formalis Аристотеля). Какой-то “комочек” или “мочалка”. Но это оттого, что я весь — дух и весь — субъект... Я наименее рожденный человек: как бы еще лежу в утробе матери и слушаю райские напевы... На кой черт мне интересная физиономия, когда я сам (в себе, в “комке”) бесконечно интересен?»

Может быть, он был бы еще интереснее, если бы об этом не знал. Во всяком случае, он не только смешон, но и серьезен — более серьезен, чем кажется.

«Вы — юморист, и ваша религия юмористическая. По моему, лучше никакой», — писал ему однажды А. С. Суворин. Это обычная суворинская плоскость и пошлость: юмористического в Розанове нет ничего — ничего веселого, легкого; его смешное — скорбно, тяжело, уродливо. «Я был в жизни всегда ужасно неуклюжий. Во мне есть ужасное уродство поведения».

Уродство — отсутствие меры. Вообще, у русских людей мало меры: «Все мы любили по краям и пропастям блуждать», по слову Крижанича¹. У Розанова — меньше, чем у кого-либо.

Он советует новобрачным снимать с себя фотографии во время полового акта, чтобы «сохранить на старость изображение своего счастья в молодости». Что это — райская невинность или порнография? Смешное личико новорожденного или смешная рожа дьявола?

Существует половое сумасшествие — бесстыдное обнажение. Кажется иногда, что у Розанов такое сумасшествие. И смехом закутывается оно, как полупрозрачную дымкою, прикрывается, как фиговым листком.

Федор Павлович Карамазов — тоже «бесстыдник», тоже любит смешить и не боится смеха, смеется над смехом. Смешон и страшен, похож на «огромного паука в человеческий рост» или

«римлянина времен упадка». Кто знает, может быть, на высоте власти, подобно Нерону² и Гелиогабалу³, он не только насмешил бы, но и ужаснул бы мир?

У Розанова и в смерти смех, или даже не смех, а «смешок», бесстыдный смешок Федора Павловича. «Убирайтесь к черту с вашей официальнойностью, — воображает он себя лежащим в гробу. — Непременно в земле скомкаю саван и колено выставлю вперед. Скажут: “Иди на страшный суд”. Я скажу: “Не пойду”. — “Страшно?” — “Ничего не страшно, а просто не хочу идти. Я хочу курить. Дайте адского уголька зажечь папироску”». И далее разговор о «девчонках», уже совсем карамазовский.

Малое уродство смешно; большое — страшно. Чем смешнее, тем страшнее. Недаром черт назван *шут*ом. Черт шутит, корчит смешные рожи, чтоб его не боялись: не так-де страшен черт, как его малюют. Черт ловит людей на удочку смеха.

Нет, смехом не убить страшного в Розанове, как персидским порошком не убить тех исполинских насекомых, пауков и тарантулов, которые сняты героям Достоевского.

Смех ему не страшен; не страшен ли гнев — суд общественный?

«Общественность — кричат везде. Может быть, я ничего не понимаю, но когда встречаю человека с “общественным интересом”, то не то чтобы скучаю, не то чтобы вражду с ним, но просто умираю около него. “Весь смокнул” и растворился: ни ума, ни воли, ни слова, ни души. Умер. И пробуждаюсь, открываю глаза, когда подозреваю, что общественность выскочила из человека...»

«Я уже давно пишу без читателя, просто потому, что нравится... И не буду ни плакать, ни сердиться, если читатель, ошибкой купивший книгу, бросит ее в корзину...»

— Ну, читатель, не церемонюсь я с тобой, — можешь и ты не церемониться со мной.

— К черту?

— К черту...»

Что делать критике с писателем, который посылает себя самого к черту?

«Я похож на младенца в утробе матери, но которому вовсе не хочется родиться: мне и тут тепло».

Зачем же утробный младенец стремится в общественность? Лежал бы в утробе матери. Но вот вылез и взыграл на виду всей России, голенький. Только и делает, что спрашивает: «Чего изволите?» — и поклоняется всякой силе торжествующей, всякой торжествующей подлости. «Ослабнувший фетиш» (фетиш — ста-

рый порядок), — писал во время «смуты», а едва лишь смута кончилась — начал лгать мертвого льва. Сам не ведает, что творит. Все от младенчества.

«Из кабака — прямо в церковь, а из церкви — прямо в кабак», — определяет Суворин в письме к Розанову сущность «русского духа». Надо им отдать справедливость: оба они, как никто, способствовали этому слиянию кабака с церковью. Напился в кабаке и пошел в церковь.

«Л. Толстой прожил, собственно, глубоко пошлую жизнь». «Гоголь — идиот». «Щедрин, как матерый волк, наелся русской крови и сытый отвалился в могилу». Это Розанов плюет на иконы. Что же молящиеся? Ничего, продолжают молиться. Вот она, та подлая терпимость, которая превратила русское общество в дом терпимости.

«Как мне нравится Победоносцев, который на слова: “Это вызовет дурные толки в обществе” — остановился и не плюнул, а как-то выпустил слюну на пол, растер и, ничего не сказав, пошел дальше», — восхищается Розанов. Вся его общественность — плевок Победоносцева. Победоносцев, Катков, К. Леонтьев, все наши «охранители» — за спиною Розанова. Он — детище их, плоть от плоти, кость от кости. Он раскрыл то, что в них скрыто. Общественная бессовестность, общественное непотребство его от них идет. И насколько этот нигилизм ужаснее старого нигилизма наших «разрушителей»!

Да, суду общественному с Розанова взять нечего: мертвые срама не имут. Он это знает и уходит из общественности в частную жизнь.

«Народы, хотите ли, я вам скажу громовую истину? Частная жизнь выше всего».

В жизни общественной лжет, а «по ту сторону занавески», в жизни личной, правдив. Но, кажется, у него и там не одна, а тысячи правд, тысячи искренностей, одна на другой, как луковичные кожицы: снимет одну — под ней другая; снимет другую — под ней третья, и так без конца. Он снимает их с такой легкостью, как будто это не кожи, а платья. Платья какого угодно цвета, смотря по надобности. И даже голое тело — не тело, а телесного цвета трико, как у плясуна канатного. Плясун пляшет, зарабатывая хлеб насущный: «Только вырабатываю 50—80 рублей недельных, но никакого интереса к написанному»;

Где же нагота последняя, последняя искренность? А вот где.

«Страшное одиночество за всю жизнь. С детства. Одинокие души суть затаенные души. А затаенность от порочности. Страшная тяжесть одино-

чества». — «Точно я иностранец — во всяком месте, во всяком часе, где бы ни был, когда бы ни был. Все мне чуждо, и какой-то странной, на роду написанной отчужденностью». — «Такое сильное ощущение пустоты около себя, — пустоты, безмолвия и небытия вокруг и везде, что едва знаю, едва верю, едва допускаю, что мне “современничают” другие люди».

— «Что ты все думаешь о себе? Ты бы подумал о людях».

— «Не хочется».

«Когда я один, я полный, а когда со всеми — не полный. Одному мне лучше».

Того, что мы называем *индивидуализмом*, утверждением одинокой личности, нельзя точнее выразить. И что это — нагота последняя, не трико, а тело, — видно из того, что этим все объясняется. Бесстыден, потому что стыдиться некого; при всех обнажается, потому что и при всех один; безобщественен, потому что не может общаться с людьми тот, кто не верит в существование людей.

Свое одиночество он считает необыкновенным. Но оно обыкновеннее, чем он думает. Как в готическом зодчестве — все здания, так в современной европейской культуре все дела, чувства и мысли кончаются острием — острием личности.

Не количеством, а качеством индивидуализма отличается Розанов от своих современников: у тех он стихийный, бессознательный и безрелигиозный, разрешающийся в эстетизм, футуризм, акмеизм и прочие пошлости; Розанов углубляет свое одиночество до сознания религиозного, до религиозной трагедии.

«Одному мне лучше, потому что, когда я один, — я с Богом... В конце концов, Бог — моя жизнь. Я только живу для Него, через Него. Вне Бога — меня нет». — «Мой Бог — особенный. Это только мой Бог, и еще ничей. Если еще чей-нибудь, то этого я не знаю и не интересуюсь. Мой Бог — бесконечная моя интимность, бесконечная моя индивидуальность. Интимность похожа на воронку или даже две воронки. От моего общественного “я” идет воронка, суживающаяся до точки. Через эту точку-просвет идет только один луч: от Бога. За этой точкой другая воронка, уже не суживающаяся, а расширяющаяся в бесконечность. Это — Бог».

Края первой, суживающейся воронки общественной — свалка нечистот, помойная яма. Но по мере того как воронка уходит вглубь, стены ее очищаются; мы видим, что это стены первоизданной горной породы и что в глубине ее — «просвет к Богу».

Как может это быть? Сознаем ли мы это или нет, но для нас единственно возможный смысл религии, смысл христианства, смысл Христа — соединение любви к Богу с любовью к людям. Бог как отрицание любви нам кажется чудовищным. «Иногда чувствую что-то чудовищное в себе», — ужасается Розанов. Если

бы насекомое — паук или тарантул — могло иметь религиозное сознание, то относилось бы к Богу как Розанов. Но как Бог отнесся бы к этому чудовищу?

Всякое существо надо судить в его родной стихии. Медуза в воде — волшебный цветок, а на берегу — слизь. В общественности Розанов — такая слизь; там его как будто вовсе нет или лучше бы вовсе не было. Только в *своей* родной стихии, в своей религии, он есть, — хорош или плох, но значителен.

О древнем Египте, Иудее, Греции немного таких вещей страниц во всемирной литературе, какие у него. Вследствие некоторых особенностей своего внутреннего опыта он говорит о прошлом не как историк, а как современник: чем оно дальше от нас, тем ближе к нему. Как будто вспоминает то, что с ним было в иных воплощениях. Мы знаем, что тело каждого из нас в своей утробной жизни проходит все ступени биологического развития, от амебы до человека. Не проходит ли и душа до рождения все тысячелетия всемирной истории? Если так, то наши исторические знания — только *воспоминания*. У Розанова они так живы, как ни у кого. Все, что мы уже забыли, он еще помнит, знает не из книг, не из чужой, а из своей собственной памяти, из своей «ночной», «утробной» души, — той, которая жила до рождения. И все эти воспоминания сводятся к одному главному, религиозному.

В чем же религия Розанова?

Это религия пола. Пол, как зажигательное стекло, собирает и сосредоточивает все рассеянные в мире лучи Божественного в одну огненную точку.

Сущность Ветхого Завета — абсолютное религиозное утверждение пола, деторождения. Сущность Нового Завета — проклятие пола, Бессеменное Зачатие, абсолютное религиозное отрицание, ноль пола. «Как только в половом месте вы поставили значащую величину, вы ниспровергли Евангелие». В мире борются два света — лунный и солнечный. Солнце — Ваал — бог плодородия; луна — Астарта — вечно бесплодная дева, богиня ночи, смерти и сладострастия. Иудейство — религия солнечного, христианство — лунного света. Нужно выбрать между Ветхим и Новым Заветом, между семьей и содомом, деторождением и детоубийством, спасением и погублением рода человеческого. Иночество — скрытый содом — душа европейской цивилизации. «Мужественность, костяное, твердое начало наполовину рухнуло, когда умер древний мир». — «Наш содомский идеал, — говорят будто бы иноки, — мы сбережем и осуществим ценою погубления всего человеческого рода». Блаженно чрево не ро-

дившее и сосцы не питавшие. Не надо рождений, не надо жизни; миру конец, миру предстоит погибнуть — вот суть христианской бессеменности. «Иночество — нерастворимый кристалл в христианской цивилизации; оно ведет землю к разрушению и оставлению на земле немногих избранных — царства бессмертных святых».

Критика христианства у Розанова кончается анафемой.

«Проклятые содомляне!.. О, какая правда, что на таких, как вы, когда-то был просыпан серный огонь с неба!» — «Да провалитесь вы с вашей “нравственной личностью”, которая несет убийство, пьянство и разврат!» — «Не прав ли я, давно начав крик: смотрите, это идут погубители человечества, злодеи в образе ангелов, пантеры в образе овец!» — «О, гады! О, детоубийцы! Ироды!»

Вообще, в религиозной мысли его нет диалектики, последовательного хода: мысль его не идет, а перескакивает, перелетывает с вершины на вершину, с острия на острие. Мгновенные прозрения сверкают, как молнии, а между ними — тьма, в которой надо пробираться ощупью. Он путается в противоречиях не только антиномических (в смысле антиномий кантовских), но и логических.

Все эти противоречия сводятся к вопросу об отношении пола к личности.

В метафизической сущности мира, — утверждает он, — есть два начала: родовое, половое, безличное, и противоположащее полу, личное. Личность, душа — не только явление, но и «вещь в себе». Это — одно утверждение, а вот и другое: «душа (личность) есть только функция пола; пол есть ноумен души как своего феномена». Итак, личность — то явление, то не явление; то сущность, то не сущность.

Противоречие в основании, противоречие и в выводах.

Если душа, личность — «только функция пола», то функция (действие) не может не соответствовать своей причине, не может ей противоположаствовать. А между тем личность, — утверждает Розанов, — есть противоположаство полу: «индивидуум начался там, где вдруг сказано закону природы (закону пола): стоп! не пускаю сюда». Отношение личности к полу — то положительное, то отрицательное.

Путаница логическая отражается и в нравственной, и в религиозной путанице. Из противоположаства полу возникает личность, — по Розанову, — «единственное живое начало мира». На каком же основании он ставит знак равенства между началом жизни и началом смерти, между противоположаством полу и извращением пола, между целомудрием и содомом?

Все эти путаницы происходят из неясности ответа на главный вопрос: что к чему относится, как явление к сущности, — личность к полу или пол к личности? В сознании своем Розанов отвечает надвое, но в воле его один ответ: пол — сущность, личность — явление. И в этом главная ошибка его. Не только по христианской метафизике, но и по здравому смыслу личность, *индивидуум*, есть *неделимое*, целое; пол есть половина, двоение (два пола), деление, дробь личности. Совершенный человек, совершенная личность — не мужчина, *только* мужчина (самец) и не женщина, *только* женщина (самка), а что-то большее. Ведь вот сам же Розанов знает, что во всяком мужчине есть женское и во всякой женщине — мужское. Соединение мужского и женского не в половом акте, вне личности, а в ней самой и есть начало личности. Вот почему чувство пола так связано с чувством смерти: в поле и в смерти — конец личности.

Утверждать, что душа, личность есть только явление, «функция пола», что пол больше личности, — значит утверждать, что часть больше целого. Христианское целомудрие — не содом и не скопчество, как думает Розанов.

Ветхий Завет — движение человечества к Абсолютной Личности. Когда цель движения достигнута, оно прекращается; кто шел и дошел, перестает идти. Цель Ветхого Завета была достигнута, когда явился Христос. Если смерть непобедима и невозможно бессмертие личное, то вся надежда — на бессмертие родовое, безличное, на чреду поколений во времени, передающих факел жизни, как в «беге факелоносцев», — с вечной надеждой, не раздуется ли ветром бега тлеющий факел в огонь, — в тот, о котором сказано: *огонь пришел Я низвесть на землю*. Абсолютно надо рождать, пока абсолютно надо умирать. Но если смерть победима, то тем самым указан предел, за которым уже не надо будет умирать. Религиозная абсолютность пола, рода, рождения, так же как смерти, отменяется Воскресением, бессмертием личности. Это лишь предел, горизонт, край земли, «конец мира», *не достигнутый*; но христианский путь человечества есть путь к этому пределу, — не «погублению», как думает Розанов, а исполнению человечества. Без этого *конца*, действительно, нет христианства.

Розанов ничего не понимает в христианстве, потому что ничего не понимает в личности. Непонимание личности — свойство индивидуализма. Индивидуализм — кажущееся утверждение, действительное отрицание личности. «Суть “я” именно в “я”», — утверждает Розанов. Нет, суть «я» — не только в «я», но и в «не я». Я — только я, я — один в себе, я без всех, я против всех —

не личность, а особь, не человек, а зверь. Я и не я, я и все, я со всеми, я во всех — вот личность, вот человек. Личность и общественность — две стороны одного и того же. Розанов не знает, что такое личность, потому что не знает, что такое общественность.

Если христианство — ложь, то нельзя ли уничтожить эту ложь? Нельзя ли всю христианскую цивилизацию «послать к черту на рога, как несомненно от черта она и происходит»? Нельзя ли отменить Новый Завет и восстановить Ветхий? — спрашивает Розанов. Надо сойти с ума, чтобы ответить: можно. Здравый смысл отвечает: нельзя, — нельзя сделать, чтобы не было того, что было. А если так, то, значит, все само идет к черту: дьявол победил Бога и весь мир — победа дьявола.

А все-таки один вопрос не решен — религиозный вопрос о личности. Индивидуализм обходит его в жизни, но смерть ставит вопрос так, что обойти нельзя.

«В детях я живу... Только бы, значит, рождалось, — и я никогда не умру», — утешается Розанов. Но вот умирает «друг», — «и жажда бессмертия схватила меня за волосы», — признается он, уже ничем не утешенный. Жажда бессмертия не родового, а личного.

«И вот горбик земли, под которым зарыт человек... Эти два слова: “зарыт человек, человек умер” — своим потрясающим смыслом, своим вечным смыслом, стонающим, преодолевают всю планету... Человек умер, и мы даже не знаем, кто... Хочется сесть на горбик и выть на нем униженно, собакою».

Это значит: боли от личной смерти бессмертие родовое, безличное не утоляет.

Вот когда обнаружилось, что религия пола, брака недостаточна.

«Я говорил о браке, браке, браке... а ко мне шла смерть, смерть, смерть». — «Я кончен, — зачем же я жил?»

«Запутался мой ум, совершенно запутался». — «Душа моя — какая-то путаница, из которой я не умею вытащить ногу».

И на дне этой путаницы — последний ужас, последнее отчаяние. Одно из двух: или он, или весь мир в безумии. Так лучше пусть он — это все-таки легче.

«Безумие — вся моя прежняя жизнь...» — «Всю жизнь посвятить на разрушение того, что одно в мире люблю!..» — «Церковь есть единственное глубокое на земле... Боже, какое безумие было, что я делал все усилия, чтобы ее разрушить!.. И как хорошо, что не удалось!» — «Как пуст мой бунт против церкви!» — «Иду в церковь! иду! иду!»

Куда он идет, к кому? К «человекоубийцам, Иродам, содомлянинам, злодеям в образе ангелов, пантерам в образе овец»? Да, к ним, потому что больше идти ему некуда. Идет и стонет: «Болит душа, болит душа, болит душа, и что делать с этой болью — я не знаю».

Доплясался канатный плясун — упал, расшибся, и брызнула кровь.

Идет в церковь, а ко Христу идет ли? Или ему нужна только церковь — без Христа, помимо Христа? «Ведь я ни в воскресение, ни в душу, ни особенно в Него не верил». Не верил, когда уходил из церкви: что, если и теперь, когда идет в нее, не верит? Можно ли так идти в церковь?

Как общественному деятелю Розанову нет пощады⁴. Но как человека судить его незачем: он сам себя судит страшным судом. «Я считаю себя дурным человеком». Однажды кто-то сказал ему, и он соглашается:

«Как в человеке в вас есть что-то нехорошее». — «Боже мой, как с неправдой умереть?.. А я с неправдой». — «Я не хочу, чтобы меня помнили... Откуда такое чувство? От чувства вины». — «Через грех я познавал все в мире и через грех относился ко всему в мире».

Он думает, что грех его «не против Бога, а против человека». Нет, против Бога и человека вместе. Может быть, открытый и честный религиозный бунт в наши дни вовсе не грех. Но у Розанова бунт лукавый: из-за угла ненавидит и не смеет поднять глаза на Того, Кого ненавидит.





ВОЛЖСКИЙ

Мистический пантеизм В. В. Розанова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Странное, на первый взгляд непонятное, да и вообще нелегко объяснимое явление замечается в истории русской мысли. В России, этой стране могучего духовного размаха, среди необъятной шири, проникновенной глубины ее душевных переживаний, при огромном умственном росте ее за последние два столетия — почти совсем не видно мыслителей, которые бы выделились и весь мир удивили громадной какой-нибудь *стройной, законченной*, гармонически вырисованной системы. Россия живет напряженной, страстно волнующейся, вечно трепетной, углубленной и живой духовной жизнью; неутомимая, неустанная, вечно тревожная, вечно беспокойная работа идет здесь, сильно бьется духовный пульс русской мысли, но в результате мы не видим грандиозных философских сооружений, громадных, удивительных построек с правильной архитектурой, высоких царственных дворцов и роскошных каменных палат философских систем, не видим первоклассных философов, всеми признанных мыслителей. В отношении самых крупных выразителей русской духовной жизни, наших колоссов, европейцы, да и представители нашей академической философии, всегда готовы спросить: да разве это философы? И этот вопрос-упрек, сокрытые в нем сомнения и недоверие давно уже тяготеют над судьбами русской философии. И в тех немногих попытках заняться судьбами русской философии, которые встречаются в нашей литературе, постоянно проступают с большей или меньшей определенностью нотки этого вопроса-упрека, всегда чувствуется конфузливая несмелость, робость перед громадной тенью стыдящейся нас европейской философии, стремление прицепиться к ней какими-

нибудь более крепкими нитями; говорят о философских кружках идеалистов 30-х и 40-х годов, о философских изысканиях славянофилов, поминают Сковороду или выискивают более заметных русских представителей современной академической философии; самым надежным оплотом в конце концов оказывается все же Влад. Соловьев, этот несомненно оригинальный русский философ, огромный и еще растущий теперь, в потомстве, первый *настоящий* русский философ и, быть может, в известном смысле единственно настоящий.

Правда, мощь русского мышления сказалась в нашей классической художественной литературе, которая отразила в себе глубь русской духовной жизни. Здесь-то именно и скрывается, на наш взгляд, настоящая русская философия, художественная философия в цвету и красках, сочная, благоухающая, ароматичная...

Небогатая оригинальными философскими системами, русская литература тем не менее очень богата философией, своеобразной, яркой и сочной. Русская художественная литература — вот истинно русская философия, самобытная, блестящая *философия* в красках слова, сияющая радугой мыслей, облеченная в плоть и кровь живых образов художественного творчества. Всегда отзывчивая к настоящему, преходящему, временному, русская художественная литература в то же время всегда была сильна мыслью о вечном, непреходящем; почти всегда в глубине ее шла неустанная работа над самыми важными, неумирающими и значительными проблемами человеческого духа; с проклятыми вопросами она почти никогда не расставалась. И какой роскошью линий и красок, какой дивной прелестью образов и картин развевывалась эта работа в художественно-философских, бессистемных системах русских писателей, в их, казалось бы, таких далеких от философии повестях, романах и стихотворениях. За последнее время многие стали понимать, что истинную русскую философию следует искать больше всего именно здесь. Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Салтыков, Тургенев и Гончаров, Толстой и Достоевский, Успенский, Короленко, Чехов — все это подлинная наша философия, философия в красках и образах живого, дышащего слова.

Богатства философии, сокровища оригинального мышления не исчерпываются у нас пока еще очень небогатой, чаще всего зависимой и малокровной академической философией, не исчерпываются они и художественной философией изящной литературы. Значительные философские дарования ушли в публицистику, которая в силу исторических особенностей русской жизни заняла у нас совершенно своеобразное положение. В пуб-

лицистике нашей сложным клубком сплелись интересы и вопросы художественные, философские, научные, моральные, религиозные; из-за них-то собственно общественная жизнь только просвечивала, отражаясь и преломляясь в самых прихотливых, запутанных переплетениях всевозможных элементов. Это сложное своеобразие в укладе русской жизни, эта недифференцированность русской мысли и слитность духовных интересов русских людей в общей причудливой спайке публицистики сильно способствовали тому, что значительные русские философские силы растворились и, в глазах академической истории философии, затерялись в пестрой паутине текущей общественности, в сутолоке журналистики. Такими философами в публицистике, людьми огромной умственной силы, писателями, имеющими свою философскую индивидуальность, но не создавшими своей философской системы, были очень многие русские писатели.

Таким же философом без системы, запрятавшим свою философию под пеплом публицистики — и на этот раз публицистики совсем уже *иной* общественной ценности, таким мыслителем, разрывающим свое мышление по клочкам газетных фельетонов и журнальных статей, является и В. В. Розанов. Достойная оценка его философских исканий представляется несравненно более затруднительной, чем кого бы то ни было из философов русской публицистики, его писания, быть может, долго не привлекут к себе непредубежденно-искреннего, внимательного отношения уже не только потому, что он далек от академических философских сфер, а главным образом еще и потому, что он далек от политической академии, от общественных настроений передовой русской интеллигенции; он недоступен внимательному изучению не только потому, что он философ-фельетонист, но и потому, что он философ-фельетонист по большей части реакционных изданий.

В сущности, как мы дальше постараемся показать, общественно-политические воззрения реакционной печати все более и более становятся чуждыми Розанову в его все углубляющихся исканиях. Недаром с злобным шипением обрушиваются на него и озлобленно травят голоса из той же самой реакционной печати, которая не так еще давно принимала его к себе, а теперь почувствовала, что с врагом имеет дело, поняла наконец, что в сердцевине розановского мирозерцания кроется нечто живое, опасное и грозное для ее мертвящих поползновений, для ее смердящего дыхания. И поняв это, поняв, что ей хитро и тонко отказали в сообщничестве, которое и раньше было чисто внешним,

она начинает ругаться, выкрикивая бессмысленную брань *. Но тут за Розанова нельзя не порадоваться, он мог бы сказать ей, как сказал Кириллов в «Бесах» Достоевского перед самоубийством своим Петру Степановичу Верховенскому. «Наконец-то ты понял! — вскричал он восторженно. — Стало быть, можно же понять; если даже такой, как ты, понял!»

Это стало выясняться теперь, когда о Розанова спотыкаются часто даже в самом «Новом времени»...

Но и раньше, как это теперь становится все очевиднее, сближение Розанова с реакционной печатью в общественно-политическом моменте было чем-то внешним по отношению к основным началам его увлечений, как бы на живую нитку пристегнутым к ним, скорее навязанным случайными условиями литературной деятельности, чем соединенным каким-нибудь внутренним кровным родством с самым духом его идейных тяготений. Правда, от этого не легче, во многих отношениях даже тяжелее. Если философское ядро исканий Розанова высвобождается таким образом от всяких внутренних, интимных связей с духом тех реакционных изданий, в которых успел побывать Розанов, то это лишь сгущает ту мрачную тень, которая лежит на Розанове как писателе; эта тень падает на произведения Розанова от тех изданий, в которых они печатались. Она затемняет собой истинную живую сущность его писаний. Участие Розанова в реакционных изданиях представляется нам очень сложным, как бы двояко вогнутым лукавством: с одной стороны, лукавством заодно с этими изданиями перед читателем, с другой — одиноко, в собственной совести, перед самим собой, перед природой своей. Впрочем, лукавство Розанова, как увидим далее, не оставляющее его и в самых интимных углублениях религиозно-философских исканий, гораздо сложнее и тоньше, оно сложно и тонко, часто до неуловимости и во всяком случае до непередаваемости, особенно с документами в руках.

* «О каком нравственном совершенствовании можно говорить, — писал, например, в нынешнем году в «Русском вестнике» г. Стародум¹, — если ввяв к общему соблазну такие очумевшие эротоманы, как г. Розанов, отправляют публично функции своих болезненных пороков и сладострастно хихикают, когда ухитрятся сказать намеками о самом тайном. Статья г. Розанова рисует его как духовного проходимца и отщепенца от веры Христовой. Она есть оскорбление общественной нравственности, пощечина здравому смыслу, скверное и постыдное богохульство, высшая мера низменнейшего и грязнейшего разврата, по крайней мере умственного, а может быть, и материального».

Но как бы то ни было, этот сложный и тонкий в лукавстве своем, теоретическом и практическом, писатель, успевший побывать во всех значных и грязных местах литературы, писавший и в «Московских ведомостях», и в «Русском обозрении», постоянно участвующий и теперь в «Новом времени», написавший здесь когда-то злобой шипящую статью о «Ходынке»² и очень способный на самые ядовитые, злобные и неожиданные политические уколы, получивший от покойного Вл. Соловьева пронзительную кличку Иудушка Головлев*, этот своеобразный писатель, при всем своем испещренном всяческими записями формуляре, несомненно займет видное место в истории русской литературы и русской мысли, и на этом видном месте он откроется не только с темных, отрицательных своих сторон, но и с положительных — в глубоком проникновении своих религиозно-философских исканий, своих пытливых вопрошаний и заглядываний.

Мы подчеркнули, может быть, слишком подчеркнули теневую сторону внешности публицистики Розанова, но в сущности, в отношении писателя такого углубленного искания, такого гениально смелого размаха мысли, как Розанов, эта квалификация от партий более чем где-нибудь недостаточна, мало справедлива и как-то очень уже грубо-поверхностна. К Розанову, как, например, к Ницше, нужно подходить совсем иным подходением, не пугаясь внешнего обличья, следует смелее, минуя его, заглядывать в самое нутро писаний, бездонно глубокое и грозное.

Д. С. Мережковский в своей книге «Жизнь и творчество Л. Толстого и Достоевского» называет В. В. Розанова «русским Ницше». «Я знаю, — оговаривается Мережковский, — что такое сопоставление многих удивит; но когда этот мыслитель при всех своих слабостях, в иных прозрениях столь же гениальный, как Ницше, и, может быть, даже более, чем Ницше, самородный, первозданный в своей антихристианской сущности, будет понят, то он окажется явлением едва ли не более грозным, требующим большего внимания со стороны церкви, чем Л. Толстой, несмотря на всю теперешнюю разницу в общественном влиянии обоих писателей»**. Чем дальше будет раскрываться Розанов в глубинах своего антихристианства, внимательным изучением почувствовавших его силу, тем более удивление перед смелостью

* Порфирий Головлев о свободе и вере, «Собр. соч. В. С. Соловьева», т. V.

** Д. С. Мережковский, «Жизнь и творчество Л. Толстого и Достоевского», т. II, с. XX.

сопоставления Мережковского будет сменяться удивлением перед Розановым...

Розанов — несомненно громадный, оригинальный ум, ум пытающий, будоражащий, беспокойный ум, ищущий глубин и начал, изумительно чуткий, *чувствующий ум*. Сочетание этого ума с сильным чувством, художественным, сочным, облеченным в плоть и кровь ярких красок жизни, тонкое чутье жизни, роскошь и окраска психологического оперения делают его описания такими действенными, полнокровными, его вопрошания такими пронзительно-острыми, его критику такой опрокидывающей, облечения такими ядовитыми, саднящими, шепот — таким страшным. *У Розанова чувствующий ум и умное чувство, он художник в своем мудровании, мудрец в своем чувствовании.* Розанов реалист, сильно ощутивший жизнь, опьяненный этим своим ощущением жизни, своей любовью к земле, к роскоши ее звуков, запахов, красок, форм, линий, теней и оттенков; он любит реальность на ее блистающей радугой жизни, световой, солнечной поверхности, но в нем еще сильнее развито, утончено и обострено чувство глубинной действительности, которая непосредственно, нутром, осязается им... В Розанове сильно мистическое чутье, чутье ноуменального, потусветного, он живо, почти осязательно, испытывает кровное «касание мирам иным». Мощное ощущение реального влечет его в глубь действительности, в непроницаемую темь, к сокровенным извилинам, таинственным изломам, загадочно-скрытым изгибам в сочленениях жизни, в расслоениях природы. Розанов ищет здесь разгадку тайны жизни, стремится раскрыть сокровенный смысл ее; сделать это он пытается не столько рационалистическим путем разумного познания и опытного исследования, а больше всего и прежде всего интуитивным угадыванием. Он старается нащупать основной пульс жизни, взволнованно, напряженно вслушиваясь в его мощное биение где-то там в темных сокровенных глубинах реального. Чутко насторожившись и затаив дыхание, с замиранием сильно бьющегося сердца, он шепчет страшным, прерывающимся от волнения шепотом свои странные вопрошания, тяжелые недоумения и жуткие, щекочущие догадки.

Он дрожит нервной дрожью и как бы ждет, что вот-вот обнаружится, явится самое-то важное, самое-то нутряное, сокровенное, вот-вот откроется наконец самый таинственный клад... По основному характеру своих религиозно-философских исканий, по душевному складу своих писаний Розанов прежде всего кладоискатель, *мыслитель-кладоискатель*. Глубокая уверенность в существовании клада крепко засела в его сильном, повышен-

ном, углубленном чувстве жизни; напав на свою тему, он знает теперь и место, где лежит этот клад, и с тех пор, неотступно возвращаясь все на то же заколдованное место своей тайны, копает и копает его, снова и снова, все дальше и дальше опуская свой заступ, все глубже и глубже врываясь в почву, стараясь докопаться до самой сути, уйти в бездонную глубь своей темы, чтобы там открыть свой клад.

Розанов — мыслитель-*однодум*, писатель одной своей собственной, глубоко своеобразной темы. «Есть люди с великими *темами*, но без слов, и есть люди с богатыми словами, но которые *родились без темы*» *. Розанов родился со *своей* темой, он не сразу начал с нее, но, раз напав на свою тему, ощутив ее в себе, он уже не расстается с ней, разворачивает ее, переворачивает, углубляет и умудряет, стараясь докопаться до корней, до сокровеннейших источников ее. Тема Розанова кажется многим односторонней, не слишком значительной, не требующей углубленных мудрований, а главное не очень удобной для всестороннего обсуждения, почти неприличной, но он сумел развернуть свою тему в целое мирозерцание, сделать ее неисчерпаемо многогранной, бесконечно значительной, зовущей к глубочайшим проникновениям, всемирным, всечеловеческим, изначальным волнениям. «*Я бездарен, да тема-то моя талантливая*», — пишет он с игривой скромностью в одном из своих афоризмов «на полях непрочитанной книги» **. Да, он родился с темой *талантливой*, из нее родился, вырос и развернулся всей полнотою своего мышления, своего своеобразного чувствования, своего чувственно-мудрствующего гения. Как из яйца, Розанов вылупился из своей темы, развернув проблему пола, семьи в глубь своего мистического пантеизма, своего углубленного реализма. Тема Розанова несравненно, неизмеримо больше того, что раньше, до него, видели на месте этой темы, но она, эта розановская тема, больше самой себя, больше тех мудрствований и высказываний, которые вообще возможны в человеческом мышлении и человеческой речи. Розанов сам, конечно, понимает это. «Может быть один упрек мне, — оправдывается он в тех же заметках «на полях непрочитанной книги», — что я разболтал Божию тайну, которая должна быть сокровенною, “во мгле”. Обнажил корешок древа жизни, который действует, но невидим. Но за это уже пусть пеняют на гг. аскетов, кото-

* В. В. Розанов. Новые эмбрионы, «Религия и культура», с. 247. Курсивы автора.

** «Северные цветы» за 1901 г.

рые вздумали отрицать Божию тайну. Да и потом, я лишь указал, а не разъяснил: ибо пол так и останется неисповедим. Мы видим молнию, но не понимаем электричества» *. Он именно только *указывает*, но не *разъясняет*, потому что самое существенное здесь и неразъяснимо в свете рационального, оно — иррационально, его Розанов дает почувствовать, но не раскрывает, потому что оно таинственно, «во мгле» скрыто, мистично в существе своем. Он все время волнуется только *около* своей темы, ходит вокруг нее, роет, подкапывается, чувствует клад, реальность его, близость его, содрогается в предчувствиях, в угадываниях, но лица своей тайны не видит, оно сокрыто. Этим определяется и общий характер, дух и самая форма его писаний, это возбужденное, прерывистое дыхание их, странные и страшные нашептывания, нервное дрожание, улыбочки, усмешечки, вздохи... Он не просто разматывает нить своих мыслей с большого и цельного клубка, а составляет по ниточкам, уснащает узелками, петельками, рвет и обкусывает нитку, снова крутит, снова завязывает, разматывает и опять спутывает, чтобы снова разрывать, навязывать маленькими, меленькими узелками, цепкими, оригинальными. Он не идет по основной нити развития своей темы, а как-то наскоком набрасывается на нее, догоняет и подгоняет сам себя в постоянных «примечаниях» (В. Р-в), восклицает, прозревает, предчувствует, намекает и ловит, весь в намеках, в обрывках — весь в догадках. Все время волнуется, гримасничает, подмигивает — весь в движении; подстерегает свою мысль, издали приближается к ней, как-то изогнувшись, притаившись, тихими, совсем неслышными движениями нацеливается и вдруг дернет за самую таинственную ниточку, за самую чуткую пружинку и с размаху ударит в самое чувствительное место... Весь в движении, порою как-то весь расплывается, растворяется, тает в игре слов, в условности узоров, в символике намеков и сравнений, точно весь прячется за ними, становясь невидимым, темным, неуловимым, в мимике, в ужимочках, в словечках, в интонации.

По-своему пишет Розанов, в высшей степени *свое* у него письмо, особенное что-то, дразнящее, саднящее, соленое вместе с приторно-сладким, греющим. Все неровно и нервно в нем. Рядом с действительно глубокими проникновениями, изящными сравнениями, пронизывающими, остроумными намеками — грубые удары обуха топора, грубейшие сравнения, что-нибудь насильственное, плоское, смешно-задорное, вульгарное. Изогранный

* «Северные цветы» за 1901 г.

иезуитизм и детская наивность, демонизм и самое искреннейшее простодушие, иступленный фанатизм и тончайший скептицизм, жизнедышащая вера и цинизм смеющегося неверия, — все это уживается рядом, бок о бок, постоянно переходя одно в другое, в странной психологии его писаний, сказываясь в самой форме их, в стиле.

И юродивость эта, русская, и иезуитская складочка, и морщинки все, ужимки, усмешечки, наивность, переходящая в наивничанье и совершенно определенное лукавство, — все это сообщает его письму замечательное своеобразие. Есть тут чуточку Достоевского, кое-что как будто напоминает Лескова, многое взято просто с улицы русской печати, и в общем все в конце концов свое собственное, несомненное, подлинно розановское.

Пишет Розанов как-то путанно, нагромождая вводные предложения, относя отдельные слова куда-то в сторону, совсем прочь от истинно принадлежащего им места в предложении. Иногда его период нельзя прочесть, не поперхнувшись, но прочтя его наконец, вы чаще всего непременно улыбнетесь и не без странного удовольствия, иногда и опять перечитаете. Любит он новообразования слов, словечки и выраженьица, любит их по-своему выворачивать и как бы любоваться их новыми изгибами, хотя бы это и были искривления прямых слов, но, таким образом, нарастает как бы новый слой на тех же словах, они выпячиваются и дразнят мысль, завлекая куда-то вглубь их содержания.

Речь Розанова полна своеобразных изломов и каких-то, на первый взгляд, уродливых вывихов, она извивается в самых неожиданных и странных вогнутостях и выгнутостях, пестрит маской скобочек, кавычек, подчеркиваний, повторений, закруглений. Это какая-то славянская вязь, запутанная, сложная в своей прихотливой изогнутости и по-своему красивая, красивая именно в своей своеобразной уродливости, в юродивости своей. Замечательно интересный писатель!

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Исходная точка исканий Розанова. — Мистический пантеизм, раскрытый им в процессе критики христианства, скорее как его поправка и дополнение, чем как отрицание. — Углубление реализма в мистическом чувствовании жизни. — Пантеизация христианства. — Человекобожество и «здесьняя вечная жизнь». — Бесконечность жиз-

ни в вечных рождениях и «розовое бессмертие». — Отрицание христианской эсхатологии. — Антитеза жизни и смерти, святости и греха.

— Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что! Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь. Понимаешь ли ты что-нибудь в моей ахинее, Алешка, аль нет? — засмеялся Иван.

— Слишком понимаю, Иван: нутром и чревом хочется любить, — прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется, — воскликнул Алеша. — Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.

— Жизнь полюбить прежде, чем смысл ее?

— Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно прежде логики, и тогда только я и смысл пойму. Вот что мне давно уже мерещится. Половина твоего дела сделана, Иван, и приобретена: ты жизнь любишь. Теперь надо постараться тебе о второй твоей половине, и ты спасен.

— Уж ты и спасаешь, да я и не погибал, быть может...

Достоевский. Братья Карамазовы

Все мирозерцание В. В. Розанова, как цветок из лепестков, разворачивается из таинственных розовых завитков проблемы пола, оно дышит ею, оно все живет обаянием поэзии правды этой тайны, деятельного, цветущего пола; около нее все его волнения, прозрения, намеки и углубления, в тесном касании с ней образуется та сложная сеть мистически-жизненных узоров, та тонкая паутина религиозно-философских исканий, которая под толстой корой всякого наносного, с любовью загребаемого им сора, плетется, часто совсем незаметно, в произведениях Розанова. «Религия почти во всей своей существующей полноте струится от пола», — писал Розанов в одной своей наиболее яркой, выпуклой и цельной статье «Семья как религия»*. Страшной, пугающей *тайне смерти* он противопоставляет радостную, зовущую *тайну жизни*. Высшая, всевмещающая в себя, всеразрешающая тайна жизни для Розанова — тайна рождения, тайна плоти, плотского притяжения. Розанов со страшной, потрясающей силой ощутил жизнь, живую жизнь, рождающую, ощутил

и полез в самую глубь ее, в самую темь, в сокровенное, загадочно темнеющее, бездонно-глубокое жерло ее, полез, чтобы нащупать биение пульса жизни там внутри, в глубине глубин ее, в скрытых, мистических токах, в мрачных пучинах преисподней, в изначальных предмирных углах, в глубочайших, подземных сочленениях, в потемках мировой бездны, мировой тайны.

Миросозерцание Розанова разворачивается из углублений проблемы пола на почве критики христианства...

К христианству он подошел с верою и благоговением, с надеждой и ожиданием. В противоположность Ницше и другим критикам — отрицателям христианства, Розанов не занял здесь сразу дерзновенной позиции революционера, пришедшего разрушить старое до основания; он не казался даже смелым реформатором. Розанов сначала просто только вносит *маленькую поправку*, как бы восполняет недосмотр исторической интерпретации Христова учения. Далее, впрочем, он уже говорит о «*новой концепции христианства*», называет историческое христианство «*неудавшимся христианством*», но только «историческое» — сущность же евангельской правды, христианство вообще все еще, по-видимому, с ним, он с именем Христовым на устах раскапывает свой клад. Он восстает, казалось бы, только против номинализма в христианстве. «Оно имело великих учителей, наставников, проповедников, всего более катехизаторов. Но оно не имело арфы и не выразилось в псалтири. *Европейское человечество приняло “благую весть” на острие рассуждений и отнесло ее в академию, а не на умиление сердца и не понесло ее на струны.* Вот секрет “тьмы”, объявшей “свет”, бессилия света и нашего печального *fin de siècle*» *. «Мы поняли его (Евангелие), т. е. XIX веков понимали как некоторую систему мышления; как *бого-“мыслие”*, а не *бого-“ощущение”*. Можно сказать, вопреки тысяче слов Самого Спасителя, мы все-таки взяли Евангелие умом и в ум, а не сердцем в сердце. Об этом говорят истории семи вселенских соборов и множества поместных западных, из которых многие продолжались семь, восемь и даже — как Тридентский собор — целых тридцать лет. Тридцать лет рассуждений! Но мы не ошибаемся, если, компактно охватив христианство, заметим, что все почти две тысячи лет европейское человечество рассуждало о Евангелии, над Евангелием, по поводу Евангелия, между тем как его можно ее *почувствовать и исполнить*». «Замечательно, — продолжает Розанов несколькими строками далее, — замечательно, что тогда как в словах евангелистов есть несогла-

* Истинный *fin de siècle*, «В мире неясного и нерешенного», с. 42.

сованности или трудносогласимые места, *в Лице Спасителя нет черт противоречивых — Оно цельно и едино*. Тут все вероисповедания сливаются, т. е. вероисповедных *разниц* не могло бы и возникнуть... если бы мы приняли к исповеданию всего Спасителя, а не помнили только тексты и их “разночтения”. Что могла бы сказать тюбингенская школа перед Лицом Спасителя? Как бессильно рассыпался бы смех *Вольтера!* Да и вообще, кто в человечестве мог бы восстать против “поступающего” Спасителя, как “лжеименный разум” восставал и оспаривал Его “говорящего” или о Нем “говоривших” евангелистов. Вот тема для великого идеального движения XX века: *разработка в музыкальных нотах того, что разрабатывали до сих пор механизмом памяти*. Мы построили церковь исключительно в чертах *точности и последовательности*, почти юридической она стала, или мы “усиливаемся” ее сделать “хранителем”, “консерватором” канонического права, почти в том смысле, как есть “консерваторы”, “хранители” музеев, археологических и других. Тьма, так явно “объявша́я” христианский мир, объяла вовсе не Лик Спасителя: как это могло бы быть с Лицом Божиим? *Но она потому и объяла христианский мир, что он вовсе в себе не содержит этого Лица Божия, а лишь скудно и бледно содержит в памяти одни донесенные от него “Logoí”*. Таким образом, вовсе не почва христианства оскудела под человеком, но собственно “выпахались” и “не рожают” более те способности человеческие, которые непрерывно, две тысячи лет, все одни и те же применялись к нему. “Ум” христианский, “рассуждение” христианское исчерпаны и, быть может, истощены; сердце христианское, порыв христианский, музыка души христианской не пробуждена, и она может бесконечно жить и бесконечно, кажется, может сотворить...» *. Так думал Розанов на заре своих исканий, в начальных точках зарождения своего критического отношения к христианству. С Христом он идет в таинственную темь зовущих его глубин жизни... «Дать почувствовать семью как ступень поднятия к Богу» ** — так определяет он свою задачу в дальнейших изысканиях, в углублениях и истончениях своего мирозерцания. «К Богу», но к какому Богу?

Даны две заповеди, обе одинаково божественны, обе в евангелии, обе от Христа: брак и девство, плоть святая, благословенная, и плоть грешная, распятая. «Есть религия Голгофы; но мо-

* Там же, с. 44.

** В предисловии ко второму изданию книги «В мире неясного и нерешенного», 1904 г.

жет быть и *религия Вифлеема*; есть религия “пустыни”, “Петрова камня”, но есть и религия “животных стад”, окружавших “ясли”, и многодумных “волхвов с Востока”, пришедших в Вифлеем поклониться исполнению каких-то своих чаяний. Гроб есть второе житие человека, за коим начинается *поздняя бесконечность*; но и колыбель есть его первое житие, и ему также предшествует *ранняя бесконечность*. Мы подходим к фундаменту религии и наблюдаем, что их — два: за гробом, перед рождением. Там и здесь — “тот свет”. Мы их предчувствуем, предчувствовал и Гамлет:

...умереть — уснуть.
Но если сон *виденья* посетят?

Однако есть иной стих: о предвременных видениях души, о доземных, выслушанных ею “песнях”, памятью коих жива и бывает утешена она на земле!

Он душу младую в объятиях нес
Для мира, печали и слез.
.....
Он пел о *блаженстве безгрешных духов*
Под кущами райских садов
О Боге великом он пел...
.....
И звук его песни в душе молодой
Остался без слов, но живой.
И долго на свете томилаcь она
Желанием...³

Чаяния человечества, не только поэтов и мудрецов, но и сущих сирот в знании, равно ожидают Бога — как там, так и здесь. Свято — “уснуть”, свято, однако, и “родиться”. Христос “родился”, был “младенцем”, имел земную “матерь”. Храм есть Голгофа, но храм — и Вифлеем; религия есть монастырь, но почему не быть религией и семье? Раскопаем, разроем ее неясную “землю”... Рахиль и Иаков, Долли и Анна; но в глубине, но дальше, за “завесою”, под “крышкою” — то, над чем, сорвав покров, отошел в сторону Достоевский... Моисей и его скрижали с заповедью “чти отца и мать”, впереди поставленную (ближе к Богу), чем “не убей”, дальше, за Моисеем

...чуждый тени
Моег желтый Нил
Раскаленные ступени
Царственных могил⁴.

Царство праха, царство *давнего* забвения; царство мумий и иероглифов и странных сфинксов. Эта страна, которая даже по писаниям нам современных христианских историков была полна самого пламенного теизма и глубоко мистических содержаний; страна, которая в начале нашей эры сыграла фундаментальную роль в построении самого христианства (Ориген, Климент Александрийский). У нас в Петербурге, возле Николаевского моста, есть два сфинкса, мимо которых нельзя пройти без волнения. Как неувыдаемо жизненно сложение их членов!

Улыбки через четыре тысячи лет — улыбки печальным, хмурым петербуржцам: юные и веселые лица сфинксов точно хотят прыснуть смехом на недогадливого зрителя. Аллеи таких сфинксов, как известно, вели к египетским храмам — неразгаданного поклонения (и по Хрисанфу⁵ — нет удовлетворительной теории для объяснения характерного для египтян поклонения животным). Мысль сфинкса — “ищи Бога в животном”; “ищи в жизни”; “ищи Его — как жизнедавец”. Маленькое соображение: по очертанию львиных частей сфинкс изображает Бога и есть только комментарий к одному стиху открытой Липсиусом⁶ “Книги мертвых”: “Я — великая кошка” (слово о себе Ра-Солнца); но Бог — как может видеть каждый петербуржец — оканчивается спереди человеком, и, следовательно, полная мысль сфинкса читается: “Богочеловек”. Если припомнить кое-какие записи у Геродота о Фивах и Вавилоне, мы догадаемся, что “волхвы с востока” в самом деле тысячелетия уже ожидали “воплощения” Божества и евангельского: “Слово — плоть бысть и вселися в ны”⁷. А радостная улыбка сфинксов — ее может каждый видеть — есть выражение, что не только радостно будет исполнение, пронесется «благою вестью» человечеству, но что и теперь, при Моисее и раньше Моисея, сердца уже наполняются восторгом этого ожидания. Но здесь восторг сфинксов сливается с удивительными пятнами восторгов, какие переплетаются у нашего «седовласого» романиста с пятнами же глубокого у него неприличия... Пункт — в откровениях Достоевского. Не без причины его мистицизм — возвышеннее, чем у Толстого, его религиозный пафос — неизмеримо страстнее. Он вовсе сам не предчувствовал, куда ведут его “Карамазовы”, и умер, не окончив их, потому что не умел бы их кончить. Эмбрион всех сфинксов и того, кто принесет “огонь с небеси”, заключается уже теперь в институте брака, который как только из речитатива “Господи помилуй” переведем к красоте и неге мистической херувимской песни, мы и получим новую религию... мы получим *христианство же, но выраженное столь жизненно сладостно, что около Гол-*

гофы, аскетической его фазы, оно представится как бы новой религией» *.

Это страстный, задыхающийся, прерывистый шепот мистики пола, мистики плоти. Не спокойной поступью, не ровными шагами, но страшными, волнующимися прыжками, таинственными полувнятными намеками, гипнозом художественной символики, по клочкам и обрывкам мировой мудрости, мировой поэзии Розанову не слышно, но с сильно бьющимся сердцем подбирается он к своему заветному кладу; он наговаривает, заклинает, страстно трепещет и дрожит нервной дрожью; от громадности открывающихся перспектив дух занимает, становится тяжело дышать, и вот он заволакивает свои прозрения, свои видения величавой тенью христианства: дымящийся из глубины развергшихся бездн, седой, мгlistый, подземный туман пугает Розанова, он еще боится обнаженной наготы того, что открылось ему, боится всепожирающего огня так неожиданно разожженного им пожара. Розанов только чуть-чуть подымает покровы влекущей его тайны, пытливо заглядывая под них, не договаривает, не высказывает до конца всего того, что он там увидел, понял и почувствовал. Тайное заволакивается в дымках загадочного тумана, в условности утверждений. *Свое* только еще чуть грезится, чуть мерещится, прячась и дразня воображение, манит и отталкивает, чарует и пугает, снова скрываясь под чужую тень старых слов и старых личин. Пока он все еще как бы в нерешительности скрывает свой клад, отговариваясь; он и себя подбадривает ссылкой на то, что роет яму для поправки все того же старого дома, в существе прекрасного и нерушимого. Вот только новую балку, новый столб подвести нужно, да фундамент подновить — только и всего. Но минутами, в забвенье, в экстазе, в бреде охватывающих его волнений, в упоенной страстности своих наитий он проговаривается, здесь открывается его «свое», настоящее, нутревое, корневое. Вот хотя бы одно из примечаний к бесконечным в книгах Розанова «полемическим материалам».

«Единственный мотив жизни в Христианстве (при заглохших крови и семени) — лик Христов **». «Спаситель, спаситель, чиста моя вера» (Кольцов) и вещее продолжение: «Но, Боже, и вере могила страшна»⁸. Только лик Христов — и точка. Звезда — но на фоне беспросветной темноты. Ночь без звезд и одна звезда. Звезда — это темный лик в углу комнаты. Мерцание лампы. Вращая глаза туда: «Боже, буди милостив мне грешному» — и

* Семья как религия, «В мире неясного и нерешенного», с. 59–61.

** Курсив автора.

ничего больше: ни царств, ни богатств, ни игр — все это стало по Р. Х. смешно, жалко, декадентно. Все померкло в темных лучах нового сияния. О, “Христов дух” — вовсе, вовсе новый, небывалый, неслышанный, неожиданный на земле, прямо “новое откровение”! Еще раскрылось небо, после Ветхого, после обрезания — и новый совсем голос послышался оттуда. И вдруг не стали мне нужны царства, боги, игры. Состроган гроб. “Куда ты смотришь, старче?” — “В гроб”. — “И?..” Но нет “и” соединительного, другого: конец, пришло окончательное и оконченное. Еще ждать только “трубы” и “воскресения” и “страшного суда”. Длющаяся история Европы, перерыв, временное отложение, непослушание Христу, беспорядок и анархия в планах, стадо человеческое взбунтовалось и положило загородки, как бык, как сила, как нелепость: на самом деле между Христом и “воскресением костей” ничего нет и не предполагалось. Мы устроили прогресс, вывернувшись из-под “Суда” тем, что развернули “Христово” в “христианскую историю”, и тем не только увернулись из-под Христа, но и пошли против самой главной его мысли. Тут-то, пожалуй, “монахи” и объяснимы: “Вовсе нет! Никакой истории!! Вы ничего не поняли!! Между Христом и Судом не лежит времени и пространства — никакого не лежит времени и пространства”. Мальчишки спрятали розги, но, может быть, монахи, правда, не ошибаются, грозя из пещер: “Все равно — будете выпороты”, “чрез тысячи лет, чрез хилиазм”. *Мы немножко бредим, но это — материя, где, только бредя, набредаешь на истину*» *.

Розанов своей критикой прошел насквозь историческое христианство, он прошел далее и чрез евангелие, чрез Христа, Голгофы, в глубь седой старины, пошел еще дальше, минуя Грецию и Рим, на восток, к иудейству, к пантеистической языческой мистике древнего Вавилона и Египта; его духовная родина, его святыня там, «где вечно чуждый тени моет желтый Нил раскаленные ступени царственных могил», он идет в глубь веков, в неясную тьму времен, прислушиваясь к едва доносящемуся до его чуткого уха подземному гулу мировых стихий, всматриваясь в едва проницаемые мистические потемки зарождения мировой жизни из бесформенных туманностей животного начала, из таинственных, сокровенных недр вселенной. Его воспаленное воображение влекут к себе мистерии натурального начала, мистерии вечно рождающей, изначально животной, божественной в животной сущности своей природы. Насторожившись, он идет

искать разгадки тайн в сторону вечной ночи, бездонной, глубокой и очаровательно темной, туда, откуда доносит «ветр ночной» свои «страшные песни»

Про древний хаос, про родимый⁹.

Тайну рождающей жизни, эту величайшую тайну земли, Розанов ставит в связь с таинственным же обаянием чар ночи. Вот как он пишет о тайне зарождения, о чарующем обаянии ночи.

«Избирается почти всю природою *ночь* для этого: время, когда каждое существо глубоко *уходит* в себя, несколько *забывает* о мире, остается *с собой наедине*. Ночь для каждого единичного существа играет роль *полога*, закрывающего все предметы от всех очей и от него самого, кроме самых ближайших. Сочетание полов есть оживленнейшая, одушевленнейшая минута: и так, минуты и часы ночи не есть спускающийся на землю *паралич* бытия, *сонливость*, *неподвижность*. Ночь имеет в себе *душу*, но другую, чем день, имеет жизнь в себе, пульс, но не тот, каким бьется день. Ночь — иное *существо*, чем день; и в ночь в нас пробуждается иное же существо, чем какое *трудится*, покупает, продает, хитрит днем. Ночь благоуханнее дня, торжественнее, тише. Цветы очень многие (например, красивые белые цветы табака) только ночью раскрывают свои чашечки; жасмины ночью испускают сильнейший запах. Словом, вечером, к началу ночи, вся земля точно переменяет одежды, как англичанин, кончивший на бирже дела и вернувшийся домой, в семью. Конечно, возможно, что ночная психология всех тварей приспособляется или проистекла из самого факта ночи; хотя можно думать и так, что сама ночь есть иной факт в психологии самой земли: зачем бы земле перевертываться на своей оси, а не летать вокруг солнца, обращенного к ней постоянно одною стороною, как луна обращена вечно одною стороною к земле?.. *Сон и бодрствование*, две души в земле, *сновидящая* и рациональная, «образом» и «подобием» обращающаяся и на всех тварей, есть не механическая, но метафизическая причина переворачиваемой земли «то на один бок», то «на другой». С ночью для *сновидящей* души земли, открывается *глубь* небес, глубины звездных недр, вовсе не видные, не ощущаемые, не заметные днем. Ночью внутреннее «я» нашего существа выходит наружу, и оно встречается с *внутренним* мира, которое в эти только часы открывается человеку. Полог *вокруг* меня (тьма); но *надо* мной — свет, звезды, глубина небес, более различимая, чем днем. Только ночью видно *лицо* неба, выразительность, *черты* его, — сокрытые вовсе за время дня. Я *один* в ночи

(скрытость окружающего), но этому одному говорит Бесконечное Единое Небо: “я” конечное и “Я” бесконечное смотрятся одно в другое, может быть, постигаются, может быть, любятся. И вот это ли время, часы поэтических грез, горячих молитв (*все-нощная, за-утреня*), суть вместе и часы, когда одновременно с раскрытыми чашечками цветов теплокровные животные тоже начинают сильнее благоухать; и, нерассеиваемые звуками слышания или образами видения — управляются этим почти осязательным материальным чувством. Ибо иногда кажется, что запах есть *душа* материи, как *аромат*, наверное — *душа* цветка! Материальные души существ начинают осязать друг друга и сливаются раньше, чем их тела слились. Кровь приводится в волнение, как она не привелась бы образом, звуком, и зажигает тело, как фосфор — предмет, покрытый им. Входит в права свои “разум” тела, *logos* и *Logos* организма: невидимая мысль, бегущая по нему, соткавшая узор жил и нерв его, из века текущая всякую вообще организацию. Семя, *ovum*... почему это не есть также своего рода “слово” и Слово, но не разлетающееся миражом по воздуху, как слово уст наших, но слово и Слово творческие, зиждущие, велящие, и *веления* которых уже суть *исполнения*. Миг сочетания Авраама и Сарры, от какового произошел Исаак, определил всемирную историю, насколько последняя вообще связана с еврейством, библией. Какого могущества был *глагол* его зачатия (Исаака)! Почему вообще сочетание полов не суть *глаголы, речь*: но только на непонятном для нас языке и нам не слышная. *Осмысленность рожденного* слишком твердо говорит о *мысли в зачатии*: оно не *нашей* мысли, а такой, для которой тела наши суть орудия, как мясистый язык есть орудие нашего слова. И как язык подневолен слову, “раб слова”, так человек есть “раб страсти”, огненных словес, которой никогда ему не разобрать, да этого и не нужно, но “грамота”, написанная этим пламенем, — она пошлется в века, не истлеет в тысячелетиях, будет говорить человеку, народам. “Грамота” — это дитя. Кто изъяснит его смысл, еще с колыбели?! Может быть, он краток, а может быть, бесконечен. Но невозможно оспорить, что каждое *зачатое дитя* также полновеснее и содержательнее всякого написанного или сказанного человеком *слова*, как положительно важнее “человек” суммы своих “феноменов”. Итак, дитя есть ноуменальный глагол: а отсюда минуты слиянности полов не только не “бессмысленны”, “животны” (в порицательном смысле), но в эти минуты через нас, как через намагниченное железо проволоки, пламенем облаков же, молнией грозы проходит на землю не-

бесное слово: непостижимое, неразгадываемое; и столь же непонятное слиянным существам, как телеграфной проволоке непонятна несущаяся по ней телеграмма. “Да будет” — что будет? Родители не знают, будет ли Рене Декарт? богослов? Лютер? Или юный преступник, который сожжет дом. Богу — все нужно; Богу — *весь* мир нужен. У Бога *лишнего* нет. “Пламя похоти” (обычный нарицательный термин) — оно в родстве с ночным благоуханием жасминов, раскрытыми чашечками цветов, ночными *всемирными* молитвами, поэтическими грезами, с самым поворачиванием земли на оси; особенно в связи с разверзающимися глубинами звездных небес. Все фосфорическое в человеке вдруг зажигается, светится; его существо вдруг “намагничивается” страшным земным магнетизмом только что повернувшейся земли. Как он бессилен теперь совладать с собой! Как он вообще бессилен!! Но есть “кто-то”, “третий” в нем — и он уже силен, силен.

— Самуил, Самуил!

— Вот я, Господи!

Была уже глубокая ночь и лампада храма едва мерцала. Тогда Самуил понял, что он в сновидении, но что Бог хочет говорить с ним» *.

Здесь Розанов разворачивает глубокий символический смысл ночи, здесь ощущает он особенно сильное биение пульса жизни, «*душу земли*», здесь ему «открывается глубь небес, глубины звездных недр, вовсе не видные, не ощутимые, незаметные днем», вскрываются мистические тайники жизни, выявляется глубинное, корневое, нутряное начало, загораются и светят своим фосфорическим нервным светом подземные огни: разверзаются и вдруг на мгновение ярко озаряются этим светом зияющие бездны, бездонные пропасти и преисподние жизни, обнажаются ее страшные своей необъяснимой, могучей властью магнитные тяги; земля, земляное, глубинное заявляет свою власть.

Розанов обладает сильно развитым, до ужаса обнаженным мистическим чутьем; «касание мирам иным» обострено в его писании до высшей меры, в «касании» этом есть что-то почти физиологическое, он почти осязает ноумен, осязает «иной мир», мир потусветного, нездешнего; реальная ощущаемость мистического в нем как бы некоторое шестое чувство, шестой палец на руке; здесь сомневаться нельзя, потому что оно, это мистическое — самое живое для Розанова, в сознании его, в мироощу-

* Нечто из тумана «образов» и «подобий», «В мире неясного и нерешенного», с. 321–323.

щении, это не категория мысли, не отвлеченно метафизический постулат, не полет фантазии, а самая близкая реальность, реальнейшая из всех реальностей.

Розанов глубочайший реалист: реалист и потому, что сильно чувствует, зорко видит картину действительности, блеск ее сияния, рельефы ее теней, роскошь ее красок и форм, богатство ее яркого цветения и вообще бесконечно подвижную, летучую сложность вечно сменяющихся выражений лица живой жизни. Но он реалист еще более потому, что сильно чувствует, хорошо понимает жизнь в ее глубинах, в ее невыявленной сущности, в ее иррациональной тайности.

Он стоит на земле, любит ее и любит ее, но чувствует, что там, под ним, под верхними слоями почвы, ясными, рационально понятными, скрывается нераскрытая, непонятая и рационально непонятная темнеющая глубь бездны низа, бездны подземной, глубинной реальности... И она-то и зовет Розанова в темь веков, на Восток, через Иудею, в Вавилон и Египет, к отзвукам древнего, родимого хаоса...

Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди
И с беспредельным хочет слиться.
О, бурь заснувших не буди:
Под ними хаос шевелится¹⁰.

Розанов именно хочет разбудить эти бури, хочет расшевелить древний хаос, чтобы глубже, дальше врезаться в живое «чрево», в сокровенное нутро жизни, он запрашивает его, запрашивает страстным шепотом, волнуясь, задыхаясь, трепеща. Здесь он роет свой клад. Розанов любит жизнь «карамазовской» любовью, понимает ее «карамазовским пониманием». «Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь»... «Жизнь полюбишь больше, чем смысл ее, непременно так, полюбить прежде логики, и тогда только я и смысл пойму. Вот что мне уже давно мерещится». «Половина твоего дела сделана, Иван», — утешает Алеша брата. Но для Розанова здесь не «половина дела», здесь все, вся его сущность, без другой половины не только он может обойтись, но и не нуждается вовсе в ней. Он и не нуждается в спасении, не хочет «воскресить мертвецов», для него все здесь, в этой первой половине: и благодать, и спасение, и Бог, все в этой любви «нутром и чревом». Горестный вопрос Алеши: «Чем ты любить-то их будешь?» — не действителен для него. Иван в отношении Европы с ее дорогими покойниками, это — Розанов в отношении к христианству, Але-

ша — в его любви к жизни — истинный христианин в своих алканиях «второй половины», того, *«чем полюбить жизнь»*. Реализм Розанова — мистически углубленный реализм. Он проникает до самых корней жизни, тогда как различные виды рационального и поверхностно-позитивного реализма беспомощно цепляются только за наружные отпрыски цветения растений, поднимающихся от этих корней. На поверхности современного рационалистически трезвого, легкомысленного, обидно ясного позитивизма плавают холодные, белые и желтые лилии знания и эмпирии, в своем же мистическом реализме Розанов нащупывает их корневые, загадочно уродливые изгибы в мистериях плоти, в тайне пола, и порою опускается так далеко, что кажется невидимым, чуждым реализму поверхностей, далеким от ее ровной и ясной глади. Мистические отсветы, загадочные тени бездонной глубины жизни примыкают к высокому изголовью всякого, даже безмятежно спящего реализма, по спокойному ясному лицу которого не всегда можно догадаться об их загадочно-молчаливом присутствии. Всякий реализм — высокая башня над пропастью, но не всегда с высот башни видны темнеющие глубины, провалы и топи бездны низа. Очень неохотно оттуда обращают взоры к далекому подножию башни, и тех, кто осмеливается на это, кто заглядывает вниз, вскрывает исподнюю, глубинную реальность, заподозривают в отсутствии реализма, не понимают, осмеивают, с раздражением и с тайным страхом обзывают «мистиками».

И Розанова не поняли, не поняли прежде всего те, кому он мог бы более всего понадобиться, не поняли реалисты. Между тем настоящий реализм, который не может безнаказанно долго висеть без всякой опоры в воздухе, мог бы найти для себя прочную твердыню скорее всего именно здесь — в мистическом реализме В. В. Розанова. Отсюда он мог бы повести более решительную атаку против враждебных ему идеалистических течений, имеющих несокрушимую вовеки, хотя и заслонимую во времени твердыню в Лице Христа. С другой стороны, правда идеализма не имела еще более страшного врага, чем тот, которого она приобрела себе теперь в простодушно благожелательном лице В. В. Розанова, врага тем более опасного, что атаку свою он ведет скрыто, запутанно, казалось бы, восстает он только против исторического христианства, как друже-враг, восстает с именем Христа на устах.

«Христианство не удалось», и вот Розанов, радея Христу, вносит маленькую поправку, от Христа же, ведь поправку-то, чего же, казалось бы, бояться тут. Он хочет согреть «каменное хрис-

тианство» теплом земли, плоти, животности, бого-животности, согреть лаской любви, семьи, семейственности. Он хочет на место «камня Петрова», и даже хотя бы на самый камень поставить «ясли», «семью», созвать «волхвов с Востока», «животные стада», чтобы они надышали тепла жизни, радости бытия, хочет ввести в христианство «универсально-родильный дом», каким представляется ему *Библия*, ну, пожалуй, включить культ Астарты... Ему хочется оземлянить, оживотворить, приобщить плоти — христианство «безземного неба» оторванного, опустошенного, изозлившегося и ослабевшего около себя духа...

«Центр души лежит в поле и даже душа и пол идентичны», — говорит Розанов в статье «Из загадок человеческой природы». «Самое *существо человека теистично* и нельзя “дышать” и не “молиться”». Религиозно само дыхание жизни, самое ее естество. Из стремления теитизировать пол у Розанова не вытекает обожествление жизни, жизни, рождающей новую жизнь, жизни, бесконечно растущей в плоти мира, в тайне пола.

«Вы хотите теитизации бытия; “мир — от Бога”: однако поверхностно или в глубине? Вы поставили образ Божий *около* дома: естественно, что дом наш и не светится им. Внесите этот образ *в* дом — и он станет храм, “домом молитвы” наречется. Но “дом” бытия нашего на дне брачного завитка: если там Бог — мир храм, и никогда вы не постигнете, и ничем вы не достигнете, чтобы мир был “Божий”, если оттуда вынесете образ Божий и поставите “около”, на крыше, “кроме храма” и вообще где-нибудь “инуду”» *.

В мистериях пола Розанов приводит жизнь к соприкосновению с «мирами иными» и здесь, в потемках своих мистически углубленных чувствований, сливает ее с Богом, отождествляет естество с Божеством, теитизирует природу и натурализирует Бога. Не находя удобным и в этом пункте выйти за пределы Христова учения и только оспаривая историческую прививку его и историческое толкование, он пантеизирует христианство, пытается удержаться таким образом на крайнем сгибе его, но, естественно, не удерживается фактически и сползает неминуемо, словно нехотя, через иудейство к язычеству. Мистический пантеизм Розанова неслышно, нешумно, не открыто, хотя и не скрыто, — вытесняет из его религиозного сознания элементы христианства, вытравляя их и обесцвечивая... Розанов с изумительной тонкостью, с невозмутимостью, не то детски наивной, не то старчески лукавой, нейтрализует сущность христианст-

* Семья как религия, «В мире неясного и нерешенного», с. 61–62.

ва, растворяя его в иудействе и затем в мистическом пантеизме Востока. Выметая исторический сор, он выметает с ним *все* содержимое.

Замечательно, что и Богочеловечество Розанов понимает совершенно пантеистически, хотя и мистично. Мы видели, что Богочеловек «читается» им как «полная мысль сфинкса». Богочеловечество для него — вне Христа и как бы даже совсем не нуждается в Нем, Его поглощает «радостная улыбка сфинкса». Но это «маленькое соображение» тонет в его «новой концепции христианства», так же, как и многое в этом роде, будто случайно вкрапленное. Пантеистическое богочеловечество Розанова очень легко может быть перевернуто в человекобожество, что фактически, как увидим далее, и делает Розанов, делает, как всегда, неслышно, прячась в прихотливо изогнутых завитках полупафоса, в тумане художественных символов. Человекобог Розанова чужд байроновского гордого вызова, дерзновенной гордыни нищенского сверхчеловека, он смиреннее, но поглубже, загадочнее, и, прячась в тени христианства, страшнее грозит оттуда.

Мистический пантеизм Розанова напоен страстным дыханием животного начала, в котором живет Бог, «ищи Бога — в животном» — такова влекущая его назад от христианства — мысль сфинкса, Бог-животное — вот Бог Розанова. Земля цветущая, рождающая, насыщенная ароматом жизненности, семейственности, плодovitости, властно зовет его к себе, ее могучие питающие сосцы вдохновляют, чаруют, умиляют Розанова высшим, новым, богооткровенным умилением.

«Там, где *новое умиление*, и при этом не только разнородное со вчерашним, но и такое, от коего вчерашнее умиление “брезгливо и богохульно отворачивается”, очевидно, есть росток *и нового Бого-отношения, Бого-связуемости, Бого-взыскания*. Ибо, где молитва, там вера, и если она не на “север, север”, как была всегда, то будет на “юг, юг и юг”, где никогда не была. Теизм раскалывается. Прежний теизм падал лучом с неба на землю и обливал ее. Это одно отношение, и оно на первый взгляд кажется высочайшим. Земля пустынна; земля голодна; земля холодна. И земле — *холодно! голодно!* ее не греют эти какие-то только ласкающие *лунные* лучи. Мы идем по голодной и холодной земле и, прислушиваясь к ее разговорам, *ее собственным из нее рожденным*, улавливаем между ними, большею частью суетными, один... Теплота. Свет. Правда. Религия. Нет великолепия, истинная простота, *даже и не оглядывающаяся на себя*. Следя, мы видим, что наша показавшаяся темною земля из каждой хи-

жинки, при каждом новом “я”, рождающемся в мире, испускает один маленький такой лучик; и вся земля сияет кротким, не длинным, не достигающим вовсе неба, но своим собственным зато сиянием. Земля, *насколько она рождает*, плывет в тверди небесной *сияющим телом*, и именно *религиозно-сияющим*. Главное это *собственное*, и опять это — *греет*. Тепленькая земля, хотя летит в тверди ужасающего холода. И вот восклицание Кириллова (в “Бесах” Достоевского), пожалуй, получающееся до конкретного совпадения.

— Богочеловек?

— Человекобог. В этом разница.

— Уж не вы ли и лампадки зажигаете?

— Это — я зажег”.

Теперь вопрос остается почти только в том, как устроить *свои* лампадки. В матери-земле вырывать ямки, обдeldывать камешком, вливать елей, вставлять фитиль: пусть горят всю ночь. Ничего воздушного. “Воздушное” принес папа и сам повис с ним в воздухе. “Хоть бы землицы под ноги, мучусь я!” Но уже “землицы” не нашлось для отвергшего землю» *.

Земля, *«насколько она рождает»*, светится для Розанова собственным религиозным светом, она из самой себя излучает божественность, святость, *творит Бога в сиянии лучей своих*. Она религиозно свята, по самой природе естества своего, свята стихийно, просто, «даже и не оглядываясь на себя», свята святостью первоначальной невинности, детской безгрешности, свята и светла, потому что в конце концов себе довлеет, живет своей внутренней святостью, сама освящает себя и освещает собственным светом. «Главное — это *собственное*, и опять это — греет». «Богочеловек? — Человекобог. В этом разница». Человекобогу и лампадки горят, *свои* лампадки, внутреннего святения, изнутри, из земляных недр, из глубин исподней, мистической реальности. Замечательно, что, желая быть последовательным, провести свой мистический пантеизм во всех осложняющих его преломлениях, Розанов не отказывается принять в конце концов и «папу» и повисшее в воздухе, оторвавшееся от мистических корней, живых питающих сосцов жизни, христианство, но уже, конечно, преломляя его в *своей* призме, освещая его теми слабыми, бледными лучами отраженного света земли, которые на него, хотя чуточку только, а все же падают. Он оборачивает его к горячим лучам своего всегряющего солнца — Бого-животной жизни, здесь ничто не исклю-

* Границы нашей эры, «Семейный вопрос в России», т. I, с. 51.

чается, все живое, и даже самое чахлое, поскольку живет, живет *тем же* солнцем...

«А впрочем..., — пишет он далее там же, — впрочем, так как *самая суть нового теизма* лежит в поклонении “даже и пауку, ползущему по стене”, то само собой в благодном круге новых лобзаний содержится и папа как крошечный эпицикл в огромном цикле» *.

И из-за этого мягкого, ласкающего света лампадок, земных лампадок, что горят по ямкам, вырытым в матери сырой земле, вдруг раскрывается нам загадочное лицо автора, но почему-то улыбающееся, улыбка сияет и свет, ласковый, греющий, лучится из нее, но почему-то становится странно... и страшно, жутко, хотя лампадки светят и все спокойно... черный лик Спасителя в далеком углу совсем почернел, закрылся дымкой лампадного света из земли... Сам-то он уже не светит.

Богоживотность, религия чрева плодоносящего, чрева рождающего, земли, светящейся собственным светом, излучающего Бога из огненных недр своих, далее, вера в «здесьнюю вечную жизнь» на место веры в «будущую вечную», «ранняя бесконечность» рождения в Вифлеем на место «поздней бесконечности» воскресения Христова — все это растворяет христианство в мистическом пантеизме Розанова. Розанов пантеизирует христианское Богочеловечество, превращая его в Человекобожество, в Богоживотное египетского сфинкса, он натурализирует и христианское личное бессмертие, превращая его в пантеистическое бессмертие бесконечного рождения, бесконечного обновления изначального, вековечного древа жизни, которым вечно побеждается страшное «жало смерти». Христианская вечность превращается здесь в естественную бесконечность.

Но не следует упрощать понимание бессмертия у Розанова, оно гораздо сложнее, цветистее, интимнее абстрактной и невольно несколько рационализирующей его — нашей формулировки. Легко вообще огрубить, опасно рационализировать пантеизм Розанова, в основе своей глубоко иррациональный, психологически очень сложный и художественно тонкий. Такого своеобразного пантеизма, мистического в своей сущности, не знала еще история.

По поводу сюжета о Коринфской невесте Розанов пишет в небольшой заметке «Тут есть тайна некая» **: «Если любовь или вообще романтическое начало в нас есть чудо в том смысле, что

* Там же, с. 52.

** Весаы, № 2, с. 15.

никакой механикой его не объяснишь и ни из каких логарифмов его не выведешь, то невозможно усомниться, что это чудо не умирает со смертью нашего физического тела. Преступник не сам пошел, а был потянут на свидание “глазом, мигнувшим с того света”. Покойница не вся умерла

...но часть моя большая,
От тела убежав, по смерти будет жить...

как писал Державин в своем “Памятнике”. Но было бы грустно, если бы не умирали только поэты и вообще люди истории, жить хочется всем, перед смертью мы все одинаковы и права на бессмертие тоже равны. Бедная девушка, почти пансионерка, имела на земле свою душу, свою тоску, свои грезы и очарование, и вправе потребовать “Памятника” не хуже державинского. Где же у бедной ее “Памятник”? Все ее существо и было только любовь, только способность любви, только энергия любви, застенчивой, пугливой и вместе бессмертной. Но вот вопреки ее собственным чаяниям этот-то именно клочок ее бытия с розовыми крылышками и не умер, а когда здесь, среди обстановки земной, остались одни логарифмы и механика, поднялся “памятник” и пропел гробовую — венчальную песнь. Да, это настоящие тайны, подлинные. Это единственно осязаемое и документами удостоверяемое доказательство бессмертия человеческой души. *“Розовое бессмертие”, а не пепельно-холодное...*

Отсутствует в концепции мистического пантеизма Розанова и христианская идея конца. Царство мира сего в бездонных, неиссякаемо жизненных, вечно рождающих недрах своих — бесконечно; вечное в глубинах своих начало жизни исключает здесь совершенно всякую идею конца, земляное начало бесконечно в земном бессмертии «здешней вечной жизни», в темно-розовом бессмертии пола, оно вечно живое, вечно живет неиссякаемыми источниками бесконечного обновления в «касании мирам иным», питается неоскудевающими вовек сосцами ноуменального, премирного, потусветного...

Вся христианская эсхатология растворяется и тонет во всепоглощающей пучине мистического пантеизма Розанова; нет здесь и страшного суда, не нужен он, потому что все изначально оправдано, благословенно, и вовеки веков освящено при самом возникновении жизни из мировых туманностей седого предвечного мрака, древнего родимого хаоса.

Охваченный могучим дыханием жизни, с проникновенной страстностью ощущая биение мирового пульса, душу земли, ее плоть и кровь в движениях животного-плотских, Розанов инстинк-

тивно, почти бессознательно боится смерти. Усиленно напрягаясь рассмотреть и принять что-нибудь в ней, он не видит в конце концов ничего, ничего, кроме тления, пустоты, ужаса небытия, пустота смерти страшит его своею пепельно-безжизненной бледностью, своей леденящею сердце холодностью...

Спаситель, Спаситель,
Чиста моя вера!
Но, Боже — и вере
Могила страшна¹¹.

Он любит повторять это — с ударением на *страшности могилы*, в глубине ухмыляясь на *чистоту веры*; в «пепельно-холодное» бессмертие христианства Розанов не верит, он верит в жизнь бесконечную в рождениях, в таинственном шепоте вечно деятельного пола. Прикованный постоянно горящим вниманием ко всему сочно-жизненному, полнокровному, плотскому, он сильно развитым, изощренным чутьем жизни отвертывается от всякого дыхания смерти, как не старается увидеть здесь что-нибудь реальное, особенно в ранних произведениях, как не усиливается понять и осмыслить *правду смерти*.

«Бедные мы люди, что мы понимаем в религии? Если человек так благ, что бросился бы, что продлил бы, что раздвинул бы в бесконечность восторг последнего утешения, то... то “философский камень” не найден и смерть “не” побеждена, как утверждают “слова, слова, слова”. Она владычественна не только здесь и сейчас, но владычественна как *какая-то правда*, как *какой-то абсолют наравне с абсолютom жизни*. Но тогда существенно неправильны наши унитарные религиозные представления.

Се, жених грядет во полунощи...¹²

Вытекают два лица: *полунощное, полуденное; несущее смерть, несущее жизнь* — не как силы только, но как две абсолютные правды. Значит, не только есть страдания и нас постигает смерть; есть, значит, *правда* смерти и страдания, красота умирания, красота болезни... Человек постигает красоту одного, красоту другого. Но потому это, что сам есть синтез и одной красоты, и другой красоты: он *родился* — вот первая красота в нем, но он еще *умрет* — и это тоже есть в нем. Святое рождение, святое “успение”; и если они слитны в человеке, тем паче они могут быть слитны в Боге. Тогда полярность мира снова сливается в экваториальное единство, остается одно Лицо Божие, без противно-“грядущего” Ему “полунощного жениха”. Но то ли это Лицо, “победившее смерть”, которое мы исповедуем? Нет и нет — смерть

от Него же и даже она есть Его дыхание, как есть Его же дыхание жизнь и рождение. Правда, ведь и сказано в Апокалипсисе: “Аз есмь Альфа и Омега, первый и последний”¹³. Но тогда причем здесь идея “смерти” как наказания “за грех”? Смерть есть дыхание живого синтетического лица — *она есть правда, она есть святость, по крайней мере в том смысле, что божественна, как жизнь*; тогда и ее дробы — болезни — святы же. Но тогда получается мистический узел вселенной в сплетении горгон и света; и тогда опять, значит, не верны, совершенно не верны все построения наших “слов, слов, слов”. Мы исполняемся религиозного страха; страх получает место в мире как закон, и притом не греха вовсе, но и чистейшей святости» *.

«Но, Боже, и вере могила страшна!»

Узоры от этих изощрений рисунка стираются, канва его не выдерживает и прорывается, и обнажается пустота, страх выглядывает оттуда ничем не прикрытый, неверующий... Подбадривания, самоуговаривания, самовнушения бледнеют, поникая в бессилии, и чем дальше в глубь своих изысканий идет Розанов, тем голос их глуше, насильственнее, искусственнее, тем решительнее и обнаженнее отвергается Розанов от смерти с откровенным неверием в ее правду. «Вот, я вспоминаю младенца: эту выявленную мысль, Божию мысль — в плоти создания своего, в улыбке невинности и чудной безгрешности. Как уже заметил тонко Достоевский, для понимающего человеческую природу нельзя без слез смотреть на младенца или, как ту же мысль высказал и старик Гете, нельзя смотреть на него “без переполненного сердца”. Откуда это, тоже, пожалуй, трансцендентальное сердцеволнение в нас? Ибо что нам ребенок? Чужой, беспомощный? Но как-то, глядя на него, мы и в себе пробуждаем как будто видение миров иных, только что оставленных этим малюткой, ведь поэту же пришло в голову стихотворение:

Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез...

и еще далее:

И звуков небес заменить не могли
Все скучные песни земли...

Младенец и в нас пробуждает чувство этих только что им оставленных миров, коих свежесть, яркость, а также и святость он несет на губах своих, в безлукавых глазах. Как мрачный впус-

* С юга, «Литературные очерки. Сб. статей», 1902 г., с. 183.

ледствии создатель “Крейцеровой сонаты”, в свое время, бросив Севастополь и взявшись за перо, не стал изображать тех, о ком поэт же сказал:

Отцы пустынноики и жены непорочны¹⁴, —

но, чутко поняв, что не пустыня есть колыбель и прототип “непорочности”, нарисовал нам детскую спальню, в ней Колю и Володю — одного еще спящего и другого проснувшегося, и старого младенца, которого “тоже” есть царство небесное — Карла Ивановича. Вот правда, вот истина. И мы никогда не забудем, что Бог есть Бог живых, а не Бог мертвых, или, как Он же сказал, “оставьте мертвым погребать мертвых”» *.

Противополагая самым общим в его религиозно-философской концепции противоположением начало жизни — началу смерти, Розанов в конечном счете правду видит только по сю сторону; на той же стороне ничего не отсвечивается, не прозревается; только в жизни, *этой* жизни — правда Бога, святость; только здесь, в глуби земной, в начале жизненном, животнo-плотском — горит религиозный свет: «Бог — Бог живых, а не Бог мертвых».

«Семито-хамитская Азия была “внутреннюю” частью, “заднюю половиною” всемирного исторического поприща, глубокою. Там жило великое “чрево”, которое истинно свято постигло задачу “плодоношения”; оно подняло его “на высоту”, окружило его “лампадами”, впервые в истории создало образ фимиамного курения и открыло мелодию молитвы. “Материнство”, “отечество” всему этому научило их; как оно же научает этому каждого из нас, научило Пушкина, Рафаэля. “Благословен Бог, сотворивший свет” — в Сионе, Тире, в Мемфисе, Вавилоне. Мы понимаем распускающиеся “миндальные цветки” в скинии завета; распускающийся лотос — в Саисе, Гелиополисе. Мы, которые, забыв это, теперь уже закрытое, застаревшее, не несущее более “чрево”, вынесли из него именно мелодию молитвы, “воздевание рук” к небу; и все это преобразовали в логический способ выражения, в “имя”, “слово” и “logos”» **.

За этим пустота смерти, от нее идет Розанов, с ужасом отшатываясь от Христа Распятого, от христианства, Голгофы, то пытаясь ослабить эту сторону христианства, то признавая могучесть ее в евангелии, решительно высвобождается из-под его авторитета. «Есть какое-то противоборство, *опровержение* друг друга, между гробом и колыбелью, рождением и смертью, в пос-

* Семя и Жизнь, «Религия и культура. Сб. статей», с. 174–175.

** Там же, с. 216.

ледней инстанции между Вифлеемом и Голгофою. Но в этом взаимном “опровержении” которая сторона шире, разрисована ярче — та и побеждает. *Физиологическая* — пока рождающихся больше, чем умирающих, — *победа* за рождением; но нельзя же не обратить внимания, что в Евангелиях страдания и смерть И. Христа шире и ярче выражены, сильнее поражают сердце человеческое, нежели Рождество Христово» *.

К жизни, к земле бежит Розанов и ни перед чем не остановится, все отдаст ради вожделенного слияния с ней. «Люби повергаться на землю и лобзать ее. Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, все люби, ищи восторга и исступления своего. Омочи землю слезами радости твоей и люби сии слезы твои. Исступления же сего не стыдись, дорожи им, ибо есть дар Божий, великий, да и не многим дается, а избранным». Близки эти слова старца Зосимы Достоевского душе Розанова, близки своим особо преломленным, своеобразным касанием. В шуме земном, в цветении древа жизни у разверзшейся, дымящейся животностью груди земли, около могучих, все живое питающих сосцов ее — вот где спасение, вот где отдых, улада, успокоение от христианства с его мучительно изнуряющей, вечно чужой, пугающей правдой смерти. Всеблагословляющая святость плоти — вот всеспасающее убежище живых.

«Что же значит глагол: “Лев ляжет подле ягненка”, и еще в самом конце Апокалипсиса: “*ничего уже проклятого не будет*”. В самом деле, посмотрите размеры синтеза, его охват. Рембрандт = “Маной”¹⁷, и с ним лобызается “Нафанаил”; но он же есть и эллин, положим, в этом Дие, увлекающем на волосистой спине своей Европу (легенда, записанная у Геродота, сюжет коей есть в Эрмитаже), и принимается в XVII в. для продолжения работы резец от Праксителя. “Ничего отвергнутого не будет”. Эллин, голландец и иудей — это ли не “собор”? Без отречения каждый! И все лобызаются: это ли не “вселенскость”? И мы, поздние потомки XIX века, лобзая их в самом этом лобзании и говоря: “Правда!” — при взгляде на Дия, “Правда!” — перед скрижалями Иеговы, “Правда!” — пред мастерской художника-“нигилиста” (каковыми казались для историков и особенно для богословов художники “Возрождения”), — неужели мы не можем заглянуть в XX век с несколько более утешенным сердцем, чем какое несли в XIX-м?» ** И далее: «Дети не имеют “открывшихся очей” на пол; их не имеют в отношении к нам животные; я

* «Семейный вопрос в России», т. I. Материалы к решению вопроса, с. 110, примечание.

** В мире неясного и нерешенного, с. 325.

никогда не видал (очень присматриваясь), чтобы животное повредило ребенку, хотя кошек, как и собак, дети порой ужасно мучат. “Лань ляжет около льва и лев ее не кусает”. *Египтяне чуть ли и не поклонялись в животных этой их “детскости” и еще “не развершимся очам”:* “эдему” их “живота” (жизни) или, пожалуй, еще не сбежавшему с них отсвету когда-то одного и общего у человека с животным эдема. Теперь переходим к человеку и занимающей нас теме: “великая тайна брака” и лежит в том, что “надлом” пола, совершившийся в секунду грехопадения, и в чем бы сущность этого надлома ни состояла, *в браке исправляется:* “мужчиною и женщиною (не политиками, не космополитами, не “общечеловеками”) сотворил их Бог” — это именно берется в брак, но и, кроме того, в направлении именно к мужу жены и у мужа к жене “одежда из листьев” спадает, *но стыда не появляется!* Главный симптом падения (в Библии единственный) исчез! Это так бесспорно: читайте Библию, всматривайтесь в супружество; читайте и взглядывайте, проверяя по супружеству текст, и вы догадаетесь о главной тайне супружества, что она есть *восстание* человека от грехопадения» *.

В детской невинности, в «детскости» первых людей, в эллинской ясности, в восточной глубокости Розанов видит правду жизни, свет ее, яркость, радугу красок, роскошь цветения, могучесть кровного притяжения. Здесь преодолевается *смерть* и отрицается *грех*, как некий *non-sens* в углублении жизни...

«*Стыд и грех* — идентичны: первый есть кожа второго, “стыдливый румянец на яблоке” греха. Вот почему радость семьи! Вот откуда *неутомляемость* от нее; предпочтение *своей* старухи — всем инородным; то, что через нее и именно через утрату перед ней стыда, важнейшею и тайною стороною своего бытия я снова отпадаю от “греха”, и не поразительно ли: одновременно *и отпадаю от смерти, проклятие* *коей так таинственно связано с грехом:* я рождаю. Вот откуда, и вовсе не в виде моральной сентенции, глагол Апостола “чадородием женщина (и мужчина) спасается”... В чадородии я ускользаю от “змия” — *в жизнь*, я сокрушаю его соблазн и плод соблазна — *стыд*. Отсюда — *правда* между нестыдящимися супругами, и первый канон брака: не лги (полная *раскрытость* души, отсутствие “смаковых листьев” для всяческого недостатка своего — перед и в отношении только к жене, равно и обратно — у жены к мужу). Здесь, в тайне разрешения, по крайней мере между двумя людьми и по линии их связности “греха первозданного человека” —

и лежит трансцендентное основание супружества; основание *свeta* семьи; и, пожалуй, того, что еще в раю, т. е. когда грехопадения не было и, следовательно, не было жажды разрешить узы греха, не было и “спасительного чадородия”» *.

Смерть и *грех* на одном полюсе, на другом *жизнь* и *святость*. Охваченный дыханием тайны жизни, зачарованный ее вечно рождающей мощью, согретый теплом и лаской самосветящейся земли, в жару религиозной животности Розанов отдается волнам своего всепримирающего мистического пантеизма, купается в них со страстью, с упоением, растворяя христианство и уплывая по вольной воле стихий в темную даль мудрости Востока, откуда доносится гул вековой жизни, где вечный хаос шевелится...

Розанов пантеизирует христианство, обращая его таинства в натуральные тайны. С особенной выпуклостью это обнаруживается в постановке проблемы пола. <...>

ГЛАВА ПЯТАЯ

В. В. Розанов и Фридрих Ницше. — «Новый теизм» Розанова и антихристианство его. — Некоторые итоги и заключения.

Антихристианство Розанова имеет много точек соприкосновения с антихристианством в учении Ницше, но в существенном они расходятся. Линии религиозно-философских узоров рисунка Ницше смелее и решительнее, они ярче, определеннее, выпуклее, но в конце концов В. В. Розанов идет дальше, его узоры сложнее, тоньше, извилистее, и там, где они едва видны, они особенно значительны и угрожающе страшны.

Ницше в своем поклонении жизни, в своем болезненно-пьяном культе действительности как высшей и единственной святости, в своем дерзновенном, хотя внутренне надломленном, человекобожестве выступает Богоборцем явным, исполненным гордого вызова, в упоении восторга и отчаяния от своего сознательно и открыто поднятого бунта. От властно преследующей его *тени Бога* он пытается укрыться с неосознанным насилием над собой в дерзновении индивидуалистического безудержа, на жуткой крутизне бездонно пустой пропасти Богоотступничества, в религии человекобожества, заостренной и обнаженной до своего последнего, страшного конца. Но отвергнутый Бог мучит его своей загадочно живой тенью, в душе вместо успокоенности

* Там же. С. 330.

всеблагословляющего, всепринимающего, со всем примиряющегося оптимизма обнажаются неизлечимые язвы, открывается неизбывная боль глубокого надрыва, идет вечно неутомимая борьба с самим собой, с своим темным, с своим тайным... «Слыхали вы, — пишет Ницше, — о том сумасшедшем, который в ясное утро зажег фонарь и побежал на площадь, без умолка крича: “Я ищу Бога, я ищу Бога!” Так как там толпилось множество неверующих, то он вызвал громкий смех. “Не пропал ли он?” — сказал один. “Или он сбежал как ребенок?” — сказал другой. “Может быть, он спрятался? Боится нас? Скрылся на корабль, веселился?” — так кричали и смеялись они все вместе. Безумный бросился в середину толпы, пронзая их взором. “Куда девался Бог, — воскликнул он, — это я вам сейчас скажу! Мы его убили, я и вы, мы все его убийцы. Но как мы это сделали? Кто дал нам губку, чтобы стереть весь горизонт? Как могли мы испытать океан? Что мы сделали, когда отделили эту землю от солнца? Куда стремится она, куда стремимся мы теперь? Не падаем ли мы беспрерывно назад, вперед, в сторону, во все стороны? Существуют ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы в бесконечной пустоте? Не объаты ли мы дыханием пустого пространства? Не стало ли оно холоднее? Не сгущается ли постепенно мрак ночи над нами? Не должны ли мы зажигать фонари утром? Разве вы не слышите, как шумят могильщики, роющие могилу Богу? Или вы не ощущаете запаха божественного тления? И боги тлеют! Бог умер, Бог пребывает мертвым!”» Здесь чувствуется болящий надрыв в ницшевском Богоборчестве. Ницше, несомненно, был уязвлен силою Божиею, не раз ощущал Его близость в неравной борьбе... «И остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари»¹⁷... Борьба ведется в темной ночи и лицо борющегося с ним остается сокрытым во мгле, темным, хотя в конечном счете Ницше *«хромает»* этой особенной хромотой Богоборца. Это невидимое прикосновение к Богу в глубинах нового религиозного строительства, в темных узловых сплетениях антихристианского человекобожества Ницше говорит о сложной, невыявленной игре светотени в его Богоотступничестве. И здесь он соприкасается с еще более сложным, сокрытым в тайных намеках и темных угадываниях «новым теизмом» Розанова. Мистические отсветы и их обманчиво неясные преломления в культе жизни, в обожествлении естества мира, всего сущего сливаются в обоих учениях. Роднит их обожествление жизни в бесконечной силе ее творческой мощи: у Ницше в «вечных возвращениях», у Розанова в бесконечности вечных рождений, в «розовом бессмертии» вечно цветущего древа жизни. Надломленный Бо-

гоборческий «атеизм» Ницше и животворящий, «светоносно-земляной», животное-плотский «новый теизм» Розанова более всего и сильнее всего сталкиваются в мощной антихристианской струе их настроений, в борениях со Христом. Здесь антихристианское дерзновение, бурное отчаяние отрицаний христианства у Ницше встречается тайное Христо-ненавистничество в религиозном шепоте Розанова. Ницше больше имеет дело с христианством, чем с Христом, Розанов с болезненно-заостренной, чутко насторожившейся напряженностью сторонится именно от *Лица Христова*, хотя и волнуется постоянно около имени Его, болеет, мучится, хочет и не может совсем, окончательно отойти. Вечно неугомонная, вечно беспокойная тревога самовопрошаний, самоуготований чувствуется у него всюду около Лица Христова. Преодоления даются трудно обоим им, но у Розанова несравненно больше внутреннего спокойствия, устойчивости, равновесия. Болящий крик, безумные стоны Ницше чужды Розанову, он тише, но и страшнее этой своею тихостью. У него не крик боли, но шепот недосказанных слов, не стоны, но тихие, пугающие вздохи, странно вздрагивающий смех...

Далее, от Ницше, как и от родственного ему эллински-языческого культа красоты, Розанова отделяют родные ему краски восточного мистицизма, глубины ноуменального в животном, бездна тайности в чреве жизни, в темноте пола. Но всего более отделяет его от Ницше психологическая разность индивидуальностей. Там, у Ницше, боль и мука «натащенного» на себя оптимизма, надрыв обоготворения жизни со страшно стиснутыми зубами отчаяния, гимн жизни сквозь ужас проклятий, безумный восторг неизбывного страдания, опьянившая себя усталость болей, изнуренность отрицаний и протестов — здесь, у Розанова, непринужденность обожания животной сущности, сладость жизни в углубленном чувствовании изначального бытия, теплота от обильно питающих корней, отрада погружения вглубь, обаяние ласково влекущей темноты, вечно неведомой дали. Там заблудившийся в себе, изнуренный до самопризнания, до самообожания трагизм, здесь — смеющееся радование росту жизни, лучистость и изредка ядовитый смешок с жалом, с укусами по адресу всех, так или иначе посягающих на жизнь, на плоть, на святость живой плоти, по адресу всех сомневающих в безусловности этой святости. Но важнее всего для Розанова мистический отсвет религиозности Востока, тот глубинный, животное-плотский мистицизм, которого избегал, не хотел видеть, боялся Ницше в своем тоже часто каком-то насильственном «реализме». Он чувствовал шевелящуюся под порогом его сознания глубь

мистики, гул родимого хаоса, но бежал от них к истокам всяческого мелководья, к наукообразному позитивизму, к натурализму Дарвина... бежал... но не знал гармонии с самим собой. Розанов несравненно смелее отдается «касанию миров иных», из глубин бездны низа берет он питание для оживления верхов реально-конкретных отношений в вопросах брака, семьи, церкви, общежития...

Антихристианство у Розанова не переходит, как у Ницше, в атеизм, хотя и у Ницше атеизм с мучительным надрывом, насильственный, кошмарный, мучительно израненный. Антихристианство у Розанова не только не переходит в атеизм, а, напротив, имеет в основе своей пламенно горящий, знойно воспаленный теизм, теизм рождающегося начала, Отчей Ипостаси. Не во имя атеизма или аморализма отвертывается он от Христа, и не во имя тоже морали праведного, добродетельного житья, как то смутно чувствуется в толстовстве, в буддизме и его перевоплощениях, перерождениях в философском пессимизме Шопенгауэра, не во имя, наконец, дерзновенно вызывающего, обожествившего себя индивидуалистического безудержа, столь родного и близкого современной философии и современному искусству декаданса, а прежде всего и глубже всего — во имя «нового теизма», возрождающего древний теизм Востока, иудаизм и темные глубины Вавилона и Египта, Сидона и Тира, фаллизма и астартизма. В мистическом пантеизме Розанова, чурающемся Христа, в его скрытом и сложном ненавистничестве против Лица Его, с страшной силою чувственного понимания и углубленного проникновения выражено исповедание Бога-Отца, Вседержителя — Творца неба и земли, сознательное религиозное исповедание Первой Божественной Ипостаси Святой Троицы — Отчей Ипостаси, Отчества. Ее Розанов с силой и правдой ощутил в восточных верованиях, в дохристианских религиозных глубинах, в миротворящем хаосе тьмы, в животворящих недрах мировых туманностей. Но в круге этого исповедания, в цикле «нового теизма» для Розанова, как мы выше указывали, в силу страшной сложности его религиозных чаяний и угадываний, оказывается не только непобедимым, но почти неощутимым в своих отличиях от Божества, в своих переходах и извивах — начало сатанинское, бесовское... Боги сливаются с демонами, бесами, духами зла в непроницаемой мгле, в глубинах религиозных туманностей древнейших верований, сливаются и срастаются в единстве общего генеалогического древа... В этой религиозной дали седой старины древнего Востока сатанинское тесно и сложно сплетается в общем таинственно-неясном переплете с Божественным,

свет утопает во мгле, поглощается ею и снова из нее возгорается. Только в христианстве, во Христе пришедшем, Распятом и Воскресшем, Грядущем судить живых и мертвых, со страшною силой и огненной раздельностью ощущается это противоречие, здесь раскрывается Божественное, а дьявольское сознается как антихристианство, сознается и предопобеждается в обетованиях, в чаяниях, в данных христианской эсхатологии.

«Семя жены сотрет главу змея» (Быт. III, 15). «Видим убо ныне якоже зеркалом в гадании, тогда же лицом к лицу: ныне разумею отчасти, тогда же познаю, якоже и познан был» (I Кор. XIII, 12).

«Новый теизм» Розанова, с его возрожденным Вавилоном, неоиудаизмом и т. п., составляющими его религиозное мирозерцание, находится уже не в том отношении к Христу, как теизм *древний*: там была невинность неведения, естественная слепота, здесь — отвержение, сознательное неприятие, ослепление — видел и не признал, слышал и не услышал, знал и отверг, отвернувшись к своему «новому теизму». Там было дохристианство, здесь уже — антихристианство. Так и сказано в евангелии Иоанна: «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения в грехе своем» (XVI, 22). «Если бы вы были слепы, то не имели бы *на себе* греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас» (IX, 41).

Светлое, обещающее в исканиях, в углублениях Розанова, тесно и неотрывно сливается с темным, пугающим; почти невозможно с определенностью провести резкую грань, где подлинная религиозность в нем, где «новый теизм» его переходит в антихристианство; все это еще более осложняется его до последней степени утонченным лукавством, психологической изогнутостью, не то наивной, не то хитрой, запутанностью душевных узоров, испещренным всяческими линиями сложным рисунком письма. В живые волны настоящего, подлинно религиозного чувства вдруг вливаются и тонут в них тонкие, но страшно сильные струйки столь же настоящего, подлинного цинизма, глубоко запрятанного религиозного нигилизма и хохочущего, злобно-го неверия. Но это все чуть слышно, все — более в намеках, догадках, полусловах, в глубине, за сценой...

В конце концов, в основе розановских вопрошаний, недоумений, исканий и отрицаний многое важное скрыто, с чем придется посчитаться. Многое всколыхнул, пошатнул, о многом запросил он в религиозном сознании, в христианском исповедании. Огромный вопрос его о *тайне плоти*, о жизни, рождении стоит перед христианством, *мимо* него уже нельзя пройти; осмыслить, пере-

решить, перестрадать его необходимо. И от Розанова, на почве вопрошаний и отрицаний его, около антихристианства его, уже зарождается, уже загорается — и разрастется и разгорится — новая литература, уже христианская, со *своими* решениями его вопрошаний, с утверждениями на место его отрицаний, с преодолением его недоумений, это уже не простой возврат к нетронутому старому, а сознательное восхождение к преображенному новому... Мысль о светлом радовании на жизнь в ее тайне рождения, в тайне животворящего начала уже блистала в религиозно-христианском сознании Достоевского, озаряя своим новым светом глубины его художественно-философских проникновений. И здесь по поводу «нового теизма» Розанова с его отступничеством от Христа почему-то вспоминается нам одно место из рассказов князя Мышкина Рогожину в «Идиоте» Достоевского.

— «Наутро я вышел по городу побродить, — рассказывает он, — вижу, шатается по тротуару пьяный солдат, в совершенно растерзанном виде. Подходит ко мне: “купи, брат, крест серебряный, всего за двугривенный отдаю; серебряный!” Вижу в руке у него крест и, должно быть, только что снял с себя, на голубой, крепко заношенной ленточке, но только настоящий оловянный, с первого взгляда видно, большого размера, осьмиконечный, *полного византийского рисунка*. Я вынул двугривенный и отдал ему, а крест тут же на себя надел, — и по лицу его видно было, как он доволен, что надул глупого барина, и тотчас же отправился свой крест пропивать, уже это без сомнения. Я, брат, тогда под сильным впечатлением был всего этого, что так и хлынуло на меня на Руси; ничего-то я в ней прежде не понимал, точно бессловесный, и как-то фантастически вспоминал о ней в эти пять лет за границей. Вот иду я, да и думаю: *нет, этого хриstopродавца подожду еще осуждать*. Бог ведь знает, что в этих пьяных и слабых сердцах заключается. Через час, возвращаясь в гостиницу, натолкнулся на бабу с грудным ребенком. Баба еще молодая, ребенку недель шесть будет. Ребенок ей и улыбнулся, по наблюдению ее, в первый раз от рождения. Смотрю, она так набожно, набожно вдруг перекрестилась. “Что ты, говорю, молодка?” (я ведь тогда все расспрашивал). “А вот, — говорит, — точно так, как бывает материна радость, когда она первую от своего младенца улыбку заприметит, такая же бывает и у Бога радость, всякий раз, когда Он с неба завидит, что грешник перед Ним от всего сердца на молитву становится”. Это мне баба сказала, почти этими же словами, и такую глубокую, такую тонкую и истинно религиозную мысль, такую мысль, в которой вся сущность христианства разом выразилась, то есть все понятие о Боге, как о нашем родном отце, и о радости Бога на человека, как отца на свое родное дитя —

главнейшая мысль Христова! Простая баба! Правда, мать... и, кто знает, может, эта баба женой тому же солдату была...»

Если этот рассказ символически перенести на канву сложных исканий и отрицаний Розанова, то откроется смысл их, и его отказ от креста «полного византийского рисунка», оловянного, выданного за серебряный, представится несколько в ином свете. Мысль о новом теизме, вплетенная во внутреннюю, интимно-кровную связь, с истинно религиозной мыслью «простой бабы», мыслью «глубокой», «тонкой», засветится вдруг зовущим и радостным светом «главнейшей мысли христианства» — сыновства, любви, радования Бога-Отца на человека, на жизнь... Из сложной амальгамы внехристианского и противохристианского теизма, через отрицания и отречения его, вдруг откуда-то изнутри, из-под почвы брызнет волна настоящего, живого религиозного чувства. *Подождем же осуждать*, ибо «сущность религиозного чувства — как говорит Достоевский устами «Идиота» в той же беседе его с Рогожиным — ни под какие рассуждения, ни под какие поступки и преступления и ни под какие атеизмы не подходит; *тут что-то не то, и вечно будет не то*; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и вечно будут не про то говорить»... Отсюда опасность всякой рациональной определенности формулировок в стремлениях выявить иррациональность в религиозных исканиях; *«что-то не то, и вечно будет не то»* — в этих мучительных потугах подойти к настоящему, постоянно лавируя между Сциллой одинокого молчания, религиозного отшельничества и между Харибдой слишком явного рационального выражения, слишком интимно-смелого обнажения религиозного исповедания. *«Не про то говорят»* и *«вечно будут не про то говорить»* — не только «атеизмы», но и «теизмы», и случается здесь самая неожиданная перемена мест и положений, самые неожиданные открытия, возможность которых всегда необходимо иметь в виду в сфере религиозных исканий...

О Розанове мы кончили, едва наметив только основные линии узоров его учений; некоторых очень существенных сторон, и светлых, и темных, не коснулись вовсе, в надежде, что их коснутся еще, что о Розанове будут говорить, если не теперь, то позднее, когда просветлеют дали, и литература получит большой простор, большой досуг от своих тяжелых, неотвязных, бесконечно важных ближайших задач. Связывают они и заставляют и нас скорее, чем хотелось бы и чем нужно было бы, оторваться от нашей темы, покончив с ней...



ПРИМЕЧАНИЯ

В предлагаемой антологии собраны наиболее значительные и характерные работы на русском языке, раскрывающие суть личности и творчества В. В. Розанова (за исключением, к сожалению, и одного из самых содержательных и ярких сочинений о Розанове — книги А. М. Ремизова «Кухня. Розановы письма»). В издании представлены исследования представителей самых разных взглядов, школ и направлений. Посвященные Розанову записи С. П. Каблукова из его «Дневника» 1909 г. публикуются здесь впервые по архивному оригиналу; также впервые по-русски появляется глава о Розанове из «Истории русской литературы» Д. П. Святополка-Мирского, написанной на английском языке. Многие материалы, особенно работы философов и критиков «русского зарубежья», прежде были недоступны широкому кругу отечественных читателей. В виде дополнения в антологию включены критическая статья французского философа Ж.-Б. Северака, опубликованная в русском журнале еще в начале века, а также две рецензии на книги Розанова, принадлежащие перу известного английского писателя Д. Г. Лоуренса.

Книга, в соответствии с замыслом серии, разделена на две части. В первой представлены преимущественно воспоминания о Розанове. Ввиду того, что творчество Розанова имеет ярко выраженный личностный характер и тесно связано с его биографией, в этом издании, по сравнению с первой книгой серии о Н. А. Бердяеве, раздел воспоминаний значительно расширен. Кроме того, в него включены также дневники и такие работы, в которых воспоминания сочетаются с критическим анализом произведений и мировоззрения мыслителя. К такому смешанному жанру относятся, например, эссе З. Н. Гиппиус.

Вторая часть книги содержит критические статьи о творчестве Розанова, отрывки из больших исследований о нем и рецензии на его сочинения. Здесь представлены как авторы, которые были близки к Розанову (даже если они и не добились особой известности), так и другие исследователи, давшие наиболее интересные и глубокие интерпретации его творчества. Ряд текстов из-за большого объема приводится с сокращениями, что специально оговаривается в примечаниях.

В 1-й части — «Мемуары и дневники. Штрихи воспоминаний» — материалы расположены в соответствии с исторической последовательностью описываемых событий, независимо от года издания работы; во 2-й части, где собраны отзывы на сочинения Розанова, материалы, как правило, даются в хронологическом порядке; все работы одного автора в этой части

помещаются при первом же материале. Как и часть 2-й, Библиография хронологически ограничена столетним «историческим» этапом — с 1886 г. (года выхода первой книги Розанова и рецензий на нее) до 1986 г. — в нее не входят многочисленные, более доступные современные исследования, относящиеся к периоду, когда в России, после нескольких десятилетий замалчивания творчества Розанова, начался совершенно новый этап активного освоения его творческого наследия.

Комментарии и Библиография построены так, чтобы они могли быть использованы для дальнейшего самостоятельного изучения творчества этого выдающегося мыслителя и писателя.

В. В. Розанов

Ответы на анкету Нижегородской губернской ученой архивной комиссии

Материал для несостоявшегося словаря писателей-нижегородцев, написанный Розановым в 1909 г. по просьбе В. Е. Чешихина. Небольшой отрывок был опубликован: *Чешихин-Ветринский В.* «Свой Бог» Розанова (Страница из его автобиографии) // Утренники. Кн. 1. Пгд., 1922. С. 77–79. Полностью опубликовал В. Г. Сукач в кн.: *Розанов В. В.* О себе и жизни своей. М., 1990. С. 707–712. Печатается по этому изд.

¹ В. В. Розанов родился 20 апреля 1856 г.

² Розанов Василий Федорович (ок. 1822—1861) — отец писателя.

³ Розанова (урожд. Шишкина) Надежда Ивановна (ок. 1827—1870) — мать писателя.

⁴ Розанова Вера Васильевна (1848/49—ок. 1868) — сестра писателя.

⁵ Розанов Николай Васильевич (1847—1894) — брат писателя.

⁶ Маколей Томас Бабингтон (1800—1859) — английский историк. Гизо Франсуа (1787—1874) — французский историк.

⁷ Бокль Генри Томас (1821—1862) — английский философ-позитивист, историк, социолог, автор известного труда «История цивилизации в Англии» (2 т., 1857—1861, рус. пер.: 1863—1864). Дрэпер Джон Уильям (1811—1882) — английский философ-позитивист.

⁸ Садоков Константин Иванович — директор Нижегородской гимназии в 1870-х гг.; позднее — помощник попечителя Московского учебного округа (см. о нем: *Розанов В.* Накануне дела // Новое время. 1901. 13 июня).

⁹ В. В. Розанов учился на историко-филологическом факультете Московского университета в 1878–1882 гг.

¹⁰ Конфликт Розанова с романистом Всеволодом Сергеевичем Соловьевым (1849—1903), братом философа Вл. С. Соловьева, мог, скорее всего, иметь место в редакции журнала «Русский вестник», где они оба сотрудничали, в связи с нападками редакции на Розанова за подрыв авторитета журнала после его статьи «По поводу одной тревоги графа Л. Н. Толстого» (1895).

¹¹ Розанов сотрудничал в 1890-х гг. в журналах «Русский вестник» (редактор Н. Ф. Берг), «Русское обозрение» (редактор А. А. Александров), «Вопросы философии и психологии» (редактор Н. Я. Грот) и др., писал

передовые статьи для газет «Свет» и «Одесский листок», редактировал «Литературное приложение» к «Торгово-промышленной газете», печатался в «Новом времени», «Гражданине», «Русском слове», «Русском труде». В 1899 г. стал штатным сотрудником газеты «Новое время», однако сотрудничал в журнале «Мир искусства», в газете «Слово», в журнале «Весы», а с конца 1905 г. регулярно печатался в либеральной газете «Русское слово». В 1914–1918 гг. сотрудничал в студенческом журнале «Вешние воды». В 1916 г. много печатался в газете «Колокол».

¹² Розанов обратился к Михайловскому с письмом в 1892 г. (см.: Вопросы философии. 1992. № 9. С. 121–122. Публ. М. Колерова). В 1899 г. Розанов вновь безуспешно предлагал Михайловскому сотрудничество (см. комм. к ст. Михайловского в наст. изд.).

¹³ Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — издатель и журналист, владелец газеты «Новое время», где в 1899—1917 гг. работал Розанов. Розанов неоднократно писал об А. С. Суворине после его кончины: А. С. Суворин // Новое время. 1912. 12 авг.; Памяти А. С. Суворина (нечто личное) // Новое время. 1912. 14 авг.; Из припоминаний и мыслей об А. С. Суворине и др. Ему принадлежит также книга: Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову. СПб. 1913.

¹⁴ Даты выхода книг Розановым указаны неточно. Приводим полный список прижизненных изданий книг писателя:

1. *О понимании*. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания. М., 1886. 737 с.
2. *Место христианства в истории*. Речь, произнесенная по поводу 900-летия крещения русского народа на публичном акте в Елецкой гимназии 1 окт. 1888 г. М., 1890. 40 с.
3. *Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария*. СПб., 1894. 234 с. (2-е изд.: 1902. 178 с.; 3-е изд.: 1906. 282 с.).
4. *Красота в природе и ее смысл*. М., 1895. 83 с.
5. *Сумерки просвещения*. Сборник статей по вопросам образования. СПб., 1899. 240 с.
6. *Религия и культура*. Сборник статей. СПб., 1899. 264 с. (2-е изд.: 1901. 274 с.).
7. *Литературные очерки*. Сборник статей. СПб., 1899. 285 с. (2-е изд.: 1902. 274 с.).
8. *Природа и история*. СПб., 1900. 268 с. (2-е изд.: 1903. 263 с.).
9. *В мире неясного и нерешенного*. СПб., 1901. 271 с. (2-е изд.: 1904. 358 с.).
10. *Семейный вопрос в России*. СПб., 1903. 2 т. Т. 1 — 312 с. Т. 2 — 516 с.
11. *Декаденты*. СПб., 1904. 24 с.
12. *Около церковных стен*. СПб., 1906. 2 т. Т. 1 — 416 с. Т. 2 — 497 с.
13. *Ослабнувший Фетиш* (Психологические основы русской революции). СПб., 1906. 24 с.
14. *Итальянские впечатления*. СПб., 1909. 318 с.
15. *Русская Церковь. Дух. — Судьба. — Очарование и ничтожество. — Главный вопрос*. СПб., 1909. 39 с.
16. *Когда начальство ушло...* 1905—1906 гг. СПб., 1910. 420 с.
17. *Темный Лик*. Метафизика христианства. СПб., 1911. 285 с.

18. *Люди лунного света. Метафизика христианства.* СПб., 1911. 199 с. (2-е изд.: 1913. 297 с.).
19. *Л. Н. Толстой и Русская Церковь.* СПб., 1912. 22 с.
20. *Библейская поэзия.* СПб., 1912. 40 с.
21. *Уединенное. Почти на праве рукописи.* СПб., 1912. 300 с. (2-е изд.: 1916. 154 с.).
22. *О подразумеваемом смысле нашей монархии.* СПб., 1912. 87 с.
23. *Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову.* СПб., 1913. 183 с.
24. *Опавшие листья.* СПб., 1913. 526 с.
25. *Смертное.* Домашнее в 60 экземпляров издание. СПб., 1913. 66 с.
26. *Литературные изгнанники.* СПб., 1913. Т. 1. 531 с.
27. *Среди художников.* СПб., 1913. 499 с.
28. *Апокалипсическая секта (Хлысты и скопцы).* СПб., 1914. 208 с.
29. *«Ангел Иеговы» у евреев (Истоки Израиля).* СПб., 1914. 24 с.
30. *В соседстве Содомы (Истоки Израиля).* СПб., 1914. 20 с.
31. *Европа и евреи (Истоки Израиля).* СПб., 1914. 38 с.
32. *Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови.* СПб., 1914. 302 с.
33. *Война 1914 года и русское возрождение.* Пгд., 1915. 234 с.
34. *Опавшие листья. Короб 2-й и последний.* Пгд., 1915. 516 с.
35. *В чадую войны.* Пгд., 1916. 61 с.
36. *Из восточных мотивов.* Пгд., 1916—1917. Вышло 3 вып. 96 с. (общая пагинация).
37. *Апокалипсис нашего времени.* Сергиев Посад, 1917—1918. Вышло 10 вып. 148 с. (общая пагинация).

ЧАСТЬ I. МЕМУАРЫ И ДНЕВНИКИ. ШТРИХИ ВОСПОМИНАНИЙ

Т. В. Розанова

Воспоминание об отце, Василии Васильевиче Розанове,
и всей семье. С 1904—1969 гг.

Впервые: Русская литература. 1989. № 3. С. 209—232. № 4. С. 160—178 (публ. Л. А. Ильюниной и М. М. Павловой). Печатается с сокращениями. Несколько иной вариант опубликовал Ю. Иваск: Новый журнал (Нью-Йорк). № 121. 1975. С. 164—177. № 124. 1976. С. 219—235.

Розанова Татьяна Васильевна (1895—1975) — старшая дочь писателя. Окончила Стоюнинскую гимназию. Училась на Бестужевских курсах. Придерживалась православных взглядов. См. о ней также в публикации из «Дневника» М. М. Пришвина в наст. изд.

¹ Страхов Николай Николаевич (1828—1896) — философ, публицист, литературный критик, ученый-естественник, старший друг Розанова. См. о нем подробнее в комм. к его статье в наст. изд.

² Татьяна Васильевна родилась 22 февраля 1895 г. и была крещена в Введенской церкви на Петербургской стороне. Ее крестным отцом был Н. Н. Страхов, а крестной матерью — жена писателя И. Ф. Романова (Рцы) О. И. Романова.

³ С 1899 по 1905 гг. семья Розановых проживала по адресу: Шпалерная ул., д. 39, кв. 4.

⁴ Путешествие в Аренсбург (после 1919 г. Курресааре, в 1952–1988 гг. — Кингисепп) на о. Сааремаа в Эстонии и в Ригу Розановы совершили в 1899 г. См.: *Розанов В. В.* Федосеевцы в Риге // Новое время. 1899. 7 авг. (перепечатано в кн.: Около церковных стен. Т. 1). Впечатления о путешествии по Балтийскому морю Розанов описал в очерке: Тревожная ночь // Северные цветы. 1902. СПб., С. 3–15 (перепечатано в кн.: Темный Лик).

⁵ У Розановых было шестеро детей. Первая дочь Надя, родившаяся 6 ноября 1892 г., умерла от менингита 25 сентября 1893 г. После Татьяны родилась Вера (1896–1919), затем Варвара (1898–1943), Василий (1899–1918) и Надежда (1900–1958). Кроме того, в семье жила падчерица В. В. Розанова, дочь В. Д. Рудневой (в первом браке Бутягиной) Александра Михайловна Бутягина (1883–1920).

⁶ На Звенигородскую ул. (д. 18, кв. 23) Розановы переехали летом 1909 г. — см. публикацию из «Дневника» С. П. Каблукова в наст. изд. — и жили там до лета 1912 г. Т. В. Розановой было в это время уже 14 лет. Скорее она имеет в виду переезд в Казачий пер.

⁷ В Саров Розановы ездили в июле 1904 г. (см.: *Розанов В. В.* По тихим обителям // Новое время. 1904. 10 авг. 18 авг. 15 сент. 15 сент.).

⁸ По приезду в Петербург в конце марта 1893 г. Розановы жили по адресу: Павловская (ныне Мончегорская) ул., д. 2, кв. 1. Летом 1894 г. семья переехала в кв. 24 в том же доме (см.: ОР РНБ. Ф. 631. Переписка С. А. Рачинского. Письмо В. В. Розанова, полученное Рачинским 20 авг. 1894 г.).

В указании дат переездов Т. В. Розанова не совсем точна: Шпалерная ул., д. 39, кв. 4 — до 1906 г.; Казачий пер., д. 4, кв. 12 — 1906–1909 гг.; Звенигородская ул., д. 18, кв. 23 — 1909–1912 гг.; Коломенская ул., д. 33, кв. 21 — 1912–1916 гг.; Шпалерная ул., д. 44б, кв. 22 — 1916–1917 гг.

⁹ До отъезда в Сергиев Посад у Розановых прислуживала Домна Васильевна Алешинцева.

¹⁰ Розанов сотрудничал в газете «Новое время» с середины 1890-х гг. Уже в 1897 г. он упоминается среди регулярных сотрудников газеты. С мая 1899 г. Розанов состоял в штате «Нового времени». Служба в «Новом времени» позволила Розанову окончательно решить свои материальные проблемы. В либеральной газете И. Д. Сытина «Русское слово» Розанов печатался с конца 1905 г. до 1911 г. (под псевдонимом В. Варварин). «Колокол» — церковно-политическая газета, издававшаяся миссионером В. М. Скворцовым в 1906–1917 гг. Розанов много печатался в «Колоколе» в 1916 г.

¹¹ «Русское богатство» — один из главных либерально-народнических журналов, редактором которого был В. Г. Короленко. «Русская мысль» — журнал, редактором которого с конца 1906 г. был участник сборника «Вехи» П. Б. Струве.

¹² Вальман Наталья Аркадьевна — учительница немецкого языка в семье Розановых, позже подруга А. М. Бутягиной, которая после дела Бейлиса в знак протеста против позиции Розанова ушла из дома и снимала комнату вместе с Н. А. Вальман. Впоследствии Н. А. Вальман также поддерживала близкие отношения с дочерьми Розанова, хотя Василий Васильевич и Варвара Дмитриевна ее недолюбливали.

¹³ Редакция газеты «Новое время» располагалась по адресу: Эртелев пер. (ныне ул. Чехова), д. 6. Там же с 1893 г. жила и семья Сувориных.

¹⁴ М. О. Меньшиков не мог простить Розанову его статью «Кроткий демонизм» (Новое время. 1897. 19 ноября), в которой он подверг сокрушительной критике рассуждения Меньшикова о «пошлости» и «ненужности» любви в статьях: Элементы романа. О половой любви // Книжки «Недели». 1897. № 9. С. 230–275; О суеверьях и правдолюбии // там же. № 10. С. 191–245; О любви святой // там же. № 11. С. 151–192.

¹⁵ О приобретении книг в студенческие годы Розанов писал в газетной статье: К всеобщему успокоению нервов... // Новое время. 1911. 7 февр. (перепечатано в кн.: «Среди художников»).

¹⁶ Об отношениях Розанова с А. Г. Достоевской (урожд. Сниткиной, 1846—1918), вдовой писателя, см.: Переписка А. Г. Достоевской с В. В. Розановым // Минувшее. № 9. Париж. 1990. С. 258–293. Публ. Э. Гаратто.

¹⁷ Т. В. Розанова не права: просьба А. Г. Достоевской написать рецензию на сборник рассказов «Больная девушка» (1911) Любови Федоровны Достоевской (1869—1926) была Розановым выполнена. См.: Первый дебют // Новое время. 1911. 3 апр.

¹⁸ После Павловской ул., где они были соседями Розановых, Романовы жили в Гатчине, затем на Б. Зеленина, 13, и затем на Васильевском острове, 18-я линия, д. 19-а.

¹⁹ Неточность Т. В. Розановой: у них бывал не сын художника Ге, а его внук, Николай Петрович Ге (1884—1920) — искусствовед, литературный критик.

²⁰ Имеется в виду Фаддей Яковлевич Тигранов — автор книги «Кольцо Нибелунгов». СПб. 1910.

²³ Андреев Василий Васильевич (1861—1918) — музыкант, организатор и руководитель первого оркестра русских народных инструментов, получившего международное признание, друг Розанова. См.: Розанов В. В. Великорусский оркестр В. В. Андреева // Новое время. 1913. 25 янв.; Еще о В. В. Андрееве и его народном оркестре // Новое время. 1913. 19 апр.; Бенефис великорусского оркестра // Новое время. 1917. 7 февр.

²² Дело Бейлиса — обвинение приказчика кирпичного завода в Киеве еврея Менделя Тевье Бейлиса (1873—1934) в причастности к убийству 12 марта 1911 г. с ритуальной целью 13-летнего Андриюши Ющинского. 28 октября 1913 г. Бейлису был вынесен оправдательный приговор. Розанов отстаивал точку зрения о ритуальном убийстве, о чем, как он писал, говорило расположение ран на теле мальчика. Такая позиция считавшегося «юдофилом» Розанова вызвала бурю негодования в печати. В январе 1914 г. состоялся «суд» над Розановым в Религиозно-философском обществе с целью его исключения. Хотя резолюция об исключении была отвергнута членами общества, после «осуждения» его выступлений в печати начался бойкот сочинений

Розанова, практически прекратились и воскресные «журфиксы». Скандал с «судом» и последующая травля побудили Розанова издать книгу «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» (1914), в которой были собраны материалы, относившиеся к доказательству ритуального характера убийства А. Ющинского, и еще три брошюры антиеврейского содержания. В 1917 г. Розанов принял решение их уничтожить.

²³ Тернавцев Валентин Александрович (1866—1940) — чиновник Синода, участник Религиозно-философских собраний, друг Розанова. Розанов так характеризовал Тернавцева в прошении к митрополиту Антонию: «Мой друг Тернавцев, богослов здешней Академии, человек высоких талантов и, можно сказать, апостольской веры (только не очень связного ума)...» Тернавцев всю жизнь работал над «Толкованием Апокалипсиса». Подробнее о Тернавцеве см.: К 50-летию кончины свящ. А. Ельчанинова. Встречи с В. А. Тернавцевым // Вестник РХД. № 142. III—1984. С. 65—67; Чулкова Н. Г. В. А. Тернавцев // Вестник РХД. № 134. II—1981. С. 114—115; Иваск Ю. О В. А. Тернавцеве (1866—1940) // Там же. С. 116—118; Гиппиус З. Н. Дмитрий Мережковский // Гиппиус З. Н. Живые лица. Тбилиси. 1991. С. 218—225.

²⁴ Щербов Иван Павлович (1873—1925) — богослов, преподаватель курса нравственного богословия в С.-Петербургской духовной семинарии, а после закрытия в 1919 г. духовных заведений — основанного при его активном участии Богословского института для вольнослушателей, который был главным центром богословского просвещения в Петрограде.

Розанов очень уважительно относился к духовным качествам глубоко верующей жены Щербова — Надежды Романовны Щербовой (1872—1911). См. его статью: Невидимые хранители Церкви // Новое время. 1911. 17 мая.

²⁵ Вероятно, имеется в виду Василий Александрович Акимов (1864—после 1935) — протоиерей, настоятель Покровской церкви, член училищного совета Св. Синода.

²⁶ Столпнер Борис Григорьевич (1871—1937) — писатель, переводчик, сотрудник «Еврейской энциклопедии», после многих лет дружеского общения резко разошелся с Розановым в связи с делом Бейлиса.

²⁷ Нестеров Михаил Васильевич (1862—1942) — живописец, автор многочисленных картин на религиозные темы, друг Розанова и почитатель его таланта. Розанов опубликовал о Нестерове три статьи: Молящаяся Русь (На выставке картин М. В. Нестерова) // Новое время. 1907. 23 янв.; Где же «религия молодости»? (По поводу выставки картин М. В. Нестерова) // Русское слово. 1907. 15 февр.; Нестеров // Золотое руно. 1907. № 2. С. 2—7. Одна статья Розанова о Нестерове хранилась в архиве и была опубликована лишь недавно (см.: Розанов В. В. Вечное «Преображение» // Советский музей. 1989. № 5. С. 44—47).

²⁸ Суслев Владимир Васильевич (1858—1921) — профессор архитектуры, церковный археолог и исследователь древнерусского зодчества, автор ряда книг, в том числе кн. «Очерки по истории древнерусского зодчества» (1889).

²⁹ И. П. Щербов преподавал в С.-Петербургской духовной семинарии, а не в академии — см. о нем прим. 24.

³⁰ П. П. Перцов перевел на русский язык «Путешествие по Италии» И. Тэна (т. 1 — 1913 г., т. 2 — 1915 г.). См. рецензии на его переводы:

Розанов В. В. Рец. на кн.: И. Тэн. Путешествие по Италии. М., 1913. Т. 1. Пер. П. Перцова // Новое время. 1913. 2 мая; То же. Т. 2 // Новое время. 1916. 6 февр. Иллюстр. прилож. С. 11–12.

³¹ Сологуб (наст. фам. Тетерников) Федор Кузьмич (1863—1927) — поэт, прозаик, представитель старшего поколения символизма.

³² Анастасия Николаевна Чеботаревская (Тетерникова) покончила с собой, бросившись в воду, 23 сентября 1921 г.

³³ Чулкова Надежда Григорьевна (1874—1961) — жена писателя Г. И. Чулкова (1879—1939), переводчица, автор мемуаров.

³⁴ Левицкая Елена Сергеевна (?—1915) — педагог, знакомая Розановых, организатор школы-пансионата для девочек и мальчиков, в которой применялась английская система Betales, предусматривающая суровую закалку и активную физическую подготовку. Школа, созданная в 1900 г., располагалась в Царском Селе: Новодеревенская ул., д. 12. Там учились Варя и Таня Розановы. Е. С. Левицкая ездила с Розановыми в 1910 г. за границу. Розанов не раз выступал в печати со статьями о школе Левицкой; защищал ее от нападок противников использованной там системы воспитания. См., например: *Розанов В. В. Образцовая средняя школа* // Новое время. 1905. 12 мая, 25 мая; *Завершившийся опыт* // Новое время. 1907. 9 сент.

³⁵ Гофштеттер Ипполит Андреевич (1860—1951) — публицист, сотрудник «Нового времени», писавший под псевдонимом «Кассий» и др. Гофштеттер Лидия Эрастовна — жена И. А. Гофштеттера. Розановы тесно общались с семьей Гофштеттеров и в 1905 г. оставили на их попечение при поездке в Германию младших детей. Однако в дальнейшем отзыве Розанова о Гофштеттере (в «Смертном» и «Опавших листьях») были отрицательными — Розанов сравнивает его с гоголевским Добчинским, высмеивая за тщеславие. Поздняя его характеристика Розановым (ок. 1915) крайне негативна: «Отвратительный и страшный гипнотизер. Жена его Лидия тоже печатала рассказы. Но самый замечательный (автобиографический) — “Зеркала”, в рукописи. Она загипнотизирована Ипполитушкой. Лидия — сомнамбула, а он тайный преступник, один раз запускал лижущий язык к Распутину» — цит. по кн.: *Розанов В. В. О себе и жизни своей*. М. 1990. Прим. В. Г. Сукача. С. 737.

³⁶ Имеется в виду художник Николай Александрович Ярошенко (1846—1888). Розанов снимал в 1907 г. дачу у вдовы художника Марии Павловны Ярошенко (?—1915) в Кисловодске. Там он встретился с М. В. Нестеровым. Нестеров писал после их встречи: «В Кисловодске десять дней путался с Розановым. От “поцелуев” переходили чуть не к драке» (Нестеров М. В. Письма. Л., 1988. С. 228).

³⁷ См.: *Розанов В. В. Домик Лермонтова в Пятигорске* // Новое время. 1908. 16 июня; *Лермонтовский домик в Пятигорске* // Новое время. 1908. 23 июня, 30 июня.

³⁸ Портрет О. М. Нестеровой-Шпретер (1906) находится в Русском музее в С.-Петербурге.

³⁹ В 1909 г. семья отдыхала летом в Лепенене под Териоками, а не в Луге — см. «Дневник» Каблукова в наст. изд.

⁴⁰ Беклин Арнольд (1827—1901) — немецко-швейцарский живописец-символист, в фантастических картинах которого мистика сочеталась с натурализмом изображения.

⁴¹ В первом замужестве Н. В. Розанова носила фамилию Верещагина. Она обычно подписывалась этой фамилией и получила под ней некоторую известность как художник-иллюстратор.

⁴² Василий Розанов-младший учился в Тенишевском училище в одном классе с будущим известным писателем В. В. Набоковым.

⁴³ Дер. Казаки находилась близ г. Ельца Орловской губернии.

⁴⁴ Гофман Иосиф (1876—1957) — польский композитор и пианист. Концерт Гофмана, в котором исполнялась фантазия «Франческо да Римини» Чайковского, вдохновил Розанова на одну из ярких записей о душе (см. «Уединенное»).

⁴⁵ Куза Валентина (Ефросинья) Ивановна (1868—1910) — русская певица (сопрано), одна из ведущих солистов Мариинского театра.

⁴⁶ Ошибка памяти — имеется в виду переезд летом 1909 г. на Звенигородскую ул. Удар с В. Д. Розановой случился 20 авг. 1910 г.

⁴⁷ Стоюнина (урожд. Тихменева) Мария Николаевна (1846—1940) — основательница известной женской гимназии в Петербурге (1888 г.), где учились дочери Розанова Вера и Надя, а потом и Таня. Гимназия находилась на Кабинетской ул., д. 20. Н. О. Лосский в своих воспоминаниях возмущается, что Розанов, написав ругательную рецензию про гимназию Стоюниной, отдал туда трех детей (см.: Бедные наши дети // Новое время. 1912. 27 июня). Позже Розанов стал относиться к этой гимназии гораздо лучше.

⁴⁸ В гимназии Стоюниной преподавал Владимир Васильевич Гиппиус (1876—1941), поэт-символист, литературный критик, и речь явно идет о нем, а не о его брате Василии Васильевиче Гиппиусе (1890—1942), также поэте и критике.

⁴⁹ Флоренский был близким другом Розанова, несмотря на глубокие расхождения во взглядах. Познакомились они, когда Флоренский был еще студентом, — вероятно, в связи с его публикациями в «Новом пути». Они сблизились в 1909 г., когда Розанов посетил Флоренского в Сергиевом Посаде, приехав в Москву на празднование юбилея Н. В. Гоголя. Розанов писал: «В простой, почти крестьянской избе-келье я беседовал у Троице-Сергия, после гоголевских торжеств, со смиренным и вполне ученым преподавателем духовной академии, Павлом Флоренским, сущим иноком по внутреннему призванию: и ночь, в беседе с ним проведенная при взаимном понимании с полуслова, думаю, не есть ли “собор”, по слову Спасителя: “где два и три соберутся в любви и мире, Я посреди их”» («И не пойду» // Новое время. 1909. 18 июня). В августе 1909 г. Розанов писал известному богослову, профессору С.-Петербургской духовной академии Н. Н. Глубоковскому о Флоренском: «По интересу личности, представьте, я во Флоренском встретил почти чудо: отшельник, монах (по жизни), философ (платоник) и вместе безгранично чувствующий природу, нашу серую северную природу. То, что он в письмах мне писал, лишь на ½ я понимаю, постигаю, но что постигаю — в высочайшей степени любопытно» (ОР РНБ. Ф. 194. Оп. 1. Ед. хр. 757. Л. 62 об).

⁵⁰ Цветков Сергей Александрович (1888—1964) — философ, публицист, друг Розанова. В 1913 г. Цветков издал книгу В. Ф. Одоевского «Русские ночи». Розанов возлагал на Цветкова надежды как на перспективного пред-

ставителя «молодого московского славянофильства». Н. В. Розанова-Верецагина в своих неизданных «Семейных воспоминаниях» приводит отзыв отца о Цветкове: «...он чрезвычайно образованный и начитанный человек, а главное, очень развит, что не всегда бывает и с ученым» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 2. Ед. хр. 7. л. 103). После кончины Розанова Цветков занимался приведением его архива в порядок и библиографией сочинений Розанова.

⁵¹ Умнее — или, вернее, даровитее, оригинальнее, самобытнее себя» — Розанов считал Романов-Рцы, Шперка и Флоренского, а не Цветкова (см. «Уединенное»).

⁵² Основной рукописный архив В. В. Розанова сейчас хранится в РГАЛИ (ф. 419).

⁵³ Фаворский Василий Андреевич (1886—1964) — график, живописец. Сохранились эскизы художника к двум нереализованным изданиям сочинений Розанова: Афоризмы В. В. Розанова. Книга 1. Под ред. П. А. Флоренского и М. В. Шика. Изд-во Первина. 1922; *Розанов В. В. Уединенное*. Первое посмертное дополненное издание. 1922.

⁵⁴ Имеется в виду Н. В. Розанова-Верецагина. Она училась в изотехникуме в 1929—1931 гг. и была графиком-иллюстратором. В 1947 г она стала женой вернувшегося из ссылки художника Михаила Ксенофонтовича Соколова (1885—сент. 1947) — см. об их отношениях: Панорама искусств. № 13. М. 1990. С. 31—52; Москва. 1989. № 2. С. 180—194. Н. В. Розанова-Верецагина иллюстрировала издания классиков литературы, в основном рисунками тушью, участвовала в создании мультфильмов. Ее выставки состоялись в 1957, 1959 и 1960 гг. (см.: *Лидин Вл.* Рисунки Верецагиной // Литературная газета. 1957. 16 апр.; *Дружинин С.* Талантливый иллюстратор // Искусство. 1960. № 1. С. 22—25).

⁵⁵ Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931) — литературовед и историк революционного движения.

⁵⁶ Альтман Натан Исаевич (1889—1970) — живописец, скульптор и график.

⁵⁷ Лебедева Сарра Дмитриевна (1892—1967) — скульптор.

⁵⁸ Дункан Айседора (1877—1927) — американская танцовщица. Розанов был увлечен раскованной манерой танца А. Дункан и написал о ней ряд восторженных статей: *Розанов В. В.* Танцы невинности (Айседора Дункан) // Русское слово. 1909. 14 марта. Подп.: В. Варварин; Дункан и ее танцы (14 января в Малом театре) // Новое время. 1913. 16 янв.; У Айседоры Дункан // Новое время. 1913. 19 февр. А. Дункан подарила Розанову фотографию, которую он включил в книгу «Среди художников», куда вошли и его очерки о популярной танцовщице.

⁵⁹ Апостолопуло (урожд. Богдан) Евгения Ивановна (1857—1915) — знакомая Розанова по Религиозно-философским собраниям, владелица именина Сахарна в Бессарабии. Розановы провели в Сахарне лето 1913 г. Розанов написал в этот период неопубликованную при его жизни книгу под названием «Сахарна» (1913) в жанре «Опавших листьев». В 1915 г. Розанов опубликовал некролог Е. И. Апостолопуло (Русский библиофил. 1915. № 8. С. 96—99).

⁶⁰ Н. В. Розанова-Верецагина писала: «В 1913 г., когда мы приехали в Сергиев, он уже принял священство и служил в Церкви при Красном Крес-

те, где было общежитие для престарелых сестер милосердия, и жил со своей женой Анной Михайловной, маленьким сыном Васютой и тещей Надеждой Петровной в маленьком деревянном доме на Штатной-Сергиевой ул. в д. Озерова. Часто приходил он к нам в Вифанию, неся на плечах своего сына, в белой рясе, подпоясанный узенькой тесемкой с вышитой на ней молитвой» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 97).

⁶¹ Александров Анатолий Александрович (1861—1930) — публицист, поэт, литературный критик, доцент Московского университета, редактор журнала «Русское обозрение» (1892—1898) и газеты «Русское слово» (1896—1899), где печатался Розанов. Отношения Розанова и Александрова складывались не лучшим образом. Помимо прочего, Розанов был обижен на Александрова за то, что тот постоянно задерживал оплату за его публикации. В 1913 г., когда дети жили в Сергиевом Посаде и встретились с Александровыми, Розанов писал им: «С Александровыми Вы будьте похолоднее и держитесь подальше. Они очень навязчивы, везде и во все лезут, но это страшно фальшивые люди. И маме и папе Вашим они в старые годы принесли много горя, не уплачивая денег за статьи» (*Верещагина Н. В.* Семейные воспоминания. РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 103).

⁶² Арсеньев Константин Константинович (1887—1919) — юрист, либеральный публицист, литературный критик.

⁶³ В. В. Гиппиус не играл столь значительной роли в организации «суда» над Розановым — главными фигурами были Д. С. Мережковский, Д. В. Философов и А. В. Карташев. В. В. Гиппиус признался позже Н. В. Розаново-Верещагиной, что вопрос об исключении Розанова был поставлен по требованию масонской организации (см.: РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 137—139).

⁶⁴ Во время «дела Бейлиса» (см. прим. 22) и особенно после признания судом присяжных невиновности подсудимого Розанов подвергался травле и бойкоту. Так, в воспоминаниях Н. В. Розановой-Верещагиной приводится большое анонимное «шутливое» письмо, полученное Розановым, в котором ему сообщалось, что его «потомство тоже внесено в список будущих жертв ритуала» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 133—134). Травля вызвала усиление антиеврейских настроений у Розанова, проявившихся в написанных им в это время книгах и брошюрах. В знак протеста против антисемитских выступлений отчима, А. М. Бутягина ушла из дома.

⁶⁵ Научно-литературно-художественный журнал «Вешние воды» (1914—1918) предназначался для студентов и печатал главным образом их произведения. Редактором журнала был М. М. Спасовский. Журнал имел националистическую ориентацию и активно привлекал к сотрудничеству публицистов «Нового времени». Розанов в основном публиковал в «Вешних водах» свою переписку со студентами — «Из жизни, исканий и наблюдений студенчества» и др. Подробнее о журнале см.: *Спасовский М. М.* В. В. Розанов в последние годы своей жизни. Нью-Йорк. 1968.

⁶⁶ Осипов Николай Петрович (1901—1945) — балалаечник, дирижер, педагог, участник выступлений Великорусского оркестра В. В. Андреева, с 1940 г. — дирижер Государственного русского народного оркестра.

⁶⁷ Иларион (в миру Василий Александрович Троицкий, 1855—1929) — архимандрит, профессор Московской духовной академии, впоследствии архиепископ. В 1917 г. исполнял должность ректора академии. Хиротони-

сан во епископа Верейского в 1920 г. В 1923 г. возведен в сан архиепископа. С 1925 г. в заключении на Соловецких островах. Инициатор известного послания православных епископов — Соловецких узников 1926 г. в ЦК партии большевиков (см.: Вестник РХД. № 152. 1988. С. 193–206). Скончался в Ленинградской тюрьме. Видный богослов и мыслитель славянофильской ориентации. Опубликовано интересное свидетельство о его взаимоотношениях с Розановым: «...однажды Иларион при встрече с известным Розановым, который после 1917 г. проживал в Сергиевом Посаде, сказал тому между прочим: “Да где уж нам, «людям лунного света», понять какие-нибудь бодрые настроения!”... Любопытен был контраст: слабенький, щупленький Розанов — носитель, выразитель земного ощущения жизни, поклонник плотяного юдаизма, чадородия, плодородия, и Иларион — чисто русский богатырь, иронически говоривший о себе как об одном из “людей лунного света”, пользуясь терминологией и образом Розанова!» (*Волков С. А. Архиепископ Иларион (Троицкий) // Вестник РХД. № 134. С. 229.*)

⁶⁸ Фотография, на которой среди гостей И. Е. Репина и Н. Б. Нордман-Северовой находятся В. В. Розанов с женой и падчерицей А. М. Бутягиной, воспроизведена в кн.: *Розанов В. В. Сочинения. М., Советская Россия. 1990. Перед с. 417. Судя по упоминанию Н. Б. Нордман-Северовой, Т. В. Розанова бывала в Пенатах до 1914 г.*

⁶⁹ О судьбе нумизматической коллекции В. В. Розанова см. подробнее в приложениях к воспоминаниям: *Рус. литература. 1989. № 4. С. 174.* Розанов обращался с просьбами к самым разным лицам, в том числе к А. П. Чехову и М. Горькому. С. А. Рачинскому в письме, полученном адресатом 10 августа 1898 г., он писал: «Первая у меня к Вам вещественная просьба: я безумно влюбился в нумизматику; чеканные портретные изображения на монетах “древних героев” неизъяснимо волнуют мою душу. Собрал 23 монеты. Среди культурных сокровищ Татеева, быть может, есть несколько *завалившихся* монет, которые и не вошли в реестры ее богатств. <...> И вот, если Вы принесете такую “лепту” древности мне в дар, Вы доставите несколько дней чисто детского восторга В. В. Розанову» (ОР РНБ. Ф. 631. Переписка С. А. Рачинского. 1898, июль-август. № 72–75. Л. 164–172).

⁷⁰ «Рассказы странника об Иисусовой молитве» — анонимное сочинение духовно-наставительного содержания, написанное, возможно, оптинским старцем преп. Амвросием — рукопись найдена в его келье после кончины.

⁷¹ Розановы переехали в Сергиев Посад в конце августа 1917 г.

⁷² Беляев Александр Дмитриевич (1852—1919) — известный богослов, профессор догматического богословия Московской духовной академии.

⁷³ Имеется в виду Сергей Михайлович Зарин (1875—1936?) — богослов, профессор С.-Петербургской духовной академии, инспектор, а при закрытии Академии в 1918 г. — ее ректор; автор книги «Аскетизм по православно-христианскому учению» (т. 1. 1907) и др. сочинений. В 1920-е гг. — профессор обновленческого Богословского института.

⁷⁴ Шервуд Леонид Владимирович (1871—1954) — скульптор.

⁷⁵ Олсуфьев Юрий Александрович, граф (1869—1939) — юрист, искусствовед, специалист по иконописи и церковному прикладному искусству, друг Розанова.

⁷⁶ Мансуров Сергей Павлович (?—1929) — церковный деятель, священник (с 1925 г.), историк Церкви (см.: Богословские труды. № 6, 7), искусствовед. Репрессирован (умер от туберкулеза).

⁷⁷ Шик Михаил Владимирович — специалист по церковному искусству, позже священник.

⁷⁸ Руднев Тихон Дмитриевич — юрист, брат В. Д. Розановой-Бутягиной.

⁷⁹ Видимо, речь идет о Михаиле Ивановиче Лутохине, враче из Курска — см. также письмо о. Павла Флоренского к нему в наст. изд.

⁸⁰ Имеется в виду священник Алексей Михайлович Гиацинтов, брат жены о. Павла Флоренского Анны Михайловны (урожд. Гиацинтовой, 1889—1973).

⁸¹ Олсуфьева (урожд. Глебова) Софья Владимировна, графиня — жена Ю. М. Олсуфьева (см. прим. 75), друг семьи Розановых.

⁸² Вознесенский Константин Васильевич, университетский товарищ Розанова, с которым он в 1891 г. поменялся учительскими местами в гимназиях, переехав из Ельца в Белый.

⁸³ О присылке Горьким денег Розанову см. также очерк З. Н. Гиппиус и прим. к нему в наст. изд., а также комм. к письму 36 (конец 1918 г.) в публикации: Переписка В. В. Розанова и М. О. Гершензона. 1900—1918 // Новый мир. 1991. № 3. С. 242.

⁸⁴ В словаре псевдонимов И. Ф. Масанова (т. 4. М., 1960. С. 407) приводится более 40 псевдонимов Розанова. В газете «Русское слово» он, по договоренности с А. С. Сувориным, печатался под псевдонимом В. Варварин (псевдоним был взят от имени жены). После Февральской революции Розанов подписывал многие свои статьи в «Новом времени» псевдонимом «Обыватель». Следует иметь в виду, что Розанов напечатал большое количество передовых статей без подписи, как в «Новом времени», так и в других газетах, например, «Свет» или «Одесский листок».

⁸⁵ Данилевский Николай Яковлевич (1822—1885) — ученый-естественник, мыслитель славянофильской ориентации, публицист, консервативный социолог, друг Н. Н. Страхова, автор книг «Дарвинизм» (2 тт., 1885—1889), «Россия и Европа» (1869). В своей известной книге «Россия и Европа» Данилевский выдвинул идею «культурно-исторических типов», положив в основу своего учения о развитии общества биологические принципы. Как и живые организмы, утверждал Данилевский, «культурно-исторические типы» находятся между собой в состоянии борьбы и проходят естественно предопределенные стадии возмужания, дряхления и неизбежной гибели. Идеи Данилевского как отход от гуманистических традиций активно оспаривал в споре со Страховым Вл. С. Соловьев. Розанов написал о Данилевском ряд статей: Вопрос о происхождении организмов. «Дарвинизм». Критическое исследование Н. Я. Данилевского // Русский вестник. 1889. № 5. С. 311—316; Рассеянное недоумение. Н. Н. Страхов. Взгляды Г. Рюккерта и Н. Я. Данилевского // Новое время. 1894. 9 нояб.; Поздние фазы славянофильства. Н. Я. Данилевский. «Россия и Европа» // Новое время. 1895. 14 февр.

⁸⁶ Книгу «Сумерки просвещения» издал в 1899 г. П. П. Перцов.

⁸⁷ Активное сближение Розанова с кружком «богоискателей» Д. С. Мережковского и с художественным кружком эстетов-«декадентов» А. Н.

Бенуа и С. П. Дягилева произошло несколько раньше — одновременно с выходом в свет журнала «Мир искусства» (1899).

⁸⁸ Дружба с Мережковским началась у Розанова еще в конце 1890-х гг., а к моменту выхода книг «Темный Лик» и «Люди лунного света» их отношения уже испортились.

⁸⁹ «Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову» выходили при жизни Розанова только один раз — в 1913 г. (переизд. — М., 1992).

⁹⁰ Неопубликованная при жизни Розанова книга «Сахарна» (1913) печаталась частями в последние годы: Ч. 3. После Сахарны // Литературная учеба. 1989. № 2. С. 85–116 (публ. В. Г. Сукача); Ч. 1. Перед Сахарной и ч. 2. В Сахарне // Розанов В. В. Религия. Философия. Культура. М., 1992. С. 314–356 (публ. А. Н. Николюкина).

⁹¹ Розанов посещал Эрмитаж и Публичную библиотеку, изучая древние религии и копируя египетские рисунки из атласа Рихарда Лепсиуса (1810—1884), еще в конце 1890-х гг., что вызвало своеобразную реплику К. П. Победоносцева: «Розанов, я думаю, близок к сумасшествию. Теперь он ходит в Публичную библиотеку исследовать сирийские и египетские культы любострастия» (РО РНБ. Ф. 631. Переписка С. А. Рачинского. 1899, ноябрь-декабрь. № 64. Л. 140).

П. Д. Первов

Философ в провинции

(из литературно-педагогических воспоминаний)

Впервые: Гонец (Саратов). 1992. № 3. С. 40–45 (публ. В. А. Фатеева).

Первов Павел Дмитриевич (1860—1929) — учитель классических языков в Елецкой гимназии одновременно с В. В. Розановым, позже преподаватель Лазаревского института восточных языков в Москве, составитель научно-популярных книг и учебных пособий, переводчик сочинений Э. Реклю, Ж.-Ж. Руссо, Э. Ренана, Ш.-Л. Монтескье, Б. Паскаля и др., а также — совместно с Розановым — Аристотеля, о чем идет речь в этих воспоминаниях. В воспоминаниях Первова имеется ряд фактических неточностей, но зато хорошо воссоздана атмосфера, в которой Розанов работал в гимназии. На характеристику личности Розанова определенное влияние оказали либеральные взгляды автора, тем более, что воспоминания писались в советское время (во 2-й половине 20-х гг.), когда само имя «нововременца» Розанова почти перестало появляться в печати.

¹ *Пришвин М. М.* Курымушка. М. 1924. Пришвин изобразил в автобиографической повести учителя географии по прозвищу «Козел», прототипом которого явно был Розанов. Однако при этом писатель далек от фактической достоверности. Учитель географии вдохновляет мальчика на побег в страну мечты «Азию» (реальный побег, в котором участвовал Пришвин, состоялся осенью 1885 г.), а потом выступает главным защитником пойманных и возвращенных в Елец с позором беглецов («поехали в Азию, вернулись в гимназию»). Однако была причудливо соединилась у Пришвина с вымыслом: в год побега Розанова в Ельце еще не было — он приехал только осенью 1887 г. Видимо, это не художественный прием,

так как Пришвин с благодарностью вспоминает защиту Розанова не только в «Курымушке» — «Кашеевой цепи», но и в письмах и дневниках: «Всех этих балбесов, издевающихся над мечтой, помню, сразу унял Розанов: он заявил и учителям, и ученикам, что побег этот не простая глупость, напротив, показывает признаки особой высшей жизни в душе мальчика» (см.: М. М. Пришвин. Из «Дневника» в наст. изд.). Вероятно, в памяти Пришвина события, относящиеся к побегу, как-то связались с Розановым — возможно, насмешки над беглецами продолжались и после его приезда.

² Речь идет о портрете Розанова работы Л. С. Бакста (1901).

³ Имеется в виду кн.: Розанов В. В. О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания. М., 1886.

⁴ Автор неточен. Розанов женился на А. П. Сусловой в 1880 году, 24-летним студентом, когда ей было 40 лет. Он познакомился со своей первой женой в Нижнем Новгороде, еще гимназистом. Подрабатывая уроками, он встретил ее у своей ученицы. В 1900 г. Розанов опубликовал под псевдонимом «Ибис» автобиографический очерк «Иван Ляпунов» (Новое время. 1900. 16 июля), в котором рассказывается о поездке юного студента Московского университета в Нижний Новгород тайком от жившего там старшего брата-опекуна для встречи с возлюбленной. О взаимоотношениях с Сусловой см. также вст. ст. А. С. Долинина в кн.: Суслова А. П. Годы близости с Достоевским. М., 1927; Гиппиус З. Н. — в наст. изд.; Л. П. Гроссман. Путь Достоевского. Л., 1924; а также С. Н. Дурюлин — в наст. изд.

⁵ Сестра А. П. Сусловой, Надежда Прокофьевна Суслова (1843—1918), была первой русской женщиной-доктором медицины.

⁶ Розанов разошелся с А. П. Сусловой не в первый же год — она покинула его в 1886 году, после шести лет совместной жизни.

⁷ Розанов В. В. Место христианства в истории. Речь по поводу 900-летия крещения русского народа на публичном акте Елецкой гимназии 1 октября 1888 года. М., 1890. 40 с. См. анонимную рецензию Н. Н. Страхова: Новое время. 1890. 14 марта.

⁸ Дидо А.-Ф. (1790—1876) — известный французский ученый-эллинист. В комментариях к переводу Первова и Розанова упоминается его издание Аристотеля: Didot A.-F. Aristotelis opera omnia graece et latine. Parisiis, MDCCCLIV.

⁹ Жюль-Бартеlemi Сент-Илер (1805—1895) — французский ученый-классик, переводчик.

¹⁰ В расположении имен переводчиков в публикациях «Журнала Министерства народного просвещения» вовсе нет той строгой упорядоченности, о которой пишет Первов. Чаще (в пяти журналах из восьми) фамилия Первова действительно упоминается первой. Однако уже в первой публикации (февраль 1890) имена даны в таком порядке: «В. Розанов. П. Первов». Фамилия Розанова стоит впереди еще в двух номерах журнала, в том числе и в подписи под последней публикацией (февраль 1895), хотя в том же номере, в содержании на обложке, первой стоит фамилия Первова.

¹¹ Любавский Матвей Кузьмич (1860—1936) — однокурсник Розанова по историко-филологическому факультету Московского университета, русский и советский историк. С 1911 г. ректор Московского университета.

¹² Грот Николай Яковлевич (1852—1899) — философ, психолог, профессор Московского университета, редактор журнала «Вопросы философии и психологии».

¹³ Страхов написал рецензию в сентябре 1889 г., уже после В. П. Буренина, хотя, как пишет Буренин, на статью его вдохновил принесший ему книгу Розанова П. А. Кусков, друг Страхова.

¹⁴ Буренин в своем очерке (Новое время. 1888. 20 мая) писал о трактовке Розановым в книге «О понимании» творчества Достоевского, а не Гоголя.

¹⁵ Филиппов Третий Иванович (1825—1899) — начальник Государственного контроля, меценат, публицист консервативно-церковного направления, автор книг «Современные церковные вопросы» (1882) и «Сборник» (1896). См. о нем: прим. 57 в комм. к «Дневнику» С. П. Каблукова в наст. изд.

¹⁶ Мать Варвары Дмитриевны Бутягиной (урожд. Рудневой), второй жены Розанова, Александра Адриановна Руднева (урожд. Жданова), была двоюродной сестрой Ионафана, архиепископа Ярославского (Ивана Наумовича Руднева, 1818—1903).

¹⁶ Имеется в виду кн.: *Розанов В. В.* Апокалипсис нашего времени. Сергиев Посад. Издание М. С. Елова. 1917—1918. Книга издавалась под общей нумерацией страниц отдельными выпусками, которых вышло не три, как указывает Первов, а десять.

М. М. Пришвин

О В. В. Розанове (Из «Дневников»)

Впервые: Контекст-1990. Литературно-теоретические исследования. М., 1990. С. 161—218 (публ. В. Ю. Гришина и Л. А. Рязановой).

Пришвин Михаил Михайлович (1873—1954) — писатель, религиозный мыслитель. Розанов был учителем Пришвина в гимназии (1887—1889), и именно из-за грубости Розанову Пришвин был исключен в 1889 г. из 4 класса с «волчьим билетом». Впоследствии, став писателем, Пришвин находился под очевидным влиянием идей Розанова, проявившимся, например, в книге «За волшебным колобком» (1908). Пришвина привлекало в сочинениях Розанова стремление приблизить церковь к жизни, внести в религию жизнеутверждающие начала. В то же время розановский интерес к теме пола для Пришвина не был характерен. В 1908 г., после путешествия к Светлому озеру, Пришвин познакомился с Мережковскими и встретился в Религиозно-философском обществе с Розановым. В скором времени Пришвин разочаровался в «богоискателях»-символистах и их отношения с Розановым не получили развития. В РГАЛИ имеются 3 письма Пришвина к Розанову (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 583). У Розанова и Пришвина были общие друзья и знакомые — А. М. Ремизов, А. М. Конопланцев, прот. А. П. Устьянский и др. После переезда в Сергиев Посад в 1926 г. Пришвин много общается с дочерью писателя Т. В. Розановой. В дальнейшем Пришвин постоянно размышляет о Розанове в своих «Дневниках», отмечая влияние на свое творчество как идей Розанова, так и его интимной афористической прозы.

¹ Манасейна Наталья Ивановна (1869—1931) — детская писательница. См. рецензию Розанова на ее книгу «Царевна» — «Новое время». 1915. 18 нояб.

² Имеется в виду книга Пришвина «За волшебным колобком» (1908).

³ Об исключении Пришвина Розановым из гимназии см.: *Мамонтов О. Н.* Новые материалы к биографии М. М. Пришвина // Рус. литература. 1986. № 2. С. 175–185.

⁴ *Шестов Л.* Разрушающий и созидающий миры (По поводу 80-летнего юбилея Толстого) // Рус. мысль. 1909. № 1. Отд. II. С. 25–60.

⁵ Рязановский Иван Андреевич (1869—1927) — археолог, краевед, фольклорист, друг Пришвина.

⁶ 19 января 1914 г. состоялось первое заседание, на котором обсуждался вопрос об исключении Розанова. Ввиду отсутствия кворума обсуждение вопроса о поведении Розанова было перенесено на следующее заседание, 26 января 1914 г.

⁷ Стахович Михаил Александрович (1861—1923) — член Государственной думы, общественный деятель, участник РФО, сосед Пришвина по имению.

⁸ «Светлым иностранцем» Пришвина со времен своей поездки на Светлое озеро называл Мережковского. См. очерк Пришвина: *Круглый корабль* (1911) — *Пришвин М. М.* Собр. соч. в 8 т. М., 1982. Т. 1. С. 789–790. Ср. характеристику Мережковского у Розанова: *Розанов В. В.* Среди иноязычных // Мир искусства. 1903. № 10. С. 69–86.

⁹ Игнатов Илья Николаевич (1856—1921) — литературный и театральный критик, либеральный публицист, редактор-издатель газеты «Русские ведомости», двоюродный брат Пришвина. См. его статью о Розанове: *Муки самопрезрения* // Рус. ведомости. 1915. 22 авг.

¹⁰ Голованов и Кукарин — участники религиозных собраний в новгородском трактире «Капернаум», который посещал М. М. Пришвин в 1909 г.

¹¹ Ошибка памяти: Розанов преподавал в Елецкой гимназии с осени 1887 г. Пришвин был второй раз оставлен на 2-й год из-за неудач в географии весной 1887 г., перед приездом Розанова. Ср. описание событий в автобиографическом романе Пришвина «*Кашеева цепь*» (1927).

¹² С другом Розанова протоиереем Александром Петровичем Устынским Пришвин был знаком по Новгороду — см. его рассказ «Отец Спиридон» (Собр. соч. в 8 т. 1982. Т. 2) и очерк «В законе Отчем» (Заветы. 1913. № 3. Отд. II. С. 57–64).

¹³ Об отношениях Розанова с М. О. Гершензоном см.: *Переписка В. В. Розанова и М. О. Гершензона. 1909—1918* // Новый мир. 1991. № 3. С. 215–242 (публ. В. Проскуриной). О рассказах Гершензона после смерти Розанова см.: *Голлербах Э. Ф.* Последние дни Розанова (К 4-ой годовщине смерти) — в наст. изд.

¹⁴ Речь идет о парижских публикациях: *Ремизов А. М.* Кукха. Розановы письма // Окна. 1923. № 2; *Гиппиус З. Н.* Задумчивый странник (О Розанове) // Окна. 1924. № 3.

¹⁵ Речь идет о жене религиозного философа Александра Александровича Мейера (1875—1939) — вероятно, о действительном члене РФО Прасковье Васильевне Мейер (см. Список действ. членов СПб. РФО 1914 г. в «Дневнике» С. П. Каблукова — ОР РНБ. Ф. 322. Ед. хр. 28, на обороте л. 18, в конверте). Не исключено, что имеется в виду Половцева Ксения Анато-

льевна (1886/87—1948) — художник-график, архитектор, член РФО. И Мейер, и Половцева как активные сторонники Мережковского после «исключения» были избраны в Совет РФО.

¹⁶ Татьяна Васильевна Розанова жила в г. Сергиеве, когда туда в 1926 г. переехал Пришвин.

¹⁷ Имеется в виду Евдокия Николаевна Игнатова (1852—1936) — двоюродная сестра Пришвина.

¹⁸ Ефросинья Павловна Пришвина (урожд. Смогалева, 1883—1953) — первая жена М. М. Пришвина.

¹⁹ «Курымушка» (М., 1924) — вышедшая отдельным изданием 1-я часть автобиографического романа Пришвина «Кащеева цепь», где идет речь о Розанове.

²⁰ Жена писателя Сергея Тимофеевича Григорьева (1875—1953), также жившего в Загорске.

²¹ Имеется в виду писательница Ольга Дмитриевна Форш (1873—1961), которую Пришвин считал умным человеком и интересным собеседником.

²² Речь идет о жене А. А. Александрова Евдокии Тарасовне. См. о них прим. 61 к «Воспоминаниям» Т. В. Розановой.

²³ Имеется в виду героиня романа «Кащеева цепь», прототипом которой была В. П. Измалкова — первая любовь Пришвина.

²⁴ В 1911 г. Д. С. Мережковский и Д. В. Filosoфoв поставили перед издателем московской газеты «Русское слово» ультиматум: либо Розанов больше не участвует в газете, либо они уходят из нее. После этого участие Розанова в либеральной газете прекратилось.

²⁵ См. очерк В. Б. Шкловского в наст. изд.

²⁶ Речь идет о Валерии Дмитриевне Пришвиной (урожд. Лиорко, 1899—1979) — второй жене Пришвина.

²⁷ Вальбе Борис Соломонович (1899—?) — литературный критик.

²⁸ Новоселов Михаил Александрович (1864—1940) — церковный писатель, издатель «Религиозно-философской библиотеки», основатель «Новоселовского кружка» православных мыслителей, в молодые годы был «толстовцем». Новоселов был хорошо знаком с Розановым, а позже с В. Д. Пришвиной.

²⁹ Розанов включил ряд фотографий, в том числе с изображением семьи, в книгу «Опавшие листья».

³⁰ Имеется в виду писатель Сергей Николаевич Сергеев-Ценский (1875—1978).

³¹ Некрасова Ксения Александровна (1912—1958) — поэтесса, человек «не от мира сего», знакомая Пришвина.

³² Речь идет о письмах Блока к Розанову от 17 и 20 февраля 1909 г., включенных в кн.: Блок А. Сочинения. М.-Л., 1946. С. 533–534.

А. Н. Бенуа

Религиозно-философское общество.

Кружок Мережковских. В. В. Розанов

Бенуа Александр Николаевич (1870—1960) — художник, историк искусства, художественный критик, мемуарист. Розанов познакомился с Бенуа в редакции «Мира искусства». Их тесное общение продолжалось до закрытия журнала в 1904 г. Влияние религиозно-философских идей Мережковского и Розанова сказалось на концепции книги Бенуа «Русская живопись XIX века» (1902).

¹ Имеются в виду Религиозно-философские собрания, открывшиеся 29 ноября 1901 г. под председательством ректора С.-Петербургской духовной академии еп. Сергия Ямбургского и закрытые по указанию Синода 5 апреля 1903 г.

² Антоний (в миру Александр Васильевич Вадковский, 1846—1912) — митрополит С.-Петербургский и Ладужский. Отличался либерализмом взглядов и терпимостью — без его согласия не могли бы состояться Религиозно-философские собрания. Розанов написал его некролог: Митрополит Антоний в его исторических заслугах // Новое время. 1912. 5 мая.

³ Протейкинский Виктор Петрович (Висенька) (ум. не ранее 1914) — неизменный посетитель всех мероприятий «Мира искусства» и Религиозно-философских собраний, член Религиозно-философского общества, участник «воскресений» в доме Розанова, родственник Д. В. Философова. См. о нем подробнее в статье Розанова: Анна Павловна Философова // Рус. слово. 1909. 17 февр. Подп.: В. Варварин, а также в кн.: *Бенуа А. Мои воспоминания*. М. 1990. Т. 2. С. 280—282.

⁴ Антонин (в миру Александр Андреевич Грановский, 1865—1927) — старший цензор в С.-Петербургской духовной академии (1899—1903), с 1903 г. — епископ Нарвский, после революции — «обновленец».

⁵ П. П. Перцов в этот период жил в «Пале-Рояль» (Пушкинская ул., д. 20) — доме, где сдавались меблированные комнаты. Другое декадентское «радение» состоялось 2 мая 1905 г. в квартире Н. Минского — см. письмо Е. П. Иванова к А. А. Блоку в наст. изд.

⁶ Л. С. Бакст. Портрет В. В. Розанова. Б., пастель. 106 × 71. 1901. ГТГ.

⁷ См.: *Голлербах Э. В. В. Розанов как историк искусства и коллекционер* // Среди коллекционеров. 1922. № 2. С. 36—39, а также статьи Розанова: Археология древних миниатюр // Среди художников. СПб. 1914. С. 132—148; Об античных монетах // *Спасовский М. М. В. В. Розанов в последние годы своей жизни*. Нью-Йорк. 1968. С. 91—92; Как и почему пришло на ум собирать древние монеты // Там же. С. 92—117.

⁸ Речь идет о романе Д. С. Мережковского «Воскресшие боги. Леонардо» (1899—1900), втором томе трилогии «Христос и Антихрист».

⁹ Бенуа не упоминается в выпусках розановского «Апокалипсиса». Вероятно, художник имел в виду предсмертное письмо «Друзьям», продиктованное Розановым 7 янв. 1919 г., которое начинается со слов: «Благодарному Саше Бенуа...» (*Розанов В. В. О себе и жизни своей*. М. 1990. С. 682); есть упоминание о Бенуа и в письме Розанова к Э. Ф. Голлербаху от 29 авг. 1918 г.: «Лукомскому и А. Н. Бенуа — привет. Бенуа — и любовь. Умный, только молчалив, и, я думаю, эгоист. Лукомский — “полегче”» (Письма В. В. Розанова к Э. Голлербаху. Берлин. 1922. С. 79).

3. Н. Гиппиус

Задумчивый странник (о В. В. Розанове)

Впервые: Окно (Париж). 1924. № 3. С. 273–335

Гиппиус (в замужестве Мережковская) *Зинаида Николаевна* (1869—1945) — поэтесса, литературный критик, прозаик; обычно подписывала свои критические работы псевдонимом Антон Крайний. З. Н. Гиппиус принадлежала мысль об организации Религиозно-философских собраний, она играла ведущую роль в редактировании журнала «Новый путь». При несомненном уме и таланте Гиппиус отличалась холодностью, декадентской аффектацией чувств и властолюбием. С конца 1890-х гг. до отъезда Мережковских за границу в 1906 г. их связывали с Розановым дружеские отношения. Однако после увлечения Мережковских идеей «религиозной общности» — сближения религии и революции — и одновременного «поправения» Розанова их отношения стали ухудшаться, а в 1909 г. стали враждебными. Кульминацией вражды стала попытка исключения Розанова из Религиозно-философского общества в 1914 г., организованная Мережковскими. Тем не менее, после революции Мережковские посылали голодавшему Розанову деньги, а Розанов перед смертью написал им два примирительных письма. Мемуары Гиппиус — одно из наиболее ценных воспоминаний-исследований о Розанове.

¹ Первая встреча Мережковских и Розанова состоялась, вероятно, 28 окт. 1897 г. (см. письмо Мережковского к П. П. Перцову от 27 окт. 1897 г.: «Завтра вечером я пойду к Розанову» и от начала ноября: «Был я у Розанова...» (Рус. литература. 1991. № 2. С. 172). Здесь речь, видимо, идет о весне 1898 г.

² Важную роль в сближении Мережковских с Розановым сыграл П. П. Перцов, который познакомился с ним раньше Мережковских.

³ Речь идет о падчерице Розанова А. М. Бутягиной.

⁴ Нувель Вальтер Федорович (1871—1949) — член кружка «Мира искусства», композитор-любитель, чиновник Министерства двора.

⁵ Нурок Альфред Павлович (1860—1919) — один из участников «Мира искусства», пропагандист новой музыки, автор статей в журнале (под псевдонимом Силен). Служил ревизором в департаменте армии и флота в Государственном контроле, где в 1893—1899 гг. служил и Розанов.

⁶ Мережковские жили по адресу: Литейный пр., д. 24, кв. 33, после Парижа — кв. 10 — в известном доме Мурузи, украшенном в мавританском стиле.

⁷ Je m'en fich'ист — человек, которому на все наплевать (от фр. je m'en fiche — мне наплевать).

⁸ Сергей (в миру Иван Николаевич Страгородский, 1867—1944) — богослов, ректор С.-Петербургской духовной академии (с 1901 г.) и епископ Ямбургский, с 1917 г. — архиепископ и затем митрополит Владимирский и Шуйский, в 1926 г. арестован, с 1927 г. как заместитель Патриаршего Местоблюстителя управлял Русской Православной Церковью, с 1936 г. — Патриарший Местоблюститель с 1943 г. — Патриарх всея Руси; постоянный председатель Религиозно-философских собраний.

⁹ Сергей (в миру Сергей Тихомиров, 1873—?) — архимандрит, с 1899 г. ректор духовной семинарии, в 1905—1908 гг. ректор духовной академии. Розанов в письме к Н. Н. Глубоковскому назвал его «проходимцем» (РО НБ. С.-Петербург. Ф. 194. Оп. 1. Ед. хр. 756. № 1. Л. 2).

¹⁰ Скворцов Василий Михайлович (1859—1932) — редактор-издатель журнала «Миссионерское обозрение» (1896—1916) и церковно-политической газеты «Колокол» (1905—1917), чиновник Синода, знакомый Розанова. Скворцов принимал деятельное участие в организации Религиозно-философских собраний. В 1916 г. Розанов много печатался в газете Скворцова.

¹¹ Карташев (Карташов) Антон Владимирович (1875—1960) — преподаватель церковной истории в С.-Петербургской духовной академии (1900—1905). Затем, уйдя из академии, преподавал на Женских курсах (1906—1919), работал в Публичной библиотеке. Председатель Религиозно-философского общества, открывшегося в 1907 г. Последний прокурор Св. Синода. Первый министр вероисповеданий Временного правительства. В эмиграции с 1919 г. Преподаватель Богословского института в Париже (1925—1960). Автор книг «Воссоздание св. Руси» (1956), «История Русской Церкви» (2 т. 1959), «Вселенские Соборы» (1963) и др.

¹² Устынский Александр Петрович (1855—1922) — священник, служивший сначала в Старой Руссе, а затем в Новгороде, протоиерей Дмитровской церкви, друг и вдохновитель Розанова в его попытках оправдания «святости семьи». Их переписка началась после увлечения Розанова темой связи религии и пола в 1898 г. Прот. А. П. Устынский в своих длинных статьях-письмах давал богословскую аргументацию в поддержку тезисов философа о семье и браке. Свою переписку со священником Розанов опубликовал в 1898 г. (*Розанов В. В.* Брак и христианство // Рус. труд. 1898. № 47—52), а затем включил в книгу «В мире неясного и нерешенного» (1901), упоминая священника только под псевдонимом: прот. А. У-ский. После критической статьи М. О. Меншикова «Титан и пигмеи» (Новое время. 1903. 23 марта), в которой он не только подверг сокрушительной критике необычные идеи священника, опубликованные Розановым в журнале «Новый путь», но и раскрыл его псевдоним, прот. Устынский был сослан на 2 месяца в монастырь, но затем ему было разрешено продолжить службу. Переписка с Розановым, несмотря на требование Духовного суда прекратить ее, продолжалась до кончины писателя (сейчас она находится в Рукописном отделе Российской государственной библиотеки, ф. 249). Розанов писал на обороте фотографии прот. А. Устынского: «Вот мой милый, вот мой дорогой священник — больше ничего не умею сказать. Люблю, чту, брат мой, наставник мой. Хочу, чтобы письма и портрет его были изданы после моей “†”. Кто-нибудь, любящий меня, сделает. Он был весь — русский. Твердый. Ясный. Скромный... Ах: потом мы с ним вместе уродились в Костроме» (цит. по кн.: *Розанов В. В.* Соч. в 2 т. Т. 2. М. 1990. С. 643 (прим. Е. В. Барабанова)).

¹³ В. И. Тернавцев (см. о нем прим. 23 в комм. к «Воспоминаниям» Т. В. Розановой) был одним из независимо мыслящих богословов — недаром именно он делал первый доклад на открывшихся 29 ноября 1901 г. Религиозно-философских собраниях. Уже в конце жизни Розанов писал о Тернавцеве: «Вполне гениальный человек... какого-то нет таинственного дара “положить все на бумагу”» (*Розанов В.* О типах религиозной мысли в России // Колокол. 1916. 19 авг.).

¹⁴ Имеется в виду Иннокентий (в миру Иван Васильевич Беляев, 1862—1913) — духовный писатель и проповедник, викарий Харьковский и затем Петербургский, епископ Тамбовский, с 1909 г. — экзарх Грузии. Участник Религиозно-философских собраний. Автор книг: «Пострижение в монашество» (1899); «Слова и речи» (2 т., 1907) и др.

¹⁵ Феофан (в миру Василий Быстров, 1873—1943) — инспектор С.-Петербургской духовной академии, в 1908—1910 гг. — ее ректор, епископ Ямбургский (с 1908 г.), позже — епископ провинциальных епархий, архиепископ Полтавский, после революции — в эмиграции.

¹⁶ Об Антонине (А. А. Грановском) см. прим. 4 к поспоминаниям А. Н. Бенуа в наст. изд. После революции он был одним из лидеров обновленческого раскола. В 1922 г. возглавил обновленческое «Высшее церковное управление» (ВЦУ), которое при поддержке ГПУ пыталось захватить церковную власть, отстранив Патриарха. В 1923 г. отделился от обновленцев, основав «Союз церковного возрождения».

¹⁷ Егоров Ефим Александрович (1861—?) — секретарь Религиозно-философских собраний и журнала «Новый путь», позже — заведующий иностранным отделом «Нового времени».

¹⁸ Василевский Илья Маркович (1882—1938) — писатель-фельетонист, публицист либерального «беспартийного» направления, редактор газеты «Свободные мысли» (1907—1911) и «Журнала журналов» (1915—1917). Часто пользовался псевдонимом «Не-Буква». После революции — в эмиграции, но в середине 20-х гг. вернулся на родину и продолжал активно работать в печати. Репрессирован.

¹⁹ Мережковские ездили в г. Семенов и к «граду Китежу» летом 1902 г. Итогом поездки стал очерк З. Н. Гиппиус «Светлое озеро» (Новый путь. 1904. № 1,2).

²⁰ Евангелие от Матфея 19, 6.

²¹ О доносе А. П. Сусловой на младшего друга философа, студента С. Б. Гольдовского, Розанов писал С. А. Рачинскому: «...она кончила тем, что упекла его в тюрьму (перехватывала его письма ко мне, без моего подозрения, и одно, где он, по поводу университетских беспорядков, дурно выразился о начале царствования Александра III, переслала жандармскому полковнику в Москву...)» (ОР РНБ. Ф. 631. Переписка С. А. Рачинского. 1898, июль-авг. № 72—75).

²² Розанов, наоборот, некоторое время еще надеялся, что Суслова вернется (см.: *Розанов В. В.* О себе и жизни своей. М. 1990. С. 695—696).

²³ О «походе» к митрополиту Антонию Мережковский рассказывал в своих «Автобиографических заметках» (Рус. слово. 1913. 19 марта); то же: *Мережковский Д. С.* Полн. собр. соч. М. 1914. Т. 24).

²⁴ Мережковский имеет в виду доклад Н. Минского «О двух путях добра» (см. в наст. изд.), где Минский использовал вызывавший насмешки образ «мистической Розы на груди Церкви». Однако сам Минский в статье «Забвенная душа (Ответ В. В. Розанову)» (*Минский Н.* На общественные темы. СПб. 1909) утверждает, что он читал доклад «О свободе религиозной совести», напечатанный в № 1 «Нового пути».

²⁵ Имеется в виду статья: *Розанов В. В.* Памятник Императору Александру III // Рус. слово. 1909. 6 авг. Подп.: В. Варварин. Розанов необду-

манно использовал там при описании крупа императорского коня как олицетворения России выражение «зад свиньи», которое подхватил Мережковский и вульгаризировал в обличительных целях в статье «Свинья-матушка» (Речь. 1909. 1 нояб.).

²⁶ Денница — в славянской мифологии утренняя звезда, падший ангел. Розанов, имея в виду последнее значение, тем самым, по утверждению Гиппиус, в скрытой форме проводил антихристианскую линию.

²⁷ Издатель религиозно-философской литературы Михаил Васильевич Пирожков (1867—1927), владелец издательства и книжного склада «Литературная книжная лавка» в Петербурге, разорился в 1909 г., став жертвой собственной жадности: он тайно печатал количество книг сверх оговоренного с автором тиража, но, запутавшись в расчетах, обанкротился. См.: *Розанов В. В.* К истории одного книгопродавческого разорения // Новое время. 1909. 22 июня; а также: *Эльзон М. Д.* Книгоиздательство М. В. Пирожкова // Книга. Исследования и материалы. Вып. 54. М. 1987.

²⁸ Семенов (Семенов-Тянь-Шанский) Леонид Дмитриевич (1880—1917) — поэт, прозаик, религиозный пропагандист.

²⁹ Успенский Василий Васильевич — в начале 1900-х гг. молодой доцент С.-Петербургской духовной академии, участник Религиозно-философских собраний, посетитель розановских «воскресений».

³⁰ Речь идет о статье: *Розанов В. В.* Юдаизм // Новый путь. 1903. № 6—12. См. в совр. изд.: Тайна Израиля. СПб. 1993. С. 105—227.

³¹ О своей «бабьей» натуре сам Розанов писал неоднократно. Например, в письме к Б. А. Грифцову от 24 апр. 1911 г. он сделал такое странное признание: «Я не “мужик”, а скорее девушка, робкая, застенчивая, не любящая мира, скромная, любящая тишину и уединение. В сущности — монахиня» (Наше наследие. 1989. № 6. С. 58).

³² Решение о закрытии Религиозно-философских собраний было принято 5 апреля 1903 г. Последнее собрание состоялось 19 апреля 1903 г.

³³ Михаил, архимандрит (в миру Семенов Павел Васильевич, 1874—1916) — доцент С.-Петербургской духовной академии, участник Религиозно-философских собраний, плодовитый публицист. После конфликта с церковными властями архим. Михаил перешел в старообрядчество, а 22 ноября 1908 г. был рукоположен в сан старообрядческого епископа. Автор брошюр: «Вопросы веры и жизни» (1904), «Законный брак» (1908) и др. Архим. Михаил часто полемизировал с Розановым. См. о нем статью Розанова: Архимандрит Михаил // Рус. слово. 1907. 6 янв., 30 янв. Подп.: В. Варварин.

³⁴ О «радении» у Н. Минского — см. в письме Е. П. Иванова в наст. изд.

³⁵ З. Н. Гиппиус не точно — книга «Когда начальство ушло» (1910) цензурным запретам не подвергалась.

³⁶ Ср. в воспоминаниях А. Белого в наст. изд.

³⁷ Имеется в виду жена поэта Н. Минского Людмила Николаевна Вилькина (1873—1920) — поэтесса, переводчица, прозаик. См. об этой пикантной переписке в публикации: *Павлова М. М.* «Распоясанные» письма В. В. Розанова // Литературное обозрение. 1992. № 11. С. 67—71.

³⁸ См. ст. П. Б. Струве «Большой писатель с органическим пороком» в наст. изд.

³⁹ Синоптики — первые три евангелия (от Матфея, Марка и Луки), обладающие определенным единством по отношению к 4-му евангелию — от Иоанна.

⁴⁰ Гишпиус искажает реальную картину. До их с Мережковским и Филосовым приезда из Парижа в 1908 г. Розанов активно участвовал в деятельности РФО, которое он рассматривал как продолжение Религиозно-философских собраний. Изменения в направленности Общества произошли при активном воздействии Мережковского и кружка его сторонников. Розанов вышел из Совета РФО в 1909 г., мотивируя это утратой Обществом религиозного духа и увлечением социальными вопросами (см.: *Розанов В.* Открытое письмо // Новое время. 1909. 17 янв.).

⁴¹ Речь идет об о. Павле Флоренском.

⁴² Имеется в виду епископ Антоний (в миру Михаил Флоренсов, 1847—1918) — духовник о. Павла Флоренского, живший с 1888 г. на покое в Даниловом монастыре в Москве. См. о нем: *Ельчанинов А.* Епископ-старец (Воспоминания о епископе Антонии Флоренсове // Путь (Париж). 1926. № 4. С. 157—165; *Иеродиакон Андроник [Трубачев].* Епископ Антоний (Флоренсов) — духовник священника Павла Флоренского // Журнал Московской Патриархии. 1981. № 9. С. 71—77; № 10. С. 65—73.

⁴³ Флоренская Ольга Александровна (1890—1914) — художница, поэтесса, некоторое время после трагической гибели мужа, С. С. Троицкого, друга о. Павла Флоренского, была под влиянием Мережковских, затем отошла под влиянием о. Павла.

⁴⁴ В газете «Земщина» Розанов опубликовал статьи «Андрюша Ющинский» (1913. 5 окт.) и «Наша «кошерная» печать» (1913. 22 окт.).

⁴⁵ «Торжественного» исключения Розанова, как утверждает Гишпиус, не получилось — формулировка об исключении вообще была отвергнута большинством членов Общества (см. «Стенографический отчет» в наст. изд.). Кроме того, накануне и после «суда» в «Новом времени» был опубликован ряд документальных материалов, характеризовавших Мережковского далеко не с лучшей стороны в его отношениях с А. С. Сувориным (см., например: *Розанов В. А. С. Суворин и Мережковский* (письмо в редакцию) // Новое время. 1914. 25 янв.).

⁴⁶ Имеется в виду дочь Розанова Вера, монахиня. Она покончила с собой после смерти отца, в ночь после Троицы 1919 г.

⁴⁷ Работу над книгой о Египте («Из восточных мотивов») Розанов начал в 1916 г. Вышло три выпуска (1916—1917 гг.). Рукопись находится в РГАЛИ: Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 95—105.

⁴⁸ Идея издания «Апокалипсиса» пришла Розанову уже после переезда в Сергиев Посад и после революции, во изменение замысла периодического издания «Троицкие березки» — см. комм. В. Г. Сукача в кн.: *Розанов В. В.* О себе и жизни своей. М. 1990. С. 784.

⁴⁹ Имеется в виду эпизод, описанный в очерке «Из армии и возле армии» — см.: *Розанов В. В.* Война 1914 г. и русское возрождение. Пгд. 1915. С. 228—234.

⁵⁰ Сын писателя Василий, вернувшись из армии, умер от «испанки» (гриппа) в Курске во время поездки за продуктами на Украину, 5 окт. 1918 г.

⁵¹ Меньшиков Михаил Осипович был расстрелян в Старой Руссе 21 сент. 1918 г. Подробнее см. о нем в комм. к статье М. О. Меньшикова в наст. изд.

⁵² В 1918 г. в Петрограде были распространены ложные слухи как об аресте Розанова, так и о его смерти.

⁵³ О письме Гиппиус к Горькому и о финансовой помощи Горького Розанову см.: *Ходасевич В.* Рец.: Гиппиус З. Н. Живые лица. I и II т. Прага. 1925 // *Ходасевич В.* Колеблемый треножник. Избранное. М. 1991, где показывается тенденциозность и неточность описаний Гиппиус, пользующейся слухами.

⁵⁴ Речь идет о Викторе Романовиче Ховине (см. о нем в комм. к его очерку «Не угодно ли-с?» в наст. изд.).

⁵⁵ Имеется в виду статья Э. Ф. Голлербаха, опубликованная в берлинской газете «Накануне» (см.: *Голлербах Э. Ф.* Последние дни В. В. Розанова // *Накануне.* 1923. 11 февр.), перепечатанная в наст. изд.

⁵⁶ Слух о том, что Розанов перед смертью не только причастился по православному обряду, но и совершил поклонение языческим богам, распространялся, в частности, З. Н. Гиппиус, о чем свидетельствует Э. Ф. Голлербах в указ. соч.

А. Белый

В. В. Розанов

Печатается по кн.: Белый Андрей. Начало века. М. 1990. С. 476–482.

Андрей Белый (наст. фамилия, имя, отчество Бугаев Борис Николаевич, 1880—1934) — поэт, прозаик, мыслитель, теоретик символизма. Белый считал Розанова одним из своих учителей. О сходстве творческой манеры А. Белого и Розанова писал В. Б. Шкловский (Новый Горький // Россия. 1924. № 2(11). С. 192–206). А. Гидони утверждал, что «“Петербург” А. Белого в некоторых отношениях — беллетристическая транскрипция Розанова» (Аполлон. 1916. № 9–10. С. 42). Отзывы Розанова о сочинениях А. Белого почти нет — его произведения, как и других «младших символистов», были ему не только чужды, но и непонятны по своей стилистике.

¹ Бугаев Николай Васильевич (1837—1903) — математик, профессор и декан Московского университета, мыслитель-лейбницианец, отец А. Белого (см.: *Лопатин Л. М.* Философское мировоззрение Н. В. Бугаева // *Лопатин Л. М.* Философские характеристики и речи. М. 1911. С. 271–289).

² Петров Григорий Спиридонович (1868—1925) — священник (до 1908 г.), либеральный публицист, сотрудник газеты «Русское слово», автор религиозных брошюр. Розанов заинтересовался деятельностью этого яркого проповедника евангельских идей среди простого народа в конце 1890-х гг., воспринимая его как олицетворение близкого ему «светлого», неказенного христианства, воплощение связи православия с жизнью в духе идей А. М. Бухарева и прот. А. П. Устьянского: Религия как свет и радость // Новое время. 1899. 14 апр.; Народные чтения в Петербурге // Новое время. 1902. 27 марта. Он защищал священника-либерала от пре-

следований церковных властей, сославших его за революционную пропаганду в монастырь, в газете «Русское слово» (под псевд. В. Варварин): В темном и несчастном сословии (К «делу» священника Г. С. Петрова) // Рус. слово. 1907. 18 янв.; Проводили // Рус. слово. 1907. 9 марта; Как мы встретили свящ. Г. Петрова // Рус. слово. 1907. 18 мая, и др. Однако затем, после расстрижения Г. С. Петрова (решение Св. Синода от 12 янв. 1908 г.), отношение Розанова к нему резко изменилось — он понял, что главной чертой Г. С. Петрова была не религиозность, а тщеславие. «Григорий Петров. Одна из самых отвратительных фигур, мною встреченных за жизнь. <...> Такого честолюбия я ни в ком не видел. Александр Македонский со средствами Мазини» (цит. по кн.: *Розанов В. В. Сочинения* в 2-х т. М. 1990. Т. 2. С. 654 — комм. Е. В. Барабанова).

³ Сомов Константин Андреевич (1869—1939) — художник, представитель «Мира искусства». Розанов, увлекавшийся его эротическими произведениями, писал: «Сомов Кон. — живописец, кажется, гениальный» (*Сомов К. А. Письма. Дневники. Суждения современников*. М. 1979. С. 528).

⁴ Речь идет о жене Розанова, Варваре Дмитриевне.

⁵ Ликиардопуло Михаил Федорович (1863—1925) — переводчик, литературный критик, секретарь журнала «Весы», редакция которого проявляла особый интерес к мистико-эротическим сочинениям Розанова.

⁶ Розанов принимал в 1909 г. участие в торжествах по случаю 150-летия со дня рождения Н. В. Гоголя в Москве и присутствовал при открытии памятника писателю работы скульптора Н. А. Андреева 25 апр. 1909 г. (см. его статьи: Гоголевские дни в Москве // *Новое время*. 1909. 3 мая, 8 мая; Отчего не удался памятник Гоголю? // *Журнал театра Литературно-художественного общества*. 1909. № 9–10. С. 9–12, и др.).

⁷ Веселовский Алексей Николаевич (1843—1918) — историк литературы, профессор Московского университета. См. полемику Розанова с ним: Открытое письмо к г. Алексею Веселовскому // *Рус. обозрение*. 1895. № 12. С. 905–913.

⁸ Вогуэ Эден Мельхиор де (1848—1910) — французский писатель и историк литературы, популяризатор русской литературы на Западе.

⁹ Розанов Матвей Никанорович (1858—1936) — историк литературы, профессор Московского университета, однофамилец В. В. Розанова. Работал одновременно с ним учителем словесности в Бельской прогимназии.

Д. А. Лутохин

Воспоминания о Розанове

Впервые: Вестник литературы. 1921. № 4–5. С. 5–7.

Лутохин Далмат Александрович (1885—1942) — экономист, журналист, издатель сборника «Утренники», в котором был опубликован ценный материал о Розанове: *Чешихин-Ветинский В.* «Свой Бог» Розанова. Страница из его автобиографии // *Утренники*. Пб. 1922. Кн. 1. С. 78–79. В 1922–1929 гг. — в эмиграции.

¹ В 1921 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Достоевского.

² Ошибка памяти: Розанов жил тогда по адресу: Шпалерная ул., д. 39, кв. 4.

³ Иван Щеглов — псевдоним Ивана Леонтьевича Леонтьева (1856—1911), прозаика и драматурга, знакомого Розанова.

⁴ См. прим. 19 в комм. к «Воспоминаниям» Т. В. Розановой в наст. изд.

⁵ Зак Борис Аркадьевич — молодой музыкант, приходивший к Розановым в 1900-х гг. играть на рояле. Согласно версии Т. В. Розановой, покончил с собой после того, как не прошел в консерваторию из-за нормы для евреев (см.: *Розанова Т. В.* Воспоминания об отце В. В. Розанове и обо всей семье // Новый журнал. № 124. 1976. С. 226). Однако А. М. Ремизов пишет о своей встрече с Б. А. Заком уже в эмиграции (см.: *Ремизов А. М.* Кукха. Розановы письма. Париж. 1978. С. 116). Вероятно, именно этот юноша упоминается в письме Е. П. Иванова (см. в наст. изд.) о «причащении» кровью у Н. Минского.

⁶ У Пантелеймоновского моста находилось Министерство внутренних дел. Вероятно, имеется в виду департамент полиции.

⁷ В 1905 г. на основе царского рескрипта министр внутренних дел А. Г. Булыгин разработал проект Государственной Думы и положение о выборах в нее. Решение о созыве парламента в России вызвало восторженное письмо Розанова, находившегося за границей (Исторический перелом // Новое время. 1905. 13 авг.).

⁸ Рачинский Сергей Александрович (1833—1902) — педагог, профессор ботаники Московского университета, затем создатель сельской школы в собственном имении Татев Смоленской губ. для обучения крестьянских детей в церковном духе. Автор неоднократно переиздававшейся книги «Сельская школа». Публицист консервативно-славянофильского направления, с интересом к педагогическим и религиозно-философским вопросам. Старший друг Розанова, который неоднократно писал о С. А. Рачинском: Рец. на кн. «Сельская школа». Изд. 3-е. СПб. 1898 // Новое время. 1899. 6 янв. Иллюстр. прилож.; Татевский сборник С. А. Рачинского // Новое время. 1900. 5 янв. Иллюстр. прилож.; С. А. Рачинский и его Татев // Новое время. 1902. 22 мая; и др.

⁹ Козлов Алексей Александрович (1831—1901) — философ-персоналист, первый крупный представитель неолейбнищанства в России. Основные работы: «Философские этюды» (1876); «Генезис теории пространства и времени у Канта» (1884); «Философия как наука» (1887); «Свое Слово» (5 вып., 1888—1898); «Религия Л. Н. Толстого, его учение о жизни и любви» (1895).

¹⁰ Вейнингер Отто (1880—1903) — немецкий философ, автор книги «Пол и характер» (1903), трактовавший близкие Розанову темы с совершенно иных позиций.

¹¹ Зиммель Георг (1856—1918) — немецкий философ, социолог, представитель философии жизни.

¹² «Саламбо» — роман Г. Флобера (1862).

¹³ О петербургских квартирах Розановых см. прим. 8 к «Воспоминаниям» Т. В. Розановой в наст. изд.

С. П. Каблуков

О В. В. Розанове (из «Дневника» за 1909 г.)

Публикуется впервые по рукописному оригиналу: *Каблуков С. П. Дневник. 1909—1918* // Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки, С.-Петербург. Ф. 322. Ед. хр. 3-6).

Каблуков Сергей Платонович (1881—1919) — преподаватель математики 3-го реального училища и женской гимназии А. Н. Никифоровой в Петербурге, любитель духовной музыки и церковного пения, музыкальный критик, секретарь С.-Петербургского Религиозно-философского общества. В 1909 г. сблизился с Розановым, часто бывал у него, помогал в издании книг «Итальянские впечатления», «Русская церковь» и др. В 1910 г. разошелся с Розановым по идейным мотивам, примкнув к проповедовавшему «религиозную общественность» кружку Д. С. Мережковского. 9 ноября 1911 г. предлагал на заседании Совета РФО исключить Розанова из Общества (ед. хр. 17, л. 375). Накануне Октябрьской революции, разочаровавшись в антипатриотической деятельности либеральной интеллигенции, в значительной мере признал правоту Розанова, о чем в 1918 г. сообщил тому в письме, после чего Розанов написал ему примирительный ответ.

¹ *Розанов В. В.* Анна Павловна Философова // Рус. слово. 1909. 17 февр. Философова Анна Павловна (1837—1912) — либеральная общественная деятельница, участница организации Высших женских курсов, мать Д. В. Философова.

² О В. П. Протейкинском см. прим. 2 к «Воспоминаниям» А. Н. Бенуа в наст. изд.

³ *Мережковский Д. С.* Любовь сильнее смерти. М. «Скорпион». 1902.

⁴ Имеется в виду книга Розанова «В темных религиозных лучах», подготовленная к печати в 1909 г., но не напечатанная из-за разорения издателя М. С. Пирожкова (см. прим. 27 к очерку З. Н. Гиппиус в наст. изд.) только в 1910 г. Однако книга была запрещенная цензурой. После внесения изменений была опубликована в виде двух отдельных книг — «Темный Лик» и «Метафизика христианства» под общим подзаголовком «Метафизика христианства» (1911).

⁵ Речь идет о статьях Розанова: Гермес и Афродита (А. Форель. Половой вопрос) // Весы. 1909. № 5. С. 44—52; Нечто из тумана «образов» и «подобий». Судебное недоразумение в Берлине // Весы. 1909. № 3. С. 56—62.

⁶ Столыпин Александр Аркадьевич (1863—1925) — журналист, сотрудник «Нового времени», брат премьер-министра П. А. Столыпина.

⁷ Адрес был написан по случаю 50-летнего юбилея публицистической деятельности А. С. Суворина, отмечавшегося в конце февраля 1909 г. (см.: Новое время. 1909. 7 марта. Иллюстр. прилож.).

⁸ Речь идет об Алексее Алексеевиче Суворине (1862—1937) — журналисте, сыне А. С. Суворина от первого брака.

⁹ 6 марта 1909 г. «на башне» у поэта В. И. Иванова состоялось заседание Совета РФО, посвященное идее создания в Религиозно-философском обществе Христианской Секции.

¹⁰ Алексеев (литературный псевдоним Аскольдов) Сергей Алексеевич (1870—1945) — религиозный мыслитель, представитель философии персонализма, сын философа А. А. Козлова, автор книг «А. А. Козлов» (1912), «Мысль и действительность» (1914), «Сознание как целое» (1918), «Критика диалектического материализма» (1944, неопубл.).

¹¹ Никон (в миру Николай Рождественский, 1851—1918) — редактор «Троицких листков» в Троице-Сергиевой Лавре, с 1904 г. — епископ Муромский, с 1906 г. — еп. Вологодский и Тотемский, с 1912 г. — член Св. Синода. Один из инициаторов борьбы с «имяславием» в 1913 г. Неоднократно полемизировал с Розановым. Здесь имеется в виду статья: За Божьи дни (ответ на открытое письмо В. В. Розанову еп. Вологодского и Тотемского Никона) // Новое время. 1909. 22 марта.

¹² Статьи вошли в книгу «Итальянские впечатления». Статья «Дрезденская Мадонна», посвященная «Сикстинской Мадонне» Рафаэля, вошла в книгу под названием «Сикстинская Мадонна».

¹³ Все последние статьи, посвященные поездке Розанова в Германию и Швейцарию в 1905 г., несмотря на несоответствие названию, были им включены в книгу «Итальянские впечатления».

¹⁴ Заседание Христианской Секции РФО, состоявшееся 15 апреля 1909 г., было посвящено докладу свящ. К. М. Аггеева «Индивидуализм в христианстве».

¹⁵ Митюрников Иван Иванович — владелец книжного магазина на Литейном проспекте, 31, в Петербурге.

¹⁶ Летом 1909 г. Розанов снимал дачу в дер. Лепенене (Тюрисево) близ Териок (ныне Зеленогорск), а Каблуков отдыхал в Териоках.

¹⁷ Тернавцева Мария Адамовна — жена В. А. Тернавцева (см. о нем прим. 25 к «Воспоминаниям» Т. В. Розановой в наст. изд.).

¹⁸ Соловьева Поликсена Сергеевна (1887—1924) — поэтесса (литературный псевдоним Allegro), редактор детского журнала «Тропинки», участница журнала «Новый путь», сестра философа В. С. Соловьева.

¹⁹ Обещание М. О. Гершензону написать отзыв на книгу А. Волинского Розанов выполнил (*Розанов В. Рец. на кн.: Волинский А. Ф. М. Достоевский. 2-е изд. // Книжная летопись. 1909. № 5. Сент. С. 37–42*). Однако, по утверждению Каблукова (ед. хр. 7, вкл. между л. 457 и л. 458), книгу он так и не прочел, хотя сам Каблуков пометил на полях рецензии: «хорошая заметка».

²⁰ Имеется в виду Нордман Наталья Борисовна (1863—1914) — писательница (литературный псевдоним Н. Б. Северова), общественная деятельница, гражданская жена И. Е. Репина. Речь идет о ее романе «Крест материнства. Интимные страницы» (СПб. 1908. С илл. И. Е. Репина).

²¹ Книга афоризмов выпущена в свет не была.

²² Сборник статей Розанова о сектантах вышел в 1914 г. («Апокалипсическая секта. Хлысты и скопцы»).

²³ Имеется в виду статья Розанова: Магическая страница у Гоголя // Весы. 1909. № 8, 9.

²⁴ «Строматы» — сочинения Отца Церкви Кирилла Александрийского (ум. в 444 г.).

²⁵ О еп. Феофане (Быстрове) см. прим. 15 к очерку З. Н. Гиппиус в наст. изд.

²⁶ О Г. С. Петрове см. прим. 4 к воспоминаниям А. Белого в наст. изд.

²⁷ Имеется в виду старообрядческий епископ Михаил (см. о нем прим. 32 к очерку З. Н. Гиппиус в наст. изд.).

²⁸ Азов В. — псевдоним Владимира Александровича Ашкинази (1873—1941) — журналиста, сатирика-фельетониста, сотрудника газеты «Речь» (1906—1917 гг.) и др. периодических изданий.

²⁹ См. прим. 23.

³⁰ Карбасников Николай Павлович (1852—1921) — книгоиздатель.

³¹ Спешнев Е. А. — председатель Комиссии конкурсного управления по делам несостоятельного должника коллежского советника М. В. Пирожкова, бывший его главным кредитором.

³² Имеется в виду статья: Об основаниях церковной юрисдикции или о Христе — Судии мира // Новый путь. 1903. № 4. С. 134—150. Вошла в книгу «Темный Лик» под названием «Христос — Судия мира».

³³ О Ж.-Б. Севераке см. комм. к его статье в наст. изд.

³⁴ Видимо, речь идет о напумевшей статье Розанова «Автор “Балаганчика” о Петербургских религиозно-философских собраниях» (Рус. слово. 1908. 25 янв. Подп.: В. Варварин), а также о статье «Новый труд проф. Тареева» (там же, 8 февр.).

³⁵ Речь идет о докладе В. П. Свенцицкого «Мировое значение аскетического христианства», прочитанном 14 февр. 1908 г. на 7-м собрании С.-Петербургского РФО. 12 марта, на 8-м собрании, читался ответ Розанова «О христианском аскетизме» (Речь. 1908. 15 марта).

³⁶ *Свенцицкий В. П. Антихрист* (Записки странного человека). СПб. 1908.

³⁷ Имеются в виду сестры З. Н. Гиппиус: Татьяна Николаевна Гиппиус (1877—1967) — художница и Наталья Николаевна Гиппиус (1880—1963) — скульптор. См. об их судьбе в кн.: *Филиппов Борис*. Всплывшее в памяти. Лондон. 1990. С. 253—259.

³⁸ Дурново Петр Николаевич (1845—1915) — вице-директор (1879—1884), затем директор (1884—1893) департамента полиции, товарищ (т. е. заместитель) министра внутренних дел (1900—1905), затем (с окт. 1905 по апр. 1906 г.) министр внутренних дел, член Государственного Совета.

Алексеев Евгений Иванович (1843—1918) — адмирал, генерал-адъютант, наместник на Дальнем Востоке (1903—1905), главнокомандующий русской армией во время Русско-японской войны (1904 г.), член Государственного Совета.

Стессель Анатолий Михайлович (1848—1915) — генерал-лейтенант, в 1904 г. сдавший Порт-Артур японским войскам. В февр. 1908 г. приговорен к 10-летнему заключения, но 1 апр. 1909 г. помилован царем.

³⁹ Местонахождение портретов Розанова работы И. Е. Репина неизвестно.

⁴⁰ Николай Моисеевич Максин, Д. А. Черкасов и Дмитрий Владимирович Знаменский — друзья С. П. Каблукова.

⁴¹ Статья Розанова «Сентиментализм и притворство как двигатели революции» (Новое время. 1909. 17 июля) сыграла важную роль в разрыве Розанова с кружком Мережковского.

⁴² Каблуков имеет в виду письмо жены Розанова, в котором она просит сохранить розановскую мебель как реликвию. Современное местонахождение мебели неизвестно.

Письмо Варвары Дмитриевны Розановой:

Получено 12 авг.

Сергей Платонович! Я очень рада, что В. В. кабинет будет в ваших руках, и когда он вам будет лишним, как в данный момент он нам мешает, а меня не будет, то может быть останутся дети из них кто-нибудь вы увидите будет чтить отца память, тогда пожалуйста им отдайте, если кто-нибудь захочет его сохранить. Я понимаю, что он попал туда, куда следует и мне с ним радостно расстаться. Только пожалуйста 17 число [условенный день оплаты за мебель. — В. Ф.] забудьте и никогда не вспоминайте это. Кабинет В. В. и пусть он им и остается, только я буду покойна и довольна. Варвара.

⁴³ Уманов-Каплуновский (наст. фам. Каплуновский) Владимир Васильевич (1863—1939) — поэт, прозаик.

⁴⁴ Гинцбург Илья Яковлевич (1859—1939) — скульптор. В 1898 г. Розанов написал статью о Л. Н. Толстом, вдохновившись портретом великого писателя, выполненным Гинцбургом и опубликованным в «Ниве»: Гр. Л. Н. Толстой // Новое время. 1898. 22 сент. В альбоме Уманова-Каплуновского, помимо автографов, был рисунок Гинцбурга, который изображал Розанова, позирующего Репину (Вестник литературы. 1910. № 7. С. 185—189).

⁴⁵ Репин Юрий Ильич (1877—1954) — художник, сын И. Е. Репина.

⁴⁶ Фарбман Михаил Семенович (1880—1933) — журналист, заведующий редакцией издательства «Пантеон», в котором сотрудничал Розанов.

⁴⁷ Паренсов Петр Дмитриевич (1843—1914) — генерал от инфантерии, участник Русско-турецкой войны, публицист, мемуарист, комендант Петергофа, председатель С.-Петербургского Славянского благотворительного общества.

⁴⁸ Штюрмер Борис Владимирович (1848—1917) — государственный деятель, в начале 1900-х гг. — губернатор Ярославля. Мережковские встречались с ним во время путешествия к «граду Китежу» в 1902 г. (см.: Гиппиус З. Н. Светлое озеро. Дневник // Новый путь. 1904. № 2. С. 36—46).

⁴⁹ Мережковский Д. С. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества. СПб. «Пантеон». 1908.

⁵⁰ Имеются в виду книги с участием Розанова: *Борхард Рихард*. Иорам. С предисл. В. В. Розанова. СПб. «Пантеон». 1909; *Песнь Песней Соломона*. Пер. А. Эфроса. Предисл. В. В. Розанова. СПб. «Пантеон». 1909 (2-е изд. — 1910).

⁵¹ Цензор С.-Петербургского комитета по делам печати Н. В. Лебедев, рассмотрев 3 окт. 1909 г. дело № 1727 о книге Розанова «Русская церковь» и найдя в ней «целый ряд весьма резких нападок на русскую церковь» и «совершенно отрицательную критику христианского вероучения», пришел к выводу о необходимости ареста книги. Цензор также указывает: «Рассматривая вопрос о влиянии церкви на жизнь русского народа, автор категорически утверждает, что влияние это в общем было весьма вредное.

Особенно вредным оказалось оно в отношении к семейной жизни русского народа» (ЦГИА. Ф. 277. Оп. 15. Ед. хр. 113. Л. 4).

⁵² Речь идет о статье: *Мережковский Д.* Конь бледный // Речь. 1909. 27 сент., 28 сент.

⁵³ Имеется в виду статья: *Мережковский Д.* Царство Глеба // Речь. 1909. 11 окт.

⁵⁴ Антоний (в миру Алексей Павлович Храповицкий, 1864—1936) — один из наиболее видных деятелей Русской Православной Церкви XX в., духовный писатель. В 1889—1895 гг. — ректор Московской духовной академии, в 1900 г. возведен в сан еп. Уфимского, а с 1902 г. — еп. Волынский. Один из трех кандидатов на патриарший престол в 1917—1918 гг. С 1918 г. — митрополит Киевский и Галицкий. С 1920 г. в эмиграции. Крайний политический консерватизм сочетался у него с церковным радикализмом — Антоний был противником не только революционеров, но и бюрократизма в церковном управлении. Он не раз выступал с резкими обличениями Розанова. Розанов дал характеристику еп. Антония в статье: Перед созывом Церковного Собора // Новое время. 20, 22, 25, 27 нояб., 4 дек.

⁵⁵ Имеется в виду книга: *В. В. Бородаевский.* Стихотворения. Элегии, оды, идиллии. СПб. «Оры». 1909.

⁵⁶ *Мережковский Д.* Земля во рту // Речь. 1909. 15 ноября.

⁵⁷ Отрицательное отношение к Т. И. Филиппову сложилось у Розанова сразу же после их первой встречи. Это роковым образом отразилось на материальном положении Розанова, служившего под началом Филиппова. Розанов, вероятно, справедливо, считал Филиппова большим лицемером с непомерным самолюбием и был в этом мнении далеко не одинок. Так, в письме к С. А. Рачинскому от 26 июля 1896 г. он пишет, что такого же мнения придерживаются, в частности, Н. Н. Страхов и А. Н. Майков: «О Филиппове он [Н. Н. Страхов — В. Ф.] давно как-то сказал: “Отвратительнейший человек”, а когда я при Аполлоне Майкове смеялся рассказывал о его лицемерии религиозном, Майков сказал: “Догадались-таки вы”. В СПб о Фил<иппове>, кажется, нет 2-х мнений» (ОР РНБ. Ф. 631. Переписка С. А. Рачинского. 1895, июль-август. № 56). Характерно, что почти всегда Филиппову противопоставляется Победоносцев: в том же письме Розанов передает мнение Страхова: «К<онстантин> П<етрович> — *честнейший человек*».

⁵⁸ Васильев Афанасий Васильевич (1851—1929) — публицист славянофильской ориентации, начальник Департамента железнодорожной отчетности Государственного контроля, генерал-контролер, непосредственный начальник Розанова в период его службы в Контроле. Автор книг: «А. С. Хомяков» (1904), «Миру-народу» (1908) и др. Произведения и письма Розанова содержат множество язвительных выпадов против «Афоньки» — одного из главных представителей кружка эпигонов славянофильства, с которым Розанов разошелся в конце 1890-х гг.

⁵⁹ Аксаков Николай Петрович (1853—1909) — публицист, философ, поэт, чиновник Государственного контроля одновременно с Розановым. Член созданного Т. И. Филипповым кружка «славянофилов». В отличие от статей Розанова, его сочинения (например, «Духа не угашайте», 1895) нравились государственному контролеру и меценату Филиппову, и, рабо-

тая чиновником в том же учреждении, он занимал должности, позволявшие ему при высоком жаловании основное время уделять литературному труду. Он много писал в ортодоксально-«славянофильском» духе, однако при общей «правильности» его христианских воззрений, сочинения Аксакова лишены искры таланта и оригинальности. Аксаков постоянно вел полемику с Розановым, однако его выступления носили весьма казенный характер.

А. И. Цветаева

В. В. Розанов (Из «Воспоминаний»)

Печатается по кн.: Цветаева А. И. Воспоминания. Изд. 3-е. М. 1984. С. 514—516, 546—547, 550—552, 572.

Цветаева Анастасия Ивановна (1894—1993) — писатель, мемуарист, дочь историка И. В. Цветаева и сестра поэта М. И. Цветаевой. А. И. Цветаева написала о Розанове книгу, но позже уничтожила ее.

¹ Имеется в виду М. И. Цветаева. Об ее отношении к «Уединенному» см.: *Цветаева М. И. Неизданные письма*. Париж. 1972. С. 21—36.

² Речь идет о поэте и художнике Максимилиане Александровиче Волошине (1877—1932).

³ Эллис (наст. фам. Кобылинский) Лев Львович (1879—1947) — поэт, переводчик, критик, автор книги «Русские символисты» (1910).

⁴ Имеется в виду сын А. И. Цветаевой А. Б. Трухачев.

⁵ О переписке Ги де Мопассана с русской художницей и мемуаристкой Марией Константиновной Башкирцевой (1860—1884), автором получивших впоследствии широкую известность «Дневников», см.: *Лану А. Мопассан*. М. 1971. С. 168—178.

⁶ Камкова Мария Степановна — см. о ней: *Цветаева А. И. Воспоминания*. М. 1984. С. 543, 548—550.

⁷ Розанов жил тогда по адресу: Коломенская ул., д. 33, кв. 21, недалеко от Кузнечного пер., бывшей квартиры Достоевского.

⁸ Трупчанская А. Я. — сестра С. Я. Эфрона, мужа М. И. Цветаевой.

Э. Ф. Голлербах

Воспоминания о В. В. Розанове

Впервые: *Летопись дома литераторов*. 1922. № 8—9. С. 5—6. Печатается по кн.: Голлербах Э. Ф. В. В. Розанов. Жизнь и творчество. Пгд. 1922. С. 78—89.

Голлербах Эрих Федорович (1895—1942) — публицист, поэт, литературный и художественный критик, библиофил, младший друг Розанова, автор первой книги о нем (1918). Ему принадлежит наибольшее количество публикаций о Розанове среди его современников. Философ положительно отзывался о посвященной ему книге Голлербаха, а ее автора оценивал как близкого по духу человека: «Нет человека, нет *ума и души*, которым

бы я так доверил себя и все свое понимание мира, восприятие мира и жизни» (*Спасовский М. М.* В. В. Розанов в последние годы своей жизни. Нью-Йорк. 1968. С. 76).

¹ Заседание по поводу исключения Розанова состоялось 26 января 1914 г., однако резолюция об исключении не была принята — см. стенографический отчет о заседании в наст. изд.

² Де Роберти Евгений Валентинович (1843—1915) — социолог и философ-позитивист, исследователь О. Конта, профессор.

³ После переезда с Коломенской ул. Розанов снова, как и в начале века, жил на Шпалерной ул. (д. 446, кв. 22).

⁴ Масперо Гастон Камиль Шарль (1846—1916) — французский египтолог. Шампольон Жан Франсуа (1790—1832) — французский египтолог, разработавший основные принципы дешифровки древнеегипетского языка.

⁵ Лернер Николай Осипович (1877—1934) — литературовед, пушкинист, член кружка памяти В. В. Розанова.

⁶ Амфитеатров Александр Валентинович (1872—1938) — беллетрист, либеральный публицист, после революции эмигрант, в 1890-х гг. сотрудник «Нового времени», покинувший редакцию по политическим мотивам. Розанов неоднократно писал о нем: Амфитеатров // Новое время. 1910. 23 мая; Саша Амфитеатров и его эпилог // Новое время. 1915. 11 нояб.

⁷ Анненский Иннокентий Федорович (1855—1908) — поэт, литературный критик, переводчик трагедий Эврипида, предшественник символизма.

⁸ Семирадский Генрих (Хенрык) Ипполитович (1843—1902) — польско-русский живописец, создатель больших полотен в духе академизма.

⁹ Имеется в виду Александр Михайлович Коноплянцев (1875—?) — юрист, автор биографии К. Н. Леонтьева, друг М. М. Пришвина, ученик Розанова в Елецкой гимназии и знакомый в Петербурге.

¹⁰ В обращении «Моя предсмертная воля» Розанов писал: «Веря в торжество Израйла, радуясь ему, вот что я придумал. Пусть еврейская община в лице Московской возьмет половину прав на издание всех моих сочинений и в обмен обеспечит в вечное пользование моему роду племени Розановых честною фермою в пять десятин земли, пять коров, десять кур, петуха, собаку, лошадь и чтобы я, несчастный, ел вечную сметану, яйца, творог и всякие сладости и честную фаршированную щуку.

Верю в сияние возрождающегося Израйла, радуясь ему...» (Впервые: Вестник литературы. 1919. № 8; Вопросы литературы. 1990. № 1. С. 84. Там же — «Письмо к евреям» от 17 янв. 1919 г. (с. 86)).

¹¹ Розанов переехал в Сергиев Посад не в 1918 г., а в конце августа 1917 г., т. е. до Октябрьской революции.

¹² В московской газете «Вертоград» был перепечатан один выпуск «Апокалипсиса нашего времени» (Розанов В. Апокалипсис нашего времени. Рассыпанное царство. Почему мы умираем // Вертоград. 1918. № 1. С. 2). В 1918 г. Розанов сотрудничал также в газете «Мир».

¹³ Имеется в виду письмо XXXII от 26 окт. 1918 г.

С. Н. Дурылин

В. В. Розанов

Впервые: Начала. 1922. № 3. С. 45–51, 98 (публ. В. А. Десятникова). Очерк является неопубликованной главой из книги «В своем углу» (М. 1991). Написана в ссылке в 1928 г.

Дурылин Сергей Николаевич (1877—1954) — историк литературы, искусства и театра, поэт, религиозный мыслитель, священник с 1920 г., с середины 1920-х гг. в ссылке. В годы священства читал лекции в Московском богословском институте. По возвращении из ссылки оставил священство и посвятил себя литературно-научной работе. Автор 2-х книг о творчестве М. В. Нестерова. Друг Розанова по Сергиеву Посаду. См. его другую публикацию о Розанове: В своем углу (В. Розанов) // Вопросы литературы. 1991. № 3. С. 237–247. Подробнее о С. Н. Дурылине — см.: *Фудель С. И. Воспоминания* // Новый мир. 1991. № 3, 4.

¹ Евангелие от Иоанна 4, 18.

² Исход 3, 16.

³ См.: *Суслова А. Годы близости с Достоевским. Дневник — повесть — письма*. М. 1928 (репринт — М. 1991). С. 129.

⁴ О Волжском (А. С. Глинке) см. в примечаниях к его статье в наст. изд.

⁵ Автор предисловия и комментариев в кн.: *Суслова А. Годы близости с Достоевским*. М. 1928. Долинин (наст. фам. Искоз) Аркадий Семенович (1880—1968) — литературовед, специалист по Достоевскому.

⁶ В. А. Тернавцев безуспешно ездил по поручению Розанова к Сусловой в 1902 г. в Севастополь, надеясь уговорить ее на развод.

⁷ Салиас де Турнемир (урожд. Сухово-Кобылина) Елизавета Васильевна, графиня (1815—1892) — писательница, известная под псевдонимом Евгений Тур. См. ее письмо в ук. соч. на с. 43.

⁸ Огарева-Тучкова Наталия Алексеевна (1829—1913) — вторая жена Н. П. Огарева, друга Герцена.

⁹ Лугинин Владимир Федорович (1834—1911) — революционер, близкий к Герцену; Усов Петр Степанович (1832—1897) — инженер.

ШТРИХИ ВОСПОМИНАНИЙ

В. В. Оболянинов. В. В. Розанов — преподаватель в Бельской прогимназии (письмо в редакцию) // Новый журнал (Нью-Йорк). 1963. № 71. С. 267–269.

¹ Янчин Иван Васильевич (1839—1889) — автор «Краткого учебника географии» в 4 частях (М. 1872—1883), выдержавшего около 30 изданий.

² Вандименова Земля (земля Ван Димена) — до 1856 г. название о. Тасмания. Гавай — то же, что и Сандвичевы острова.

³ Крафт-Эбинг Рихард (1840—1902) — немецкий психиатр.

Д. С. Мережковский. Из ст.: Революция и религия // *Мережковский Д. С.* Не мир, но меч. СПб. 1908. С. 109.

¹ Церковь Божией Матери Всех Скорбящих, которую посещали Розановы, находилась по адресу: Шпалерная ул., д. 33.

² С.-Петербургский дом предварительного заключения находился по адресу: Шпалерная ул., д. 25.

П. П. Перцов. Из кн.: *Перцов П.* Литературные воспоминания. 1890—1902. М.—Л. 1933. С. 109—110.

¹ Заседания «Мира искусства» проходили на квартире С. П. Дягилева (Литейный пр., д. 45, позже — наб. Фонтанки, д. 11).

В. Пяст. Из кн.: Встречи. М. 1929. С. 108—109.

Пяст В. (наст. фамилия, имя и отчество Пестовский Владимир Алексеевич, 1886—1940) — поэт.

¹ Воспоминания Д. А. Лутохина — см. в наст. изд.

Е. П. Иванов. Из письма А. А. Блоку от 9—10 мая 1905 г. // Русское революционное движение и проблемы развития литературы. Л. 1989. С. 176—180 (публ. Л. А. Ильюниной).

Иванов Евгений Павлович (1879—1942) — писатель, публицист, друг и почитатель Розанова, частый посетитель его воскресных «журфиксов», близкий друг Блока. Автор рецензии на кн. Розанова «Семейный вопрос в России» (Новый путь. 1904. № 7. С. 196—202). Розанов писал в «Опавших листьях»: «Вот кто естественный профессор университета: сколько новых мыслей, какие неожиданные, поразительные замечания, наблюдения, мышления» (*Розанов В. В.* О себе и жизни своей. М. 1990. С. 360).

¹ Н. Минский жил в 1905 г. в Петербурге по адресу: Галерная ул., д. 63 (дом Я. С. Полякова, выходявший другой стороной на Английскую наб., 34).

² Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920) — историк литературы, библиограф; Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867—1942) — литературный критик, историк западноевропейской литературы, переводчица, сестра С. А. Венгерова.

³ Имеется в виду Мария Михайловна Добролюбова (1878—1906) — сестра поэта-декадента А. М. Добролюбова.

⁴ Зиновьева-Аннибал (урожд. Зиновьева, в 1-м браке Шварсалон, во 2-м — Иванова, 1866—1907) Лидия Дмитриевна — жена поэта В. И. Иванова.

⁵ Бердяева (урожд. Трушева) Лидия Юдифовна (1889—1946) — жена философа Н. А. Бердяева.

Ю. Д. Беляев. Из ст.: О Розанове (В. Розанов. Итальянские впечатления. СПб. 1909) // Новое время. 1909. 24 июня. № 11954.

Беляев Юрий Дмитриевич (1876—1917) — публицист, театральный критик, сотрудник «Нового времени».

¹ В. В. Розанов с женой были в Италии летом 1901 г.

² Кронеберг Иван Яковлевич (1788—1838) — автор неоднократно переиздававшегося латинско-русского и русско-латинского словаря.

³ Ледоховский Мечислав-Гальяк (1822—1902) — кардинал, поляк родом из Могилевской губ.

Н. А. Бердяев. Из кн.: Самопознание (Опыт философской автобиографии). Изд. 3-е. Париж. 1989. С. 168—170.

¹ Библиографию статей Розанова о Бердяеве см. в кн.: *Бердяев Н. А. Pro et contra*. Сост. А. А. Ермичев. СПб. 1994. С. 568.

² Доклад «Христос и мир» был прочитан не на первом заседании Религиозно-философского общества, а на 3-м, 12 декабря 1907 г., после прозвучавшего на 2-м заседании доклада Розанова «Об Иисусе Сладчайшем и горьких плодах мира» (21 ноября).

³ Имеется в виду жена Бердяева, Лидия Юдифовна.

Н. А. Лосский. Из кн.: История русской философии. М. 1991. С. 435—438 (с сокращениями).

Лосский Николай Онуфриевич (1870—1965) — философ-интуитивист, профессор философии С.-Петербургского университета. Выслан из России в 1922 г. Автор книг: «Обоснование интуитивизма» (1906), «Мир как органическое целое» (1917), «Свобода воли» (1927), «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция» (1938), «Бог и всемирное зло» (1941), «Условия абсолютного добра. Основы этики» (1949), «История русской философии» (1951, на английском языке), «Достоевский и его христианское миропонимание» (1953), «Воспоминания. Жизнь и философский путь. 1934—1958» (1968) и др.

¹ Лосский был женат на дочери директрисы частной женской гимназии М. Н. Стоюниной и жил в том же здании, где была гимназия (Кабинетная ул., д. 20).

² В Сергиевом Посаде Розанов жил не у о. Павла Флоренского, а в снятом Флоренским для него доме ректора духовной семинарии А. А. Беляева (Полевая ул., д. 1).

³ Андреев Федор Константинович (1888—1929) — преподаватель Московской духовной академии, с 1922 г. священник, богослов (несохранившаяся диссертация «Ю. Ф. Самарин как богослов и философ», 1914; большая работа «Московская духовная академия и славянофилы» // Богословский вестник. 1915. № 10—12). Розанов не раз упоминал Ф. К. Андреева среди подававших большие надежды «молодых московских славянофилов». После закрытия духовной академии Ф. К. Андреев возвратился в Петроград, где вместе с И. П. Щербовым преподавал на Богословских курсах. Подвергался репрессиям, но перед кончиной из-за болезни был выпущен из тюрьмы.

П. А. Флоренский. Из письма к М. В. Нестерову от 1 июня 1922 г. Печатается по: *Палиевский П. В. В. В. Розанов и о. Павел Флоренский // Литературная учеба.* 1989. № 11. С. 111–115.

¹ Ср.: Последние мысли умирающего Розанова // *Литературная учеба.* 1990. № 1. С. 84.

² Там же. С. 84–88.

³ Там же. С. 86.

⁴ Имеется в виду Церковь Черниговской Божией Матери в Сергиевом Посаде, возле которой был похоронен Розанов.

PRO ET CONTRA

Ф. Э. Шперк

В. В. Розанов (Опыт характеристики)

Впервые: *Гражданин.* 1893. № 313. 13 нояб. С. 2.

Шперк Федор Эдуардович (ок. 1870—1897) — публицист, литературный критик, философ, поэт; друг Розанова. Автор брошюр «Система Спинозы» (1894), «Философия индивидуальности» (1895), «Книга о духе моем» (1896), «Диалектика бытия» (1897) и др. Несмотря на раннюю смерть Шперка и полное отсутствие известности своего младшего друга, «не кончившего университета», Розанов считал его чрезвычайно одаренным человеком, «умнее» себя. В письме Э. Ф. Голлербаху от 8 окт. 1918 г. он писал: «Шперка бы поставил (*terribile dictu* *) на 2-м месте, как действительно оригинального и самобытного мыслителя, а Влад. Соловьева на 3-ем месте, как несколько не оригинального и лишь очень самоупоенного» (с. 52). Вместе с тем Розанов признавал, что в философских брошюрках Шперку полностью выразиться не удалось, а значение его связано прежде всего с короткими рецензиями в «Новом времени» (под псевдонимами «Ор» и «Апокриф»). Розанов познакомился со Шперком заочно в 1890 г., а после его переезда в Петербург их отношения перешли в дружбу. Помимо частого упоминания имени Шперка в своих главных книгах, Розанов неоднократно писал о нем: Две философии (Критическая заметка) // *Новое время.* Библиогр. прилож. 1897. 12 окт.; Памяти Ф. Э. Шперка // *Рус. обозрение.* 1897. № 11. С. 459–465.

¹ Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Герой» (1830).

² *Розанов В.* Цель человеческой жизни // *Вопросы философии и психологии.* 1892. № 14–15.

Н. Н. Страхов

Рецензия на кн.: Розанов В. В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария. СПб., 1894.

Впервые: Новое время. 1894. 25 нояб. № 6733 (подп.: Старый книголюб).

Страхов Николай Николаевич (1828—1896) — литературный критик, философ, ученый-естественник; старший друг Розанова, его «крестный отец» в литературе. Автор книг «Борьба с Западом в нашей литературе» (3 т., 1882—1896), «Мир как целое» (1872, 2-е изд.: 1892), «Философские очерки» (1895) и др.; представитель «почвенничества». Розанов очень высоко оценивал Страхова как философа — см.: *Розанов В. В.* Литературные изгнанники. Т. 1. СПб. 1913. Рецензируемая книга была издана Розановым на средства Страхова.

¹ См.: *Николаев Ю.* [Говоруха-Отрок Ю. Н.] Нечто о Гоголе и Достоевском // Московские ведомости. 1891. 21 янв.; Еще о Гоголе // Там же. 16 февр.

² За резкую и одностороннюю характеристику Гоголя в статье, посвященной «Легенде о Великом Инквизиторе» Ф. М. Достоевского, упреки Розанову высказал в печати, в частности, Ю. Н. Говоруха-Отрок (см. прим. 1). В связи с этой полемикой Розанов дополнил очерк о Достоевском двумя статьями о Гоголе: «Несколько слов о Гоголе» (1891) и «Как произошел тип Акакия Акакиевича» (1894). После выхода книги в 1894 г. на тему Гоголя откликнулись также М. Южный (М. Г. Зельманов) (Гражданин. 1894. № 86), Ф. Э. Шперк (Школьное обозрение. 1894. № 14–16), В. В. Чуйко (Одесский листок. 1894. № 81).

³ С тезисом Розанова о «неверии» Достоевского не согласился Ю. Н. Говоруха-Отрок (см. его статьи в наст. изд.).

⁴ Утверждение П. Н. Милюкова, будто «славянофильство умерло», оспаривал близкий ему по взглядам А. Н. Пыпин — см.: *Милюков П. Н.* Разложение славянофильства // Вопросы философии и психологии. 1893. № 5. С. 46–96; *Пыпин А. Н.* Из истории панславизма // Вестник Европы. 1893. № 9. С. 310: «Автор, быть может, слишком поторопился хоронить славянофильство...»

Ю. Н. Говоруха-Отрок

Статья 1. Во что верил Достоевский (Легенда о Великом Инквизиторе Достоевского. Опыт критического комментария В. Розанова)

Впервые: Московские ведомости. 1894. 8 сент. № 246 (подп.: Ю. Николаев)

Говоруха-Отрок Юрий Николаевич (1850—1896) — литературный критик, публицист, прозаик, участник революционного движения в молодые годы, к середине 1880-х гг. — представитель позднего славянофильства, один из ведущих сотрудников консервативной газеты «Московские ведомости» (под псевдонимом Ю. Николаев). Розанов считал Говоруху-Отрока одним из лучших критиков своего времени (см.: *Розанов В. В.* Литературные изгнанники. СПб. 1913. Т. 1. С. 439–473 и др.). Большинство статей Ю. Н. Говорухи-Отрока, в основном литературного и религиозно-философского содержания, остались несобранными (см.: Указатель статей Ю. Н.

Говорухи-Отрока в «Московских ведомостях». 1889—1896 // Рус. обозрение. 1896. № 9. С. 396—422).

¹ При издании книги «Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского» (1894) Розанов добавил к печатавшемуся в журнале исследованию две статьи: «Несколько слов о Гоголе» и «Как произошел тип Акакия Акакиевича», что было вызвано полемикой с Говорухой-Отроком, который отрицательно отнесся к розановской трактовке Гоголя, отстаивая понимание его как христианского писателя (см.: *Николаев Ю.* Нечто о Гоголе и Достоевском // *Московские ведомости.* 1891. 21 янв.; *Еще о Гоголе* // Там же. 16 февр.). Позже взгляды Розанова на Гоголя оспаривали И. Ф. Романов, Ф. Э. Шперк, М. Г. Зельманов, В. В. Чуйко (см. Библиографию).

² Имеется в виду глава XVII в работе Розанова о «Легенде». Убрать эту страницу буквально требовал в личном письме к Розанову И. Ф. Романов еще после журнальной публикации (см.: *Новый журнал.* № 159. 1985. С. 156).

³ Карлейль (Карлайл) Томас (1795—1881) — английский эссеист, историк и философ-трансценденталист, автор книги «Герои, почитание героев и героическое в истории» (1841, рус. пер. 1908).

⁴ Цитата из «Истории английской литературы» И. Тэна (1863) — кн. 5, гл. 4, § 3.

⁵ Идея, несколько раз выраженная в романе «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевским.

Статья 2. Во что веровал Достоевский

Впервые: *Московские ведомости.* 1894. 5 сент. № 25. Подп.: Ю. Николаев.

¹ См.: *Достоевский Ф. М.* Братья Карамазовы. Кн. I. Ч. I. Гл. VI.

² *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Л. 1972—1980. Т. 21. С. 10—11.

³ Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский писатель, историк религии, автор известной книги «Жизнь Иисуса» (1863) и других книг в серии «История происхождения христианства» (1863—1893) — исследований, написанных в научно-рационалистическом духе.

⁴ Кабет (Кабе) Этьен (1788—1856) — французский публицист, идеолог утопического «мирного коммунизма». Леру Пьер (1797—1871) — французский философ, один из основателей христианского социализма. Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — французский социалист, теоретик анархизма.

⁵ Штраус Давид Фридрих (1808—1874) — немецкий философ-младогегельянец, автор книги «Жизнь Иисуса» (2 т., 1835—1836), в которой отрицалась историческая достоверность евангелий.

⁶ *Толстой Л. Н.* Исповедь (1879—1882, опубликована в 1884 г.).

В. С. Соловьев

Порфирий Головлев о свободе и вере

Впервые: *Вестник Европы.* 1894. № 2. С. 906—916. Печатается по кн.: *Соловьев В. С.* Сочинения в 2 т. М. 1989. Т. 2. С. 497—508.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — религиозный философ, поэт, литературный критик. Отношения Розанова и Соловьева складывались сложно. После положительной рецензии Соловьева на книгу «Место христианства в истории» (1890) и данного резко отрицательного отзыва и последующей полемики Соловьев приехал к Розанову в 1895 г. знакомиться. В течение двух лет они состояли в дружеских отношениях, переписывались. Но отзыв Розанова «Христианство активно или пассивно?» на спорную статью Соловьева «Судьба Пушкина» («Вестник Европы». 1897. № 9) снова их поссорил. В 1899 г. Соловьев выступил с критикой Розанова в статье «Особое чествование Пушкина» («Вестник Европы». 1899. № 7). Однако после смерти Соловьева Розанов опубликовал о нем целый ряд статей-воспоминаний, в которых положительно оценивал личность и творческие задатки выдающегося мыслителя. В дальнейшем Розанов также неоднократно писал о Соловьеве, но в его более поздних статьях преобладают уже отрицательные характеристики — критика философа за отход от православия, отсутствие «русскости». Розанов отдавал предпочтение стихам перед философскими сочинениями, находя их отвлеченными по изложению, а взгляды философа — эклектическими. В целом Розанов написал о Соловьеве около 20 статей: Что приснилось философу? // Новое время. 1900. 16 мая; На границах поэзии и философии // Новое время. 1900. 9 июня; На панихиде по Вл. Соловьеву // Новое время. 1901. 1 авг.; Философ Рудин // Новое время. 1901. 13 нояб.; Вл. Соловьев и Достоевский // Новое время. 1902. 20 сент.; Размолвка между Достоевским и Соловьевым // Новое время. 1902. 11 окт.; Об одной особой заслуге В. Соловьева // Новый путь. 1904. № 9; Из старых писем. Письма В. Соловьева // Вопросы жизни. 1905. № 10–11; Золотое руно. 1907. № 2–3; Сборник писем Соловьева // Новое время. 1908. 28 окт.; Автопортрет Соловьева // Рус. слово. 1908. 28, 31 окт. (подп.: В. Варварин); Литературный род Соловьевых // Новое время. 1911. 14 апр.; Окончание писем Соловьева // Новое время. 1911. 1 мая; Католицизм и Россия // Рус. слово. 1911. 21 мая (подп.: В. Варварин); Французский труд о Соловьеве // Новое слово. 1911. № 7; Религиозный «эклектизм» и «синкретизм» (Из воспоминаний о Соловьеве) // Рус. слово. 1911. 8 июля (подп.: В. Варварин); В. С. Соловьев. Стихотворения (рец.) // Голос Руси. 1916. 25 апр.

¹ Эпиграф взят из романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» (1875—1880).

² Слова Н. В. Гоголя из книги «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847).

³ *Соловьев Влад.* Из вопросов культуры. Исторический сфинкс // Вестник Европы. 1893. № 6: «Одно из прямых и необходимых применений общего принципа справедливости есть обязанность терпимости и уважение к чужой вере и народности» (с. 785).

⁴ Соловьев был автором рецензии на брошюру Розанова «О месте христианства в истории». М. 1890 // Рус. обозрение. 1890. № 9. С. 475–476. Слова Соловьева о случайном совпадении имени автора брошюры и «псевдонима» — сатирический прием.

⁵ Персонаж комедии Гоголя «Женитьба» (1842).

⁶ См.: *Тихомиров Л.* К вопросу о терпимости // Рус. обозрение. 1893. № 7. С. 369–384.

Тихомиров Лев Александрович (1852—1923) — в молодые годы революционер, член Исполнительного комитета «Народной воли». После отречения от революционного прошлого печатался в консервативных изданиях. Автор книги «Монархическая государственность» (1905). См. также его ст.: В чем ошибка г. Розанова // Рус. обозрение. 1894. № 9. С. 397—411.

⁷ О дальнейшем ходе спора см.: Соловьев В. С. Спор о справедливости // Вестник Европы. 1894. № 4. С. 785—797 (полемика с Л. А. Тихомировым); полемика с Розановым посвящена статья Соловьева «Конец спора» // Вестник Европы. 1894. № 7. С. 286—312. См. также полемические статьи Розанова: Ответ г. Владимиру Соловьеву // Рус. вестник. 1894. № 4. С. 191—211; Что против принципа творческой свободы нашлись возразить защитники свободы хаотической // Рус. вестник. 1894. № 7. С. 196—235. Розанов был настолько груб в полемике, что даже сотрудник «Нового времени» В. П. Буренин вступился за В. С. Соловьева (*Буренин В.* Ноги в перчатках, желудки, цепляющиеся за маски, и проч. // Новое время. 1894. 29 июля).

С. Н.Трубецкой

Чувствительный и хладнокровный

Впервые: Русская мысль. 1896. № 9. Отд. II. С. 125—133. Подп.: Т. Печатается по кн.: *Трубецкой С. Н.* Собр. соч. Т. 1. Публицистические статьи (1886—1905). М. 1907. С. 251—261.

Трубецкой Сергей Николаевич, князь (1862—1905) — философ, общественный деятель, ректор Московского университета, старший брат религиозного мыслителя Е. Н. Трубецкого. Как философ-идеалист, автор книг «Метафизика в Древней Греции» (1890), «Учение о Логосе в его истории» (1900) и др., Трубецкой интересовал Розанова, однако различие их политических взглядов и эстетических позиций делало их идейными противниками.

¹ Spectator — псевдоним редактора-издателя консервативной газеты «Московские ведомости» Владимира Андреевича Грингмута (1851—1907).

² «Русское обозрение» — консервативный московский журнал (1890—1898, с 1892 г. редактор А. А. Александров), в котором много печатался Розанов.

³ Об А. А. Александрове см. прим. 61 к «Воспоминаниям» Т. В. Розановой.

⁴ См.: *Грингмут В. А.* Николаевские времена // Рус. обозрение. 1896. № 8. С. 521—535. Подп.: Spectator.

⁵ *Розанов В. В.* Кто истинный виновник этого? // Рус. обозрение. 1896. № 8. С. 640—655.

⁶ *Розанов В. В.* Две гаммы человеческих чувств (По поводу Ходынской катастрофы) // Рус. обозрение. 1896. № 8. С. 767—769.

⁷ Иловайский Дмитрий Иванович (1832—1920) — историк, автор учебников по всеобщей и русской истории для гимназий, по которым Розанов работал, преподавая в гимназиях. Хотя Иловайский придерживался близ-

ких Розанову консервативных взглядов, писатель не упускал возможности выступить с каким-либо колким замечанием в адрес Иловайского, который был для него олицетворением казенного подхода к истории.

В. П. Буренин

Критические очерки. Литературное юродство и кликушество

Впервые: Новое время. 1895. 1 сентября. № 7007.

Буренин Виктор Петрович (1841—1926) — публицист, поэт, драматург, пародист, один из наиболее влиятельных сотрудников «Нового времени». Он неоднократно выступал, как и в этом фельетоне, с язвительной критикой Розанова. Несмотря на дурную репутацию Буренина как критика, нарушающего нормы приличия в своих обличениях, Розанов находил в нем и положительные качества. Так, после разгромного фельетона Буренина, осуждавшего его за резкие выпады против Соловьева, он писал С. А. Рачинскому в письме, полученном адресатом 20 августа 1894 г.: «Буренин, за исключением его религиозных понятий, бесспорной порядочности, и не верьте никому, кто иначе о нем скажет...» (ОР РНБ. Ф. 631. Переписка С. А. Рачинского. 1894, июль-август. № 70). Даже представители консервативной печати, сообщает Розанов в письме от 16 дек. 1895 г., боялись язвительного пера Буренина, называя его «прокурором литературы» (там же. 1895, ноябрь-дек. № 58).

¹ Фельетон Буренина посвящен статье: *Розанов В. В.* По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого // Рус. вестник. 1895. № 8. С. 154–187.

² Аскоченский (наст. фам. Оспешный) Виктор Ипатьевич (1813—1879) — публицист, издатель еженедельника «Домашняя беседа» (1858—1877), отличавшегося непримиримыми полемическими выступлениями против нигилистов и всех, кого он подозревал в отступничестве от православия. Любопытно, что сам Розанов, которого Буренин сравнивает с одиозным представителем консервативной печати, выступил с убедительным разоблачением ханжества Аскоченского (*Розанов В. В.* Аскоченский и архимандрит Феодор Бухарев // *Розанов В. В.* Около церковных стен. Т. 2. СПб. 1906. С. 17–39).

³ Персонаж рассказа Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего» (1835).

⁴ Имеется в виду первый поэтический сборник В. Я. Брюсова «Chefs-d'oeuvre» (1895).

⁵ *Добролюбов А.* Natura naturans. Natura naturata. СПб. 1895.

В. П. Буренин

Критические очерки. Разговор

Впервые: Новое время. 1908. 29 февр. № 11482.

Фельетон написан Бурениным по поводу опубликованного доклада Розанова в Религиозно-философском обществе (см.: *Розанов В. В.* О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира // Рус. мысль. 1908. № 1).

¹ Цитата из поэмы М. Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша» (1838).

² Ответ Н. А. Бердяева был опубликован в том же номере «Русской мысли».

³ См.: Русский вестник. 1895. № 8. С. 179.

С. Ф. Шарапов

Василий Васильевич Розанов

Впервые: Русский труд. 1899. № 42. С. 3–5; № 43. С. 5 (печатается с сокращением длинных цитат).

Шарапов Сергей Федорович (1855—1911) — журналист, издатель-редактор, экономист, публицист консервативного направления. Примыкал к кружку Т. И. Филиппова, с которым Розанов столкнулся по приезду в Петербург в 1893 г. Розанов часто печатался в газете Шарапова «Русский труд» (1897—1899). Сам Шарапов много писал на экономические темы, защищая национальные интересы русских промышленников. При отсутствии глубины, при суетливости и некоторой несерьезности он обладал литературным талантом и отличался скромностью. Розанов писал о нем: «Сергей Федорович Шарапов был до редкости *скромным* человеком. Да, этот *шумливый, красивый, большерослый человек*, с мягкими руками, с мягкими оценками, с жгучим взглядом смеющихся *добрых глаз, с непрерывной улыбкой губ*, — весь в речах, вечно что-то предпринимающий, во что-то веривший, в чем-нибудь убедивший нас — с сотнею мелких талантов, так и лившихся из него оживлением и возбуждением, *был бы потому неприятен*, неприятен определенной группе людей, напр<имер>, созерцательных, если бы задумчивый взгляд не подмечал под всем этим шумом *скромной души*, слишком не занятой своим “я”, а занятой действительно теми темами, о которых он шумел, в которые действительно *верил*, и которые, увы, часто были совершенно *не основательны*. Он имел мало “критика” в себе» (Розанов В. В. Еще два слова о Шарапове // Новое время. 1911. 4 мая).

¹ *Протопопов М.* Писатель-головотяп // Рус. мысль. 1899. № 8. С. 155–171.

² Колубовский Яков Николаевич (1863—?) — библиограф, историк русской философии. Он намеревался использовать автобиографию Розанова в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза-Ефрона. Шарапов опубликовал ценную автобиографию Розанова в своей газете: Русский труд. 1899. 16 окт. № 42. С. 24–27, под названием: Автобиография В. В. Розанова (Письмо В. В. Розанова к Я. Н. Колубовскому).

³ В «Русском труде» почти каждый номер открывался фотографией какой-либо примечательной личности, очерк о которой публиковался в данном номере. В № 42, где была напечатана статья Шарапова, на титуле помещен портрет В. В. Розанова с факсимильным воспроизведением его автографа.

⁴ Об Н. П. Аксакове см. прим. 59 к «Дневнику» С. П. Каблукова в наст. изд. Обещанная Шараповым статья Аксакова была опубликована в «Русском труде» (1899. № 43, 44). С резкой критикой взглядов Розанова

на христианский брак выступил в «Русском труде» и П. П. Перцов, которому особенно не понравилось сотрудничество Розанова в одиозном «Гражданине» кн. В. П. Мещерского (*Перцов П. Эквилибристика* г. Розанова // *Русский труд*. 1899. № 43). С Розановым также спорили И. Ф. Романов-Рцы, Мирянин и др. Таким образом, «Русский труд» уделял Розанову достаточно много внимания. После закрытия газеты Шарапов издал эту полемику отдельной книгой (*О сущности брака*. М. 1901. 199 с.).

⁵ Бытие 6, 10. Имеется в виду один из сыновей Ноя — Хам, который из-за непочтительного отношения к отцу подвергся его проклятию.

⁶ *Белинский В. А.* Грамотность «простая» и «распространенная» (педагогические мечтания) // *Рус. дело*. 1888. № 5. С. 5–7; № 7. С. 6–8. Белинский писал о «классической» системе образования: «...нынешняя гимназическая система есть система *душегубства* детей» (№ 5. С. 5).

⁷ Первая статья Розанова — «Сумерки просвещения», вызвавшая огромный общественный резонанс, появилась на свет в 1893 г. (*Русский вестник*. 1893. № 1–3, 6). Возможно, Шарапов имеет в виду какую-то более позднюю статью Розанова, напр.: О гимназической реформе семидесятых годов // *Новое время*. 1887. 5 авг.

⁸ Об изменениях в системе образования было заявлено после назначения министром народного просвещения в декабре 1898 г. Николая Михайловича Боголепова (1846—1901). В декабре 1899 г. было издано постановление министерства «Об учреждении комиссии по вопросу об улучшении в средней школе», в котором говорится о недостатках в системе классического образования (см.: *Сборник постановлений по Министерству народного просвещения*. Т. XVI. 1899 год. СПб. 1903. С. 1619–1622). Однако начинания Н. М. Боголепова не были реализованы, так как в 1901 г. он был убит террористом.

⁹ О желательности использования розги при обучении Розанов писал в статье «Три главные принципа образования» (см.: *Розанов В. В.* Сумерки просвещения. М. 1990. С. 141).

¹⁰ Речь идет о статье П. Б. Струве «Романтика против казенщины», включенной в наст. изд.

М. О. Меньшиков

О гробе и колыбели

Впервые: *Новое время*. 1902. 20 сент. № 9565.

Меньшиков Михаил Осипович (1859—1918) — публицист, один из наиболее влиятельных сотрудников «Нового времени». Эта статья является завершением полемики 1902 г. по вопросу взаимоотношения христианства и язычества, в которой Меньшиков выступал против защищавших эллинизм Розанова и Мережковского (см.: *Розанов В. В.* Об отрицании эллинизма // *Новое время*. 1902. 26 авг.; *Меньшиков М. О.* Das Ewigweibliche // *Новое время*. 1902. 18 авг.; *Меньшиков М. О.* Поганое в паганизме // *Новое время*. 1902. 1 сент.; *Розанов В. В.* В чем разница древнего и нового миров // *Новое время*. 1902. 12 сент.; *Мережковский Д. С.* Что такое язычество? // *Новое время*. 1902. 28 сент.).

Меньшиков и Розанов работали в «Новом времени» на протяжении почти двух десятилетий и в значительной мере определяли лицо газеты. Но их личные отношения не были дружескими. В 1903 г. Меньшиков сыграл решающую роль в закрытии Религиозно-философских собраний своим фельетоном-доносом «Титан и пигмей» (Новое время. 1903. 23 марта), направленным против прот. А. Устьянского — см. ответ Розанова: Ответ г. Меньшикову // Новое время. 1903. 28 марта. Тем не менее, Меньшиков достаточно высоко оценивал Розанова как художника (см.: Меньшиков М. О. Сырые мысли // Новое время. 1914. 9 марта), а в своем «Дневнике 1918 года» Меньшиков обнаруживает между собой и Розановым огромное биографическое сходство, подчеркивая в то же время их творческое и идейное различие: «Я думаю, он обострил свой гений и затемнил его умышленным натаскиванием себя на оригинальность. Сначала хотелось быть особенным, выдвинуться из толпы, быть замеченным. Это некрупный бес, но все же нечистый, и, поселившись в человеке, он овладевает душой прочно, до “психоза”. Голлербах говорит, что психиатры считали Розанова полусумасшедшим и что он психопат. Обо мне я не встречал таких мнений — наоборот, почти все меня считают умным, рассудительным тоже до своего рода психоза-резонерства» (Российский архив. № IV. 1993. С. 91).

¹ Имеется в виду доклад Мережковского «О новом значении древнего театра», прочитанный в Александринском театре перед представлением «Ипполита» Эврипида 14 окт. 1902 г. (опубл. в «Новом времени» 15 окт.; см. об этом: Розанов В. В. «Ипполит» Эврипида на Александринской сцене // Мир искусства. 1902. № 9–10. С. 240–248; также в кн.: «Среди художников»).

² Ланге Фридрих Альбер (1828—1875) — историк философии, публицист. Автор «Истории материализма» (1886), написанной с критических, кантианских позиций.

³ В статье «В чем разница древнего и нового миров» Розанов отстаивал «светлый» облик язычества.

⁴ Меньшиков ежегодно издавал сборники своих газетных статей, опубликованных в «Новом времени», под названием рубрики — «Письма к ближним».

⁵ Анакреон (ок. 570—478 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик. Феокрит (конец IV—1-я пол. III вв. до н. э.) — древнегреческий поэт, основатель жанра идиллии и буколики. Публий Овидий Назон (43 г. до н. э. — ок. 18 г. н. э.) — римский поэт.

⁶ Ифигения, в древнегреческой мифологии дочь Агамемнона, была принесена отцом в жертву богине Артемиде, но богиня заменила ее на жертвеннике ланью и перенесла ее в Тавриду, сделав своей жрицей. Этот сюжет был использован Эврипидом в его трагедии «Ифигения в Авлиде», где подчеркнута добровольность жертвы Ифигении во имя спасения родины.

⁷ Смерть Публия Деция Муса, пожертвовавшего жизнью в битве с самнитами (312 до н. э.), описана Титом Ливием (кн. III).

⁸ Зороастр — греческая передача имени Заратустра (или Заратустра) — пророка и реформатора древнеиранской религии, составителя древнейшей части «Авесты» (между II и I пол. VI в. до н. э.).

⁹ Гесиод (VIII—VII вв. до н. э.) — первый известный по имени древнегреческий поэт, автор поэм «Труды и дни» и «Теогония».

¹⁰ Эмпедокл из Агриента (ок. 490—ок. 430 до н. э.) — древнегреческий философ, основатель гилозоистической натурфилософии, автор теории «четырех элементов» — неизменных первовеществ (земли, воды, воздуха и огня) и движущих сил — любви и вражды.

¹¹ Мойры — в древнегреческой мифологии три дочери Зевса и Фемиды, богини судьбы.

¹³ См.: *Плутарх*. Аристид, XV.

¹⁴ Гегесий Киренейский (ок. 320—280 до н. э.) — философ киренской школы по прозвищу «Учитель Смерти». Он так ярко описывал страдания жизни в недошедшем до нас сочинении «О самоубийстве воздержанием от пищи», что власти запретили ему проповедь самоубийства.

¹⁴ Птолемеи — царская династия в эллинистическом Египте, завершившаяся при Клеопатре. Здесь речь идет о Птолемеи I (328—285 гг. до н. э.).

¹⁵ Леопарди Джакомо (1798—1837) — итальянский поэт-романтик. Гартман Эдуард (1842—1906) — немецкий философ-иррационалист, сторонник панпсихизма, проповедовавший пессимистический взгляд на историю.

Н. К. Михайловский

О г. Розанове, его великих открытиях, его маханальности
и философической порнографии

Впервые: Рус. богатство. 1902. № 8. Отд. II. С. 76–99 (перепечатано в кн.: *Михайловский Н. К.* Последние сочинения. СПб. 1905. Т. 2. С. 226–252).

Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — социолог, публицист, литературный критик «народнического» направления, один из наиболее частых и резких оппонентов Розанова. «Народничество» было для Розанова одним из главных идейных противников, и он не раз выступал с критикой Михайловского. Но в то же время в 1898 г., не находя печатного органа для выражения новой для него темы взаимосвязи религии и пола, он обратился к Михайловскому с предложением о сотрудничестве в «Русском богатстве», объясняя это так: «У меня есть большое сочинение, которое напрасно бы я пытался провести в органах, где обычно участвую, <...> между тем, я вступил в тему, которая жгуче-мучительно меня занимает, и если я не проведу ее — “умру”, как Александр Македонский, прикованный к канцелярскому столу. Это — тема о поле и половом...» (*Розанов В. В.* О себе и жизни своей. М. 1990. С. 808). Сотрудничество Розанова в «Русском богатстве» не состоялось, и Михайловский продолжал выступать с критикой консерватора-мистика. Однако после смерти Михайловского Розанов написал о нем «теплую статью» (Февральские потери // Новое время. 1904. 3 марта).

¹ См.: *Шарапов С. Ф.* Жмеринские львы и буйствующий В. В. Розанов. Поход против него протоиерея Дернова и генерала Киреева // *Шарапов С. Ф.* Сугробы. СПб. 1901. Вып. 4 (Т. II). С. 14–21. Шарапов имеет в виду обличительную брошюру прот. А. А. Дернова (1901, см. библиографию) и ста-

тью А. А. Киреева (Брак или сожительство (По поводу полемики о. прот. Дернова с г-ном Розановым) // Новое время. 1900. 7 дек.).

Киреев Александр Алексеевич (1838—1910) — писатель по церковным вопросам, публицист славянофильского направления, генерал от кавалерии. Киреев постоянно полемизировал с Розановым. Розанов приводит в одном из писем оценку Киреева, сделанную Н. Н. Страховым: «Превосходнейшей души человек, но не больших способностей» (ОР РНБ. Ф. 631. Переписка С. А. Рачинского. 1895, июль—август. № 56. Л. 129).

² См.: *Шарапов С. Ф.* Василий Васильевич Розанов — в наст. изд.

³ Кусков Платон Александрович (1834—1909) — поэт, переводчик, друг Н. Н. Страхова, автор книги «Наши идеалы. Разговоры на палубе» (1904) — см. о ней рец.: *Розанов В. В.* Русские идеалы // Новое время. 1904. 11 нояб.

⁴ Петерсен Владимир Карлович (1842—1906) — публицист, военный инженер, сотрудник «Нового времени».

⁵ Речь идет о протоиерее А. П. Устынском — см. о нем прим. 13 к очерку З. Н. Гиппиус в наст. изд.

⁶ Колышко Иосиф Иосифович (1862—1938) — публицист, драматург, сотрудник «Гражданина» под псевдонимом «Серенький» — см. в Библиографии его отклики на статьи Розанова. Розанов написал рецензию на книгу И. И. Колышко «Маленькие мысли» (Новое время. 1900. 23 февр.). В 1912 г. Розанов за оскорбительный тон заметки об И. И. Колышко (Новое время. 1912. 4 февр.), писавшем под псевдонимами «Баян» и «А. Рославлев», был даже вызван на дуэль, которая не состоялась из-за отказа Розанова (см.: Письма в редакцию В. Розанова // Новое время. 1912. 7, 15, 17 февр.), вызвавшего насмешки в левой печати и обвинения в трусости (см., напр.: *Амфитеатров А.* Невеселый курьез // Утро России. 1912. 13 мая; *Амфитеатров А.* На полях газет // Утро России. 1912. 19 мая).

⁷ Имеется в виду Михаил Петрович Соловьев (1842—1901) — начальник Главного управления по делам печати.

⁸ Руже де Лиль (1760—1836) — французский поэт и композитор, автор текста «Марсельезы», которая в 1795 г. стала гимном Франции.

⁹ Ришелье Арман Жан де Плесси (1585—1642) — кардинал Франции с 1622 г., глава королевского совета, с 1629 г. фактический глава государства. Мазарини Джулио (1602—1661) — кардинал с 1641 г., первый министр Франции. Шелгунов Николай Васильевич (1824—1891) — публицист, литературный критик, один из видных деятелей революционно-демократического движения. Никто из них, вопреки утверждению Розанова, в семинариях или подобных учебных заведениях не обучался. В то же время Розанов в своем полемическом ответе (Критика г. Михайловского // Новое время. 1902. 1 сент.) писал, что эти фактические неточности никакого отношения к существу его идеи не имеют, и что он даже не подумает об их исправлении при переиздании статей. Это очень характерно для Розанова, часто оставлявшего смысловые неточности неисправленными при включении своих статей в книги.

¹⁰ Сперанский Михаил Михайлович, граф (1772—1839) — государственный деятель, с 1808 г. ближайший советник Александра I, сторонник конституционного управления Россией, руководитель составления «Основных государственных законов Российской Империи» (с 1832 г.). Для Роза-

нова Сперанский был олицетворением бюрократического начала в России, родоначальником чиновничества (см., например, его книгу «О подразумеваемом смысле нашей монархии». СПб. 1912).

¹¹ Пфуль Эрнст фон (1780—1860) — прусский генерал, участвовавший в войне 1812 г. на стороне русской армии.

¹² Кювье Жорж (1769—1832) — французский зоолог.

¹³ См.: Михайловский Н. К. Отрывки о религии // Михайловский Н. К. Последние сочинения. Т. II. СПб. С. 1—53, где он писал: «Как религия, преподанная человечеству путем откровения свыше, или, вернее, как наследница такого откровения, христианская религия занимает совершенно особое и не прикосновенное для нас место» (с. 1).

¹⁴ Имеется в виду романс на слова А. И. Апухтина «Ночи безумные, ночи весенние» (1886).

¹⁵ Гатчинский отшельник — один из псевдонимов И. Ф. Романова-Рцы.

¹⁶ Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (1840).

¹⁷ Намек на противоестественные отношения издателя «Гражданина» кн. В. П. Мещерского и И. И. Колышко.

¹⁸ Цитата из кн.: Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. Т. 2. СПб. 1902. С. XXXIII—XXXIV.

¹⁹ Имеется в виду система т. наз. «меонизма», разработанная Н. Минским. За ее основу он взял «небытие» (меон) — см.: Минский Н. При совести. СПб. 1890; Религия будущего. СПб. 1905.

П. Б. Струве

Романтика против казенщины
(В. В. Розанов. «Сумерки просвещения», СПб., 1899)

Впервые: Начало. 1899. № 3. Отд. II. С. 177—191.

Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — общественный деятель, экономист, публицист, философ, редактор журнала «Русская мысль» (1907—1918). Выслан из России в 1922 г. Этот достаточно глубокий отзыв «легального марксиста» о книге пользовавшегося одиозной известностью «консерватора» и одновременно «декадента» Розанова был одним из первых реальных признаний мыслителя. В годы первой русской революции Струве опубликовал в журнале «Полярная звезда» антихристианский по своей сути очерк Розанова «Русская церковь» (1906. № 8. С. 524—540). Позиции Струве и Розанова сблизились в связи с выходом сб. «Вехи» (1909). Однако в 1910 г. между ними завязалась острая полемика из-за выражения Розановым одновременно и «левых», и «правых» взглядов (см. 2-ю статью Струве в наст. изд.). Опубликованная Розановым в ходе полемики статья «Литературные и политические афоризмы» (Новое время. 1910. 25, 28 нояб., 9 дек.) стала своего рода декларацией взглядов Розанова на философию, литературу и печать. В дальнейшем оценки Струве у Розанова колебались от прямых оскорблений до признания его порядочности и положительной эволюции его взглядов. Так, в 1916 г. Розанов отмечал, что журнал «Русская мысль» стал почти «славянофильским» (П. Б. Струве о

духовном сословии и духовной школе // Колокол. 1916. 8 янв.); Розанов назвал Струве «маленьким Герценом наших дней» (там же).

¹ См. прим. 62 к «Воспоминаниям» Т. В. Розановой.

² Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Предопределение» (не позже 1852 г.).

³ Сб.: Памяти М. Н. Каткова. М. 1897.

⁴ Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Есть речи — значенье...» (1840).

⁵ Имеется в виду Жанна д'Арк.

⁶ Карно Лазар Никола (1753—1823) — французский математик, деятель французской революции.

⁷ Борджиа — знатный род в Италии, игравший значительную роль в XV—нач. XVI вв. Здесь речь идет, вероятно, о Джироламо Савонароле (1452—1498).

⁸ Яворский Стефан (1658—1722) — церковный деятель, проводник идей Петра I в области религии.

⁹ См.: Розанов В. В. Письмо в редакцию // Северный вестник. 1897. № 4. Отд. 2. С. 85—92. Имеется в виду письмо, опубликованное в еженедельнике «Русский труд» без подписи (см.: Рус. труд. 1897. № 1. С. 10).

¹⁰ Парацельс (наст. имя Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, 1493—1541) — врач и естествоиспытатель, один из основателей ятрохимии; ему принадлежит идея создания человека искусственным путем — «гомункулу».

¹¹ Эмиль — герой одноименного романа Ж.-Ж. Руссо (1762).

¹² Савиньи Фридрих Карл (1779—1861) — немецкий юрист, глава исторической школы права. Пухта Георг Фридрих (1798—1846) — немецкий юрист, представитель исторической школы права.

¹³ Цитата из произведения Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» — ср. в совр. изд.: Ницше Ф. Сочинения. М. 1990. Т. 2. С. 35.

¹⁴ Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Стансы» (1826).

¹⁵ Имеется в виду статья «Смысл недавнего прошлого» (Русский вестник. 1894. № 12. С. 259—279), посвященная памяти Александра III, в которой Розанов писал о русском народе, что «идея «прогресса» как неопределенного движения вперед — ему непонятна и, кажется, враждебна в высшей степени» (с. 269).

П. Б. Струве

Большой писатель с органическим пороком.
Несколько слов о В. В. Розанове

Впервые: Рус. мысль. 1911. № 11. Отд. II. С. 138—146.

¹ Имеется в виду статья Струве «Романтика против казенщины», включенная в наст. изд.

² Речь идет о статье Розанова «1 марта 1881—18 мая 1896» // Рус. обозрение. 1897. № 5. С. 328—332.

³ См. рец. А. Белого на кн. Розанова «Когда начальство ушло» в наст. изд.

⁴ Розанов сотрудничал под псевдонимом в либеральной газете «Русское слово» в 1905—1911 гг. Его сотрудничество прекратилось после ультиматума Мережковского и Философова владельцу газеты И. Д. Сытину.

⁵ Имеются в виду «правые» статьи Розанова — напр.: «Сентиментализм и притворство как двигатели революции // Новое время. 1908. 17 июля; О психологии терроризма // Новое время. 1909. 25 июля; Между Азефом и Вехами // Новое время. 1909. 20 авг.; Полемические заметки // Новое время. 1909. 4 нояб.; Тьма... // Новое время. 1910. 4 сент.; и др.

⁶ Имеется в виду «пробное» собрание Религиозно-философского общества, состоявшееся в апреле 1907 г. под председательством С. Н. Булгакова (см.: Речь. 1907. 11 апр.).

⁷ Булгаков учился у Розанова в Елецкой гимназии в 1888—1890 гг., после ухода из Лубенской духовной семинарии.

⁸ Статью Розанов поместил в малочитаемой газете «Благовест» (1907. 3 марта), а позже она вошла в книгу «Когда начальство ушло» (1910).

⁹ Аксаков К. С. По поводу VI тома «Истории России» г. Соловьева // Аксаков К. С. Полн. собр. соч. Т. I. Сочинения исторические М. 1861. С. 167—171.

¹⁰ См.: Богучарский В. Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг. XIX века: Партия «Народной воли», ее происхождение, судьбы и гибель. М. 1912.

В. Богучарский — псевдоним Василия Яковлевича Яковлева (1861—1915), участника и историка революционного движения.

¹¹ Драгоманов Михаил Петрович (1841—1895) — публицист, историк, этнограф.

¹² Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Умру я скоро. Женское наследство...» (1867).

Н. Минский

О двух путях добра

Впервые: Северные цветы. Альманах З. М. 1903. С. 131—142 (два доклада, прочитанные в Петербургских Религиозно-Философских собраниях, на 14-м и 16-м заседаниях)

Минский (наст. фам. Виленкин) Николай Максимович (1855—1937) — поэт, литературный критик, публицист, драматург, философ. Активный участник Религиозно-философских собраний, один из членов кружка Мережковских. Основные книги: «При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни» (1890, 2-е изд. 1897); «О свободе религиозной совести» (1902); «Полное собрание стихотворений» (4 т., 1904); Религия будущего (Философские разговоры)» (1905); «На общественные темы» (1909). После революции 1905 г. — в вынужденной эмиграции. Розанов выступил на 16-м собрании перед Минским с ответом на его первое выступление «О двух путях Минского» (Записки СПб. РФО. СПб. 1906. С. 263—274).

- ¹ Об архим. Михаиле см. прим. 33 к очерку З. Н. Гиппиус в наст. изд.
- ² Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скучно, и грустно» (1840).
- ³ Вероятно, имеется в виду Барсов Тимофей Васильевич (1836—1904) — профессор канонического права С.-Петербургской духовной академии, занимавшийся проблемами бракоразводного процесса.
- ⁴ Гюисманс Шарль Марк Жорж (1848-1907) — французский романист, первые произведения которого написаны в духе крайнего натурализма школы Э. Золя. Впоследствии его взгляды стали меняться и в 1892 г. он отправился в трапистский монастырь, после чего написал роман «В пути» (1895) и стал глубоко верующим католиком.
- ⁵ Д'Аннунцио Габриэле (1883-1938) — итальянский писатель. После начального периода «кларизма», отмеченном чувственным восприятием природы, ок. 1895 г. в его творчестве, в значительной степени под влиянием Ф. Ницше, наступил период «спиритуализма».
- ⁶ Повалошвейковский — реальный исторический персонаж. Его фамилия упоминается в одном из дел, рассматривавшихся Синодом (см.: *Благовидов Ф. В.*, проф. Oberпрокуратуры Святейшего Синода в первой половине XIX столетия. 2-е изд. Казань. 1900. С. 395—396). Имевший пятерых детей Повалошвейковский не получил от Синода согласия на брак, хотя даже царь первоначально был не против уже формальной регистрации этого брака. В результате такого, соответствующего букве закона решения, дети остались бесправными. Розанов неоднократно упоминал об этом случае как примере жертвы бездушного брачного церковного законодательства.
- ⁷ Евангелие от Иоанна 8, 1.
- ⁸ Бытие 3, 16.
- ⁹ Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Мадонна» (1830).
- ¹⁰ Преп. Отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы, Лествица. Сергиев Посад. 1908. С. 43.
- ¹¹ Там же. С. 47.
- ¹² Имеется в виду «Послесловие» к «Крейцеровой сонате» Л. Н. Толстого (1887—1889, опубл. 1891).
- ¹³ Цитата из книги Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Т. I. Кн. 4. № 68 — ср. в совр. изд.: М. 1993. Т. I. С. 474.
- ¹⁴ Цитата из произведения Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» — ср.: *Ницше Ф.* Сочинения. М. 1990. т. 2. С. 167.

Д. С. Мережковский

Новый Вавилон

Впервые: Новый путь. 1904. № 3. С. 171—180.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941) — прозаик, литературный критик, поэт, публицист, один из наиболее влиятельных писателей в русской литературе рубежа веков. Мережковский и Розанов познакомились в конце 1897 г. В период Религиозно-философских собраний (1901—1903) и издания журнала «Новый путь» (1903—1905) они дружес-

ки взаимодействовали, дополняя друг друга. Мережковский впервые всерьез заговорил о гениальности Розанова. Розанов выступал с рецензиями на основные произведения Мережковского. Однако после революции 1905 г., когда во взглядах Мережковского произошли заметные изменения, их отношения стали меняться. В 1909 г. они по-разному отнеслись к сборнику «Вехи», а окончательно враждебными их отношения стали после убийства Столыпина. Мережковский и Философов потребовали удаления Розанова из либеральной газеты «Русское слово». В 1914 г. Мережковский стал главным инициатором «суда» над Розановым. После революции Мережковский помогал голодавшему Розанову деньгами, а в конце жизни Розанов послал Мережковскому два примирительных письма. С 1919 г. — в эмиграции.

Розанов написал множество отзывов на сочинения Мережковского: Рец. на кн.: Мережковский Д. С. Вечные спутники. СПб. 1899 // Новое время. 1899. 31 марта; Новое о Толстом и Достоевском // Новое время. 1900. 24 июня; Рец. на кн.: Мережковский Д. С. Любовь сильнее смерти. СПб. 1902 // Исторический вестник. 1902. № 3; «Ипполит» Эврипида на Александрийской сцене // Мир искусства. 1902. № 9–10; Заметка о Мережковском // Мир искусства. 1903. № 2; Среди иноязычных // Мир искусства. 1903. № 7–8 (то же: Новый путь. 1903. № 10); Оконченная трилогия г. Мережковского (Петр и Алексей) // Новое время. 1905. 28 апр.; Нечто о прекрасной природе // Вesy. 1905. № 5; Представители нового религиозного сознания // Рус. слово. 1908. 3 сент.; Литературные симулянты // Новое время. 1909. 11 янв.; Мережковский против «Вех» // Новое время. 1909. 27 апр.; Трагическое остроумие // Новое время. 1909. 9 февр.; И шутя, и серьезно // Новое время. 1911. 31 марта; Отойди, сатана! // Новое время. 1911. 14 окт.; А. С. Суворин и Д. С. Мережковский (письмо в редакцию) // Новое время. 1914. 25 янв.; Бердяев о Мережковском // Колокол. 1916. 30 сент. и 7 окт.

¹ Книга Розанова «В мире неясного и нерешенного» вышла 2-м изданием в Петербурге в 1904 г.

² «Гимн ночи» Розанов создал в эссе «Нечто из мира “образов” и “подобий”» — см. «В мире неясного и нерешенного. СПб. 1904. С. 121–123.

³ См. прим. 37 к очерку З. Н. Гиппиус в наст. изд.

Д. С. Мережковский

Розанов

Впервые: Рус. слово. 1913. 1 июня.

Статья отражает отношение Мережковского к творчеству Розанова в период их взаимной вражды.

¹ Крижанич Юрий (1617—1683) — хорватский писатель и ученый-лингвист, католический миссионер, один из первых проповедников идеи панславизма. Жил в России, отбыл ссылку в Тобольске. Автор труда по русской истории «Политика» (издан 1859), «О Промысле» (издан 1860) и др.

² Нерон (37—68 гг. н. э.) — римский император, прославившийся своей жестокостью.

³ Гелиогабал, или Элагабал (204—222) — римский император с 218 г. Одиозно известен своей расточительностью и распутством.

Волжский

Мистический пантеизм Розанова

Впервые: Новый путь. 1904. № 12; Вопросы жизни. 1905. № 1—3. Печатается (в сокращении — Предисловие, гл. I, V) по кн.: *Волжский*. Из мира литературных исканий. СПб. 1906. С. 299—326, 380—402.

Волжский (наст. фамилия, имя, отчество Глинка Александр Сергеевич, 1878—1940) — религиозный мыслитель, литературный критик, историк литературы. Прodelал типичный для интеллигенции рубежа веков путь от революционного народничества до религиозного идеализма. Автор книг: «Два очерка об Успенском и Достоевском» (1902), «Очерки о Чехове» (1903), «Из мира литературных исканий» (1906), «Ф. М. Достоевский. Жизнь и проповедь» (1906), «В обители преподобного Серафима» (1914), «Социализм и христианство» (1919). В архиве хранится большой труд Волжского «Жизнь и творчество Достоевского» (РГАЛИ, ф. 142), который Розанов безуспешно пытался помочь ему опубликовать (см.: Переписка А. Г. Достоевской с В. В. Розановым // Минувшее. 1990. № 9. С. 289—292). Данная статья является одним из первых обобщающих, глубоких, хотя и весьма критических, исследований творчества Розанова. Волжского и Розанова связывали дружеские отношения. Розанов написал рецензию на брошюру Волжского «Святая Русь и русское призвание» (Новое время. 1916. 15 янв.).

¹ Цитата из статьи: *Стародум Н. Я.* [Стечкин Н. Я.] Журнальное обозрение // Рус. вестник. 1904. № 1. С. 370.

² См. прим. 5, 6 к статье С. Н. Трубецкого в наст. изд.

³ Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Ангел» (1831).

⁴ Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Спор» (1841).

⁵ Хрисанф (в миру Владимир Николаевич Ретивцев, 1832—1883) — духовный писатель, автор труда «Религии древнего мира в их отношении к христианству» (3 т., 1872—1878).

⁶ Лепсиус Рихард (1810—1884) — немецкий египтолог, профессор Берлинского университета, автор атласа настенной древнеегипетской живописи (5 тт., 1849—1860), который изучал Розанов.

⁷ Евангелие от Иоанна 1, 14.

⁸ Цитата из стихотворения А. И. Кольцова «Молитва» (1836).

⁹ Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной» (1836).

¹⁰ См. прим. 8.

¹¹ См. прим. 7.

¹² Ср.: Евангелие от Матфея 25, 6.

¹³ Откровение 1, 10.

¹⁴ Начало стихотворения А. С. Пушкина «Отцы пустынноики...» (1836).

¹⁵ Евангелие от Луки 20, 38.

¹⁶ Евангелие от Матфея 8, 22.

¹⁷ Имеется в виду картина Рембрандта «Жертвоприношение Маноя» (1641). Во время жертвоприношения Маною явился ангел, возвестивший, что у него родится сын Самсон.

¹⁸ Бытие 32, 24.